

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Р У С С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы
(П У Ш К И Н С К И Й Д О М)

П У Ш К И Н

И С С Л Е Д О В А Н И Я
И М А Т Е Р И А Л Ы

Т О М
V I I I



Л Е Н И Н Г Р А Д
« Н А У К А »
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е
1 9 7 8

Пушкинский кабинет ИРЛИ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*М. П. Алексеев, Д. Д. Благой, Н. В. Измайлов (ответственный редактор),
Р. В. Иезутова, С. А. Фомичев*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многообразие тем современной пушкинистики трудно обозримо. Вместе с тем в ее развитии ясно обозначились некоторые важные тенденции. В области изучения творчества Пушкина преимущественное внимание исследователей в последнее время обращается на произведения 1830-х годов, на процесс окончательного оформления реалистической системы Пушкина. Биографические же изучения (порой беллетризованные) все чаще приобретают «центробежную» направленность: от Пушкина — к его окружению, к его общественной среде.

Тенденции эти получили отражение и в очередном, восьмом томе серийного издания Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР «Пушкин. Исследования и материалы», продолжающем традицию историко-литературного изучения художественного наследия поэта и обогащения источниковедческой базы науки о Пушкине.

Открывает том статья Л. С. Сидякова, которая посвящена сопоставлению михайловских поэм с соответствующими главами романа в стихах «Евгений Онегин» и намечает реалистическую перспективу эволюции стихотворной пушкинской эпики. В статье А. А. Карпова исследуется художественный элемент исторического труда о Пугачеве в качестве подступа к историческому роману. В статьях О. С. Муравьевой (о «Пиковой даме») и Н. Н. Петруниной (о «Египетских ночах») своеобразие реалистических художественных решений Пушкина выявляется на фоне массовой русской повести конца 1820-х — начала 1830-х годов.

Как и в предыдущих выпусках настоящего серийного издания, ряд статей посвящен сравнительно-историческим исследованиям: традициям античной сатиры в творчестве Пушкина (статья Л. А. Степанова), реалистическому переосмыслению в «Евгении Онегине» и в «Станционном смотрителе» фабульных схем Мармонтеля (статья Д. М. Шарыпкина), сопоставительному анализу пушкинских переводов из А. Шенье (статья В. Б. Сандомирской). В сообщении И. Б. Мушиной публикуется отклик немецкого писателя Б. Ауэрбаха на открытие памятника Пушкину. «Нет, вероятно, — справедливо утверждает академик М. П. Алексеев, — ни одного большого или мелкого произведения Пушкина, которое не стоило бы поставить в связь с тем или иным памятником западноевропейской мысли, чтобы такое сопоставление или прояснило ту или другую личную особенность Пушкина как писателя, или подчеркнуло всю его самостоятельность и творческую зрелость».¹ В обзоре Н. В. Измайлова «Пушкин в сравнительно-историческом изучении» освещается конкретизация данного тезиса в многочисленных трудах самого М. П. Алексеева.

Отдел «Сообщений» содержит новые эпистолярные и мемуарные, а также документальные материалы, касающиеся Пушкина, его окружения, общественно-политической и литературной борьбы его времени

¹ Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 3—4.

(публикации А. В. Архиповой, Я. Л. Левкович, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Р. Е. Тереховой).

Отдел «Трибуна» включает в себя два полемических отклика на дискуссионные проблемы современного пушкиноведения. В первом из них (И. Г. Скаковского) уточняется время написания стихотворения «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...») и его общественно-политическая проблематика; во втором (статья В. П. Гурьянова с дополнением, написанным Т. Г. Цявловской и Н. Я. Эйдельманом) — обосновывается подлинность пушкинского письма к Николаю I по делу о «Гавриилиаде», дошедшего до нас в копии А. Н. Бахметьева.

В настоящем томе тексты Пушкина всюду приводятся по «большому» академическому изданию: тт. I—XVI, М.—Л., Изд. АН СССР, 1937—1949 и т. XVII («справочный»), 1959; при цитатах указываются том (римской цифрой) и страница (арабской цифрой).



СТАТЬИ

Л. С. СИДЯКОВ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН», «ЦЫГАНЫ» И «ГРАФ НУЛИН»

(К ЭВОЛЮЦИИ ПУШКИНСКОГО СТИХОТВОРНОГО
ПОВЕСТВОВАНИЯ)

1

В стихотворном эпосе Пушкина «роман в стихах» «Евгений Онегин» занимает, естественно, центральное место. Его возникновение и эволюция тесно связаны с предшествовавшими, а также с создававшимися одновременно поэмами Пушкина, и их изучение в связи с «Евгением Онегиным» необходимо для более полного представления об изменениях, которые претерпело в процессе развития пушкинское стихотворное повествование в целом. «Эволюция пушкинского эпоса как бы в сокращенном виде отражена в „Евгении Онегине“», — писал Ю. Н. Тынянов, имея в виду движение романа от главы к главе.¹ С другой стороны, синтезировав достижения пушкинского стихотворного эпоса предшествующих лет, «Евгений Онегин» дал вместе с тем толчок всему его дальнейшему развитию: ни одно из произведений Пушкина большой поэтической формы, особенно до 1830-х годов, не может быть полностью осмыслено вне учета связи его с пушкинским «романом в стихах».

К созданию «Евгения Онегина» Пушкин был подведен всем предшествующим опытом работы над произведениями большой эпической формы. «Руслан и Людмила» и первые «южные поэмы» составили основные этапы на этом пути. Позднее, в процессе работы над первыми четырьмя главами «Евгения Онегина», Пушкин создает поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», вступающие в сложное взаимодействие с «романом в стихах».

С первым этапом работы над «Евгением Онегиным» тесно связана последняя романтическая поэма Пушкина «Цыганы». Начата она в промежутке между созданием второй и третьей глав романа; приступив к последней, Пушкин приостанавливает, но не прекращает работу над «Цыганами»; по окончании же 2 октября 1824 г. третьей главы «Евгения Онегина» он быстро завершает и поэму: она была написана в основном между 2 и 10 октября.

Будучи последней в ряду «байронических» поэм Пушкина, «Цыганы» одновременно связаны с новым этапом творчества поэта, отмеченным созданием «Евгения Онегина». Истоки «Цыган» прослеживаются в первоначальном замысле второй главы пушкинского романа. Возникшая в процессе его разработки тема «страстей» переходит и в поэму, причем даже текстуально: стихи, первоначально связанные с образом Онегина, используются затем для характеристики Алеко.

В окончательном тексте второй главы «Евгения Онегина» «страсти» предстают как одна из тем бесед Онегина с Ленским; мотив этот в при-

¹ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 155.

менении к герою оказывается в сравнении с первоначальной редакцией значительно ослабленным:

Но чаще занимали страсти
Умы пустынных монахов.
Ушел от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья.

(VI, 38)

XVII строфа второй главы «Евгения Онегина», включающая приведенные стихи, в окончательном тексте романа сложилась в результате переработки и контаминации двух строф первоначальной редакции, в которых «страсти» характеризовали не только прошлое Онегина, как казалось самому герою, но, определяя его состояние в настоящем, предвещали и его будущее поведение:

Онегин говорил об них
Как о знакомцах изменивших,
Давно могилы сном почивших
И коих нет уж и следа.
Но вырывались иногда
Из уст его такие звуки,
Такой глубокий чудный стон
Что Ленскому казался он
Приметой незатихшей муки —
И точно: страсти были тут.
Скрывать их был напрасный труд.

(VI, 562)

Вслед за этим в беловой рукописи шла зачеркнутая затем строфа, начинавшаяся стихами:

Какие чувства не кипели
В его измученной груди?
Давно ль, надолго ль присмирели?
Проснутся — только погоди...

(Там же)

В черновой рукописи первая строка читается: «Какие страсти не кипели...» (VI, 280). Аналогичным образом в «Цыганах» характеризуется Алеко:

Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди!

(IV, 184)

В черновой редакции поэмы к первоначальному тексту второй главы «Евгения Онегина» восходили и другие, отброшенные затем стихи:

Но страсти [бурные] кипели
Играли молодой <?> судьбой
И необузданны владели
Его послушную душой
И вырывались иногда
Из уст его такие звуки,
Такой глубокий чудный стон —...
Что

(IV, 415)

Из этого, разумеется, не следует, что образы Алеко и Онегина первоначальной редакции главы тождественны; речь может идти лишь о соотнесенности замысла «Цыган» с проблемами, занимавшими Пушкина

в период создания поэмы.² Сама возможность перенесения деталей характеристики Онегина на героя романтической поэмы показывает, что в сознании самого Пушкина образы эти не были еще резко отделены друг от друга. Но, осмысляя «Евгения Онегина» уже на этом этапе его создания как произведение, противопоставленное романтической поэме прежнего типа, Пушкин отказывается от темы «страстей», целиком подчиняющих себе героя, как темы, не свойственной образу, сложившемуся в первой главе романа. Это не исключало, однако, художественной актуальности данной темы вообще. Создание «Цыган» подтверждает, что возможности романтической поэмы не были исчерпаны для Пушкина, и отвергнутая в условиях «Евгения Онегина» тема «страстей» оказалась одной из центральных в построении образа Алеко.

Генетической связи «Цыган» с «Евгением Онегиным» соответствуют точки соприкосновения между ними и в повествовательной сфере. Но именно здесь отличие художественной системы романтической поэмы и «романа в стихах», их четкое разграничение, наиболее очевидно. Построение «Цыган» как цепи отдельных, чаще всего драматизированных эпизодов или сцен резко ограничивало возможность проявления авторского начала, сводя роль повествователя к минимуму. Этим поэма отличается не только от «Евгения Онегина», но и от других романтических поэм, хотя и развивает обнаружившиеся уже в них тенденции.

Драматизация повествовательного контекста характерна и для предшествовавших поэм Пушкина: в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане» центральные по значению сцены решены в диалогической форме. Драматизированный монолог представляет собой и рассказ героя в «Братьях разбойниках». До «Цыган» драматизация действия особенно сильно была развита в «Бахчисарайском фонтане», для которого характерно авторское стремление разделить сюжетное действие и лирическое содержание поэмы.³ Эпизод встречи Заремы с Марией, хотя и сведен в основном к монологу Заремы, отчетливо отличается от аналогичной сцены в «Кавказском пленнике» по степени драматизации.⁴ «Сцена Заремы» с Марией имеет драматическое достоинство», — писал Пушкин (XI, 145). В драматизации действия находит свое выражение одна из важнейших тенденций развития стихотворного эпоса Пушкина (по словам Б. В. Томашевского, «драматизация проходит через все южные поэмы, все возрастающая»),⁵ наиболее резко обнаруживающая себя именно в «Цыганах». Действие здесь отделено от собственно повествовательных эпизодов, сводящихся подчас к «развернутым сценическим ремаркам».⁶ В результате возрастает объективность изображения. Эпилог поэмы, хотя он и призван связать объект повествования с его субъектом, не до конца снимает дистанцию между ними: «автор» оценивает происходящее как бы со стороны и одновременно дает лирическое освещение сюжету поэмы.

Сказался в этом, конечно, и опыт «Евгения Онегина», впервые поставившего перед Пушкиным задачу расчленения мира «автора» и мира героев. В решении этой задачи существенная роль отводилась мотивированной «автором» эмоциональной сфере, вступая в соприкосновение с которой объект повествования не утрачивал своей автономности по отношению к его субъекту.

² О соотношении «Цыган» и «Евгения Онегина» см.: Семенко И. Эволюция «Онегина» (к спорам о пушкинском романе). — Русская литература, 1960, № 2, с. 119—120.

³ См.: Винокур Г. Крымская поэма Пушкина. — Красная новь, 1936, № 3, с. 241.

⁴ См.: Томашевский Б. Пушкин, кн. 1 (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 509.

⁵ Там же, с. 454.

⁶ Там же, с. 619. Ср.: Жирмунский В. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Л., 1924, с. 76—77.

Повествовательная система «Цыган» складывается, как и замысел поэмы в целом, в непосредственном соприкосновении с «Евгением Онегиным», со второй и третьей главами романа, хронологически совпадающими с работой Пушкина над поэмой. Во второй главе романа происходит размежевание сфер сознания героя и других персонажей, вступающих с ним в сложные взаимоотношения. Хотя на этом этапе работы над «Евгением Онегиным» роль главного героя продолжала еще мыслиться как центральная, это размежевание подрывало его «единодержавие», поколебленное, впрочем, уже и в предшествовавших романтических поэмах Пушкина. Поэтому и в «Цыганах» Алеко с самого начала не просто окружен другими героями: они выступают и как носители самостоятельных точек зрения, и их столкновение с эстетически равноправной по отношению к ним точкой зрения Алеко определяет содержание поэмы. В «Цыганах», по мнению Ю. Н. Тынянова, «Пушкин становится перед вопросом об изменении героя под влиянием появления второстепенных героев».⁷ Вне соотношения Алеко с Земфирой и ее отцом восприятие образа героя невозможно. Столкновение же Алеко со старым цыганом, рассказавшим ему историю своей любви к Мариуле, наиболее полно обнаруживает полярность их точек зрения как представителей различных мироощущений. Это исключает не только взаимопонимание, но и вообще соприкосновение внутреннего мира обоих действующих лиц. Пушкин снимает намеченное было указание на такую возможность, заменив, после некоторых колебаний, стихи черновой редакции «Не плачь; унынье безрассудно — Мы любим горестно и трудно, А сердце женское шутя» (IV, 420) окончательным текстом: «*Твое* унынье безрассудно: *Ты* любишь горестно и трудно, А сердце женское — шутя» (IV, 193; курсив мой. — Л. С.).

Это размежевание героев создает условия для решения драматического конфликта вне традиционного для романтической поэмы признания исключительности главного героя;⁸ его трагизм усугублен тем, что он не способен принять мудрость старого цыгана и своим преступлением разрушает патриархальность быта мирного народа, принявшего его в свою среду. Раскрывая смысл концовки поэмы («И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет» — IV, 204), Г. А. Гуковский заметил, что судьба для Пушкина — «объективный и внеположный для личности закон реальности, бытия, общества в самом широком смысле».⁹ Однако это не исключало ни описаний в развитии тех принципов, которые уже в «Кавказском пленнике» разрушали субъективизм романтической поэмы,¹⁰ ни вторжения авторской точки зрения в формах, подсказанных художественной структурой «Евгения Онегина», хотя в целом повествование в «Цыганах» весьма отлично от «онегинского».

Речь идет не только о спорадически возникающем лирическом отступлении во втором эпизоде («Все скудно, дико, все нестройно, Но все так живо-непокойно. Так чуждо мертвых наших нег» — IV, 182), сближающем мир «автора» с миром героя поэмы, но и о развернутых ассоциациях, способствующих раскрытию образа последнего. Не будучи в прямой форме авторскими отступлениями, они в то же время связаны с поэтикой лирических отступлений в «Евгении Онегине», где роль таких ассоциативных сближений очень велика.¹¹ Это, во-первых, выделенный ритмически (Ю. Н. Тынянов отметил, что в «Цыганах» «впервые

⁷ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 145.

⁸ См.: Лотман Ю. М. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 119, Тарту, 1962, с. 16.

⁹ Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 329.

¹⁰ Там же, с. 327.

¹¹ См.: Соллертинский Е. Е. Лирические отступления и их место в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». — Учен. зап. Вологодского гос. пед. ин-та, т. 31, 1967, с. 57—83.

в ямбической поэме появились во вставных номерах другие метры») ¹² фрагмент о птичке («Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда»), образ которой соотнесен с Алеко:

Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.

(IV, 183)

Во-вторых, это рассказ об Овидии, также носящий характер «вставного номера»; будучи формально привязан к персонажу поэмы, он в то же время соотносится и с лирикой Пушкина, в которой тема эта всегда ассоциировалась с собственной судьбой поэта.¹³ По отношению же к Алеко рассказ этот ассоциативно связывается с внутренней несвободой героя, неспособностью его слиться с чуждым ему миром цыганской общины («Но не всегда мила свобода Тому, кто к неге приучен» — IV, 186) и предвещает трагическое разрешение конфликта в будущем.

Таким образом, повествование в «Цыганах» несет на себе следы воздействия «Евгения Онегина». С другой стороны, усиление диалогического начала в третьей главе романа также свидетельствует о соприкосновении поэтики обоих произведений. Правда, строфическая форма «Евгения Онегина» исключала предельное развитие драматизации, которая ставит «Цыган» на грань собственно драматического произведения.¹⁴ Вместе с тем показательно, что в первых пяти строфах третьей главы романа обмен героев репликами, ненадолго прерываемый описанием, превращает начало главы в драматические сценки, существенные для воссоздания отношения героев к окружающему их миру (ср. также играющие важную роль в этой главе диалоги Татьяны с няней).

Но диалогическое начало в «Евгении Онегине» не ограничено внешним вкраплением в текст драматизированных сцен. Именно с третьей главы романа это начало приобретает конструктивную функцию, определяя взаимоотношения главных героев, подобно тому как в «Цыганах» оно реализовалось в противопоставлении Алеко и старого цыгана в качестве носителей конфликтующих между собой типов сознания. Письмо Татьяны, заключающее в себе прямую речь героини, обращенную к Онегину, предполагает включение в диалог и самого героя, что и осуществляется введением в качестве ответа на это письмо «отповеди» Онегина в четвертой главе романа. Аналогичная, но перевернутая ситуация содержится в восьмой главе романа (письмо Онегина к Татьяне и ее последующая «отповедь»). Отражая структуру эпистолярного романа,¹⁵ «Евгений Онегин» включает, таким образом, и свойственную этой форме диалогичность, которая в ином виде предстает и в поэме «Цыганы». Драматизированная форма последней представляет собой последовательное применение принципа диалогичности.

В целом, однако, поэтика «Цыган» в большей степени отличается от поэтики «Евгения Онегина», чем это наблюдалось в предшествующих романтических поэмах Пушкина. Однако то, что сближает оба произведения, свидетельствует о важности внутренних сдвигов, которые произошли в творчестве поэта в процессе его работы над стихотворным ро-

¹² Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 145.

¹³ См.: Томашевский Б. Пушкин, кн. 1, с. 631.

¹⁴ Вячеслав Иванов говорил о том, что Пушкин облек свою поэму «в форму романтического эпоса, тогда как по существу этот эпос остается лирической драмой» (см.: Иванов В. «Цыганы». — В кн.: Пушкин. [Соч.]. Под ред. С. А. Венгерова. Т. II. СПб., 1908, с. 225).

¹⁵ См.: Штильман Л. Н. Проблемы литературных жанров и традиций в «Евгении Онегине» Пушкина. К вопросу перехода от романтизма к реализму. — In: American contributions to the Fourth International congress of Slavists. Moscow, september 1958. S.-Gravenhage, 1958, p. 30—31.

маном, неизбежно отразившись и на последней его романтической поэме. Б. В. Томашевский отметил, что «Цыганы», в основном сохраняя приметы романтического стиля, несут на себе следы и нового, реалистического стиля, вырабатывавшегося в «Евгении Онегине», чему в немалой степени способствовала именно диалогичность построения поэмы, не допускавшая злоупотребления книжными оборотами.¹⁶ Он обратил также внимание и на форму «нагнетенного перечисления», или перечней, в описаниях, позднее широко представленную и в «Евгении Онегине».¹⁷ Эти важные наблюдения не колеблют, однако, представления о «Цыганах» как произведении, отступающем в целом от «онегинского» пути. Вместе с тем Пушкин, завершая этой поэмой цикл своих «южных поэм», одновременно в «Евгении Онегине» открывал новый этап в развитии своего стихотворного эпоса. Накануне завершения четвертой главы романа был написан «Граф Нулин».

2

Появление «Графа Нулина» одновременно с окончанием четвертой главы «Евгения Онегина» очень знаменательно. В литературе неоднократно отмечался переходный характер этой главы романа. С пятой главой связано уже окончательное утверждение новой, реалистической системы, исключившей для Пушкина возвращение к принципам романтической поэмы. Взаимодействие четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» с «Графом Нулиным» оказалось существенным фактором эволюции как стихотворного эпоса, так и творчества Пушкина в целом.

Четвертая глава «Евгения Онегина», писавшаяся в Михайловском в течение продолжительного времени — с конца 1824 до начала 1826 г., в пушкинском плане 1830 г. имеет наименование «Деревня» (VI, 532), что указывает на решающую роль в ней картин сельской жизни, в особенности времяпрепровождения Онегина в деревне, естественно соотносимых с объектом изображения в «Графе Нулине». Правда, в целом содержание этой главы шире одной лишь деревенской темы; однако доминируют в ней именно картины сельской жизни, преимущественно в двух ее аспектах: повседневного быта помещичьей усадьбы и деревенского пейзажа. В их изображении и сказалось прежде всего то новое, что было привнесено в роман начиная с этой его главы, хотя и тому и другому уделялось видное место и в предшествовавших главах «Евгения Онегина».

Подход к изображению деревенской жизни в четвертой главе существенно изменяется, и это оказывает влияние на принципы повествования в ней. Прежде всего сказывается это на образе «автора», явно обнаруживающего свою причастность к деревенской жизни, приверженность к которой он неоднократно декларировал и ранее. Пушкин прямо заявлял: «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь» (XIII, 280). Однако в процессе работы наиболее автобиографические детали были исключены Пушкиным из окончательного текста в связи со стремлением преодолеть чрезмерное сближение «автора» и героя, наметившееся было в четвертой главе.¹⁸ Все же роль «автора-повествователя» остается в главе очень активной. Об этом свидетельствуют неоднократные вторжения прямого голоса «автора» («Вы согласитесь, мой читатель, Что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель...» — VI, 80; «А что ж Онегин? Кстати, братья! Терпенья вашего прошу...» — VI, 88, и т. д.), его эмоциональные оценки («Невольно, милые мои, Меня стесняет сожа-

¹⁶ Томашевский Б. Пушкин, кн. 1, с. 646, 653.

¹⁷ Там же, с. 619, 653.

¹⁸ См.: Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 153—154.

лень; Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!» — VI, 83), наконец, многочисленные отступления, создающие, как это неоднократно отмечалось, иллюзию движения в четвертой главе «Евгения Онегина», лишенной внешне развитого действия. Все эти общие принципы широко представлены и в предшествующих главах романа, но наиболее наглядно проявили себя именно в четвертой главе. Это в первую очередь касается лирических отступлений, механизм сцепления которых с основным сюжетным действием представлен здесь особенно отчетливо.

Вся центральная часть четвертой главы «Евгения Онегина» (строфы XXIV—XXXV) сводится в сущности к длинной цепи отступлений, перемежающихся небольшими сюжетными вкраплениями, вызывающими по ассоциации эти отступления. Только три строфы (XXV—XXVII) содержат в себе непрерывное описание «счастливой любви» Ленского к Ольге; в остальном повествование о героях занимает всего несколько строк. Единство впечатления при этом, однако, сохраняется, что является следствием объединяющего весь контекст авторского начала, хотя сам образ «автора» в этом контексте и не однозначен.

Важно, однако, другое: закрепляя принципы, определявшие характер повествования в предшествующих главах романа (особенно третьей), четвертая глава «Евгения Онегина» наглядно демонстрирует тенденцию к большей его объективности. «Автор» как субъект повествования обычно мотивирует переходы от одного внешнего объекта к другому, и сами отступления способствуют этой мотивировке, расширяя сферу изображаемого и подчеркивая типичность его. Впрочем, это не исключает возможности проявления авторской эмоции, причем даже тогда, когда, казалось бы, воспроизводится точка зрения героя: «И вспомнил он Татьяны милой И бледный цвет, и вид унылый» (VI, 77).

В описании деревенской жизни Онегина эти особенности повествования обнаруживаются особенно отчетливо. Внешнее описание предмета сочетается здесь с выражением авторского отношения к нему, которое проявляется и в прямых, и в косвенных формах. В последнем случае наиболее часто используется пейзаж, резко отличный от пейзажей в предшествующих главах «Евгения Онегина». Пейзаж этот одновременно оказывается и объективной картиной русской природы, и глубоко эмоциональным выражением отношения «автора» к изображаемому. При этом характер картин природы согласован с описанием жизни Онегина:

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцалуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая...

(VI, 89)

«Вседневные занятия» Онегина, его деревенский быт и окружающая его природа в равной мере представляют русскую жизнь в ее обыденных проявлениях. В том же эмоционально-стилистическом ключе дается следующая картина:

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева...

(VI, 90)

В обоих случаях мы имеем дело с подчеркнутой простотой изображения. Картины природы и детали повседневного деревенского быта слиты воедино, составляя неразрывное целое. В результате создается впечатление особой достоверности изображаемого. Тенденция к воплощению жизни с ее наиболее «прозаической» стороны отчетливо обнаруживается именно с четвертой главы «Евгения Онегина» и одновременно — уже подчеркнуто полемически — в «Графе Нулине»:

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкой снег,
Да вой волков...

(V, 3)

В сложном переплетении жизненных и творческих импульсов, вызвавших к жизни замысел «Графа Нулина»,¹⁹ «Евгению Онегину» бесспорно принадлежит первое место. «Мысль пародировать историю и Шекспира» (XI, 188) возникает у Пушкина в связи с недавней работой над «Борисом Годуновым». Однако тема «Графа Нулина» и характер ее разработки сближают поэму в большей степени с «Евгением Онегиным», к которому она примыкает и в жанровом отношении. Не имея прямого жанрового обозначения в подзаголовке (см., однако, заглавие совместного издания «Графа Нулина» с «Балом» Е. А. Баратынского: «Две повести в стихах»), «Граф Нулин» чаще всего, начиная с первого упоминания о нем в письме П. А. Плетневу (XIII, 266), определялся Пушкиным как «повесть» (ср. также в заметке о «Графе Нулине»: «я <...> в два утра написал эту повесть» — XI, 188). Для Пушкина применительно к его стихотворному эпосу не свойственны, правда, жесткие жанровые обозначения; в частности, тот же «Граф Нулин» одновременно именуется им то «поэмой», то «сказкой» (ср. XI, 98 и 156). А. Н. Соколов генетически возводит «Графа Нулина» к жанру «сказки», бытовавшему в русской литературе конца XVIII—начала XIX в.²⁰ Однако в данном случае близость к «Евгению Онегину» оправдывает представление о «Графе Нулине» именно как о «повести в стихах».

Повествовательные принципы «Графа Нулина» близки к «онегинским», хотя Пушкин и отказывается здесь от строфического строения, возвращаясь к астрофической форме своих прежних поэм. Жанр шуточной стихотворной повести требовал принципиально иной разработки темы, в отличие даже от «Руслана и Людмилы», поскольку современной бытовой «анекдот», лежащий в основе сюжета «Графа Нулина», нуждался в ином подходе и вызывал иное отношение субъекта повествования к его объекту, чем этого требовал сказочный материал юношеской поэмы Пушкина, не говоря уже о его романтических поэмах. В то же время в «Евгении Онегине» был разработан принцип сюжетного стихотворного повествования о современности, который оказался вполне применимым и к «Графу Нулину» — повесть, отпочковавшаяся от «романа в стихах» и параллельной ему. Об этом, хотя и в общей форме, в литературе писалось неоднократно. В частности, Г. А. Гуковский говорил о «Графе Нулине» как о поэме, «которую можно рассматривать не только как эпизодический вариант к „Евгению Онегину“, но и как своего рода комментарий к нему».²¹ Действительно, «Граф Нулин» не только восходит

¹⁹ См.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 169—180. Ср.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 73—84.

²⁰ Соколов А. Н. Жанровый генезис шуточных поэм Пушкина. — В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Сб. статей к 90-летию Н. К. Пиксамова. Л., 1969, с. 70—78. Ср.: Соколов А. Н. Стихотворная сказка (новелла) в русской литературе. — В кн.: Стихотворная сказка (новелла) XVIII—начала XIX века. Л., 1969 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 39—42.

²¹ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля, с. 84.

к пушкинскому «роману в стихах», но и в резко подчеркнутой форме демонстрирует принципы, объединяющие его с последним.

Пейзаж «Графа Нулина» в этом отношении особенно показателен; он играет принципиально важную роль, обнажая новаторский замысел поэмы, призванной, по определению В. Г. Белинского, «представлять прозу действительности под поэтическим углом зрения». ²² Задача эта была поставлена Пушкиным уже в «Евгении Онегине», особенно в его четвертой главе, но «проза действительности» предстает в романе все же в более сглаженной форме. Поэт не заходит в нем так далеко, как в «Графе Нулине», хотя пути, которыми он шел в том и другом случае, принципиально совпадают.

На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В пзбушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

(VI, 90)

Пушкин иронизировал над критикой, недовольной тем, что он назвал «девою» простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками* (VI, 193). Однако, как отмечал Г. А. Гуковский, дело было даже не в сакраментальном наименовании крестьянской девушки «девою», а в том контексте, в котором это обозначение появляется: «Неприемлемо было появление „девы“, то есть „высокого“, среди коров, хлева, лучины и т. п.» ²³ Соединение «высокого» и «низкого» в поэтическом контексте и явилось результатом новаторского подхода Пушкина к изображению действительности. Еще дальше поэт идет в «Графе Нулине», где «низкое» оказывается предметом поэтического изображения и принципиально исключается какое бы то ни было членение этого предмета на противопоставленные друг другу сферы.

Героиня поэмы, сидящая перед окном с сентиментальным романом в руках,

... скоро как-то развлекалась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом.
Три утки полоскались в луже,
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор...

(V, 5)

Подобной картины мы не встретим в четвертой главе «Евгения Онегина», однако она вполне согласуется с характером пейзажных описаний в этой главе и развивает намеченные поэтом принципы. Показательно, что в черновом тексте четвертой главы романа можно найти сближающее с «Графом Нулиным» нагнетение «низких» реалий:

... весна
У нас не радостна — она
Богата грязью, не цветами
Напрасно манит жадный взор
[Лугов] пленительный узор
Певец не свищет на<д> водами,
Фиалок нет, и вместо роз
В полях растопленный навоз

(VI, 359—360; ср.: XVII, 46)

²² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, М., 1955, с. 429.

²³ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля, с. 159.

И далее:

Кибитки, песни удалые
Двойные стекла, банный пар —
Халат, лежанка и угар.

(VI, 361)

Таким образом, характер описаний в «Графе Нулине» обусловлен наметившимися уже в четвертой главе «Евгения Онегина» творческими принципами. Закрепляя их в своей художественной практике, автор утверждает возможность широкого введения деталей «низкого» быта в поэтический контекст. Это, как известно, вызвало резкие протесты критики, отвергавшей подобный путь. Но в задачу Пушкина — автора «Графа Нулина» и центральных глав «Евгения Онегина» — входило сознательное утверждение того, что предметом поэтического изображения может быть не только традиционно «высокое», но и «низкое», которое ранее было уделом строго определенных жанров, где оно выступало как предмет, достойный осмеяния и отвержения. Можно, конечно, вслед за Пушкиным сопоставлять «Графа Нулина» со «сказками», но необходимо иметь в виду его принципиальное отличие от произведений этого жанра, за которым традицией было закреплено изображение «низких» сторон действительности. «Граф Нулин», несмотря на свой шуточный характер, неотделим от других поэм Пушкина и «Евгения Онегина», что и объясняет особую резкость реакции на него современной поэту критики.

Пейзаж и другие описания «Графа Нулина» наиболее резко обнаруживают черты, свойственные произведению в целом. Взаимоотношения «автора» с миром, им изображаемым, несмотря на принципиальную общность с такими же взаимоотношениями в романе, строятся здесь несколько иначе, чем в «Евгении Онегине». Совпадая в основном с изображенным в романе бытовым фоном, на который проецируются судьбы главных героев, среда, воспроизведенная в «Графе Нулине», противостоит «автору», предопределяя иронический и сатирический контекст поэмы в целом. Отсутствие героев, подобных центральным персонажам «Евгения Онегина», исключает возможность совпадения сфер сознания «автора» и его героев, что, естественно, усиливает внешний по отношению к «автору» характер повествования. «Граф Нулин» — это рассказ о бытовом происшествии, причем автор специально оговаривает не только правдоподобие воспроизводимого «анекдота», но и его соответствие якобы действительно имевшему место происшествию. Роль «автора» в «Графе Нулине» по сравнению с «Евгением Онегиным» менее активна, но само повествование строится аналогично тому, как оно осуществляется в романе.²⁴ Однако в некоторых случаях «автор» прямо вмешивается в действие поэмы:

К несчастью, героиня наша...
(Ах! я забыл ей имя дать.
Муж просто звал ее: Наташа,
Но мы — мы будем называть:
Наталья Павловна)...

(V, 4)

Б. М. Эйхенбаум отмечал свойственные «Графу Нулину» «резкие разговорные интонации, придающие стиху характер обыкновенной прозаической речи».²⁵ Эта особенность поэмы тоже несомненно является следствием выражения в ней повествовательных принципов «Евгения Онегина», хотя одновременное ослабление авторской активности, связанное, возможно, с отказом от строфической формы, скорее сближает ее с предшествующими пушкинскими поэмами. Б. В. Томашевский, в част-

²⁴ О роли авторского «я» в «Графе Нулине» см.: Hielscher K. A. S. Puškins Versepik. Autoren-Ich und Erzählstruktur. München, 1966, S. 80—88.

²⁵ Эйхенбаум Б. О поэзии, с. 169.

ности, видел в «Графе Нулине» развитие принципов, намечавшихся прежде в «Братьях разбойниках». ²⁶ Ориентированность одновременно и на прежние поэмы и на «Евгения Онегина» при преобладании связей с последним особенно характерна для «Графа Нулина». С одной стороны, мы находим в поэме хотя и единственное, но вполне «по-онегински» звучащее отступление («Кто долго жил в глуши печальной...» — V, 5); с другой — распространенное на целый небольшой «абзац» ассоциативное сопоставление пробирающегося к спальне героини графа с преследующим свою жертву котом, т. е. развитие одного из найденных еще в «Руслане и Людмиле» повествовательных приемов (сопоставление похищения Людмилы Черномором с нападением коршуна на курицу, которую он отнимает у петуха, — IV, 27; ср. также ассоциативное сближение поэтом смятения пораженной Русланом живой головы с «плохим питомцем Мельпомены», остановленным внезапным свистом недовольной публики, — IV, 45—46). ²⁷

Правда, в отличие от «Руслана и Людмилы» прием этот в «Графе Нулине» приобретает несколько иной смысл благодаря тому, что возникающий поэтический образ соответствует общей тональности и стилистической природе художественных описаний в этой поэме, в то время как прежде ассоциация возникала по контрасту с предметом изображения, на чем и строились ее неожиданность и эффективность. В беловых рукописях «Графа Нулина» Пушкин, описывая переживания своего героя, решившего, что он упустил счастливый случай воспользоваться явной благосклонностью хозяйки, вводил несколько сравнений, опущенных в окончательном тексте поэмы:

Ему не спится — бес не дремлет,
 Вертится Нулин — грешный жар
 Его сильней, сильней объемлет,
 Он весь кипит как самовар
 Пока не отвернула крана
 Хозяйка нежною рукой —
 Иль как отверстие вулкана
 Или как море под грозой
 Или — сравнений под рукой
 У нас довольно — но сравнений
 Бойтся мой смиренный гений,
 Живей без них рассказ простой.

(V, 170)

Само сближение в этом контексте кипящего самовара с «вулканом» или с «морем под грозой» создавало комический эффект благодаря соединению традиционно «высокого» с «низким» и обнажало пародийную основу «Графа Нулина». Пушкин отказывается в окончательном тексте от этих конкретных сопоставлений, но сохраняет самый принцип, сближая в соответствии с исходным замыслом поэмы изображаемую им ситуацию с сюжетом шекспировской «Лукреции». Ироническое приравнение героев к литературным «прототипам» искажает, по словам В. В. Виноградова, «бытовой облик героев». ²⁸ Возникающее при этом кажущееся «возвышение» ситуации («К Лукреции Тарквиний новый Отправился на все готовый» — V, 10) тут же оборачивается резким ее снижением сперва путем уже упомянутого ассоциативного сопоставления Нулина с крадущимся за мышью котом, а затем благодаря ее неожиданному исходу («Она Тарквинию с размаха Дает — пощечину. Да, да, Пощечину, да ведь какую!» — V, 11). Комизм возникает здесь, как на это обратил внимание Г. А. Гуковский, в самом совмещении имени Тарквиния, примененного к Нулину, и пощечины, которую тот получает (си-

²⁶ Томашевский Б. Пушкин, кн. 2. Материалы к монографии (1824—1837). М.—Л., 1961, с. 386.

²⁷ Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 138—139.

²⁸ Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 453.

туация, невозможная в древнем Риме, не знавшем символического значения пощечины, возникшего в средние века).²⁹ Подобное использование литературных имен, вызывающих соответствующие литературные ассоциации и способствующих возникновению дополнительных смыслов, можно встретить и в «Евгении Онегине» («Сей Грандисон был славный франт, Игрок и гвардии сержант» — VI, 45; ср. в четвертой главе: «Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в задумчивую лень...» — VI, 91). Однако в «Графе Нулине» этот прием более тесно связан с первоначальным пародийным замыслом произведения; имена Тарквиния и Лукреции в окончательном тексте обнаруживают эту пародийную основу, хотя в целом в тексте поэмы она проявляется неявно.

«Граф Нулин», таким образом, многообразно соотносится с «Евгением Онегиным», причем конкретные проявления этого соотношения весьма многочисленны,³⁰ предшествующая работа поэта над стихотворным романом способствовала появлению стихотворной повести в том виде, в каком она была написана Пушкиным. Но, с другой стороны, работа над «Графом Нулиным», как это неоднократно отмечалось исследователями, в свою очередь отразилась в последующей разработке «романа в стихах». Это наглядно демонстрируют уже последние строфы четвертой главы «Евгения Онегина», создававшиеся одновременно с поэмой, а частично и после ее завершения. Характерно, например, начало XLIII строфы, датированной 2 января 1826 г. («Граф Нулин», по свидетельству Пушкина, был написан 13 и 14 декабря 1825 г.):

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Неволью докучает взору
Однообразной наготой.

(VI, 91)

Но в еще большей степени опыт «Графа Нулина» сказался в последующих главах «Евгения Онегина», особенно в пятой, в которой сюжетное действие романа начинает приобретать более четкие очертания. Ранее развивавшееся медленно, оно теперь резко ускоряется, стремительно продвигаясь, особенно с середины главы к кульминационной сцене дуэли. Возрастает в связи с этим роль собственно повествовательного начала. На фоне предшествующих глав романа пятая выделяется меньшим числом отступлений, что иронически отмечено в одном из них «автором» («И эту пятую тетрадь От отступлений очищать» — VI, 114). Концовка главы лишена также обычного для «Евгения Онегина» завершающего каждую главу отступления.³¹ Всем этим подчеркивается композиционная роль пятой и шестой глав романа, завершивших первоначально намеченную первую часть «Евгения Онегина».

Существенно меняется в указанных главах и характеристика основных героев, особенно Татьяны. Пятая глава не только по-новому воссоздает ее внутренний облик, подчеркивая национально-народную основу характера героини, но и ставит образ Татьяны в равноправное с Онегиным положение в системе образов романа: «единодержавие» героя отвергается, таким образом, окончательно.³² После «Цыган» такое авторское решение становилось неизбежным.

²⁹ См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля, с. 75—76.

³⁰ См. указание Б. В. Томашевского на связь функции варваризмов в «Графе Нулине» со стилистической ролью последних в «Евгении Онегине»: Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л., 1959, с. 136—137.

³¹ См.: Рыбникова М. А. Автор в «Евгении Онегине». — В кн.: Рыбникова М. А. По вопросам композиции. М., 1924, с. 38; Винокур Г. О. Слово и стих в «Евгении Онегине». — В кн.: Пушкин. Сб. статей. М., 1941, с. 174—175.

³² Ср.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля, с. 168.

Изменение роли Татьяны в структуре повествования особенно сказывается именно в пятой главе, сюжетно наиболее тесно связанной с образом героини. Сон Татьяны, занимающий значительную часть этой главы, играет важную роль в раскрытии внутреннего мира героини, связанного с «простонародным» сознанием, которое причудливо смешивается с увлечением французскими романами. Коренное изменение образа героини, явно противоречащее по существу прежним представлениям о ней, оказывается внешне малозаметным, чему способствует единство повествовательной системы пушкинского романа.

Однако уже данный с точки зрения Татьяны (за исключением первых четырех с половиной стихов) пейзаж, открывающий пятую главу, служит своеобразным введением к новой характеристике героини, сама привязанность которой к родной природе является выражением присущей ей народности. Этот же пейзаж — уже в мотивированной «автором» декларации — оказывается воплощением «низкой» природы, право на изображение которой полемически утверждается в III строфе:

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег. . .

(VI, 98)

Демонстративное введение «низкой» природы противопоставляется, таким образом, «высокой» поэтической традиции («изящное»), которая не только прямо здесь названа, но и охарактеризована стилистически упоминанием стихов П. А. Вяземского.

Опыт «Графа Нулина» сказывается особенно в воссоздании поэтом центрального эпизода пятой главы — именин Татьяны. Выработанные в стихотворной повести приемы сатирического описания провинциального помещичьего быта органично сочетаются с повествовательными принципами «Евгения Онегина», что во многом объясняется совпадением самого предмета описания:

С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

(VI, 108)

Намеченный, как уже говорилось ранее, в «Цыганах» прием «нагнетенного перечисления» (Б. В. Томашевский) применяется теперь Пушкиным и в «Евгении Онегине», но если прежде он служил описанию экзотической обстановки цыганского табора, в которой оказался герой романтической поэмы, то в данном случае используется с совершенно иной целью, подчеркивая обыденность деталей, присущих «низкому» предмету описания. Аналогичную роль играет и перечисление гостей в следующей, XXVI строфе, включающее в себя и указание на соответствующую, новую для «Евгения Онегина», сатирическую традицию: персонажи Фонвизина («Скотинины, чета седая» — VI, 109) и В. Л. Пушкина («Мой брат двоюродный, Буянов» — там же). Все они органично вписываются в общую картину, связывая ее по ассоциации с известными читателю литературными явлениями. Последующая же реакция Онегина («Он стал чертить

в душе своей Карикатуры всех гостей» — VI, 111), закрепляя читательское восприятие, несет в себе и авторскую оценку изображаемого, подобно тому как в начале главы впечатления Татьяны сливались с отношением «автора» к воссозданному им русскому пейзажу.

Возникающий таким образом сложный контекст позволяет объединить несводимые, казалось бы, детали. Так, например, рядом появляются строфы XXXIII и XXXIV. В первой из них иронически описывается замысловатое приветствие Трике, вторая же касается взаимоотношений главных героев: «Он молча поклонился ей; Но как-то взор его очей Был чудно нежен <...> Но взор сей нежность изъявил: Он сердце Тани оживил» (VI, 112—113). Вслед за этим вновь идет ряд строф резко сниженного бытового плана, и на фоне «фламандской» картины сельского бала разыгрывается драматически воспринимаемый Ленским эпизод, служащий поводом для его разрыва с Онегиным: «Пистолетов пара, Две пули — больше ничего — Вдруг разрешат судьбу его» (VI, 116).

Противоречивое сочетание сатирического бытописания с развитием сюжетной линии определяет характер центрального эпизода пятой главы «Евгения Онегина». Принципы повествования, воплощенные в ней, оказались продолжением тех тенденций, с которыми связано основное развитие пушкинского стихотворного эпоса, исключая резкое размежевание «низкой» и «высокой» сфер. Сложное переплетение последних придает особую жизненную достоверность изображаемому. В шестой главе романа Пушкин продолжает идти этим же путем.

Показательна в этом отношении резкая антиромантическая направленность этой главы. Характеристика Ленского, включающая размышления «автора» о возможной судьбе поэта в будущем, несет в себе критическую оценку романтического сознания и романтической поэзии. В центре внимания «автора» оказывается элегия Ленского, цитата из которой, представляющая, как известно, пародийный набор штампов романтической элегии,³³ заключена в строфический контекст, а не выделена, подобно письму Татьяны, в самостоятельную композиционную единицу. Как показал Б. В. Томашевский, это позволило ввести стихи Ленского в иронический поток речи «автора», с которой в «Евгении Онегине» связана именно «онегинская строфа».³⁴ Голос «автора» звучит здесь как проявление трезвого рационалистического начала, противостоящего «любовной чепухе» Ленского, его «темной и вялой» поэзии, не имеющей ничего общего с подлинным романтизмом. «Евгений Онегин» включается, таким образом, в ряд полемических выступлений Пушкина, связанных с утверждением «истинного романтизма», соотносимого, как это неоднократно отмечено в литературе, с представлением о реализме, окончательно восторжествовавшем в пушкинском «романе в стихах». Столкновение двух точек зрения оказывается в итоге, как это вообще характерно для «Евгения Онегина», путем утверждения истины, лежащей за пределами субъективных точек зрения и противостоящей им как объективное начало.

Подобную же роль играет в шестой главе и обсуждение возможностей, заключенных в Ленском, размышление об ожидавшей его судьбе. Белинский был едва ли прав, утверждая, что «обыкновенный удел»³⁵ обязателен для людей типа Ленского; Пушкин не столь категоричен, и резко сниженная, в духе описаний «Графа Нулина» и пятой главы «Евгения Онегина», характеристика второго возможного пути Ленского не является для него безусловной. Перед нами вообще очень сложный контекст. С одной стороны, в строфах XXXVI и особенно XXXVII образ поэта окружен ро-

³³ См., например, в кн.: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина. М., 1950, с. 241—242.

³⁴ Томашевский Б. В. Стих и язык. Филологические очерки. М.—Л., 1959, с. 322—324.

³⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 472.

мантическим ореолом, возникающим как отражение присущего ему сознания:

... Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

(VI, 133)

В следующей же, сдвоенной строфе, XXXVIII—XXXIX, происходит резкое снижение тона, и бытовые реалии, на которых строится данный контекст, контрастируют романтическим атрибутам предшествующей характеристики:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел.
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

(VI, 133—134)

Г. А. Гуковский видит в этой сдвоенной строфе проявление «речевой стихии» «автора», точку зрения которого полностью и выражает, по его мнению, это второе предположение.³⁶ Справедливее, однако, было бы и здесь видеть «объективированное» изображение: язык этой строфы не столько мотивирован «автором», сколько самим предметом изображения, совпадающим с предметом предшествующей, пятой главы. Такое изображение естественно ориентировано на найденные уже там, вслед за «Графом Нулиным», средства лексической характеристики. Возникающая благодаря этому множественность точек зрения на один и тот же предмет создает условия для его разностороннего освещения, что является существенно важным для выработки у читателя объективного представления о судьбе героев в романе.

Характерно, что точка зрения «автора» не совпадает ни с одним из возможных предположений и лежит как бы вне их, допуская одновременно и то и другое и не считая вместе с тем обязательным ни одно из них:

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!

(VI, 134)

Непосредственное выражение «авторского» начала в шестой главе «Евгения Онегина» связано преимущественно с «нейтральным стилем» изложения, простота которого ориентирована на сниженное, бытовое восприятие объекта. Это проявляется в собственно повествовательном контексте, в частности в описании приготовлений героев к дуэли:

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули
И щелкнул в первый раз курок.

(VI, 129)

³⁶ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля, с. 236.

В целом, однако, стилистическая полифония, свойственная «Евгению Онегину», характерна и для шестой главы, развивающей и усложняющей ранее уже найденные и развитые поэтом в предыдущих главах повествовательные принципы. Собственно повествовательное начало здесь, как и в пятой главе, выдвигается на первый план, сохраняется и динамизм изложения, открыто демонстрируемый «автором»: «Вперед, вперед, моя история! . . .» (VI, 118). Однако одновременно резко выражена в шестой главе романа и субъектная сфера, с проявлением которой связан не раз уже отмечавшийся в литературе трагический тон главы, вызванный как драматизмом воспроизведенных в ней событий, так и конкретными обстоятельствами времени, когда создавалась глава, законченная в августе 1826 г. Проявляется это, в частности, в концовке главы — в лирических строфах (XLIII—XLVI), тесно связанных со стихотворениями Пушкина тех лет и противопоставленных предшествующей лирике:

Ужель и впрямь, и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей уже возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

(VI, 136)

Лирика эта, драматическая и торжественная, хотя и не лишенная иронии («Мечты, мечты! где ваша сладость? Где вечная к ней рифма *младость?* . . .» — VI, 136), внутренне связана с темой Ленского в шестой главе. Прощание с романтизмом, с юностью («Но так и быть: простимся дружно, О юность легкая моя!» — VI, 136) выступает как лирический эквивалент темы Ленского. Переломный момент в жизни автора соотносится и с изменением характера его творчества:

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.

(VI, 135)

Упоминание о прозе в конце шестой главы «Евгения Онегина» очень знаменательно (ср. в беловой редакции XL строфы пятой главы: «В стихах и прозе исправляться» — VI, 609): к этому моменту Пушкин вплотную подходит к необходимости выхода за пределы стихотворного эпоса. По словам Б. М. Эйхенбаума, переход Пушкина к прозе был подготовлен «Евгением Онегиным»: здесь, писал он, «начало сюжетных построений, которые не нуждаются в стихе».³⁷ Пушкину становилось тесно в пределах стихотворного эпоса, дальнейшее развитие которого требовало новых решений, ставших возможными в процессе взаимодействия этого эпоса с прозой.

Таким образом, жанрово-структурные взаимоотношения «Евгения Онегина» с создаваемыми одновременно поэмами Пушкина чрезвычайно многообразны. Их анализ позволяет наглядно показать единство пушкинского стихотворного эпоса, в котором «роман в стихах» занимает центральное место, синтезируя в себе свойственные стихотворному эпосу в целом повествовательные тенденции. «Евгений Онегин» наиболее полно обнаруживает его внутреннюю динамику и характер определяющих его развитие изменений. С этим, в частности, связано и стремление Пушкина к тому, что Б. С. Мейлах обозначил как «авторскую экспозицию творческих принципов», представляющую существенный для понимания «Евгения Онегина» структурный принцип «романа в стихах».³⁸ Создавав-

³⁷ Эйхенбаум Б. М. О поэзии, с. 26.

³⁸ См.: Мейлах Б. Талант писателя и процессы творчества. Л., 1969, с. 139—160.

шийся в течение длительного времени, «Евгений Онегин», вступая в соприкосновение с другими произведениями, неизбежно воздействовал на них, одновременно воплощая в себе то новое, с чем было связано каждое из этих произведений. Вызванное движением пушкинского творчества в целом, такое взаимодействие оказывалось одновременно важным фактором дальнейшего развития самого «романа в стихах». Путь, который поэт проходит от «Евгения Онегина» к «Цыганам» и от «Цыган» к «Графу Нулину», закрепляя его отказ от романтизма и окончательное утверждение на реалистических позициях, одновременно являлся и путем к прозе, переход к которой знаменует одну из важнейших особенностей творческого развития Пушкина на рубеже 1830-х годов.

В стихотворном эпосе Пушкина меняются отношения между субъектом и объектом повествования, отчетливо разграничиваются сферы мышления и чувствования героев и самого «автора», что обуславливает большую объективность всего повествования. По-своему эта тенденция преломилась в виде предельной драматизации «Цыган» и специфически отразилась затем в «Евгении Онегине». Эта же тенденция приводит к разрушению жестких жанрово-стилистических границ между «высоким» и «низким» в «Графе Нулине» и в «романе в стихах». Общие творческие принципы, выработанные Пушкиным, хотя и по-прежнему, проявляются затем в его прозаическом повествовании, вступающем в сложное взаимодействие с повествованием стихотворным. Развитие пушкинского стихотворного эпоса в дальнейшем тесно связано с процессами, происходящими в прозе Пушкина. Это сказалось уже в последних главах «Евгения Онегина», но в еще большей степени в поэме «Домик в Коломне», которая берет начало, как и «Граф Нулин», в опыте стихотворного романа и одновременно тесно связана с создававшимися в тот же период «Повестями Белкина».³⁹ Внутренняя логика развития стихотворного эпоса Пушкина закономерно приводила его к такому жанрово-стилистическому результату и вместе с тем открывала перед пушкинской поэзией новые творческие возможности.

³⁹ Подробнее см.: Сидяков Л. С. Поэма «Домик в Коломне» и художественные искания Пушкина рубежа 30-х годов XIX века. — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1968, с. 3—14.





Н. Н. ПЕТРУНИНА

«ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ» И РУССКАЯ ПОВЕСТЬ 1830-х ГОДОВ

1

«Египетские ночи» — сложное художественное единство. Повесть возникла на пересечении ряда тематических комплексов, долгое время независимо друг от друга присутствовавших в сознании Пушкина, и явилась своеобразным итогом напряженных исканий поэта, ранее получивших отражение в многочисленных замыслах, стихотворных и прозаических, осуществленных и оставшихся незавершенными.

Интересны «Египетские ночи» и в другом отношении. Со времени создания «Повестей Белкина» жанровые формы, которые разрабатывал Пушкин, постоянно усложнялись. Причем опыты Пушкина-прозаика чем далее, тем более учитывали искания его современников. Если в «Повестях Белкина» традиционные темы и сюжеты сентиментальной и романтической повести, как правило, подвергались ироническому переосмыслению, то позднее Пушкин, обращаясь к все более сложным характерам и ситуациям, в определенной мере ассимилирует достижения современной романтической прозы. «Египетские ночи» — важная веха на этом пути.

Предыстория «Египетских ночей» неоднократно служила предметом специального рассмотрения. В настоящее время результаты, накопленные в ходе изучения отдельных замыслов, которые вобрали в себя «Египетские ночи», позволяют охарактеризовать эти замыслы, их изменение и развитие в контексте более общих и принципиальных вопросов творчества Пушкина.

Наиболее раннее звено в предыстории «Египетских ночей» — стихотворение «Клеопатра», написанное в октябре 1824 г. Ко времени его создания Пушкину были известны различные литературные, сценические и живописные интерпретации образа египетской царицы. Не исключено и знакомство поэта с трагедией Шекспира «Антоний и Клеопатра».¹ Тем любопытнее, что Пушкина заинтересовало малоизвестное предание о Клеопатре.

Предшественники Пушкина, как правило, исходили из Плутарха. Кроме драматического эпизода смерти Клеопатры их привлекали по преимуществу отношения царицы с героями римской истории — Юлием Цезарем и Антонием. Внимание Пушкина остановило показание другого источника, авторство которого традиция приписывала римскому историку Аврелию Виктору, — «De viris illustribus urbis Romae», где к сухой исторической справке о Клеопатре прибавлено несколько слов, свободных от «приподнятого тона истории» (XII, 195). Современник Байрона и

¹ См.: Алексеев М. П. А. С. Пушкин. — В кн.: Шекспир и русская культура. М.—Л., 1965, с. 165.

В. Скотта, Пушкин, по-видимому, не случайно избрал сюжет, который позволял представить Клеопатру не в кругу царей и героев, а в среде безвестных, вымышленных лиц. Раскрепощая творческое воображение художника, этот сюжет одновременно давал возможность вывести Клеопатру из условного мира высокой трагедии и сообщить ее образу черты романтической героини.

«Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала собой, такой красотой, что многие покупали ее ночь ценою смерти», — гласил пушкинский источник. Скупое его свидетельство поэт развил и конкретизировал, пересмыслив образ героини. Ничто в стихотворении 1824 г. не говорит о сладострастии Клеопатры. Ее царственная гордость и холодность полагают преграду между ней и толпой ее поклонников. Окруженная искателями, она не верит в искренность их славословий и глубину их чувств. Отсюда «презренья хладное» ее вызова. Тем не менее он принят. Из безликой толпы пирующих выходят трое, и каждый противопоставляет силе презрения Клеопатры свою внутреннюю силу. Каждого поэт наделяет особыми побуждениями, делает носителем особого мировосприятия. «Равенство» с царицей, купленное на одну ночь ценой жизни, оборачивается высшим равенством Клеопатры и ее искателей перед лицом поэзии.

В 1824 г. работа над стихотворением «Клеопатра» велась параллельно с завершением «Цыган», с созданием очередных глав «Онегина», «Подражаний Корану». Б. В. Томашевский сопоставил «Клеопатру» с рядом близких по времени стихотворных опытов («Ночной зефир», «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья») и др.) и справедливо заключил: «Быть может, подражания Корану послужили начальным толчком, чтобы мысленно переселиться в чуждую обстановку, далекую по правам и образу мысли от привычного уклада жизни». ² Однако не менее важно подчеркнуть и другое. Достаточно сопоставить «Клеопатру» с начальными строками «Бахчисарайского фонтана», чтобы ощутить внутреннее родство между «Египта древнего царицей» и ханом Гиреем. Они сближены и гордым одиночеством среди раболепствующей толпы, и усталостью чувств. Душевная холодность, неверие в любовь сближают Клеопатру и с другими персонажами Пушкина — Демоном и Онегиным. Перед нами не «совершенства образец». О героях, подобных ей, поэт сказал:

Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в увялый романтизм
И безнадежный эгоизм.

(VI, 56)

Как увидим ниже, при последующих обращениях к тексту 1824 г. поэт все более усиливал романтическое начало в облике Клеопатры.

Таким образом, нельзя согласиться с конечным выводом Б. В. Томашевского, будто замысел «Клеопатры» «не связан с другими замыслами того же времени» и «трудно решить, что заставило Пушкина обратиться к этому сюжету». ³ Решение психологической загадки Клеопатры было для поэта одним из подступов к воспроизведению сложного и противоречивого характера современного человека. Думается, что в этом причина неоднократных возвращений Пушкина к «египетскому анекдоту», причем тема Клеопатры чем далее, тем теснее сопрягалась с размышлениями поэта над бытом и нравами современного ему общества.

Отложив «Клеопатру» в 1824 г., Пушкин вернулся к ней через четыре года, когда была создана вторая редакция стихотворения. ⁴ Совершенство

² Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2. М.—Л., 1961, с. 57.

³ Там же, с. 55, 57.

⁴ Здесь и далее мы опираемся на текст этой редакции, уточненный Б. В. Томашевским, см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI. М., Изд. АН

вание текста коснулось не только поэтической формы: Пушкин затронул и более глубокие стороны поэтики, углубил самую ситуацию и образ героини. Холодный вызов сменился в словах Клеопатры порывом дикого вдохновения, который отзывается в окружающей ее толпе ужасом и страстью. Действие обретает стремительность и драматизм. В гордой и презрительной царице нарастает душевное движение: ясная смелость искателей смиряет ее гордость, а неподдельное юношеское чувство третьего из них рождает в ней умиление и грусть.

Вряд ли возвращение к «Клеопатре» в 1828 г. было случайным. Летом этого года Пушкин написал стихотворение «Портрет», а в октябре Е. А. Баратынский кончил поэму «Бал». Эти произведения объединяет характер героини — страстной женщины, пренебрегающей условиями света. Прообразом ее была А. Ф. Закревская, которую позднее, в восьмой главе «Евгения Онегина», Пушкин назвал «Клеопатрою Невы». К 1828 г. относится и первый из подступов Пушкина к повести из светской жизни — «Гости съезжались на дачу...», в героине которой, Зинаиде Вольской, давно и справедливо подмечены черты, сближающие ее с той же А. Ф. Закревской. Трудно сказать, мыслились ли в 1828 г. история Клеопатры и история Вольской как звенья одного замысла. Несомненно другое: «древний анекдот» разрабатывался среди размышлений о «беззаконной комете» современности, о происхождении ее «бурных страстей» и о судьбе, уготованной ей в мире «расчисленных светил».

После 1828 г. образ египетской царицы на время исчезает из творчества Пушкина. Вновь он всплывает в планах незавершенной «Повести из римской жизни», работу над которой предположительно датируют ноябрем 1833—1835 гг. Если в годы михайловской ссылки итогом изучения Тацита явились «Замечания» на его «Анналы», где внимание Пушкина сосредоточено на политической жизни императорского Рима, соотносенной с русской историей и современностью, то теперь обращение к римскому источнику ведет к иным результатам. От опытов стихотворной стилизации, столь многочисленных и разнообразных в его творчестве начала 1830-х годов, Пушкин переходит к стилизации прозаической. Рассказчик «Повести из римской жизни» — римлянин эпохи Нерона, свидетель и участник описываемых событий.

Среди жертв Нерона, о которых свидетельствует Тацит, Пушкина привлекала судьба писателя — Петрония. Вряд ли это можно признать случайным, если вспомнить об упорных возвращениях Пушкина к теме взаимоотношений писателя (будь то Тредьяковский или Вольтер) с «мирской властью» и ее носителями. Другой мотив, не менее важный для повести, — мотив смерти и отношения к ней — также связывает ее с рядом близких по времени замыслов. Достаточно напомнить о таких несходных произведениях, как «Видение короля» и «Похоронная песня Иакинфа Маглановича» из цикла «Песни западных славян», как «Полководец» и «На Испанию родную...». В «Повести из римской жизни» мотив отношения к смерти, поведения перед ее лицом позволил Пушкину сопоставить трех античных авторов — грека Анакреона и римлян Горация и Петрония. Это осуществляется посредством введения в прозаический текст стихотворных вставок — пушкинских переводов из од Анакреона и Горация, что позволяет готовящемуся к смерти Петронию высказать сомнение в искренности ужаса Анакреона перед Тартаром и в «трусости Горация» на поле битвы.

В плане «Повести из римской жизни» среди неосуществленных ее эпизодов есть такой: «...начинаются рассказы — 1) О Клеопатре — наши рассуждения о том» (VIII, 936). Можно полагать, что рассказ о Клео-

СССР, 1957, с. 386—389. См. также: Томашевский Б. В. Писатель и книга. Изд. 2-е. М., 1959, с. 252—253, 260—266. Ср.: Томашевский Б. В. Пушкин. кн. 2, с. 57—59.

патре, подобно одам Анакреона и Горация, должен был составить еще одну художественную параллель судьбе Петрония. В таком случае Пушкин мог иметь в виду знаменитую смерть Клеопатры: подобно тому как Петроний умер, «предупреждая» желание Нерона, царица лишила себя жизни, оказавшись во власти Октавия. Если же поэт намеревался использовать здесь свое стихотворение 1828 г., то, согласно замыслу целого, образ царицы скорее всего отступил бы на второй план перед образами тех, кто «купил ее ночи ценою своей жизни» (VIII, 421). Очевидно лишь, что в любом случае рассказ о Клеопатре должен был послужить вариацией основной темы повести.

И тем не менее начало «Повести из римской жизни» по ряду причин заслуживает упоминания в предыстории «Египетских ночей». Прежде всего рассказ о Клеопатре здесь впервые предполагалось включить в рамки прозаической повести с иным сюжетом. И что особенно важно, героем этой повести был писатель, хотя и древний; он любил «гармонию слов» и «писал стихи не хуже Катулла» (VIII, 388). Примечательна и поэтика «Повести из римской жизни»: здесь Пушкин впервые в своей художественной практике ввел стихи в прозаический рассказ, причем принципом соединения стихов и прозы стал сюжетный параллелизм, организованный по законам контрапункта. Параллельные сюжеты не просто варьируют главную тему, они сообщают повествованию поэтическую настроенность, философскую и нравственно-психологическую глубину. Все эти особенности «Повести из римской жизни» предвосхищают «Египетские ночи».

Последний замысел Пушкина, связывающийся с «Египетскими ночами», — незавершенная повесть «Мы проводили вечер на даче» (1835). Она замыкает ряд подступов к повести о судьбе светской женщины, преисполненной общепринятыми нормами и навлекающей на себя гонение общества («Гости съезжались на дачу»; «На углу маленькой площади», 1830—1831). В отрывках «Гости съезжались на дачу» о Клеопатре не сказано ни слова; лишь страстность, порывистость, неудовлетворенность Зинаиды Вольской выдают в ней психологический тип, родственный героине пушкинского стихотворения 1828 г. В новой повести история Клеопатры вплетается в картину живой современности. Имя египетской царицы всплывает в светском разговоре, а свидетельство Аврелия Виктора становится предметом полусерьезного-полуиронического обсуждения для читателей Дюма и Балзака. Основная его тема — различие между законами, нравами, психологией древнего и современного мира. Но среди гостей находятся и романтические беспокойные натуры, которые не дорожат жизнью, отравленной «унынием, пустыми желаниями». Они ощущают в себе «довольно гордости, довольно силы душевной» (VIII, 424, 425), чтобы счесть себя способными повторить и принять условия Клеопатры.

В прозаическую повесть Пушкин теперь включает и стихи о Клеопатре. Алексей Иванович, пересказав врезавшийся в его воображение анекдот Аврелия Виктора, говорит: «Я предлагал** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил» (VIII, 421). Эту незаконченную поэму (а не законченное стихотворение 1828 г.) Алексей Иванович и пересказывает собравшимся на даче. Текст ее он помнит лишь отчасти, и этим, по остроумному замечанию С. М. Бонди, мотивировано чередование в его пересказе прозы и стихов.⁵ Предназначенные для повести стихотворные фрагменты частью написаны вновь, в 1835 г., частью являются переработкой ранее существовавшего текста. От стихотворения 1828 г. новые наброски отличаются два признака. Один из них, подмеченный Б. В. Томашевским, состоит в обилии историко-бытовых аксессуаров, полностью отсутствовавших на первых двух стадиях работы.⁶ Второй — дальнейшее

⁵ Бонди С. М. Новые страницы Пушкина. М., 1931, с. 188.

⁶ Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 60—61.

сближение психологического облика Клеопатры с душевным складом «онегинского» типа:

Зачем печаль ее гнетет?

Утомлена, пресыщена,
Больна бесчувствием она.

(VIII, 422—423)

По плану «Повести из римской жизни» рассказ о Клеопатре должен был прозвучать и стать темой «рассуждений» в обществе, собравшемся у готовящегося к смерти поэта Петрония. Теперь этот план реализуется, но в преображенной форме. Судьба Клеопатры предстает в двух отражениях: в анекдоте Аврелия Виктора и в сложной психологической интерпретации современного поэта. Поэма** о Клеопатре звучит в импровизированном рассказе Алексея Ивановича.⁷ Дружеский кружок Петрония сменился великосветским собранием, но и здесь история Клеопатры вызывает оживленный разговор, побуждает сопоставлять и противопоставлять. Между характерами героини поэмы, египетской царицы, и ее судей обнаруживаются точки соприкосновения, затрагивающие чрезвычайно важные для Пушкина стороны жизни общества и психологии его представителей.

2

Оставив работу над повестью «Мы проводили вечер на даче...», Пушкин уже вскоре, той же осенью 1835 г., начал другую — «Египетские ночи».⁸ Новой повести также суждено было остаться незавершенной.

⁷ Рассказ Алексея Ивановича воспринимается как своеобразная стилизация: так могла бы выглядеть «Клеопатра» в пересказе Гоголя. Что прозаическое описание пира Клеопатры отличается «необыкновенной — исключительной для пушкинской прозы — торжественностью и орнаментальностью стиля», отметил С. М. Бонди (Бонди С. М. Новые страницы Пушкина, с. 188). А. А. Ахматова была «почти уверена», что «тяжелая, почти переводная проза в рассказе Ал. Ив. окажется почти переводом кого-нибудь из французских романтиков» (Вопросы литературы, 1970, № 1, с. 179). Думается, однако, что обнаруженные И. М. Тойбиным (Тойбин И. М. «Египетские ночи» и некоторые вопросы творчества Пушкина 1830-х годов. — Учен. зап. Орловского пед. ин-та, т. 30, 1966, с. 122—124) соответствия между прозаической частью поэмы о Клеопатре и очерком «Ночь в Александрии» (Атеней, 1829, № 16) говорят скорее о типологической, чем о генетической, их связи. Заметим кстати, что предположение И. М. Тойбина, будто «Ночь в Александрии» является переводом нескольких глав романа Ж. Жанена «Барнав» (1831), не подтверждается текстом романа.

⁸ Гипотезичность, отличающая известные попытки датировать повести «Мы проводили вечер на даче» и «Египетские ночи», дала А. А. Ахматовой основание усомниться в неколебности традиционных представлений о последовательности, в которой они возникли. «Возможно, что „Мы проводили...“ и есть последнее пушкинское слово о Клеопатре», — заключила исследовательница (Вопросы литературы, 1970, № 1, с. 180). Если бы предположение Ахматовой подтвердилось, это бросило бы новый свет на внутреннюю логику движения пушкинской мысли. Существует, однако, свидетельство, не только подтверждающее более раннее происхождение фрагмента «Мы проводили...», но и позволяющее несколько уточнить время работы над обеими повестями. Дело в том, что черновые автографы стихотворной части поэмы о Клеопатре (обработка, предназначавшаяся для повести «Мы проводили вечер на даче») и первой импровизации итальянца из «Египетских ночей» («Поэт идет — открыты вежды...») поддаются датировке по положению в рабочей тетради Пушкина (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 846). Первый из этих автографов возник между 15 августа и 16 сентября 1835 г. (т. е. либо в Петербурге, перед отъездом, либо в начале пребывания в Михайловском), а он, как известно, предшествовал тому беловому автографу, который служит основным источником текста «Мы проводили...». Над вторым Пушкин работал основно между 3 и 19 ноября 1835 г., т. е. уже по возвращении из деревни (см.: Петрунина Н. Н. «На выздоровление Лукулла». — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974, с. 340—341, 346; продолжение и переработка «Клеопатры» в 1835 г. здесь ошибочно связаны с «Египетскими ночами»). Думается, это может служить достаточным основанием считать, что «последнее пушкинское слово о Клеопатре» —

В отрывке «Мы проводили вечер на даче» действие завязывалось в гостиной загородного дома княгини Д., в ходе оживленного светского разговора. Первая глава «Египетских ночей» ведет нас в кабинет «одного из коренных жителей Петербурга» (VIII, 263), поэта-аристократа Чарского, которого мы застаем наедине с собой, в минуту творческого вдохновения. Завязкой повести становится посещение Чарского другим поэтом, странствующим импровизатором-итальянцем.

Подобно сюжету о Клеопатре, тема художника-творца имела длительную историю в предшествующем творчестве Пушкина. Но если с середины 1820-х годов она разрабатывалась в стихах, то с 1830 г. Пушкин обращается к ней в драме («Моцарт и Сальери»), в прозаических этюдах и критико-публицистических статьях. Теперь же он впервые делает двух поэтов центральными фигурами прозаической повести из современной жизни (или во всяком случае ее пространной экспозиции, обретающей под пером автора относительную самостоятельность и законченность). «Египетские ночи» трансформировали и усвоили многие темы и образы пушкинских стихотворений о поэте, а одно из них — наряду со стихами о Клеопатре — даже вошло в текст повести. Все это приобретает особый смысл, если вспомнить, что тема человека искусства, художника занимала одно из центральных мест в русской романтической повести начала 1830-х годов, как, впрочем, и в поэзии и драматургии той поры (например, в драмах Кукольника). И хотя в интерпретации темы поэта Пушкин в «Египетских ночах» шел своей дорогой, трудно предположить, чтобы, создавая образы Чарского и импровизатора, он не соотносил бы их в той или иной мере с образами современной ему русской повести о художнике.

Тема поэта-творца имела для романтиков программный характер. В философии романтизма искусство рассматривалось как вершина творческой деятельности человека, а личность художника — как высший идеал личности вообще. Не случайно еще в 1826 г. группа молодых русских романтиков-любомудров, сотрудничавших в журнале «Московский вестник», общими усилиями осуществила перевод романтического аналога «Жизнеописаний» Вазари — изданной Л. Тиком книги В.-Г. Ваккенродера «Об искусстве и художниках» (1797—1799). Свое программное значение тема служителя искусства сохраняет и в творчестве русских повествователей-романтиков 1830-х годов, где она постепенно обогащается новыми красками и мотивами, подсказанными реальными проблемами эпохи в их национальном русском варианте.

Особый вид повествования о художнике разрабатывал В. Ф. Одоевский. Его повести о людях искусства в начале 1830-х годов следовали одна за другой: «Последний квартет Бетховена» (1830), «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi» (1831), «Импровизатор» (1833), «Себастьян Бах» (1835). В стороне стоит «Живописец. Из записок гробовщика» (1839). Все они, исключая «Живописца», тяготели к общему замыслу, определившемуся не позднее 1832 г. Сначала это был «Дом сумасшедших», задуманный как собрание повестей о великих людях, срывающихся среди непосвященных за сумасшедших, ибо, по мысли Одоевского, то, что

«Египетские ночи». Более того, если Пушкин на протяжении четырех месяцев вводил свои стихи о Клеопатре в два разных прозаических замысла, это следует, по-видимому, истолковать как знак того, что к работе над первым из этих замыслов (во всяком случае вне зависимости от второго) он возвращаться не думал. А между тем известный текст «Мы проводили...», особенно во второй своей половине, явно не доработан. Это ни в коей мере не колеблет наблюдения А. А. Ахматовой, настаивавшей на внутренней законченности фрагмента. Добавим лишь, что ближайшим его композиционным аналогом является «Клеопатра» 1828 г., вопрос о завершенности которой также долгое время служил предметом споров. В обоих случаях заключенные героями условия становятся концовкой, а все дальнейшее «происходит, когда занавес уже упал» (Вопросы литературы, 1970, № 1, с. 182).

мы называем безумием, экстаптическим состоянием, бредом, не есть ли иногда «высшая степень умственного человеческого инстинкта? степень столь высокая, что она делается совершенно непонятною, неуловимою для обыкновенного наблюдения?».⁹ Затем этот замысел был поглощен более сложным и обширным — замыслом «Русских ночей», охарактеризованных позднее самим автором как «верная картина той умственной деятельности, которой предавалась московская молодежь 20-х и 30-х годов».¹⁰ Философия искусства, место его в сложной системе взаимодействия природы и человека, человека и общества, специфика искусства как инструмента познания, «задача человеческой жизни»¹¹ и пути достижения полноты существования — вот неполный круг вопросов, составляющих проблематику, общую для большинства повестей Одоевского о художниках. Не случайно в составе «Русских ночей» каждая из них оказалась естественным звеном в развитии общего замысла: в спорах друзей, представляющих разные философские системы современности, повести о художниках приобретают функцию аргументов, взятых из действительности. По свидетельству Одоевского, в качестве их героев «избраны разные лица, которые целою своею жизнию выражали то, что у философов выражалось сжатыми формулами, — так что не словами только, но целою жизнию один отвечал на жизнь другого».¹²

В повести «Последний квартет Бетховена» композитор представлен в конце своего жизненного пути. Болезнь до предела обострила его творческое беспокойство, а его разлад с обществом достиг апогея: не только публика, но и люди музыкального мира не понимают его последних произведений. Смысловый центр повести — монолог Бетховена. В нем раскрываются внутренний мир художника, свойственное ему острое сознание своего творческого предназначения, трагедия его земной жизни. «...когда на меня приходит минута восторга, — говорит композитор, — <...> я предупреждаю время и чувствую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолюдными и мне самому в другую минуту непонятным <...> целый мир для меня превращается в гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями». В этом источник счастья и гордости художника, но в его мук: «бездна» отделяет его «мысль» от «выражения»,¹³ творца от внимающих ему и судящих его людей. Поэтому каждое творческое свершение есть для композитора звено в бесконечной цепи мыслей и страданий.

Примечателен эпиграф «Последнего квартета Бетховена», взятый из «Серапионовых братьев» Гофмана. Он содержит мысль, поясняющую идею цикла «Дом сумасшедших» и вместе с тем поэтику предназначавшихся для него повестей: «С некоторых людей <...> природа или особенные обстоятельства сорвали завесу <...> Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку и тем обнажает движение их мускулов».¹⁴ Каждый из героев повестей Одоевского о художнике — образ-символ. «Особенные обстоятельства», в которые они поставлены, обнажают для стороннего наблюдателя тайны духовной жизни художника. При этом творческая индивидуальность (будь она историческая или вымышленная) для автора лишь средство развить в картине жизни ее носителя одну из граней своей философии искусства. Отсюда роль монолога (исповеди) героя как средоточия философской проблематики повести.

Если в повести о Бетховене «особенные обстоятельства» возникают из реальных условий жизни композитора, то в повести об итальянском ар-

⁹ Библиотека для чтения, 1836, т. XIV, отд. I, с. 62.

¹⁰ Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975 (сер. «Лит. памятники»), с. 192.

¹¹ Там же, с. 191.

¹² Там же, с. 192.

¹³ Северные цветы на 1831 г., СПб., 1830, с. 116—117, 112.

¹⁴ Там же, с. 101.

хитекторе Пиранези автор достигает цели путем ряда хронологических смещений и недоговоренностей, придающих рассказу фантастический колорит. Художник предстает перед рассказчиком в образе легендарного Вечного Жида, которому не дано умереть и суждено вечно скитаться по земле. Повесть допускает и другое толкование, по которому герой ее — реальное лицо, чужак или безумец, отождествляющий себя с Пиранези.¹⁵ Но кем бы ни был этот загадочный персонаж, именно он в надежде на помощь и спасение решает поведать рассказчику «страшную повесть» о «знаменитом и злополучном Пиранези». Снова Одоевский прибегает к исповеди как к средству самораскрытия своего героя.

Для осуществления каждого из грандиозных архитектурных проектов Пиранези «надобно бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия», и в век, когда «деньги становились редки», замыслы художника остались на бумаге, мысль его не достигла воплощения. Призраки невоплощенных порождений его фантазии мучают своего создателя («не дают умереть мне, допытывают меня, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание»). В споре века и романтика-художника победил век, но беда Пиранези обернулась его трагической виной. «Рожденный с обнаженным сердцем поэта, — признается он, повествуя о своих странствиях, — я перечувствую все, чем страдают несчастные, лишенные обители, пораженные ужасами природы». Но как раньше в увлечении гигантоманией Пиранези забывал о людях, так теперь, несмотря на сострадание к ним, он жаждет разрушений, «рукоплещет бурям, землетрясениям» в надежде, что они расчистят место для его созданий.¹⁶

Ту грань философии искусства, которая Одоевскому была особенно дорога в повести о Пиранези, он подчеркнул, назвав героя другой, одновременно писавшейся повести («Бригадир») «русским Пиранези». Бригадир прожил жизнь как в полусне, без чувств и мыслей. Лишь на смертном одре с глаз его упала завеса, в нем пробудилась «жажда любви, самосведения и деятельности, заглушенная во время жизни».¹⁸

И Пиранези, и Бригадир (один в безудержном увлечении своими колоссальными фантазиями, другой — в нравственном оцепенении) забыли о людях. Речь идет здесь уже не об отношении художника к толпе с ее ложными претензиями, а о нравственном долге гения перед человечеством.

К третьей из повестей Одоевского о художнике — «Импровизатору» — мы еще вернемся в связи с тематическими перекличками между нею и «Египетскими ночами». Сейчас нам важны ее главная философская тема, те выводы, которые «Импровизатор» позволяет сделать о самом типе разрабатывавшейся Одоевским повести о художнике и о ее эволюции.

Уже герой повести о Бетховене говорит о «бездне, разделяющей мысль от выражения».¹⁹ Жертвой недовоплощенной мысли становится Пиранези. Иной стороной предстает эта проблема в «Импровизаторе». Поэт Киприано, изнемогая под бременем творческого труда и нужды «в самом

¹⁵ Одоевский считал, что только подобное совмещение двух различных мотивов позволяет ввести чудесное в современное повествование. «Гофман нашел единственную нить, — писал он в начале 1860-х годов, — посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную; так что гордый читатель XIX века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты и овцы целы; естественная склонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа» (Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 189).

¹⁶ Северные цветы на 1832 г., СПб., 1831, с. 58, 53, 59, 62, 63.

¹⁷ См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. II. М., 1913, с. 208.

¹⁸ Новоселье, ч. I, СПб., 1833, с. 505.

¹⁹ Северные цветы на 1831 г., с. 112.

необходимом», решается прибегнуть к чудесной силе доктора Сегелиеля.²⁰ Тот наделяет его способностью «производить без труда» и сопутствующим ей даром «все видеть, все знать, все понимать», обнажившим перед ним тайные силы природы и навсегда уничтожившим для него поэзию жизни. «Высокое наслаждение поэта, довольного своим творением», сменилось у Киприяно-импровизатора «простым самодовольством фокусника, проворством удивляющего толпу».²¹

Муки выражения творческой мысли неотделимы для Одоевского от представления о художнике. Путь от зарождения мысли к ее претворению в произведении искусства труден, но это естественный путь гармонического познания вселенной и человека, художник не должен отклоняться от него. Знание же, чудесно дарованное Сегелиелем, мертво, оно не сближает Киприяно с природой и людьми, а полагает «вечную бездну» между ними.

В «Импровизаторе» композиционная манера Одоевского подверглась усложнению. Монолог художника, повествующего о прожитой им творческой жизни и подводившего ей некий философский итог, уступил здесь место рассказанной автором фантастической истории жизни Киприяно. Прежде Одоевскому было достаточно одной фигуры художника и наметченного в нескольких чертах исторического фона. Рассказ о судьбе Киприяно потребовал введения другого персонажа — Сегелиеля, создания фабулы, позволяющей воспроизвести вершинные моменты истории импровизатора. Таким образом, искусство Одоевского-повествователя не осталось в его повестях о художниках неизменным. О постепенном усложнении творческих задач, которые он перед собой ставил, и методов их разрешения свидетельствует в особенности последняя из повестей, предназначенных для «Дома сумасшедших», — «Себастьян Бах».

Прошлое и будущее искусства, которому служил Бах, в повести символически представляют разные типы людей искусства. Первый из них воплощен в старшем брате Баха — органисте Христофоре. Это благочестивый носитель старых традиций своего ремесла, которое он оберегает от вторжения любых новшеств. «В понятиях Христофора музыка соединялась со всеми семейными и общественными обязанностями».²² Подобен ему и «славный органный мастер» Банделер, к которому Бах поступает в ученики. Противоположностью этим носителям средневековых ремесленных норм предстает другой органный мастер — «странный человек» Иоганн Альбрехт. Встреча с ним — решающее событие для самоопределения Баха-художника. Бескорыстный романтик, энтузиаст искусства, он видит в музыке стихию, приближающую человека к божеству, а во всяком «усовершенствовании орудий сего дивного искусства» — новую победу человеческого духа. Альбрехт открывает Баху глаза на его истинное призвание. Себастьян становится великим музыкантом, но его гениальная музыка имеет и свой предел. И жизнь и искусство Баха — «величественная мелодия», «тихая и безмолвная молитва»,²³ где нет места мятежным и грешным земным страстям. Новый тип искусства идет на смену музыке Баха. Обращенное не к богу и вселенной, а к человеку и миру его страстей, оно олицетворено фигурой певца-итальянца, появление которого разрушает строгую гармонию жизни композитора.

От философской повести, где историческая индивидуальность художника и обстоятельства его жизни служат лишь отправной точкой для

²⁰ Сегелиель — центральная фигура незавершенного произведения Одоевского, дошедшего до нас в виде ряда фрагментов. Дух, вместе с Луцифером отпавший от бога, он затем за жалость к людям и за скорбь о самом Луцифере обречен последним жить человеком среди людей (см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. II, с. 51—68).

²¹ Альдионо на 1833 г., СПб., 1833, с. 71—72, 53.

²² Московский наблюдатель, 1835, май, кв. I, с. 70.

²³ Там же, с. 91, 95, 99.

размышлений об общей природе искусства, его назначении и муках творческого воплощения, Одоевский эволюционировал к повествованию более сложного типа, где жизнь героя выявляет драматизм, свойственный историческому развитию искусства в его время. Его Бах — композитор переходной эпохи, освободившийся от пут средневекового ремесла; он довел до совершенства эпический принцип религиозного искусства, но остановился в преддверии новой музыки. При этом философское зерно повести не исчезло, а обогатилось, стало более многогранным. Соответственно усложнилось ее строение: развилась фабула, умножилось число персонажей, их действия получили более сложные мотивировки, композиция (ранее однолинейная) обрела зачатки побочных сюжетных линий.

Философская направленность повестей Одоевского и свойственный им дидактизм с особой рельефностью выявились в «Русских ночах», где их проблематика дважды подвергнута обсуждению. Сначала это споры друзей, собирающихся у Фауста, затем — символическое «судилище», которым кончается «Ночь девятая». При этом в судьбах героев-художников акцентируются разные моменты, а атмосфера спора позволяет взглянуть на их жизнь с разных точек зрения. Приговор «судилища» основывается на конечных, наиболее общих посылах мировоззрения Одоевского, поэтому он формулируется в кратких однозначных формулах. Но это не отменяет диалектической сложности явлений, схваченной в повестях и подвергнутой анализу в их философском обрамлении.

Основной предмет Одоевского — философия искусства. Ее проблемы с наибольшей наглядностью могли быть представлены на примере жизни признанных гениев или требовали для своей постановки специально сконструированных писателем обстоятельств. Историческая удаленность, фантастико-аллегорический сюжет призваны создать известную дистанцию между героем и читателем и подчеркнуть масштабность и общезначимость затронутых вопросов. Принципиально иначе подходит к теме художника другой повествователь 1830-х годов — Н. А. Полевой. Его повесть «Живописец» (1834) — анализ трагической судьбы современного и притом русского таланта. Герой Полевого максимально приближен к читателю, а в обстоятельствах его жизни доминирует социальный момент.

Осмысляя облик своего героя, Полевой проводит грань между человеком прошлых эпох и «нашего века». «В наш век войны сняли железные брони свои и философы не ходят уже в изодранных лоскутках какого-нибудь цинического плаща <...> Все воины наши в мундирах, чиновники в вицмундирах, не-чиновники в темных фраках. Но тем глубже и пестрее внутреннее образование нашего века <...> Наше поколение, как Наполеон, стоит, сложив руки, или нюхает табак, пока страшная битва, Ваграмское, Бородинское, Ватерлооское сражение, гремит в душе его».²⁴

Повествование о живописце ведется от лица «господина Мамаева». Еще до знакомства с Аркадием противоречивые сведения о нем складываются у рассказчика в представление о некоем условно-литературном идеале художника. Личное знакомство частью опровергает, частью усложняет и корректирует этот образ. Сначала Аркадий предстает перед ним заурядным молодым человеком, и лишь последующее их сближение, исповедь художника, отрывки его записок, его безвременная смерть позволяют рассказчику проникнуться сознанием его жизненной трагедии.

Аркадий — «сын бедного чиновника, ничтожный разночинец».²⁵ Обретя благодетеля и друга в генерале ***, он получает возможность развить свой дар, духовно возвыситься над своими родными и своей средой. Но талант, который возвышает его в глазах просвещенного покровителя, ничего не значит ни в глазах блестящей толпы, ни в глазах отца его

²⁴ Полевой Николай. Мечты и жизнь, ч. II. М., 1834, с. 68—70.

²⁵ Там же, с. 79.

возлюбленной. Да и сама Веринька предпочитает спокойное существование в замужестве с владельцем пятисот душ.

Трагедия героя усугубляется положением искусства в современном мире. В древности, рассуждает Аркадий, художник и общество были едины в поклонении изящному, в средние века их роднил религиозный энтузиазм. Ныне же духовная связь между ними разрушена. Для общества, во всем ищущего одной пользы, «художник есть такой же работник, как слесарь, кузнец, плотник»,^{25а} и обрести творческую силу он может только во вдохновении земных страстей. Не случайно лучшая картина Аркадия изображает муки Прометея: это символ его судьбы.

Как и Одоевский в повести о Бахе, Полевой сталкивает своего героя с людьми, олицетворяющими различные типы отношения к искусству. Его первый учитель, иконописец, представитель «патриархального века искусства», когда в нем видели «великое, святое занятие, не ничтожную забаву». В этот блаженный, но архаический мир Аркадию с его «несбыточными мечтаниями» нет возврата. В Главном училище живописи он встречает современный тип художника по должности, по профессии. Все здесь «разделено на разряды, и кому что определено, тот тем и занимается, а в другую часть не забегает». Но несноснее всего для героя — «аматёры», светские художники. «Я много читал сатирических описаний, как светские люди дают концерты, разыгрывают театральные пьесы, занимаются живописью, музыкою — но всё еще, кажется мне, этот предмет далеко не истощен — и неистощим».²⁶ Идеальные порывы души Аркадия, его стремление разгадать высокое назначение художника «теперь, в наше время», обрекают его на роковой разлад с миром, где ценится одна вещественность.

По мысли Полевого, лишь творения художника позволяют постигнуть историю его души. Особенно знаменательны и символичны три картины Аркадия: первая воплощает малый, но недостижимый для художника мир семейного счастья, вторая — трагедию титана, даровавшего миру свет и обреченного за это на безысходные муки, третья («последняя») — надежду, которую черпает страдалец-художник, взирая на Христа, благословляющего детей. Примечательно и другое: для характеристики судьбы героя Полевой использует стихотворные вставки, причем дважды он цитирует Пушкина и одна из этих цитат восходит к циклу стихов о поэте («Ответ анониму», 1830).

В январе 1835 г. вышел сборник Гоголя «Арабески», где он также выступил с двумя повестями о художнике. Одна из них — «Портрет» — при всем своеобразии авторского почерка и по проблематике, и типологически имеет точки соприкосновения с произведениями как Одоевского, так и Полевого. Особенно бросается в глаза связь «Портрета»²⁷ с «Импровизатором».

Подобно Киприяно Черткова удручает «сухой, скелетный труд» художника. В отчаянии он противопоставляет себя «великим творцам»: «Только тронут они кистью, и уже является у них человек вольный, свободный, таков, каким он создан природою; движения его живы, непринужденны. Им это дано вдруг, а мне должно трудиться всю жизнь; всю жизнь исследовать скучные начала и стихии, всю жизнь отдать бесцветной, не отвечающей на чувства работе».²⁸ Ропот Черткова подготавливает почву для вторжения в его жизнь искусствителя с его поучениями: «Все делается в свете для пользы. Бери же скорее кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что ни закажут; но не влюбляйся в свою работу

^{25а} Там же, с. 109.

²⁶ Там же, с. 135, 142, 39, 187—188, 175.

²⁷ Здесь и далее мы имеем в виду лишь первую редакцию «Портрета» («Арабески»), а не редакцию 1842 г.

²⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. III. М.—Л., Изд. АН СССР, 1938, с. 406.

«...» Чем более смастеришь ты в день своих картин, тем больше в кармане будет у тебя денег и славы». ²⁹ На деньги, оказавшиеся в раме чудесного портрета, Чертков нанимает богатую мастерскую, а желание угодить вкусам заказчиков превращает его в модного живописца-ремесленника. Потрясение, пережитое героем при взгляде на создание истинного художника, побуждает его вернуться на оставленный путь. «Но, увы! «...» Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою «...» на каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначущий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения». ³⁰ Конец Черткова — безумие и гибель.

Как и Киприяно, Чертков изменяет призванию, попирая законы искусства. Орудием гибели художника выступает в обоих случаях таинственное существо, носитель сверхъестественных, демонических сил. Но на этом сходство между повестями Гоголя и Одоевского кончается.

Чертков — «петербургский художник». Встречаясь с ним в «картинной лавочке на Шукином дворе», читатель попадает затем в его «тесный чердак» на 15-й линии Васильевского острова, знакомится с его «грязным камердинером», квартирохозяином, квартальным надзирателем, его первыми заказчиками. Внешняя обстановка жизни художника-бедняка, его внутренний мир, психологическая борьба, предшествующая его окончательному падению, — все это воссоздано Гоголем в реальных очертаниях.

Особый вопрос, затронутый в «Портрете», — вопрос о влиянии искусства на душу человека и — связанный с ним — о нравственной ответственности художника. «Странная» живость купленного Чертковым портрета оставляет в душе его тягостное чувство. «„Что это?“ думал он сам про себя: „искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законов природы? Какая странная, какая непостижимая задача! или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание, и чрез которую шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал «...» или чересчур близкое подражание природе так же приторно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус?“» ³¹ Во второй половине повести, в истории чудесного портрета и его создателя, Гоголь пытается дать ответ на этот вопрос. Однако сам он чувствовал условность найденного решения, и это послужило одним из стимулов к позднейшей переработке повести. Художник, написавший портрет, перенес на полотно часть той демонической силы, которая жила в оригинале — коломенском ростовщике Петромихали. И как при жизни ростовщика его деньги и его чары губили тех, кто прибегал к нему в час нужды, так теперь золото, таинственно попавшее к Черткову с портретом Петромихали, развращает и губит сначала его талант, потом и самого художника.

Обе части «Портрета» (одна, героем которой является Чертков, и другая — история создателя портрета) не только композиционно уравновешивают друг друга, но связаны глубоким смысловым параллелизмом. Чертков изменил своему призванию, а автор портрета в художническом увлечении перешел «черту, положенную границею для воображения». И если для Черткова, расточившего свой дар и впавшего в грех зависти и человеконенавистничества, нет возврата к творчеству, то «скромный пабожный живописец», оказавшись первой жертвой страшного портрета, находит в себе силы преодолеть «мрачное состояние души» и искупить

²⁹ Там же, с. 410.

³⁰ Там же, с. 423.

³¹ Там же, с. 405—406.

свой грех раскаянием и подвижническим служением религиозному искусству.³²

В «Портрете» сопоставлены истории двух художников, в «Невском проспекте» же лишь один из двух центральных персонажей — человек искусства. Тема искусства сопряжена здесь с более широкой и общей темой. Философия большого города представлена в «Невском проспекте» как концентрированное выражение духа современной цивилизации. Характер этой цивилизации предопределяет судьбы искусства и художника.

Не случайно именно в «Невском проспекте» Гоголь предпослал портрету своего героя общую характеристику сословия петербургских художников, явления «странного» и «необыкновенного» «в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы». Аркадий задуман Полевым как современный русский художник. Но и черты его психологии, и обстоятельства его жизни, и трагедия Аркадия сконструированы автором на основании общих философских и публицистических посылок. С Петербургом герой Полевого связан лишь условно. Пискарев же «художник петербургский» по специфическим чертам своего характера и дарования: «Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частью добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство <...> Они вообще очень робки; звезда и толстый эполет приводят их в <...> замешательство».³³

Гоголь призывал писателя «вывести законы действия из нашего же общества», выявив его «общие элементы», «двигающие его пружины».³⁴ В истории Черткова такой подход лишь нащупывается, в «Невском проспекте» он определяет интригу и построение повести. Самая мечтательность Пискарева, романтический склад его «детски-простодушных» представлений о мире проистекают из особенностей большого города, порождающего и убивающего мечту.

Дух современной цивилизации губителен не только для художника, но и для самой красоты, без которой не может существовать идеальное искусство. Гибнущий мечтатель, развращенная красота и противопоставленная им торжествующая пошлость — вот два лика современного общества, где «все обман, все мечта, все не то, чем кажется».³⁵

Уже в «Портрете» эстетическая проблематика подчинена этической. Измена Черткова своему призванию влечет за собой его гибель не только как художника, но и как человека. Точно так же создатель таинственного портрета, нарушив законы искусства, совершает грех перед людьми и богом. В «Невском проспекте» этические мерки приложены уже не к художнику, а к обществу и, шире, к современному миру. Если в «Портрете» Гоголь для изображения губительных сил, тяготеющих над художником, прибегает к условно-фантастической символике, то в «Невском проспекте» фантастическими приметами насыщается атмосфера реального Петербурга.

Известно об интересе, который вызвала у Пушкина первая оригинальная русская повесть о художнике — «Последний квартет Бетховена» Одоевского.³⁶ В рецензии на второе издание «Вечеров» поэт сочувственно отозвался о «Невском проспекте», в котором он увидел «самое полное» из произведений Гоголя (XII, 27). Тем не менее, как показывает анализ

³² Там же, с. 438.

³³ Там же, с. 16—17.

³⁴ Там же, т. VIII, с. 555.

³⁵ Там же, т. III, с. 45.

³⁶ По свидетельству А. И. Кошелева в его письме к Одоевскому от 21 февраля 1831 г., Пушкин расценивает «Последний квартет Бетховена» — произведение «замечательное по мыслям и по слогу», — как симптом приближения русской прозы к уровню европейской, выражающей «мысли нашего века» (Русская старина, 1904, кн. I, с. 206).

«Египетских ночей», в своей повести о художнике Пушкин, своеобразно преломив некоторые грани проблематики, стоявшей в центре романтических разработок темы, пошел другим путем.

3

Еще до того как тема поэта возникла в художественном творчестве Пушкина, она прозвучала в его письмах 1822—1825 гг. Исходя из своего «горького опыта» (XIII, 50), поэт поднимает вопрос о реальном положении современного русского писателя, не желающего пользоваться «великодушным покровительством просвещенного вельможи», стремящегося сохранить и упрочить благородную независимость словесности (XIII, 96). В середине 1825 г. в письме к А. А. Бестужеву Пушкин развивает взгляды, предвосхищающие рассуждения Чарского. «У нас писатели, — читаем здесь, — взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою — а тот явится с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница» (XIII, 179).

С 1824 г. тема поэта в разных ее аспектах все чаще привлекает Пушкина-поэта. «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824), «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830) — таковы лишь основные звенья в разработке этой темы, различные отражения которой мы встречаем в ряде других стихотворений конца 1820-х и 1830-х годов, а также в «Евгении Онегине», «Борисе Годунове», «Моцарте и Сальери». Если в пушкинских письмах отразился трезвый анализ конкретных условий, определявших положение русского литератора, то в лирике образ поэта обретает черты широкого философского обобщения. Как мы стремились показать в другом месте, под влиянием личного опыта тема взаимоотношений поэта и общества получает в стихах Пушкина все большую поэтическую конкретность, обогащаясь новыми гранями.³⁷ И все же трактовка этой темы в поэзии тяготеет к предельной обобщенности, подчиняясь законам лирических жанров.

Однако линия, намеченная в письмах 1820-х годов, не заглохла. С начала нового десятилетия Пушкин все чаще задумывается над реальным положением русского писателя. Этот вопрос связывается теперь для него с широким кругом исторических и социальных проблем: о старом и новом дворянстве, о различном характере и положении словесности в России, с одной стороны, в Англии и во Франции — с другой, о зависимости национальной «физиономии» литературы от сословной принадлежности ее деятелей, о новых явлениях, которые возникли в русской литературе в связи с выступлением на ее поприще писателей-разночинцев, о достоинстве литератора и его праве на независимость и т. д. Публицистические и историко-литературные аспекты темы поэта проникают в разные жанры художественного творчества Пушкина: в поэму («Езерский», 1832—1833), в стихотворный памфлет («Моя родословная», 1830), в художественную («Отрывок», 1830) и в критико-публицистическую прозу («Путешествие из Москвы в Петербург», «О ничтожестве литературы русской (1833—1834) и др.). Для предыстории «Египетских ночей» особенный интерес представляет «Отрывок» — первый в творчестве Пушкина повествовательный фрагмент, где интересующая нас тема разрабатывается в ее конкретных жизненных очертаниях.

«Отрывок» — произведение откровенно автобиографическое. Вместе с характерными приметами личности Пушкина он впитал в себя ряд су-

³⁷ Петрунина Н. Н. «Полководец». — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974, с. 301—305.

щественных черт, отличавших общественно-литературную позицию поэта и определивших направление и проблематику его критико-публицистических статей и набросков, возникших одновременно, болдинской осенью 1830 г. Публицистические мотивы сближают «Отрывок» не только с «Опровержениями на критики» и более ранними статьями 1830 г. («Разговор о критике», «О статьях кн. Вяземского», «Письмо к издателю „Литературной газеты“»), но и со сценами «Альманашик», со стихотворением «Моя родословная».

Уже герой «Альманашика» — увлеченный карточной игрой Стихотворец, с трудом избавившись от предприимчивого издателя, восклицает: «Экое дьявольское ремесло! <...> Отдавай стихи одному дураку в Альманах, чтоб другой обругал их в журнале» (XI, 136). В «Отрывке» «невыгоды и неприятности» писательского ремесла стали основной темой. Пушкин перечисляет их: «гражданское ничтожество и бедность», «зависть и клевета братьи», «суждения глупцов» и «зло самое горькое, самое нестерпимое» — зависимость от публики, которая видит в стихотворце «свою собственность», превращает в каждодневную пытку «его звание, прозвище, коим он заклеймен и которое никогда его не покидает» (VIII, 409). Далее перед читателем возникает фигура «одного из приятелей» рассказчика — «известного стихотворца», своеобразного двойника Пушкина. «Когда находила на него такая дрянь, — так трансформируется в прозе мотив вдохновения, поэтически интерпретированный в стихотворении «Пока не требует поэта», — то он запирался в своей комнате и писал в постеле до позднего вечера <...> Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье». Происходя «от одного из древнейших дворянских наших родов», герой «Отрывка» был «беден, как и почти все наше старинное дворянство»; «Он не любил общества своей братьи литераторов» и «предпочитал им общество женщин и светских людей» (VIII, 410, 411).

В «Отрывке» собраны воедино мотивы стихотворений Пушкина о поэте. Но здесь они приобрели открыто автобиографическое звучание и в то же время насытились конкретными социально-психологическими и бытовыми приметами. В полном согласии с первоначальным, автобиографическим замыслом «Отрывка» находится и дополнение к нему, набросанное в 1832 г.³⁸

Уже П. А. Плетнев при первой публикации «Отрывка» отметил его текстуальную связь с авторской характеристикой Чарского, открывающей «Египетские ночи». Вернувшись к «Отрывку», Пушкин подверг его существенной обработке, устранив, в частности, свойственный ему явный автобиографизм. Но хотя изменения, произведенные в тексте 1830 г., детально изучены, общий их смысл, как нам представляется, прояснен недостаточно. Убравши из образа Чарского все чрезмерно личное, Пушкин вместе с тем — и это также неоднократно отмечалось исследователями — изменил два принципиальных обстоятельства, определяющих об-

³⁸ Симптоматично это возвращение к «Отрывку» в ходе работы над «Езерским»: дополнение («О невзгодах ремесла» — VIII, 961) было набросано вскоре после возникновения черновых строф о родословной Езерских (см.: Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный всадник». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 280—281). Впоследствии «Езерский» усвоил ряд тем, еще более сближивших его с «Отрывком». Отметим, в частности, что словесная формула VI строфы «Езерского»: «Гордись, как общей пользы друг Ценою собственных заслуг, Звездой двоюродного дяди» (V, 99) — сложилась уже в «Отрывке» и в критико-публицистических фрагментах 1830 г. См. в «Отрывке»: «Он столько же дорожил З^мя» строчками летописца <...> как модный камер-юнкер З^мя» звездами двоюродного своего дяди» (VIII, 410); или в «Опровержении на критики»: «...иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей Отечества» (XI, 162). Ср. в разговоре русского с испанцем («Гости съезжались на дачу», конец 1829—начало 1830 г.): «Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди или бабами двоюродной сестры» (VIII, 42).

щественное положение этого персонажа. Герой «Отрывка» — потомок исторического дворянского рода, о Чарском же в повести сказано лишь, что дядя его был «виц-губернатором в хорошее время». В черновиках тот же дядя назывался «саратовским откупщиком» (VIII, 839). Герой «Отрывка» беден, Чарский богат.

Итак, тема старого и нового дворянства, столь важная для Пушкина, при характеристике Чарского снимается. С другой стороны, поэт нашел излишним и намек на сомнительное происхождение героя. По-видимому, ему было важнее сделать положение Чарского в свете неуязвимым, сблизив его с процветающим слоем современного дворянства и в то же время избавив от бремени «худородности».

Не менее существенно и другое: Чарский освобожден от нужды в деньгах. «Жизнь его могла быть очень приятна»; его единственное «несчастье» — «звание и прозвище» стихотворца, «которым он заклемен и которое никогда от него не отпадает» (VIII, 263).

Нет в «Египетских ночах» и того, что более всего привязывало «Отрывок» к определенному моменту жизни Пушкина, сближая его с критико-публицистическими статьями 1830 г., — «неприятностей» героя, протекающих из его взаимоотношений с «братьями литераторов». Это позволяет Пушкину сконцентрировать внимание на теме отношений поэта (и притом поэта, общественное положение которого гарантирует ему полноту внешней независимости) и публики.

Зависимость Чарского от общества принимает более сложные формы, чем прежде у героя «Отрывка». Хотя знатность и богатство обеспечивают Чарскому внешнюю свободу, его убеждения и характер определены обществом. Желание оградить себя от собственнических притязаний публики, остаться в глазах друзей безукоризненным светским человеком порождает у Чарского ряд причуд, имеющих целью «сгладить с себя несносное прозвище» поэта. «Он избегал общества своей братьи литераторов, и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург <...> Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный впрочем талантом и душою» (VIII, 264). Жизнь Чарского раздваивается: полосы светского рассеяния перемежаются в ней с мгновениями творческими, когда «и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали». Эта раздвоенность, как увидим далее, варьируется в судьбе итальянца-импровизатора. Сближаясь по внешности с представлениями романтической эстетики, которая непреодолимой чертой отделяла жизнь духа от жизни плоти, она по сути не имеет с ними ничего общего.³⁹ И импровизатор, и Чарский самозабвенно служат искусству, а в остальное время живут в соответствии с нормами своей общественной среды: итальянец — заботясь о хлебе насущном, барин Чарский — скрывая под маской души и сердце поэта, «чинясь и притворяясь». Их невзгоды рождаются из самой жизни, сложно мотивированы исторически, социально и психологически.

Следует напомнить, что в черновой редакции «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833—1834) Пушкин уточнил и дополнил свои старые наблюдения над положением писателя в России, включив их в контекст фактов, принадлежащих истории и современности литературы, отечественной и европейской. Для нашей цели особенно важно подчеркнуть два новых выявившихся здесь аспекта. По-прежнему проводя различие между писателями русскими, большею частью дворянами, и евро-

³⁹ См. об этом: Тойби и И. М. «Египетские ночи» и некоторые вопросы творчества Пушкина 1830-х годов, с. 131 и сл.

пейскими, происходившими, как правило, из других сословий, и считая, что «это дало особую физиономию нашей литературе» (XI, 228), Пушкин теперь полагает, что нужда в высоком покровительстве еще не означает отсутствия правственности, независимости и благородства. Меценатство предстает здесь как историческая форма отношений между представителями могущественных сословий и талантом и поставлено в один ряд с иными, пришедшими ему на смену проявлениями зависимости писателя от общества. В тесной связи с предыдущим воспринимает Пушкин явление, новое для современной ему русской литературы: выступление на поприще словесности «писателей, не принадлежащих к дворянскому сословию», имело следствием, что писатели-дворяне «постепенно начинают от них удаляться под предлогом какого-то *неприличия*». «Странно, — замечает поэт, — что в то время, когда во всей Европе готический предрассудок [противу наук и словесности, будто бы не совместимых с благородством и знатностью] почти совершенно исчез, у нас он только что начинает показываться» (XI, 229). Носителем этого «готического предрассудка» (хотя и имеющего серьезные общественно-литературные причины) и предстает в повести Чарский.

Отделяя Чарского от героя автобиографического «Отрывка», Пушкин делает «мелочи его характера» предметом иронической рефлексии. Литературно-общественная позиция героя «Отрывка» изображалась как некая данность, воспринятая глазами автора-единомышленника. В «Египетских ночах» иное: Чарский близок автору, но и отстранен от него, анализируется им как культурно-психологический тип, продукт среды и обстоятельств. Мы имеем здесь дело не просто с переработкой старого наброска, но с двумя разными этапами в осмыслении сходного круга явлений. Это позволяет поставить вопрос о пределах автобиографизма образа Чарского. Не случайно критика следующей литературно-общественной эпохи улавливала в нем родовые черты художника-дворянина пушкинской поры.⁴⁰ Взгляд на Чарского со стороны углубляется благодаря тому, что в повести ему противопоставит фигура иного поэта, бедняка-импровизатора. Формы зависимости странствующего итальянца от общества отличны от форм зависимости Чарского и сходны с ними. Но этого мало. Автор попеременно побуждает нас становиться на точку зрения то Чарского, то импровизатора, смотреть на одного из них глазами другого.

4

Мы видели, что многие из возникших в 1830-е годы повестей о художнике — «Иоганн Себастьян Бах» Одоевского, «Живописец» Полевого и в особенности «Портрет» Гоголя — построены на противопоставлении двух или нескольких типов художников. В «Египетских ночах» перед нами также два поэта, различных и по своему положению в обществе, и по природе своего искусства, — Чарский и импровизатор.

Искусство поэтической импровизации в эпоху Пушкина еще не утратило характера живого бытового явления. Пушкин и его современники слышали импровизации Мицкевича; весной и летом 1832 г. в Петербурге неоднократно выступал немецкий поэт-импровизатор Лангеншварц. Ряд сообщений о Лангеншварце появился в «Северной пчеле»;⁴¹ судя по всему, именно он послужил прототипом Киприяно — героя повести Одоевского «Импровизатор». Высказывалось предположение, что обстановка публичного сеанса Лангеншварца, описанная Н. И. Гречем, могла подсказать ряд внешних деталей для третьей главы «Египетских ночей».⁴²

⁴⁰ См.: Ларош Г. А. Михайл Иванович Глинка. — В кн.: Ларош Г. А. Избранные статьи о Глинке. М., 1953, с. 148.

⁴¹ См.: Казанович Е. К источникам «Египетских ночей». — В кн.: Звенья, кн. 3—4. М.—Л., 1934, с. 191—204.

⁴² Там же, с. 190 и сл.

Еще важнее, быть может, что тема эта занимала определенное место в литературе начала XIX в. В 1807 г. вышел знаменитый роман г-жи де Сталь «Коринна, или Италия», хорошо знакомый Пушкину и не раз упомянутый им. Героиня романа — вдохновенная поэтесса-импровизаторша. Импровизации ее — «стихи, полные чарующей силы, о которой проза может дать лишь самое слабое представление»,⁴³ — приведены в романе как раз в прозаическом пересказе. Есть в «Коринне» и антипод героини — импровизатор-ремесленник. Что эти образы г-жи де Сталь могли сыграть известную роль при оформлении в воображении Пушкина образа итальянца-импровизатора, уже отмечалось в научной литературе.⁴⁴

Однако для нас важны здесь не жизненные или литературные источники пушкинского образа, а его соотношение с другими преломляющимися темы импровизатора в русской литературе 1830-х годов. В этом отношении особый интерес представляет «Импровизатор» Одоевского, а также появившийся в «Телескопе» за год до создания «Египетских ночей» очерк «Итальянские импровизаторы», где интерпретация искусства импровизации сочетается с размышлениями о его природе и судьбах.

В основе повести Одоевского лежит недоверие к искусству импровизации как таковому. Одоевский-эстетик не мыслит искусство вне мук творчества, сопровождающих рождение замысла и поиски путей к его воплощению. Кажущаяся легкость, с которой творит импровизатор, делает импровизацию в глазах автора а priori «незаконным», ложным видом искусства, ловкой подделкой под него, где артистом движет расчет, а не вдохновение. В противоположность Бетховену, одушевленному великими идеалами и творческими исканиями, страдающему от того, что его воображение всегда опережало возможности воплощения, но видящему в «сладких муках создания» смысл жизни, Киприяно-поэт испытывает не избыток, а недостаток «способности мыслить» и «способности выражаться», ищет исцеления от труда творчества как от «нравственной натуги».⁴⁵ Дар Сегелиеля — дар легкого творчества и готового, всепроникающего знания — превращает его из художника в своего рода антихудожника, в ремесленника, в «холодного жреца, привыкшего к таинствам храма».⁴⁶

Пушкинский импровизатор соединяет в себе творческий дар и порожденную «житейской необходимостью» «простодушную любовь к прибыли» (VIII, 270). В двух ликах выступает перед читателем и герой Одоевского. Сеанс импровизации приносит Киприяно, спокойно и холодно властвующему над «стихиями поэтического создания», полный успех: «Едва назначали ему предмет, — и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнозвучных метров, вырывались из уст его, как фантазмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его и проходила все периоды своего возрастания и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма». Таким предстает артист перед изумленной публикой. Другая же сторона его существа заявляет о себе по окончании импровизации: «Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностью Гарпагона принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще от роду не ви-

⁴³ Сталь Ж., де. Коринна, или Италия. М., 1969, с. 29.

⁴⁴ См.: Казанович Е. К источникам «Египетских ночей», с. 190—191; Черневич М. Н. Жизнь и творчество Жермены де Сталь. — В кн.: Сталь Ж., де. Коринна, или Италия, с. 403.

⁴⁵ Альциона на 1833 г., с. 69.

⁴⁶ Там же, с. 53.

дал столько монеты и был вне себя от радости». ⁴⁷ Однако дальше этого внешнего рисунка сходство между героями Пушкина и Одоевского не идет. ⁴⁸ Если у Пушкина импровизатор наделен свободным вдохновением художника, то в импровизациях Киприяно творческий гений подменен механическим искусством игрока и «самодовольством фокусника». ⁴⁹

Скептическому взгляду Одоевского на искусство импровизации созвучна позиция автора упомянутой выше статьи «Итальянские импровизаторы».

Начав свою статью словами: «Племя итальянских импровизаторов, некогда столь обильное, в настоящее время со дня на день оскудевает» ⁵⁰ и рассказав вкратце историю искусства импровизации в Италии от эпохи Возрождения и до начала XIX в., неизвестный автор этой статьи, укрывшийся за псевдонимом «В. а. d. G.», писал: «Только недостаток таланта бывает причиною того, что импровизаторы делаются импровизаторами: они импровизируют потому, что не могут быть поэтами. Этого мало: по моему мнению, истинный поэт, увлекаясь по легкомыслию к импровизации, отрекается от своего достоинства, от высокого призвания поэта, дабы тешить публику в качестве простого лицедея. Импровизатор превращает поэзию в шарлатанство, является перед толпой, кричит, ломается; и все это для того, чтоб прикрыть блистательным облаком бледность своего одушевления, жертвы, к коим принуждает его рифм, услуги, коих требует он в это время от памяти. Поэт подобен воину, который сначала покоен, но мало-помалу возвышается к одушевлению и, схватываясь в рукопашный бой с опасностью, приобретает в самой борьбе силу продолжать ее; импровизатор есть азиатец, возбуждаемый к бою туманом опиума. Поэту внимают его отечество и весь свет, его век и вся будущность; на импровизатора дивятся как на жирафа или как на ученую собаку, изумляясь легкости, с которой он подбирает рифмы, так, как изумляются ярмарочному фигляру, когда он выкидывает разные фокус-покусы». ⁵¹

Обращенные к Чарскому слова импровизатора из второй главы «Египетских ночей» легко могут показаться прямой полемической отповедью автору «Импровизатора» или ответом на приведенные строки из статьи «Телескопа», хотя вряд ли Пушкин вкладывал в них непосредственно полемический смысл.

«Как!», — восклицает здесь Чарский, восхищенный искусством итальянца. — «Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

⁴⁷ Там же, с. 51—52, 53.

⁴⁸ См.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 321.

⁴⁹ Альциона на 1833 г., с. 53.

⁵⁰ Телескоп, 1834, ч. XXIV, № 50, с. 405. Следует отметить, что в первой половине XIX в. искусство импровизации связывается по преимуществу с Италией. Симптоматичен в этом отношении роман Ж. де Сталь «Коринна». Характерны и слова Гегеля в его посмертно изданных «Лекциях по эстетике»: «...искусство и определенный способ его создания связаны с определенным национальным типом. Например, импровизаторы встречаются преимущественно в Италии, и итальянские импровизаторы удивительно талантливы. Они и теперь еще импровизируют пятиактные драмы, в которых нет ничего заученного, а все создается благодаря знанию человеческих страстей и ситуаций и глубокому вдохновению в данный момент» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4-х т. Т. I. М., 1968, с. 296). Это представление, которое ко времени создания «Египетских ночей» имело за собой длительную традицию, — одно из возможных объяснений того обстоятельства, что Пушкин сделал своего импровизатора итальянцем.

⁵¹ Телескоп, 1834, ч. XXIV, № 50, с. 413—414. Можно предположить, что подпись «В.а.д.Г.» расшифровывается как «Bad Gastein» и указывает на место написания очерка. Автором его мог быть С. П. Шевырев.

Импровизатор отвечал:

— Всякой талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам заботел бы это изъяснять» (VIII, 270).

Одоевскому⁵² и автору статьи «Итальянские импровизаторы» зависимость импровизатора от воли слушателей, его выступление перед публикой в образе лицедея представляется изменой внутренней свободе искусства, разрушением подобающего ему ореола, заменой творческой свободы механическим ремеслом. У Пушкина же искусство импровизации, при всем своеобразии и несхожести с другими видами искусства, так же неизъяснимо, как они. Всякий талант — ваятеля и зодчего, поэта и импровизатора — имеет свои законы. Отрицать один из них в пользу другого, отвергать ваяние или импровизацию и противопоставлять им поэзию или любое другое искусство как некий истинный, более высокий идеал творчества значит обеднять природу и человеческий гений, не верить в их щедрость и в разнообразие их даров. Вот почему в «Египетских ночах» противоположность поэта и импровизатора, несмотря на все, разделяющее их, в конечном счете снимается. Остается лишь интерес поэта к носителю дара импровизации, одной творческой природы к специфике артистической жизни другой.

Импровизатор не только выступает за деньги. Он и в выборе темы связан «чуждой внешнею волею». И все же артист может при этом сохранять творческую свободу, подобно поэту, который продает свою рукопись, но не продает своего вдохновения. Именно здесь пролегает для Пушкина грань между истинным творцом и продажным литератором болгаринского толка, который в пушкинской системе ценностей выступает антиподом истинного творца.

«Мысли импровизатора о тайнах творчества, о природе художественного гения, — справедливо отметил И. Нусинов, — весьма близки к тем, которые в популярной в годы создания „Египетских ночей“ книге Ваккенродера „Размышления отшельника, любителя изящного“ высказывал Рафаэль в письме к своему ученику Антонию. Рафаэль писал ученику: „Спроси певца: откуда у него взялся грубый или приятный голос? Может ли он отвечать тебе? Так и я не могу сказать, почему изображения под моею рукою ложатся так, а не иначе“».⁵³

Если у Одоевского импровизатор Киприяно противопоставлен истинным художникам — Бетховену и Баху (повесть о них была для автора своеобразным «житием» человека искусства), то пушкинский импровизатор, по замечанию Нусинова, «своим творчеством, своими мыслями об

⁵² Заслуживает внимания, что другой герой Одоевского, который в понимании автора противостоял импровизатору как истинный художник, в своей самооценке предвосхитил мысль пушкинского итальянца: «...заставляет меня объяснять, — сетует Бетховен по поводу вопросов Готфрида Вебера, — почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодий, такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу! <...> когда на меня приходит минута восторга <...> тогда я предупреждаю время и чувствую по внутренним законам природы <...> мне самому в другое время непонятным <...> Сравнивают меня с Микель Анджелиом — но как работал творец Моисея? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и по неволе заставлял его выдавать живую мысль, скрывающуюся под каменною оболочкою. Так и я!» (Северные цветы на 1831 г., с. 114—117).

⁵³ См.: Нусинов И. Пушкин и мировая литература. М., 1941, с. 345. Ср.: Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком. М., 1914, с. 29.

искусстве <...> близок самому божественному Рафаэлю». ⁵⁴ Он не только противостоит Чарскому как бедняк аристократу, но и сближен с ним как художник. Погруженные в «заботы суетного света», оба они поразному поддаются под его влияние и в этом «хладном сне» уподобляются самым «ничтожным» из «детей ничтожных мира»: один отдает щедрую дань светским предрассудкам, другой погружен в «меркантильные расчеты»; но лишь до тех пор, пока не зазвучит «божественный глагол». В момент вдохновения и Чарский, и импровизатор — свободные творцы, слышащие «приближение бога».

«Контраст Чарского и импровизатора — условный, временный, относительный. Постоянно и абсолютно в них — их единство. То, что они прекрасны как поэты, и то, что они оба пленники черни, хотя плен их различный». ⁵⁵

5

«Египетские ночи» — одна из вершин искусства композиции у Пушкина. Начало повести состоит из трех глав, из которых каждая разгрызается на новой «сценической площадке». Действие первой происходит в кабинете Чарского, два его участника — Чарский и импровизатор. Их знакомство начинается с внезапной размолвки, а та едва не приводит к разрыву: безвинно раздражив тщеславие хозяина, импровизатор невольно навлекает на себя его гнев. Раскаяние Чарского и тот новый оборот, который принимает его беседа с гостем, когда он узнает в нем собрата по искусству, приводят к зарождению взаимопонимания между ними. Во второй главе перед нами те же два лица, но действие из кабинета аристократа переносится в «нечистый» трактир. Композиция первой главы здесь как бы нарочито «перевернута»: под влиянием импровизации итальянца взаимопонимание Чарского и импровизатора достигает вершины, в конце же главы снова выступают обстоятельства, разделяющие их: наивная расчетливость импровизатора, которую он простодушно не пытается скрыть, смущает Чарского. В последней главе сцена расширяется: общество, о котором автор напоминал уже в своих открывающих повесть рассуждениях и которое во второй главе фигурировало в импровизации итальянца в символическом образе «толпы», теперь выступает на первый план.

На всем протяжении трех глав повести мы вместе с Чарским приближаемся к импровизатору, фигура которого предстает перед ним, а вместе с тем и перед читателем, в ряде сменяющихся ракурсов. Каждый из них приоткрывает в итальянце новые грани, и это вызывает соответствующую реакцию Чарского, которая сообщает новую глубину также и его облику.

В образе импровизатора Пушкин, не изменяя обычному для него принципу экономии изобразительных средств, не пренебрегает, однако, ни одним из возможных компонентов характеристики. При первом появлении итальянца в кабинете Чарского поэт вместе со своим героем окидывает незнакомца взглядом, составляя о нем мгновенное впечатление. Портрет его быстро сменяется описанием костюма, и как черты его лица складываются в типовой, лишенный индивидуального начала портрет иностранца, так одежда не позволяет сделать однозначного вывода о роде его занятий и месте в социальной иерархии.

«Он был высокого росту — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали

⁵⁴ Нусинов И. Пушкин и мировая литература, с. 345.

⁵⁵ Там же, с. 346—347.

в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видела и ведро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего элексирами и мышьяком» (VIII, 265). Вся последующая часть повести уточняет этот яркий, но неопределенный образ, одну за другой проясняет отдельные его грани. Уже первая глава со свойственной Пушкину стремительностью вносит полную определенность в вопрос о социальном положении посетителя Чарского, обозначает пропасть, разделяющую героев, и разъясняет причины их интереса друг к другу. Незнание иностранцем французского языка — международного языка аристократической касты и «низкие поклоны», которыми сопровождает он свою речь, имеют неизбежным следствием то, что Чарский «не предложил ему стула». Остальное довершает роковой случай, подготовленный местом, временем, обстоятельствами встречи: бедный неаполитанец наносит тщеславию Чарского чувствительнейшее оскорбление, назвавшись его собратом. Ему ответом — досада и плохо скрытое негодование, которые находят выход в тираде, отражающей весь трагизм положения Чарского (и русского поэта вообще), а для его слушателя означающей лишь одно: между ним, «бедным кочующим артистом», и «надменным dandy» нет ничего общего. Слова Чарского и реакция на них итальянца — высшее выражение общественного разрыва между героями повести и начало того поворота, за которым обнаруживается относительность социальных критериев. Если раньше Пушкин смотрел на итальянца глазами Чарского, то в этот момент он впервые взглянул на Чарского глазами итальянца. Открывающая повесть авторская характеристика, которая рисует «изнутри» всю сложность положения русского стихотворца, дополняется теперь взглядом извне, с точки зрения человека другого сословия. При этом в голосе автора в первый раз прозвучали ноты сочувствия неаполитанцу, а Чарский почувствовал «всю жестокость своего обхождения».

Вот слова Чарского, столь разнообразные по своим последствиям: «Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем вероятно вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но слава богу с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу» (VIII, 266). В тираде этой, где горечь смешана с раздражением, нетрудно узнать отголосок собственных мыслей Пушкина, впервые четко сформулированных в цитированном выше письме поэта к А. А. Бестужеву, а в 1830-е годы получивших новое развитие в «Путешествии из Москвы в Петербург» и в возникших тогда же набросках статьи «О ничтожестве литературы русской». В отповеди Чарского мысли Пушкина пропущены сквозь призму сословных «причуд», которые жизнь образовала в человеке, имевшем «сердце доброе и благородное». Дальнейшее развитие действия повести переключает внимание и Чарского, и читателя с внешних сторон существования «кочующего артиста», который «ходит пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения», на его внутреннюю жизнь художника. Уже первое его упоминание о характере своего дарования вслед за чувством искреннего раскаяния рождает в Чарском дружеское участие.

Но высший момент сближения между поэтом-аристократом и «бедным импровизатором» — сцена в трактире. В этой сцене оба героя пред-

ставлены в момент, наиболее благоприятный для каждого из них. Чарский свободен от «мелочей своего характера» и дает полную волю добрым и благородным сторонам своей натуры. Импровизатор избавлен от принужденности и тревоги за исход своего дела, неотделимых от роли просителя, в которой он выступал в первой главе. Радость при известии об успехе миссии Чарского вызывает в нем порыв бескорыстной благодарности, в котором выражается щедрость его южной натуры. Из роскошного кабинета, «убранного как дамская спальня» (с сознательным намерением избежать всего, что напоминало бы о присутствии Музы), где дистанция между ним и итальянцем особенно бросалась в глаза, Чарский приведен в «тесную канурку», и здесь вчерашний проситель предстает перед ним с совершенно иной стороны. Нарочито подчеркнуты прозаические детали обстановки и внешнего облика итальянца в момент, предшествующий импровизации: «Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной канурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару — и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа». И тем более резким контрастом звучит описание начала импровизации: «Глаза итальянца засверкали — он взял несколько аккордов — гордо поднял голову, и пыльные строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его...» (VIII, 268). От тональности авторского рассказа, обретающего внезапно сдержанную романтическую экспрессию, до малейших деталей портрета — все изменилось. Итальянец как бы освободился из пут своей земной оболочки, и высшая, духовная, часть существа его предстала перед Чарским.

Уже предложенная Чарским тема импровизации — «поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением», — тема, затрагивающая один из коренных вопросов романтической эстетики и, шире, бытия поэта пушкинской поры, призвана обнаружить родство двух творческих душ. Не случайно она звучит не на публичном сеансе импровизации, а при встрече двух служителей искусства. В преддверии первой импровизации отголоски этой темы слышатся дважды, варьируясь в зависимости от обстоятельств. Сначала она угадывается в злой реплике Чарского, характеризующей петербургское общество и его отношение к искусству. На вопрос итальянца: «Кто ж поедет меня слушать?» — Чарский отвечает: «Поедут — не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде» (VIII, 267). Затем импровизатор, рассеивая предубеждение Чарского, будто он не может обойтись без публички, восклицает: «Пустое, пустое! где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий...» (VIII, 268). Своеобразной реализацией этих посылок и звучит «заказ» Чарского.

Незадолго до начала работы над «Египетскими ночами» Пушкин, как уже отмечалось выше, специально обрабатывал свои стихи о Клеопатре, чтобы ввести поэму** в полупрозаическом пересказе Алексея Ивановича в повесть «Мы проводили вечер на даче». Тем более примечательно, что теперь он вкладывает в уста «кочующего артиста» собственные стихи, да еще представляя их читателю как вольную передачу «пыльных строф» итальянца. Оговоримся: в единственной дошедшей до нас рукописи «Египетских ночей» стихотворные части текста отсутствуют. Однако по мере изучения пушкинского архива, в ходе публикации и датировки отдельных составляющих его автографов высказанное еще П. В. Анненковым предположение о тексте, предназначавшемся для первой импровизации, было уточнено и превратилось в уверенность. В ноябре 1835 г., по возвращении из Михайловского в Петербург, Пушкин работал над стихотворением, в котором объединились элементы двух

замыслов предшествующих лет — стихотворения «Поэт и толпа» (1828) и незавершенной поэмы «Езерский» (1832—1833). Эта работа, начатая в связи с «Египетскими ночами», поэтом не была окончена, и в составе повести по предложению С. М. Бонди⁵⁶ печатается текст, реконструированный на основе рукописных фрагментов. Существа дела это, однако, не меняет: стихи итальянца («пылкие строфы, выражение мгновенного чувства»), по замыслу Пушкина, таковы, что внимающий ему поэт изумлен и растроган, он даже не сразу обретает дар речи. В этой сцене повести ощущение внутренней близости между героями явно доминирует. Но если к концу первой главы Чарский почувствовал в своем посетителе поэта, то здесь происходит обратный процесс: «Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика». При «меркантильных расчетах» итальянец «обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором» (VIII, 270). Так личность итальянца снова раздваивается на существо творческое и существо социальное, а в его восхищенном слушателе вновь обостряется чувство того, что перед ним человек, принадлежащий к иному общественному кругу.

В третьей главе повести общество, публика, толпа, присутствовавшая до тех пор лишь в сознании героев как неизбежный фон их творческой жизни и их человеческого поведения, выходит на авансцену, непосредственно участвуя в действии и внося дополнительные штрихи в портреты Чарского и импровизатора. Опасаясь за успех итальянца, Чарский в новой обстановке внимательно изучает его: поэт ревниво стремится оградить достоинство поэта, а светский человек прилагает к собрату по искусству обычные мерки и критерии собравшегося в зале блестящего общества. «Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волосы опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра» (VIII, 271). Романтический трафарет, который воспроизвел в своем облике итальянец, на утонченный вкус Чарского отдает ярмарочным балаганом. Однако действительность во второй раз корректирует его поспешное суждение. «Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей» (VIII, 272). Впоследствии романтический облик итальянского артиста, преобразенный чудным огнем вдохновения, еще раз предстанет перед читателем повести, но здесь, при первом появлении импровизатора на подмостках, Пушкин через восприятие Чарского подчеркивает прежде всего относительность критериев, которыми руководствуется его герой.

Описание публики и тех тревог, которые уготовило Чарскому и импровизатору «северное равнодушие», очень примечательно и как проявление искусства Пушкина-повествователя, и как выражение новых аспектов проблематики неоконченных «Египетских ночей». Пушкин начинает с общего плана: «Все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамой стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями» (VIII, 271). Собравшиеся едины и в нетерпеливом ожидании начала представления, и в реакции на появление артиста, они как бы подчиняются невидимому смычку дирижера. По ходу действия из публики одна за другой выделяются группы, данные более крупным пла-

⁵⁶ Бонди С. М. Новые страницы Пушкина, с. 192—196.

ном. Сначала это «несколько дамских головок», обращенных к Чарскому, затем «два журналиста», «секретарь неаполитанского посольства», молодой русский путешественник, посетивший Италию. Законченное выражение принцип индивидуализации толпы при помощи крупных планов получает в набросках двух контрастирующих, хотя внешне не связанных между собой персонажей, — неловкой и смущающейся «некрасивой девицы» и «молодой величавой красавицы». Вместо характерного для романтической повести о художнике изображения толпы как некоего символического единства, противостоящего поэту-творцу, Пушкин представляет конкретную публику, собравшуюся в зале княгини** и выражающую себя в обычных бытовых проявлениях. Преобладают здесь представители высшего круга общества, и независимо от цели собрания они руководствуются внутренними законами своей среды. Влияние этих законов испытывают на себе и чуждый высшему свету страствующий артист (в зале княгини** его вопросы звучат с особой робостью и смирением), и равноправный член общества Чарский. Искреннее беспокойство за успех импровизации не мешает ему подпасть под обаяние «северного равнодушия», и хотя он ходом событий втянут в назначение тем для импровизации, «играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно» (VIII, 272).

Со времени появления посвященной «Египетским ночам» статья В. Я. Брюсова стало традицией анализировать третью главу повести в связи с другими прозаическими этюдами Пушкина, рисующими жизнь современного ему великосветского круга. Действительно, фрагменты незавершенной повести «Мы проводили вечер на даче» (хотя они и не являются, как полагал Брюсов, первоначальными набросками «Египетских ночей») и еще более ранние отрывки, объединяемые ныне под названием «Гости съезжались на дачу», в ряде пунктов тематически сопрягаются с описанием слушателей второй импровизации итальянца. И дело не только в том, что предмет этой импровизации дает тему для разговора на даче княгини Д. С разных сторон подходя в набросках разных лет к изображению светского общества, Пушкин неизменно избирает ситуации, выявляющие скрытые причины действий, поступков, самого образа мыслей и характера поведения его героев. Стремление писателя осмыслить такие причины нашло выход в разговоре испанца с русским, примыкающем к началу повести «Гости съезжались на дачу» и связанном тематически с рядом публицистических набросков Пушкина. Общественные явления, ставшие здесь предметом анализа, получили отражение и в «Египетских ночах». В сопоставлении с «разговором» проясняется принципиальный смысл, который вкладывал Пушкин в описание «северного равнодушия», заставившего страдать импровизатора. Испанец задается вопросом: «... я скитался по свету, представлялся во всех Евр.<опейских> дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким, как в проклятом вашем Аристокр.<агическом> кругу — Всякой раз, когда я вхожу в залу Княгини В. — и вижу эти немые, неподвижные мумии, напоминающие мне Египетские кладбища, какой-то холод меня пронимает. Меж ими нет ни одной моральной Власти, ни одно имя не натвержено мне Славою — перед чем же я робею». «Перед недоброжелательством», — отвечает русский, объясняя «невнимание и холодность», свойственные представителям русского высшего круга, глубокими социальными причинами: «(О мужчинах нечего и говорить). Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы, и ничто Евр.<опейское> не занимает их мыслей — Политика и литература для них не существует — Остроумие давно в опале как признак легкомыслия — О чем же станут они говорить? о самих себе? нет — они слишком хорошо воспитаны» (VIII, 41). Как видим, стена невозмутимого молчания, на которую наталкивается любой из вопросов, обращаемых итальянцем к великосветской аудитории, имеет при-

чиной отнюдь не северный темперамент петербургской публики. Причины ее холодного равнодушия, по мысли Пушкина, глубже. Они обусловлены социально-исторически и кроются в характере нынешнего воспитания и образованности. Не случайно Пушкин, перечисляя лиц, задавших темы импровизатору, во всех случаях дает понять, что заставило их последовать примеру Чарского. И хотя каждый из отважившихся имеет свои причины для особой осведомленности в вопросах итальянской истории и культуры, большинство тем отражает скорее знакомство с модными произведениями романтического искусства, чем такую осведомленность. Не менее выразительные детали — смех «многих мужчин» при просьбе импровизатора пояснить тему о Клеопатре и неблагосклонное внимание «нескольких дам» к некрасивой девице, имеющее целью намекнуть, что фривольный предмет назначен именно ею. Лишь слова Чарского, поясняющего, что он имел в виду показание Аврелия Виктора, прерывают эту тягостную сцену.

Чарский еще не умолк, предлагая избрать другой предмет, но все формы зависимости импровизатора от публики уже расторгнуты. В конце второй главы импровизатор говорит о необъяснимой быстроте впечатлений, когда «чуждая воля» пробуждает «собственное вдохновение». Теперь, в третьей главе повести, Пушкин пытается схватить момент, когда заказчик теряет власть над артистом и свободное вдохновение овладевает душой творца: «Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась» (VIII, 274). «В этом месте самый язык Пушкина меняется, и в прозе он начинает говорить тем же сжатым, сильным, чуть-чуть повышенным тоном, каким большею частью говорит в стихах», — справедливо писал В. Брюсов, отмечая, что образ поэта обретает в минуту вдохновения «тот же характер величавости, как образы древнего мира»⁵⁷ в его импровизации.

Как упоминалось, текстов импровизаций нет в известном автографе «Египетских ночей». Уже для повести «Мы проводили вечер на даче» Пушкин счел нужным переработать и дополнить стихотворение 1828 г. о Клеопатре, приводя его в соответствие с новым замыслом. Можно поэтому полагать, что и импровизация итальянца, подобно поэме**, не была бы точным воспроизведением этого стихотворения. Однако при отсутствии каких бы то ни было — прямых или косвенных — указаний Пушкина в повесть (по традиции, начало которой положил В. А. Жуковский) вводится «Клеопатра» 1828 г. как единственный законченный поэтом текст, отвечающий заданной теме.⁵⁸

Вопрос о роли, которая предназначена второй импровизации итальянца в поэтике «Египетских ночей», связывают обычно с вопросом о продолжении повести,⁵⁹ который мы здесь оставляем в стороне. Для нас ва-

⁵⁷ Брюсов В. Мой Пушкин. М.—Л., 1929, с. 112.

⁵⁸ Мы не касаемся истории публикации этого текста, уточнявшегося по мере того, как изучалась творческая эволюция замысла о Клеопатре. Заметим лишь, что точка зрения С. В. Шервинского, который в «однообразии ритмического строя» «Клеопатры» пытался усмотреть установку на воспроизведение примет импровизированных стихов (Шервинский С. В. Ритм и смысл. М., 1961, с. 141), не имеет под собой почвы: в 1828 г., задолго до возникновения замысла «Египетских ночей», отмеченная исследователем особенность ритма имела иную эстетическую функцию.

⁵⁹ См.: Сидяков Л. С. Художественная проза А. С. Пушкина, Рига, 1973, с. 139—140. Догадки о возможном окончании «Египетских ночей» послужили основой для разных гипотез, тяготеющих к двум основным типам. Сторонники первой точки зрения идут вслед за В. Я. Брюсовым, который полагал, что «центральное место в „Египетских ночах“ занимает поэма о Клеопатре. Прозаический рассказ является только ее рамой. Сцены современной жизни только оттеняют собы-

жно другое. Пушкин начал повесть характеристикой Чарского. Впоследствии при каждой смене обстановки герои предстают в новом ракурсе, причем в их характере раскрываются новые грани. Оба героя-художника присматриваются друг к другу, но представление Чарского об импровизаторе остается неполным, пока не зазвучали его стихи. Во фрагменте «Цезарь путешествовал» переводы из Анакреона и Горация сообщали перспективу событиям, варьируя основные темы рассказа. В задуманной и оставленной Пушкиным повести «Мы проводили вечер на даче» стихотворные отрывки, вкрапленные в пересказ поэмы о Клеопатре, обрели иную функцию: слова поэта, проникающего в душу египетской царицы, открывают в ней черты, родственные современности, и вызывают романтический отклик в Вольской. В «Египетских ночах» функция стихотворных вставок еще более расширяется и углубляется. В них запечатлена «встрепенувшаяся» душа импровизатора, слуха которого коснулся «божественный глагол», в них же — и мера его дарования. Первая импровизация итальянца позволяет Чарскому узнать в нем родственную душу истинного поэта. Вторая импровизация прямо предваряется предупреждением, что нам дано присутствовать при «священной жертве» поэта богу песнопений.⁶⁰

6

В литературе о «Египетских ночах» заметное место занимает вопрос о соотношении образов Чарского и импровизатора с романтической философией искусства. «Едва ли можно найти образ поэта в большей степени антишеллингианский, нежели Чарский, — пишет Л. Я. Гинзбург, — <...> Но в „Египетских ночах“ представлен и романтический поэт — итальянец-импровизатор».⁶¹ Рассмотрение «Египетских ночей» в контексте развития русской повести 1830-х годов позволяет несколько конкретизировать этот вывод.

Л. Я. Гинзбург справедливо отметила, что «Египетские ночи» воплотили в прозе тот взгляд Пушкина на внутреннюю жизнь поэта, который был впервые выражен в стихотворении «Поэт» (1827) и существенно отличался от представлений Любомудров. «В своем „Поэте“ Пушкин <...>

тия древнего мира» (Брюсов Валерий. Мой Пушкин, с. 112). Соответственно он пытался окончить поэму о Клеопатре, продолжив пушкинское стихотворение 1828 г., однако его «окончание» имеет значение лишь как факт поэзии самого Брюсова; с замыслом Пушкина оно никак не связано (см.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 101—102). Представители другой, противостоящей Брюсову версии исходят из посылки, что в «Египетских ночах» «художественные намерения Пушкина вложены в прозаический, а не в стихотворный отрывок» (Новицкий П. И. «Египетские ночи» Пушкина. — В кн.: Пушкин А. Египетские ночи. Л., 1927, с. 48). Ее сторонники, отталкиваясь от высказанной еще П. В. Анненковым мысли, по которой Пушкин в «Египетских ночах» собирался извлечь особый эффект из сопоставления картин античного и современного мира, и реконструируя пушкинский замысел на основе объединения «Египетских ночей» с повествовательными фрагментами «Гости съезжались на дачу» и «Мы проводили вечер на даче», предполагают, что Пушкин и здесь собирался вернуться к повторению «египетского анекдота» в Петербурге 1830-х годов (см., например: Гофман М. Л. Египетские ночи с полным текстом импровизации итальянца, с новой четвертой главой — Пушкина и с Приложением (заключительная пятая глава). Париж, 1935; Степанов Н. Л. Проза Пушкина. М., 1962, с. 82—83). Допустимо, однако, и предположение, что, начав повесть с мыслью представить современное общество, Пушкин увлекся темой Чарского и импровизатора, а исчерпав ее, оставил работу — на время или навсегда, сказать трудно.

⁶⁰ По наблюдению В. Э. Вакуро (Пушкин. Итоги и проблемы изучения, с. 216), в путевом очерке А. Глаголева «Итальянцы» при описании сеанса импровизации встречается близкий аналог пушкинской формуле «импровизатор чувствовал приближение бога»: «Чело старца прояснилось; и, казалось, он чувствовал приближение Аполлона» (Московский вестник, 1827, № 12, с. 327).

⁶¹ Гинзбург Л. Я. 1) Пушкин и лирический герой русского романтизма. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. М.—Л., 1962, с. 151, 152; 2) Олирик. Изд. 2-е. Л., 1974, с. 190, 192.

изобразил человека двойного бытия, который в сущности противостоит поэту шеллингианцев, жрецу и провидцу, ни на мгновение не расстающемуся со своей божественной миссией». ⁶²

«Египетские ночи» возникли, однако, на другом этапе развития русского романтизма, чем идеи Любомудров. Поэтому более естественно соотносить их не столько с русскими преломлениями идей Ваккенродера и Шеллинга, заявившими о себе в творчестве поэтов-любомудров или в статьях «Московского вестника», сколько с интерпретацией темы искусства и художника в повестях Одоевского, Полевого, Гоголя.

Романтики 1820-х годов обращены к идеалу творца, для которого «художество и жизнь <...> сливались в одно общее стремление». ⁶³ В 1830-х годах образ такого «идеального» художника утратил свою новизну и в то же время, получив широкое распространение, обрел черты некоего стереотипа. В таком виде он стал достоянием вульгарного романтизма. Пример тому — драмы Н. В. Кукольника из жизни итальянских поэтов и живописцев.

Особенно любопытна в связи с «Египетскими ночами» драматическая фантазия Кукольника «Джулио Мости», появившаяся в третьей книжке «Библиотеки для чтения» за 1836 г. Тема художника-творца в ней сопряжена с темой импровизатора. Лжехудожнику Мости, для которого искусство — путь к славе и богатству, здесь противопоставлен Веррино — истинный творец. Его кредо:

Мне дивный дар определило небо —
Носить в груди рой рифм обильно-звучных;
Я как паук из них тку паутину,
Качаюсь в ней далеко, в поднебесье,
Смотрю на мир сквозь призму вдохновенья. ⁶⁴

Свое выступление в роли импровизатора в IV действии драмы Веррино начинает тем, что бросает в лицо публике слова:

К чему? Как будто вдохновенье
Полюбит заданный предмет?
Как будто истинный поэт
Продает свое воображенья? ⁶⁵

Не только выступление перед публикой, не только получение платы за импровизацию, даже печатание плодов вдохновения в глазах Веррино есть осквернение божественного дара.

В прозаической повести 1830-х годов образ идеального «творца» отступает на второй план. В центре ее — противоречия внутренней жизни художника. Если поэт-романтик 1820-х годов мог над окружающим его миром эмпирической действительности создать некий идеальный мир искусства и целиком погрузиться в него, то герои романтической повести о художнике лишены этой возможности. Эмпирическая действительность романтиков 1820-х годов у прозаиков следующего десятилетия обретает черты жестокой, но неотвратимой реальности. Она может стать для художника источником страданий и даже гибели, но уйти от ее власти ему не дано ни в жизни, ни в искусстве. Грандиозные замыслы Пиранези — ученика Микеланджело не могут найти применения в условиях жалкой и мелочной эпохи; удаление художника в мир фантазии становится для него источником вечной трагедии. Земная страсть вторгается в строгую гармонию жизни и музыкального мира Баха. Чертков становится жертвой соблазнов, которыми окружает художника меркантильный век. Разлад «мечты» и «существенности» губит Пискарева, Аркадия, Вильгельма Рейхенбаха («Аббадонна» Полевого).

⁶² Гинзбург Л. Я. О лирике, с. 187.

⁶³ Об искусстве и художниках... с. 158.

⁶⁴ Библиотека для чтения, 1836, т. XV, март, отд. I, с. 11.

⁶⁵ Там же, с. 188.

Драматизм существования художника стал определяющей темой уже в пушкинском «Отрывке» 1830 г. В стихотворении «Поэт» художник-творец живет двойной жизнью, но здесь нет мотива внутреннего разлада, переживаемого им в результате такого раздвоения. Иначе в «Отрывке», где удел стихотворца становится источником ощущаемых героем противоречий его бытия.

В «Египетских ночах» тема внешних и внутренних противоречий в жизни художника становится предметом углубленного философско-психологического анализа. Мотив двойного бытия поэта представлен здесь в двух социально-психологических вариантах, и это придает его разработке особую объемность, сообщая повести формы и пропорции, воссоздающие сложность и противоречивость реальных жизненных отношений. Обращаясь к тем же проблемам, которые стояли в 1830-е годы в центре повести о художнике, Пушкин усваивает характерный для нее в отличие от любомудрия второй половины 1820-х годов новый, драматический поворот. В то же время в его интерпретации темы художника явственно сказывается специфически пушкинское начало. Романтическая повесть тяготела к изображению исключительных характеров и ситуаций, придавала реальным конфликтам предельную остроту. У Пушкина же ни конфликт между художником и обществом, ни контраст между Чарским и итальянцем, поэтом и импровизатором, не абсолютизируются и не доводятся до крайней точки. Жизнь его героев порождает противоречия, которые возникают и видоизменяются на глазах у читателя, то заостряясь, то сглаживаясь. Объективно такая трактовка темы художника противостояла романтической ее интерпретации в творчестве повествователей 1830-х годов. Вряд ли, однако, это следует объяснять сознательной полемической установкой, как это нередко делалось и делается до сих пор. Скорее мы имеем дело с одним из преломлений творческого метода Пушкина, который еще в 1830 г. назвал себя «поэтом действительности» (XI, 104).





А. А. КАРПОВ

ПУШКИН-ХУДОЖНИК В «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА»

1

Пушкинская «История Пугачева» изучается преимущественно в плане ее собственно исторического, научного содержания. С другой стороны, уже со времен Белинского в этом произведении безусловно признавались и художественные достоинства. Эти достоинства усматривались в лаконичном и выразительном слого, в яркости отдельных деталей и сцен. Однако художественное начало не сводится только к мастерскому изложению исторического материала. Пушкин-поэт постоянно дает о себе знать в исследовании, написанном Пушкиным-историком. По-видимому, поэтические черты «Истории» являются выражением более глубокого замысла, осуществлением наряду с логическим и художественного принципа изучения прошлого.¹

Художественное начало проявляется и в подходе автора «Истории Пугачева» к отбору источников, и в методах их исторической критики, и в способах их использования в тексте. Оно обнаруживает себя в широком применении принципов художественной типизации, в символике реалистических деталей. Наконец, интерес Пушкина-поэта к теме народного восстания определяет самую специфику видения событий в их связи с судьбами отдельных участников, проявляется в стремлении соединить изучение исторических фактов с исследованием человеческих характеров, — стремлении, зафиксированном уже в заглавии пушкинского труда.

¹ К такой постановке вопроса объективно вели уже наблюдения, сделанные Е. А. Ляцким в статье «Пушкин-повествователь в „Истории Пугачевского бунта“» (Пушкинский сборник. Прага, 1929, с. 265—296). Однако, зафиксировав целый ряд специфически художественных особенностей «Истории» и уловив в них проявление единого замысла, Ляцкий полагал, что замысел этот состоял в накоплении материала к будущему историческому роману. В ходе последующего изучения «Истории Пугачева» были выявлены конкретные методы работы Пушкина с историческими источниками и вскрыт их идейно-художественный смысл (см.: Блок Г. Пушкин в работе над историческими источниками. М.—Л., 1949, с. 21—78; Измайлов Н. В. Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. М.—Л., 1953, с. 266—297). Новую попытку осмыслить присущие пушкинскому труду поэтические черты как определенную систему предпринял в своей статье «Художественные элементы в „Истории Пугачева“ Пушкина» В. М. Блюменфельд (Вопросы литературы, 1968, № 1, с. 154—174). В «Истории» он прослеживает своеобразное «эпическое течение», вскрывает его народно-поэтические истоки и разнообразные (художественные, исторические, философские) функции. При известной плодотворности наблюдений Блюменфельда статья не охватывает всех проявлений поэтического в труде Пушкина, а отдельные ее выводы (в частности, о жанровой природе «Истории») представляются спорными.

Эти черты «Истории Пугачева» приобретают принципиальный смысл при ее изучении в контексте научной и литературной жизни пушкинской поры. Глубокий след в творческой биографии Пушкина оставила «История государства Российского» Н. М. Карамзина, воспринятая поэтом и его современниками как событие не только русской историографии, но и русской литературы.² В своем труде Карамзин решал и эстетические задачи, стремясь к художественному воссозданию характеров и событий. «Прилежно истощая материалы древнейшей российской истории, — писал он в предисловии к своему произведению, — я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии!».³

Поэтический интерес к минувшим событиям, сочетание логического начала с образно-эмоциональным оказываются свойственными и действиям нового этапа в развитии историографии.

В 1810—1830-е годы общественное сознание переживает резкие перемены в отношении к историческому прошлому. Работы О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье и других представителей «новой» исторической школы во Франции закладывают основы современных представлений о характере и движущих силах исторического развития. Историческое повествование приобретает более строгий документальный характер, но при этом процесс развития исторической науки сопровождается и обращением к художественной литературе, опорой на завоевания писателей-романтиков, и в первую очередь Вальтера Скотта.⁴ Результатом обращения ученых к опыту исторического романа оказалось не только пробуждение интереса к определенным эпохам и проблемам, не только лежащее за страницами их монографий решение общетеоретических вопросов, выработка собственно научных принципов историзма. Представителей «новой» школы во французской историографии объединяло признание необходимости «поэтической» истории, стремление воссоздать события минувших эпох в их живом своеобразии, показать их глазами современников. «Историческая наука, — пишет современный исследователь, — нашла в историческом романе свою поэтику: принципы изображения и композиции, стиль, метод исследования и метод творчества, ту своеобразную творческую психологию, которая была связана с заново истолкованным историческим материалом».⁵ Романтическая историография основывалась и на новом понимании исторического источника. Свидетельства о прошлом ученые ищут теперь в материалах, никогда прежде не попадавших в поле их зрения; они изучают «историю там, где другие ее не искали: в легендах, преданиях и народной поэзии».⁶

Идеи и методы «новой» историографии получили распространение в России, в значительной степени создав ту идеологическую атмосферу,

² См.: Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке. — Русская литература, 1962, № 1, с. 68—106; Лузянина Л. Н. Об особенностях изображения народа в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1971, № 355. Сер. филол. наук, вып. 76, с. 3—17, и др.

³ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. I. СПб., 1818, с. XXIV—XXV.

⁴ Исключительную роль, которую сыграли в становлении научного метода представители «новой» школы открытия Вальтера Скотта в области исторического романа, отметил, в частности, Пушкин: «Действие В. Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста» (XI, 121).

⁵ Рейзов Б. Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958, с. 95. О художественных элементах в трудах историографов «новой» школы см. также: Рейзов Б. Г. Французская романтическая историография (1815—1830). Л., 1956; Косминский Е. А. Историография средних веков (V в. — середина XIX в.). Лекции. М., 1963, с. 374—415.

⁶ Тьерри Огюстен. История завоевания Англии норманами, т. I. СПб., 1859, с. 8.

в которой формировались исторические взгляды Пушкина. Интерес к работам французских историографов не оставляет Пушкина на всем протяжении 1830-х годов.⁷ О глубоком проникновении поэта в существо их метода свидетельствует афористически точное определение произведений О. Тьерри и Баранта («романическая живость истины, выведенная перед нас в простодушной наготе летописи» — XI, 121).

Рассмотрение процессов взаимодействия литературы и внелитературных форм словесности (в частности, историографии) в период, когда создавалась «История Пугачева», показывает, какой широкий и принципиальный характер носили эти процессы, позволяет уточнить круг проблем, в разработку которых включается Пушкин, приступая к своему исследованию. Художественное своеобразие «Истории Пугачева» не сводится, однако, к набору общих для жанра «художественной истории» черт. Художественный метод изучения прошлого в «Истории Пугачева» самостоятелен и равноправен научному. С этим в первую очередь и связана специфика жанра пушкинского труда.

2

Документ определяет и содержание, и характер любого научно-исторического исследования. Для Пушкина же опора на документ, следование ему являются в «Истории Пугачева» особенно принципиальными, определяются стремлением раскрыть историческую правду о Пугачеве и «пугачевщине», воссоздать истинный ход событий. Но в таком случае чрезвычайно симптоматичным выглядит самый круг исторических источников, характер их обработки и использования в тексте.

В процессе создания «Истории Пугачева» пушкинские принципы работы над документальными источниками, сложившиеся в художественном творчестве поэта,⁸ существенно дополняются и совершенствуются, приобретают иную специфику. Расширяя круг источников, включая в него вместе с правительственными сообщениями и архивными материалами свидетельства современников пугачевского движения, произведения фольклора,⁹ Пушкин стремится не только к полноте фактической информации, но и к проникновению в самую атмосферу эпохи крестьянской войны.

Однако в «Истории Пугачева» эстетически значимым является не только принцип отбора, но и характер организации материала. В этом отношении показательно, что, используя свидетельства обеих противоборствующих сторон, Пушкин в некоторых случаях не ставит своей задачей извлечь из этих контрастных показаний некую критически выверенную, «объективную» точку зрения, как это постарался бы сделать ученый-историк. Поэта интересует и сам противоречивый характер документов: драма истории, отражаясь в сознании участников событий, предстает в его произведении и другой стороной — непримиримым конфликтом

⁷ В настоящее время мы располагаем рядом работ, которые касаются вопроса об отношении Пушкина к «новой» исторической школе, см.: Ясинский Я. И. Работа Пушкина над историей Французской революции. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5. М.—Л., 1939, с. 359—385; Томашевский Б. В. Пушкин и история Французской революции. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 175—216 и др. О книгах французских историков в библиотеке Пушкина см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание, № 573—575, 958, 959, 1431—1434. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910.

⁸ См.: Левкович Я. Л. Принципы документального повествования в исторической прозе пушкинской поры. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с. 180—188. Не случайно Пушкин видел в летописях богатые источники художественного творчества. Он писал: «... в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времен» (XI, 385).

⁹ См.: Ляцкий Е. А. Пушкин-повествователь в «Истории Пугачевского бунта», с. 267—268; Измайлов Н. В. Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки».

мнений. Обнажая таким образом социальный характер каждой версии событий, Пушкин из объективного столкновения этих противоположных показаний извлекает особый эффект, благодаря которому в тексте «Истории Пугачева» возникает определенная двуплановость, носящая не только смысловой, но и художественный характер. Противоположным политическим позициям, которые занимают авторы официальных сообщений и принадлежащие к народной массе очевидцы событий, соответствует различие не только в оценке восстания, но и в самой манере изображения. Характерные образы, особенности отбора и оценки деталей зачастую позволяют выделить внутри интонационно-единого повествования отдельные фрагменты текста и за каждым таким отрывком увидеть субъект речи — автора высказывания.¹⁰

Взаимодействуя в контексте произведения, обе группы свидетельств перерастают в образы противостоящих друг другу культур и мировоззрений.

Контрастный, противоречивый характер показаний противоположных сторон особенно ярко сказывается по отношению к центральной фигуре «Истории» — фигуре Пугачева. В пушкинском исследовании сталкиваются два различных, четких по своим симпатиям и антипатиям понимания его личности. Временами Пугачев как бы двоится, распадается на противоречащие друг другу образы. И хотя собственно пушкинская оценка личности «мужицкого царя» не сводится ни к одной из представленных в источниках точек зрения, для ее формирования оказываются важными оба взгляда, ибо само восприятие борющимися сторонами поведения и личности Пугачева в значительной степени характеризует его как исторического деятеля.

Такая двойственность намечается уже при первом появлении Пугачева на страницах «Истории». ¹¹ «В смутное сие время, — читаем в начале второй главы, — по казачьим дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла <...> Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник» (IX, 13). Его задерживают, содержат под стражей в Казани, откуда он бежит, появляясь среди заговорщиков. «Они <...> положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежною пружиною. Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пугачева. Им нетрудно было его угговорить. Они немедленно начали собирать себе общников» (IX, 14).

Но вскоре рассказ о Пугачеве как бы подхватывается другим повествователем. «Славный мятежник» вновь возникает на страницах пушкинского труда, но уже в облике, разительно отличающемся от прежнего. Изменяется и манера повествования. Оно замедляется, детализируется, становится более выразительным и литературным (как чисто литературным является и способ введения героя в повествование, связанный с тайной): «Зарубин уехал, и в ту же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым и с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою» (IX, 15).

Если первый из рассказов стилистически сух и нейтрален, то второй носит явно беллетризованный характер, как бы берется в интонационные кавычки. Он строится на основе показаний казака Михайлы Кожевникова (IX, 692—695). Пушкинская обработка этих показаний носит творческий характер. В результате создается впечатление общенности рассказа; индивидуальный автор — участник события — как бы заменяется коллективным, удаленным от изображаемого случая. Меняя харак-

¹⁰ О роли «скрытых цитат» в тексте «История Пугачева» см.: Блок Г. Пушкин в работе над историческими источниками, с. 24—78.

¹¹ Там же, с. 70—71.

тер освещения события, насыщая рассказ атмосферой таинственности, подчеркивая необычность происходящего, Пушкин сообщает этому событию черты художественного образа — образа народной молвы о появлении государя Петра Федоровича. Не случайно рассказу о «великой особе» предшествуют слова: «Между тем разнеслись странные слухи...» (IX, 14), — они определяют характер дальнейшего повествования. Частный случай как бы пропускается через призму народных чаяний, надежд на появление заступника, освободителя.

По сути, уже само обостренное внимание к «неведомому человеку» подкашивает разгадку его тайны. И незнакомец, появившийся на хуторе Кожевникова, не обманывает этих ожиданий, оказываясь государем — таким, какого ждал народ: император, спасшийся чудом, исходивший Русь и присмотревший повсюду «многую неправду», является, чтобы совершить суд («думал он <...> повсюду поставить новых судей»), восстановить справедливость («возвести на престол государя великого князя»). Он ничего не желает для себя, он велик и загадочен («Сам же я, — говорил он, — уже царствовать не желаю»); он гуманен (стремление избежать «напрасного кровопролития») (IX, 15).

Если в начале главы перед нами самозванец, принявший имя Петра III, то во втором рассказе впечатления подлинности народного государя не нарушает и вклинивающийся в него комментарий («Высказав нелепую повесть, самозванец стал объяснять свои предположения» — IX, 15). «Он для тебя Пугачев, — говорил Пушкину Д. Пьянов, — а для меня он был великий государь Петр Федорович» (IX, 373). Слова старого казака отражают отношение народа к Пугачеву, проявившееся и в создании «пугачевской легенды», в поэтической форме отразившей лозунги восстания, самосознание восставших.¹² Эта легенда входит в пушкинское повествование в качестве внутренней, этической и идеологической характеристики движения. Ее завязкой на страницах «Истории» и является эпизод появления «великой особы».

Народное «мнение» о Пугачеве — это одновременно и свод чаяний и надежд угнетенных масс.¹³ Образ мужицкого царя, вобравший в себя мечты о легендарном государе, выражает народные представления об осуществляемой в ходе восстания справедливости, о характере взаимоотношений между народом и властью: «Когда въехал он (Пугачев, — А. К.) в крепость, начали звонить в колокола; народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади, при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился ко кресту, хлеб-соль поцеловал и сев на уготовленный стул, сказал: *вставайте, детушки*» (IX, 20).¹⁴ Для этого эпизода характерны идилличность, картинность изображения. Описываемая здесь сцена будто пришла из сказок и преданий о «добром царе».¹⁵

Но если «мнение народное» интерпретирует Пугачева как воплощение идеалов и надежд, то вторая — дворянская — оценка личности предводителя мятежа полностью противостоит такому восприятию: Пугачев рассматривается как «изверг природы», «разбойник», «преступник», «вор», «злодей». Эта оценка, также входящая в пушкинское повествование, ос-

¹² О пугачевской легенде см.: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, с. 147—173.

¹³ Черты народной концепции (и политической, и художественной, и нравственной) «желанного» царя воплотились в пугачевской самохарактеристике в тексте его указов: «Я во свете всему войску и народом учрежденный великий государь, явившийся из тайного места, прощающий народ и животных в винах, делатель благодеяния, сладоязычный, милостивый, мягкосердый российский царь» (IX, 681).

¹⁴ В основе данного отрывка — показание крестьянина Алексея Кириллова (см. конспект Пушкина — IX, 622). См. также указ Пугачева: «Ожидать меня старайтесь к себе с истинною верностью, верноподданнического радостью и детскою ко мне, государю вашему и Отцу, любовью» (IX, 680).

¹⁵ См.: Лядский Е. А. Пушкин-повествователь в «Истории Пугачевского бунта», с. 276.

нована на другой группе источников, где личность Пугачева снижается, измельчается, очерняется. Проявлением такой тенденции может служить, например, сообщение Екатерины II в письме к Вольтеру о «слабости духа»,¹⁶ которую самозванец оказал перед судом, так что «принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора» (IX, 79). Подобные свидетельства, определения в свою очередь образуют целую систему, единое повествование о событиях, согласно которому Емелька Пугачев — «дерзкий вор» и «разбойник» — возглавляет бунт «ослепленной черни», вначале разросшийся «по непростительному нерадению начальства» (IX, 80), но затем пресеченный. После подавления мятежа Пугачев кается, выказывает малодушие и трусость.

Иногда Пушкин непосредственно сталкивает оба взгляда, демонстрируя в таком столкновении всю их внутреннюю непримиримость, противоположность в освещении одного и того же явления.

Вот как, например, выглядит в тексте «Истории» картина жизни в Бердской слободе: «Когда ездил он (Пугачев, — А. К.) по базару или по Бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд и расправу давал сидя в креслах перед своей избою. По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удушенных, четвергованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян» (IX, 26—27).

Этот эпизод распадается на два самостоятельных отрывка (первый, кончающийся словами «целовали его руку», и второй, со слов «Бердская слобода»). Они имеют один объект изображения, но резко отличаются друг от друга по своему общему колориту, по отбору материала изображения. Если первый отрывок рисует жизнь в Бердской слободе в сказочных образах, в духе уже знакомых нам мотивов пугачевской легенды, то второй резко диссонирует с идиллическостью его тона, явно тяготеет к дворянскому восприятию пугачевщины.

Оба запечатленные в этих контрастных отрывках взгляды находят опору в действительности, но оба обращены лишь к одной из ее граней. Работая над «Историей Пугачева», Пушкин приходит к пониманию того, что у каждой из противоборствующих сил существует своя социальная правда, исключая понимание правды другой стороны и резко противопоставленная ей.¹⁷ Возникающая на основе использования свидетельств враждующих сторон двуплановость, соседство и столкновение в тексте «Истории Пугачева» политически и эстетически полярных трактовок восстания является своеобразным композиционным приемом, раскрывающим (и здесь Пушкин-художник идет рука об руку с Пушкиным-историком) одну из основных идей произведения — идею трагического и неизбежного раскола нации.

Методы организации материала в структуре пушкинского повествования подчинены одной задаче — с наибольшей полнотой охватить события и «вширь», и «вглубь». «История» — сложное целое, совокупность различных уровней повествования, каждый из которых характеризуется своим особым масштабом изображения — от самого общего плана, вос-

¹⁶ Вводя это высказывание в текст «Истории» (IX, 79), Пушкин сопровождает слова «слабость духа» выразительным эпитетом — «неожиданная».

¹⁷ Ср. в «Замечаниях о бунте»: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало <...> Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» (IX, 375).

создающего ход исторических событий, до «среднего» и «крупного» планов, фиксирующих внимание на определенной интересующей автора ситуации или личности. При помощи «крупных» планов, ярких деталей, при помощи эпизодов, выделяющихся из текста в силу своей повышенной эмоциональности и художественной завершенности,¹⁸ Пушкин задерживает внимание читателей на наиболее важных темах и ситуациях, расставляет смысловые акценты.

Эти разнородные фрагменты текста скреплены единой авторской позицией, слиты в пушкинском труде, в котором сквозь события крестьянской войны просматривается целая эпоха русской истории, где за спинами столкнувшихся в смертельной схватке противников вырастают Россия дворянская и Россия народная с присущими каждой из них системами ценностей, со своими сильными и слабыми сторонами.

Высокие представления о дворянской России, дворянской культуре связаны с появляющимися на страницах «Истории» именами Суворова, Дмитриева, Державина, Крылова. Особенно выделяется в этом отношении фигура Бибикова, в которой воплощены лучшие черты, присущие дворянству: чувство долга, чести, патриотизм, независимость.¹⁹ Посвященные Бибикову странички «Истории Пугачева» написаны Пушкиным в особом стилистическом ключе; перед читателем встает образ носителя дворянской культуры XVIII в. в ее высоких проявлениях: «Александр Ильич Бибиков принадлежит к числу замечательнейших лиц Екатерининских времен, столь богатых людьми знаменитыми. В молодых еще летах он успел уже отличиться на поприще войны и гражданственности. Он служил с честью в семилетнюю войну и обратил на себя внимание Фридриха Великого. Важные препоручения были на него возлагаемы: в 1763 году послан он был в Казань, для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твердостью и благоразумною кротостью вскоре восстановил он порядок <...> В 1771 году он назначен был <...> главнокомандующим в Польшу, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных» (IX, 32). Умирая, он произносит: «Не жалею о детях и жене; государыня призрит их: жалею об отечестве» (IX, 54). Речь Бибикова в «Истории» образна, ярка, демократична, что помогает подчеркнуть национальные истоки его характера.

Но рядом с обликом дворянской России, дворянской культуры в пушкинском тексте возникает и образ восстания, вырастающий до образа России народной. Восстание предстает в «Истории Пугачева» не как «беспорядки», вызванные кучкой злоумышленников, но как вторая Россия, стихия мятежа, вырвавшаяся на поверхность исторической жизни. Какова она, чего можно от нее ждать? Этот вопрос звучит в «Истории». В пушкинском отношении к «бунту» уловимо ощущение его новизны, непонятности (вспомним сцену, когда Суворов расспрашивает Пугачева, — здесь Россия дворянская всматривается в народную).

Та Россия, которая раскрывается перед поэтом в восстании, неожиданна, значительна, противоречива. Она наступает, она активна, полна сил («трихнем Москвою!»). В быстроте и внезапности, с какой восстание вспыхивает то там, то здесь, охватывая все новые области и неожиданно затухая в прежних, в лихорадочной поспешности, нетерпеливости, с которой восставшие стремятся воспользоваться своей, наконец, обретен-

¹⁸ Таков уже упоминавшийся рассказ о таинственной «особе» (IX, 15), а также плач казачки Разиной (IX, 51) и др. Нередко подобные эпизоды, связанные единством темы или стоящей в их центре фигуры, образуют особые линии повествования внутри основного текста «Истории». Вспомним хотя бы сцены убийства мужа и отца Харловой, затем встречи ее с Пугачевым, ее смерти. В них с исключительной выразительностью раскрыто трагическое в судьбах участников кровавых событий пугачевщины.

¹⁹ См. также: Грушкин А. Пушкин 30-х годов в борьбе с официозной историографией («История Пугачева»). — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5. М.—Л., 1939, с. 230.

ной свободой, видится и сила возмущения, и напряженное ожидание «воли», и неуверенность в законности этой «воли», в своем праве на нее. Характерен эпизод усмирения Державиным бунта (IX, 44), когда активность восставших мгновенно сменяется рабской покорностью.

Сознание исторической обусловленности народных движений становится основой исторической концепции Пушкина уже в период работы над историей Французской революции. Но в отношении к пугачевщине для него не менее важна и другая сторона — мотив стихийности, вдохновенности, непостижимости бунта. Сам бунт возникает в «Истории» как «проявление народного творчества».²⁰ Поэзия мятежа особенно близка Пушкину-художнику, отсюда и образно-эмоциональное начало в его восприятии и изображении. «Пиитический ужас», который охватывает в «Капитанской дочке» Гринева, в значительной степени свойствен и пушкинскому восприятию восстания.

Размах народного движения, его сила, неудержимость, разрушительный характер вызывали у очевидцев сравнение с разбушевавшейся стихией — пожаром, наводнением. «... а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургской пожар, как в разных местах вдруг горело, и как было попеть всюду трудно» (IX, 39), — писал А. И. Бибиков в цитированном Пушкиным письме. Неоднократно возникая на страницах «Истории Пугачева» («Рейнсдорп, испуганный быстротою пожара» — IX, 20; «пламя могло ворваться в самую Сибирь» — IX, 40; «зло, ничем не прегражденное, разливалось быстро и широко» — IX, 40), эти сравнения подчеркивают катастрофичность происходящих событий, создают зримый образ восстания, который оказывается более емким, выразительным, нежели любое чисто логическое определение.

3

Но наряду с изображением восстания как стихии мы видим в «Истории» и «крупный план» изображения его — как переплетения множества человеческих судеб. Такой масштаб изображения событий, связанный с проникновением в психологию героя, с прослеживанием всех перипетий его судьбы, в наибольшей степени отвечал чисто художественным интересам Пушкина. И здесь в центре его внимания вновь оказалась фигура Пугачева.

Пристальный интерес поэта к личности предводителя мятежа свидетельствует о том, что к пушкинскому произведению нельзя подходить как к чисто научному труду. Особое внимание Пушкина к личности Пугачева, отзывавшееся уже в самом названии сочинения,²¹ в значительной степени определяет и способ изображения событий крестьянской войны.

Анализ текста «Истории» обнаруживает, что Пушкин ясно представлял глубокие причины, вызвавшие восстание, ничуть не преувеличивая той роли, которую сыграл в событиях сам Пугачев. Не случайно поэт охарактеризовал как «замечательные» слова Бибикова из его письма к Д. И. Фонвизину: «... не Пугачев важен; важно общее негодование» (IX, 45). Но при этом существенно, что основные черты восстания фокусируются в истории Пугачева как деятеля, личности, носителя определенного типа сознания.

Пугачев изображен в «Истории» в единстве своих качеств (как глубоко личных, так и общественно-исторических, внеиндивидуальных) в того восприятия, которое они получают у обеих противоборствующих сторон. Воплощая в себе идею восстания, фигура предводителя мятежа

²⁰ Александров В. Пугачев. (Народность и реализм Пушкина). — Литературный критик, 1937, № 1, с. 44.

²¹ См.: Лядский Е. А. Пушкин-повествователь в «Истории Пугачевского бунта», с. 279.

оказывается тем индикатором, по отношению к которому проявляют себя обе враждующие стороны. Их симпатии и антипатии отражаются в отборе фактов его жизни, в их преломлении, в их литературной обработке. Но изображение Пугачева в «Истории» не ограничивается приведенными выше однолинейными, хотя и закономерными, характеристиками, которые дают ему представители борющихся сторон. Пушкин заглядывает за маски «злодея» и «батюшки-царя» — за маски, к которым всегда обращены дворянский и крестьянский повествователи. И проникая за эти маски, Пушкин обнаруживает богатство человеческого характера, его сложность и противоречивость. Сущность героя раскрывается через его поступки и речь, через проникновение в его внутренний мир. Так рождается художественный образ.

В изображении Пугачева Пушкин чужд всякой предвзятости, всякой модернизации и «олитературиванию». Но историческая правда оказывается для него неотрывной от художественной правды создаваемого образа. Пушкинский Пугачев — человек, принадлежащий своему времени и своей среде. Он невежествен, мстителен, часто жесток. Но в отобранных Пушкиным ситуациях раскрывается и смелость «славного мятежника», показываются присутствие духа, великодушие (как, например, в неожиданном комичном эпизоде с пастором-полковником).

Образ Пугачева в «Истории» не статичен. Недавний «неизвестный бродяга» возносится на гребень народного возмущения, уравнивающего «покорителя Бендер» (генерала Панина) и «простого казака, четыре года тому назад безвестно служившего в рядах войска, вверенного его начальству» (IX, 70). Этому мятежу Пугачев дает свое имя, выразителем его он становится. Однако не менее важно и то, что значительность, постепенно обретаемая Пугачевым, не сводится только к значительности взятой им на себя роли, к росту Пугачева как исторического деятеля. Она включает в себя и рост Пугачева-человека.

Формирование человека под влиянием обстоятельств, выявление следов воздействия истории на человека — аспект исследования, связывающий «Историю Пугачева» с художественными произведениями писателя — «Повестями Белкина», «Кирджали», «Капитанской дочкой». С развитием повествования образ Пугачева постепенно перерастает прежние рамки, усложняется, приобретает все новые измерения. Абстрактная фигура «мужицкого царя» уступает место живой, трагической личности. В лице Пугачева соединяются частный человек и вождь, и критерии, предъявляемые к последнему, чрезвычайно высоки. Коллизии, которых не знал «нищий бродяга», существуют для нового Пугачева и определяют его жизнь.

Трагизм судьбы предводителя мятежа наиболее полно раскрывается Пушкиным через тщательно разработанные в «Истории» драматические ситуации (такие, как эпизод встречи Пугачева с семьей, стены его пленения и казни). Эти эпизоды выделяются из общего текста не только благодаря большей образности, выразительности, но и в силу присущего им особого психологизма. Выявляя внутреннюю сложность, значительность происходящего, они тем самым позволяют и уточнить позицию автора «Истории».

Одним из важных моментов в судьбе «славного мятежника», подчеркнутых Пушкиным в «Истории», является несвобода поведения Пугачева («Пугачев не был самовластен» — IX, 27).²² Этой роковой несвободой, предопределяющей многое в поведении Пугачева — человека, втянутого в кровавую борьбу, стоящего во главе ее, оказывается скована и потребность в человеческих привязанностях. «Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой ви-

²² Ср.: Блюменфельд В. Художнические элементы в «Истории Пугачева» Пушкина, с. 164—165.

селищей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. *Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику.* Пугачев, молча, махнул рукой» (IX, 27). Этот последний жест Пугачева позволяет нам заглянуть в его душу, почувствовать, каковы наполняющие его переживания, ощутить их накал. Несвобода трагически переживается Пугачевым. Об этом говорят, в частности, и его слова *«улица моя тесна»* (IX, 27), перешедшие затем в «Капитанскую дочку». Но связав свою судьбу с восстанием, Пугачев остается верен ему, верен принятой миссии: «В казармах содержалась уже несколько месяцев казачка Софья Пугачева, с тремя своими детьми. Самозванец, увидя их, рассказывает, заплакал, но не изменил самому себе. Он велел их отвести в лагерь, сказав, как уверяют: *я ее знаю; муж ее оказал мне великую услугу*» (IX, 66).

Примечательна та обработка, которой Пушкин подвергает лежащий в основе этого отрывка фрагмент источника («Histoire de la révolte de Pougatschef»). Эпизод встречи Пугачева с семьей у Пушкина существенно отличается от соответствующего места «Histoire...»: ²³ слова «заплакал, но не изменил самому себе», подчеркивающие человечность Пугачева, раскрывающие силу его переживаний, в источнике отсутствуют. Пушкин дополняет и изменяет рассказ источника в соответствии со своим пониманием личности Пугачева.

Другой трагический мотив в жизни предводителя мятежа — предчувствие поражения восстания, неотвратимости собственной гибели. Эта тема завершается сценой пленения Пугачева: «Пугачев сидел один в задумчивости. Оружие его висело в стороне. Услыша вошедших казаков, он поднял голову и спросил, чего им надобно? Они стали говорить о своем отчаянном положении, и между тем, тихо подвигаясь, старались загородить его от висевшего оружия. Пугачев начал опять их уговаривать идти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ездили за ним и что уже ему пора ехать за ними. Что же? сказал Пугачев, вы хотите изменить своему государю? — Что делать! отвечали казаки, и вдруг на него кинулись. Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. *Я давно видел вашу измену,* сказал Пугачев, и подзвав своего любимца, илецкого казака Творогова, протянул ему свои руки и сказал: *вяжи!* Творогов хотел ему скрутить локти назад. Пугачев не дался. *Разве я разбойник?* говорил он гневно» (IX, 76—77). И вновь Пушкин усиливает выразительность лежащего в основе этого эпизода материала.²⁴ Тщательно разрабатывая, драматизируя и психологизируя подказанную источником ситуацию, он раскрывает внутреннюю сложность, трагизм происходящего.

Эволюция характера Пугачева, совершающаяся на протяжении восстания, для Пушкина закономерна и принципиальна. Значительность, которую обрела в борьбе личность предводителя мятежа, место, занятое им в народном сознании, демонстрируют заключительные эпизоды «Истории», в полный рост высечивающие фигуру «славного мятежника». Занимая в композиции произведения особое место — место послесловия к событиям, эпилога, — они воспринимаются не просто как результат развития героя, но и как своеобразный нравственный итог всего восстания, запечатленный в личности Пугачева: «Он был в окопах. Солдаты кормили его из своих рук, и говорили детям, которые теснились около его кибитки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ.

²³ Наблюдение А. И. Чхеидзе, см.: Чхеидзе А. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Тбилиси, 1963, с. 114.

²⁴ «Когда казаки решились выдать Пугачева, то он подзвал Творогова, велел ему связать себе руки, но не назад, а вперед. — Разве я разбойник, говорил Пугачев» (IX, 497), — так выглядел этот эпизод в пушкинском конспекте.

Во всю дорогу он был весел и спокоен» (IX, 78—79). В своего рода нравственный поединок, победителем из которого выходит Пугачев, превращается эпизод с Паниным. Слова Пугачева: «я не ворон <...> я вороненок, а ворон-то еще летает» (IX, 78) — звучат как грозное предупреждение непобежденного противника. В них в поэтической форме выразилась вера в неистребимость протеста — вера, неразрывно связавшая Пугачева с народом. Об этой связи, о месте, занятом предводителем мятежа в народной памяти, говорят и заключительные строки «Истории»: «...имя страшного бунтовщика гремит еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он *пугачевщиною*» (IX, 81).

Таковы некоторые из моментов, связанных с жанровым своеобразием «Истории Пугачева», со специфической формой проявления в ней поэтического начала. Думается, что дальнейшая разработка вопроса о его месте и значении в пушкинском исследовании позволит уточнить и представления о соотношении «Истории» с художественным творчеством Пушкина, о месте «Истории» в идейной и творческой эволюции писателя в 1830-е годы.





О. С. МУРАВЬЕВА

ФАНТАСТИКА В ПОВЕСТИ ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА»

1

Два десятилетия назад Г. А. Гуковский, анализируя «Пиковую даму», предложил снять с обсуждения вопрос о ее фантастике.¹ Однако в 1966 г. Н. В. Измайлов отметил, что вопрос о значении в повести фантастического элемента является одним из важнейших и нерешенных.² Дальнейшая судьба повести в пушкиноведении показала, что вопрос этот действительно далеко не исчерпан и даже не достаточно ясно определен.³

Основной аргумент исследователей, отрицающих фантастику в «Пиковой даме», состоит в том, что каждое фантастическое событие повести легко поддается вполне правдоподобному объяснению. Между тем вопрос об относительном правдоподобии («вероподобии») фантастического, возникший одновременно с появлением первых готических романов,⁴ к 30-м годам XIX в. был решен в пользу сближения фантастического плана с реальным. Именно с этих позиций анализируется в то время творчество Гофмана;⁵ те же требования предъявляются и к русским ав-

¹ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 364.

² Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 484.

³ Две резко противоположные точки зрения намечались еще в 1920-е годы, см.: Слонимский А. Л. О композиции «Пиковой дамы». — В кн.: Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова. М.—Пг., 1923, с. 171—180; Кашии Н. П. По поводу «Пиковой дамы». — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXXI—XXXII, Л., 1927, с. 25—34. Мнения современных исследователей также расходятся. Одни признают в повести фантастику (Измайлов Н. В. Фантастическая повесть. — В кн.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 134—169; Маня Ю. В. Эволюция гоголевской фантастики. — В кн.: К истории русского романтизма. М., 1973; Полякова Е. Реальность и фантастика «Пиковой дамы». — В кн.: В мире Пушкина. М., 1974, с. 374—412), другие отвергают (Степанов Н. Л. Проза Пушкина. М., 1962, с. 75—82, 200—206, 259—262; Тамарченко Н. Д. О поэтике «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. — В кн.: Вопросы теории и истории литературы. Казань, 1971, с. 45—62). М. П. Алексеев поставил вопрос об отражении в «Пиковой даме» целого ряда научных представлений пушкинского времени, см.: Алексеев М. П. Пушкин. Сб. статей. Л., 1972, с. 95—110.

⁴ См.: Жирмунский В. М., Сигал Н. А. У истоков европейского романтизма. — В кн.: Фантастические повести. Л., 1967 (сер. «Лит. памятники»), с. 258—259; Вацуро В. Э. Роман Клары Рив в русском переводе. — В кн.: Россия и Запад. Л., 1973, с. 174—176, 178.

⁵ См.: Скотт В. О чудесном в романе. — Сын отечества, 1829, т. 7, № XLIII, с. 229—245; № XLV, с. 288—309; № XLVI, с. 355—365; Гофман и его фантастические произведения. (Пер. с франц.). — Там же, 1837, ч. 183, с. 63—81; Искандер [Герцен А. И.]. Гофман. Знаменитые современники. — Телескоп, 1836, ч. 33, № 10, с. 139—168.

торам фантастических повестей.⁶ Таким образом, искусная двойная мотивировка событий, благодаря которой фантастические явления получают одновременно и правдоподобное объяснение, не есть отличительная и своеобразная черта повести Пушкина. Напротив, это широко распространенный литературный прием, и использование его Пушкиным вовсе не доказывает, что «Пиковая дама» не фантастическая повесть.

Главным критерием для выделения фантастической повести как самостоятельного жанра считается представление о «двомирии», лежащее в основе произведения.⁷ Оно может обуславливаться особенностями мировоззрения автора или быть только литературным приемом, что имеет существенное значение.

Знаменательно, что в России 1830-х годов очень своеобразно воспринималось творчество Гофмана и Л. Тика, под сильнейшим влиянием которых формировалась русская фантастическая повесть. Исследователи, занимавшиеся проблемой «Гофман в России»,⁸ сходятся на том, что русские писатели подражали Гофману по преимуществу формально, будучи не в состоянии проникнуть в символику его фантастики. Характерен отзыв В. Ф. Одоевского, который видел смысл двойной мотивировки явлений в фантастических произведениях немецкого романтика в следующем: «... таким образом и волки сыты и овцы целы; естественная склонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа».⁹ Здесь не принято во внимание главное: у Гофмана каждое явление и каждый образ имеют две стороны постольку, поскольку принадлежат двух мирам одновременно. Ни о каком рассчитанном равновесии здесь речи нет. Р. Ю. Данилевский, всесторонне изучив вопрос о восприятии творчества Тика в России, приходит к выводу, что «немецкая фантастика не принималась безоговорочно и целиком. Она так или иначе „снижалась“, подвергалась рационалистической „правке“».¹⁰ Подобная же закономерность проявилась и в усвоении немецкой философской эстетики, которая в русском варианте приобрела элементы дидактизма. «... у русской философской эстетики, — замечает Ю. Манн, — не было такой богатой романтической предыстории, как в Германии; она не была так удалена от стадий классицизма и просветительства и перенимала подчас в себя их элементы».¹¹ Этот вывод вполне можно распространить и на русскую фантастическую прозу.

Просветительские тенденции русской литературы, повлиявшие на восприятие немецкой фантастики, во многом определили своеобразие русской фантастической повести. Вместо порыва к запредельному и романтического томления на грани миров, свойственного немецким романтикам, мы сталкиваемся в ней с живым интересом к вопросу о существовании сверхъестественного и о причинах настойчивого тяготения к нему. Вопрос для того времени отнюдь не праздный.

⁶ См.: Московский вестник, 1829, № 6, с. 153—154 (рецензия на «Черную курицу» А. Погорельского); 1828, № 8, с. 161—162 (рецензия С. Шевырева на «Двойника» А. Погорельского); Московский телеграф, 1833, № 8, с. 58 (рецензия на «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевского). См. также: О новейших романах. — Литературные прибавления к Русскому инвалиду, 1833, № 83, с. 661—663.

⁷ Измайлов Н. В. Фантастическая повесть, с. 135; Волков И. Ф. Основные проблемы изучения романтизма. — В кн.: К истории русского романтизма. М., 1973, с. 24—25.

⁸ См.: Родзевич С. И. К истории русского романтизма. — Русский филологический вестник, Пг., 1917, т. 77, № 1—2, с. 194—237; Игнатов С. Погорельский и Гофман. — Русский филологический вестник, Варшава, 1914, т. 12, № 3—4, с. 249—278.

⁹ Одоевский В. Ф. Примечание к «Русским ночам». — В кн.: Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975 (сер. «Лит. памятники»), с. 189.

¹⁰ Данилевский Р. Ю. Людвиг Тик и русский романтизм. — В кн.: Эпоха романтизма. Л., 1975, с. 98.

¹¹ Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1969, с. 108—109.

В 30-е годы XIX в. в русском обществе заметно усилилась тяга к сверхъестественному, или, как тогда говорили, к «чудесному». Отзвуки этих постоянных разговоров о предсказаниях, привидениях и таинственных приметах мы можем встретить едва ли не во всех мемуарах, охватывающих этот период, и в переписке тех лет.¹² Безусловно, в обществе часто велись разговоры и споры на эту тему и даже импровизировались фантастические истории.¹³ «Бытовой мистицизм» нередко уживался с просвещенностью.

Одной из основных особенностей построения русской фантастической повести становится наличие экспозиции или концовки, где герои обсуждают вопрос о возможности сверхъестественного события в современной жизни. Определяются две точки зрения — признание и отрицание такой возможности, причем ни одна из них не является безусловной. Таким образом, само сверхъестественное не является для русских авторов некоей данностью, но берется под сомнение.¹⁴ Нечто подобное мы видим и в «Пиковой даме» Пушкина, которая тем самым включается в общее русло развития русской фантастической повести 1830-х годов.

Постараемся определить некоторые конкретные точки сближения и расхождения «Пиковой дамы» с массовой фантастической повестью. В литературе о Пушкине уже выявлялись многочисленные сюжетные совпадения «Пиковой дамы» с другими фантастическими повестями.¹⁵ Утверждалось даже, что в ней сведены воедино все мотивы, традиционные для этого жанра.¹⁶ Действительно, в пушкинской повести обнаруживаются если не все, то очень многие фантастические мотивы: связь азартной игры со сферой «сверхъестественного», тайна, передаваемая из поколения в поколение, магические карты, суеверия, роковые предчувствия, наконец привидение, без которого не обходилась почти ни одна фантастическая повесть. Но если обычно именно сверхъестественное событие определяло развитие сюжета такой повести, то в «Пиковой даме» ни один из этих мотивов не разрабатывается как мотив фантастический, ни один не становится стержнем сюжета. Автор не только не старается обыграть мотив сверхъестественного, но как будто нарочно снижает наиболее выигрышные в этом отношении моменты. Например, о графе Сен-Жермене говорится довольно скептически, с сомнением относительно того «чудесного», что о нем рассказывают. Разговор о таинственных картах неожиданно обрывается очень прозаическим замечанием: «Однако пора спать...». Некоторые излюбленные приемы авторов фантастических повестей у Пушкина подчеркнута, так сказать, «работают вхолостую». Возьмем тот эпизод, когда Германн проникает в дом графини: «Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты <...> Германн стал ходить около опу-

¹² Об этом см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. I. М., 1913, с. 376—382.

¹³ См.: Пушкин, XII, 317—318; Жуковский В. А. Нечто о привидениях. — В кн.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. 6. СПб., 1869, с. 601—603; Загоскин М. Н. Вечер на Хопре. — Библиотека для чтения, 1834, т. 3, с. 30; Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. I. М., 1912, с. 77, 79, 118—119; Фукс А. А. А. С. Пушкин в Казани. — В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974, с. 219—220; Керн А. П. Воспоминания. М., 1974, с. 47.

¹⁴ При этом авторы или колебались между разными решениями («Лафертовская маковница» А. Погорельского; «Нежданные гости», «Концерт бесов», «Ночной поезд» М. Н. Загоскина — из книги «Вечер на Хопре»; «Воспоминания на святках» Н. П. Полевого; «Две повести в одной» Б. М. Федорова), или настаивали на реальном объяснении («Латник» А. А. Бестужева-Марлинского; «Васильев вечер» М. П. Погодина; «Пан Твардовский» и «Белое привидение» Загоскина — из цикла «Вечер на Хопре»; «Гром божий» В. А. Ушакова) и даже откровенно стремились доказать нелепость веры в сверхъестественное («Рассказы о былом и небывалом. Да или нет?» Н. А. Мельгунова).

¹⁵ См.: Якубович Д. Литературный фон «Пиковой дамы». — «Литературный современник», 1935, № 1, с. 206—212.

¹⁶ См.: Полякова Е. Реальность и фантастика «Пиковой дамы», с. 398.

стевшего дома <...> Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать — и все умолкло опять» (VIII, 239). Все это: и ужасная погода, и опустевший дом, и тишина, и наступление полночи — обычные для фантастической повести признаки приближения сверхъестественного. Но здесь ничего особенного не происходит: часы пробили двенадцать, а потом и час, и два. Затем «в доме засуетились, раздались голоса, и дом осветился». И вот только теперь, когда наиболее благоприятный, казалось бы, момент пропущен, и происходит встреча Германна с графиней.

Обычно в фантастических повестях русских авторов огромная смысловая нагрузка ложилась на разговоры героев по поводу таинственных явлений. Здесь же разговор дает только толчок к разворачиванию действия. А разворачивается действие в тесном переплетении совершенно реальных, жизненных интересов и поступков героев, которых сами по себе сверхъестественные события вовсе не интересуют. Конечно, именно анекдот, рассказанный Томским, явился причиной всех последующих событий. Но Германн стремится овладеть тайной трех карт вовсе не для того, чтобы постичь тайну как таковую, а всего лишь для того, чтобы использовать ее в своих интересах. При этом он не продает душу дьяволу и не вступает в сговор с потусторонними силами, хотя и готов на это. Другое дело, что ему пришлось столкнуться с таинственными явлениями. Эти явления таинственны не только для Германна, ибо и читателю трудно объяснить невероятный выигрыш всех карт, указанных призраком. Невозможность однозначного решения отметил еще Достоевский: «... в конце повести, т. е. прочтя ее, вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром».¹⁷

Конечно, можно ответить на вопрос, почему выиграли карты, так или иначе, легко выстроив цепь доказательств — либо фантастических, либо правдоподобных, но ни одно из них не правомерно, так как мы насильно вырываем из произведения лишь одну линию по своему выбору. Стремясь решить: «случай или фантастика?», мы возвращаемся к началу повести (рассказ Томского вызвал следующие реплики: «Случай!», «Сказка!», «Порошковые карты!») и, таким образом, попадаем в замкнутый круг. Сама постановка вопроса как бы вставляет «Пиковую даму» в схему, характерную для массовой русской фантастической повести. Между тем Пушкин отводит эту схему в самом начале своей повести. Он дает ее в миниатюре в I главе «Пиковой дамы» (Томский рассказывает фантастическую историю, а гости высказывают противоречивые предположения)¹⁸ и сразу уходит от нее в своем повествовании. Этим Пушкин не просто ломает литературный шаблон, но иронически подчеркивает его исчерпанность и бесплодность. Следовательно, обсуждать события «Пиковой дамы» с точки зрения их правдоподобия — идти по заранее отвергнутому Пушкиным пути.

2

Коль скоро мы полагаем, что фантастика так или иначе присутствует в «Пиковой даме», мы должны уяснить ее художественную функцию и внутреннюю необходимость в структуре повести.¹⁹

Непроясненность и двойственность происходящего поддерживаются в «Пиковой даме» главным образом благодаря подчеркнутой не-

¹⁷ Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. IV. М., Гослитиздат, 1959, с. 178.

¹⁸ См. об этом: Янушкевич А. С. О своеобразии жанра «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. — В кн.: Сборник трудов молодых ученых. Томск, 1971, с. 23—37.

¹⁹ Предположения исследователей на этот счет очень неопределенны, см.: Слонимский А. Л. Мастерство Пушкина. М., 1959, с. 524; Манн Ю. В. Эволюция гоголевской фантастики, с. 225; Сидяков Л. С. Художественная проза А. С. Пушкина. Рига, 1973, с. 117.

определенности позиции автора. По наблюдениям В. В. Виноградова, «образ субъекта так же неуловим, противоречив и загадочен, как сама действительность повествования».²⁰ В самых загадочных сценах повести (появление Германна в спальне графини, явление призрака) автор откровенно уклоняется от собственной оценки происходящего, перепоручая ее Германну. Автор только бесстрастно констатирует, что именно видел Германн. Действительно это было или только примерещилось Германну? Вопрос остается открытым. Как заметил С. Г. Бочаров, автор «не знает» именно того, что относится к «тайне».²¹ Но таинственность «Пиковой дамы» связана не только непосредственно со сферой сверхъестественного.

Та же непроясненность и двойственность сквозит и в обрисовке образов главных героев.

Графиня на протяжении повести предстает перед нами в четырех сменяющих друг друга ликах: своенравная красавица, дряхлая ворчливая старуха, странный безмолвный манекен и, наконец, привидение. Эти столь разные лики трудно соединить в одном представлении. Они наплывают друг на друга, но не сливаются в ясный отчетливый образ.

В образе Германна тоже есть некоторая «неотчетливость». Подчеркнем, что мы имеем в виду не внутреннюю противоречивость его натуры, а двусмысленность отдельных характеристик Германна. Например, известное заключение Томского: «Этот Германн <...> лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства». Автор замечает, что «слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня» (VIII, 244). Это подтверждается тем, что прежде Томский говорил о Германне совсем иначе: «Германн немец, он расчетлив, вот и все» (VIII, 227). Но дальше мы читаем: «...он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну». А когда она услышала о смерти графини, «слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!*» (VIII, 244). Впрочем, возможно, Лизавете Ивановне никогда бы не пришли в голову подобные мысли, если бы не разговор с Томским, который именно в тот самый вечер («Странное дело!» — замечает по этому поводу автор) на бале «позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку» (VIII, 243). Весьма многозначительные намеки так и остаются намеками, автор не склонен разъяснять их до конца.

Есть известная недоговоренность и в образе Лизы. Мы имеем в виду неясное в своей крайней лаконичности сообщение: «Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека <...> у Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница...» (VIII, 252). Явная аналогия с положением самой Лизаветы Ивановны у старой графини заставляет искать скрытый смысл в этой сухой информации. Очень соблазнительно интерпретировать такую ситуацию в духе Достоевского: прежде униженный унижает другого, но ничто не мешает и иному толкованию.

Так в каждом герое кроется хоть что-то, о чем автор как бы не берется судить, ограничиваясь либо намеками, либо сухой констатацией фактов. Образы словно нуждаются в уточнении, а недосказанность открывает простор для самых разных предположений. Графиня вполне может быть хранительницей мистической тайны, но вполне может ею и не быть. В Лизе заложена возможность стать второй графиней для своей бедной родственницы, но одновременно и возможность изменить изнутри старые нормы отношений. А Германн — этот новый и еще незнакомый

²⁰ Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы». — В кн.: Пушкин. Временник, вып. 2. М.—Л., 1936, с. 113.

²¹ Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974, с. 193.

для России герой — кажется, очень напоминает Наполеона, но, может быть, на него лишь упал отсвет романтических идеалов, а сам он мельче и проще. Важно не то, какой вариант кажется нам более убедительным, а то, что разные варианты имеют одинаковое право на существование. Автор «не знает», какому из них отдать предпочтение, так же как он в «Евгении Онегине» «не знал», как сложилась бы судьба Ленского. И нужно подняться на высоту его «незнания», ибо в нем кроется пушкинское понимание человека. Современные Пушкину люди открылись ему во всем богатстве неиспользованных возможностей, подчас противоречивых, но еще сосуществующих «на равных».

Так образы героев «Пиковой дамы» оказываются принципиально неисчерпаемыми, не определяемыми до конца.

Естественно предположить, что эпиграфы «Пиковой дамы» являются опорными вехами, по которым можно проследить авторский замысел. Ведь эпиграф обычно служит для пояснения основной мысли произведения в целом или отдельной главы, акцентирует тот или иной мотив в повествовании, словом, «задает тональность осмысления».²² Рассмотрим, каким образом направляют мысль читателя эпиграфы «Пиковой дамы».

Предостерегающий эпиграф ко всей повести — «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность» — с одной стороны, действительно предрекает трагический конец Германна, но, с другой стороны, звучит несомненно иронически, так как цитируется не что иное, как «новейшая гадательная книга». Эпиграф к I главе сюжетно соответствует содержанию главы. Но именно оттого, что речь идет об одном и том же — об игре в карты, эпиграф и повествование оказываются внутренне polemичными по отношению друг к другу. Перед нами дилемма: в чем кроется истина? В приподнятости и многозначительности или в будничности и незатейливости? Во II главе эпиграф и повествование соотносятся лишь условно. Германн действительно «предпочел» разыграть роман с Лизой, нежели с самой старухой; слово «свежее» подчеркивает возможность такого сближения (о Лизе: «свежее личико»; в эпиграфе о камеристках: «они свежее»). Но вовсе не камеристками интересуется Германн, и вовсе не свежесть Лизаветы Ивановны привлекла его. Эпиграф к III главе, в которой происходит роковая встреча Германна с графиней, нацеливает внимание читателя не на этот кульминационный момент, а на предшествующую ему интригу между Германном и Лизой. Причем опять внешнее сходство ситуаций оборачивается несходством скрытого в них смысла: хотя есть основания предположить, что страстные письма Германна не вовсе лицемерны, в целом продиктованы они, конечно, не любовью. Эпиграф к IV главе кажется вполне обычным: слова «Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого!» действительно могут быть отнесены к Германну, каким он предстает в этой главе. Но что-то ханжеское слышится в этом негодующем возгласе, и слишком уж прямолинейно и мелко это суждение о герое, у которого «профиль Наполеона». Эпиграф к V главе всегда обращал на себя внимание исследователей «Пиковой дамы». Его ироничность обычно истолковывалась не только как ироническое отношение Пушкина к вере в привидения, но и как ироническое переосмысление видения Германна. Предположение естественное, но сомнительное. Ведь Германну призрак является не для того, чтобы сказать «здравствуйте!», а чтобы раскрыть тайну трех карт, которые, подчеркнем лишний раз, действительно выигрывают. Получается не переосмысление, а двусмысленность: ироничность эпиграфа и серьезность повествования не отменяют друг друга. Эпиграф к последней главе можно рассматривать как символ: человек осмелился держаться на равных с лицом вышестоящим, но тотчас был поставлен на свое место. Но такая ситуация может символизировать трагедию Германна

²² Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы», с. 113.

лишь весьма приблизительно. Полной аналогии с положением Германна здесь нет — он не смирился и не отступил, а погиб.

Одинаково важно и то, что каждый эпитафия так или иначе соответствует содержанию главы, и то, что это соотношение всякий раз сомнительно. По этим эпитафиям трудно уяснить отношение автора к загадочным событиям повести. Характерно, что источник большинства эпитафий — светский разговор, переписка. От эпитафия ждут, что он подскажет суть, но эти эпитафия подсказывают явно поверхностный, банальный взгляд на происходящее. Иронически подчеркивается расхождение между реальной сложностью жизни и упрощенным общепринятым отношением к ней. Эпитафия толкуют события повести в явно традиционном плане, усматривая в них игривое волокитство, несоблюдение этикета и т. п. (так обморок Германна на похоронах графини мгновенно был истолкован в духе старых шаблонов: незаконный, непризнанный сын пришел проститься...). В действительности жизнь движется уже по иным законам, старые ситуации наполнились новым смыслом, неуловимым с точки зрения прежних норм и представлений. Привычные, лежащие на поверхности объяснения не верны или не вполне верны, новые же Пушкин не торопится предложить. Поэтому эпитафия не могут стать точками опоры в двоящемся, зыбком мире «Пиковой дамы».

Непроясненность и недосказанность заложена в самой структуре стиля «Пиковой дамы». Как показал В. В. Виноградов, здесь «смысловая связь основана не на непосредственно очевидном логическом соотношении сменяющих друг друга предложений, а на искомым, подразумеваемых звеньях, которые устранены повествователем».²³ Попробуем подойти к анализу «Пиковой дамы», не пытаясь разгадать и разъяснить загадочную непроясненность происходящих в ней событий, но, напротив, будем исходить из того, что эта особенность является определяющей чертой художественного мира пушкинской повести.

В «Пиковой даме» схвачены только зарождающиеся процессы, о которых еще трудно сказать, во что они выльются. Подобное восприятие реальности сближает повесть Пушкина с «Преступлением и наказанием» Достоевского. Д. С. Лихачев отмечает: «Одна из особенностей конструируемого Достоевским в его произведениях художественного мира — его динамичность и „зыбкость“ <...> Все явления как бы незавершены <...> Все находится в становлении, а потому не установлено и отнюдь не статично».²⁴ Эти характеристики, разумеется, не приложимы непосредственно к «Пиковой даме», но известная связь здесь есть. Для Достоевского зыбкость, динамичность, неустойчивость изначально присущи жизни. Пушкин ясно ощутил пробуждение этих свойств жизни, когда окружающий поэта мир еще сохранял свою относительную устойчивость. Веками сложившиеся нормы отношений были еще прочны в сознании людей, еще претендовали на безусловность и неизбежность. Но жизнь уже не укладывалась в эти нормы и определения. Она раскрывалась в своей изменчивости и неисчерпаемости. Пушкин в «Пиковой даме» создает такую художественную модель мира, которая позволяет продемонстрировать эти свойства жизни с максимальной яркостью. Как и во всякой модели, в ней есть доля условности,²⁵ поэтому к этой повести Пушкина нельзя подходить с точки зрения жизнеспособности. Не случайно в «Пиковой даме» более, чем в других прозаических произведениях Пушкина, чувствуется тщательная продуманность композиции, искусное построение сюжета, отточенность каждой детали. Только художественный

²³ Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы», с. 140.

²⁴ Лихачев Д. С. «Небрежение словом» у Достоевского. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, вып. 2. Л., 1976, с. 30.

²⁵ См.: Дмитриев В. А. О реалистической условности. — В кн.: Обогащение метода социалистического реализма и проблема многообразия советского искусства. М., 1967, с. 203.

гений Пушкина смог избавить «Пиковую даму» от ощущения «сделанности».

Прежние формы жизни рушатся, новые еще не сложились. Пушкин противостоит стихийности и неоформленности самой жизни силой искусства, удерживая зыбкий, неустойчивый мир в совершенной и классически завершенной художественной форме.

3

Для Пушкина такая концепция жизни раскрылась именно в форме фантастической повести, ибо фантастика здесь лишь обнажает законы той эстетической реальности, которую он создал в «Пиковой даме». Атмосфера фантастического создается в повести за счет непрерывного колебания между фантастическим и реальным объяснением происходящего, но двусмысленность и неясность распространяются и на безусловно реальные образы и события. Дразнящая невозможность выяснить раз и навсегда, замешаны ли в трагедии Германа потусторонние силы, иронически предостерегает от безапелляционных и однозначных суждений.

Все традиционные приемы и сюжетные мотивы потому-то и вошли так органично в пушкинское произведение, что наполнились у него новым смыслом и содержанием. Так, принцип «вероподобия» фантастического, осуществленный в «Пиковой даме», соотносится не только с общей установкой фантастической литературы того времени, но и с художественной системой Пушкина. Отметим, что почти в то же время Гоголь написал свою повесть «Нос», начисто лишённую всяческого «вероподобия», в которой жизнь предстала иррациональной и необъяснимой, как сон. Известно, что Пушкин не только не был поражен и шокирован этим произведением, но, напротив, отозвался в высшей степени одобрительно и поместил повесть в своем журнале. Следовательно, и такой взгляд на жизнь был для Пушкина понятным и приемлемым. Но вот в его собственную эстетическую систему такая позиция совершенно не укладывалась. Пушкину оказался ближе старый принцип «вероподобия», отвергнутый Гоголем. Художественный мир Пушкина не приемлет иррационального. Пушкин не соглашается признать жизнь принципиально необъяснимой. Поэтому так тщательно подбираются правдоподобные, логичные мотивировки фантастических событий в «Пиковой даме». Но столь же важно и другое: эти фантастические события явно не укладываются в предложенные мотивировки. Объяснение с точки зрения здравого смысла демонстрирует свою узость, недостаточность. Жизнь поворачивается такими своими сторонами, перед которыми человеческий рассудок вынужден пока отступить в недоумении.

Фантастика легко и органично входит в общую атмосферу повести, хотя и не растворяется в ней. В «Пиковой даме» сохранена граница между фантастикой и реальностью, но эта граница не установлена. Автор как бы не берется ее определить, отсюда — бесконечность колебаний.

Русская фантастическая повесть, тесно связанная с предшествующими литературными явлениями,²⁶ оказалась весьма плодотворным направлением в развитии русской литературы первой трети XIX в. Именно в фантастической повести — истоки многих художественных открытий Гоголя;²⁷ в этой же жанровой форме рождалась у Пушкина своеобразная концепция жизни.

Мы отнюдь не стремимся доказать, что проблема соотношения фантастики и реальности в «Пиковой даме» охватывает все аспекты повести. Но, думается, именно через решение этой проблемы лежит путь к постижению законов художественного мира «Пиковой дамы».

²⁶ См.: Измайлов Н. В. Фантастическая повесть, с. 136—138.

²⁷ См.: Манн Ю. В. Эволюция гоголевской фантастики, с. 243—258.



Л. А. СТЕПАНОВ

ПУШКИН, ГОРАЦИЙ, ЮВЕНАЛ

1

Тема «Пушкин и Гораций» неоднократно освещалась в литературе. Что же касается отношения Пушкина к Ювеналу, то здесь все ограничилось самыми общими указаниями. Фактически эта тема даже не ставилась в литературоведении. В настоящей статье речь пойдет о понимании Пушкиным проблемы сатиры, об отношении его к двум типам сатиры — гораціанской и ювенальской, о месте их в эстетическом сознании и художественном творчестве писателя.¹

В современной научной литературе имя Горация непосредственно не связывается с проблемами сатиры. Я. Е. Эльсберг даже не упоминает его в своем обзоре.² Авторы исследования об античной лирике пишут, что сатиры Горация — жанр, «не соответствующий полностью нашему представлению о сатире», тогда как Ювенал развивал «жанр сатиры, более близкий к нашему пониманию».³ По отношению к нашему времени это соответствует действительности. Что же касается пушкинской эпохи, то тогда Гораций рассматривался в первую очередь как сатирик. Такое понимание творчества поэта опиралось на традицию европейской науки, которая воспринимала Горация сквозь призму представлений, выработанных в предшествующие исторические эпохи. Это восприятие осложнилось комплексом влияний, восходящих к средневековой латинской культуре и искусству античности. Эстетический кодекс классицизма закрепил представление о Горации как поэте-сатирике по преимуществу.

В той же европейской традиции Гораций и Ювенал были осмыслены как своего рода антиподы.

Разные исторические и литературные эпохи отдают предпочтение то одному, то другому сатирику. А. И. Белецкий показал, что европейское средневековье обращает свой взор к Ювеналу как проповеднику строгих нравственных начал. В эпоху же Ренессанса «рядом с сатирами Ювенала все большую популярность приобретают сатиры Горация». Буало, теоретик и сатирик эпохи классицизма, чаще опирается на Ювенала. Английская сатира XVII—XVIII вв. также «в немалой мере обязана Ювеналу и направлением и формой». В эпоху буржуазных революций Ювенал становится «символом поэта республиканских убеждений» и его имя входит «в словарь политического либерализма».⁴ В таком общественно-политиче-

¹ См.: Жаворонков А. З. А. С. Пушкин о сатире. — Учен. зап. Новгородского пед. ин-та Ист.-филол. фак., т. I, вып. 1, 1956, с. 63—100.

² Эльсберг Я. Е. Вопросы теории сатиры. М., 1957.

³ Ярхо В. Н., Полонская К. П. Античная лирика. М., 1967, с. 170.

⁴ Белецкий А. И. Ювенал. — В кн.: Ювенал. Сатиры. М.—Л., 1937, с. XVI—XVIII.

ском контексте воспринят был Ювенал поколением русских дворянских революционеров.

Русская литература, однако, с самого начала больше была связана с Горацием, чем с Ювеналом. Широкое тематическое освоение Горация началось примерно с середины XVIII в. В переводах и переложениях Горация, выполненных в различных художественных манерах и жанровых традициях, русскому читателю предстал поэтический мир частной личности, мир необычайно широкого диапазона. Поэзия Горация воспевает сладкий плен любви, радости, веселье и благородное отречение от соблазнов роскоши и богатства; она сочетает сатирические картины нравов Рима, написанные не только с «аттической солью», но и с «латинским укусом», гражданский патриотический пафос и философию духовной свободы. Художественный опыт Горация помогал создавать национально-самобытную поэзию.⁵ Решающим здесь оказывалось не заимствование тем, образов и нравственно-философских мотивов, а то обстоятельство, что поэзия Горация служила образцом художественного совершенства — пластичности, естественности поэтической речи, разнообразия интонации, т. е. качеств, к выработке которых стремилась русская поэзия. Поэтому было бы неверно объяснять предпочтение Горациевой сатиры произведениям Ювенала, которое мы наблюдаем на протяжении целого столетия, лишь тем, что Ювенал был неуютен российским «властителям и судиям».

Теоретически антитеза Гораций — Ювенал широко обоснована в европейской эстетике XVIII—начала XIX в. Она вытекает из традиционного разделения сатиры на серьезную и веселую, разделения, которому в равной мере следовали и «классики» и «романтики». Такое разделение фиксировало определенные типовые различия в характере, направленности, особенностях поэтики сатиры.

Но эта антитеза часто приобретала и дополнительный смысл. В гегелевских лекциях по эстетике сатирики различаются по степени преобладания абстрактно-моралистического начала, выражающего идеальные принципы римской государственности («всеобщее представление о добре и внутренне необходимом»), или же непосредственно художественного начала, претворяющего всеобщее и абстрактное в индивидуальной, субъективной форме.

В глазах Гегеля сатира вообще не обладала абсолютной художественной ценностью. И если он выделяет из римских сатириков Горация, то именно потому, что этот поэт «с веселостью, удовлетворяющейся тем, что делает дурное смешным», «набрасывает живой образ нравов своей эпохи <...> У других же поэтов абстрактное представление о справедливости и добродетели прямо противопоставляется порокам».⁶ Таковы, с его точки зрения, Персий и Ювенал. Гегель находил у Горация ярко выраженное субъективное художественное начало, благодаря которому поэт поднимал всякий предмет до уровня своей индивидуальности, делал его эстетически значимым. Поэтому нравственно-дидактическая проблематика в его сатире существует не в виде абстрактной морали, противостоящей действительности, а как бы вырастает из самой жизни, воплощаясь в художественные картины, создающие живой образ нравов своего времени.

Гегель был не одинок в таком понимании антитезы Гораций — Ювенал. В те же годы Фр. Шлегель, называя Горация самым остроумным из римских сатириков, отдает ему предпочтение перед Ювеналом. Хотя и не безоговорочно, Шлегель отнес сатиры Горация к художественным произведениям («истинно искусственным»), ибо нашел в них поэтическое, а не дидактически-декламаторское воплощение действительности. «Если же

⁵ См.: Макогоненко Г. П. 1) Пути развития русской поэзии XVIII века. — В кн.: Поэты XVIII века, т. I. Л., 1972 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 62—67; 2) Проблемы Возрождения и русская литература. — Русская литература, 1973, № 4, с. 70.

⁶ Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. 2. М., 1969, с. 226.

в сатирах, — говорил Шлегель, — вся занимательность полагается во вдохновении негодования и ненависти к порокам и глупостям, как сие мы находим у Ювенала, то такое вдохновение может быть достойно уважения в нравственном отношении, но оно не есть поэтическое». ⁷ Несколько ранее Шиллер, различая сатиру патетическую и шутивную, предупреждал о необходимости «в патетической сатире не повредить поэтической форме <...> а в шутивной сатире не упускать из виду поэтического содержания». ⁸

Поятно, что предпочтение Горация Ювеналу коренилось в решении проблемы художественности. Здесь нет возможности развивать эту мысль. Но совершенно очевидно, что в те периоды, когда перед национальной литературой вставали новые, более сложные художественные задачи, опыт Горация, поэта с высочайшей эстетической репутацией, привлекал особое внимание. Так, молодой Лессинг, глашатай новаторских художественных принципов в немецком искусстве XVIII в., чрезвычайно внимательно изучал Горация и подверг уничтожающей критике переводы пастора Ланге, искажившие идейно-художественный мир поэта. Для Лессинга Гораций был не мертвым авторитетом, а художником, способствующим решению назревших актуальных задач искусства. ⁹

Русская поэзия XVIII в., расширяя художественное исследование души человеческой, воодушевляясь гуманистической и просветительской идеей развития личности, преимущественно обращалась к Горацию, диапазон чувств и мыслей которого значительно шире, чем идейный мир Ювенала.

Русская эстетическая мысль начала XIX в. восприняла антитезу Гораций—Ювенал вместе с основными теоретическими дефинициями из трудов Лагарпа, Баттё, Зульцера, Эшенбурга, а также из новейшей немецкой эстетики. Определяя сатиру, эстетики и авторы учебных пособий стремились всесторонне охарактеризовать ее разновидности. У Горация, отмечал Я. Толмачев, «забавная» сатира, произведения же Ювенала изображают «сильное негодование против язвительных пороков и ненавистных деяний человеческих». ¹⁰ А. Ф. Мерзляков и И. И. Давыдов относили произведения Ювенала к «важной» сатире, Горация — к «веселой»; ¹¹ Н. И. Греч различал сатиру «строгую» и «шутивную». ¹²

При известном стремлении к объективности оценки римских сатириков русские эстетики отдавали предпочтение Горацию и типу сатиры, получившему его имя. По мнению С. Амфитеатрова, с Горация начинается «цветущий период» сатиры, так как в его сочинениях сочетаются философия и воображение, глубокомыслие и остроумие, знание человечества и добронравие. «Его уроки не мертвые, не холодные, дышат кротостью и благородством, и ведут нас к добродетели по пути, усеянному цветами». Гораций «не вооружается против пороков как судия неумытный, из сердца его не изливается желчь. Вы видите в нем мудреца, ласково приглашающего нас в храм истины и с кроткою улыбкою подающего советы». И хотя «неумолимый, непреклонный» Ювенал прав в своей сатире, «истина, как бы она ни была прелестна, — писал С. Амфитеатров, — не всегда пленяет сердце: и свет ее тяжел для некоторых, как чистый свет солнца неприятен для больных глаз». ¹³ П. Е. Георгиевский подчеркивал: «Ювенал так же одарен остроумием, как и Гораций. Но первый язвит, а последний застав-

⁷ Шлегель Фр. История древней и новой литературы. Лекции, читанные в Вене в 1812 г. Пер. В. Д. Комовского. СПб., 1834, с. 135—136.

⁸ Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии. — В кн.: Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми т., т. 6. М., 1957, с. 414—416.

⁹ См.: Фридендер Г. М. Лессинг. Очерк творчества. М., 1957, с. 25—27.

¹⁰ Толмачев Я. Правила словесности, ч. 3. СПб., 1818, с. 85—86.

¹¹ Мерзляков А. Ф. Краткое начертание теории изящной словесности. М., 1822, с. 142; Давыдов И. И. Чтения о словесности. Курс третий. М., 1838, с. 113—115.

¹² Греч Н. И. Учебная книга российской словесности. СПб., 1824, с. 165—167.

¹³ Амфитеатров С. Рассуждение о дидактической поэзии. М., 1822, с. 46—47.

ляет от избытка сердца смеяться собственной нашей глупости, им осмеиваемой».¹⁴ В те же годы А. Ф. Мерзляков, напоминая, что «грозного Ювенала, при всей высоте, силе и справедливости мыслей, ненавидели в Риме», с удовлетворением отмечал, что «с Горацием от доброй души смеялись те сами, которых он осмеивал».¹⁵

В подобных рассуждениях преобладал сравнительный подход, хотя были попытки и исторически подойти к объяснению различия двух сатириков, а следовательно, и двух типов сатиры. Так, Георгиевский писал, что Гораций, живший в Августов век, «с прискорбием смотрит на человеческие погрешности и только изредка позволяет себе над ними смеяться <...> После Горация дух времени изменился, нравы римлян начали развращаться, а с тем вместе родилась гневливая сатира под пером Ювенала».¹⁶ Впервые попытку объяснить характер сатиры Горация и Ювенала обстоятельствами их жизни и воздействием времени на их творчество сделал Жуковский в статье «Критический разбор Кантемировых сатиры, с предварительным рассуждением о сатире вообще».¹⁷

Среди современников Жуковского не было почти ни одного автора, который бы так или иначе не воспользовался его статьей, ибо это, без сомнения, лучшая работа о сатире в русской эстетике до Белинского. А. Ф. Мерзляков, Н. Ф. Остолопов,¹⁸ И. И. Давыдов, которым принадлежат обстоятельные высказывания о сатире, не только используют основные положения статьи Жуковского, но часто просто переписывают из нее целые абзацы. Предпочтение сатиры «веселой», «забавной», «шуточной», «легкой» сатире «важной», «строгой», «серьезной», а следовательно, предпочтение Горация Ювеналу, первым обосновал и развернул в своей статье именно Жуковский.

Заметив, что «каждый из сих стихотворцев имеет совершенно особенный характер», и отказываясь разбирать, «на чьей стороне справедливость», — тех, кто предпочитает Ювенала Горацию или наоборот, — Жуковский заключает свой экскурс в область теории весьма примечательным переходом к определению ценности обоих римских сатириков для нравственного воспитания современников. «Кто хочет научиться искусству жить с людьми, кто хочет почувствовать прямую приятность жизни, тот вытверди наизусть Горация и следуй его правилам; кому нужна подпора посреди несчастий житейских, кто, будучи оскорбляем пороками, желает облегчить свою душу излитием таящегося во глубине ее негодования, тот разверни Ювенала, и он найдет в нем обильную для себя пищу».

Личные склонности, общественная позиция, философия и эстетика Жуковского сказались на характере этого рассуждения. «Горациевы сатиры, — пишет Жуковский, — можно назвать сокровищем опытной нравственности, полезной для всякого, во всякое время, во всех обстоятельствах жизни». Гораций обладает, в глазах критика, целым рядом достоинств («веселость, чувствительность, приятная и остроумная шутливость»), которых лишен Ювенал; он «сохранил в душе своей привязанность к простым наслаждениям природы», «к удовольствиям непорочным», он снисходителен, простосердечен и любезен. «Он имеет дар, говоря уму, оживлять воображение и прикасаться к сердцу, и мысли его всегда согреты пламенем чувства». Перед нами законченный портрет чувствительного моралиста эпохи античности, нарисованный кистью русского

¹⁴ Красный архив, 1937, № 1, с. 205.

¹⁵ Мерзляков А. Ф. О талантах стихотворца. — Вестник Европы, 1812, ч. 65, с. 224.

¹⁶ Георгиевский П. Е. Руководство к изучению российской словесности, ч. III. СПб., 1836, с. 148.

¹⁷ Вестник Европы, 1810, ч. 49, с. 199—214; ч. 50, с. 42—61, 126—150.

¹⁸ Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии, ч. III. СПб., 1824, с. 65—141.

поэта XIX столетия. Не находя в Ювенале любезных ему черт, Жуковский пишет портрет этого сатирика более сухими мазками, подчеркивая недостатки: «Старость и привычка к чувствам прискорбным лишили его способности замечать хорошие стороны вещей; он видит одно безобразие, он выражает или негодование, или презрение. Он не философ».¹⁹

В эстетическом восприятии карамзинистов Гораций вообще был фигурой первой величины. Роль его определялась тем, что он — «мудрый весельчак», а веселость — друг истины, и потому Гораций — «наставник счастья».²⁰ Ориентация на гораццианский идеал — в общественной практике, личной этике, поэтическом творчестве — определила характер сатирической поэзии сентименталистов и молодых романтиков, где лидером, задававшим тон, был И. И. Дмитриев — «наш Гораций», по определению К. Н. Батюшкова. Сам Батюшков, автор отличных сатир, с самого начала резко ограничил идейную основу своего сатирического творчества: «Сатирию нельзя переменить нам свет» («Послание к стихам моим», 1805). В этом он следовал идейной программе Н. М. Карамзина, который считал иллюзией надежды на уничтожение зла и смягчение «сердец жестоких» («Послание к Дмитриеву», 1794) и видел выход в богатой внутренним содержанием жизни чувствительного человека под «тихим кровом». Под этим «кровом» был вполне осуществим своеобразно воспринятый русскими сентименталистами гораццианский идеал, но не умещался сатирик Ювенал. Боевой характер сатиры карамзинистов, эволюционировавших к романтизму, проявился почти исключительно в литературной полемике, нередко переходившей в личную сатиру.

В конце 1810-х — начале 1820-х годов, в период нарастания антимоноархических настроений и деятельности дворянских революционных обществ, гораццианский идеал жизни стал пониматься как образ жизни, чуждый «молодой России». Гражданской страстности романтиков-декабристов, их обличению монархического правления, политической реакции, крепостничества, «племени переродившихся славян» соответствовал пафос Ювеналовой сатиры. Он проявился в стихотворениях Рыльева «К временщику», «Я ль буду в роковое время...». Кюхельбекер писал о пророческом предназначении Ювенала, «грозным бичом» карававшего «власть тиранов» («Поэты», 1820). Однако теоретически ориентация на Ювенала закреплена не была, и сатира этого типа не получила в поэзии декабристов развития.

В атмосфере устоявшихся эстетических представлений, групповых ориентаций, личных пристрастий Пушкину предстояло определить свое отношение к Горацию и Ювеналу, к двум типам сатиры.

2

Гораций предстает в пушкинском творчестве в нескольких ипостасях: как «учитель жизни», как неповторимая личность, как лирик, сатирик, автор «пиитики».

В лицейских стихах Пушкина образ Горация несет на себе следы влияния его трактовки карамзинистами, в частности Батюшковым. Это «тибурский мудрец», певец веселья, чувствительный «собеседник граций», погружающий своего читателя в «приятные мечты»; сама рифма «граций — Гораций» устойчива и характеристична и у Батюшкова, и у Вяземского, и у юного Пушкина (см. «Городок», послания к Пушину, Галичу, Юдину). Даже бивачный образ жизни молодых гусар поэт осмысляет как осуществление гораццианской идеи удаления от соблазнов света («Послание В. Л. Пушкину»). В «Стансах Толстому» мораль Горация служит для выражения взглядов «золотой» дворянской молодежи.

¹⁹ Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х т., т. 4. М.—Л., 1960, с. 424—427.

²⁰ См. стихотворения Вяземского «Погреб», «К Батюшкову», Д. В. Давыдову; Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958, с. 83, 84, 96.

Однако уже в это время в послании «В. Л. Пушкину» (1817) обозначилось снижение интереса Пушкина к гораццианству как житейской философии и определенному эстетическому канону, установленному карамзинистами. К язвительной характеристике «бессмертный трус» прибавляется вскоре новая — «умный льстец» («В. Л. Давыдову», 1824), и на моральную оценку накладывается эстетическая: «Но лстивых од я не пишу». Развенчание русского сентименталистского гораццианства произошло в шестой главе «Евгения Онегина», в иронической характеристике Зарецкого, который в конце жизни,

Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Горацій,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

(VI, 120)

Все «деяния» Зарецкого представляют собой типичную добродетель, проповедуемую сентименталистами, и словно перенесены из посланий Карамзина, В. Пушкина, Батюшкова. В романе комически осмыслено слово «бури» применительно к «картежной шайке» Зарецкого. Вместе с тем Пушкиным пародийно воспринимается и сама идея «удаления» от мира, заимствованная русскими сентименталистами из произведений Горация. Таким образом, в ироническом контексте оказывается в романе и Гораций-моралист. Складывающаяся у Пушкина этическая оценка Горация оказывается одновременно эстетически полемичной по отношению к сентименталистской поэзии.

Гораций как законодатель в области поэтического вкуса (автор «пштики») не получает развернутой характеристики у Пушкина. «Послание Пизонам» лишь дважды упоминается им — в письме Катенину от 9 июля 1825 г. и в наброске статьи об Альфреде Мюссе.

Живейший отклик в сознании Пушкина нашли оды Горация.²¹ Это произошло еще в Лицее. В статье, посвященной памяти Дельвига, Пушкин пишет о том, что Дельвиг основательно изучал Горация под руководством профессора Кошанского. Это можно сказать и относительно самого Пушкина. Оды часто цитируются им в произведениях и в переписке, причем цитирование порой приобретает характер комической трансформации стиха или образа. Оды римского поэта вдохновили Пушкина и на переводы — в результате мы имеем незаконченный перевод «Царей потомок, Меценат...» (1833) и вольное переложение «Кто из богов мне возвратил...» (1835).

Что же касается сатир Горация, то внешне их след в творческом наследии Пушкина малозаметен: это каламбурное использование восклицания «O gus!» в эпиграфе ко второй главе «Евгения Онегина» и упоминание отвратительной Канидии, колдуньи, несколько раз встречаемой у Горация, в «Опровержении на критики». К имени римского сатирика Пушкин прибегнул также, когда понадобилось уколоть прозвищем «Беверлей-Гораций» незадачливого автора «Сатиры на игроков» и страстного игрока И. Е. Великопольского.

Как видим, обращение к сатирам Горация эпизодично и редко. Но глубокое и верное понимание характера сатиры Горация оказалось важным фактором в формировании пушкинской эстетики. 1 сентября 1822 г. Пушкин писал Вяземскому: «Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не достягает меч законов, туда достает бич сатиры. Гораццианская сатира, тонкая, легкая и веселая, не

²¹ Об этом см.: Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин. Времяяк Пушкинской комиссии, вып. 6. М.—Л., 1941, с. 90—159; Busch W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 154—164.

устоит против угрюмой злости тяжелого пасквиля. Сам Вольтер это чувствовал» (XIII, 43). Здесь, во-первых, дано общее определение сатиры Горация и, во-вторых, утверждается необходимость сатиры и другого характера — той, которая сильнее законов и способна устоять в борьбе. М. М. Покровский обнаружил, что пушкинская оценка гораціанской сатиры восходит к «ее характеристике в известном Пушкину с лицейских лет учебнике Лагарпа» («Ce même homme a fait des satires pleines de finesse, de raison, de gaîté»).²²

Когда мы говорим о сатирическом творчестве Горация, необходимо учитывать и его оды, так как шутка, «тонкая, легкая и веселая», придает им особое поэтическое звучание. Сам Гораций считал оды лучшими своими произведениями. Такова же точка зрения Пушкина. Еще в «Горючке» намечаются первые подступы к теме будущего «Памятника» («Я памятник себе воздвиг...»). Здесь впервые начинают сближаться имена Горация, Державина и самого Пушкина. Обращение к знаменитой оде Горация «К Мельпомене» вызывает у молодого поэта размышления о своем призвании («Не весь я предан тленью»). С этой же пушкинской мыслью сложно связана и заметка «Путешествие В. Л. П.» (1836). В заключительном абзаце заметки Пушкин пишет: «Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выпрежней; есть люди, которые находят и Горация прозаическим (спокойным,²³ умным, рассудительным? так ли?). Пусть так. Но жаль было бы, если б не существовали прелестные оды, которым подражал и наш Державин» (XII, 93). Перед нами один из типичных для Пушкина примеров скрытой полемики, которая до сих пор не привлекала внимания пушкинистов. Кого же имеет в виду Пушкин, чье мнение о Горации дано в ироническом контексте?

Пушкин имел здесь в виду прежде всего Надеждина, а опосредствованно Кюхельбекера. В 1836 г. Кюхельбекер находился еще в ссылке, и, разумеется, его имя не могло быть упомянуто в полемическом контексте. Но Пушкин помнил статью в III части «Мнемозины», автор которой называл Горация прозаическим остряком и обещал доказать, что «последний почти никогда не был поэтом истинно восторженным. А как прикажете назвать стихотворца, когда он чужд истинного вдохновения?»²⁴ В замечаниях на статью Кюхельбекера Пушкин возразил против смешения двух принципиально различных поэтических состояний — восторга и вдохновения. Не мог не знать он также трактовки Кюхельбекером в программной статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»²⁵ принципа Гораціевой «золотой середины» как умеренности и посредственности. В этой трактовке «aurea mediocritas» оказывалась понятием отрицательным и неприемлемым для поклонника восторженного Пиндара. Иначе понимался этот принцип в кругу арзамасцев: это была скорее всего если не сама гармония, то во всяком случае путь к ней. Тем более далеко это понятие от молчалинской «умеренности и аккуратности». Слово «посредственность» обладает у Кюхельбекера совершенно иной семантикой, нежели у арзамасцев. Вяземский в послании «К Батюшкову» называет «посредственность златую» подругой поэтов, дарованной им самой матерью-природой. Молодой Пушкин, без сомнения, был близко к такой трактовке Гораціевой «золотой середины».

Уже в 1830 г. с истолкованием Горация выступил Н. И. Надеждин. Он опубликовал обширнейшую рецензию на новые переводы од Горация, выполненные В. Орловым.²⁶ Если Жуковский представил Горация образ-

²² Покровский М. М. Пушкин и античность. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5. М.—Л., 1939, с. 45.

²³ В черновике вначале было сказано «благоразумным» (XII, 378).

²⁴ Разговор с Булгариным. — Мнемозина, 1824, ч. III, с. 160—163.

²⁵ См.: Мнемозина, 1824, ч. II, с. 32.

²⁶ Надеждин Н. И. Опыт перевода «Гораціевых Од» В. Орлова. — Московский вестник, 1830, ч. 4, с. 254—294.

дом чувствительного философа, знающего движения человеческого сердца, то ведущим тезисом Надеждина явилось утверждение, что Гораций — романтик классической древности.

Чтобы объяснить основные черты поэзии Горация, критик обращается к его времени — эпохе «вечереющей» цивилизации. «Действительность должна была досаждала ему тем, что он видел ее уже перешагнувшею идеал, в коем надлежало ей искать своего блаженства; его болезнование было, следовательно, болезнование притупленного пресыщения: он должен был томиться скукою; и сия скука разрешалась сатирической брюзгливостью либо рассеивалась веселыми возлияниями *Вакху и Ерогу* в блаженной *идиллической* неге и беззаботности».²⁷ Расхождение идеала и действительности трактуется Надеждиным как источник, признак и стимул «романтического» творчества Горация. Но это «романтик» особого склада, поэт благоразумия, смиряющий свой непосредственный гнев и сатиру ради «золотой умеренности», дабы спасти свое «человеческое достоинство среди бурь житейского треволнения». Романтическая мечтательность плюс внутренняя сосредоточенность, «умеряющая классическую резвость», формировали и питали горацiansкий юмор. У Горация, по словам Надеждина, «не было ни слишком кипучей желчи, ни слишком горячей крови. Натура уделила ему довольно терпения для того, чтобы щадить человеческую природу в самых отвратительнейших ее искажениях; и довольно степенности для того, чтобы сохранять меру, предписываемую благоразумием, в самые соблазнительные минуты сладчайшего упоения». Надеждин прямо пишет о «житейском благоразумии», «спокойном равновесии поэтического благоразумия, которое составляет отличительную черту горацiansкой философии», и даже о «ритмическом благоразумии» Горация. Поэтому сущность процесса поэтического творчества Горация представлялась Надеждину следующим образом: «Его благоразумие <...> согреваемое кроткою теплотою чувства, испарялось в живые и сладкие мечтания, осребряемые — бледным, но не поддельным — мерцанием из внутреннего святилища *идеальной незримой жизни*».²⁸

Теперь очевидно, кого имел в виду Пушкин в заключительном абзаце заметки «Путешествие В. Л. П.» (1836). Пушкин не развертывает аргументов против Надеждина, он даже готов снять полемику. «Пусть так» — означает не согласие автора статьи с критиком, а нежелание разжигать спор. Для Пушкина более важно другое. Если вдуматься в рассуждения Надеждина, то мы увидим, что Гораций выступает в них сатириком, по преимуществу, прозаическим стихотворцем, вдохновение которого всегда было сковано благоразумием. С этим Пушкин согласиться не мог.

Исключительный интерес для понимания пушкинского отношения к Горацию представляет переложение оды «К Помпею Вару» (Ног., II, 7). Стихотворение отличается от известных переводов оды на русский язык. Оно прежде всего принадлежит несколько иной литературной традиции. Н. О. Лернер отмечал, что, перелагая оду Горация, Пушкин продолжал «жанровую традицию, которую в русской поэзии до него с успехом поддерживал Капнист».²⁹ Общее в отношении к проблеме перевода у Пушкина и Капниста несомненно есть. Это особенно заметно, если сравнить переводческие принципы Пушкина с принципами, изложенными Капнистом в предисловии, которым он хотел снабдить задуманное им издание «Опыта перевода и подражания Горациевых од».³⁰ Но если Капнист в своих

²⁷ Там же, с. 264.

²⁸ Там же, с. 268.

²⁹ Лернер Н. О. Пушкинологические этюды. — В кн.: Звенья, т. V. М.—Л., 1935, с. 118. В. М. Смирин, сравнивавший пушкинский набросок другой оды («К Меценату») с переводами, сделанными ранее, также отмечает близость Пушкина к Капнисту, см.: Смирин В. М. К пушкинскому наброску перевода оды Горация к Меценату. — Вестник древней истории, 1969, № 4, с. 132.

³⁰ Капнист В. В. Избр. произв. Л., 1973, с. 133—145, 500.

переложениях и подражаниях, по верной характеристике П. А. Плетнева, «главные чувства Гораций облакал в свои формы, наводил на них свои краски и оживлял их национальной местностью»,³¹ то Пушкин действовал иначе: он стремился постичь ход мыслей античного поэта, проникнуться его мироощущением и самому пережить поэтическое состояние Горация. Процесс постижения, а также идейной оценки произведения как литературного факта и как поступка художника сливается у него с оценочной ситуацией, нравственных состояний, чувственно-образных конкретностей, воплощенных в стихотворении античного автора.

Воссоздание с помощью творческого воображения колорита далекой эпохи сочетается у Пушкина с акцентировкой тех моментов, которые были актуальны для него в период работы над переложением оды.

Это особенно наглядно выступает при сравнении пушкинского переложения «Кто из богов мне возвратил...» с переводами оды Горация «К Помпею Вару» (Ног., II, 7). Стихотворные переводы Г. Ф. Церетели,³² Н. И. Шатерникова,³³ А. П. Семенова-Тян-Шанского,³⁴ Б. Л. Пастернака³⁵ при всех различиях следуют за Горацием в строфике и размере. Этого нет у Пушкина. Его переложение не распадается на отдельные звенья-строфы, представляющие законченные картины: обращение к Помпею с воспоминанием о совместных опасностях, пережитых в походах Брута (1-я строфа), обращение к Помпею — товарищу по скромным походным пирушкам (2-я строфа), воспоминание о поражении под Филиппами (3-я строфа), рассказ о чудесном спасении Горация Меркурием и разлуке с другом (4-я строфа), описание возвращения Помпея и призыв к пирушке в знак благодарности Юпитеру (5-я строфа), картина предполагаемого пира с традиционными его атрибутами (6-я и 7-я строфы). Стихотворение Пушкина динамичнее и целостнее по настроению. Основное чувство, которое владеет лирическим субъектом, а именно радость встречи с давним другом, захватывает читателя с первых же строк, и напряжение эмоций не спадает до конца. Вообще эмоциональный регистр пушкинского переложения гораздо шире, переживания динамичнее, краски контрастнее, нежели в переводах других поэтов, да и в самой оде Горация. Пушкин не просто воспроизводил сюжет и стиль оды. Он внес в стихотворение собственное понимание натуры Горация, сложившееся в результате углубленного изучения творчества античного поэта, его жизни в бурную и переломную эпоху римской истории.

В стихотворении Пушкина обращают на себя внимание два момента: упоминание о битве под Филиппами и концовка.

Гораций, «трепетный квиврит», вспоминает свое постыдное бегство с поля боя:

Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы.
Как я боялся! как бежал!

(III, 339)

Здесь Пушкиным заметно усилена трусость Горация, что особенно заметно в сравнении с другими переводами:

С тобой Филиппы, бегство проворное
Узнал я, бросив щит опозоренный.

(Н. И. Шатерников)

С тобой Филиппы, бегство поспешное
Я вынес, кинув щит не по-ратному.

(Г. Ф. Церетели)

³¹ Северные цветы на 1826 г., СПб. 1825, с. 18.

³² Квинт Гораций Флакк. Полн. собр. соч. М.—Л., 1936, с. 65—66.

³³ Квинт Гораций Флакк. Оды. М., 1935, с. 70—71.

³⁴ Квинт Гораций Флакк. Избр. лирика. М.—Л., 1936, с. 77—79.

³⁵ Гораций. Избр. оды. М., 1948, с. 68—69; Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 101—102.

С тобой Филиппы вместе я пережил
И бегство, щит как бросил бесчестно я.

(А. П. Семенов-Тянь-Шанский)

Ты был со мною в день замешательства,
Когда я бросил под Филиппами.

(Б. Л. Пастернак)

Но это усиление не чуждо духу оды самого Горация. Традиционный мотив чудесного спасения певца, избранника небес, оказывается у Горация в несколько комичном соседстве с столько что приведенными строками.

Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдалеке умчал.

О трусости Горация Пушкин размышлял немало. В самом деле, это особого рода трусость. В прозаическом наброске «Цезарь путешествовал...» (1835) Петроний говорит об этом: «Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мепената своею трусостью, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута...» (VIII, 390). По его словам, он гораздо больше верит тем строчкам Горация, в которых отразились его мужество и патриотизм. По единодушному мнению исследователей, Петроний выражает здесь позицию самого Пушкина.³⁶ Б. В. Варнеке на большом материале показал, что поведение Горация по отношению к Августу и Мепенату не было проявлением какой-то личной подлости. «Гораций своим прославлением Августа не ввел, по существу, ничего нового в обиход поэтов своего времени, хвалил же он монарха лишь за то, что должно было восхищать и отчасти примирять с его захватом власти патриотов из республиканского лагеря, а Гораций сумел ничем не задеть ни их прошлого, ни всего того, что отдаляло их от монарха, самое обозначение официального титула которого Гораций так ловко затушевал».³⁷ Особенно привлекало Пушкина то, что Гораций в сложных условиях сумел сохранить личное достоинство и независимость.³⁸

Таким образом, Пушкин сознательно внес в воспоминание о Филиппах дополнительные штрихи, усиливающие впечатление трусливого бегства с поля боя.³⁹ Таков, по мысли Пушкина, замысел самого Горация. Замечательно также, что обстоятельства бегства затемнены, как будто той самой «незапной тучей», которую покрыл «трепетного кворита» Меркурий.

³⁶ См.: например: Тимофеева Н. А. Пушкин и античность. — Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина, № 83. Кафедра классической филологии, вып. 4, М., 1954, с. 15; Ванслов Вл. А. С. Пушкин о «золотом веке» римской литературы. — Учен. зап. Калининского гос. пед. ин-та им. М. И. Калинина, т. 36, 1963, с. 3—47; Суздальский Ю. П. Пушкин и Гораций. — *Известия филологического факультета Львовского университета*, вып. 9, № 5, Львів, 1966, с. 146, и др.

³⁷ Варнеке Б. В. Пушкин о Горации. — Одесский державный педагогический институт. Наукові записки, т. I, Одеса, 1939, с. 14.

³⁸ Вообще следует заметить, что пушкинская оценка Горация в целом заставила придуматься интерпретаторов творчества римского поэта. Кроме названных статей см. обстоятельный и оригинальный очерк «Поэзия Горация», написанный М. Л. Гаспаровым, в кн.: Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания, с. 5—38.

³⁹ В сохранившемся беловом автографе видны поправки в том месте, где говорится о бегстве Горация. Пушкин начинает строку словами «как я бежал», затем зачеркивает их, добавляет «как я боялся» и повторяет «как бежал!» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 980). Моменты самостоятельной переработки Пушкиным текста Горациевой оды тщательно зафиксированы в книге немецкого исследователя В. Буша, см.: Busch W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 160—161. Английский исследователь Д. П. Костелло также затронул этот вопрос, пытаясь объяснить появление в пушкинском переложении метафоры «призрак свободы» и эпитета «отчаянный» по отношению к Бруту как выражения оценки поэтом декабризма, «горестного сознания нереальности его собственных молодых идеалов» (Costello D. P. Pushkin and Roman Literature. — Oxford Slavonic Papers, 1964, vol. XI, p. 55). Такая трактовка представляется вульгаризацией пушкинской мысли.

А. Фет писал в примечании к своему переводу: «Гораций, рассказав в предыдущей строфе о своем постыдном бегстве, может быть, хочет польстить своему самолюбию мыслью, что Меркурий, покровитель лиры, спас в нем будущего великого поэта».⁴⁰

Божественное спасение певца-поэта, конечно, завершает эпизод, но не включает в себе весь его смысл. Мотив божественного спасения не вытесняет мотива трусливого бегства, а лишь переводит его в иную тональность и в иную систему ассоциаций, и сам этот перевод не лишен иронической игривости. Один мотив кладет легкий отсвет на другой. И здесь важным представляется тот факт, что Пушкин предлагает свою композицию Горациевой оды, деля ее на три части, а не на строфы, как в оригинале. Такая композиция придает особую структурную завершенность оде, в которой эпизод битвы при Филиппах и спасение поэта занимают центральную часть.

Ода «К Помпею Вару» относится к тем произведениям Горация, в которых он наглядно выходит за пределы умеренности. И переводы отражают эту особенность оды. Гораций призывает друга «забыться над чашами массаика», «не щадить кувшинов», «дурачиться», «упиться вином», «буйно кутнуть» (из переводов Семенова-Тян-Шанского и Пастернака). Но ни один перевод не доходит до той степени раскованности, какую окрыляет Горация Пушкин в третьей части переложения:

Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

(III, 390)

Пить как дикий скиф, утопить рассудок — это значит позабыть о заветной умеренности, перейти черту благоразумия и расчета. Думается, что Пушкин пришел к этой крайней степени не без внимания к опыту В. Орлова — переводчика Горациевой оды. В предисловии к книге переводчик писал, что «старался всегда постигнуть дух пиэсы и передать ее, сколько можно, ближе к внутреннему смыслу подлинника».⁴¹ Именно это стремление привело Орлова к мысли, воплощенной в заключительной строфе.

Кто пира царь? друзья, сольем
С звездами вечера денницу,
И в встречу друга перейдем
Ума холодного границу!⁴²

Перейти «ума холодного границу» или «рассудок утопить» — этого нет в заключительных строчках Горация. Но такое настроение главенствует в его стихотворении. Пушкин, оставшись ближе к Горацию в иных реалиях, почувствовал, что Орлов верно уловил основную тональность оды, и, как это нередко бывало, воспользовался опытом, близким его собственным переводческим принципам, еще резче заострив безрассудное, безоглядное, стихийное в натуре Горация. Момент отступления от мудрой умеренности пиршества замечен Я. Л. Левкович и в работе Пушкина над переводом-переложением из Ксенофана Колофонского. Причина такого отхода от буквы оригинала весьма характерна. В стихотворении «пир мудрых» сближается с застольями на лицейских годовщинах.⁴³ Оставаясь верным духу Горациевой оды, Пушкин полемически заостряет такой концовкой

⁴⁰ Оды Квинта Горация Флакка. Пер. с лат. А. Фета. СПб., 1856, с. 47.

⁴¹ Опыт перевода Горациевых од В. Орлова. СПб., 1830, с. 1.

⁴² Там же, с. 63.

⁴³ Левкович Я. Л. К творческой истории перевода Пушкина «Из Ксенофана Колофонского». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л., 1972, с. 99—100.

свое понимание личности римского поэта, свою оценку его судьбы, тонко-вплетая все это в образную структуру оды Горация.

Итак, Пушкин 30-х годов не верил в трусость Горация; не верил и тому, что рассудительность, благоразумие — определяющая черта римского поэта.⁴⁴ Он высоко ценил его природный художественный дар и совершенство стихов, глубоко и оригинально трактуя принцип «золотой середины». Пушкин вносил в отношение к Горацию момент личного сочувствия. Ю. П. Суздальский справедливо отмечает, что «если в 20-е годы Пушкин любил сравнивать свою ссылку с опалой Овидия, то в 30-е годы его жизненные обстоятельства скорее напоминали судьбу Горация».⁴⁵ Но Гораций не только в этот период, а всегда был для Пушкина одним из крупнейших поэтов, и те или иные стороны его творчества постоянно находили отклик в душе Пушкина. Дело не только в пушкинском признании Горация автором великих творений (см. «Возражение на статью А. Бестужева „Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов“» — XI, 25). Понимание или непонимание подлинной сущности античного классика было для Пушкина очень важным показателем эстетической зрелости того или иного автора. Именно поэту в известной эмигранте 1829 г. он наказывает Надеждина усмешкой Горация и палками Феба. Гораций в эпиграмме предстает ближайшим помощником Феба на Парнасе. В этом шутовском изображении отношений на Парнасе воплощена вполне серьезная мысль Пушкина: Гораций — поэт истинный. В заметке «Путешествие В. Л. П.» имя Горация возникает в контексте размышлений Пушкина о сущности поэзии, о ее неисчислимых природных проявлениях и безграничных возможностях. Пушкин стремился с предельной точностью выразить свою мысль. Отброшенные им варианты, зачеркнутые начала фраз характеризуют эти напряженные поиски: «а. Поэзия как природа. Есть люди, которые не понимают, б. Байрон не понимал Горация». в. Огонь поэзии как и сила природы» (XII, 378).

Все сказанное выше имеет прямое отношение к вопросу о гораццианской сатире и ее месте в эстетическом сознании Пушкина.

Упоминание Пушкиным сатир Горация (а таких случаев, как мы видели, немного) еще ничего не решает. Сатира Горация вписана у Пушкина в очень широкий литературный контекст, питает его размышления об эстетике и поэтике современной ему литературы. В этих размышлениях возрождается облик Горация-сатирика, заслоненный сентиментальной маской «чувствительного» поэта.

Сатира Горация — это не только две книги его «разговоров» или «бесед» («*Sermones*»), позднее получивших название сатир. Сатира как пафос, как стилевая примета присутствует и в книгах лирических стихотворений (названных у античных филологов одами), и в стихотворных письмах, которые Гораций объединял с сатирами общим названием «*sermones*» (в новое время их стали именовать посланиями), и в наиболее ранних его произведениях — эподах. Сам Гораций писал, что к сатире его с самого начала повлек природный дар, тогда как другие виды поэзии казались ему чуждыми (Ног., II, 1). Знаменитым поэтом, заслужившим почести Мecenата, стал именно сатирик Гораций. Сатира его — разговор, размышление, в котором шутка, пародия, комическая ситуация или иронический оборот мысли углубляют, оживляют серьезное содержание и делают ненавязчивой мораль.

⁴⁴ Уместно напомнить, что еще И. С. Барков в кратком очерке о Горации, предосланном изданию переводов его сатир, писал о невоздержанности, гневливости и непостоянстве натуры античного классика и, что важно, делал такое заключение исходя из произведений Горация. См.: Барков И. С. Жизнь Квинта Горация Флакка. — В кн.: Русская литература XVIII века. (Хрестоматия). Сост. Г. П. Макогоненко. Л., 1970, с. 220.

⁴⁵ Суздальский Ю. П. Пушкин и Гораций, с. 145.

В произведениях римского сатирика и лирика Пушкин находил мотивы, созвучные его собственной поэзии. Нужно ли говорить, насколько близко ему творческое кредо Горация: «описывать жизнь во всех ее красках». Знаменитый принцип «золотой середины», выродившийся с течением веков в примитивный постулат, у самого Горация богат нюансами, исполнен художественного многообразия. Своим поэтическим взором Гораций охватывает не только «середины», но и все, что располагается вокруг и далеко от нее. И в этом отношении он чрезвычайно близок Пушкину, дорог ему как поэт, стремившийся «выражать обыкновенные предметы» (см. «Об Альфреде Мюссе» — XI, 176) и показавший пример «классической неразъединенности субъекта и объекта в лирическом произведении».⁴⁶ Гораций привел римскую сатиру к художественной зрелости. Одним из важнейших факторов, способствовавших этому процессу, явилась субъективная трактовка принципов римской нравственности, выражавшаяся в духе свободной, разнообразной по тональности иронии и веселой шутки, в «легком, играющем», по определению А. Блока, стиле Горация.

Шутка, тонкая ирония Горация, его бесценный «дар сатирической веселости» были в высшей мере привлекательны для Пушкина. Сатирик считал, что «легкою шуткой решается важное дело лучше подчас и верней, чем речью суровой и дерзкой»; «нужно, чтоб слог был то важен, то кстати шутлив» (Ног., I, 10). В заметке «Путешествие В. Л. П.» рядом с Горацием совершенно закономерно поставлено имя Державина, с его «забавным русским слогом», с живым и вольным сочетанием важного и шутливого, с исконно национальной склонностью к иронии. Имея в виду эту особенность поэзии Державина, Пушкин прямо связывает ее с «прелестными одами» Горация. Впрочем, на эту связь указывали и сам Державин, и критики XVIII—начала XIX в., и читающая публика. Пушкин не открывает здесь ничего нового, он использует уже прочно установившуюся в эстетическом сознании эпохи связь и лишь одной ссылкой на два высших авторитета подкрепляет важную для него мысль о правомерности, больше того — необходимости поэзии, вдохновленной шуткой и «ясной веселостию».

В защите не только горацанской сатиры, но и всей сферы «легкого и веселого» выразился один из важнейших принципов пушкинской эстетики, который он отстаивал еще в 1825 г. в споре с Бестужевым, когда писал Рылеву: «...ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии?» (XIII, 134). Пушкин знал, что литературе, осваивающей новый уровень художественной культуры, нужны и гражданский пафос, «поэзия страстная и выпрениная», и «легкий, играющий» стиль. Только в этом сочетании залог ее естественного, всестороннего и успешного развития.

3

Если с Горацием у Пушкина было много точек соприкосновения и творческие связи двух авторов прослеживаются по нескольким линиям поэтических традиций, по различным спектрам эстетической и нравственно-философской проблематики, то обращения Пушкина к Ювеналу редки и весьма специфичны: они ограничены исключительно сферой сатиры. Правда, нельзя не сказать, что для Пушкина — это очень существенная сфера поэтического искусства. Уже в первом печатном произведении, «К другу стихотворцу» (1814), воображаемый собеседник юного поэта, Арист, выслушав его мысли о поэзии подлинной и мнимой, о судьбе поэтов, замечает, что тот судит

... всех так строго,
Перебирая все, как новый Ювенал.

⁴⁶ Неупокоева И. Г. Революционно-романтическая поэма первой половины XIX века. М., 1971, с. 38.

И сам поэт признается в конце:

Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить
И сатирическим пером тебя замучить.

(I, 27, 28)

Эти определения и характеристики очень значительны. Первый печатный опыт Пушкина носил отчетливо программный характер — непосредственно эстетическая проблематика составляет его основное содержание. В стихотворении проявилась несомненная ориентация на Ювенала, которому юноша-поэт стремится подражать пока в одном лишь направлении — в борьбе за высокий авторитет поэтического слова. Имя римского сатирика употреблено здесь в нарицательном смысле, и от него с юношеской прямоотой протянута нить к самому автору, мечтающему стать «новым Ювеналом». К такому самоопределению Пушкин пришел через отброшенный вариант: «как будто Ювенал» (I, 342).

В приведенных строках Пушкина содержится не только автохарактеристика, но и выявлены основные черты, присущие творчеству римского сатирика. Уже в этом раннем пушкинском опыте сказалась способность исключительно точно, глубоко, лаконично очертить предмет изображения. Строгость тона Ювенала, пафос его резкого осуждения всего, что противоречит его взглядам, настроениям и вкусам, «обзорный» характер сатир, изобилие в них отступлений, в которых автор в самом деле «перебирает» всю жизнь римской столицы эпохи упадка, пристрастие к пространственным риторическим рассуждениям — все эти черты, действительно свойственные произведениям Ювенала, были метко подмечены юношей-поэтом.

Портрет римского сатирика, набросанный в первом опубликованном стихотворении лицейского периода, дополнялся новыми деталями в других произведениях Пушкина. Однако новые штрихи не изменяли первоначальной характеристики Ювенала, а углубляли и уточняли ее. В стихотворении «К Лицинию» (1815), близком к Ювеналовой третьей сатире,⁴⁷ римский сатирик назван «жестоким». Этот эпитет относится и к Ювеналу, и к тому состоянию сатирического умонастроения, которое испытывал юный поэт, возмущенный конкретными фактами современного общественного зла и несовершенством мира в целом («Тень Фонвизина»). Это позволяет трактовать «жестокость» в пушкинском понимании как бескомпромиссность. Отсюда уже прямой путь к «музе пламенной сатиры», которая, как известно, также связана была в сознании Пушкина с именем Ювенала. В этом определении нужно видеть емкую характеристику не только сатиры Ювенала, но и самого процесса сатирического творчества, в том смысле, как его характеризовал Юлий Скалигер, говоривший о Ювенале, что он «воспламеняется, наступает, поражает».⁴⁸ И наконец, определение это затрагивает сущность творческого метода античного сатирика: имеется в виду такое изображение пороков, которое беспощадно обнажает нравы века, когда поэт подымается на высшую ступень порицания и гнева в своей «гремящей сатире».

В первоначальном варианте стихотворения рядом с Ювеналом стоял Петроний («Петрон» — I, 113). В позднейшей редакции поэт оставляет одного Ювенала (II, 12), чтобы возвысить его над другими сатириками. Имя Ювенала становится символом сатирического негодования, который используется Пушкиным для более точной характеристики собственного сатирического пафоса. В восприятии юным поэтом античного сатирика важен и другой акцент: Пушкин определяет «музу Ювенала» в письме к Василию Львовичу (1816) как «гневную» (XIII, 5).

⁴⁷ См.: Богуславский А. И. Вольнолюбивые мотивы в лицейской поэзии Пушкина. — Наукові записки Одеського держ. пед. ін-та, т. I, Одеса, 1939, с. 34—38.

⁴⁸ См.: Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии, ч. III, с. 71.

Итак, в ранних произведениях Пушкина мы находим конкретные определения и характеристики римского сатирика, очерчивающие его индивидуальный облик, и вместе с тем наблюдаем использование имени Ювенала как сатирика в символическом смысле. Но все же Ювенал не стал «вечным спутником» Пушкина, его постоянным собеседником или «оппонентом», какими являлись Овидий, Гораций, Шекспир, Вольтер, Байрон.

В более зрелые годы интерес Пушкина к Ювеналу постепенно затухает. Особенности Ювеналовой сатиры, точно и тонко осознанные им, находились в некотором несоответствии с поэтикой карамзинцев, молодых романтиков, да и с поэтикой остроумного Вольтера и представителей французской «легкой поэзии». Условия развития юного гения сближали его с конкретными задачами общественно-литературной борьбы, ставили перед ним эстетические и языковые задачи, в которых Ювенал не мог быть для него серьезной опорой. Наряду с Ювеналом юный Пушкин избирает себе в руководители на путях сатирической поэзии Вольтера с его остроумием, лаконизмом, обостренным чувством формы. Одновременно происходит становление пушкинского «легкого и шутливого» слога на основе уроков французской поэзии, отечественных предшественников от Державина до арзамасцев и затем Байрона. Имя античного сатирика мелькнуло в «Евгении Онегине», в составе известной антитезы появилось в статье «О поэзии классической и романтической» и затем, вплоть до 1836 г., в произведениях и письмах Пушкина не встречается.

Пушкин несомненно знал о существовании традиционной эстетической антитезы Гораций—Ювенал. В 1825 г. в наброске «О поэзии классической и романтической» он писал, что «духом своим, конечно, отличается <...> сатира Ювенала от сатиры Горация» (XI, 36). Однако для Пушкина более характерно снятие этой антитезы. Это «примирение» Горация с Ювеналом совершалось в творческом сознании гениально одаренной личности. Природное дарование влекло Пушкина к целостности восприятия мира. При таком характере восприятия и отражения жизни, более полном и гибком, нежели чисто теоретическое типологизирующее сознание, нацеленное лишь на определенный круг объектов, оба сатирика, с одной стороны, как бы возвращались к своему исходному историческому состоянию, и тогда становилась очевидной их внутренняя близость, ибо исторически Ювенал во многом последователь Горация; с другой стороны, их имена, обозначавшие значительные этапы литературного развития, сохраняли относительную самостоятельность: они могут тесно сближаться, потому что оба поэта — римские сатирики, а могут и выступать как своего рода творческие антиподы.

В том же 1814 г., когда было напечатано «К другу стихотворцу», в другом послании, побуждая Батюшкова к новым творческим свершениям, молодой Пушкин раскрывает перед ним и перспективы сатирической поэзии:

Иль, вдохновенный Ювеналом,
Вооружись сатиры жалом,
Подчас прими ее свисток,
Рази, осмеивай порок,
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь.

(I, 74)

Это очень показательное слияние Ювенала с Горацием. Жало и свисток (к ним прибавим и бич из стихотворения «О муза пламенной сатиры») — орудия первого, призванного разить порок; шутка, смех, которые не берут на себя обязательство исправить порочных, — право второго. То и другое входит в сферу сатиры. Так широко понимал юный Пушкин сатирическую поэзию. Такому пониманию сатиры, которое с годами становилось все более многомерным, поэт остался верен до конца своей жизни. Конечно, в послании Батюшкову перед нами не «чистый» Ювенал.

и не «чистый» Гораций. Это уже два потока сатирической литературы, которые пересекаются, расходятся, вновь сливаются и движутся рядом.

Для Пушкина не существовало дилеммы: творить в духе сатиры Горация или сатиры Ювенала, признавать ту или другую сатиру. С юношеских лет и навсегда имя Ювенала стало для Пушкина синонимом сатирика в широком смысле; вместе с тем Ювенал был для него выразителем гневного, негодующего пафоса. Таким предстает Ювенал в процитированном послании Батюшкову. В письме к Василию Львовичу Пушкину и в сатире «К Лицинию» Ювенал попадает у юного поэта в обстановку, близкую к той, какую связывали с горацианством. Поэт, стремящийся воспламенить свой дух поэзией Ювенала, собирается расположиться «в уютном уголке, при дубе пламенном, возженном в камельке», вспоминая с «дедовским фиалом» в руках нравы старины. У дяди-сентименталиста он обнаруживает «гневную музу Ювенала», «грозную» сатиру. Но эта сатира не негодующая, а осмеивающая. Кроме того, автору письма импонирует, что дядя-поэт сочетает свою сатиру против «глухого варварства» литературных врагов с «простыми песнями свирели», воспевающими красавиц.

Ювенал в данном контексте представлений — синоним сатирика вообще, и характер собственно Ювеналовой сатиры здесь почти не раскрывается, если не считать, разумеется, относящегося к ней эпитета «гневная». Когда Жуковский в статье о Кантемире писал, что в лице русского сатирика как бы совместились Гораций и Ювенал, то в этом случае оба римских сатирика интересовали его со стороны особенного, характерного именно для них. Когда же Карамзин называл Кантемира наследником Ювенала,⁴⁹ несмотря на признание первого русского сатирика, что он «наипаче следовал Горацию и Бозлу», то здесь имя Ювенала выступает в его нарицательном смысле, как синоним сатирика вообще.

Упоминание Ювенала в пушкинских статьях 1836 г. «Французская Академия» и «Вольтер» (XII, 50, 78) содержится в цитатах из переводимых авторов (речь Скриба и письмо де Бросса). В заметке «Путешествие В. Л. П.», имеющей, как показано выше, принципиальное эстетическое значение, Пушкин обозначает именем Ювенала высшую степень сатирического пафоса, в его всеохватывающем социально значимом содержании, именуемому «ювенальским негодованием», от которой целый ряд промежуточных фаз поэтического состояния может нисходить до «маленькой досады на скучного соседа». Оба смысловых полюса (печаль—радость, парение восторга—отдохновение чувств) лишь отмечают условные пределы изменения «живой и творческой души» (XII, 93). Эстетическая значительность этой мысли не может быть игнорирована, но в пушкинское представление о Ювенале она не вносит ничего нового, основываясь на традиционной трактовке главенствующего пафоса римского сатирика, осознанной в сущности им самим в I сатире: «Fecit indignatio versum» («негодование рождает стих»).

В том же 1836 г. Пушкин по настоятельной просьбе князя П. Б. Козловского принимается за перевод X сатиры Ювенала, но останавливается почти в самом начале работы и пишет «заказчику» стихотворное послание, также оставшееся неоконченным (III, 429—430, 1038).

Чтение рукописного послания князю Козловскому затруднительно — разгадать удастся не все слова. В академическом издании (III, 1037) в некоторых местах печатного текста справедливо сделаны пропуски, чтение отдельных слов дано как предположительное, они окружены скобками и вопросительными знаками.

Остается неясным, почему перевод не окончен и как понимать заявление поэта о своей неумелости и «пугливом смущении». Что значит «не-

⁴⁹ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 2. М., 1964, с. 162.

опытный поэт? Можно ли всерьез считать это определение самооценкой автора, находящегося в расцвете сил и сознающего свое значение (ведь в те же месяцы написан «Памятник»)? Неопытный в сатире? Но перед Пушкиным стояла задача перевести или «переложить» готовое произведение. Неопытный в переводах? Однако всем известно искусство Пушкина-переводчика, его способность вживаться в дух оригинала, постигать особенности стиля других поэтов, характер иных времен, чужих народов.

На эти вопросы не дает ответа не только краткий текстологический комментарий в академическом собрании сочинений или в издании П. Морозова, где впервые указан адресат чернового послания «Ценитель умственных творений исполинских...», но и А. Малеин, автор заметки о Ювенале в «Путеводителе по Пушкину» и статьи «Ювенал в русской литературе».⁵⁰ Несколько страниц, опять-таки чисто фактического материала, об отношениях П. Б. Козловского с Пушкиным, содержится в приложении к книге Г. Струве «Русский европеец».⁵¹

Принято считать, что Пушкин стал писать «ответ Козловскому» потому, что оставил работу над переводом сатиры. Однако это невольно решительно утверждать, так как точная датировка черновика послания и черновых строк, содержащих перевод нескольких стихов сатиры Ювенала, не установлена. Не исключено, что Пушкин работал над обоими произведениями одновременно; к переводу сатиры X он, по воспоминаниям Вяземского, готовился основательно, изучая переводы других сатир Ювенала, в частности сделанные И. И. Дмитриевым. Все, связанное с этой работой, могло отложиться в широкий круг впечатлений и раздумий, которые Пушкин и начал развивать в послании Козловскому.

Прервать работу над переложением Ювеналовой сатиры, на которую он сам согласился, Пушкин мог лишь по серьезным причинам. Это могли быть обстоятельства двоякого рода. Нельзя забывать, что переводом Пушкин занялся в крайне напряженное время, не располагавшее к спокойному, сосредоточенному, свободному труду. Другой причиной могли быть соображения эстетического порядка: поэт мог творить только то, к чему его влекли «свободный ум» и осознанная необходимость. Вряд ли перевод X Ювеналовой сатиры был в то время таким трудом. Вообще сатиры Ювенала с точки зрения композиции и стиля не представлялись Пушкину безупречными: «В них звуки странною гармонией грешат».

Филологи-классики XVIII—XIX вв., тщательно изучавшие Ювенала, отмечают отрицательное влияние риторики и декламации на его сатиры.⁵² Н. М. Благовещенский, выступивший с первыми в России публичными лекциями о Ювенале в период предреформенного подъема и призывавший следовать примеру античного сатирика в борьбе с общественными пороками, отказывал ему в звании поэта, «писателя-художника». «Вообще должно заметить, — говорил ученый, — что он с гораздо большим успехом овладел материалом сатиры, чем ее формой. В большей части произведений Ювенала нет и следа гармонического развития преобладающей идеи, нет в них округленности и художественной цельности <...> смесь истинного, глубокого чувства с риторикой — невольной данью, которую знаменитый писатель заплатил своему веку, — и составляет настоящий характер Ювеналовой сатиры».⁵³ В книге Д. И. Нагуевского «Римская сатира и Ювенал» (1879) собраны и компилятивно обобщены результаты исследований творчества Ювенала европейскими учеными

⁵⁰ См.: Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 227—232.

⁵¹ Струве Глеб. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П. Б. Козловского. Сан-Франциско, 1950, с. 108—111.

⁵² См.: Античная литература. Под ред. А. А. Тахо-Годи. Изд. 2-е, перераб. М., 1973, с. 396—397.

⁵³ Благовещенский Н. М. Ювенал. Две публичные лекции. СПб., 1860, с. 23—25.

нескольких столетий. Особый интерес представляет мнение Низара, опубликовавшего в 1836 г. «Этюды о латинских поэтах времен упадка», второй том которых начинается статьей с характерным названием — «Ювенал, или Декламация». Низар был одним из самых строгих критиков Ювенала, противопоставившим свою оценку и анализ произведений сатирика восторженной и гиперболической характеристике, данной В. Гюго.⁵⁴ Низар находил у Ювенала множество недостатков: отсутствие идеала, безразличие, ложный пафос, растянутость, ненужные отступления, общие места, холодную риторику, высокопарную вялость, однообразный, педантичный тон и т. д. Отдельные удачные фрагменты он сравнивал с «нежной музыкальной фразой, сопровождаемой шумными звуками целого оркестра».⁵⁵ Анализ стиля Ювенала приводил ученых к выводу, что сатирик придерживался в основном конструкции прозаической речи, насыщенной риторическими фигурами.⁵⁶ По словам А. И. Белецкого, «изучение самого Ювенала приводило к противоречию с априорно сложившимся мифом о Ювенале».⁵⁷ Не исключено, что Пушкин соприкоснулся с ученой критикой его сатир. Во всяком случае идеи Низара несомненно ему были знакомы по «Библиотеке для чтения», где в 1834 г. (кн. V) опубликована статья «Эпохи упадка словесностей, разбор критических мнений Низара и Вильмена».

Слова Пушкина о «странной гармонии» и «треске» в сатирах Ювенала могли корреспондировать с учеными мнениями, но их внутренний источник — заметная «несовместимость» художественных принципов Пушкина (гармоническая композиция, лаконизм, поэтическая емкость, обязательность деталей, строжайший словесный отбор и т. д.) с поэтикой Ювеналовых сатир. Десятая же сатира, с которой обычно начинают рассматривать второй период творчества Ювенала, хотя и содержит запоминающиеся образные детали и картины, строится как логическое развитие сменяющихся тезисов и завершается банальным выводом. Она представляет собой «типичное риторическое рассуждение на заданную отвлеченную тему» с «наиболее школьно-элементарной» композицией.⁵⁸

Утверждение, будто Пушкин «отдавал предпочтение Ювеналу перед всеми другими сатириками античной литературы»,⁵⁹ не обоснованно. Ювенал как писатель оставался для Пушкина до конца дней больше символом, чем соратником, привлекал скорее своим пафосом, чем художественной формой. Но «Ювеналов бич» оказывался в его руках всякий раз, когда душа воспламенялась гневом против тиранства, гонений на ум, честь и свободу личности, против беззакония и угнетения, мракобесия и ханжества. Так было и в юношескую, горячую пору вольнолюбивых песен и дерзких эпиграмм, и в тяжелые 30-е годы.

4

Сатира как особый вид поэзии была актуальна вплоть до 30-х годов XIX в. Пушкинская эпоха — последний ее рубеж, поскольку еще ощутима преемственность проблематики и художественной культуры XVIII столетия. Уже в 40-е годы классицистический канон сатиры исчерпал себя. Сатира перестала интересовать поэтов и критиков как вид поэзии, но стала обозначением пафоса — «грома негодования, грозы духа, оскорбленного позором общества»; именно на этой теоретической платформе «Дума» Лермонтова названа В. Г. Белинским образцом сатиры, и именно такая сатира, по его мнению, «есть законный род поэзии». Происходит любо-

⁵⁴ См.: Белецкий А. И. Ювенал, с. XIV, XVII—XVIII.

⁵⁵ См.: Нагуевский Д. И. Римская сатира и Ювенал. Митава, 1879, с. 207.

⁵⁶ Там же, с. 426—436.

⁵⁷ Белецкий А. И. Ювенал, с. XIV.

⁵⁸ Там же, с. XXIV.

⁵⁹ Жаворонков А. З. А. С. Пушкин о сатире, с. 81.

пытная трансформация: не современное произведение оценивается по соответствию классическому образцу, освященному вековой традицией, а наоборот — лермонтовская «Дума» становится мерилom достоинств античного сатирика. «Если сатиры Ювенала дышат такою же бурей чувства, таким же могуществом огненного слова, то Ювенал действительно великий поэт!», — писал критик.⁶⁰

Белинский выступил против зачисления сатиры в разряд дидактической поэзии, как и вообще против этого понятия: «... дидактической поэзии нет, но есть дидактизм, который, как преобладающий элемент, может входить во все три рода поэзии». Сатира соединяет дидактизм с поэзией, в ней «поэзия становится красноречием, красноречие — поэзией», и по преобладанию собственно поэтического элемента увеличивается достоинство сатирика: «... сатиры Ювенала, ямбы Барбье, пьеса Пушкина „Поэт и чернь“, пьесы Лермонтова — „Печально я гляжу на наше поколение“ и „Поэт“ суть произведения столько же дидактические, сколько и поэтические». Здесь же Ювенал назван «величайшим сатириком в мире».⁶¹

Чем же объясняется такая оценка?

Принято считать, что Белинский, в ранний период своей деятельности отрицавший сатиру, с течением времени изменил свой взгляд. На самом же деле критик принял сатирический пафос как выражение социальных и гражданских чувств; но сатира как вид была для него явлением пограничным между художественным и дидактическим искусством. Предпочтение Ювенала Горацию основывается у Белинского на том, что социальная острота и гражданственность в сатирах Ювенала выражены сильнее, чем в сатирах Горация. Это принципиально важный момент. Впервые у Белинского намечается критерий, с помощью которого впредь будет определяться значение двух сатириков. Впервые здесь изменяется соотношение величин сатиры горацанской и сатиры ювенальской в пользу последней.

Гораций и Ювенал нигде Белинским не сближаются, не сравниваются. Больше того, критик как будто даже забыл, что Гораций писал сатиры. Он довольно часто вспоминал Горация как классика античной литературы; Гораций интересовал его также как личность. Развернутую оценку этой личности находим в статье «Общая идея народной поэзии»: «Отпущенный холоп Гораций называл себя подражателем Пиндара и, посвятив свою сговорчивую музу хвалению своего доброго барина, благодетеля, отца и заступника — Мецената, ввел в моду поэзию прихожих, которая так восхищала французов до времен Восстановления».⁶² В седьмой статье о Пушкине Белинский прямо пишет, что «Гораций в прекрасных стихах воспевал эгоизм, малодушие, низость чувств».⁶³

В русской критике середины XIX в. имя Горация стало обозначать не только гражданский индифферентизм или погруженность в заботы о общественном благе, но и безразличие художника к злобе дня, к задачам общественного служения. Гораций был осмыслен как представитель «чистого искусства», как «поэт формы»; Гораций-сатирик был забыт, на первый план выдвинулся автор «льстивых од». Ювенал же был воспринят в том идеализированном и канонизированном образе поэта-республиканца, непримиримого борца с тиранией, который сложился в эпоху французской буржуазной революции. Такое переосмысление старинной антитезы и эстетическая переориентация окончательно совершились в трудах революционных демократов.⁶⁴

⁶⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 522.

⁶¹ Там же, т. VIII, с. 308.

⁶² Там же, т. V, с. 290; ср.: т. VI, с. 613.

⁶³ Там же, т. VII, с. 405.

⁶⁴ См. в особенности рецензию Н. Г. Чернышевского на книгу переводов А. Фета «Оды Квинта Горация Флакка» (СПб., 1856): Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1948, с. 508—509. См. также: Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. I. М., 1955, с. 155; т. IV, 1956, с. 221.

Творческий мир Пушкина, его эстетика — едва ли не последняя среда, где «уживаются» Ювенал и Гораций. Однако это не механическое объединение, а творческое претворение. К каким бы разным стихам Пушкина, где звучат сатирические ноты, мы ни обратились — будь то «К Личинию» или «К Жуковскому», «Вольность» или «Деревня», послания цензору или «Поэт и толпа», «На выздоровление Лукулла» или «Моя родословная», — мы увидим элементы, традиционно восходящие к Ювеналу или Горацию, и вместе с тем почувствуем синтетический характер сатирического выражения.

Жуковский в статье «О сатирах Кантемира» фиксировал вечное равновесие и вечную противоположность двух поэтов, создавших два взаимно дополняющих типа сатиры, годных во все времена и соответствующих неизменной в своих основных проявлениях природе человека и человеческих отношений. Белинский, а вслед за ним и другие критики переносят Горация и Ювенала в свою эпоху и судят их по критериям XIX в., предъявляя к античным авторам политические, философские, нравственные и эстетические требования своей эпохи. У Пушкина иной путь. Он переносит себя в античность, проникается духом индивидуальных художественных систем Горация и Ювенала, находя в каждом из них неисчерпаемую, непокрываемую другим индивидуальным художественным миром силу идей, чувств, поэтического выражения.

В середине XIX в. стало выработываться более «жесткое» понимание сатиры, создавалась новая иерархия имен и жанров, фактически старый вид стихотворной сатиры исчез. Прежний смысл антитезы Гораций—Ювенал распался, ее полюсы расходились по разным направлениям идейной и эстетической ориентации, получая полемический акцент в борьбе революционных демократов со сторонниками «чистого искусства». К концу века русская реалистическая сатира уже имела свою великую традицию. После художественных завоеваний Гоголя, Щедрина и других классиков, после опыта демократической журнальной сатиры антитеза Гораций—Ювенал не могла быть материалом живой полемики, она сделалась достоянием истории литературы. Гораций-сатирик в значительной мере забывался, право «представлять» сатиру осталось за Ювеналом.



*
—

В. Б. САНДОМИРСКАЯ

ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ПУШКИНА ИЗ А. ШЕНЬЕ

1

В художественном развитии Пушкина большую и своеобразную роль сыграло его знакомство с творчеством французского поэта конца XVIII в. Андре Шенье (1762—1794). Жизненный и творческий путь этого поэта оборвался в годы Великой французской революции, и сборник его произведений вышел лишь много лет спустя, в 1819 г.,¹ став художественным явлением новой литературной эпохи, эпохи романтизма. Пушкин познакомился с этим изданием в 1819—1820 гг., когда близилась к завершению работа над первым его крупным произведением — поэмой «Руслан и Людмила», когда он уже определился как поэт.

В этот период обращение к творчеству Шенье оказалось очень значительным для Пушкина, повлияв как на характер его поэтических замыслов, так и на развитие его как художника. Пушкин сознательно избрал Шенье в свои учителя, и его отношение к творчеству французского поэта в первый период почти неизменно включает в себя, как существенный элемент, изучение и эксперимент. Переводы из Шенье, к которым Пушкин обратился несколько позже, не составляют в этом смысле исключения.

Первый перевод из Шенье был предпринят Пушкиным в 1823 г. Это перевод первых двадцати пяти стихов идиллии Шенье «L'Aveugle», так и оставшийся в бумагах Пушкина в черновом, неотделанном виде. Как показывает изучение этого черновика,² перевод «Слепца» был для Пушкина своеобразным этюдом в области стилистики и изучения нового для него стихотворного размера, не только опытом передачи французского александрийского стиха русским гекзаметром, но и первым опытом изучения русского гекзаметрического стиха, свойства которого — выразительность, богатство и разнообразие — вызвали восхищение поэта.

Примерно два года спустя Пушкин обратился к переводу другого стихотворения Шенье, сюжет которого также был почерпнут из античной мифологии. Это первое стихотворение из отдела «фрагментов идиллий» в сборнике Шенье:

- 1 Ceta, mont ennobli par cette nuit ardente,
- 2 Quand l'infidèle époux d'une épouse imprudente
- 3 Reçut de son amour un présent trop jaloux,
- 4 Victime du centaure immolé par ses coups.
- 5 Il brise tes forêts: ta cime épaisse et sombre
- 6 En un bûcher immense amoncèle sans nombre

¹ Oeuvres complètes d'André de Chénier. Paris, 1819 (далее: А. де Шенье).

² Сандомирская В. Б. Первый перевод Пушкина из Андре Шенье. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VII. Л., 1974, с. 167 и сл.

- 7 Les sapins résineux que son bras a ployés.
- 8 Il y porte la flamme; il monte: sous ses pieds
- 9 Etend du vieux lion la dépouille héroïque;
- 10 Et l'oeil au ciel, la main sur la massue antique,
- 11 Attend sa récompense et l'heure d'être un dieu.
- 12 Le vent souffle et mugit. Le bûcher tout en feu
- 13 Brille autour du héros; et la flamme rapide
- 14 Porte aux palais divins l'âme du grand Alcide!³

Шенье воспользовался здесь мифом о смерти Геракла. Миф этот сохранился в художественной переработке двух античных поэтов: афинянина Софокла (V в. до н. э.), в его трагедии «Трахинянки»,⁴ и Овидия, римлянина эпохи Августа, дважды обращавшегося к этому мифу — в послании Деяниры Гераклу в сборнике «Героини» и в IX книге поэмы «Метаморфозы».⁵ В этих произведениях раскрывается предыстория трагедии. Жена Геракла Деянира, напуганная молвой об измене мужа, стремясь вернуть себе его любовь, решила прибегнуть к приворотным чарам, якобы заключенным в крови кентавра Несса, убитого некогда Гераклом в борьбе за Деяниру. Пропитав кровью кентавра плащ, она послала его в подарок Гераклу, приносящему благодарственные жертвы Юпитеру Кенейскому в храме бога на вершине Эты. Но кровь Несса была отравлена ядовитой стрелой Геракла, смоченной в крови Лернейской гидры; яд, пропитавший плащ, проник в кровь героя и стал причиной его гибели.

И у Софокла, и у Овидия Деянира одинаково представлена лишь невольной виновницей гибели Геракла, жертвой обмана кентавра; узнав о смерти мужа, она убивает себя. Момент сожжения Геракла на погребальном костре изображается ими по-разному. Софокл излагает его подробно, следуя более древнему мифу, подчеркивая ритуальный характер этого сожжения: костер для сожжения приготовлен руками Гилла, сына Геракла, а зажжен по просьбе героя Филоклетом, получившим за это в подарок лук Геракла с отравленными стрелами.⁶ Овидий в «Метаморфозах» с большей подробностью изображает постепенное действие яда, проникновение его в кровь, нестерпимые мучения Геракла, доводящие его до неистовства; в ярости он забрасывает далеко в море Лихаса, передавшего ему дар Деяниры, ломает деревья, растущие на вершине Эты, и сооружает себе из них погребальный костер.

Пушкин хорошо знал этот миф в изложении Овидия. Известно, что первой книгой, взятой им из библиотеки И. П. Липранди и оставшейся у него во все время жизни его в Кишиневе, был Овидий во французском переводе — по-видимому, это были «Метаморфозы», первый полный стихотворный перевод которых на французский язык, выполненный

³ A de Chénier, p. 69. Перевод:

- 1 Эта, гора, освященная той плакучей ночью,
- 2 Когда неверный супруг безрассудной супруги
- 3 Получил от своей любви слишком ревнивый дар,
- 4 Жертва кентавра, павшего под его ударами,
- 5 Он ломает твои леса: на твоей густой и темной вершине
- 6 Нагромождены без счету в огромный костер
- 7 Смолистые ели, согнутые его рукой.
- 8 Он подносит к ним огонь; он всходит: под ноги себе
- 9 Стелет прославленную шкуру старого льва;
- 10 И, возведя очи к небу, положив руку на древнюю палицу,
- 11 Ожидает воздаяния и часа, когда он станет богом.
- 12 Ветер дует и воет. Костер весь в огне
- 13 Сверкает вокруг героя; и быстрое пламя
- 14 Возносит к божественным чертогам душу великого Алкида!

⁴ Софокл. Трагедии. Пер. С. В. Шервинского. М., 1958, с. 197—244.

⁵ Овидий. 1) Героини. Пер. Ф. Ф. Зелинского. СПб., 1913, с. 115—123; 2) Метаморфозы. [Л.], 1937, с. 180—184 (стихи 101—272).

⁶ Этот момент отражен в другой трагедии Софокла — «Филоклет», см.: Софокл. Трагедии, с. 338 и сл.

Сент-Анжем (1747—1810), вышел в Париже в IX год республики (т. е. в 1801 г.) и за короткое время до 1808 г. был переиздан еще трижды.⁷ Знакомство с мифом о Геракле по Овидию отразилось на характере пушкинской переработки фрагмента Шенье.

Шенье избрал для своего фрагмента момент сожжения Геракла: его герой ломает деревья на вершине Эты, громоздит их в огромный костер, зажигает его и восходит сам; пламя огромного костра возносит его в сонм бессмертных богов. Казалось бы, Шенье в согласии с мифом изображает Алкида неистового, сооружающего себе погребальный костер и сжигающего себя заживо под влиянием охватившего его безумия. Однако в изображении французского поэта нет речи о безумии, неистовстве, исступлении. Его герой «attend sa récompense et l'heure d'être un dieu»; фигура Геракла на костре, со взором, поднятым к небесам, с рукою, лежащей на рукоятке палицы, полна величия и уверенного ожидания. Этот эпизод является заключительным эпизодом отрывка; следующие за ним три стиха, с их образом костра, раздуваемого ветром, и пламени, возносящего к небу душу героя, ощущаются уже как нечто необязательное, содержащееся уже в цитированном выше 11-м стихе. Подчеркнутая статуарность позы Геракла, напоминающей классическую статую, упоминание неизменных атрибутов в изображении этого героя — шкуры немейского льва («du vieux lion la dépouille héroïque») и палицы («la massue antique») позволяют освободиться от влияния мифа и от воспоминания о пушкинском переводе и как бы заново увидеть текст стихотворения Шенье.

В первом стихе его названо место действия — Эта, гора Зевса, вершина которой стала местом смерти и «преображения» героя. Но Эта не только место действия, она и логический центр стихотворения, начинающегося обращением к ней, формальный субъект отрывка: «Il brise tes forêts; ta cime épaisse et sombre...». Вся предыстория величественного самосожжения изложена поэтом в трех стихах (2—4), в самых общих чертах: «неверный супруг», «безрассудная» и «ревнивая» жена, ее «дар», сделавший героя «жертвой кентавра», сраженного им когда-то. Остальные десять стихов отрывка посвящены изображению события, прославившего священную гору: Алкид ломает деревья на вершине Эты, громоздит их в огромный костер и зажигает его (стихи 5—8); затем он восходит на костер и, бросив в ноги шкуру льва и опершись на палицу, становится в позе спокойного и уверенного ожидания (стихи 8—11); костер разгорается все сильнее, и в его пламени душа героя возносится в чертоги богов (стихи 12—14). В отрывке Шенье мотив боли, мучений, неистовства отсутствует совершенно; его тема — прославленная гора и прославившее ее событие; герой изображается как участник этого события, извне, а не изнутри, и из всех возможных чувств героя в этот момент автор называет лишь ожидание приобщения к сонму бессмертных богов.

Сравнивая пушкинский текст с отрывком Шенье, можно видеть, что измененным оказался и сюжет стихотворения, и образ героя. Пушкин отбросил лирическое обращение к горе (стих 1). Эта остается местом действия, но перестает быть субъектом стихотворения. Благодаря этому исчезает раздвоение между формальным и действительным героем стихотворения; оно становится моноклитным и цельным, его действительный герой, его судьба составляют единое содержание стихотворения. В отличие от Шенье Пушкин создает образ страдающего героя, терпящего невыносимые мучения. В связи с этим история отравления Геракла рассказана им совершенно иначе, чем сделано это у Шенье. Строки Шенье, в которых «неверный супруг» получает от своей «безрассудной супруги»

⁷ Traduction en vers des Métamorphoses d'Ovide, poème en 16 livres, avec les commentaires, par F. Desaintange, 2 vol., à Paris, an IX [1801]; 2. édit. — 1803; 3., 4. édit. — 1808.

«ревнивый дар» и становится «жертвой Кентавра», — строки эти, передающие эпизод в самых общих, лишенных конкретности образах, как бы расшифрованы Пушкиным.

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передав. Алкид его приял.

Эти стихи соответствуют 2—4-му стихам Шенье. За ними следуют три стиха, вовсе отсутствующие у Шенье, вводящие новую тему — мучений Геракла, характерную для пушкинского стихотворения:

В божественной крови яд быстрый побежал.
Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет;
Стопами тяжкими вершину Эты роет.

Пушкинский Алкид — страдающий и неистовый («ярый»), «мученик», «воющий» от нестерпимых страданий; боль заставляет его «скитаться»; так попадает он на вершину Эты. Этот эпизод, введенный Пушкиным, по-новому осмысляет следующие стихи, соответствующие 5—8-му стихам Шенье:

Гнет, ломит древеся; исторженные пни
Высоко громоздит; его рукой они
В костер навалены; он их зажег; он всходит.

То, что у Шенье представлено как целенаправленное действие, как осуществление какого-то определенного замысла (все приготовив и взойдя на костер, Геракл «ожидает воздаяния и часа, когда он станет богом»), Пушкиным истолковано как стихийное буйство силы, освобожденной от контроля разума, который помрачен болью. Этот Геракл напоминает неистового Геракла Еврипида (трагедия «Геракл»), в припадке безумия, насланного Герой, убившего свою жену Мегару и сыновей и разрушившего свой дом. Однако в трагедии греческого поэта безумие Геракла исказило в его глазах действительный облик вещей и его домочадцы предстали врагами; Пушкин же изображает Геракла, мучимого нестерпимой болью, отравленного «язвительною кровью» кентавра, но не безумного: его ярость и неистовство разрушения — от стремления движением, действием разрядить силу этой боли и мучений тела. Его Геракл показан в непрерывном, страшном движении, вызванном этой непрерывной болью, — пять стихов, рисующих «скитальчество» «ярого мученика» (стихи 5—9), предельно насыщены глаголами и отглагольными формами: скитаясь, воет, роет, гнет, ломит, исторженные, громоздит, навалены, зажег, всходит. И наконец этот вихрь движения стихает — герой взошел на костер, нагроможденный им; взошел потому, что мелькнула надежда на избавление от мучений. Следующие стихи:

Недвижим на костре он в небо взор возводит;
Под мышцей палица; в ногах немейский лев
Разостлан —

внешне передают позу ожидания, избранную Шенье для своего героя. Но там — спокойное и уверенное ожидание триумфа, награды за подвиги, здесь же — ожидание смерти, мольба к небу о смерти как об избавлении от мук. Поэтому естественно, что 11-й стих отрывка Шенье, прямо говорящий об ожидании триумфа («Attend sa récompense et l'heure d'être un dieu») и противоречащий пушкинской интерпретации сюжета, был им исключен. Последние три стиха у Пушкина, рисующие разрушаемый ветром костер, в пламени которого «бессмертный дух героя» возносится к небесам, соответствуют заключительным трем стихам Шенье. Однако, как уже отмечалось выше, герою Шенье известна заблаговременно его судьба — он «ожидает воздаяния и часа, когда он станет богом»; ради этого им и сооружен этот исполинский костер. В силу этого последние стихи, художественно заканчивая отрывок, ничего не прибавляют к его

содержанию; строго говоря, их могло и не быть, ибо действие, движение завершено уже в 11-м стихе. Не то видим у Пушкина. Его герой, страдающий, терпящий физические муки, превышающие даже его необыкновенные силы, не знает своей судьбы; он стремится лишь к тому, чтобы избыть свою боль, хотя бы ценой жизни, и темное и многозначное пророчество оракула сбывается помимо воли и сознания Геракла: «...пламя, воя, Уносит к небесам бессмертный дух героя». Соответственно этому изменяется и эмоциональный тон последних строк; в них получает преобладающее значение не зрительный образ костра, как у Шенье («tout en feu», «brille», «la flamme rapide»), а звуковой образ 12-го стиха: «Le vent souffle et mugit». Пушкин насыщает заключительные стихи звуковыми образами, нагнетающими настроение тревоги, которое разрешается лишь в последнем стихе:

*Дунул ветер; поднялся свист и рев;
Треща горит костер; и вскоре пламя, воя,
Уносит к небесам бессмертный дух героя.*

Сопоставление сюжета, композиции, общей концепции этих двух произведений позволяет сказать, что Пушкин поступил с фрагментом Шенье как с материалом, требующим еще дальнейшей обработки. Взяв его за основу, он внес в него ряд изменений, которые не позволяют характеризовать работу поэта как перевод и свидетельствуют о творческой переработке. Отказ от лирической формы фрагмента и замена ее строго объективным повествованием, «выпрямление» сюжета, отказ от второго плана, присутствующего во фрагменте (Эта — знаменитая гора, освященная смертью Геракла); наконец, совершенно иная, чем у Шенье, концепция характера героя — все эти изменения слишком значительные, не укладывающиеся в понятие перевода (особенно очевидно это при сопоставлении с работой Пушкина над переводом идиллии «L'Aveugle»). Изменения, внесенные Пушкиным при переработке фрагмента Шенье, столь значительны, что тут нужно говорить не о переводе, пусть даже вольном, а об интерпретации общего мифологического сюжета, о создании своего, пушкинского варианта, не адекватного первоисточнику.

В подтверждение возможности такого истолкования пушкинского замысла следует привести здесь замечание Пушкина о стихе Горация «Difficile est proprie communia dicere»: «Communia значит не обыкновенные предметы, но общие всем (дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в противоположность предметам вымышленным...)» (XI, 176). Находится это замечание в более позднем наброске (1830 г.), но свидетельствует уже о прочно сложившемся взгляде, о глубоком понимании поэтом характернейшей особенности античного искусства — вариантности в разработке мифологических и героических сюжетов. «Трудно своеобразно передать общеизвестный сюжет», — говорит Гораций, и опытом преодоления этой трудности явилось для Пушкина создание стихотворения о Геракле, в котором он выступил не столько переводчиком Шенье, сколько «соревнователем» в разработке «общего предмета».

Однако, анализируя работу, проделанную в данном случае Пушкиным, недостаточно характеризовать изменения, касающиеся сюжета, образа героя, идеи произведения, ибо эти элементы составляют лишь остов его, лишь возможность художественного произведения. Реальность его, самую «плоть» его, особенно у такого художника, как Пушкин, создает язык, отбор языковых средств, определяющий стиль произведения. В этом отборе определеннее всего выразилась воля Пушкина в отношении к тексту Шенье. В самом деле, французский поэт взял античный сюжет, но трактовал его в духе поэзии классицизма, придав своему герою торжественность, помпезность и, если можно так выразиться, статуарность; он воплотил этот сюжет в ясных и уравновешенных формах классицизма. Александрийский стих, с мерным чередованием парных женских и муж-

ских рифм, с ритмической симметрией полуступий (еще подчеркнутой тем, что в стихах 5-м, 8-м и 12-м первое полуступие заключает в себе целое предложение и цезура усиливает естественную паузу между концом этого предложения и началом следующего), создает здесь впечатление большей динамичности. Этому способствует и перенос фразы из стиха 8-го в следующий:

Il y porte la flamme; il monte: sous ses pieds
Etend du vieux lion la dépouille héroïque.

Пушкин точно передал все ритмические особенности фрагмента Шенье, порой даже усиливая, подчеркивая их значение. Но он еще увеличил количество простых синтаксических конструкций, укладываемых в полуступие, увеличил число переносов из стиха в стих (с одного случая до трех), выявляя характерную для отрывка динамику, преобладание в нем движения, действия. Именно это обилие коротких, простых предложений в сочетании с переносами, т. е. с разрывом синтаксического единства в пределах одного стиха, создает в стихотворении Пушкина настроение мучительной тревоги, впечатление неистового и неудержимого движения. Насыщенность стихов глаголами и отглагольными формами — причастиями и деепричастиями — лишь усиливает это впечатление:

Гнет, ломит дерева; исторженные пни
Высоко *громоздит*; его рукой они
В костер *навалены*; он их *зажжг*; он *всходит*

Под мышцей *палица*; в ногах *немейский лев*
Разостлан. *Дунул* ветер; *поднялся* свист и рев;
Треща горит костер; и вскоре *пламя, воя*,
Уносит к небесам бессмертный дух героя.

Обилие глагольных форм, отмеченное в этом отрывке, подчеркнуто еще и введением глагольных рифм: *приял—побежал*, *воет—роет*, *всходит—возводит* (три пары рифм из семи — это почти половина всех стихов).

Однако если ритмический рисунок фрагмента Шенье в пушкинском стихотворении сохранен, а в некоторых отношениях и усилен, то в лексике стихотворения, а именно в ее стилистической характеристике, Пушкин далеко отошел от своего оригинала. Поэтический стиль фрагмента Шенье сглажен, нейтрален; в лексике его какие-либо стилистические акценты отсутствуют; это тот ровный поэтический стиль, который в значительной степени отразился на формировании стиля антологических стихотворений Пушкина. Между тем уже первая строка пушкинского стихотворения максимально насыщена приметами совершенно иного стиля: «Покров, упитанный язвительною кровью...». В последующих стихах мы встречаем «приял», «се — ярый мученик», «стопами тяжкими», «древеса», «исторженные», «под мышцей», «ветр». Эти лексические и фонетические славянизмы и архаизмы, сосредоточенные в четырнадцати стихах, придают повествованию черты архаического, торжественного стиля, соответствующего возвышенному трагизму античного сюжета. Эта стилистическая особенность пушкинской переработки определилась сразу. Что Пушкин вполне сознательно вел работу над текстом в этом направлении, свидетельствует уже первый, черновой автограф, относящийся к 1825 г. и содержащий шесть первых стихов.⁸

⁸ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 76 — см. III, 964 (автограф датируется 1825 г. на основании пушкинской даты «1825», выставленной перед началом стихотворения в автографе 1835 г.). Автограф представляет собою отдельный полулист, заполненный с одной стороны, причем интересующий нас черновик занимает лишь верхнюю половину страницы, а ниже записаны стихи «Вот Копит, вот Ахерон...» (II, 380). Соотнесение последних с набросками к замыслу о Фаусте в аду, находящимися в тетради № 835 (л. 54 об.), позволяет датировать их, а вместе с ними и черновик, отражающий начало работы над стихотворением «Покров, упитанный язвительною кровью», более узко, т. е. первой половиной 1825 г., январем—июнем.

В нем набело записана первая строка — как музыкальный ключ ко всему стихотворению; среди отброшенных вариантов находим здесь такие: «се дивный полубог», «свергает с плеч», «се в пламенной крови». Черновик показывает, насколько не случайно появление в тексте стихотворений архаического оборота с частицей «се»: «Се ярый мученик...». Пушкин дорожил этой чертой стиля и настойчиво искал место, где такой оборот был бы наиболее выразителен и необходим: «се дивный полубог», «се ярый мученик» и наконец «се в пламенной крови» (отброшенная попытка заменить первый вариант 4-го стиха). Поиски продолжаются и во втором автографе,⁹ где отброшенный вариант 9-го стиха записан так: «Подожжены и се — пылают. Он восходит».¹⁰ Этот второй автограф, имеющий авторскую дату в конце текста — «20 апреля 1835», отражает заключительный этап работы над стихотворением. В него с первого черновика переписаны набело первые пять стихов; 6-й стих — «Гнет, ломит древеса, стопами Эту роет» — развернут и детализирован в стихах 6—8. Дальнейший текст представляет собой черновик, в котором стилистические поиски отражают ту же тенденцию к отбору высоких и архаических лексических вариантов. Так, начало 11-го стиха «Добыча древняя...» заменено на «Под мышцей палица»; в 12-м стихе «ветер» заменен на «ветр»; в 13-м стихе «пламя» сменил «ярый пламень», которому, однако, в итоге был предпочтен первый вариант; приведенный уже первый вариант начала 9-го стиха «Подожжены и се — пылают» заменен сначала на «В костер воздвигнуты», а затем на «В костер воздвигнулись».

Сравнение двух автографов показывает, что славянизмы и архаизмы как основной стилеобразующий элемент стихотворения были избраны Пушкиным еще в начальной стадии работы и отнюдь не составляют исключительной особенности второго ее периода. Однако изучение второго автографа позволяет говорить о столь же целенаправленном отборе лексики, определившей вторую особенность стиля этого стихотворения. Речь идет о подборе глаголов, которыми характеризуется мощь неистовой силы гибнущего Геракла: «в ночи скитаясь, воет», «роет», «ломит», «громоздит», «навалены». Все они отличаются той «простотой» и «грубостью» выражения, которые Пушкин ощущал «в первобытном языке нашем» как черты, сближающие его с древними языками (см. письмо к Вяземскому от декабря 1823 г. — XIII, 90). Пушкин настойчиво искал нужные ему стилистические оттенки. Так, выражение «в костер навалены» — это последний, удовлетворивший Пушкина вариант, отменивший три предыдущих, приведенных выше варианта с иной, возвышенной стилистической окраской. При этом Пушкин свободно сочетает народную, даже простонародную по своей стилистической характеристике лексику с речениями в высоком стиле: «стопами... роет», «ломит древеса», «исторженны пни... громоздит». Это напоминает нам характерную особенность стилистической работы Гнедича, который именно таким контрастным сочетанием простонародной лексики и славянизмов и архаизмов добивался эффекта «древности» поэтической речи, впечатления стиля другой, отдаленнейшей эпохи. Пушкин нашел стиль, соответствующий избранной им трактовке мифа, и этот стиль не вступает в контраст с ритмикой стихотворения. Александрийский стих звучит в нем сурово и в высшей степени напряженно; ритмический рисунок стиха усложнен введением уже отмеченных переносов и дополнительных пауз, возникающих в тех случаях, когда в одном стихе заключены два или даже три самостоятельных простых предложения. Напряженный, насыщенный переносами, паузами (не совпадающими с цезурой) ритм стихотворения гармонирует с его напряженным, выпранным стилем; о кон-

⁹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 206; см. III, 964—965.

¹⁰ Столь же упорно экспериментировал Пушкин в поисках наиболее выразительного употребления эпитета «ярый»: «яд ярый побежал», «се ярый мученик», «ярый пламень, воя».

трасте здесь не может быть и речи. Время только усилило это соответствие между размером и стилем, поскольку в тридцатые годы, по свидетельству самого Пушкина, александрийский стих стал восприниматься как размер устарелый:

У нас его недавно стали гнать

Он годен, говорят, для эпиграфа,
Да можно им, порою, украшать
Гробницы или мрамор Кенотафа.

(V, 377)

Анализ рукописей 1825 и 1835 гг. позволяет утверждать, что, различаясь полнотой (в рукописи 1825 г. лишь первые шесть стихов, в автографе 1835 г. — вполне законченное стихотворение), они не отличаются по характеру и направлению работы поэта, что стиль пушкинского стихотворения определился уже в наброске 1825 г. Строки, написанные в 1825 г., не подверглись в 1835 г. никакой стилистической правке и замысел десятилетней давности был доведен до конца в том же стилистическом «ключе».

В бумагах поэта сохранилось большое число набросков, свидетельствованных о замыслах, так и оставшихся неосуществленными. История стихотворения о гибели Геракла, завершеного Пушкиным через десять лет после того, как он оставил этот уже вполне определившийся замысел, представляет собой редкое исключение. Неясно, почему работа над стихотворением была оставлена в 1825 г., неясны и причины, побудившие Пушкина через десять лет вновь вернуться к нему и довести замысел до конца. Однако можно думать, что за прошедшее время что-то изменилось в его отношении к фрагменту Шенье. Вероятно, в 1825 г. работа над переводом фрагмента (как ранее перевод «Слепца») была для Пушкина «штудией», изучением и усвоением мастерства; поэтому она и была оставлена без мысли о продолжении. Но в 1835 г. этот отрывок вдруг получил в глазах поэта не только формально-стилистический, но и поэтический смысл. Тема мучений, страшной гибели Геракла и торжества его бессмертного духа могла прозвучать лирически для Пушкина этих лет, и он быстро закончил перевод.

Закончив стихотворение 20 апреля 1835 г., Пушкин опубликовал его без подписи, озаглавив «Из А. Шенье», в следующем году в своем «Современнике».¹¹ В собрание сочинений оно было введено — уже посмертно — друзьями поэта;¹² как одно из впервые вошедших в собрание стихотворений последних лет оно было отмечено Белинским в цикле статей о Пушкине.¹³

В издании 1855 г. стихотворение впервые было датировано. Редактор издания П. В. Анненков поместил его среди стихотворений 1825 г., следующим образом прокомментировав эту дату: «Стихотворение лежало 11 лет в бумагах автора до первого появления в свет. На рукописи его выставлен 1825 год, но оно при появлении своем в „Современнике“ было исправлено. Пушкин заметил на рукописи и время последней поправки, именно: 20 апреля 1835 года».¹⁴ Как видно из приведенной цитаты, Анненков располагал вторым автографом (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 206), который был датирован им, на основании авторской даты в начале стихотворения, 1825 г. Эта дата отнесена им ко всему тексту в целом, вторая же дата, поставленная в конце автографа, — «20 апреля 1835» — была воспринята как дата поправок, внесенных Пушкиным в текст непосредственно перед публикацией.

¹¹ Современник, 1836, т. I, с. 191.

¹² Соч. Александра Пушкина, т. IV. СПб., 1838, с. 319.

¹³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 355.

¹⁴ Пушкин. Соч. Изд. П. В. Анненкова. Т. II. СПб., 1855, с. 411.

В дальнейшем с датой «1825» стихотворение входило во все издания Пушкина до 1924 г. Введение в научный оборот первого черного автографа, из собрания Л. Н. Майкова,¹⁵ не вызвало изменений: в четвертом томе академического издания, вышедшем под редакцией П. О. Морозова, стихотворение по-прежнему появилось с датой «1825».¹⁶ Этому способствовало также то обстоятельство, что П. О. Морозов, в примечаниях к этому стихотворению опубликовавший варианты автографа 1835 г., еще усугубил ошибку Срезневского, прочитав последнюю дату как «20 сент[ября] 1825», чем было вызвано и предположение его, что Анненков располагал еще каким-то, третьим, автографом, с датой «20 апреля 1835». Впервые стихотворение датировано 1835 г. в однотомнике 1924 г. под редакцией Б. В. Томашевского и К. И. Халабаева, где оно помещено в разделе «Стихотворения, напечатанные при жизни Пушкина, но не вошедшие в собрание стихотворений 1829—1835 гг.»,¹⁷ а в алфавитном указателе к тому помечено датой рукописи: «20 апреля 1835». Если Анненков, располагая лишь автографом 1835 г., счел авторскую дату «1825» относящейся ко всему тексту, записанному в один прием, без каких-либо перерывов во времени, а последнюю дату — 1835 год — лишь датой поправок, позднее внесенных Пушкиным, то Томашевский, в руках которого были оба автографа, пришел к иным выводам. Сравнение автографов позволило в тексте 1835 г. выделить часть, переписанную набело с черновика 1825 г. (стихи 1—7), и часть, представляющую продолжение и завершение замысла в 1835 г. Из двух пушкинских дат: 1825 г., времени возникновения замысла и начала работы над ним, и 1835 г., продолжения и окончания ее, — Томашевский выбрал вторую, в соответствии с принципом, принятым им для своего издания. Дата, предложенная им в издании 1924 г., принята всеми последующими изданиями сочинений Пушкина.

При первой публикации стихотворения в 1836 г. самим Пушкиным было указано его происхождение — заголовком «Из А. Шенье». Точное указание фрагмента Шенье, послужившего оригиналом для Пушкина, впервые было сделано в издании 1855 г. Анненковым, отметившим в комментарии к стихотворению: «Это поэтический и притом весьма близкий перевод известного стихотворения А. Шенье».¹⁸ «Для показания красоты и вместе верности этого перевода» в комментарии приведено пять заключительных стихов Шенье. Суждение Анненкова о «близости», «верности» пушкинского перевода было принято во всех последующих изданиях, включая издания Венгерова и Академии наук.¹⁹ Повторил его и С. И. Любомудров в своей работе «Античный мир в поэзии Пушкина».²⁰ Лишь в 1920-е годы исследователь темы «Пушкин и Андре Шенье» Л. П. Гроссман высказался против этого мнения, назвав стихотворение Пушкина не переводом, а «вольной передачей» Шенье: «При большой близости к подлиннику, при сохранении размеров и воспроизведении всей конструкции сказывается то свободное обращение с ориги-

¹⁵ См.: Срезневский В. И. Пушкинская коллекция, принесенная в дар Библиотеке Академии наук А. А. Майковой. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IV. СПб., 1906, с. 6, № 21—22. В описании дата второго автографа (№ 21) ошибочно прочтена как «20 апр[е]ля» 1825».

¹⁶ Пушкин. Соч. Изд. имп. Академии наук. Т. IV. Пг., 1916, с. 143; Примечания, с. 183—185.

¹⁷ Пушкин. Соч. Ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Л., 1924, с. 88.

¹⁸ Пушкин. Соч. Изд. П. В. Анненкова. Т. II, с. 411.

¹⁹ П. О. Морозов в примечаниях к стихотворению в IV томе академического издания 1916 г. утверждал даже, что пушкинский «перевод почти дословно верен подлиннику» (Пушкин. Соч. Изд. имп. Академии наук, т. IV. Пг., 1916, Примечания, с. 184).

²⁰ «Перевод почти верен оригиналу: даже число стихов одинаково, сохранены все особенности его» (Любомудров С. Античный мир в поэзии Пушкина. М., 1899, с. 22).

нальным текстом, которое лишает этот стихотворный опыт значения перевода».²¹

Предпринятый нами сравнительный анализ стихотворений Пушкина и Шенье позволяет сделать вывод, что Пушкин уже начинал работать над фрагментом Шенье с мыслью об иной трактовке замысла, о своем, своеобразном пересказе «общего всем предмета». Пушкин создал «вариацию» на тему Шенье, сохраняя в своей переработке художественные особенности своего оригинала, но в его «вариации» отразились также и впечатления поэмы Овидия — созданного римским поэтом образа страдающего Геракла, муки которого устроили даже богов и для которого смерть в огне явилась избавлением от страданий.

2

К 1824 г. относится еще одно стихотворение Пушкина, обязанное своим появлением творчеству Шенье. Это элегия «Ты вянешь и молчишь...», представляющая перевод V элегии Шенье и самим Пушкиным при издании названная «подражанием А. Шенье».

Основной мотив и образ элегии «Ты вянешь и молчишь...» — первая любовь молодой девушки — уже встречались в творчестве Пушкина. В 1821 г. в так называемой третьей Кишиневской тетради в числе «эпиграмм во вкусе древних» им была записана «Идиллия» («Подруга милая, я знаю отчего»),²² которая в 1825 г. была напечатана в «Новостях литературы» под заглавием «Антологический отрывок», а затем вошла в сборник «Стихотворений А. Пушкина» 1826 г. под новым заглавием («Дионея») и без первых четырех стихов. Созвучие этих двух стихотворений, эмоциональная близость, общность их интонации уже отмечались в работах о Пушкине. «„Дионея“, — пишет исследователь, — представляет как бы отзвук пьесы „Ты вянешь и молчишь“: в обеих схвачены приметы влюбленных. Если высказанная догадка о соотношении между собою этих двух пьес справедлива, то это дает нам возможность сделать новое интересное наблюдение относительно подражаний Пушкина: он переживал их, настолько усваивая их себе, что они, иногда не получив еще сами определенной формы, определенного выражения, становились источниками вдохновения, вызывая в душе поэта ответные образы».²³ В этом верном в основе своей наблюдении не учтено соотношение обоих стихотворений по времени их создания. «Дионея», написанная в 1821 г., явилась, по-видимому, непроизвольной и бессознательной реминисценцией из Шенье. Ситуацию, запомнившуюся ему при чтении Шенье, Пушкин разработал как свою собственную находку, при этом еще непроизвольно смягчив ее, заменив пронизательную наблюдательность «знатока девической печали» нежным сочувствием подруги:

Подруга милая! Я знаю отчего
Ты с нынешней весной от наших игр отстала:
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала.
(II, 684—685)

В 1825 г. при подготовке издания своих стихотворений Пушкин, очевидно, заметил общность сюжетного хода этих двух стихотворений и ради разрушения ее вынужден был отказаться от первых четырех стихов «Дионеи», хотя без них стихотворение и утратило что-то в изяществе своего первоначального замысла.

Интерес к V элегии Шенье в конце 1824 г. был вызван отчасти, по-видимому, автобиографическими обстоятельствами — общением с обита-

²¹ Гроссман Л. От Пушкина до Блока. М., 1926, с. 25.

²² ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 833, л. 9 об.

²³ Любомудров С. Античный мир в поэзии Пушкина, с. 26.

тельницами Тригорского, семейством Осиповых-Вульф, отчасти же и в гораздо более значительной степени, обстоятельствами творческого порядка: как раз в это время Пушкин работал над четвертой главой «Евгения Онегина», писал о зарождающейся любви своей героини, молоденькой и неопытной девушки. Элегия Шенье, в которой с такой грацией переданы приметы и проявления первой робкой любви, могла послужить для него образцом художественного претворения жизненных наблюдений. Работа над переводом элегии была для Пушкина своеобразным этюдом к характеру Татьяны — пробой красок, поиском интонаций.

Обратимся к тому, что мы знаем о работе Пушкина над стихотворением. Отсутствие в данном случае черновиков, всегда так точно фиксирующих у него малейшие изменения мысли или образа, лишает нас возможности наблюдений над очень важным этапом развития замысла и не позволяет говорить о первоначальной задаче поэта: была ли эта работа начата как перевод или с самого начала ее Пушкин предвидел некоторые отклонения от текста Шенье, которые заставили его назвать свое стихотворение «подражанием А. Шенье». В нашем распоряжении лишь беловой автограф²⁴ — результат этой работы, законченное произведение: поправки, имеющиеся в нем, изменяют оттенки, не изменяя существа. Это оставляет нам только возможность сопоставить тексты двух стихотворений — Шенье и Пушкина.

Вот V элегия Шенье:

- 1 Jeune fille, ton cœur avec nous veut se taire.
- 2 Tu fuis, tu ne ris plus; rien ne saurait te plaire.
- 3 La soie à tes travaux offre en vain des couleurs;
- 4 L'aiguille sous tes doigts n'anime plus des fleurs.
- 5 Tu n'aimes qu'à rêver, muette, seule, errante;
- 6 Et la rose pâlit sur ta bouche mourante.
- 7 Ah! mon œil est savant et depuis plus d'un jour,
- 8 Et ce n'est pas à moi qu'on peut cacher l'amour.
- 9 Les belles font aimer; elles aiment. Les belles
- 10 Nous charment tous. Heureux qui peut être aimé d'elles!
- 11 Sois tendre; même faible; on doit l'être un moment;
- 12 Fidèle si tu peux. Mais conte-moi comment,
- 13 Quel jeune homme aux yeux bleus, empressé, sans audace,
- 14 Aux cheveux noirs, au front plein de charme et de grace...
- 15 Tu rougis? on dirait que je t'ai dit son nom.
- 16 Je le connais pourtant. Autour de ta maison
- 17 C'est lui qui va, qui vient, et laissant ton ouvrage,
- 18 Tu cours, sans te montrer, épier son passage.
- 19 Il fuit vite; et ton œil sur sa trace accouru.
- 20 Le suit encore long-temps quand il a disparu.
- 21 Nul, en ce bois voisin où trois fêtes brillantes
- 22 Font voler au printemps nos nymphes triomphantes,
- 23 Nul n'a sa noble aisance et son habile main
- 24 A soumettre un coursier aux volontés du frein.²⁵

²⁴ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 835, л. 84 об.

²⁵ A. de Chénier, p. 85—86. Перевод:

- 1 Девушка, с нами твое сердце молчит,
- 2 Ты убегаешь, ты не смеешься более; ничто тебе не нравится.
- 3 Шелк напрасно предлагает краски для твоих работ;
- 4 Игла в твоих пальцах не оживляет больше цветов.
- 5 Ты любишь лишь мечтать, молчаливая, одинокая, блуждающая;
- 6 И роза блекнет на твоих помертвевших губах.
- 7 О, мой взгляд умудрен, и уже с давних пор,
- 8 И уж не от меня можно скрыть любовь.
- 9 Красавицы заставляют любить; они любят. Красавицы
- 10 Всех нас чаруют. Счастлив, кто может быть любим ими!
- 11 Будь нежна; даже слаба; должно стать такою в свой час;
- 12 Будь верна, если можешь. Но скажи мне,
- 13 Какой юноша, синеглазый, услужливый, скромный,
- 14 Черноволосый, с челом, полным очарования и прелести...

Как видно из сравнения элегии «Ты вянешь и молчишь...» с V элегией Шенье, Пушкин сохранил не только александрийский стих оригинала, но и все элементы его сюжета в их композиционной последовательности. Разница между ними не столь очевидна, как в предыдущем случае — в переложении отрывка о Геракле. Элегия Пушкина короче — в ней двадцать стихов вместо двадцати четырех оригинала. Пушкин опустил 3-й стих элегии Шенье, лишь иначе выражающий то, что сказано и в стихе 4-м; опущены стихи 11-й и начало 12-го, содержание которых не связано непосредственно со смыслом стихотворения: отказ от них сделал его более единым и цельным. Однако остальные сокращения связаны уже с более значащими изменениями, с теми новыми, иными смысловыми оттенками, которые придал Пушкин стихотворению при переводе.

Так, он по-иному оттеняет внутренний облик девушки, героини элегии. У Шенье она молчалива и мечтательна. Она забросила привычные занятия и общество друзей, но за всем этим видно, что прежде она была живая и веселая. У Пушкина речь идет только о нынешнем ее состоянии, причем акцентировано одно преобладающее настроение — грусти, сосредоточенной в себе печали, — отзывающееся во всех образах этой характеристики («вянешь», «печаль тебя снедает», «улыбка замирает», «не оживлялись», «безмолвно... грустить»):

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялись. Безмолвно любишь ты
Грустить.

Пушкинская характеристика при большей краткости — четыре стиха вместо шести оригинала — отличается большей силой и сосредоточенностью. Из этих четырех стихов близкий к тексту Шенье перевод представляет 2-й стих: «На девственных устах улыбка замирает»²⁶ (ср. 6-й стих у Шенье: «Et la rose pâlit sur ta bouche mourante») и особенно 3-й стих: «Давно твоей иглой узоры и цветы Не оживлялись» (см. 4-й стих у Шенье: «L'aiguille sous tes doigts n'anime plus des fleurs»). От первых же двух стихов оригинала Пушкин по существу отказался, заменив их своим, в котором отразилась опущенная им при переводе напыщенная метафора 6-го стиха Шенье («Ты вянешь...» — «la rose pâlit...»).

Несколько иным предстает в стихотворении Пушкина и лирический герой стихотворения:

...О, я знаток в девической печали;
Давно глаза мои в душе твоей читали.

Характеристика его смягчена (ср. стихи 7-й и 8-й у Шенье), он представлен более деликатным человеком, проникательным, но без назойливости.

-
- 15 Ты краснеешь? Можно подумать, что я назвал тебе его имя.
 - 16 Однако ж я знаю его. Вокруг дома
 - 17 Он ходит взад и вперед, и, бросив свою работу,
 - 18 Ты бежишь, скрываясь, чтобы взглянуть на него.
 - 19 Он быстро уходит, и твой взор, следующий за ним,
 - 20 Сопровождает его еще долго после того, как он исчез.
 - 21 Никто в соседнем лесу, куда три блестящих праздника
 - 22 Заставляют слетаться наших торжествующих нимф,
 - 23 Никто с такой благородной легкостью и такой же искусной рукою
 - 24 Не подчинит скакуна прихоти удил.

²⁶ Стих изменен уже в беловом автографе, вначале было «На розовых устах...».

Мысль 8-го стиха Шенье, но уже как житейское наблюдение, как своеобразная сентенция, сохранена в следующих двух стихах Пушкина:

Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
Девицы нежные, любовь волнует вас.

Как уже отмечено, Пушкин опустил стихи 11-й и начало 12-го, дидактические по тону и не относящиеся прямо к мысли стихотворения; гораздо более сжато переданы Пушкиным и стихи 13-й и 14-й: из всех эпитетов, которыми наделен в них возлюбленный девушки («...jeune homme aux yeux bleus, empressé, sans audace, Aux cheveux noirs, au front plein de charme et de grace...»), им оставлены лишь три:

.. Но кто, скажи, меж ими
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными?.. —

благодаря чему описание утрачивает оттенок назойливой подробности, приобретает большую простоту и изящество. В результате облик старшего, умудренного жизненным опытом друга значительно смягчается и, утрачивая черты педантства, выигрывает в доброте и человечности.

Заключительные четыре стиха переданы Пушкиным с удивительной верностью и одновременно свободой. Им сбережен выразительный повтор Шенье «Nul . . . nul n'a sa noble aisance. . .»:

Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей
Не властвует конем по прихоти своей.

Но и здесь ощутим последовательно проведенный принцип переработки — стремление к большей цельности образной системы стихотворения, отказ от новых образов, выходящих за пределы основной темы, «не работающих» на ее раскрытие. Так, в заключительных стихах пушкинской элегии не нашли себе отражения такие образы, как «се bois voisin», «nos nimphes triomphantes», требующие дополнительных пояснений; «trois fêtes brillantes» заменены единым «праздником блистательного мая»; отказ от образа «нимф» компенсирован у Пушкина введением соответствующего по своей стилистической окраске образа — «меж колесницами роскошными летая».

Заклучая анализ элегии, приведем здесь суждение П. В. Анненкова, первым отметившего значение Шенье в творческом развитии молодого Пушкина. По поводу антологических стихотворений Пушкина 1820—1822 гг. он писал: «Нельзя не согласиться, что большая часть их навеяна чтением Андрея Шенье, но есть между обоими поэтами и существенная разница. Пушкин сокращает представления Шенье, когда берет его за образец, и дает своим переделкам меру и изящество, не всегда сохраняемые подлинником». ²⁷ Анненков назвал элегию «Ты вянешь и молчишь...» «действительно верным переводом стихов французского поэта». ²⁸ Однако при сохранении александрийского стиха и общего стиля элегии Шенье изменения в образной структуре, внесенные Пушкиным, настолько существенны, что не дают возможности считать пушкинскую элегию «верным переводом» Шенье. Гораздо более справедливой представляется точка зрения Л. П. Гроссмана, считавшего, что «по близости к подлиннику это нечто среднее между переводом и подражанием. Пушкин <...> в общем скорее излагает по-своему эту тему о влюбленной девушке, чем передает в своем стихе текст подлинника. Это скорее отра-

²⁷ Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. — В кн.: Пушкин и н. Соч. Изд. П. В. Анненкова. Т. I. СПб., 1855, с. 75.

²⁸ Пушкин Соч. Изд. Анненкова. Т. II., с. 379.

жение Шенье, чем его подлинный стихотворный перевод». ²⁹ Это суждение более согласуется и с мнением самого Пушкина, сопроводившего эту элегию в изданиях 1826 и 1829 гг. (в оглавлении) пометой «Подражание А. Шенье».

3

В отношении к двум уже рассмотренным стихотворениям сам Пушкин не употребил понятия «перевод». Но именно этим словом он обозначил свою последнюю работу, вдохновенную стихами Шенье, — в «Невском альманахе на 1828 год» им было опубликовано стихотворение «Близ мест, где царствует Венеция златая», озаглавленное здесь как «перевод неизданных стихов Андрея Шенье». ³⁰

Пушкинский перевод появился в печати в одно время с оригиналом: элегия Шенье, не вошедшая в сборник 1819 г., впервые была напечатана в 1828 г. в «Annales romantiques» (книга вышла в начале января 1828 г.). ³¹ Но и в 1829 г. при подготовке второго издания своих стихотворений, Пушкин в оглавлении второй части еще раз повторил эти слова в заглавии стихотворения, в скобках — «перевод неизданных стихов Андрея Шенье». ³² Следовательно, и в 1829 г. стихотворение Шенье продолжало оставаться для него неизданным; литературный сборник, изданный в 1828 г. в Париже, был ему неизвестен.

До Пушкина элегия Шенье дошла в списке и вписана им в собственный экземпляр сборника Шенье 1819 г. ³³ Когда же была сделана эта запись? М. А. Цявловский, подготовивший ее комментарий, датировал запись временем «между 1819 и 1827 гг.», ³⁴ опираясь на дату в черновике пушкинского перевода — «16 сент<ября> 1827». ³⁵ Но еще в 1912 г. было высказано как предположение другое мнение. С. Н. Браиловский, редактор издания стихотворений В. И. Туманского, писал в примечании к стихотворению «Гондольер и поэт», представляющему собой перевод той же элегии Шенье: «...песа Туманского относится к 1826 г., а перевод Пушкина <...> к 1827 г., хотя в печати стихотворение Туманского появилось позднее. В августе 1826 г. Туманский в Москве виделся с Пушкиным. Нет ничего невероятного в том, что наш поэт читал Пушкину свой перевод и дал толчок к переводу того же стихотворения последним». ³⁶ Это предположение представляется вполне правдоподобным. Косвенным подтверждением его является характер публикации перевода Туманского. Его «Гондольер и поэт» появился на страницах альманаха «Северные цветы на 1831 год», с обозначением года («1826») и с характерной, нам уже знакомой пометой после заглавия — «перевод неизданных стихов А. Шенье». Неизвестно, чьей рукою, автора или издателя, вписана эта дата, но в сопоставлении с фактом предшествующей публикации пушкинского перевода она означает для нас либо отстаивание Туманским своего приоритета в обращении к этому стихотворению Шенье, либо подтверждение этого приоритета издателем. По-видимому, Браиловский прав в своем предположении: Туманский, приехав в Москву на праздники по случаю коронации, пробыл там до 19 сен-

²⁹ Гроссман Л. От Пушкина до Блока, с. 23.

³⁰ Невский альманах на 1828 г., кн. IV, СПб., 1827, с. 53.

³¹ Annales romantiques. Recueil de morceaux choisis de littérature moderne. Paris, 1828.

³² Стихотворения А. Пушкина, ч. II. СПб., 1829, с. 102.

³³ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. Библиографическое описание, № 736. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 192—193. Здесь эти стихи приведены в описании книги, а также воспроизведены факсимиле.

³⁴ Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935, с. 504.

³⁵ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 833, л. 36 об.—37.

³⁶ Туманский В. И. Стихотворения и письма. Ред., биогр. очерк и примеч. С. Н. Браиловского. СПб., 1912, с. 366.

тября и виделся с Пушкиным, прибывшим в Москву 8 сентября. Судя по коротенькому письму Пушкина к Туманскому в феврале 1827 г. (XIII, 319—320), последнему были известны замыслы издания «Московского вестника», и, по-видимому, им обещано Пушкину участие в этом журнале. Все это свидетельствует о дружеских встречах запросто, об обсуждении литературных вопросов и дел. Среди них должен был иметь место и разговор о литературной новинке — неизданных стихах Шенье, привезенных Туманским из Одессы, и о сделанном им переводе этих стихов. Перевод запомнился, и в дате при первой его публикации в «Северных цветах на 1831 год» — «1826. Одесса» — можно видеть скорее даже волю Пушкина, отдавшего должное первому переводчику, нежели напоминание Туманского о своем первенстве.

Но гораздо более значительное впечатление произвел на Пушкина сам оригинал. В этом стихотворении Шенье все оказалось близко и созвучно настроению и чувствам Пушкина, пережившего гонение и ссылку, познавшего «и тихой труд и жажду размышлений» (II, 187), испытавшего прежде всего на себе спасительную силу своих обращений к поэзии. Образ одинокого певца, пролагающего себе путь над бездной и утешающего себя пением, оказался биографически близок Пушкину, нашедшему у Шенье аналогию своим душевным переживаниям. При этом особенно обостренно была воспринята им вторая часть стихотворения, заключающая сравнение собственных чувств и ощущений поэта с состоянием души беспечно и одиноко поющего гондольера. Характерна в этом смысле описка в пушкинской записи. Уже после первых четырех стихов о гондольере память невольно подсказала начало 9-го стиха — «*Comme lui...*», содержащего это сравнение («Как он, без отклика, люблю я петь»). Сразу же заметив свою ошибку, поэт зачеркнул два начальных слова 9-го стиха и рядом записал 5-й стих, продолжающий тему гондольера («он любит свои песни...»). Самая эта описка позволяет сделать предположение, что Пушкин, возвратившись 9 ноября 1826 г. «вольным в покинутую тюрьму» (XIII, 304), к оставленным в Михайловском книгам и рукописям, вписал в томик Шенье запомнившееся ему неизданное стихотворение французского поэта по памяти, а не со списка. Может быть, запись была сделана в этот первый вольный проезд в ноябре 1826 г., а возможно, что в сентябре 1827 г., когда для перевода Пушкину понадобился перед глазами текст и он записал его. Во всяком случае запись французского оригинала в сборник Шенье представляется возможным датировать этими двумя датами: 9 ноября 1826—17 сентября 1827.

Не приводим здесь текста Шенье, записанного Пушкиным, поскольку он полностью воспроизведен и Б. Л. Модзалевским и М. А. Цявловским в названных выше изданиях. Но необходимо отметить, что он не вполне идентичен тексту стихотворения, вошедшему в собрания сочинений Шенье. Это можно видеть, сравнивая текст, приведенный Модзалевским, с текстом, приведенным в книге «Французские стихи в переводе русских поэтов» по собранию сочинений Шенье.³⁷ В пушкинской записи мы находим варианты в стихах 3—5-м, 7—10-м и 12-м, особенно значительные в стихах 7—10-м и 12-м. Ср., например, стихи 7-й и 8-й в записи Пушкина:

Il chante — et plein du Dieu qui doucement l'anime
Sait égayer du moins sa route sur l'abime —

и в собрании сочинений Шенье:

Il chante — et cheminant sur le liquide abime
Sait égayer du moins sa route maritime.

Анализируя работу Пушкина над переводом, мы будем исходить из

³⁷ Французские стихи в переводе русских поэтов XIX—XX вв. М., 1969, с. 150.

текста, который он имел перед глазами.³⁸ В пушкинском переводе, как и в оригинале, композиционной основой стихотворения является сравнение поэта с певцом-гондольером, сопровождаемое переходом реального образа моря в первой части («над бездной волн») в развернутую метафору второй («На море жизненном, где бури так жестоко Преследуют во мгле мой парус одинокой»). Изменения, допущенные Пушкиным, малочисленны и ни в чем не искажают мысли подлинника. Так, переводчик заменил 3-й стих оригинала «D'un léger aviron bat la vague arlanie» («легким веслом ударяет успокоенную волну») полустижием «по взморю плывет»; придал Венеции «венецианский» эпитет — «Венеция золотая»; сравнительно с оригиналом он особо подчеркнул мотив одиночества — ночного певца-гондольера на взморье («один, ночной гребец...») и поэта «на море жизненном, где бури так жестоко преследуют во мгле» его «одинокий парус».

Перевод замечательно точен — не только в передаче настроения, но во всех деталях, в сохранении всех особенностей стилистики и образности оригинала. Эта точность в Пушкине, обычно не вполне подчинявшем себя строгим рамкам перевода и чаще обращавшемся с оригиналом как с собственным стихотворением в недостаточно еще отделанном виде (сокращая длинноты, отбрасывая неудачные стихи и обороты, упрощая и проясняя композицию и т. д.), говорит прежде всего о высоком художественном достоинстве оригинала, о безукоризненности этих стихов Шенье в глазах Пушкина. Но, кроме того, она свидетельствует, что мысль стихотворения, одушевлявшая его поэтическое чувство во всех его оттенках, наконец, самые образы, в которых это чувство и мысль воплотились, были необыкновенно близки и созвучны собственным чувствам и ощущениям русского поэта, в своей жизни многократно испытавшего ощущение «бездны мрачной на краю» (VII, 180). Образ могучего океана, грозного и неукротимого, благосклонного к человеку лишь из прихоти, рано вошел в сознание и поэзию Пушкина («К морю», 1824). События 1825—1826 гг. — восстание декабристов, его поражение, разгром всего движения, гибель «друзей, братьев, товарищей» — придали этому образу особый, трагический смысл. В августе 1826 г., благодаря Вяземского за стихи, в которых тот воспевал море как стихию первозданной красоты, как особый мир, чуждый «житейских бурь» и страстей человека, Пушкин ответил ему полными горькой иронии стихами:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

(III, 21)

Как пучина, грозящая гибелью, ощущается море и в «Арионе»:

... вдруг лово волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец!..

(III, 58)

³⁸ Сравнение вариантов текста стихотворения Шенье дает возможность установить, что и Пушкин и Туманский переводили одну и ту же редакцию его. Так, в стихе 5-м они перевели «il aime ses chansons» — как «он любит песнь свою» (Пушкин) и «он любит свой напев» (Туманский); в стихе 7-м «plein du Dieu qui doucement l'anime» — как «тихой музы полн» и «сладостно объятый вдохновеньем»; в стихе 9-м «Comme lui sans echo» — как «он, без отзыва...»; в стихе 10-м «Et les vers inconnus que j'aime à méditer» — как «И тайные стихи обдумывать люблю» и «И звуки тайные, придуманные мной»; в стихе 12-м «Où de tout d'Aquilons ma voile est poursuivie» — как «Где бури так жестоко Преследуют во мгле мой парус...» и «Где столько бурных волн Ладью мою вращают». Это подтверждает мысль об общем источнике текста и о том, что Пушкин получил стихотворение Шенье от Туманского.

Утлый челнок рыбака предстал «играліщем слепой пучины» уже в пушкинском стихотворении 1821 г. («Земля и море» — II, 162) и в элегии 1824 г. «К морю» (II, 331); этот же образ, осложненный и обогащенный, встречаем мы и в «Арионе», где внезапно налетевшей бурей погублен и челн, «и кормщик, и пловец», но этой же бурей спасен и выброшен на берег «таинственный певец»; «беспечной веры полн», пловцам он пел и, «таинственно» спасенный (случаем, судьбой или провидением), сохранил ту же веру и ту же беспечность:

... Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

(III, 58)

Период широкой правительственной и общественной реакции на декабризм вызвал в творчестве Пушкина обостренное внимание к вопросу о назначении поэта, о его роли в духовной жизни общества, раздумья о своей судьбе в русском обществе последекабрьской эпохи. Размышления привели его к выводам, полным пессимизма и решимости. Таков полный силы и торжественности «Пророк» (1826), трагизм которого особенно ощутим при сопоставлении с другим, более раннего времени пушкинским «пророком» — стихотворением 1823 г. «Свободы сеятель пустынный»; этот же поворот темы и в ямбе 1828 г. «Поэт и толпа», и в сонете «Поэту» (1830), и в стихотворении «Я памятник себе воздвиг...».

Но в теме поэта, для Пушкина многогранной и неисчерпаемой, был еще один аспект, постоянно приковывавший к себе его внимание, — мысль о внутренней сущности поэтического таланта: что есть поэтический талант, какова его природа и что значит он для самого его носителя. Отзвуки его размышлений над этими вопросами мы находим в целом ряде стихотворений — «В степи мирской...» (1827), «Поэт» («Пока не требует поэта») (1827), «Труд» (1830), «Эхо» (1831) и др. Эти же размышления положены в основу поздней повести Пушкина «Египетские ночи», о герое которой, Чарском, он писал: «Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье»; в такие минуты он «погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали» (VIII, 264). Образы, близкие и родственные этим самым задушевному своим раздумьям, встретил Пушкин и в стихотворении Шенье. Не случайна его описка в записи этого стихотворения, когда сразу после 4-го стиха память невольно подсказала 9-й; не случайно и то, что, по свидетельству черногого автографа, Пушкин долго и упорно, с многочисленными зачеркиваниями и вариантами, работал над переводом первых стихов, между тем как последние четыре стиха были записаны почти набело, как нечто отстоявшееся, «свое»:

На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокой,
Как он, над бездною без эха я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

(III, 601)

Можно сказать, что пушкинский перевод — не только свидетельство конгенциальности переводчика поэту, но и единомыслия двух поэтов, близости их художественных воззрений. Перед нами редкий пример того, как стихотворение одного поэта, переведенное другим; входит в творчество последнего не как отдельный факт, но как явление, связанное с его творчеством всей совокупностью своих идей и образов.



Д. М. ШАРЫПКИН

ПУШКИН И «ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ» МАРМОНТЕЛЯ

1

В строфе XXIII пятой главы «Евгения Онегина» рассказывается о том, каким образом Татьяна заполучила гадательную книгу Мартына Задеки:

Сле глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной *Мальвиной*
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собрание басен площадных,
Граматику, две Петриады,
Да Мармонтеля третий том.

(VI, 107)

Итак, Пушкин счел нужным упомянуть, что среди книг, имевшихся у Татьяны, были и сочинения знаменитого в конце XVIII—начале XIX в. французского писателя Жана-Франсуа Мармонтеля. Исследователи не придали значения этому пушкинскому упоминанию, заметив только, что здесь говорится «об авторах, давно уже потерявших прелесть новизны в столичном культурном читательском кругу»,¹ и что вообще все это «книжный хлам».²

Действительно, как в XXIII строфе, так и в предшествующей встречаются так называемые «нефункционирующие перечисления» авторских имен и заглавий, рассчитанные лишь на комический эффект. Так, ясно, что «ни Виргилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека» (VI, 107) Татьяну не интересовали; то же можно сказать и о «баснях площадных», грамматике и Петриадах. Однако можно предположить, что Мармонтель в этом перечне занимает особое место. Стих, завершающий XXII строфу, параллельный тому стиху, в котором упоминается Мармонтель, имеет композиционно-смысловое значение: там назван «гадатель, толкователь снов», сочинение которого так любила Татьяна. Л. П. Гроссман³ и В. В. Виноградов⁴ подчеркивали, что заключительная кода является

¹ Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина. Изд. 4-е. М., 1957, с. 245.

² Бонди С. Русские и иностранные писатели в «Евгении Онегине». — В кн.: Пушкин А. С. Евгений Онегин. М.—Л., 1936, с. 261.

³ Гроссман Л. П. Онегинская строфа. — В кн.: Пушкинский сборник, I. М., 1924, с. 122—124.

⁴ Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 380.

«сильным местом» онегинской строфы, острой концовкой (*pointe*), создающей, как правило, новый образ, — это присоединительное сочетание, развивающее сюжет.

Пушкин в «Евгении Онегине» искусно обыгрывает литературные имена и заглавия, превращая их в характеристические эмблемы и символы. Это — одно из средств социально-психологической мотивировки поведения героев, прием образотворчества. Массовая французская литература, ярким и типичным представителем которой был Мармонтель, много значила для читателей того общественного круга, к которому принадлежала Татьяна.⁵

Но какие же именно произведения содержал этот «Мармонтеля третий том»? В. Набоков высказал догадку, что это был третий том прижизненного собрания сочинений французского писателя, которое вышло в 1780-х годах.⁶ В этом томе напечатана первая часть «Нравоучительных рассказов» (*Contes Moraux*).⁷ В библиотеке Пушкина,⁸ однако, имелось не это, а другое, посмертное собрание сочинений Мармонтеля, и рукою поэта разрезан не третий, а шестой его том, содержащий четвертую часть «Нравоучительных рассказов».⁹ Ниже мы постараемся показать, что скорее всего Татьяна отдала коробейнику книгу пятую этого французского издания, представляющую собой «третий том» повестей Мармонтеля (*Nouveaux Contes Moraux*, vol. III).¹⁰

Но в то же время этим «третьим томом» мог быть и один из многочисленных русских переводов Мармонтеля: хотя Татьяна и не умела грамотно писать на родном языке, но уж во всяком случае говорила на нем (с пняей) и читала (Мартына Задеку). Повести, вошедшие в третий том «Нравоучительных рассказов», переводились на русский язык начиная с 1771 г. и привлекали читателей. Издатель одной из этих повестей в русском переводе, рекомендуя «Нравоучительные рассказы» как «славный и от всего света похвальный господина Мармонтеля труд», писал: «Две части нравоучительных Мармонтелевых сказок еще в 1764 году переведены и напечатаны в Москве; а как потом и III оных часть, 5 сказок в себе заключающая, в 1765 году на французском языке в Париже вышла, и из оной одна под именем „Испытанное дружество“ в 1771 году в Санктпетербурге переведена и напечатана, то и сия вторая, оттуда же взятая, по удовольствию российских читателей предлагается. А вскоре <...> и три остальные, а именно: первая „Щастливый развод“, вторая „Женищина каких мало“ и третья, „Исправленный человеконенавидец“, переведены, а мною, как и сия, напечатаны будут <...> По окончании же их всех переводом, бесполезно будет, собрав, издать вместе особою книгою, под названием: „Третьей части Мармонтелевых сказок“».¹¹

⁵ См.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 404 и сл. Из новейших работ на эту тему см.: Вольперт Л. И. 1) «Фоблаз» Луве де Кувре в творчестве Пушкина. — В кн.: Проблемы пушкиноведения. Л., 1975, с. 87—119; 2) Загадка одной книги из библиотеки Пушкина. (Пометы на романе Ю. Крюденер «Valérie»). — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1973, с. 77—109; 3) Пушкин и Шодерло де Лакло (на пути к «Роману в письмах»). — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1972, с. 84—114.

⁶ См.: Eugene Onegin. A Novel in Verse by Aleksander Pushkin, translated from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov, in four Volumes. Vol. 2. New York, 1964, p. 517.

⁷ *Oeuvres complètes de Marmontel, de l'Académie française. T. III. Contes Moraux, vol. I. Paris, 1787.*

⁸ См.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 282.

⁹ *Oeuvres complètes de Marmontel, de l'Académie française. Nouvelle édition. T. VI. Contes Moraux, vol. IV. Paris, 1818.*

¹⁰ В черновиках пятой главы «Евгения Онегина» имеются два варианта интересующего нас стиха: 1) «Да Мармонтеля третью часть»; 2) «Да Marmontela третью том» (VI, 395).

¹¹ В. Р. Предуведомление. — В кн.: Способ, изведанный опытом, превратить ветреную и упрямую жену в постоянную и послушную, или Добрый муж, нравоучительная сказка, г. Мармонтеля... Пер. с франц. Ал. Пр. СПб., 1773, с. I—II.

Такая книжка вышла в 1788 г.,¹² но с несколько иным подбором повестей: сюда вошла, например, «Лоретта» (Laurette), которую сам автор включал в первый том «Нравоучительных рассказов». Наконец, рассказы третьей части переводил Н. М. Карамзин; его переводы, первоначально появившиеся в «Московском журнале» (1791—1792), затем напечатаны отдельными книгами (ч. 1—2, 1794—1798), переиздававшимися дважды. Третье их издание читатель получил в 1822 г.¹³ Итак, «Мармонтеля третий том», о котором говорится в пушкинском романе, содержал «Нравоучительные рассказы» — наиболее интересные в художественном отношении произведения этого писателя.

Conte, французская литературная сказка XVIII в. — жанр емкий, представленный и авантюрно-рыцарской повестью, и плутовским романом, и фантастической новеллой, и прозаической басней, и пасторалью, и философской притчей, и фривольным анекдотом. Единственное, что объединяет сочинения, традиционно относимые к этому жанру, это их «малая» форма рассказа. По мере своего творческого развития Мармонтель постепенно отказывался от авантурных и волшеббно-фантастических сюжетов, басенной аллегоричности и эротической фривольности.¹⁴ Литературные образцы, которым следовал автор третьего тома «Нравоучительных рассказов», — английский «семейный» роман Ричардсона и художественно-педагогическая проза Руссо. Повести позднего Мармонтеля — семейные романы в миниатюре, изображающие повседневную действительность и проникнутые сентиментальным психологизмом, культом чувства.¹⁵ В этом смысле «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля — звено в цепи литературной традиции, унаследованной «Евгением Онегиным».¹⁶

Но с романом Пушкина в целом эти повести несопоставимы. Приспособленные ко вкусу и духовным потребностям незыскательного широкого читателя, они сочинены не более чем послушным и переимчивым учеником и популяризатором классиков просветительского сентиментализма. Сам автор считал свои рассказы произведениями сатирическими, но дальше обличения некоторых нравственных пороков его критика не шла. «Нравоучительные рассказы», как это явствует из заглавия серии, преследуют цель не только художественно-развлекательную, но и дидактическую: возвысить общепринятую социально-этическую норму человеческого поведения. Дидактика Мармонтеля хотя и не столь навязчива, как, например, у Флориана, но тоже достаточно прямолинейна. Добродетель в «Нравоучительных рассказах» неизменно торжествует, а потому развязка в них всегда благополучна.

Действие повестей Мармонтеля происходит, как правило, в великосветской среде, но интересы и заботы его героев близки и понятны среднесловному читателю. В «Нравоучительных рассказах» речь идет о воспитании чувств юношей и барышень, вступающих в брачный возраст, об отношениях между супругами. Любимая героиня Мармонтеля — девушка, готовящаяся стать верной супругой и добродетельной матерью, а затем свято охраняющая семейный очаг и образцово исполняющая свой долг.

В России Мармонтель оказался идеальным посредником между великанами западноевропейского просвещения и полупросвещенной дво-

¹² Нравоучительные сказки господина Мармонтеля, члена Академии Французской. Ч. III. Изд. 2-е. М., 1788.

¹³ Новые Мармонтелевы повести, изд. Н. Карамзиным. Пер. с франц. Ч. 1, 2. Изд. 3-е. М., 1822.

¹⁴ См.: Lenel S. Marmontel. Un homme de lettres au XVIII siècle, d'après des documents nouveaux et inédits. Paris, 1902.

¹⁵ См.: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 2 (XVIII-й век). СПб., 1910, с. 495.

¹⁶ См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 143; Батюшков Ф. Д. Ричардсон, Пушкин и Лев Толстой. — Журн. М-ва нар. просвещения, нов. сер., 1917, ч. XXI, сентябрь, с. 1—17 (отд. III).

рянской массой. Он и ему подобные писатели формировали вкусы эпохи. В его сочинениях доказывались «истины общепользные, служащие к научению ума или образованию нашего сердца».¹⁷ Мармонтель стал наставником провинциальных дворянских недорослей. Характерна сценка в комедии А. С. Грибоедова и П. А. Катенина «Студент» (1817), где Евлампий Аристархович Беневольский, приехавший в столицу из провинции, хвастается своему слуге Федьке: «Вступаю в новый для меня свет. — Ну, однако, какой же новый? Я его знаю, очень хорошо знаю: я прилежал особенно к наблюдениям практической философии, читал Мармонтеля, Жанлис <...> и кто их не читал? <...> Они будут водители мои в этом блуждалище, которое называют большим светом».¹⁸

«Нравоучительные рассказы» Мармонтеля могли бы служить для деревенских барышень учебником социально-бытового поведения,¹⁹ подобно тому как Мартын Задека помогал им толковать сны. Вот почему Пушкин в набросках статьи «О ничтожестве литературы русской» назвал Мармонтеля и ему подобных «бездарными пигмеями» и уподобил их «грибам, выросшим у корня дубов», т. е. Вольтера и других великих просветителей (XI, 495—496). Как и Арно, Мармонтель относился к числу «поэтов, которые пишут для публики, угождая ее мнениям, применяясь к ее вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству!» (XII, 46).

Но при подходе к произведениям массовой литературы у Пушкина были особые критерии. «Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных» (XI, 89). Пушкин отметил, что Мармонтель и ему подобные писатели «овладели русской словесностью» (XI, 496). По словам В. В. Сиповского, Мармонтель оставил в сознании современников Н. М. Карамзина глубокие следы.²⁰ Его переводил не только сонм безвестных литераторов, но и Карамзин, и Н. И. Новиков, и В. А. Лёвшин. «Славный» Мармонтель признавался русской критикой XVIII—начала XIX в. одним из лучших европейских прозаиков. Своему успеху, как отмечалось в журнале «Патриот» (1804, т. II), он обязан той «любезной легкости» и «красивому небрежению», с которыми он набрасывает «живые и пленительные картины».²¹ Мармонтель обновил жанр сказки, создав на его основе «новый род сочинения», не известный древним и не имеющий еще своей поэтики. Правда, и до него «остроумный Вольтер» сочинил «несколько прекрасных сказок», по «Вольтер в замысловатых сказках смеялся над философией века. Мармонтель оттенял легкою кистью картины жизни и общежития». Во Франции у него только один «щастливый соперник» — Флориан; даже Мерсье, «сочинитель нравственных вымыслов», не может сравниться с Мармонте-лем. О писателях других европейских земель и говорить не приходится: «В отечестве Вульфов, Лейбницев, Кантов едва ли, кажется, мог родиться новый Мармонтель», да и «славные островитяне, гордящиеся Ричардсонами, Стернами, Гольдшмитами, не произвели еще ничего в сем роде».²²

¹⁷ Мерзляков А. Ф. Краткая риторика. М., 1809, с. 50. См. также: Мерзляков А. Ф. Краткое начертание теории изящной словесности. М., 1822, с. 242.

¹⁸ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1911, с. 96.

¹⁹ В библиотеке Пушкина сохранился пятитомный «Исторический словарь любовных анекдотов» («Dictionnaire historique des anecdotes de l'amour...»). Paris, 1832), выбранных из сочинений разных писателей. В томе IV Пушкин разрезал страницы, на которых напечатаны характерные «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля (см.: Пушкин и его современники, вып. IX—X, с. 224—225).

²⁰ См.: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1 (XVIII-й век). СПб., 1909, с. 78.

²¹ См.: Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести, ч. II. XVIII-й век. СПб., 1903, с. 242.

²² Там же, с. 243—244.

С творчеством Мармонтеля Пушкин познакомился, вероятно, еще в детстве; во всяком случае лицеисты хорошо знали этого писателя, о чем свидетельствует «Словарь» Кюхельбекера — сборник цитат из разных авторов, в том числе и из Мармонтеля.²³ Пушкин был знаком с эстетическими трактатами Мармонтеля, написанными для «Энциклопедии», — заметными памятниками литературно-теоретической мысли XVIII столетия,²⁴ в частности с «Основами литературы» («*Éléments de Littérature*»), в которых осуждался Буало, чуждый сентиментальной чувствительности.²⁵ Комментарий Мармонтеля к комедии Мольера «Скупой» нашел определенное отражение в пушкинской трактовке образа Скупого рыцаря.²⁶

Из героев Пушкина Мармонтель знаком не только Татьяне, но и ее возлюбленному: об этом говорится в черновиках романа. Онегин умел

Вести [ученый разговор]
И [даже мужественный спор]
О Бейроне, о Манюэле,
О Мирабо, о Мармонтеле.

(VI, 217)

Конечно, Онегин воспринимал Мармонтеля не совсем так, как Татьяна: «жаркий спор», который он вел, носил преимущественно характер политический.²⁷ Об этом свидетельствует и перечень тем этого «разговора», обозначенных именами-эмблемами. Все они раскрыты и объяснены Б. В. Томашевским, за исключением имени Мармонтеля: «Особенно упорно во всех промежуточных редакциях Пушкин сохраняет имя Мануэля, и лишь в последней стадии это имя заменяется нейтральным именем Мармонтеля, писателя конца XVIII в.»²⁸

Но имя Мармонтеля совсем не было нейтральным ни для Онегина, ни для Пушкина: им, как и их современникам, оно говорило многое. Оно не случайно стоит в паре с именем Мирабо, которого Пушкин в «Заметках и афоризмах» величал «революционной головой» (XII, 178), а в статье «Александр Радищев» называл одним из учителей автора «Путешествия из Петербурга в Москву» (XII, 34). Правда, Мармонтель Великую французскую революцию не принял, но, как и Мирабо, деятельно участвовал в идеологической ее подготовке. Оба — и Мирабо, и Мармонтель — весьма интересовались аграрным вопросом и сочувствовали физиократическим идеям: недаром в авторской характеристике Онегина слышится терминология физиократов и смитианцев.²⁹

Среди книг в библиотеке Пушкина имелся русский перевод романа Мармонтеля «Велизарий» («*Bélisaire*», 1767),³⁰ принесшего французскому писателю величайший успех и признание как в Западной Европе, так и в России. Этот философско-политический трактат, который можно называть романом лишь условно (интрига и фабула в нем едва намечены), посвящен столь волновавшей просветителей проблеме воспитания просвещенного монарха. Византийский мудрец и полководец Велизарий проносит здесь просветительские речи по вопросам государственно-поли-

²³ См.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 248.

²⁴ См.: Шевырев С. П. Мармонтель и Лагарп. — Журн. М-ва нар. просвещения, 1837, ч. XIII, № 1, с. 59—87.

²⁵ См.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 100.

²⁶ См.: Томашевский Б. В. «Маленькие трагедии» и Мольер. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.—Л., 1936, с. 120—122, 127.

²⁷ Пушкин писал в статье «О народном воспитании»: «Мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический...» (XI, 43).

²⁸ Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1 (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 564.

²⁹ См.: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина, с. 65.

³⁰ См.: Модзалевский Л. Библиотека Пушкина. Новые материалы. — В кн.: Литературное наследство, т. 16—18. М., 1934, с. 1001; Ариэль-Залесская Г. Г. К изучению истории библиотеки Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II. М.—Л., 1958, с. 344.

тическим, требуя облегчить положение земледельцев. Сам роман, задуманный, по выражению Вольтера, как «катехизис царей»,³¹ был запрещен во Франции. Екатерина II повелела перевести роман на русский язык,³² желая предстать перед всей Европой и собственными подданными в роли просвещенного государя, исповедующего принципы Велисария. Выражая официальную точку зрения, О. П. Козодавлев писал: «Перевод „Велисария“ останется в Российской истории бессмертным, и будет служить доказательством, что в век Екатерины Вторья в России были правила Велисария в почтении и что она подданным своим истинно слушать не только не запрещала, но и старалась во всяком случае открывать оную пред ними, яко источник человеческого блаженства».³³

В пушкинскую эпоху обсуждалось значение екатерининского царствования в российской истории. Политические и литературные споры о Мармонтеле — друге Вольтера, королевском историографе, велись, по всей видимости, и в салоне Карамзиных. Сам Н. М. Карамзин, «русский Мармонтель», как критика величала автора «Юлии» и «Бедной Лизы»,³⁴ особенно ценил этого писателя. Карамзин вменял Екатерине II в особую заслугу перевод «Велизария».³⁵ Для Карамзина Мармонтель — достойный современник «века Вольтеров, Жан-Жаков, Энциклопедии, „Духа законов“»,³⁶ автор «прекрасных сказок, который в самом, кажется, легком, в самом обыкновенном роде сочинений умеет быть единственным, неподражаемым».³⁷ Переводы «Нравоучительных рассказов», изданные Карамзиным (частично сделанные им самим, частично лишь отредактированные им), были выполнены с таким стилистическим совершенством, так тщательно и так любовно, что читались как оригинальные произведения русской литературы и теми, кто в совершенстве владел французским языком.³⁸

В вариантах «Евгения Онегина», промежуточных между черновиками и окончательным текстом, Мирабо уже отсутствует, Мармонтель же все еще остается:

И мог Евгений в самом деле
Вести приятный разговор
А иногда ученый спор
О господине Мармонтеле...

(VI, 545)

³¹ См.: Щабельский П. К. Екатерина II как писательница. IV. Велизер. Переведен на Волге. — Заря, 1869, май, с. 38.

³² Перевод под названием «Велизер, сочинения господина Мармонтеля, члена Французской академии, переведен на Волге. Печатан при имп. Московском университете 1768 года» в XVIII в. переиздавался трижды, один раз в Петербурге (1773), второй раз в Вене (1777), третий — опять в Москве, в типографии Новикова (1785). Кроме того, через год после появления «Велизера» вышел другой русский перевод того же романа, выполненный П. П. Курбатовым: «Велисарий, сочинение г. Мармонтеля, академика французского. С амстердамского 1767 года издания, переведено в Москве в том же году (так!)» (СПб., имп. Акад. наук, 1769). Эта книжка также переиздавалась трижды (1786, 1791, 1796).

³³ Козодавлев О. П. Историческое начертание о распространении просвещения в Европе от разрушения Римския империи до наших времен. — Растущий виноград, 1785, апрель, с. 100.

³⁴ См.: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1, с. 495.

³⁵ «Европе известно, что Екатерина, плывя по величественной Волге, в то самое время, когда сильная буря устрашала всех бывших с нею, спокойно переводила Велисария, к бессмертной славе Мармонтеля!» (Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине II. — В кн.: Карамзин Н. М. Соч., т. VIII. СПб., 1835, с. 93).

³⁶ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. I. М.—Л., 1964, с. 419.

³⁷ Там же, т. II, с. 152.

³⁸ «Все любители русской словесности с удовольствием читали и перечитывали прекрасную сказку „Безанские рыбаки“, сочиненную Мармонтелем и переведенную Н. М. Карамзиным. Нельзя не удивляться чудному сплетению происшествий в этой повести» (Мечтатель [Глияка С.]. Игра судьбы. — Дамский журнал, 1831, ч. XXXIII, № 8, с. 118).

Этот «господин Мармонтель»,³⁹ возможно, также не просто нейтральная стилистическая вариация уже сказанного в черновике, а новый оттенок емкой, многоаспектной авторской мысли. Вероятно, Онегин обсуждал с друзьями проблему применимости просветительских идей к русской действительности, особенно в решении крестьянского вопроса. Здесь было весьма уместно вспомнить Мармонтеля. Ведь едва появившись в деревне, Евгений

Ярем ... барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.

(VI, 32)

То же проделал у себя в поместье Иван Петрович Белкин (как мы покажем ниже, также «уважавший» Мармонтеля). О том же подумывали завсегдатаи салона Карамзиных, знакомцы Пушкина, — кн. П. Вяземский, братья Александр и Николай Тургеневы.

Образованным русским людям начала XIX в. были памятливы результаты конкурса, объявленного Вольным экономическим обществом в 1765 г. на лучшее сочинение о праве собственности крепостных крестьян. Общество получило более двадцати трактатов по этому вопросу, написанных французами, в том числе Вольтером и Мармонтелем.⁴⁰ Последний выступил убежденным и даже более последовательным противником крепостного права, чем Вольтер, полагавший, что государь не имеет права освободить крестьян против воли помещиков.⁴¹

Свой трактат, повторяющий и развивающий проповедь Веллария, писатель озаглавил «Рассуждение в защиту крестьян Севера»,⁴² но говорил только о русских крепостных. Главные реформы, предложенные Мармонтелем, — замена феодальной барщины легким оброком («налогом») и предоставление крестьянам личной свободы и права владения землей — в русских условиях означали бы отмену крепостного права. В «Рассуждении» сурово и темпераментно критикуются помещичья идеология и мораль. Сама речь, проникнутая обличительным и ораторским пафосом, логика и фразеология ее напоминают отдельные страницы «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

По мысли Мармонтеля, если погран общественный договор — гарантия не только против деспотизма, но и против анархии, — крестьяне имеют естественное право как на индивидуальную, так и на коллективную самозащиту. «Гонители и гонимые в государстве — непримиримые враги»; таким образом, «из чрева угнетения повсюду рождаются мятежи». ⁴³ В законе нет места для крестьянина; но он может «восстать против этого закона, если ему в конце концов надоест страдать». ⁴⁴ Грядёт бунт, и он будет ужасен: рабы «ожесточены несчастьями и запуганы страданиями, низость которых превратила их <...> в жестоких и бесчувственных людей <...> не признающих иного права, кроме насилия». ⁴⁵ Мармонтель обращался к помещикам с увещанием: «Опомнитесь, жестокосердые и высокомерные, народ, который вместо вас на плечах

³⁹ «Господин Мармонтель» неизменно упоминался на титульных листах русских переводов его сочинений, например: «Веллизер, сочинения господина Мармонтеля», «Нравоучительные сказки господина Мармонтеля» и др.

⁴⁰ См.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., т. I. М., 1888.

⁴¹ См.: Белявский М. Т. Французские просветители и конкурс о собственности крепостных крестьян в России (1766—1768 гг.). — Вестник Моск. ун-та, 1960, № 6, с. 26—50.

⁴² Marmontel J. F. Discours en faveur des paysans du Nord. — In: Oeuvres complètes de Marmontel. . . , Nouvelle édition. T. X. Paris, 1819.

⁴³ Oeuvres complètes de Marmontel. . . , t. X, p. 51—52.

⁴⁴ Ibid., p. 59.

⁴⁵ Ibid., p. 86—89.

своих несет все тяготы жизни, глубоко сокрыв свои страдания и слезы, требует лишь, чтобы вы отдали ему ваши излишки». ⁴⁶

Необходимость подобных реформ осознавалась русскими либеральными дворянами и независимо от Мармонтеля. Так, в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 6 февраля 1820 г., где имя Мармонтеля не названо, развита та же тема: «Мы призваны по крайней мере слегка перебрать стихии, в коих таится наше будущее. Такое приговорение умерит стремительность и свирепость их опрокидания. Правительство не дает ни привета, ни ответа; народ всегда, пока не взбесится, дремлет <...> от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость и что свобода, коей они лишены, так же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце <...> Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожим его, уничтожим всякие предбудущие замыслы». Но, не называя имени Мармонтеля, Вяземский невольно вспоминает героя его романа — Велизария (реально существовавший византийский полководец ни о чем подобном не думал): «Тиранство могло пустить по миру одного Велизария, но выколоть глаза целому народу — вещь невозможная...». ⁴⁷

Замена барщины оброком — основная тема одного из «Нравоучительных рассказов» третьего тома — повести «Исправленный нелюдим» («Le Misanthrope corrigé»). Здесь Мармонтель своеобразно переосмысляет комедию Мольера «Мизантроп»; Пушкин же, как показал Б. В. Томашевский, ⁴⁸ интересовался истолкованиями творчества великого комедиографа, исходящими именно от Мармонтеля. Герой повести, родовитый молодой аристократ Алцест, наскуча светом, подобно Онегину решает изменить образ жизни и едет из столицы в свое деревенское поместье, чтобы предаться одиночеству. Впервые ставший помещиком, Онегин, перед тем как облегчить участь крепостных, осматривает свои владения:

Два дня ему казались новы
Уединенные поля...

(VI, 27)

Так же поступает и Алцест. Гуляя по полям, он незаметно для себя попадает на пашню своего соседа, добродетельного виконта де Лавалья. Здесь Алцест встречает крепостного крестьянина, принадлежащего виконту (во Франции XVIII в. существовали пережиточные формы крепостной зависимости). «Прогуливаясь по полям», подошел он к пахарю, «который с песнею проводил свою борозду». ⁴⁹ Следует диалог «доброго» барина и поселянина, необыкновенно довольного своим общественным положением. «Бог на помощь тебе, доброй человек! — говорил он ему: — ты так весел? — Я всегда таков, — отвечал ему крестьянин. — Я этому весьма рад; это доказывает, что ты состоянием своим доволен. — По сию пору не могу пожаловаться <...> — А дети твои радуют ли тебя? — Ах! они моя забава <...> — Все это ты считаешь за щастие? — За щастие? Я так думаю. Посмотрели бы вы, что за радость, когда я приду домой с работы! <...> Я смеюсь, я плачу, я их целую <...> — Но как ты живешь? — Очень хорошо». ⁵⁰ Далее счастливый пахарь сообщает Алцесту,

⁴⁶ Ibid., p. 82.

⁴⁷ Остафьевский архив князей Вяземских, т. II. Изд. 4-е. СПб., 1899, с. 15. Ср.: Бродский Н. А. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина, с. 131—132.

⁴⁸ См.: Томашевский Б. «Маленькие трагедии» и Мольер, с. 120—122, 127.

⁴⁹ Нравоучительные сказки господина Мармонтеля, члена Академии Французской, ч. II. М., 1788, с. 225.

⁵⁰ Там же, с. 225—226. Возможно, здесь берет свои истоки диалог госпожи М. с девкой Анютой в рассказе Карамзина «Нежность дружбы в низком состоянии» (1793):

Госпожа М. Вам должно быть очень весело, друзья мои?

Анюта. Как не весело, сударыня! Мы рады всегда белому свету, встаем, молимся богу, целуемся, работаем с охотой, шутим, смеемся, говорим

что «господин сих мест» щадит их, «как своих детей». Герой желает осмотреть деревню виконта («ей надобно быть завидной»).⁵¹

И действительно, Алцест видит процветающее имение. Он «удивился, нашед дороги даже и проселочные <...> в хорошем состоянии; но, усмотрев людей, занимающихся уравниванием оных, — а! вот барщина! — сказал он. — Барщина? — отвечал старик, присматривавший за сею работою; — ее здесь совсем не знают, люди сии получают плату, к работе никого не принуждают». ⁵² При встрече добрый виконт ⁵³ рассказывает герою: «Народ сей, недавно мною приобретенный, почитал себя погибшим без помощи <...> Прибыв сюда, усмотрел я, что общим у всех было сие для деревень пагубное и разорительное правило: „чем больше мы станем работать, тем более будут нас обирать“». ⁵⁴ А рецепт лекарства простой — заменить барщину оброком («налогами»): «По очереди дошло и до барщины; и управитель <...> не знавший, как ее истребить, чрезвычайно был обрадован средствами, употребленными мною к изгнанию ее из моей деревни». ⁵⁵

Это-то и осчастливило крестьян. «А налоги?», — спрашивает Алцест у того же пахаря. «Мы их платим с охотою, потому что должно; ни в какой земле не могут быть все дворянами. Тот, кто нами управляет, и тот, которой нас судит, не могут придти пахать землю; они нам в нужде помогают, а мы им». Алцест спешит последовать примеру виконта и морализирует: «Сколь силен был бы государь! — говорил он, — и сколь благополучно было бы государство, ежели бы все большие помещики последовали примеру сего!». ⁵⁶ Благотворительная деятельность в деревне примиряет этого мизантропа с жизнью и человечеством. В романе Пушкина все по-другому.

Не только Алцест, но и другие герои «Нравоучительных рассказов» напоминают своим поведением Онегина — если рассматривать его как социальный тип — и окружающих его персонажей пушкинского романа. «Дядя самых честных правил», например, обнаруживается не только в романе Луве де Кувре «Фоблаз», хотя это и наиболее близкая параллель, указанная М. П. Алексеевым Л. И. Вольперт.⁵⁷ В «Повести шестой» Мармонтеля изображен «молодой повеса», добрый малый, но любитель прекрасного пола, за что он навлекает на себя гнев богатого и высоко нравственного дяди-помещика. Между тем «всю надежду» этого повесы «составляло наследство после дяди, человека любезного, но

почти без умолку <...> После работы отдыхаем, играем с детьми и не видим, как проходит день <...>

Госпожа М. Итак, вы совершенно довольны своим состоянием, друзья мои?

А н ю т а. Конечно, сударыня! (К а р а м з и н Н. М. Соч., т. VII. СПб., 1834, с. 49, 54).

⁵¹ Нравоучительные сказки господина Мармонтеля..., ч. II, с. 227—228.

⁵² Там же, с. 228.

⁵³ Алцесту повезло с соседями больше, чем Онегину, чьи действия вызвали совершенно иную реакцию окружающих:

За то в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чужак.

(VI, 32—33)

⁵⁴ Нравоучительные сказки господина Мармонтеля..., ч. II, с. 236—237.

⁵⁵ Там же, с. 238.

⁵⁶ Там же, с. 226, 229.

⁵⁷ Вольперт Л. И. «Фоблаз» Луве де Кувре в творчестве Пушкина, с. 98.

вспыльчивого и горячего, подобно многим добросердечным людям».⁵⁸ Как и онегинский дядя, персонаж Мармонтеля холост: «почитая себя нелюдимом (отчасти справедливо), решился он не жениться, и проводил жизнь в деревне, стараясь о приумножении своего богатства». Целые дни он бранится, но не с ключницей, как в романе Пушкина, а с местным кюре, защищающим беспутного племянника, которому дядя не хочет оставлять наследство. «Кто с такою ревностью защищает молодых повес, — говорил он с улыбкою, — тот не бывал ли когда-нибудь и сам в числе их?» (ч. 1, с. 118). Но тут дядя начинает примечать «отменную слабость своего здоровья <...> В конце осени открылись в нем верные признаки близкой смерти» (ч. 1, с. 132). Повеса спешит в деревню, чтобы засвидетельствовать дяде свое почтение, но этого уже не требуется. Дядя умирает, предварительно обратившись к кюре: «Друг мой! <...> Кровь во мне портится, грудь слабей, и я дышу с великим трудом; пора мне о себе думать. Ты видел меня чрезмерно оскорбленного поведением одного из моих племянников <...> сердце мое прошло» (там же). Племянник получает наследство и становится добродетельным помещиком.

Герой «Повести седьмой» — также юный повеса, Вилар, «молодой человек знатного рода». Его главная черта — поверхностность образования, что, по мнению пушкинцев, является одной из важнейших черт Онегина, как он изображен в первой главе. Вилар «был самого беглого ума, часто говорил острые слова, шутил, смешил и проч.; только в мыслях его не надлежало искать никакого порядка. Целый день мог он говорить беспрестанно и, летая от предмета к предмету, почел бы за великий труд, если бы заставили его хотя две минуты подумать о сказанных им словах; но разговоры его самою своею легкостью нравились в обществе. Молодые мужчины и женщины не могли его послушаться. Имея обо всем некоторое понятие, он казался всезнающим и заставлял людей удивляться его учености» (ч. 1, с. 147—148).

В Вилара влюбляется прелестная и добродетельная девушка, дочь благородных и состоятельных родителей, характером напоминающая Татьяну. Эта героиня Мармонтеля «совсем несклонна к веселости, а любит тишину и размышление», «печальна и задумчива». Она «погружается в задумчивость и вздыхает от сильного движения, производимого в душе ее чудесами природы; иногда же в восторге своем проливает слезы» (ч. 1, с. 149—150). Вилар поначалу не замечает ее, но потом становится серьезнее, сам увлекается ею и женится на ней.

В параллель Онегину традиционно и вполне обоснованно подбираются байронически разочарованные герои западноевропейской романтической литературы. Их находят в творчестве самого Байрона, Бенжамена Констана,⁵⁹ Шатобриана, Мюссе, Сенанкура⁶⁰ и др., однако родоначальник этой литературной традиции — Ричардсон, и портальная фигура в этой галерее типажей — Ловелас.⁶¹ Вслед за Ричардсоном и Мармонтель создал образ «молодого человека, привлекательного своею меланхоликою», — англичанина милорда Алтмона, одного из героев «Повести девятой». Он вполне мог бы сойти за байронического героя, но создан задолго до Байрона и Констана и введен в русскую переводную литературу Карамзиным еще в 90-х годах XVIII в. Милорд пытается соблазнить добродетельную замужнюю героиню, но тщетно:

⁵⁸ Новые Мармонтелевы повести, изд. Н. Карамзиным, ч. 1, с. 116. Далее при ссылках на это издание повестей Мармонтеля в тексте указываются часть (1, 2) и страница.

⁵⁹ См.: Ахматова А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин. Современник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.—Л., 1936, с. 91—114.

⁶⁰ См.: Родзевич С. И. Предшественники Печорина во французской литературе («Рене» Шатобриана, «Адольф» Бенжамена Констана, «Исповедь сына века» А. де Мюссе, «Оберман» Сенанкура). Киев, 1913.

⁶¹ См.: Батюшков Ф. Д. Ричардсон, Пушкин и Лев Толстой, с. 14.

«Наконец мы остались двое. — Я люблю искренность в женщинах <...> Не правда ли, что я кажусь вам печальным и скучным? — Не скучным, — отвечала я, — а печальным. — Знаете ли, отчего, — спросил он. — Оттого, сударыня, что ничто в свете не привязывает меня к жизни. Сердце мое томится и сохнет подобно такому растению, которое не имеет корня. У меня нет ни родных, ни свойственников, — я молод и один. Отечество мне дорого и любезно; однакож никак не могу жить в нем. Я думал, что скука моя происходит от климата, поехал в другие земли, где небо светлее, где солнце великолепнее, — поехал и некоторое время наслаждался новыми предметами. Но недолго — мрачное облако затемнило вокруг меня всю природу. Это облако в душе моей; она внутренним своим холодом сжимает и густит вокруг себя мрачные пары, которые тяготят ее <...>

Ужели, — сказала я, — ужели в лета удовольствия ничто не могло тронуть вашего сердца? — Удовольствие делать добро иногда трогало меня, — отвечал Алтмон, — но только на минуту. Благодеяния забываются: кто об них через час вспомнит! Тщеславие кажется мне ребячеством; корыстолюбие прощительно одним старикам; приятности честолюбия покупаются дорогою ценою. Ложную славу я презираю, истинная редка и соединена с великими трудностями. Уважение людей снискивать должно; оно для меня необходимо, однакож не лестно — подобно воздуху, который необходимо нужен для человека, но не делает ему никакого удовольствия. Что принадлежит до тех забав, которые выдумываются скукою и пресыщением души, я никак не мог ими утешаться. Резвые бегуны никогда меня не веселили. С меланхолиею гулял я в садах своих, и зеленая трава увядала от моих мыслей. Картины, статуи занимали меня по несколько часов, потом я отдавал их другим <...>

А дружба? — спросила я. — Дружба, дружба! — повторил он со вздохом. — Я находил ее в хороших книгах; но и там говорят об ней как о Фениксе. В книгах же говорят и о прелестях любви; однакож я верю им, верю, только желание мое не находило себе пищи, и погасло. Ах! осмелится ли любить тот человек, который сам себя не находит любви достойным?» (ч. 1, с. 193—194).

Итак, по указанию самого Пушкина, и Онегин и Татьяна читали «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля, читали, конечно, по-разному, ⁶² но Мармонтель — один из немногих в романе знаков культурно-типологического сходства Татьяны Лариной, провинциальной барышни, и Евгения Онегина, столичного жителя, их потенциальной духовной близости друг другу.

2

Как известно, Татьяна написала Евгению письмо,

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной.

(VI, 55)

⁶² «Чтение для женщины не то, что чтение для мужчины, — писал В. А. Жуковский в статье «Из альбомов гр. С. А. Самойловой. III. Наброски мыслей» (1819). — Чтение для мужчины весьма часто бывает скучною, утомительною работою». Иное дело женщина: «Круг женщины ограниченный. В него входит одно только просто человеческое. Ей нужно только приобрести то, что на немецком языке так прекрасно называется *Weiblichkeit* и для чего нет еще выражения в языке нашем. В этом слове я вижу всю прекрасную жизнь женщины: простоту, неискusstvenность глубокого чувства, просвещенного знанием <...> богатство сведений не для блеска, но для скромного внутреннего наслаждения, для мирного, я бы сказал, стыдливого сияния посреди немногих, ей принадлежащих любовью. Женщина создана для семейства — в нем ее деятельность, чистая, всегда полезная, всегда благодатная» (Жуковский В. А. Соч. Полн. собр. в одном томе. М., 1902, с. 124).

Относительно Кларисы и Юлии все ясно. Пушкин сам пояснил, что это героини романов Ричардсона и Руссо:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.

(VI, 44)

Кларисой Татьяна воображала себя потому, что Онегин напоминал ей героев Ричардсона, а послания Юлии возлюбленному помогли Татьяне составить собственное письмо Онегину. Функции Дельфины в этом ряду имен не ясны. О ней Пушкин не сказал ничего, но исследователи по ряду признаков решили, что она — героиня одноименного романа мадам де Сталь.⁶³

Конечно, Пушкин не имел возможности перечислить всех литературных героинь, которыми могла бы «вообразиться» Татьяна. В частности, недавно удалось разыскать еще один возможный книжный источник ее письма Онегину — элегию Марселины Деборд-Вальмор.⁶⁴ В. Набоков, первым обнаруживший этот источник,⁶⁵ указал, кроме того, на параллели к отдельным строкам письма Татьяны в произведениях Вергилия, Расина, Кампенона, Крюденер, Байрона, Констана и Шенье (заметим, что Жермена де Сталь в этот перечень не включена). Список этот можно продолжать бесконечно: письмо Татьяны сочинено великим поэтом, прекрасно знакомым с богатейшей эпистолярной художественной традицией.

Но в романе за письмом Татьяны следует отповедь Онегина: все вместе это как бы диалог, который должен рассматриваться в его композиционном единстве. Существует ли произведение, известное Пушкину и содержащее литературную параллель первому объяснению Татьяны и Онегина? Такое произведение до сих пор не называлось.

Между тем оно существует: это нравоучительный рассказ Мармонтеля «Школа дружества» («L'école de l'Amitié»), открывающий третий том французского издания «Нравоучительных рассказов», переведенных Карамзиным. Известно, как внимательно к его художественному опыту прозаика приглядывался Пушкин: он считал прозу Карамзина «лучшей в нашей литературе» (XI, 19). В произведениях Пушкина можно найти отдельные образы, реминисценции и оттенки мысли, подсказанные сочинениями Карамзина.⁶⁶ Так, в седьмой главе «Евгения Онегина» В. В. Виноградов обнаружил целый период, составленный по образцу карамзинской прозы с сохранением стиля источника.⁶⁷ И в X строфе третьей главы, где говорится, кем «воображалась» Татьяна, стих «плоды сердечной полноты» является замаскированной, иронически переосмысленной цитатой из того же Карамзина (у него в «Послании к А. А. Плещееву»: «Плоды душевной пустоты»)⁶⁸.

Героиня «Школы дружества» — юная деревенская барышня по имени Дельфина. Она, как и Татьяна, воображает себя героиней Ричардсона. Автор так и начинает свою повесть: «Все знают воспитанницу Грандисонову, прелестную Эмилию Джервинс, искреннюю, нежную и столь невинно влюбленную в опекуна своего: я нашел в свете вторую мисс Джервинс, которая <...> так же как Ричардсона героиня, романически любила

⁶³ См.: Сиповский В. В. Татьяна, Онегин и Ленский. (К литературной истории пушкинских «типов»). — Русская старина, 1899, май, с. 311—329.

⁶⁴ См.: Сержан Л. С. «Элегия» М. Деборд-Вальмор — один из источников письма Татьяны к Онегину. — Известия АН СССР, сер. ОЛЯ, 1974, т. 33, № 6, с. 536—553.

⁶⁵ См.: Eugene Onegin. A Novel in Verse by Aleksander Pushkin, translated... by Vladimir Nabokov, vol. 2, p. 392.

⁶⁶ См., например: Бутакова В. Карамзин и Пушкин. (Несколько сопоставлений). — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXXVII. Л., 1928, с. 127—135.

⁶⁷ См.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина, с. 129.

⁶⁸ Там же, с. 396.

в своей молодости» (ч. 2, с. 134). Подобно Татьяне, Дельфина, влюбившись в молодого человека, написала ему письмо с признанием в любви, но он вместо ожидаемого ею предложения руки прочел ей строгую мораль. Впоследствии она вышла замуж за богатого аристократа.

И в пушкинском романе, и в повести Мармонтеля здесь та же последовательность действия не только в главных, но и — что особенно важно подчеркнуть — во второстепенных деталях, сходная лексика и фразеология.

Татьяна влюбилась, когда «пришла пора»:

Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь...

(VI, 54)

И Дельфина, шестнадцатилетняя девушка, дочь состоятельных помещиков, «осмеливалась думать о вечном союзе»: «В такие лета нам обыкновенно ищут женихов: за кого же отдадут меня?» (ч. 2, с. 144). Тут появляются возлюбленные, соответственно Евгений и Альсим. Онегин напоминает Татьяне Вольмара, Вертера и прежде всего Грандисона:

Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились

Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

(VI, 55)

Так же воспринимает Альсима Дельфина: «Он похож был на Грандисона: та же добродетель, та же умеренная чувствительность и непорочность во всех склонностях; такая же неограниченная власть над своею душою и над чувствами; такое же ненарушимое спокойствие духа и сердца» (ч. 2, с. 135—136).

Онегин, по мнению света, имел «счастливым талант» непринужденно беседовать на любую тему, слыл «ученым малым» и вообще «умным и очень милым человеком». И Альсим, по словам Дельфины, «имел просвещенный ум, множество знаний, удивительную память, тонкий вкус, приятный дар красноречия <...> С такими дарованиями и свойствами природа соединила миловидное лицо» (ч. 2, с. 136).

Татьяна постоянно думает о возлюбленном и, наконец, не выдержав, решается, по общему мнению исследователей, на «действие героическое»⁶⁹ — письменное изъяснение Онегину своих чувств. В этом поступке видят «своеобразие характера» Татьяны. Однако и Дельфина решается на такой же точно шаг: «Альсим не выходил наконец из моих мыслей <...> Наконец я вышла из терпения и решилась написать к нему письмо» (ч. 2, с. 137, 144). Однако никакого героизма Дельфина в этом своем шаге не видит, считая его «обыкновенною женскою слабостию» (ч. 2, с. 135). Конечно, в условиях русского деревенско-помещичьего быта Татьяна подвергла свою репутацию большому риску, чем Дельфина.

Собственно говоря, Дельфина в отличие от Татьяны написала любимому не большое письмо, а записку из нескольких фраз, имеющую мало общего с вдохновенным посланием пушкинской героини. Однако примечателен сам факт существования такой записки, а также устный ответ на нее Альсима, не случайной параллелью к которому, на наш взгляд, является онегинская отповедь. Но и записка Дельфины проливает дополнительный свет на некоторые потенции пушкинского замысла, недоста-

⁶⁹ См., например: Макогоненко Г. Роман Пушкина «Евгений Онегин». М., 1963, с. 67.

точно раскрытые в процессе его осуществления, и поясняет отдельные второстепенные подробности в тексте самого письма.

Со слов Вяземского известно, что Пушкин, по его собственному признанию, желая, чтобы Татьяна писала «без нарушения женской личности и правдоподобия в слог», сначала хотел «написать письмо прозой». ⁷⁰ Действительно, в плане письма Татьяны имеются прозаические наброски. На этой стадии работы над письмом Пушкину, видимо, особенно могли пригодиться и прозаическая записка Дельфины, и вся повесть Мармонтеля.

В обществе Лариных, Пустяковых и прочих уездных помещиков Онегин, вероятно, вел себя так же, как и похожий на него Владимир из «Романа в письмах», сообщавший своему другу: «Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут <...> Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente* <томным фатовством>, которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристойен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство — хотя и чувствуют, что я нахал» (VIII, 54). Наверное, Онегин был подчеркнута внимателен к госпоже Лариной и сделал вид, что почти не замечает Татьяну. Во всяком случае, едва покинув Лариных, Онегин заговорил с Ленским первым делом о хозяйке дома:

А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка...

(VI, 53)

Точно так вел себя, по рассказу Дельфины, и Альсим: «... всего более огорчало меня то, что Альсим, занимаясь почтенными своими дамами, совсем об нас не думал, и не любопытствовал видеть в глазах наших того впечатления, которое слова его делали у нас в душе» (ч. 2, с. 138). Такое поведение должно было задевать за живое уездных барышень. Лиза из «Романа в письмах» пишет своей подруге: «В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейского офицера, беспокойство барышень <...> и между тем учитывая холодность и совершенное невнимание гостя» (VIII, 51). И Дельфина говорит: «Мне крайне хотелось приманить его к нам: ах! напрасное желание!.. Будучи учтив против всех женщин, Альсим не имел ни в одной отменного внимания» (ч. 2, с. 141). Черновой прозаический план письма Татьяны начинается фразой: «Я знаю, что вы презираете *нрзб*» (VI, 314). Первая фраза письма Дельфины позволяет понять, что, возможно, хотел сказать Пушкин: «Мне досадно видеть, государь мой, что вы презираете всех тех, которые по нещастию молоды...» (ч. 2, с. 141).

В письме Онегину Татьяна признается:

Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз,
В деревне нашей видеть вас...

(VI, 66)

Но почему же раз в неделю? Ведь по подсчетам пушкинистов Онегин нанес Лариным не более двух визитов. ⁷¹ Цитированным выше строкам Пушкина В. В. Сиповский приводел довольно невыразительную параллель из письма Юлии Ленару: «Я не могу жить без вас <...> необходимо, чтобы я вас видела», ⁷² — но как часто, Юлия не пишет. Дельфина же из повести Мармонтеля вносит ясность в этот вопрос: «один раз в неделю обедал он (Альсим, — Д. III.) в доме госпожи Ольм <...> Этот день считали мы для себя праздником» (ч. 2, с. 136).

⁷⁰ Вяземский П. А. Соч., т. II. СПб., 1878, с. 23.

⁷¹ Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина, с. 213.

⁷² Сиповский В. В. Татьяна, Онегин и Ленский, с. 320.

Татьяна говорит о своем желании видеть Евгения:

Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Всё думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.

(VI, 65)

Точно так же для Дельфины «умный и приятный» разговор Альсима был «источником беспрестанных удовольствий» («я никогда не могла его наслушаться, всегда его воображала, и всякой день находила в нем новые приятности» — ч. 2, с. 179). В письме к Альсиму она пишет: «Знайте же, что одна благородная девица, имея счастье иногда встречаться с вами, замечает все ваши разумные слова; что оне кажутся ей отменно приятными; что нежной ваш голос впечатлевает их в душе моей <...> Знайте, что почтеннейший из людей есть для нее и самой любезнейший» (ч. 2, с. 141—142).

Татьяна не подписала свое послание; об этом можно судить и по черновикам романа,⁷³ и по XII строфе четвертой главы:

... к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь <...>».

(VI, 77)

Она поступила так по примеру Дельфины, которая писала письмо «не своею рукою» и отослала его «без имени» и точно так же была опознана Альсимом: «Я заметила, что глаза его искали безымянной в нашем кругу. Не трудно было узнать ее: краска лица моего служила вместо подписи; имя сочинительницы письма изображалось огненными буквами у меня на щеках» (ч. 2, с. 142).

Итак, обе корреспондентки не отрицали своего авторства. Начинается отповедь. Правда, в романе Пушкина она длится не более четверти часа, а у Мармонтеля растягивается на многие недели (Альсиму помогает и мать Дельфины, узнавшая о проступке дочери), но оба героя читают сходную мораль в похожих выражениях (только Евгений в стихах, Альсим же прозой). Оба не хотят жениться из-за своей разочарованности в жизни.

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей, —

говорит Евгений. Комментируя эти строки, исследователи отмечают, что «игру страстей» Онегина охладил жизненный опыт и какая-то загадочная несчастная любовь, намек на которую содержится в беловых рукописях второй главы.⁷⁴ Альсим же ссылается на «неизлечимую болезнь», что на метафорическом языке Мармонтеля и того поколения французских писателей, к которому он принадлежал, означало ту же несчастную любовь. Так, герой «Повести седьмой», влюбленный, как ему кажется, безответно, говорит: «Я знаю болезнь свою, и знаю, что на нее нет лекарства. — Нет лекарства! в ваши лета? — сказала сестра моя с сердечным соучастованием. — В мои лета, сударыня, бывают люди подвержены жестоким припадкам, продолжительным и неизлечимым. — Сестра моя <...> когда <...> он уехал <...> сказала мне: — Этот молодой человек верно влюблен <...> Когда же я повторила ей Виларовы слова: „бывают мучительные припадки, продолжительные и неизлечимые“, то

⁷³ В прозаическом черновом плане и в промежуточной стихотворной редакции письма Татьяны (VI, 314, 319).

⁷⁴ См.: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина, с. 213.

она не могла утерпеть, чтобы не примолвить со вздохом: „очень, очень мучительные и совсем неизлечимые“» (ч. 2, с. 163).⁷⁵

Пушкин говорит об Онегине:

Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

(VI, 77)

Не хотел этого и Альсим: «она <...> любит <...> как только нежная и невинная душа может любить» (ч. 2, с. 152).

Начиная свою отповедь, Евгений говорит:

...Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной изливянья;
Мне ваша искренность мила...

(VI, 77)

Нечто похожее произносит и Альсим: «Знайте, что я умею быть чувствительным и благодарным за лестное ко мне расположение такой милой девицы» (ч. 2, с. 151).

Параллелью к последующим словам Онегина:

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне стать отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, —
То верно б кроме вас одной
Невесты не искал иной —

(VI, 78)

является признание Альсима: «... естли бы природа не влила в мою кровь яда неизлечимой болезни <...> естли бы без непростительного жестокосердия мог я решиться умножить число подобных себе нещастливцев, то нежную обязанность супружества предпочел бы всем приятностям свободы и независимости» (ч. 2, с. 152).

Евгений убеждает свою слушательницу:

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе не достоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.

(VI, 78)

⁷⁵ То же читаем и в других «Нравоучительных рассказах», например: «Я говорил ему о твоей болезни — какая болезнь в его лета? — сказал он: — печать от любви...» (Добродушный бретонец. — Новые Мармонтелевы повести в дополнение к изданным г. Карамзиным. С французского перевел и издал Александр Татаринов. СПб., 1800, с. 11). В пушкинской эпиграмме «Надпись на стене больницы» обыграна та же метафора:

Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

(I, 261)

Не построена ли она на приеме литературно-пародийного «применения»? В пушкинском романе Татьяна так открывается няне:

«Я влюблена», — шептала снова
Старушке с горестью она.
— Сердечный друг, ты нездорова.
«Оставь меня: я влюблена».

(VI, 60)

С такими же словами обращается к Дельфине и Альсим: «...я не могу быть нежным предметом для чувствительного женского сердца. Поверьте, поверьте, что любовь не мое дело» (ч. 2, с. 149).

Евгений рисует Татьяне безрадостную перспективу союза с ним:

Что может быть на свете хуже
Семья, где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я...

(VI, 78)

И Альсим признается в этом. «Неспособность моя к хозяйственным делам, склонность к уединению, любовь к свободе и независимости, план жизни, сообразный с моим характером, — все запрещает мне думать о таком союзе, которого святость уважаю душевно, но которого строгие должности ужасают меня. Одним словом, намерение мое твердо» (ч. 2, с. 149—150). Вся «Повесть девятая» как раз посвящена описанию такого супружества. «Недостойный» и «скучный» муж требует развода от своей супруги, говоря: «Но будешь ли ты довольна таким мужем <...> который не одной тобою занимается, который думает о свете, о забавах, о рассеяниях? Уединение делается тебе скучно и несносно» (ч. 1, с. 190—191).

Вместе с тем Евгений уверяет Татьяну:

Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.

(VI, 79)

И Альсим пытается убедить Дельфину: «Мое сердце сказало мне, что я должен быть другом милой Дельфины, верным, нежнейшим другом, и больше ничего» (ч. 2, с. 198).

Пытаясь смягчить нравоучение, Евгений произносит:

Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так, видно, небом суждено.
Полюбите вы снова...

(VI, 79)

Так же поступает и Альсим: «Когда придет час и любовь покажется на горизонте, тогда слабый свет дружбы в одну минуту угаснет, подобно как звезды угасают на небе от первых лучей солнца» (ч. 2, с. 155).

Евгений кончает свою отповедь словами:

Учитесь властвовать собою.

(VI, 79)

Это же является главной задачей нравоучения Альсима: «Известно, что всего похвальнее и всего труднее управлять собою. Власть над внутренними движениями души есть источник всех добродетелей; она хранит спокойствие, благопристойность в обществе и мир в семействах, служит человеку порукою за его дела и за дела других людей» (ч. 2, с. 177).

Прозаический эквивалент к словам Евгения:

Не всякий вас, как я поймет;
К беде неопытность ведет —

(VI, 79)

произносит мать Дельфины: «...чувствительность может быть опасна; берегись ее следствий, и будь вообще осторожнее!» (ч. 2, с. 146).

Для Татьяны отповедь Онегина была суровым испытанием:

Так проповедывал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.

(VI, 79—80)

Татьяна все это припомнила Онегину, когда они поменялись ролями:

Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.

И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь...

(VI, 186)

И Дельфина говорит: «Альсим сам испугался строгости своих наставлений, и сказал мне с умильным взором „не правда ли, что мое нравоучение кажется жестоким?“» (ч. 2, с. 146).

Возникает вопрос: героиней какого же романа воображает себя Татьяна — Дельфиной мадам де Сталь или Мармонтеля? Разумеется, они могут и не исключать друг друга: может быть, Пушкин вспомнил и о той, и о другой одновременно. И все же маловероятно, что Дельфина у Пушкина — образ собирательный, ибо тогда нарушается единообразие ряда конкретных литературных героинь («Кларисой, Юлией...»).

Разберем аргументы относительно Жермены де Сталь. Имеется достаточно данных, чтобы утверждать, что Пушкин, работая над своим романом, внимательно читал ее произведения и думал над ними. Но Пушкин читал не только их, но и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля, как о том свидетельствуют приведенные сопоставления. Эпиграф к четвертой главе «Евгения Онегина» взят из книги «Революция» французской писательницы: «La morale est dans la nature des choses» («Нравственность в природе вещей»).⁷⁶ Но это общее место просветительской этики. В. В. Сиповский утверждал, что Татьяна «поразительно близка» — «и по характеру, и по судьбе» — Дельфине мадам де Сталь; что и там, и здесь — конфликт одинокой личности с окружающей средой и общественным мнением; что обе героини добросердечны, живут порывами романтической экзальтации, нарушают «правила приличия», и т. п.⁷⁷ Но все это очень общо и не слишком точно. Аргументация В. В. Сиповского подверглась справедливой критике:⁷⁸ слишком уж различны структура и функции этих литературных образов, характеры этих героинь и обстоятельность их жизни. Героиню Жермены де Сталь волнуют общественно-политические вопросы, о которых Татьяна даже и не слыхала, например о воплощении в быту нравственных принципов Великой французской революции, проблема эмансипации; истолкование этих вопросов занимает видное место в «Дельфине».⁷⁹ По-видимому, впервые с творчеством Сталь Татьяна могла познакомиться уже после отъезда Онегина из деревни, в его библиотеке,⁸⁰ причем характерно, что ей показался «странен» выбор имеющихся там книг. Только тогда «ей открылся мир иной», а это значит, что мадам де Сталь не входила в число «возлюбленных творцов» Татьяны до объяснения с Онегиным.

⁷⁶ См.: Вольперт Л. И. Пушкин после восстания декабристов и книга мадам де Сталь о Французской революции. — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1968, с. 119.

⁷⁷ См.: Сиповский В. В. Татьяна, Онегин и Ленский, с. 324—326.

⁷⁸ См.: Эдельштейн Б. Жермена Сталь в прочтении Пушкина и пушкинских героев. — Труды Горьковского гос. пед. ин-та им. Н. Бараташвили, т. XII, Тбилиси, 1968, с. 133—139.

⁷⁹ См.: Рейзов Б. Г. Между классицизмом и романтизмом. Л., 1962, с. 64—66.

⁸⁰ См.: Заборов П. Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века. — В кн.: Ранние романтические веяния. Л., 1972, с. 181.

И самое главное: Пушкин в XI строфе третьей главы «Евгения Онегина» четко обрисовал сюжет и композицию того типа романов, которыми увлекалась Татьяна:

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец

Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был веннок.

(VI, 56)

Построение «Дельфины» совсем иное: вместо апофеоза любви и добродетели — трагическая развязка, самоубийство (отравление), торжество порока. Зато «Школа дружества» близка к пушкинской характеристике: здесь и «важный лад» слога, и герой, Альсим, — «совершенства образец», жертвующий собой ради счастья Дельфины, и не очень строгое наказание (нравоучение Альсима) не слишком предосудительного порока (легкомысленной неосторожности героини), и достойное увенчание добродетели (богатый и знатный муж для «исправившейся» девушки).

Пушкинская характеристика такого рода романов насковзь ироническая: Пушкин смеется над ними. А вот Жермену де Сталь он не только никогда не высмеивал, но и противодействовал подобным попыткам. «M-me Staël наша — не тронь ее...» (XIII, 227), — писал он Вяземскому 15 сентября 1825 г. Неуважительный отзыв о ней Муханова вызвал негодующую отповедь Пушкина.⁸¹

И наконец, если эта Дельфина — героиня Мармонтеля, а не мадам де Сталь, становится понятным, почему Татьяна отдала коробейнику ту самую книгу, в которой напечатана «Школа дружества»: героиня Пушкина перестала «воображаться» Дельфиной. С этой книгой были связаны для нее полудетские мечты, грустные воспоминания о неразделенной любви. Закончился один этап в ее душевном развитии, начинался другой. Ее самобытная натура, «русская душа» требовала иной духовной пищи. Татьяна сбывла с рук своеобразные эмблемы «полупросвещения» на западный лад: грамматику (вероятно, французскую или английскую), Петриады, в которых Пушкин, подобно Вяземскому, не находил ничего «народного... кроме имен» (XI, 40), и «Мармонтеля третий том».

Но хотя Татьяна и перестала воображать себя Дельфиной, нравоучений Альсима и Евгения не забыла. Да и судьба ее сложилась почти так же, как у Дельфины: одна стала маркизой, другая — княгиней. Татьяна-генеральша напоминает героинь «Нравоучительных рассказов» и своим поведением в свете, и словами, обращенными к Онегину.

В повести Мармонтеля «Добрый муж» («Le bon mari») барышня по имени Гортанс, своим характером напоминающая Татьяну, выходит замуж за пожилого и добродетельного кавалера де Лузана, который тотчас же принимается перевоспитывать ее. Он создает для жены великосветский салон, куда допускаются лишь богатые, знатные и благовоспитанные друзья дома, призванные оказывать на Гортанс благотворное влияние. «Вечеру гости собрались. Лузан <...> говорил им: здесь-то будет жилище дружбы, жалуйте часто, ежели мы вам нравны, и проводим жизнь нашу вместе. Единогласно отвечали, что им то всегда приятнее <...> пусть любовь, природа и дружба соединятся вместе».⁸²

⁸¹ См.: Ржигга В. Ф. Пушкин и мемуары m-me de Staël о России. — Изв. Отд-ния рус. языка и словесности имп. Академии наук, 1914, т. XIX, кн. 2, с. 47—67.

⁸² Нравоучительные сказки господина Мармонтеля, члена Академии Французской. Ч. III. Изд. 2-е. М., 1788, с. 18.

Тема великосветского салона развита Пушкиным в восьмой главе «Евгения Онегина». Принято считать, что у Пушкина тема эта в процессе работы над романом претерпела эволюцию:⁸³ если в черновиках светское общество изображено благожелательно, то в окончательном тексте появилась едкая сатира на него. По нашему мнению, отношение Пушкина к большому свету на всех стадиях работы над «Евгением Онегиным» оставалось неизменным. Роман со всеми его редакциями дает разностороннюю, так сказать, стереоскопическую картину истинно светского салона. В. А. Жуковский в статье 1808 г. («Писатель в обществе») давал следующее определение понятия «большой свет»: «Прежде всего определим для самих себя: что называется обыкновенно большим светом? <...> Слово большой свет означает круг людей отборных — не скажу лучших — превосходных пред другими состоянием, образованностию, савом, происхождением; это республика, имеющая особенные свои законы, покорная собственному, идеальному и всякую минуту произвольно сменяемому правителю — моде, где существует общее мнение, где царствует разборчивый вкус, где раздаются все награды, где происходит оценка и добродетелей, и талантов».⁸⁴

Это определение является исторически объективным. Большой свет можно изобразить и доброжелательно («круг людей отборных», образованных, родовитых, «где царствует разборчивый вкус»), и сатирически («круг людей <...> не скажу лучших», «республика <...> покорная <...> произвольно сменяемому правителю — моде»). Весьма плодотворно предположение, что салон Татьяны, как он изображен в черновиках, напоминает дом Карамзиных:⁸⁵ литературные вкусы «русского Мармонтеля» и героини последних глав пушкинского романа во многом идентичны.

Пушкин не считает нужным показывать сам процесс превращения Татьяны-барышни в великосветскую даму. Мармонтель же подробно рассказывает, как «добрый муж» перевоспитывал свою юную супругу. Относясь к ней, по его словам, с «нежностью любовника, откровенностью друга и неусыпным попечением отца», он неустанно внушает ей, что «честная женщина не среди шума мирского находит свое благополучие, но во внутренности своего хозяйства, в ревностном исполнении своего долга».⁸⁶ Это вызывает возмущение Гортанс: «С какою холодною кровию он мне законы предписывает!»; при этом «Лузан дивился проворству молодой женщины в защищении своей свободы».⁸⁷ Возможно, нечто подобное пережила в браке и Татьяна. Ее глазами смотрит Пушкин на друзей ее мужа и видит злых старух, сердитых господ, франтов и жеманниц (VI, 176). И Гортанс, слушая почтенных друзей супруга, чувствует, как будет тяжело «не видеть никого, кроме добродетельных женщин и скромных мужчин»: «Какая пустота! Да что ж за приятная беседа с такими почтенными друзьями!».⁸⁸

Постепенно Татьяна смиряет «души неопытной волненья» и становится образцовой хозяйкой дома:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...

⁸³ См.: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина, с. 306; Соловей Н. Я. Эволюция темы большого света в VIII главе «Евгения Онегина». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1968, с. 29—30.

⁸⁴ Жуковский В. А. Соч. Полн. собр. в одном томе, М., 1902, с. 98.

⁸⁵ См.: Измайлов Н. В. Пушкин и семейство Карамзиных. — В кн.: Пушкин в письмах Карамзина 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 41—48.

⁸⁶ Нравоучительные сказки господина Мармонтеля..., ч. III, с. 9, 34.

⁸⁷ Там же, с. 12—13.

⁸⁸ Там же, с. 13.

Всё тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

(VI, 171)

Так же изменилась и Гортанс: «Вошла госпожа Лузан <...> Все устремляли свои навстречу ей взоры. Ее только сердце было не довольно. Она прикрывала свое неудовольствие скромным видом учтивости; и хотя приветливость ее была и принуждена, однако показалась приятною и любви достойною. Столько прекрасные ухватки имеют дар всё украшать».⁸⁹

И когда Татьяна в заключение произносит свои знаменитые слова, обращенные к Онегину:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна, —

она поступает как идеальная героиня «Нравоучительных рассказов», которая знает, что «в верном исполнении должностей наших есть великое утешение для невинно страждущего сердца» (ч. 1, с. 201). Та же Гортанс, продолжая, по-видимому, любить какого-то молодого человека, говорит мужу, что она уже была близка к тому, чтобы забыть о своем замужестве, но обещает ему быть верной «на весь свой век».⁹⁰

Татьяне по-прежнему не нравятся «шум и чад» светского общества и вообще городской жизни. Она

Волнение света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселениям,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где *он* являлся ей.⁹¹

(VI, 162)

Татьяна повзрослела и изменилась, и это было обусловлено социальной средой, всем жизненным укладом, образованием, воспитанием, при этом не в последнюю очередь чтением Мармонтеля и ему подобных писателей.

3

Традиция «семейной» повести заметна не только в «Евгении Онегине», но и в «Повестях Белкина»,⁹² особенно в «Станционном смотрителе», написанном вскоре после завершения работы над романом в стихах. Литературный генезис этой повести продолжает во многом оставаться филологической загадкой.⁹³

Еще В. Ф. Бояновский предположил, что пушкинская повесть «вышита» новыми узорами по старой канве романов, «унаследованных нами

⁸⁹ Там же, с. 19.

⁹⁰ Там же, с. 40.

⁹¹ Не исключено, что это препарированная, перестроенная и «примененная» цитата из повести Мармонтеля «Совместники самих себя» («Les Rivaux d'Eux-mêmes»), героиня которой, Адель, «не полюбила города <...> ждала о вольных птичках, ландышах, о светленьких ручейках, которые журчанием своим питали ее нежную задумчивость. Она уже не могла дышать ароматическим воздухом в приятном густом песочке, где обыкновенно читала <...> Сельская тишина говорила бы ей о милом предмете (т. е. о возлюбленном, — Д. Ш.): городской шум не говорил о нем» (Новые повести Мармонтеля, изд. Н. Карамзиным, ч. 2, с. 114—115). В пушкинском романе имеются и другие переключки с «Нравоучительными рассказами», и возможно, что это не случайные текстовые совпадения, не стилевые общие места, а результат сознательного творческого применения.

⁹² См.: Гиппиус В. Повести Белкина. — Литературный критик, 1937, № 2, с. 19—55.

⁹³ Белькин Д. В. С. Еще раз о «загадке» И. П. Белкина. — В кн.: Проблемы пушкиноведения. Сборник научных трудов. Л., 1975, с. 55.

еще от XVIII века».⁹⁴ Но каких конкретно романов? Такой вопрос может показаться неуместным. Обычно говорится, что сюжет «Станционного зрителя» такой банальный, шаблонный, изношенный в литературном обиходе,⁹⁵ «такой на все тоны перепетый, в тысячах вариаций на все лады переигранный, что говорить о заимствовании его одним писателем у другого, казалось бы, совершенно не приходится».⁹⁶ Однако никто не привел в пример ни единого произведения на этот якобы «перепетый» сюжет, близкий «Станционному зрителю». Для него ближе «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина ничего не находилось.

В. В. Гиппиус признавал, что в «Станционном зрителе» Пушкин «решительно разорвал с традиционными сюжетами о трагически погибающих жертвах обольщения и „прекрасных грешницах“».⁹⁷ А это значит, что пушкинский сюжет — нетрадиционный и не столь уж часто встречающийся. Известно, что сентиментально-бытовую повесть с ее сюжетным примитивизмом можно пересказать «буквально тремя-четырьмя словами».⁹⁸ А вот «Станционного зрителя» в двух словах не перескажешь: в повести выделяли от четырех до одиннадцати сюжетных поворотов.⁹⁹ Пушкин хорошо понимал, что банальные жизненные ситуации являются наиболее трудным материалом для художественной переработки. «Трудно прилично выражать обыкновенные предметы» (XI, 175), — писал он в статье «О Альфреде Мюссе». Предстояло победить эту трудность, создать новую поэтику выражения старых как мир «предметов».

Сам Пушкин устами одной из своих героинь («Роман в письмах») говорил: «Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман» (VIII, 50). У нас имеются основания предполагать, что Пушкин так и поступил. Ему необходим был конкретный старый литературный образец, пересоздав который можно было бы наглядно продемонстрировать возможность нового творческого метода. Сравнение «Станционного зрителя» с гипотетическим источником помогло бы лучше уяснить частные особенности этого метода, отдельные приемы, из которых он слагался. При этом следует обращать внимание не столько на типовые признаки сюжета, сколько на подробности и «мелочи» — конструктивные детали фабулы и композиции.

По нашему предположению, основным литературным источником повести Пушкина послужила правоучительная повесть Мармонтеля «Лоретта», одно из лучших прозаических сочинений французского писателя. Для Ивана Петровича Белкина вполне естественно рассказать жизненную историю, ориентируясь на Мармонтеля — авторитет в глазах русского помещика, тем более что сюжет «Лоретты» весьма близок к «рассказу титулярного советника А. Г. Н.». Функции Самсона Вырина выполняет здесь Базиль (в русском переводе — Василий) из деревни Куланж. Как и Самсон, Базиль — человек маленький: он — фермер-однодворец и винодел, изредка отвозящий свой товар в Париж. Фамилии

⁹⁴ Бояновский В. Ф. К характеристике работы Пушкина над новым романом. — В кн.: *Sertum bibliologicum* в честь... проф. А. И. Малеина. Пб, 1922, с. 182.

⁹⁵ См.: Гиппиус В. В. Повести Белкина, с. 32. См. также: Любвиц Н. «Повести Белкина» как полемический этап в развитии пушкинской прозы. — *Новый мир*, 1937, с. 272; Сидяков Л. С. Пушкин в развитии русской повести в начале 30-х годов XIX века. — В кн.: *Пушкин. Исследования и материалы*, т. III. М.—Л., 1960, с. 198; Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974, с. 169.

⁹⁶ Альтман М. Роман Белкина (Пушкин и Достоевский). — *Звезда*, 1936, № 9, с. 195.

⁹⁷ Гиппиус В. Болдинские повести Пушкина. — В кн.: *Пушкин и театр*. Л., 1937, с. 90.

⁹⁸ Скипина К. Чувствительная повесть. — В кн.: *Русская проза*. Л., 1926, с. 28—29.

⁹⁹ См.: Варнеке Б. Построение «Повестей Белкина». — В кн.: *Пушкин и его современники*, вып. XXXVIII—XXXIX. Л., 1930, с. 162—168.

Базилия автор не называет, но дочь его, Лоретту, как она сообщает, все зовут «Куланж» по имени ее родины.¹⁰⁰ Вырин — вдовец, Базиль — тоже; у обоих по одной дочери («Не обременен ли ты детьми? — Я имею токмо одну дочь...») (ч. III, с. 83). Дуне, когда о ней впервые упоминается в повести, четырнадцать лет; Лоретта (в русском переводе — Лауретта), играющая аналогичную роль, — на год старше («Который тебе год, Лауретта? — Мне исполнилось пятнадцать лет прошедшего месяца»). Дуня помогает зрителю регистрировать проезжающих; по словам отца, его «дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем поспевала» (VIII, 100). Такова и Лоретта: «— А в чем ты упражняешься? — Я помогаю моему батюшке; вместе с ним работаю» (ч. III, с. 71).

Зритель вспоминает: «Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее подолее поглядеть» (VIII, 100). Пушкин упоминает об этом вскользь и мимоходом; у Мармонтеля же подробно изображено, как проезжающие через Куланж дамы и кавалеры останавливаются, дабы полюбоваться «красавицей Лореттой». «Знатные женщины хотя себя и не дурными почитали, но признавались, такой красавицы никогда еще не видывали» (ч. III, с. 70). Дуня, по замечанию В. В. Гиппиуса, отнюдь не «ангел непорочности». Титулярный советник, со слов которого записывал Белкин, рассказывает: «Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потушила большие голубые глаза <...> Дуня протянула мне <...> свежие, розовые губки» (VIII, 99; см. также с. 644). Гости Куланжа отзываются о Лоретте почти теми же словами: «Как страстны ее взгляды! <...> какое б множество похитила сердец хитрая кокетка сими глазами? Есть ли что сего нежнее? Сколь прелестны ее губы» (ч. III, с. 70). Дуня разговаривает с господами «безо всякой робости, как девушка, видевшая свет» (VIII, 99); Лоретта говорит также не смущаясь, «с живостию» и «приятством». Дуня одета «как барышня», за перегородкой она шьет себе платье (VIII, 647); Лоретта тоже красиво одевается.

Итак, обе героини не прочь изменить свою сословную принадлежность (Мармонтель отнюдь не одобряет такое желание) и внутренне готовы к встрече со своими соблазнами. Последние не заставляют себя ждать: это проезжающие в столицу — один в Петербург, другой в Париж — ротмистр Минский и граф де-Люзи (в русском переводе — Лузий). Оба они не злодеи и не донжуаны, а легкомысленные и богатые дворяне приятной наружности. Пушкин почти не касается перипетий романа Дуни с Минским; сказано лишь, что когда гусар притворялся больным, то «своею рукою пожимал Дунюшкину руку» (VIII, 101). Это — реалистическая деталь, мелкий бытовой штрих, которому в пушкинской повести не придается особого значения. Мармонтель не терпит «просто» детали: его описания, как правило, нарочито многозначительны, из каждой авторской сентенции можно извлечь мораль. Граф тоже жмет руку Лоретте: «Чувствовала она иногда, что ее жали руку; но нежностью ничья рука сравниться с его не могла» (ч. III, с. 72).

Пушкин мало говорит о психологических переживаниях соблазненной Дуни; сцена, в которой бы Минский предлагал Дуне идти к нему на содержание, в повести Пушкина отсутствует. Эта недомолвка красноречива сама по себе: все и так понятно без слов. Мармонтель же не любит недомолвок, и в его повести имеется такая сцена. Любопытно проследить подробности этой сцены, важные для Мармонтеля и ненужные

¹⁰⁰ Нравоучительные сказки господина Мармонтеля..., ч. III, с. 97. Далее при ссылках на это издание повестей Мармонтеля в тексте указываются часть (III) и страница.

Пушкину. Де-Люзи убеждает Лоретту, что она, «украшение природы», не должна «себя посвятить в трудолюбивую и мрачную жизнь и окончить оную, будучи у какого-нибудь грубого деревенского жителя» (ч. III, с. 79). Однако Лоретта уверилась в этом задолго до встречи с графом. Де-Люзи сулит Лоретте разные материальные блага, как-то: «великолепный домик» в Париже, украшенный изнутри «золотом и шелками», «презрядный экипаж», роскошное платье и т. п. (ч. III, с. 74). Все это тоже вытекает из специфики сюжета и потому является ненужной длиннотой. Де-Люзи поясняет Лоретте, что не может на ней жениться, так как этому препятствуют его звание и разные «обстоятельства» (ч. III, с. 78). Подобное «разъяснение» соблазнителя еще колеблющейся девушке наивно и психологически не мотивировано. Де-Люзи просит Лоретту держать его предложение в тайне («а естли оное откроешь, то все тобою ожидаемое щастие исчезнет как мечта» — ч. III, с. 74), но и героиня, и читатель сами могли бы догадаться об этом.

Эмоциональные характеристики Пушкина, точные и краткие, подчинены у него строгому критерию достаточности; он блестяще владеет искусством красноречивого умолчания. Но Пушкин умалчивает здесь лишь о том, что стало общим местом в сентиментально-бытовой повести. В остальном автор «Станционного смотрителя» следует за не совсем обычной фабулой Мармонтеля. Минский, не желая расставаться с Дуней, притворяется больным: «ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать» (VIII, 101). Притворяется больным и де-Люзи, желая, чтобы Лоретта побыстрее отбросила свои колебания (напомним, что любовь по Мармонтелю — мучительная и неизлечимая болезнь). «Так, конечно, Лауретта! я окончу свою жизнь у твоих ног, естли должен буду с тобою расстаться. — Лауретта в самом деле думала от доброго сердца, что он, не зря ее, жить не может. — Увы! — сказала она, — это я буду причиною вашего нещастия! — Да, свирепая! ты будешь причиною, ты желаешь моей смерти, ты оной хочешь. — Ах, боже мой! Нет, я лучше отдам жизнь» (ч. III, с. 100). Но вот соблазнителям пора в путь. Ротмистр «так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем» (VIII, 101). Жаль расставаться с графом и доброму поселянину, отцу Лоретты: «Ах, предоброй молодой человек! Ах, чувствительное сердце! — восклицал он повсемитрутно <...> Он бы никогда не мог подозревать в преступлении столь добродетельного младого человека» (ч. III, с. 85).

У Пушкина хитроумный ротмистр, попросившись с отцом, «простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни» (VIII, 102). Точного аналога этой сцене у Мармонтеля нет; Лоретта идет к месту назначенной встречи одна, причем читателю сообщается об этом тем напыщенным и приукрашенным слогом, над которым смеялся Пушкин: «Когда уже дневному рассвету предшествовал позлащенный и багряный цвет, которой изливает Аврора на горизонте, то в то время бедное дитя вся в робости пришла на выезд деревни» (ч. III, с. 86). Но это, пожалуй, единственная «красивая» фраза во всей повести, написанной простым и благородным языком.

Увозимая Минским Дуня робела и колебалась: «Дуня стояла в недоумении...» (VIII, 102). Чувствительность похожей сцены у Мармонтеля экзативнее: Лоретта «пришла <...> в иступление; трепещущее и пронзенное ее сердце печалию и страхом привело ее в робость, так что она не смела ни держать, ни опустить Лузиеву руку» (ч. III, с. 84). У Пушкина «во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» (VIII, 102). И у Мармонтеля увозимая Лоретта «всю ночь проплакала»: «Ах! естлиб без моего батюшки, — говорила она, — то какое б удовольствие чувствовала за ним следовать!» (ч. III, с. 85—86).

Похожи и «ложные адресаты», к которым, как полагают покинутые отцы, отправились их дочери. Вырину «одна оставалась надежда: Дуня

по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать» (VIII, 102). Та же надежда на первых порах утешает и Базиля, думавшего, что его дочь «малолетна, простосердечна и легковерна: „какая-нибудь женщина хотела ее иметь в услужении, предвидела мои отказы, увезла ее насильно“» (ч. III, с. 93). Как видим, Пушкин последовательно усиливает, по сравнению с Мармонтелем, бытовое и психологическое правдоподобие повествования.

Покинутые отцы страдают; Базиль даже «почитал себя наименее несчастнейшим из отцов». Оба сетуют на судьбу и в душе попрекают неблагоприятное детище (Базиль энергичнее, чем Вырин). «А я-то, старый дурак, — восклицает смотритель, — не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье?» (VIII, 100). «А я, нерассудливый, — жалуется Базиль, — радовался, видя ее возрастающую и украшающуюся. Чем прежде я гордился, тем ныне я стыжусь. Для чего она не умерла, выходя из утробы матери своей?» (ч. III, с. 94).

Тем временем Дуня и Лоретта наслаждаются жизнью. У Пушкина об этом кратко сказано словами Минского: «Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния» (VIII, 103). Мармонтель пространно рассказывает о том, что глаза Лоретты «от слез осушились, сожаления кончились» и что «бесчисленные разные удовольствия упражняли ее жизнь и наполняли веселием ее душу» (ч. III, с. 91, 95). У Мармонтеля намечена, но подробно не развита, тема соперника; Лоретта пользуется успехом, и у графа имеются основания ревновать ее к своим друзьям и бывшим деревенским поклонникам. «Лузий, любя ее, обожал, а притом и боялся, чтоб кто-нибудь не похитил ее у него; старался, как можно, удалить ее от лишних людей» (ч. III, с. 94). На ранних этапах работы над повестью и Пушкин, судя по наброску ее плана, собирался затронуть тему соперника («писаря»), но отказался от нее. Творческая доминанта Пушкина — ничего замысловатого (ведь у Белкина — «недостаток воображения»), никаких сюжетных осложнений.

Приходит время отцам идти на поиски дочерей. Смотритель знает из подорожной, что ротмистр ехал в Петербург. Базилю труднее: его «обогнали» «показанием <...> той дороги, по которой Лузий поехал; да она ж была совсем противоположная» (ч. III, с. 94). Однако герою Мармонтеля помогает случай: «небольшая винная торговля, которую он вел, «принудила его ехать в Париж» (ч. III, с. 96). Свиданию смотрителя с дочерью предшествует встреча на улице, но не с Дуней, а с ее соблазнителем. «В этот самый день, вечером, шел он по Литейной <...> Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского <...> Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя» (VIII, 104). Согласно наброску плана повести, «писарь», приехавший в столицу, должен был встретить Дуню на улице: «Писарь за нею в Петербург» видит ее на гулянье...» (VIII, 664). В этом первоначальный план повести ближе рассказу Мармонтеля, чем ее окончательный текст. «Когда он (Базиль, — Д. III.) проезжал сей пространный город (Париж, — Д. III.), то некоторое замешательство, приключившееся от проезду чрез перекрестки карет, его остановило. Голос испугавшейся женщины привлек его к примечанию. Он видит <...> но не может поверить своим глазам...» (ч. III, с. 97).

При встрече с Дуней смотритель невольно залюбовался ею: «Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле» (VIII, 104).¹⁰¹ Увидев Лоретту, изу-

¹⁰¹ Сравнение с наездницей, как говорит А. А. Ахматова, почерпнуто Пушкиным из другого французского источника — «Физиологических рассказов» Бальзака. См.: Ахматова А. «Адольф» Бенжамена Константа в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.—Л., 1936, с. 114.

мился и Базиль: «Лауретта, его дочь, в драгоценной карете за стеклами, одета великолепно и убрана бриллиантами. Отец ее не мог бы узнать, естли б она сама не увидела его» (ч. III, с. 98). При виде отца Дуня «подняла голову ... и с криком упала на ковер» (VIII, 104), а Лоретта «от удивления и смущения закрыла себе лице» (ч. III, с. 97). Во время свидания с отцами обе героини бессловесны: Дуня в обмороке, а Лоретта «отвечала одним только плачем и вздохами <...> только тем, что, бросившись к его ногам, орошала их слезами <...> Удивление и замешательство чувств сделало ее неподвижною и бессловесною», — считает нужным пояснить Мармонтель (ч. III, с. 99, 102).

В обморок при виде отца Дуня упала не от радости — это понятно и не нуждается в пояснении. Мармонтель же не терпит недомолвок и подробно разъясняет, что творилось в душе у Лоретты. «Она должна была предстать пред своего отца, которому она изменила, коего оставила, опечалила и посрамила <...> несчастная! куда мне бежать? где скрыться? Честолюбивый мой батюшка меня находит заблудившуюся, впадшую в пороки <...> О мой батюшка! о жестокий судия! Как мне на его глаза показаться? Много раз приходило ей на мысль, чтоб уйти от него и скрыться; но пороки не совсем еще выгнали из ее сердца святейшие натуральные законы» (ч. III, с. 98).

У Пушкина смотритель встречается с дочерью у Минского в его присутствии и ничего не успевает ей сказать. Герой же Мармонтеля, повстречав дочь на улице, требует сообщить ему адрес графа, под вечер является к нему в дом (де-Люзи отсутствует) и творит над Лореттой суд и расправу. Черты «диктатора» (характерна описка Пушкина в черновом плане повести: «дидактор») проявляются и в поведении Вырина. Он считает себя пастырем своей «овечки»; желая ее видеть, проявляет настойчивую решительность, не согласующуюся, на первый взгляд, с приниженностью маленького человека: «Смотритель <...> вошел в залу. „Не лъзя, не лъзя!“ закричала вслед ему служанка <...> Но смотритель, не слушая, шел далее» (VIII, 104); он негодует — на глазах у него «благородные слезы негодования». Это то небольшое, что осталось в его облике от «благородного отца» и «дидактора» сентиментально-бытовой повести. Герой Мармонтеля более традиционен: в речи, обращенной к дочери, он многословно поучает ее и читателя; здесь намечены сюжетные потенции, реализованные в повести Пушкина.

Ротмистр пытается всучить смотрителю деньги; а вот что говорит Базиль: «Лузий! <...> сей честной человек! <...> Сии-то суть добродетели знатных людей. Бесчестной! не думал ли он, когда давал мне свои деньги, что тем платит за мою дочь? Сии богатые и гордые люди почитают честь бедных людей за ничто, и мыслят, будто бы бедность ее уничтожает» (ч. III, с. 100). Действительно, граф пытался дать Базилю деньги еще до похищения его дочери. На обращенные к графу слова колеблющейся Лоретты: «я ничего более не желаю, как жить только для тебя. Но мой батюшка! я его не оставлю! разве не ему мною властвовать?» — он отвечает: «Твой отец, Лауретта! будет наделен именем». Обещание свое граф сдерживает. «Прими, — сказал он ее отцу, давая ему свой кошелек» (ч. III, с. 81, 90). Станционный смотритель не знает, принять ли или не принять деньги. «Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций» (VIII, 103). Так же и Базиль: «Но сколь удивился Василий, нашедши столь великую сумму в кошельке! Пятьдесят луидоров, которые составляли тройной доход его земли <...> — Невозможно, чтоб он хотел все сие отдать мне: поди Лоретта! побегу ты за ним, и покажи ему, что он ошибся» (ч. III, с. 85). В конце концов смотритель «сжал бумажки в комок, бросил их на землю», а Базиль отослал графу пакет с «пятьюдесятью луидорами» (ч. III, с. 116).

В повести Пушкина соблазнитель попросту выгоняет отца своей возлюбленной самым беззастенчивым образом. У Мармонтеля отец лишь предвидит такую возможность: «Ах! пусть он придет; пусть он осмелится меня отсюда выгнать. Я здесь один, безоружен, обременен старостию; но все сие мне не воспрепятствует быть безотступно у твоих ворот и лежать у подворотни, и просить об отмщении у бога и у людей. Когда твой возлюбленный к тебе придет, то должен будет проезжать по моему телу, на что прохожие с омерзением скажут: вот ее отец, которого она ставит за ничто и которого ее любовник ногами попирает» (ч. III, с. 103).

Пушкин одной репликой Минского дает понять, что, вернись Дуня на родную станцию, счастлива с отцом она не будет: «Зачем тебе ее?.. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось» (VIII, 103). Эта сюжетная возможность реализована Мармонтелем. Базиллю удается, втайне от графа, увезти «испугавшуюся и трепещущую», «покорную и униженную» Лоретту в Куланж, и здесь он обращается с ней самым безжалостным образом: «Ты не выйдешь во всю мою жизнь замуж, — говорил он, — я никого не хочу обмануть. Работай и плачь со мною, я теперь только отослал твоему непотребному любовнику все то, что он мне дал. Теперь только остался нам один стыд» (ч. III, с. 101).

Конец повести Мармонтеля, как всегда, счастливый, хотя и не совсем. Лоретта примерно наказана; однако она не безвозвратно погибла: «... когда честь и невинность потеряны, то остается еще неоценимое качество, и оное то — есть добродетель; она никогда не пропадает, а хотя и теряется, но с возвращением» (ч. III, с. 101). Граф отыскивает Лоретту, на коленях спрашивает у ее отца руку дочери, и все завершается законным браком. «Лузиева и Лауреттина любовь увенчана была пред алтарем брачным обрядом. Многие говорили, что граф в сем случае поступил подло, на что и он согласился; но, я думаю, стыдно делать худо, но нет стыда исправлять оное» (ч. III, с. 123). Все, казалось бы, обошлось, вот только отец по-прежнему чувствует себя несчастным, а графа считает подлецом. Базиль отказывается поселиться с молодыми, а детей их забирает к себе на воспитание: «... и Василий еще до своей смерти лобызал внучат своих» (ч. III, с. 124).

У Пушкина эмоциональный фон повествования совсем иной, и развязка — трагическая. Правда, и Дуня, подобно Лоретте, очевидно, выходит замуж за ротмистра и становится «прекрасной» и «славной барыней»; и у Вырина имеются высокородные внучата (у Дуни «трое маленьких барчат с кормилицею»). Вот только «лобзать» их зрителю не доводится, и он возится с деревенскими мальчишками. «Бывало <...> идет из кабака, а мы-то за ним: „Дедушка, дедушка! орешков!“ — а он нас орешками и наделяет» (VIII, 106). Пушкин ненавязчиво, но последовательно усиливает жизненное правдоподобие избранного сюжета.

Исследователей давно смущает в образе Вырина «какая-то неясность».¹⁰² В самом деле, каково место этого «мученика четырнадцатого класса» в ряду любимых героев Пушкина? Сравнение Базиля с Выриным помогает лучше понять натуру последнего, заглянуть в глубины пушкинского замысла, сокрытые от рядового читателя. Вот деталь, на которую не обращалось должного внимания: желая говорить с Минским, зритель «просил доложить» ему, «что старый солдат просит с ним увидеться» (VIII, 103). Базиль тоже старый солдат — эту деталь Мармонтель всячески обыгрывает: «Душа так гордая и благородная в толь низком человеке удивила графа. — Разве ты служил? — спросил он у него. — Служил, государь мой! под командою Бервика, и был в сражениях при Морисе» (ч. III, с. 83). А это значит, что в обоих повестях надменный аристократ обидел не просто «маленького» человека, а ста-

¹⁰² Лежнев А. Проза Пушкина. М., 1966, с. 248.

рого воина, служителя отечеству («комплекс Велизария»). У Вырина и у Базиля — заслуги перед родиной. На Вырине «длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах» (VIII, 642). О своих заслугах говорит графу и Базиль: «Смотри, продолжал он, распахнув свое платье и показывая ему свои раны. — Смотри! какого ты человека обесчестил? Я пролил за государство более крови, нежели ты оной имеешь» (ч. III, с. 122). Итак, налицо сословный конфликт, оттесняющий прочие коллизии на второй план.

Пушкин, назвав свою повесть «Станционный смотритель», подчеркнул, что главное внимание повествователя сосредоточено на Вырине, а не на Дуне.¹⁰³ Она — персонаж «без речей». Образ Дуни узко функционален: она во многом лишь повод для проявления конфликта между богачом-дворянином и мелким чиновником, между баловнем судьбы и подлинным тружеником, служителем отечеству. Поводом для подобного конфликта при иных обстоятельствах могла бы явиться простая ссора: дерзкое слово потерявшего терпение героя и данная в ответ пощечина. Так и происходит в повести Белкина, открывающей весь цикл, — в «Выстреле». Здесь граф, «молодой человек богатой и знатной фамилии», «счастливцев <...> блистательный», самим фактом своего существования приводит в «совершенное отчаяние» гордого и честолюбивого, но стоящего на более низкой общественной ступени Сильвио. Бесплодная борьба героя за поруганную честь завершается его гибелью (правда, романической — в сражении за вольность). Вырину, если бы он был молод и служил в Петербурге, мог бы противостоять не ротмистр Минский, а противник страшнее — «кумир на бронзовом коне». Так и случается в «Медном Всаднике». И там, и в «Станционном смотрителе» конфликт завершается гибелью героя (Евгений сходит с ума, Вырин спивается). Этот конфликт имеет важную для Пушкина историческую подоплеку.

К какому же сословию принадлежит Самсон Вырин? На первый взгляд может показаться, что вопрос этот праздный: о смотрителе в повести сказано ровно столько, сколько необходимо знать читателю. Но для исследователя такой вопрос представляет интерес. Двойник Вырина — поселянин Базиль оказывается дворянином-однодворцем. Он рассказывает: «Отец мой, прежде нежели лишился всего своего имени чрез одно печальное приключение, довольно имел богатства, дабы меня содержать в том чине, в которой я когда был произведен. Но в самое то время, как был я отставлен, он был до конца уже разорен» (ч. III, с. 83). Конечно же, дворянин по происхождению, а не по табели о рангах, и Евгений в «Медном Всаднике». Мармонтель умалчивает о родовом имени Базиля — вероятно, для простого поселянина это слишком громкое имя. Так же поступает и Пушкин в отношении Евгения:

Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало.
Но ныне светом и молвой
Оно забыто.

А ведь Вырин по многим признакам весьма близок этим героям. Его военные и гражданские заслуги забыты,¹⁰⁴ его права попораны, он в конфликте с представителем «новой» аристократии,¹⁰⁵ и в этом отношении он сродни истинным, «древним» дворянам.

¹⁰³ См.: Г и п и у с В. В. Повести Белкина, с. 33.

¹⁰⁴ См. в «Романе в письмах»: «...Отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей» (VIII, 53).

¹⁰⁵ «Аристократию нашу составляет дворянство новое; древнее же пришло в упадок, права уравнины с правами прочих сословий...» (наброски предисловия к «Борису Годунову» — XI, 141).

Правда, в разговоре Вырина ощущается «примесь устного просторечия»; это сказ разночинца, речь «с недворянской социальной окраской». ¹⁰⁶ Но речь и многих очевидных дворян — персонажей в «Повестях Белкина» истинно дворянской не назовешь. Так, подполковник И. Л. П., со слов которого Белкин будто бы записал «Выстрел», «отвыкнув от роскоши в бедном углу своем», ждет графского выхода «с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра», графу же отвечает с «одичалой застенчивостью» («ваше сиятельство» и проч.). Недворянской приниженностью окрашена как непрямая, так и прямая речь Евгения в «Медном Всаднике»:

О чем же думал он? о том...
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливыцы,
Ума недалънего, ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!
«Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно...»

Так выражался бы и Вырин, если б мог говорить стихами, а ведь Евгений, как известно, несомненный, и притом родовитый дворянин, о чем специально сообщает поэт.

От фигуры обездоленного отца в повести Пушкина веет благородством и скромной величавостью библейского патриарха. Недаром с образом Вырина связана тема «блудного сына». Та же тема возникает и в повести Мармонтеля, причем здесь прямо дается понять, кто играет эту роль: граф де-Люзи. Это он, эгоистичный аристократ, попрал законы «натуры». Не юная Лоретта, не ведавшая, что творит, а он, соблазнитель, предававшийся пороку, в ногах у старца вымалывает прощение. И в повести Пушкина блудный сын — отнюдь не Дуня, а ротмистр Минский, погубивший служителя отечеству и отца семейства, тем самым покусившийся на коренные общественные устои. Но это блудный сын «нового типа»: он не раскаивается и не просит прощения. И все же смотритель — достойный антагонист Минского. Мармонтель многократно подчеркивает, что граф боится отца Лоретты: «Твой отец желал бы меня привести в подданство; он бы потребовал от меня невозможного; и если бы я ему в оном отказал, то почел бы он меня оскорбителем твоей чести <...> Ах!.. я его должен больше всех опасаться» (ч. III, с. 78—79, 90). У Пушкина лишь однажды ротмистр выдает свой страх перед смотрителем, но эта сцена весьма выразительна: «Испуганный Минский <...> подошел к нему, дрожа от гнева <...> „Чего тебе надобно?“ сказал он ему, стиснув зубы; „что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать?“...» (VIII, 104).

Пушкин писал в статье «Опровержение на критики»: «В одной газете официально сказано было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве» (XI, 160). «Дворянином во мещанстве» можно было бы назвать и Вырина. Его место — в ряду высоких образов Пушкина.

Еще Белинский отметил, что «Повести Белкина» — «что-то вроде повестей Карамзина». ¹⁰⁷ Указывались текстовые, «почти буквальные» ¹⁰⁸ совпадения между «Бедной Лизой» и «Станционным смотрителем». Между этими произведениями признана и генетическая связь. ¹⁰⁹ С другой

¹⁰⁶ Виноградов В. В. Стиль Пушкина, с. 570.

¹⁰⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 577.

¹⁰⁸ Гиппиус В. В. Повести Белкина, с. 32.

¹⁰⁹ См.: Богомолец В. К. «Бедная Лиза» Карамзина и «Станционный смотритель» Пушкина. — В кн.: Проблемы стиля, метода и направления в изучении и преподавании художественной литературы. М., 1969, с. 103—104.

стороны, известен интерес Карамзина к прозе Мармонтеля.¹¹⁰ Но, очевидно, оба русских писателя в определенной мере ориентировались на «Лоретту» Мармонтеля. Повесть эта многократно перелагалась на русский язык.¹¹¹ Ее хорошо знал Павел Львов, автор «Софии» и «Российской Памелы» — повестей, непосредственно предшествовавших «Бедной Лизе» и имеющих с ней точки соприкосновения. В предисловии к «Российской Памеле» П. Львов писал: «Сим я желаю показать всем предпочитающим чужие государства своему, что в нем есть герои добродетели, достойные почтения и удивления, есть благоразумные однодворцы <...> превосходящие французских Базилев (Базиль — отец Лауретты. Из сказок г. Мармонтеля)». ¹¹² В журнале «Патриот» в статье «Взгляд на повести и сказки» отмечалось «сходство», которое «автор бедной Лизы и Марфы Посадницы имеет <...> с автором Лоретты и Велизария». ¹¹³

По сравнению с Мармонтеlem уже Карамзин сделал шаг вперед. Выработывая новый повествовательный стиль в русской прозе, он упорно стремился в большей степени, чем это делали французские писатели, «сжать свою речь: целые строки, десятки строк выкидывает он без сожаления». ¹¹⁴ Карамзина трудно обвинить в «жеманной напыщенности»; если у прежних романистов включая Мармонтеля, по словам Пушкина (в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»), «награда добродетели и наказание порока были непременно условием всякого их вымысла» (XII, 69), то об авторе «Бедной Лизы» этого не скажешь. Повести Мармонтеля и Карамзина — звенья литературной традиции, увенчавшейся «Станционным смотрителем».

Итак, повесть Пушкина — не просто новые узоры по старой канве, а качественное преобразование этой канвы. Он вдохнул в нее живую душу, наполнил повесть приметам реальной русской жизни, поставил социальные и моральные проблемы российской действительности, создал национальные, исторически обусловленные характеры, и перед новым реалистическим произведением померк старый литературный источник. Вопреки распространенному мнению «Станционный смотритель» создавался не в споре с сентименталистами и романтиками. Пушкин совершил акт литературного воскрешения. На более высокой, чем у них, ступени художественного сознания Пушкин возвратился к тому, от чего отвернулись наиболее «неистовые» романтики, — к сентиментально-просветительскому бытописанию. Он бережно сохранил и усовершенствовал то лучшее, что было в добротной скроенной и крепко сшитой чувствительной повести XVIII столетия. Трудясь над «Повестями Белкина», Пушкин не «преодолевал» современный ему литературный романтизм в вершинных его достижениях. Пушкин лишь предлагал альтернативу романтическому методу, оказавшуюся исторически более перспективной.

¹¹⁰ См.: Сакулин П. Н. Русская литература, ч. II. М., 1929, с. 298; Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1 (XVIII-й век). СПб., 1909, с. 494—498; Булич Н. Н. Биографический очерк Карамзина и развитие его литературной деятельности. — В кн.: Статьи, написанные для произнесения... в столетний юбилей Карамзина. Казань, 1866, с. 75.

¹¹¹ См., например: Удивления достойная деревенская красotka, прекрасная Лауретта. Из сочинений господина Мармонтеля. М., 1774; Сельская добродетель, правоучительная сказка, из сочинений господина Мармонтеля. Перевел вольно с французского языка лейб-гвардии Преображенского полку сержант Павел Бабушкин. М., 1788.

¹¹² Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки. Сочинение П. Львова. СПб., 1789, с. 2. По этому поводу В. В. Сиповский замечает: «Нет никаких оснований думать, что Карамзин в своей „Юлии“ подражал Львову, — вероятнее предположить, что оба русские произведения восходят к общему прототипу — произведениям Мармонтеля» (Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести, ч. I. XVIII век. СПб., 1903, с. 891).

¹¹³ См.: Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести, ч. I, с. 242.

¹¹⁴ Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 195.

*

ОБЗОРЫ

Н. В. ИЗМАЙЛОВ

ПУШКИН В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ¹

За последние десятилетия пушкиноведение (или, как его иногда называют, «наука о Пушкине») прошло большой путь развития и стало, без сомнения, наиболее многосторонне разработанной отраслью филологической науки, или литературоведения. Это объясняется и общим значением в русской и мировой культуре личности и творчества великого поэта, и нашей всенародной любовью к нему, и, конечно, многогранностью и многоаспектностью самого предмета исследования.

Изучение Пушкина идет разными путями, и при этом используются разные методы, от строго научных до самых субъективных или эклектических. Одним из наиболее широких по охватываемому им материалу, глубоких и объективных по приемам анализа и плодотворных по выводам является сравнительно-исторический метод, основоположником которого еще в XIX в. явился Александр Веселовский. Долгое время этот метод мало касался творчества Пушкина, а нередко понимался слишком узко, односторонне, лишь как отыскивание «влиятельных» других литератур, и притом в особенности западноевропейских, на творчество Пушкина.

Среди современных ученых-филологов, работающих в разных областях пушкиноведения, особое место занимает академик Михаил Павлович Алексеев, убежденный и последовательный сторонник сравнительно-исторического метода как наиболее продуктивного метода филологии, применяемого к любому языку любой страны, к любому писателю любой эпохи, в особенности к такому универсальному по охвату своего творчества, как Пушкин. М. П. Алексеев понимает филологию как всеобъемлющую, универсальную науку, самую гуманную, самую человечную из всех наук, изучающую литературу, или словесность, эту высшую форму слова, организованного эстетически и идеологически, — науку, связывающую между собою различные языки и различные народы. В своей беседе с корреспондентом «Недели» (1975, 4—10 августа) Михаил Павлович говорил: «Филология как никакая другая наука служит сближению людей. Она позволяет видеть и ощущать прошлое как сопереживание, как подлинную реальность. В ней можно найти ключ к пониманию человека и его умственной жизни в любую историческую эпоху. Филология — наука наук! Она изучает функции языка, без которого никакая другая наука не могла бы существовать <...> Она определяет физиономию национальной культуры».

В одной из своих работ М. П. Алексеев пишет: «Все отчетливее выясняется, что вполне изолированных друг от друга национальных лите-

¹ В основу статьи положен доклад, прочитанный автором на XXIV Всесоюзной Пушкинской конференции 2 июня 1976 г. и посвященный 80-летию академика М. П. Алексеева.

ратур не существует, что все они взаимосвязаны то общностью своего происхождения, то аналогиями в своей эволюции, то наличием существующих между ними непосредственных отношений и взаимовлияний, то, наконец, двумя или тремя указанными условиями одновременно в их разнообразных возможных сочетаниях».²

Такое понимание сущности и задач филологической науки делает закономерным то множество имен литературных деятелей и явлений разных времен и народов, от греко-римской античности, восточной (библейской) древности и раннего средневековья до современности, которые являются предметами интересов и изучений Михаила Павловича. В круг его постоянных научных интересов входит не только русская литература в ее взаимосвязях с литературой европейской, но также имена и явления английской литературы и, шире, английской культуры (ведь англистика, англоязычные литературы и англо-русские литературные связи — это «узкая» специальность Михаила Павловича). М. П. Алексеев — автор фундаментальных работ, посвященных также исследованию французской, немецкой, итальянской, испанской, португальской (бразильской), польской и других литературы.

Среди многих и многих русских литературных деятелей, начиная с XII в. и до нашей современности, которые привлекали внимание Михаила Павловича, два имени в особенности близки ему и дороги, вызывают у него постоянный и глубокий интерес, являются предметом его горячей и постоянной любви, — это А. С. Пушкин и И. С. Тургенев.

Привязанность ученого к этим двум крупнейшим деятелям русской литературы, и прежде всего к Пушкину, вполне понятна и закономерна: Пушкин всегда привлекал и привлекает Михаила Павловича универсализмом своего творчества, охватившего все стороны, все важнейшие проблемы современности, откликнувшегося не только на вопросы прошлой и настоящей русской жизни («поэтом действительности» он сам назвал себя в одной анонимно напечатанной статье — XI, 104), но и на жизнь разных эпох и разных народов, от древнего Востока до современного ему Запада. Восприняв широчайший круг разнообразных знаний и передовых идей своего времени и переосмыслив их, Пушкин выразил их в художественно совершенных формах.

Пушкин был первым из русских поэтов, творчество которого стало известно и признано в современной ему и позднейшей Европе. Он по праву причислен к тем поэтам мирового значения, среди которых такие имена, как Данте, Шекспир, Гете и еще очень немногие другие.

В раскрытии всех этих сторон творчества Пушкина, в установлении его мирового значения большую роль, во многом новаторскую и основополагающую, сыграли труды академика Алексева.

Первой работой Михаила Павловича, посвященной непосредственно творчеству Пушкина (не считая нескольких рецензий на пушкинские оперные постановки и концерты 1915—1918 гг.), является статья о «Гавриилиаде», напечатанная в 1919 г. в ноябрьском номере киевского журнала «Родная земля» и вызванная первым послереволюционным изданием поэмы, осуществленным в 1918 г. Валерием Брюсовым. В этой небольшой статье Михаил Павлович явился во многом первооткрывателем: поэма, до 1917 г. строго запрещенная царской цензурой и печатавшаяся лишь отрывками, совсем еще не была изучена, не был собран даже материал к ее комментарию, и Михаил Павлович шел здесь по новым, непроторенным путям (что, кстати сказать, являлось и всегда является характерной чертой его научного творчества). Статья осветила ряд вопросов, касающихся «Гавриилиады» — истории ее создания и установле-

² Алексеев М. П. Восприятие иностранных литератур и проблема иноязычия. — В кн.: Труды юбилейной научной сессии «Ленинградского университета». Секция филологических наук. Л., 1946, с. 179.

ния ее текста, «дела» 1828 г. об авторстве Пушкина, наконец, вопроса о литературных источниках пушкинской поэмы, которые молодой ученый видел (с достаточным основанием) в антирелигиозных и эротических поэмах Парни. Таким образом, первая же статья Михаила Павловича, посвященная Пушкину, явилась в сущности небольшой монографией на очень мало освещенную и трудную тему.

Через несколько лет, будучи в Одессе, где он заведовал библиографическим отделом публичной библиотеки, Михаил Павлович выступил вновь как пушкинист, но уже не только как исследователь, но и как инициатор и составитель пушкинских сборников, изданных под его редакцией Пушкинской комиссией при одесском Доме ученых в 1925, 1926 и 1927 гг. Сборники эти имели своей основной задачей освещение одесского периода жизни Пушкина (1823—1824), в котором было тогда много «белых пятен», отчасти заполнявшихся легендами и фантастическими «воспоминаниями» одесских «старожилов». В изучении этого периода было много нерешенных, даже не поставленных еще вопросов.

Новое понимание и освещение одесского периода жизни Пушкина, его связей и настроений, существенно отличающееся от принятых тогда представлений, дает вступительная статья Михаила Павловича к книге «Материалы для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» (1927). Без обращения к данной статье невозможно и теперь изучение этого важного раздела биографии поэта.

В первом же одесском сборнике (1925) напечатана и вторая статья М. П. Алексеева о «Гавриилиаде», посвященная, как отчасти и первая, вопросу об источниках поэмы, которые на этот раз автор, не отказываясь от прежних сопоставлений с поэмами Парни, ищет в раннехристианских апокрифических евангелиях, а также в славянской письменности. Внимательное исследование приводит автора к осторожному выводу, что вопрос об источниках «Гавриилиады» не может считаться окончательно решенным и остается пока открытым. Но этот отрицательный вывод (как всякий вывод из подлинно научного исследования) имел существенное значение для дальнейшего движения науки, и недаром, издавая почти через полвека сборник своих работ о Пушкине с подзаголовком «Сравнительно-исторические исследования» (1972), академик М. П. Алексеев счел необходимым включить в него и обе свои ранние статьи о «Гавриилиаде», перепечатав их без изменений и лишь предпослав им «Введение», посвященное позднему развитию вопроса об источниках поэмы.

Уже в этих ранних статьях проявились основные черты исследовательской работы Михаила Павловича: широкая, всесторонняя эрудиция в предметах исследования, будь они так далеки один от другого, как поэмы Парни и раннехристианские апокрифы; утонченное искусство в анализе материала и в аргументации, строгое и вместе с тем свободное обращение с огромным и сложным материалом.

В те же 1920-е годы в издании трех одесских пушкинских сборников выразился уже в полной мере научно-организаторский талант Михаила Павловича — вдохновителя и руководителя крупных коллективных историко-литературных начинаний. Коллективная организация научных — в данном случае литературоведческих — работ является чертой, характерной для нашего, советского времени. Но подобная организация сложилась далеко не сразу, и М. П. Алексеев показал себя несомненно одним из зачинателей и главных представителей этой новой формы нашей филологической науки.

В последующие годы — 1927—1932 — Михаил Павлович ведет преподавательскую и исследовательскую работу в Иркутском государственном университете. По переезде в 1933 г. в Ленинград его научная, организаторская и преподавательская деятельность связывается с Ленинградским

университетом (а во время Великой Отечественной войны — и с Саратовским), с Пушкинским Домом (Институтом русской литературы АН СССР), вообще с Академией наук, членом-корреспондентом которой он становится в 1946 г. В эти годы появляются многочисленные работы М. П. Алексеева, связанные с его основной специальностью — англистикой, исследованием англо-русских литературных связей (докторская диссертация на эту тему, обнимающая XI—XVII века, защищена им в 1937 г.), а также взаимосвязей других литератур Западной Европы и Америки с русской литературой. Но и в эти годы он находит время для участия в крупнейших пушкинистических изданиях. Так, в 1931 г. он печатает в «Путеводителе по Пушкину», вышедшем в качестве VI тома первого Полного собрания сочинений Пушкина (в издании ГИХЛ), ряд статей, касающихся его основных, излюбленных тем — англо-американской литературы и истории музыки с точки зрения восприятия их Пушкиным и отражений в его творчестве (статьи о Глюке, Вашингтоне Ирвинге, Фениморе Купере, Моцарте, Вильсоне, Сальери).

В 1935 г. Михаил Павлович принял участие в начинавшемся тогда академическом издании Полного собрания сочинений Пушкина. В VII томе издания (единственном, вышедшем с развернутым научным комментарием) он отредактировал трагедию «Моцарт и Сальери», снабдив ее монографическим, всесторонним комментарием-исследованием. В нем он пересмотрел и решительно отвел — как клевету или «сплетню» — широко распространенный рассказ об отравлении Моцарта Сальери (чему, очевидно, верил Пушкин). В комментарии широко проанализированы источники пушкинской трагедии, раскрыто философское содержание, вложенное в нее Пушкиным. В итоге комментарий трагедии перерастает в широкое сравнительно-историческое исследование.

В те же годы, отзываясь на столетие со дня гибели Пушкина (1937), Михаил Павлович напечатал несколько статей, посвященных двум сторонам одной большой темы: отношениям поэта к западным литературам и восприятию творчества Пушкина в западноевропейских литературах и критике.³

С 1951 г. планомерная научно-исследовательская и научно-организаторская деятельность Михаила Павловича в разных сферах пушкиноведения стала особенно интенсивной. В 1951 г. на III Пушкинской конференции он прочитал доклад на тему «Словарные записи Фридриха Энгельса к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“», — доклад, полностью напечатанный в «Трудах» конференции (1953). Эта работа, основанная на подлинной рукописи Ф. Энгельса, хранящейся в Институте Маркса—Энгельса—Ленина, не только содержит тщательную транскрипцию русских слов, выписанных Энгельсом латиницей из пушкинских текстов (из первой главы «Евгения Онегина», из начала предисловия к «Отрывкам из путешествия Онегина», из начала вступления к «Медному всаднику»), вместе с их подстрочными переводами на немецкий язык, но и вырастает в обширное исследование, посвященное словарной работе Энгельса, истории и методу его занятий русским языком, а также вопросам лексики «Евгения Онегина», требующей разъяснения множества слов, оборотов, понятий и намеков, что в свою очередь ставит общий вопрос о методах перевода произведений Пушкина на иностранные языки. Такое богатство материалов и выводов делает работу Михаила Павловича о словарных записях Энгельса исследованием, далеко выхо-

³ Этим проблемам посвящены следующие статьи М. П. Алексеева: «Пушкин и западная литература» (Литературная учеба, 1937, № 1), «Пушкин на Западе» (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 3. М.—Л., 1937), «Пушкин в мировой литературе» (Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина. Труды Пушкинской сессии АН СССР. М., 1938).

дящим по своему значению за пределы его непосредственной темы и крайне важным для каждого исследователя языка Пушкина и для решения вопроса о его переводах на другие языки.

В 1952 г. на IV Пушкинской конференции М. П. Алексеев выступил с докладом, явившимся основой одной из его наиболее новаторских и значительных пушкиноведческих работ: «Пушкин и наука его времени». Тема эта возбудила сначала среди слушателей-пушкинистов некоторое недоумение: можно ли (и нужно ли) говорить об отношении поэта к так называемым точным наукам, тем более к их практическому применению, т. е. к технике его времени, и какое отношение имеет такая тема к художественному творчеству Пушкина? Но напечатанное вскоре в первом томе новой (задуманной и созданной Михаилом Павловичем) серии «Пушкин. Исследования и материалы» (1956) исследование, представляющее обработку доклада «Пушкин и наука его времени», показало всю беспочвенность подобных сомнений и научную правомерность темы. Отметим здесь, что в недавнем своем сборнике «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования» (1972) Михаил Павлович счел необходимым еще раз напечатать свою статью о Пушкине и науке его времени в значительно дополненном и пересмотренном виде. К этой работе мы еще вернемся.

Разумеется, и тогда, в 1950-х годах, и в позднейшие годы пушкиноведение было и остается лишь одной гранью многосторонней научно-литературной и научно-организаторской деятельности Михаила Павловича. Но эта «пушкинская» грань, — пожалуй, одна из важнейших и несомненно из наиболее близких его научному направлению, хотя бы потому, что мировоззрение и творчество Пушкина, как уже говорилось выше, теснейшим и разносторонним образом связаны с мировой культурой, с мировым литературным процессом, с самыми передовыми направлениями своего времени и устремлены далеко вперед, открывая новые пути русской и мировой культуре. Изучению Пушкина в связи с мировой культурой и установлению значения его творчества в мировом литературном процессе Михаил Павлович остается верен в течение всей своей дальнейшей деятельности.⁴

Разнообразна и велика деятельность Михаила Павловича как организатора и руководителя пушкиноведческих начинаний последнего двадцатилетия. Не говоря уже о том, что большая часть всесоюзных пушкинских конференций, начиная с III конференции в 1954 г., устраивались при его деятельном участии и под его руководством, но и организация Пушкинской группы, или Сектора пушкиноведения, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) происходила по его инициативе. После безвременной кончины Б. В. Томашевского (1957) Михаил Павлович принял на себя заведование Пушкинским сектором, несмотря на свою загруженность по многим другим направлениям, в особенности в связи с начатой в 1955 г. подготовкой Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева, обязанного именно ему, М. П. Алексееву, своим замыс-

⁴ Работы, напечатанные в 1937—1938 гг., были названы выше (см. примеч. 3). Из более поздних назовем: «Пушкин и Чосер» (1945 и 1972); «Несколько английских книг библиотеки А. С. Пушкина» (1946); «Пушкин и бразильский поэт «Томаш Антонио Гонзага»» (1947); «Письмо Пушкина к Джорджу Борро» (1949); «Пушкин и мировая литература» (VIII Пушкинская конференция, 1956); «Пушкин и проблема вечного мира» (1958); «Джон Вильсон и его „Город чумы“» (1960); «О мировом значении творчества Пушкина» (1961); «К источникам „Подражаний древним“ Пушкина» (1963); глава о Пушкине в коллективной монографии «Шекспир и русская культура» (1965); «„Евгений Онегин“ на языках мира» (1965); «Новый автограф стихотворения Пушкина „На холмах Грузии“» (1966); «Ремарка Пушкина „Народ безмолвствует“» (1967); «К статье Пушкина „Джон Теннер“» (1969); «К тексту стихотворения „Во глубине сибирских руд“» (1971) и проч. Многие из этих и другие работы вошли в сборник статей М. П. Алексеева «Пушкин» (1972), о котором, так же как о монографии, посвященной стихотворению Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» (1967), будет сказано дальше.

лом, возникновением и осуществлением. В этом издании Михаил Павлович стал главным редактором и нес эти нелегкие функции до окончания работы в 1968 г.

По инициативе же Михаила Павловича в 1958 г. была восстановлена, в обновленном составе, деятельность Пушкинской комиссии Академии наук, не собиравшейся с 1941 г. Первым ее председателем стал академик В. В. Виноградов, которого вскоре сменил избранный (20 июня 1958 г.) академиком М. П. Алексеев. Вот уже почти 20 лет, как он занимает этот почетный и ответственный пост — председателя Пушкинской комиссии Академии наук СССР. Вместе с тем Михаил Павлович — бессменный редактор начатого по его инициативе, ведущегося по его плану и под его руководством издания — «Временника Пушкинской комиссии».

Первый выпуск «Временника», посвященный итогам «пушкинского» 1962 года — 125-летию дуэли и смерти поэта, вышел в 1963 г.; к настоящему времени мы имеем двенадцать выпусков, причем постепенно увеличивается не только их объем, но и (что характерно) их тираж: начавшись с 3600 экземпляров, он достиг теперь 18 тысяч, т. е. вырос в пять раз. И это естественно: кто из занимающихся Пушкиным специалистов или любителей (а число их растет из года в год, охватывая массы читателей!) не знает этих небольших по формату, разноцветных книжечек? Кто не пользовался их богатейшими материалами, в большинстве посвященными конкретным темам — новым автографам Пушкина, новым материалам о нем, биографическим или творческим, выявлению новых источников, изучению истории создания, поэтики отдельных его произведений?

В каждом выпуске «Временника» Михаил Павлович непременно выступает не только как собиратель материалов, составитель и редактор, но и как автор, будь то текстологический экскурс о новом автографе стихотворения «На холмах Грузии...», или исследование об источниках «Подражаний древним», или некролог скончавшегося пушкиниста, советского или зарубежного.

Обратимся теперь к двум крупнейшим пушкиноведческим трудам академика М. П. Алексеева — к его монографии «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг...“», имеющей подзаголовок «Проблемы его изучения» (Л., 1967), и к сборнику его статей, озаглавленному «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования», вышедшему в 1972 г.

Монографическое исследование объемом в 17 печатных листов, посвященное одному стихотворению, состоящему всего из пяти четверостиший, — явление беспримерное. Но книга вышла, и стало очевидно, что подобное исследование не только возможно, но и очень важно, и очень нужно. Однако оно возможно и выполнимо лишь для ученого такого большого масштаба, такой широкой эрудиции и такой остроты исследовательской мысли, каким является Михаил Павлович.

В предисловии к своему труду автор указывает на две его основные линии: «С одной стороны, необходимо разобратся в большом количестве исследований и критических статей, посвященных „Памятнику“ <...> все многочисленные отзывы о стихотворении, накопившиеся более чем за столетие, в течение которого оно подвергалось весьма разнообразным и противоречивым истолкованиям, никогда не являлись предметом специального критического рассмотрения, а в некоторой своей части и донныне плохо известны специалистам-пушкиноведам; в особенности это можно сказать относительно зарубежной литературы о „Памятнике“, в последнее время быстро пополнявшейся. С другой стороны, опубликованные недавно новые архивные данные о жизни Пушкина в 1836 г. в сочетании с итогами изучения разнообразных проблем, которые ставит перед нами это пушкинское стихотворение, позволяют поставить вопрос о происхождении „Памятника“ иначе, чем это делалось до сих пор» (с. 5).

В полном соответствии с этими заданиями первая половина исследования Михаила Павловича (с. 7—104) содержит историю текста стихотво-

рения, его восприятия и отношения к нему в XIX—XX вв.; анализ его истолкований от момента создания до нашего времени, а также истолкование некоторых трудных и спорных выражений в его тексте, таких как «нерукотворный», «Александрийский столп», перечисление народов («языков») «Руси великой» и др.; всесторонний анализ оды Горация, ее переводов и переложений или подражаний ей.

Вторая половина книги начинается с воссоздания той общественно-литературной обстановки, в которой жил Пушкин в последний год своей жизни и которая своеобразно отразилась в стихотворении. Исследователь рассматривает отклики на издание «Современника», появившиеся в «Северной пчеле» и до сих пор не привлекавшие внимания пушкинистов.

На основе тщательного анализа обстоятельств, вызвавших создание стихотворения, и выявления его биографических и творческих корней, Михаил Павлович приходит к совершенно новому определению происхождения пушкинского стихотворения: «Всю первоначальную концепцию „Памятника“, — говорит он, — необходимо искать в его (Пушкина, — Н. И.) лицейском творчестве» (с. 140). Далее автор доказывает, что пушкинское стихотворение нужно понимать так же, как понимал Гораций свое «Eхegi monumentum», — в смысле надписи к надгробному монументу, а это в свою очередь приводит к истолкованию до сих пор бывшего загадочным прозаического наброска, озаглавленного «Prologue» и считавшегося «планом ненаписанного стихотворения» («Я посетил твою могилу...» и т. д. — III, 477, 1295). Развивая наблюдение мюнхенского литературоведа Кейля, М. П. Алексеев приходит к выводу, что речь идет о могиле Дельвига на Волковом кладбище, которую посетил Пушкин незадолго до создания «Памятника».

Приведа множество данных, доказывающих, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг...» тесно связано с очень давними, лицейского времени поэтическими исканиями, в частности с влиянием Дельвига, а через него с Державиным, Михаил Павлович показывает, что воспоминания о Дельвиге, который первым признал в молодом Пушкине преемника умершего в 1816 г. Державина, постоянно присутствуют в творческом сознании Пушкина и после смерти любимого друга связываются с мыслями о неизбежной собственной смерти; эти мысли усугублялись тяжелым настроением, охватившим Пушкина летом 1836 г. Исследователь приходит к строго обоснованному выводу, что «Памятник» Пушкина — это своего рода надгробная надпись на будущем монументе поэта, подводящая итог его творческой деятельности и вместе с тем связанная с лицейским творчеством и с памятью о Дельвиге.

Необычайно богатое по материалам разного рода, охватывающим всю творческую жизнь Пушкина, всю его поэзию, в теснейшей связи с предшествовавшей и современной ему русской и мировой поэзией, исследование Михаила Павловича представляет блестящий образец монографии, посвященной одному, но одному из важнейших и сложнейших произведений русской и мировой поэзии.

Обратимся к сборнику статей академика М. П. Алексеева «Пушкин», посвященному очень точный подзаголовок «Сравнительно-исторические исследования». Книга, вышедшая из печати в 1972 г., представляет собой одно из наиболее значительных явлений пушкиноведения (и, шире, литературоведения вообще) последнего времени.

Собранные в одной книге труды большого ученого, напечатанные в прошлые годы в разных, порою редких и трудно доступных изданиях, — труды, объединенные одной общей темой (какой в данном случае является творчество Пушкина) и одним общим методом (каким является сравнительно-историческое изучение), представляют собой всегда значительное явление в поступательном движении науки, тем более если каждая входящая в сборник работа тщательно пересмотрена, дополнена в соответ-

ствии с новыми данными, а иногда и коренным образом переработана. Все сказанное в первую очередь относится к сборнику статей о Пушкине академика М. П. Алексеева — одного из крупнейших ученых современности в области филологических наук, владеющего, как никто, материалами своей дисциплины, как источниками, так и исследовательской литературой на многих языках, вплоть до самых последних трудов зарубежных ученых в разных областях сравнительно-исторического литературоведения.

Характерной чертой исследований М. П. Алексеева является то, что они всегда шире поставленной в заголовке частной темы, и там, где, казалось бы, материал исчерпан и исследование закончено, автор открывает перед читателями новые его аспекты, новые проникновения, сопоставления и истолкования. С этим связана и другая характерная черта: для Михаила Павловича нет мелких и незначительных тем, по крайней мере в том, что касается личности и творчества Пушкина.

Напомним, как сам академик в предисловии к сборнику определяет пути изучения Пушкина: «Творчество великого русского поэта следует изучать на фоне и в тесной связи с историей мировой культуры, потому что и сам он представляет собою явление широкого исторического значения, переросшее национальные и языковые границы. Всеобъемлющий и необыкновенный по своему масштабу и универсальности гений Пушкина может быть понят только после многих и длительных усилий, которые мы должны затратить на то, чтобы сопоставить его творчество с различными и разновременными явлениями в мировой литературе» (с. 3).

Сборник открывается обширным исследованием на тему «Пушкин и наука его времени». Тема эта (как уже сообщалось выше) была впервые кратко изложена в докладе на IV Пушкинской конференции (1952 г.), г. е. за 20 лет до издания сборника. И все эти годы Михаил Павлович неутомимо дополнял и совершенствовал свою работу, никогда не считая ее законченной. Отношения Пушкина к науке (и технике) его времени никем до этого не затрагивались. Тема эта даже не мыслилась возможной и, конечно, никем, кроме Михаила Павловича, не могла быть разработана с такой полнотой, так широко и всесторонне, с привлечением такого множества материалов, русских и иностранных, часто для нас неожиданных, неизвестных и не связывавшихся с мировоззрением и творчеством Пушкина.

Благодаря разысканиям М. П. Алексеева мы знаем теперь, что интерес к состоянию и прогрессу точных (естественных) наук, к их философским основам и общим принципам, к их применению в технике и в быту прошел через всю жизнь Пушкина и самым различным образом выразился в его творческой деятельности. Тем самым исследование Михаила Павловича заполняет большой пробел в наших представлениях об умственных интересах Пушкина, уясняет многое, до сих пор неясное, недооцененное или незамеченное в его художественном творчестве. Из множества отдельных тем, которые объединяются в исследовании (носившем в первом издании, 1956 г., подзаголовок «Разыскания и этюды»), хочется отметить следующие: раскрытие философского смысла эпиграммы «Движение» (с. 48—65); общение Пушкина с одним из замечательнейших русских людей своего времени, разносторонним ученым, путешественником и изобретателем П. Л. Шиллингом, что, по-видимому, нашло отражение в образе Бертольда в «Сценах из рыцарских времен» (с. 65—95); интересные соображения, раскрывающие образ Германна в «Пиковой даме» как военного инженера, что объясняет многое в его поведении (неверно понятом прежними комментаторами), тонкий анализ отражений его технических познаний и интересов в ряде сцен повести (с. 95—110). Исследователь отмечает интерес Пушкина к таким проявлениям современного технического прогресса, как пароходы и железные дороги, причем всем известные строфы в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа

XXXIII — «...Лет чрез пятьсот...» и т. д.) находят новое и точное истолкование (с. 115—130); также по-новому рассматривается ряд вопросов, касающихся отражений современной Пушкину техники в быту (с. 130—158). Словом, в этой замечательной работе Михаила Павловича почти каждая страница представляет новое открытие, новую точку зрения, новое понимание воззрений Пушкина и многих его произведений.

Особый интерес представляет в книге и статья «Пушкин и проблема вечного мира». Отправляясь от черновой заметки Пушкина (XI, 189—190), набросанной в 1821 г. по поводу кишиневских споров, происходивших в кругу М. Ф. Орлова, о проектах вечного мира между государствами, начиная с сочинений аббата Сен-Пьера и его издателя и критика Руссо, Михаил Павлович дает широкий обзор и интересный анализ многочисленных подобных проектов, возникавших в конце XVIII—начале XIX в., споров вокруг них, отношений к ним в декабристских кругах и самого Пушкина. Убедительны и текстологические элементы статьи — расшифровка кишиневской записи Пушкина, в частности анализ воззрений Жозефа де Местра, впервые сопоставленных здесь с «Медным всадником» (с. 203—207). Для определения философско-политических воззрений Пушкина в 1817—1822 гг., в период после окончания Лицея и южной ссылки, статья Михаила Павловича имеет исключительное значение.

То же можно сказать о статье, посвященной ремарке Пушкина, заканчивающей «Бориса Годунова» — «Народ безмолвствует» (с. 208—239). К истолкованию ее Михаил Павлович привлекает новый круг источников — труды о Французской революции, хорошо известные Пушкину в период создания его трагедии и позднее. Здесь поэт нашел слова, произнесенные Мирабо 15 июля 1789 г., на другой день после взятия народом Бастилии, в Учредительном собрании, когда стало известно, что король направляется в собрание: «Пусть мрачное молчание прежде всего встретит монарха... Молчание народа — урок королям». Дополняя эти сведения, Михаил Павлович отмечает, что подобная мысль была уже высказана до Мирабо, в 1774 г., на похоронах Людовика XV, епископом Бове: «Народ, конечно, не имеет права роптать, но у него есть право молчать, и его молчание — урок для королей».

Мы не имеем возможности подробно говорить о каждой из статей, входящих в сборник. Но о них можно повторить то же, что было сказано о некоторых: каждая из них освещает какой-либо малоизученный, спорный или вовсе неизвестный науке вопрос в творчестве и мировоззрении Пушкина. Иные темы могут показаться малозначительными, как например «Запись Пушкина о „Трагедии, составленной из азбуки французской“» (с. 401—410), но каждая под пером Михаила Павловича приобретает широкое и глубокое значение, дает подчас неожиданное истолкование, поражающее читателя обилием и разносторонностью привлеченных источников, материалов и сопоставлений.

Не все вопросы, затронутые в сборнике, получают вполне законченный и определенный ответ. Таков, например, вопрос об источниках «Гавриилиады», занимавший Михаила Павловича еще в самом начале его пушкиноведческих трудов. Статья 1919 г., как указывалось выше, и статья 1925 г. перепечатаны без изменений, как своего рода исторический документ, в книге 1972 г., но с предисловием, показывающим движение науки за 50 лет и необходимость новых поисков. Как здесь, так и в других случаях разыскания Михаила Павловича, даже если проблема и не решена окончательно, всегда открывают новые возможности, намечают новые пути для ее разрешения.

Лучшим показателем большого международного значения научно-исследовательской и научно-организационной деятельности академика М. П. Алексеева является его авторитет в научном мире — не только советском и других социалистических стран, но и в научных организациях многих других народов. Михаил Павлович является председателем Пуш-

жинской комиссии при Отделении литературы и языка (ОЛЯ) Академии наук, заведующим Сектором международных взаимосвязей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, председателем Советского комитета славистов и вице-президентом Международного комитета славистов, почетным доктором ряда старейших и знаменитейших университетов Европы — Ростокского (ГДР), Оксфордского, Парижского (т. е. древней Сорбонны), Бордоского, Будапештского, Познанского, иностранным членом Сербской Академии наук и Британской Академии, почетным членом Американской ассоциации современных языков и проч.

Все перечисленные звания — не только почетные отличия: они свидетельствуют о том признании, которое приобрели труды М. П. Алексева и его разнообразная научно-организационная деятельность.⁵ Это относится не только к пушкиноведению, но и к другим областям филологической науки, в которых работал и работает ученый; достаточно напомнить здесь его исследования творчества Тургенева, Шекспира, Данте, Метьюрина, об англо-русских культурных связях с XI в. до современности и проч.

Сравнительно-исторический метод исследования культур разных времен и народов является несомненно важным элементом сближения разных народов, и в этом процессе труды М. П. Алексева занимают достойное место.

⁵ См.: Михаил Павлович Алексеев. Материалы к библиографии ученых СССР. Серия литературы и языка, вып. 9. М., 1972, с. 18.





СООБЩЕНИЯ

А. В. АРХИПОВА

ОТЗВУКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛЕМИКИ 1810-х ГОДОВ В ПИСЬМАХ Г. А. ГЛИНКИ К В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

Публикуемые два письма Григория Александровича Глинка к Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру¹ не только дают богатый материал для характеристики будущего поэта-декабриста в лицейский период, но и содержат дополнительные сведения об обстановке в Царскосельском Лицее вообще.

Григорий Александрович Глинка (1776—1818), муж старшей сестры В. К. Кюхельбекера — Юстины Карловны (1789—1871), ученый филолог, был профессором русской словесности в Дерптском университете (1803—1810), затем одним из воспитателей великих князей Николая и Михаила. Публикуемые два письма его к лицеисту Кюхельбекеру вместе с более ранним письмом от 23 ноября 1812 г.² дают прекрасное представление о характере их взаимоотношений. Г. А. Глинка неизменно играл роль наставника и руководителя своего юного шурина и в вопросах, касающихся русской словесности, более всего занимавших будущего поэта, и в вопросах морали. Однако Кюхельбекер развивался самостоятельно и не во всем следовал указаниям своего старшего родственника. Письмо от 10 июня 1814 г. посвящено в основном очень актуальному тогда вопросу о возможности существования русского гекзаметра. Лицейст Кюхельбекер, как это видно из письма, включился в развернувшуюся в 1813—1815 гг. полемику о гекзаметре, вызванную переводом «Илиады» Гнедича. Кюхельбекер, делая свои первые шаги на поприще русской литературы (упоминаемая Г. А. Глинкой ода его на взятие Парижа до нас не дошла), очень внимательно прислушивался ко всем предложениям литературных новаторов. Из письма Глинка видно, что уже в 1814 г. Кюхельбекер начал изучать греческий язык, сопоставлять русские и античные стихотворные размеры и сделал вывод о возможности употребления античных размеров в русском стихосложении. Хотя Глинка придерживался другого мнения, ему не удалось склонить на свою сторону Кюхельбекера, который, как известно, стал вскоре одним из активных пропагандистов русского гекзаметра, как в художественном творчестве, так и в критических статьях.

Литературные увлечения Кюхельбекера-лицеиста отличались оригинальностью, и, по мнению Ю. Н. Тынянова,³ в лицейской среде Кюхельбекер стоял особняком. Однако мы можем говорить и об определенном влиянии будущего поэта-декабриста на своих товарищей, в том числе

¹ ЦГАЛИ, ф. 256, оп. 2, № 10.

² Опубликовано, см.: Литературное наследство, т. 59. М., 1954, с. 481.

³ См. Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер. — В кн.: Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы, т. I. Л., 1939 с. IX—X (Б-ка поэта. Большая серия), с. IX—X.

и Пушкина, в литературном отношении. Те познания в немецкой литературе, с которыми он пришел в Лицей, отличались от соответствующей подготовки Пушкина и других лицейских поэтов, воспитанных преимущественно на образцах французской литературы. Пушкин позднее в статье о Дельвиге отметил эту роль Кюхельбекера, «хорошо знавшего немецкий язык», делившегося своими познаниями с товарищами-лицейцами, и назвал его «живым лексиконом и вдохновенным комментариом» (XI, 518 и 273).

Кюхельбекер не только декламировал Клопштока и Шиллера, не только вдохновенно комментировал их. Он, видимо, усвоил уже и предромантическое отношение к античности, идущее от Винкельмана и Гердера; отсюда и занятия греческим языком, и попытка создать русский гекзаметр. Кюхельбекер был первым лицейским поэтом, практиковавшимся в этом размере. Подобные, весьма многочисленные опыты в гекзаметрах Дельвига и Пушкина, возможно, возникали отчасти не без его первоначального влияния.

Письмо Г. А. Глинки — еще одно подтверждение того, что все литературные занятия Кюхельбекера отличались серьезностью и основательностью, а там, где дело касалось его убеждений, он проявлял неизменное упорство и уверенность в своей правоте. Таким он был уже в Лицее, таким оставался всю жизнь (это не значит, разумеется, что взгляды его не подвергались изменениям).

Второе из публикуемых писем Г. А. Глинки дает нам представление о характере будущего поэта-декабриста, о его мечтательности, замкнутости, высоких моральных устоях, нетерпимости по отношению ко всему, что не соответствовало его представлениям об идеале.

Оно показывает также, что Кюхельбекер был в Лицее долгое время одинок, и, может быть, содержит некоторые коррективы к тому традиционно сложившемуся идиллическому образу Лицея и лицейской жизни, который был создан первоначально Е. А. Энгельгардтом и затем развит в трудах Я. К. Грота, Д. Кубеко и других историков Лицея.

Вместе с тем следует сказать, что одиночество Кюхельбекера было, по-видимому, временным. К 1817 г., последнему году пребывания в Лицее, относится ряд его стихотворений, обращенных к товарищам-соученикам, стихотворений, отличающихся теплотой и прочувствованностью тона. С этого времени сохранил Кюхельбекер благодарные воспоминания о лицейских товарищах и до конца дней своих оставался верным культу лицейской дружбы, связывающей всех выпускников этого учебного заведения.

Упомянутый Глинкой «первый том» сочинения «любимого <...> философа и прямого знатока людей» — это, по всей вероятности, не что иное, как сочинение швейцарского философа Вейса «Принципы философии, политики и морали», которое оказало большое влияние на Кюхельбекера, а через него и на его товарищей и послужило основой знаменитого лицейского «Словаря».⁴

1

<10 июня 1814 г.>

Любезный Вильгельм Карлович!

Я с удовольствием читал оду твою на занятие Россиянами Парижа и мысли твои о некоторых предметах, до рос<ийской> словесности касающихся. Ода потому особенно мне понравилась, что вижу сделанные тобою в русском языке значительные успехи; произнести же о ней суд

⁴ Вопрос о словаре исследован Ю. Н. Тыняновым, см.: Литературное наследство, т. 16—18. М., 1934, с. 332—338. См. также: Мейлах Б. С. «Словарь» В. К. Кюхельбекера (история замысла, идеи, структура). — В кн.: Декабристы и русская культура. Л., 1976, с. 185—204.

потому не могу, что матушка твоя взяла ее у меня на время и еще не возвратила мне ее. Что ж принадлежит до содержащихся в письме твоём «мыслей» о близком свойстве русского языка к древнегреческому, о греческом экзаметре и проч., то мне кажется, что суждения твои о сих материях не совсем основательны; самые же ошибки твои приписываю или поверхностному твоему о них сведению, или пристрастию, со стороны в тебя вложенному. — Правда, что свойство русского языка ближе к греческому, нежели многие другие европейские языки, поелику он язык *самобытный* и как таковой пользуется большею частью его выгод; а сверх того нашему языку данническое наречие славянское образовалось совершенно по нем. Но чтоб русский язык по духу своему более, например, немецкого сближался с древним греческим, этого, кажется, ты ничем доказать не в силах.

Ввести греческий экзаметр в стихосложение российское, несмотря на усилия многих из наших стихотворцев, есть покушение бесплодное, по неспособности языка нашего к стихосложению метрическому (основанием своим имеющему стопы); стопа же, как тебе конечно известно, есть мера в один или несколько тактов; а самый такт есть время, в которое более или менее протяженным образом произносим долгие или краткие слоги. Из сих-то тактов и полутактов, взятых в известном порядке и количестве, образуются стопы греческие.

Шестистопный экзаметр (как известно, из дактилей и спондеев состоящий) почитается совершеннейшею из всех форм поэзии, соединяя в себе разнообразие и единство в высшей степени; ибо сей героических поэм размер греческий способен к 32-м разным изменениям в порядке и количестве слогов, не выходя из меры музыкальных времен или темпов, коих имеет всегда шесть, слогов же от 12-ти до 18-ти.

Немецкий язык, имея просодию, отчасти сходную с греческою, может удачно подражать греческим размерам.

Язык сей имеет по два и даже по три ударения в одном и том же слове, как например *«нрзб»* *edlër, vielgëliebt*; следовательно, в нем имеются чистые спондеи; и он приемлет троякий переход по лестнице тонов: высокий, средний и низкий. У немцев есть в самой вещи долгие или протяженные и короткие слоги, как например *Liëd, Söhn*.

А в нашем русском языке, сколько бы слово ни было многосложно, в нем одно лишь ударение находится, иными словами: один лишь слог повышается голосом, а прочие все произносятся с равным понижением: *Прййяв он лйрү блågдäтнү*. — Я не говорю о декламации важной прозы или стихов, где словам произвольное дают протяжение для выразительности, живописности или иной какой причины.

Спондеи также всегда будут нам чужды. Когда два или несколько ударений случатся сряду, как например: *Сë ёсть твöй цäрь...*, тогда слова не столько в речении значительные скрадываются, то есть они произносятся с понижением голоса: *сë ёсть твöй цäрь...*

Но оставляя не свойственный нам экзаметр греческий, мы хорошо поступим, когда присвоим, хотя и не обработанный, но зато более согласный с механизмом языка нашего склад стихов русских народных песен.

Между тем я воспользуюсь сим случаем, чтоб засвидетельствовать тебе родственническую любовь и преданность, которые навсегда к тебе сохраняются.

Друг твой и брат

Григорий Глинка.

Июня 10-го числа, 1814.

Павловск

«5 апреля 1815 г.»

Любезный братец Вильгельм Карлович!

Умея ценить доверенность твою ко мне, я охотнейше быть готов поверенным твоего сердца, и с удовольствием принимаю на себя обязанность руководствовать рассудок твой и чувства. Там, где, как я думаю, они устраниются от настоящего пути и делают тебя мечтателем. Большая против твоего опыта моя и выгодное обо мне собственное твое мнение дают мне на то неоспоримое право.

Я не намерен порицать жаркую твою приверженность ко всему доброму и изящному и сильное негодование против видимых тобою несправедливостей, гнусного порока, возмутительного соблазна и проч. К такому моральному злу в твоих особенно летах позволено питать чувство ненависти; но ведя открытую войну с людскими слабостями, напрасно ожесточаться против самих людей или составлять насчет их слишком мрачные понятия. Мы все предназначены для жизни общежительной, где на каждом шагу встречаем людей слабых, безрассудных и которые живут очертя голову. Ненавидеть их — это бы значило приобщить несправедливость к бесчеловечию и напрасно себя тревожить без всякой для других пользы. Убегать их то же, что лишать себя добровольно выгод общежития, которое при всех своих недостатках представляет нам тысячу приятств. — Ты на 18<-м> году сделался Гераклитом в малом мире своем больше потому, что на все вещи смотришь из особенной точки зрения и всему видимому даешь кривые толки. Ты жалуешься, что в Лицее не нашел ниже одного воспитанника, достойного дружбы твоей, и что видишь в нем дурные навыки и распутство, коим пособить не можешь. Я жалею вместе с тобою о твоих неудачах. Только я таких мыслей, что беспорядками училища вашего ты можешь занимать себя слегка и мимоходом, не участвуя в них нимало и не имея никаких средств их уничтожить, а все внимание и попечение свое долженствуешь обратить к преподаваемым в Лицее учебным предметам, на тот конец, чтоб со временем сделаться совершенно способным к отправлению преднамеряемого тобою звания и чтобы получить там навык и охоту к занятиям ума. Ты напрасно также надеешься найти друзей между ветренниками твоих лет, не созревши покамест и сам для чувства дружбы. Вообще, милый друг, старайся воспользоваться золотою порою молодости твоей, занимаясь исключительно и единственно науками, в которых благо жизни нашей; не упускай притом из виду будущего своего назначения в обществе и соделай себя достойным его; не плачь обо всем и во всякое время; плаксивое лицо, точно как и слишком грустное расположение духа, нимало не сестрится с юношеским возрастом. Приобыкши на все вещи смотреть с худой стороны, ты поневоле будешь несчастлив; верь также мне, что мы во всех почти случаях жизни сами бываем орудием собственного нашего счастья или злоключения.

Первый том обещанной тебе книги при сем препровождаю; прочти>и ее со вниманием и больше одного раза и потом произн>еси твой суд насчет любимого философа и прямого знатока людей.

С искренним дружелюбием пребываю навсегда

брат твой и друг

Григорий Глинка.

Апреля 5-го дня 1815.

С. П. б.



*

И. Л. ЛЕВКОВИЧ

**ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
В ПИСЬМАХ А. Е. ИЗМАЙЛОВА К П. Л. ЯКОВЛЕВУ**

В Институте русской литературы хранятся 95 писем известного баснописца и журналиста, издателя журнала «Благонамеренный» (1818—1826) Александра Ефимовича Измайлова (1779—1831) к его двоюродному племяннику, второстепенному литератору, фельетонисту и очеркисту Павлу Лукьяновичу Яковлеву (1796—1835) (ИРЛИ, 14163. LXXVIIIб.7). П. Л. Яковлев — родной брат лицейского друга Пушкина М. Л. Яковлева. В 1817—1820 гг. он был близок к кругу лицейских друзей брата. С А. А. Дельвигом и В. К. Кюхельбекером он постоянно встречался в известном салоне С. Д. Пономаревой, а в мае 1820 г. он вместе с Дельвигом провозжал до Царского Села уезжавшего в ссылку Пушкина. Но вольнолюбие и литературные искания Пушкина и его друзей уже тогда были чужды П. Л. Яковлеву. Его литературным единомышленником был А. Е. Измайлов, и П. Л. Яковлев ревностно сотрудничал в «Благонамеренном».

Начиная с 1820 г. служебные дела постоянно отлучают Яковлева из Петербурга: в 1820 г. он на год уезжает в Бухару в качестве секретаря Секретной российской миссии, в 1822 г. снова на год переезжает в Нижний Новгород, а с осени 1824 г. служит то в Москве, то в Вятке ревизором Межевой конторы.¹ С 1820 г. и начинается его интенсивная переписка с А. Е. Измайловым, которая продолжается вплоть до смерти последнего в 1831 г. Из этой переписки известны только письма Измайлова. Они были разысканы М. К. Азадовским в 1916 г. в Тверской губернии и начиная с 1920-х годов привлекают внимание исследователей. Большие выдержки из них, относящиеся к декабристскому восстанию, опубликовал в 1926 г. Азадовский, затем публиковались некоторые отрывки, содержащие упоминания о Дельвиге, Рылееве, Кюхельбекере и Пушкине.² Ни одна из этих персональных публикаций не была исчерпывающей (так,

¹ См.: Медведева И. Н. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом. — В кн.: Звенья, кн. VI. М.—Л., 1936, с. 101—133.

² См.: Азадовский М. К. 14 декабря в письмах А. Е. Измайлова. — В кн.: Памяти декабристов. Сб. материалов, кн. I. Л., 1926, с. 238—248; Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Ред. и примеч. Б. В. Томашевского. Л., 1934, с. 46 и др. (далее: Дельвиг); Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934, с. 394 (далее: Рылеев); Воспоминания Бестужевых. Л., 1951, с. 697—698; Пушкин в неизданной переписке современников. — В кн.: Литературное наследство (далее: ЛН), т. 58. М., 1952, с. 35, 47—48, 50, 52; Константинов М. К. Литературная деятельность Кюхельбекера накануне 14 декабря. (По неизданным письмам А. Е. Измайлова). — ЛН, т. 59. М., 1954, с. 531—540.

например, из 16 упоминаний о Пушкине было напечатано только 4). Кроме того, выборочные публикации оставляли за пределами внимания широкий круг тем и вопросов, которые затрагивает Измайлов.

Письма полны отзвуків литературной и общественной жизни пушкинской поры и в то же время ближайшим образом связаны с литературным творчеством Измайлова. Его излюбленные жанры — басня и стихотворная сказка — легко включали бытовую сценку, ситуацию. Вкус к анекдоту — отличительная особенность его писем. Он ловит литературные сплетни, острые слова, забавные житейские ситуации, записывает их в «ежедневный журнал» и пересылает племяннику. Существенные стороны литературной жизни эпохи фиксируются и передаются им часто через анекдот.

Политическая позиция Измайлова вполне соответствует декларативному названию его журнала, но и благонамеренных литераторов затронуло общественное брожение преддекабристских лет. Петербург жадно питался слухами об Аракчееве, Фотии, Магницком. В письма Измайлова проникают вольнодумные суждения, они расширяют наши знания «вольной» рукописной литературы, яснее прочерчивают фон, на котором возникли и распространялись политические эпиграммы Пушкина. «Пакостные» картинки на Фотия и графиню Орлову, которые ходят по Петербургу в 1824 г., повторяют сюжет пушкинской эпиграммы «Внимай, что я тебе вещаю». Мы видим, что эпиграммы на Фотия и Голицына, написанные перед высылкой поэта, сохраняют свою действенность и продолжают обращаться в литературном быту, а лицейская эпиграмма «Угрюмых тройка есть певцов» воспринимается Измайловым в 1826 г. как актуальная литературная новинка.

Литературные взгляды Измайлова эклектичны. Баснописец и бытописатель, он не приемлет «новейших» романтических течений, выступая и против «простонародности» Катенина, и против псалмической поэзии Ф. Глинки, и против элегической поэзии («баратынщины»). На страницах «Благонамеренного» он высмеивает «баловней-поэтов» — Баратынского, Дельвига, Кюхельбекера, но в то же время в письмах к племяннику высоко оценивает альманахи «Мнемозина», «Полярная звезда», «Северные цветы», где романтическая поэзия представлена во всем ее разнообразии. Он приветствует новые произведения Пушкина и в момент острой полемики вокруг «Руслана и Людмилы» выступает в защиту поэмы. Он член «Общества соревнователей» и одновременно иронически называет его обществом «соровущих». Эпитет метко (и зло) определяет атмосферу борьбы и споров в обществе, но сам Измайлов не вдается в существо этих споров. Мимо него проходит также политическая направленность альманаха «Полярная звезда», и прозвище «завиращка», которое он дает А. А. Бестужеву, до 14 декабря связано главным образом с пренебрежительными отзывами последнего о «Благонамеренном» на страницах «Полярной звезды».³

Декабристское восстание встречено Измайловым с неподдельным возмущением. Литературная полемика писателей-декабристов теперь четко осознается им как проявление их политической позиции. Он негодует на литераторов, принявших участие в восстании (А. Бестужева, Рылеева, Кюхельбекера, Корниловича), и называет их «головорезами» из новейшей школы словесности и «предводителями мятежников». Действия Николая I вызывают его восхищение, но при этом он не теряет независимости в суждениях. В этом смысле примечательно его описание церемонии отпевания Александра I: выдвижение на первый план забавных, анекдотических сцен придает всему описанию иронический характер.

Измайлов сообщает интересные данные, касающиеся цензурной практики первой половины 20-х годов. Письма о наводнении 1824 г. в сопоставлении с цензурными их вариантами в «Благонамеренном» пока-

³ Полярная звезда на 1824 г., СПб., 1823, с. 10.

зывают, насколько запретной была эта тема для печати. В письмах освещается состояние русской журналистики начала 20-х годов, раскрываются отношения литераторов с издателями и книгопродавцами, приводятся сведения о доходах журналов и «альманашиков». В 1831 г. в проекте докладной записки к Бенкендорфу Пушкин писал: «10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности» (XIV, 252—253). Письма Измайлова фиксируют такие моменты процесса становления литературы «отраслью промышленности», как конкуренция, борьба за подписчика, новые требования к содержанию журналов.

«Благонамеренный» с момента своего возникновения был органом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В начале 20-х годов Общество теряет свое значение и постепенно свертывает свою деятельность (этот момент отмечен в письмах). Прогрессивная и наиболее активная часть литературной молодежи решительно переносит свою деятельность в Вольное общество любителей российской словесности⁴ и перестает сотрудничать в «Благонамеренном». Измайлов пытается предпринять шаги, чтобы сохранить и перестроить свой журнал, приспособить его к требованиям времени. Он несомненно обладает чутьем журналиста, с восхищением пишет о «Revue Encyclopédique» — журнале, который Пушкин впоследствии принял за образец для «Современника», высоко оценивает «Московский телеграф» — журнал нового типа. Он стремится оживить «Благонамеренного» полемикой («перебранкой»). С 1825 г. в журнале появляется раздел «Дело от безделья, или Критические замечания на современные журналы». Он чутко улавливает интерес публики к оригинальной русской прозе, перенимает «старую штуку» Греча «растягивать занимательные статьи на несколько номеров». В 1824 г. он пытается привлечь к сотрудничеству Кюхельбекера — писателя, стоящего на иных, чем он сам, политических и литературных позициях. Улавливая новые тенденции журналистской практики, он все же не решается стать на путь литературного профессионализма. В условиях становления журналистики как «отрасли промышленности» его журнал остается предприятием «домашним».⁵ Письма к «любезнейшему племяннику» наполнены жалобами на безденежье и просьбами «поддержать дядю». Как только дочь Измайлова заканчивает Смольный институт, она становится сотрудницей журнала, ей поручаются переводы французских статей. Затеяв издание альманаха, Измайлов обращается к своему родственнику-граверу, который может сделать картинки бесплатно. Таким образом, главным для него как журналиста является минимум затрат на издание. Это способствует постепенному умиранию журнала.

Особенно часто появляются в письмах имена Булгарина и Греча. Они — журнальные конкуренты и конкуренты профессионально сильные. Полемика с ними в печати сопровождается полусерьезной-полушутливой перебранкой в быту. Отношение Измайлова к Булгарину двойственное. Он уважительно относится к предприимчивости и журналистскому таланту Булгарина и часто повторяет (с иронией, но не без гордости), что Булгарин называет его «папилькой» на литературном поприще. Одновременно письма подают Булгарина как фигуру комическую. Это подтверждает слова Михаила Бестужева, что в начале 20-х годов Булгарин был для литераторов «балаганным шутком», «привлекавшим людей в свою комедь кривляниями и площадными прибаутками».⁶ Такими «прибаутками» наполнены письма Измайлова. Здесь комически обыгрываются те же моменты биографии Булгарина (три отечества, служба во французской

⁴ См.: Базанов В. Г. Ученая республика. М.—Л., 1964, с. 11.

⁵ См.: Эйхенбаум В. М. Литература и писатель. — Звезда, 1927, № 5, с. 124.

⁶ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 262.

армии, рассказы о воинских подвигах), которые потом будут использованы в известных памфлетах Пушкина, но в первой половине 20-х годов они передаются беззлобно, в качестве забавного анекдота, используются в устных пикировках и почти не проникают в печать. После 14 декабря, при наступившем резком размежевании общественных сил, анекдотические эпизоды биографии Булгарина у литераторов пушкинского круга наполняются обличительным общественным пафосом.

Настоящая публикация охватывает только петербургский период жизни Измайлова. В ноябре 1826 г. он получает место вице-губернатора в Твери и покидает столицу.

Из его писем выбрано, за некоторыми исключениями, все, что относится к литературной и общественной жизни пушкинской поры. Печатавшиеся ранее отрывки о Пушкине, Дельвиге, Кюхельбекере и Рылееве и событиях 14 декабря повторяются в более широком контексте.

Принимаясь за письмо, Измайлов обычно сообщает не только дату и день недели, но и место, где оно пишется (дома или в департаменте), и время суток. В публикации эти детали не указываются.

1

Четверг. 29 июля 1820.

<...> Где-то вы теперь, любезнейший Павел Лукьянович? — В Твери, а может быть, еще и ближе к матушке каменной Москве. Всякий день и всякий почти час все мы об вас вспоминаем. Мишенька щеголяет в вашей азиатской шапочке. Настоящий черномазый татарин! Сашинька и теска ваш Павлинька со вздохом произносят ваше имя. Третьего дни вечером в столовой нашей комнате странствующие италианцы представляли кукольную комедию и показывали тени. Дети беспрестанно восклицали: «Ах! Зачем нет Павла Лукьяновича!». — Вчера пришел ко мне в синем парижском сюртуке, с тесемками со снурками и в широких белых портках Орест Сомов. Злодей! Заговорил меня по-французски! Вчерашний же день он поссорился с Гречем. Вот как это случилось. Они встретились в книжной лавке Слёнина. Сомов, взяв в руки последний № «Сына Отечества», где расхвален отчет Жуковского о Луне,¹ начал упрекать Греча в недостатке вкуса и грозился разобрать эту пиесу. Греч назвал его моською (Ай моська! знать она сильна и пр.).² «Пусть я моська, — возразил Сомов, — однако не из тех, которые лижут задницы!». — Каков же Сомов? Вот что значит побывать в Париже!

Сегодня собираюсь в Общество и непременно сложу там с себя тяжкое иго председательства. Послушаю шуму в последний раз. На случай возьму некоторые ваши пиесы и прочту в собрании; только не отдам их на критику, ни крикну князю Цертелеву, ни поганому земляку его Капнисту, ни ученому дураку Рихтеру, ни другу его жалкому комику Борьке Федорову, ни же самому благообразному Лыкошину.³ <...>

Ахти! и забыл сказать вам, что сегодня я видел вас во сне. Мы сидели с вами в маленькой угольной или угловой комнатке у Федула Тимофеевича, ели расстегайчики и пили медок и разговаривали о Свиньине; смеялись над ним, а Федул Тимофеевич за это сердился на нас и защищал Свиньина. — Что бы это значило? А Свиньин на сих днях также уехал в Москву — вероятно, отыскивать великих людей. Дай бог ему успеха! <...>

2

Понедельник. 2 августа <1820>.

<...> Я остался по-прежнему председателем в Обществе, хотя в прошедшее заседание сперва письменно, а потом словесно просил увольнения от сей лестной и беспокойной должности. Кн. Цертелев с братиею хо-

тели написать мне благодарный адрес, от которого, разумеется, я отказался, и принудили меня уничтожить мое представление, позволив мне уклоняться от заседаний с тем только, чтобы я предварительно давал знать, когда не могу быть в собрании. Прошедшее заседание было очень тихо. Посмотрю, что будет вперед. Если опять начнутся споры, то перестану ходить в Общество. «Сон» ваш чрезвычайно понравился нашим гг. сочленам; зато цензор его не похвалил и сказал с решительною улыбкою: «пустячки!». Вот каковы цензоры *дурачки*, которые судят о достоинстве сочинения по имени сочинителя. Он без сомнения похвалил бы вашу пьесу, если б знал прежде, что вы ее написали <...>

3

Четверг. 12 августа 1820.

Как я обрадовался, любезнейший Павел Лукьянович, получив вчерашний день ваше письмо <...> Долго ли вы пробудете в Оренбурге? Надеюсь, что письмо мое еще вас там застанет. Теперь же вы вероятно на половине дороги и вероятно покойнее едете из Москвы в Оренбург, нежели как ехали из Петербурга в Москву. Дай бог доехать вам благополучно и до столицы неизвестного Бухарского государства, да скорее отсюда отправиться обратно в православную нашу Россию.

Поздравляю Вас с новым званием *секретаря Мессии*. Хорошо быть секретарем и при губернаторе, при министре, а при *Мессии* — и говорить уже нечего. Нельзя ли при случае и за нас грешных замолвить словечко Спасителю? <...> Новостей у нас в Петербурге, кроме пожаров и несноснейшей осенней погоды, никаких нет. С будущего года, как слух носится, в издании «Сына Отечества» будут участвовать Жуковский и Воейков.⁴ «Невский зритель» издается и вторично к новому году закроет глаза. В число редакторов на место будущего профессора Вильгельма Кюхельбекера⁵ попал ваш однофамилец Михайло Алексеевич Яковлев, с которым я недавно познакомился. Ах! он ничем не похож на вас.

Князю Цертелеву президент Российской Академии почтеннейший А. С. Шишков⁶ исходатайствовал за Рассуждение его о древней словесности,⁶ читанное у нас в Обществе, медаль — кажется, серебряную <...>

4

Понедельник. 13 сент<ября> 1820.

<...> Недавно открыли, а вчера закрыли прежде срока по неизвестным причинам импер. Академию художеств. Я был в ней в пятницу. Хорошего мало — картин новых почти нет — все портреты.

И что ж это за рожи!
Все в лентах и в звездах;
Глядеть, так право страх!
А говорят... похожи.

Нового в литературе ничего нет, кроме поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», которую хвалят и хулят без милосердия. Воейков делает ей разбор, или, лучше сказать, составляет из ней выписку.⁷ Он теперь помощником у Греча и получает от него 6000 р. жалованья <...> Сейчас пришел в экспедицию от строгого своего цензора. Не пропустил, злодей! нескольких стихотворений и критики Ореста Сомова на дифирамб из Вахилида, предложенный любезнейшим нашим поэтом Вильгельмом Кюхельбекером.⁸ О цензура, цензура! Часто вспоминаю я басню о лягушках: сперва был у меня цензор *чурбан*, а теперь *журавль*.⁹ Жаль очень, что вы не застали в Казани Панаева. Он перед вами только уехал

в деревню. Российская Академия положила наградить его золотою медалью 3-й степени за «Идиллии», не взирая на замеченные ею в них *немаловажные погрешности, к порче языка клонящиеся*, а именно то, что он пишет ё, а не ю. Сегодня прочел я у Ястребцова подлинный о сем акт Академии <...> Вильгельм Кюхельбекер уехал отсюда в чужие края с А. Л. Нарышкиным. Не знаю, увез ли он с собою полученный от вас при прощанье *pot de chambre*.^a Нарышкин хотел было прежде взять с собою в качестве секретаря барона Дельвига, но по справке оказалось, что он плохо знает иностранные языки и не мастер даже писать по-русски.¹⁰

Скучно, скучно без вас, любезнейший Павел Лукьянович. Если бы вы были здесь, я пустился бы путешествовать с вами по Невскому проспекту и по прочим улицам. Посетили бы мы вместе все кондитерские, рестораны, гербергии и даже из любопытства заглянули бы и в кухмистерские столы. Почему же не так? Все бы осмотрели, на все бы сделали свои замечания и позабавили бы других и себя. Но увы! вас нет — погас белый свет <...>

5

23 сентября 1820.

<...> Много и премного благодарен вам за «Кухмистерский стол». Сегодня прочту эту статью в Обществе, тем более что там не будет начальника критической шайки израильтинина кн. Цертелева. Он уехал на прошедшей неделе в свою Чухляндию. — Только уже вы немилосердно его отделали! Право, мне его жаль стало! Впрочем, если цензура пропустит вашу пьесу, то я ее напечатаю.¹¹ Что мне жалеть князя, когда я напечатал «Модную лавку», где была милая, несравненная С. Д. <Пономарева>.¹² Ah mon Dieu! Comme vous êtes méchant⁶ <...> Сегодня посылаю к вашему братцу¹³ 13 экз. «Беспокойного жениха», который помещен в 17 №. В 18-й же книжке напечатана статья ваша о альбомах. Славная статья! И цензору она понравилась; только цензор выключил из нее все оскорбительное для мистиков и лицемеров.

Читаете ли вы «Сына Отечества»? Воейков хвалил, хвалил Пушкина, но наконец разругал его по-мужичьи. И Воейкова обругали в двух эпиграммах, из которых одну написал барон Дельвиг, а другую... кто бы вы думали? — Крылов!¹⁴ Недавно попались мне три вновь прибавленные Воейковым куплета к известной его пьесе «Дом сумасшедших». В 1-м говорит он о Грече, во втором — обо мне, а в 3-м — о Карзине. На меня напал он за *Пьянюшкина*; клеветает, будто я с музою хожу в трактир, будто ем там лук с сельдями, будто дамы меня не читают и пр. и пр. Ах! он собака! Добро, дам ему себя знать. Еще он же, как сказывали мне, вздумал смеяться над нашими расстегайчиками. А мы торжественно можем сказать и доказать, что расстегайчики Федула Тимофеевича и Аристарха Ивановича¹⁵ гораздо лучше всех гексаметров Воейкова, Гнедича и даже Сомова. Нового у нас в Петербурге ничего нет, кроме того, что в Итальянской слободке и в старой 9-й роте, по которым каждый день хожу я в экспедицию, уничтожили деревянные мостки, а провели трубу посреди улиц и вымостили их. Теперь мне *жестко* ходить. Ах! И забыл сказать, что недавно привезли сюда для Исакиевской церкви толстые гранитные колонны — толще меня — длиною 8 саж., а в поперечнике около трех аршин. Сказывают, что каждая колонна с доставкой и с полировкой будет стоить около 40 или 60 тыс. р. <...>

^a Ночной горшок (*франц.*).

⁶ О, боже! Какой вы гадкий (*франц.*).

Пятница. 16 февраля 1823.

«...» Не сочинял никогда никаких речей... Нет, соврал! Сочинил в жизнь мою две речи, достойные *печи*, произнесенных в торжественных собраниях Общества любителей словесности, наук и художеств 15 июля и 26 ноября, а которых годов — не упомяну. Что за речи? Хуже Гликинских! А проголос!^в Недавно в Обществе соревнователей был почетный член Ф. П. Львов. Он читал какую-то старую свою дрянь, а Глинка, учтивый детина, изо всех кишок ну его хвалить — оскорбил даже многих сочленов своих, предпочтя старинную галиматью Львова новейшей галиматье. «Вот как писали во времена Державина! Сделайте милость, ваше превосходительство, прочтите еще что-нибудь, *повейте на нас роскошью Екатеринына века*». — Но Львов все уже прочел. И начал читать сам Глинка. У него никогда не бывает недостатка в стихах. И вот он читает, а Львов, или Скимниин,¹⁶ восклицает при каждом стихе с умысла или без умысла: «Тьфу, как хорошо! Тьфу, как хорошо!» «...»

Сегодня Илличевский отправляется в Париж. Барон Дельвиг был при смерти болен и во время болезни своей написал стихи, в которых между прочим есть *пляшущий покой*.¹⁷

Каково же отделали в Вестнике Европы Бестужева?¹⁸ А он поехал в Москву. Вовремя же туда приедет «...» Поблагодарите братца за стишки. Из басни его цензор вымарал *moralité* (так добрый секретарь вздыхает, когда просителя советник обирает).¹⁹ Потому что запрещено писать что-либо о чиновниках, которых звание утверждено правительством «...»

Четверг. 15 марта 1823.

«...» Спасибо и преспасибо за объявление о сочинениях двоюродного моего братца. Цензор наотрез сказал мне, что не пропускает этой *насквиальной* пиесы. — «Помилуйте, Александр Степанович, да почему?». — А потому что тут должна быть какая-нибудь личность. Может быть, и есть у кого-нибудь двоюродный брат сочинитель. Ведь не вы писали? — «Не я, но могу уверить вас, что тут и не может быть никакой личности. Угодно ли вам, я поставлю вместо двоюродного братца дядю или племянника? — Ну хоть NN. А приятеля?». — Хорошо! — И подмахнул — и я тотчас отослал в типографию. И уже напечатано «Объявление о сочинениях моего приятеля NN».† Не вымарано ничего, только местоимение *его* переставлено с зада на перед, чтобы неблагомыслящие не сочли за пародию X заповеди: ни вола *его*, ни осла *его*, ни рабыни *его*²⁰ и пр. «...» Цензурный комитет в чистый понеделник *имел рассуждение и положил*, дабы в журналах помещаемо было *чтение, приличное времени*. Вследствие того цензор мой А. С. Бируков просил меня, чтобы я не оскоромил его (он говел на первой неделе) и не давал ему ничего о любви. А Красовский нехотел на первой неделе пропустить у Княжевичей окончание повести «Заблуждения любви»,²¹ не запрещая, однако, вовсе сего окончания. Итак, теперь выдет 8 № «Лит. Прибавлений», а 7-й после 8-го. Вот что делают наши г. г. цензоры! Впрочем, я своим доволен.

Из «Сатирической газеты»²² все ваши статьи, кроме одной (которая уже напечатана), вымарали, сочтя за личности. Надеюсь, что с некоторыми переправками будут они после пропущены «...»

^в Кстати! (*франц.*).

^г В доказательство посылаю корректурный листочек. В следующем, как нарочно, помещено замечание на статью о стихотворениях г. Катенина. (*Примеч. А. Е. Измайлова*).

Четверг. 12 апреля 1823.

Как смеешь ты, бессовестный, безбожный племянник! не признавать ума и любезности в исковерканном *Сеньке*? (А он так мило коверкается и перевел недавно на французский язык отрывок из «Кавказского пленника» так хорошо, что и Сен-Тома сделался без ума²³) (*Sous la lime mordante etc.*^д А? Каково?), — ловкости в Борьке <Федорове> (А он пишет дамам и девицам в альбомы и как мило, с каким чувством читает свои стихи!), — поэтического таланта в *малорослом*?²⁴ (А когда он читал у соревнователей псалмы и прозаическую галиматью о незнакомых и неведомых, то родственник Державина, *bel esprit*^е Скимниин невольно восклицал: «тьфу, как хорошо! Черт знает, как хорошо!»). — Нехорошо, племянник, нехорошо! А это уже очень худо, неизвинительно, непростительно, что ты называешь *горьким, кислым и плоским* изданное под именем почтенного И. И. Б. сочинение, посвященное знаменитому сочинителю и декламации учителю уездному стихотворцу. Этот скромный молодой человек и старший член *Общества несчастных, довольных собою гений, гений!* Спроси товарищей его харьковских студентов, писарей в канцелярии К., спроси самого двоюродного брата²⁵ <...>

Первый раз как буду у *соревнователей*, или у *сореvущих*, предложу в члены-корреспонденты члена Уголовной нижнегородской палаты Павла Лукьяновича Яковлева, *писателя в роде Жуи*.²⁶ Тотчас примут и станут посылать безденежно Соревнователя в Нижний к новому члену-корреспонденту. Сам великий Булгарин называл тебя, любезный племянник, *умненьким*; а граф Хвостов в восхищении от «Уездного Стихотворца»,²⁷ хотя Катенин приходится ему как-то сродни, кажется *cousin*. В VII № напечатан *отрывок из бумаг NN*, в котором граф расхвалил *объявление твое о стихотворениях моего приятеля* и мою басню «Макарьевнина уха». — Обругаем-ка его — хоть во «*Всякой всячине*» или в «*Сатирической газете*».

Что за дьявольщина! И я, как малорослый поэт, пишу с *курсивом*. Он пустился теперь в псалмы, и гр. Хвостов тоже. На следующей страстной неделе оба наши цензора будут вторично говеть. А на фоминой неделе соревнователи хотели сделать публичное чтение в зале Державина, где прежде была *Беседа*. Просили Карамзина и Крылова, чтобы первый прочел отрывок из X тома своей Истории, а последний — новые басни. Не знаю, будет ли читать Карамзин,²⁸ а Крылов не будет. С ним случилось несчастье — удар апоплексический, который, как говорят, покрывил ему несколько рот и глаз. Хотели бросить ему кровь, но не нашли жилы в жиру, и так приставили ему несколько десятков пиявиц. Вчера видел я барона Дельвига, который видел его, И. А. Крылова, вчерашний же день и сказывал мне, будто ему лучше и он уже вне опасности. — Кн. Цертелев приготовил очень хороший, как говорят, разбор некоторых од Державина.²⁹ Сомов-редактор — трактат о романтической поэзии.³⁰ Рылеев готовит «Думы»; Бестужевы, Булгарин, Греч и пр. и пр. также пишут что-то, пишут. От меня, Русского Тениера, потребовали не басен, а сказок, и я написал две новых сказки да представил три прежних, которые не были еще напечатаны³¹ <...>

3 мая 1823.

<...> «Записки Москвича» уже набраны.³² Цензор вымарал из них только: немецкую харю, надзирателя питейных сборов и мадам Гавот, сочтя, что это не вымышленное, а настоящее имя. Однако я его разуберил.

^д Под острым напильником (франц.).

^е Острослов (франц.).

Всю страстную и святую неделю не набирали «Благонамеренного»: в первую вторично говел цензор, а другую по обыкновению гуляли наборщики и тередорщики. С Фомина понедельника принялись за дело — и закипело — VIII № — к концу; надеюсь, что к понедельнику выдет. Славный номер: все пиесы оригинальные, одна другой лучше. Сначала помещен только дрянной перевод <...>

Праздники провели мы все очень весело, хотя погода была несносная. Для первого дни дал бог неожиданную радость — нового министра финансов. О старом поплакал Взметнев и еще кой-кто.³³ Я не плакал, ей-богу, не плакал. Получил ли, любезнейший племянник, элегию на удаление? Меня уверили, что на праздники эти стишки посланы к тебе. В среду они написаны, а в четверг читал уже их и гр. Милорадович. Что-то будет сочинителю!³⁴ — Есть и еще стихи неизвестных мне сочинителей; но не так-то замысловаты. Более прочих понравилась мне надпись к портрету гр. А. А. Акракчеева:

Утешься! все грехи простит тебе творец:
Ты *трехбунчужного* ж доехал наконец.

Купцы радуются более прочих и, сказывают, хотели на нынешней неделе дать обед на бирже.

Паки и паки благодарю за журнал, или «Записки Москвича». Нельзя ли поскорее прислать продолжение. Переписывать не нужно: есть у меня писцы-молодцы — перепишут, да и сам не поленюсь: такие пиесы весело переписывать. Зато я, если угодно, опишу в письме к П. Л. Яковлеву в Нижний со всею подробностью торжественное чтение или собрание Общества соревущих в зале Державина. Собрание назначено 17 числа сего мая.³⁵

А сегодня комитет у Греча для выбора пиес. Сегодня же собрание в нашем Михайловском обществе.³⁶ Надобно непременно быть в том и в другом месте; надобно еще написать журнал, или протокол прошедшему заседанию. — Ахти сколько дела! — А завтра заключать книжку <...>

10

24 августа 1823.

<...> Я не предлагал еще племянника в члены-корреспонденты Общества *сореvущих*, во-первых, потому, что племянник не прислал мне никакой для Общества пиесы, без чего никого туда не принимают, а во-вторых, и по той причине, что еще не было на это времени. Перед торжественным собранием, или публичным чтением, которое было в зале Державина, сряду десять или пятнадцать заседаний ничего другого не делали, как только спорили, шумели, кричали, бранились. Удивляюсь, как обошлось дело без поединка. А все молодой народ, либералисты и журналисты, кроме, однако, Греча и меня. После торжественного собрания наступили каникулы и кончились в августе месяце. Еще только в этом месяце было два заседания; я не присутствовал ни в одном, да и собрания, говорят, были очень малочисленны. «Соревнователь» издает теперь Сомов, который живет на 8-й версте от города, и потому не вышло по сю пору двух последних книжек <...>

Князь Цертелев уехал в Тамбов; он определен смотрителем училищ тамошней губернии. Как романтики на него сердиты! И мне за них достается. Новостей никаких не припомню <...> Илличевский, как недавно слышал, пробудет в чужих краях до зимы. Недавно возвратилась сюда Колосова и в восторге от Парижа.³⁷

Ж Три бунчука: М(инистерство) ф(инансов), М(инистерство) уде(лов) и Ка(бинет). (Примеч. А. Е. Ямайлова).

Я все еще живу в Песках, все еще в Департаменте³⁸ и все еще издаю «Благонамеренного». Наскучил проклятый! Подписчиков у меня что-то нынче гораздо меньше, так, как и на все прочие журналы <...>

11

<11—14 октября 1824>.

<...> Бируков не пропустил басни моей «Слона и собаки»,³⁹ хотя я вымарал из нее и *поляка*, и *кобеля*. Узнай, напечатают ли ее или нет в «Мнемозине»? Если нет, то как думаешь, не послать ли ее мне к князю Чертополохову? *Признаюсь в слабости*, хотелось бы досадить *Польскому псу*. Вчера взял я у Сарториуса последние две книжки за прошедший год *Revue Encyclopédique*.⁴⁰ Вот журнал! С величайшим удовольствием прочел в нем вечером в постеле некоторые статьи. Как гремят там в библиографических известиях имена Бестужева и Булгарина! А *propos!*³ Не пошлешь ли Борькину эпиграмму на последнего к Чертополохову.⁴¹ <...> Кланяйся всем общим знакомым и особенно долговязому Кюхельбекеру. Добрый малый! <...>

12

Понедельник. 20 октября 1824.

Московскому корреспонденту журналов: «Сын Отечества», «Северный Архив» и «Северная пчела».

Имею честь поздравить дорогого племянника с новым званием корреспондента. Кругликов сказывал мне, что Булгарин хвастался в газетной экспедиции, будто ты его корреспондент. Ах, он подлец! Третьего дня встретился я с ним у Смирдина. «Здравствуй, крестник!». — Здравствуй, папилька!.. Нет ли чего на меня? — «Есть!». С сим словом подал я ему презлейший на него пасквиль, присланный ко мне из Георгиевска под названием «Улан». Эта статья Радожицкого написана хоть не совсем складно, но ладно! Тут собрано все, что Булгарин врал о военной службе — как 300 всадников перескочило через него, когда он лежал под бревном, и пр. и пр.⁴² — Дай мне, я напечатаю. — «Нет, любезный крестник, сам снесу к Ал. Степановичу <Бирукову>, а если он не пропустит, то, по назначению сочинителя, отошлю к Воейкову».⁴³ — Булгарин выскочил за мною на крыльцо, с полчаса продержал меня там, предлагал мир, звал к Гречу в четверг, словом, вился около меня, как сука. — Во втором № «Благонамеренного» есть мне какая-нибудь загвоздка? — «Да я еще не принимался за тебя». — А эпиграмма? — «Какая эпиграмма?». — На меня да на Шишкова! — «А, брат, на воре шапка горит, а <...> про себя говорит!». Жаль, что нельзя с подробностью передать всего нашего разговора. — Хвастается, что написал антикритику на Борьку.

А Борька <Федоров> написал на Булгарина эпиграмму:

Ты слух разнес, что к твоему вреду
Я жалобой министра беспокоил —
Ты много о себе вообразить изволил:
Не формою, не по суду;
Управу на тебя в грамматике найду.

Булгарин распустил нарочно слух, будто Борька жаловался на него министру. Борька божится, что это неправда, а на сих днях слышал он, что Булгарин сам на него жаловался. Содержание просьбы еще неизвестно <...> Вчера и братец⁴⁴ и все соученики его хотели праздновать на своей квартире день учреждения Лицея.

³ Кстати (*франц.*).

Что бы написать тебе еще? Ума не приложу. Скучно, грустно — денег нету. Без них скучно и поэту. Говорят, будто скоро объявят новых цензоров, а именно Гнедича, Крылова и Воейкова <...>

Прощай, любезнейший мой племянник, не забывай дядю, который столько же тебя любит, как Булгарин интерес. Прости.

13

Пятница. 31 октября <1824>.

В приемной министра на стуле сижу
И правой рукою перо я держу.

Зачем терять золотое время и оставаться в бездействии. Не лучше ли во сто раз писать к племяннику, чем читать двукратно прочитанные уже бумаги, смотреть в окно на Неву или на бороды просителей, стоящих смиренно в углу и ожидающих выхода министра. Придется просидеть здесь, может быть, часа два, а в это время и письмо авось поспеет.

«Бедный Макар» пропущен. Теперь он несравненно лучше прежнего. Цензор вымарал немного: ему не понравилось, что Марья пошла в спальню за Федором и что повар отравил мышьяком 10 человек. Спасибо и преспасибо тебе за «Макара». Слава богу, в XVII и XVIII № есть две порядочные статьи: твой «Макар» да Броневского «Бортфельдские целительные воды». Зато есть тут и описание сада Г. Ганина, самим им сочиненное. Басни братцовой о судье, который любил правописание, цензор не пропустил, как личность. Его ввели в сумнение цифры, которые братец обыкновенно ставит под своими пиесами. Он подумал, что этими цифрами означено имя *судьи-грамотея*; я хотел было подставить вместо цифр буквы — ничто не помогло <...>

Третьего дни был я в лавке Сленина. При мне пришел туда Греч с Н. Бестужевым. Между прочим рассказывали они о необыкновенной побранке Булгарина с Лобановым.⁴⁵ Первый в присутствии последнего бранил Гнедича, а Лобанов бранил кн. Шаховского, с которым Булгарин теперь в большой дружбе <...>

Князь Шаховской написал какой-то новый водевиль о Езопе, в котором читает он 33 басни, только не кн. Шаховского, а Хем<ницера>, Дм<итриева> и Крылова>. Есть уже и афишка. Вероятно, это подражание старинной французской пиесе «Esopre à la soug». ⁴⁶ При выходе из лавки Сленина встретили мы Булгарина. Увидя меня, он побледнел и покраснел. По крайней мере так уверял меня Сленин. В этот день обедали мы с ним в клубе — за общим столом. Сидели немцы да подьячие из здешних судебных мест. Последние искоса поглядывали на меня. Сленин говорит, что часто достается мне от них за сказку *доложить*,⁴⁷ которою их дразнят. Возвратившись в лавку, нашли мы тут комика Михайлу Яковлева. Потом пришел Норов. Хочет печатать путешествие свое по Сицилии. Вечером приходил Булгарин и превознес до небес сказку мою «Слон и собаки». «А последние две, — промолвил, — совсем, брат, не то!». Я прочел ему эпиграмму из Дамского журнала.⁴⁸ Эта книжка есть уже и здесь <...>

14

Среда. 5 ноября 1824.

<...> Третьего дня был бенефис Ежовой. Афишку об этом спектакле ты уже, верно, получил. И Фин и Езоп⁴⁹ шли, говорят, удивительно хорошо <...> Павлушка <Свиньин> рассказывал Борьке, будто гр. Аракчеев не так-то милостиво принял Фадея. Он сделал ему неожиданный вопрос!

⁴⁵ «Эзоп при дворе» (Франц.).

для чего в 1812 или 1813 году служил он против России? — «Малешенек после батюшки остался», — отвечал Фадей с лицемерною харею. — «Вот как худо оставаться без родителей, — сказал граф, обратясь к какому-то мальчику, — попадешь в дурное сообщество и забудешь самые священные обязанности!» <...>

Племянник милый, единственный бесценный! Хоть и условился ты за три тысячи рублей^к с издателями «Сына Отечества», «Северного Архива» и «Сев. Пчелы» быть их корреспондентом, но пришли даром что-нибудь для первой книжки «Благонамеренного». Как глупо я сделал, что не оставил до 1 № статьи твоей «О наслаждениях в жизни».⁵⁰ Расхвалили ее в лавке Сленина <...>

15

Воскресенье. 9 ноября 1824. Утро.

Беды! беды! любезнейший племянник, беды! беды! От воды. Из письма брата Михаила Лукьяновича известно уже тебе, что третьего дня был у нас ужасный потоп. Дай же и я расскажу тебе, что видел во время потопа собственными своими глазами.

Сию я третьего дни в Департаменте, в своем отделении, и пишу... стихи. Вдруг (часов в 11-ть) слышу и вижу, что все бросились к окошкам. Я подумал, что глядят на проходящих солдат. — Посмотрите, посмотрите, А. Е., — закричал мне один из моих подчиненных, — какая вода! Подхожу к окну и вижу на обеих улицах (в Садовой и той, которая идет из Садовой) широкие потоки. Тротуары не были еще покрыты водою. В самое это время приносит ко мне записку, на которую нужно было отвечать. Не более как через ¼ часа подхожу опять к окну и не вижу уже тротуаров, где белелись из-под воды плиты. Сначала смеялись мы, глядя на проходящих вброд по пояс через улицу. Между прочим, видел я голые лядвия одной охтенки — видел, как мужики на плечах своих переносили людей благородных, т. е. порядочно одетых, — видел проезжающих на дрожках и лошадей по брюхо в воде. Слышу, что началась суматоха в архиве, а архив у нас в самом низу парадной лестницы. Схожу из любопытства вниз: вся площадка на лестнице завалена делами, нижние пять или шесть ступеней покрыты водою. Воротились в комнаты, стали опять у окна и смотрим. Смотрели, смотрели несколько минут на воду, которая разлилась до Михайловского замка и нагнула новый деревянный забор, отделяющий от новой улицы к замку дровяной двор. Наконец посмотрел я на часы и сказал: пора теперь пить водку. «Милости прошу ко мне!», — сказал Севринов, и мы пошли к нему наверх с Вл. Княжевичем. Между тем вода на улицах была уже по крайней мере аршина на полтора, струилась и, так сказать, волновалась. От порывов ветра подымалась на несколько сажень водяная пыль. «Дождю навстречу дождь с кипящих волн летел». Лишь только подали водку, вбегает к Севринову молоденькая девушка, бледная, растрепанная, и кричит: «Веровок, ради Христа, веровок! брат приехал и не может войти». Это была сестра одного из живущих в департаментском доме чиновников. Севринов схватил с пола холстину, и мы побежали вниз на коридор. Между тем и без нас приезжего втащили. Иван Максимович заперся у себя в комнате, но вода вошла к нему, несмотря на то что двери были заперты. Весь наш двор покрыт был дровами. Подставили лестницу к его окну, и он кой-как с женою и с племянником и племянницей вылезли в фортку. Не более как в полчаса вода прибыла почти на аршин. Лодки плыли мимо наших окон. Как жалко было смотреть на свинью, которая, приподняв кверху рыло, плыла и не могла найти себе пристанища.

^к Так сказал мне злодей Фадей. (Примеч. А. Е. Измайлова).

В половине 3<го> часа начала вода сбывать и, пока мы обедали, сбывла довольно приметно. Однако я оставался в Департаменте до 8<го> часа, и раньше этого нельзя было выйти. Заходил в квартиру И. М., откуда выгоняли метлами остальную воду. Смотрели обмокшую часть стен и вышло аршин $\frac{3}{4}$. В подъездах было еще несколько воды, но с тротуаров она уже сошла. Я перешел вброд через два перекрестка чуть не по колено. У Фонтанки попался мне извозчик, и я поехал на благополучные Пески <...>

Вчера проснулся я по обыкновению в 5 часов и давай с грусти писать стихи на потоп тою же мерою, как «Опасности от воды»⁵¹ <...> До сих пор писал я тебе о потопе только то, что сам видел, а позже, или завтра, напишу, что слышал. Ужас! да и только!

16

Понедельник. 10 ноября 1824.

Читай и ужасайся.

На Петербургской стороне и в Галерной гавани на Васильевском острову нет совсем заборов — со всех сторон открыты виды — чисто... но много нечистоты: везде лежат трупы кур, собак, свиней, коров, лошадей и... людей. Вчера на одном Васильевском острову собрано было 200 утопших. На Среднем проспекте нашли между прочим труп матери с пятерыми маленькими детьми (она держала всех в своих объятиях). Вчера Д. М. Княжевич осматривал на В. О. винные магазины. Многих и следа нет. Один деревянный магазин и с бочками перенесло чрез Неву к Иностранной коллегии. Многие даже каменные магазины разрушены. Дороги завалены не только бревнами, но судами и домами, которые без милости перековерканы. На чугунном заводе по Петергофской дороге вчера собрали более 150 трупов, большею частию жен и детей мастеровых. Из Галерной гавани снесены две большие казармы, в которых было тоже сотни полторы солдат, баб и ребят. *Катерингоф не существует!* (собственные слова графа Милорадовича). — Начальник Канонерского острова, съехав с него, не нашел после ни жены, ни детей, ни даже дома, в котором они жили, — и сам погиб.

Не пришла бы мне в голову блажная мысль писать стихи на потоп, если бы я увидел во время наводнения хоть одно трагическое происшествие, а то был так счастлив, что видел почти одни только комические, например: залившуюся молочницу, плывущую свинью и т. п. Бывший сосед мой Григорий Кириллович также потерпел беды от воды. Во многих местах, особливо на В. О., не могли на другой день достать хлебов. Счастливыми называли тех, которые доставали за тройную и четверную цену. Многие из моих знакомых видели, как в глазах их тонули люди.

Вторник. 11 ноября.

<...> Помнишь ли ты дурака Нестеровича, что служит в Ин<остранной> Кол<легии>. Вообрази себе, что он во время наводнения, в нижнем этаже, поставил на стол стул, сел на него и читал японский лексикон. Буточник влез к нему в форточку и беседовал с ним. Мальчик служитель, не смея отлучиться, сел в ларь, и его принесло водою к барину. Ради Христа! нарисуй из этого карикатуру и пришли ко мне. Бог знает, как ты меня этим одолжишь <...>

«Северные Цветы» также размокли, как и «Благонамеренный», как и новые басни Крылова. У Сленина сверх того размокли более 100 экз. «Истории» Карамзина, которая хранилась в кладовой городской башни. Булгарин и Греч радуются и помирают со смеху, а Сленин на них сердит <...>

Вторник. 18 ноября 1824.

«...» У меня не пропустили статьи о наводнении, показывали ее министру, и тот разрешил, но как статья эта написана была именно для 17 и 18 №, то и решился я переделать ее и дать заглавие «Письмо в Москву к П. Л. Я.».⁵² Все к лучшему!⁵³ Вчера написал для начала этого письма дюжину стихов хоть куда, да и затерял — не отыщу. Здесь ходит в рукописи статья из *Mercure du XIX siècle* под заглавием: *Quelques notes d'un Russe présentement à Paris sur l'Antologie russe de M^r Dupré de St Maure.*⁵⁴ Порядочно написано, но с большим пристрастием. Видно, что сочинитель — член Общества несчастных, довольных собою — хвалит Катенина еще более, чем Булгарин Греча или Греч Булгарина. Посылаю новые Борькины эпиграммы и свою собственную.

Tout à vous ^л

Русский Тениер 1-й.

Во вторые русские» Теньеры Булгарин пожаловал Нарезного.⁵⁵

Четверг. 20 ноября 1824.

«...» Вчера заходил я к Сленину. В магазине его сушится подмоченная «История» Карамзина. «Северные цветы» также размокли, и фактор не разрешил еще его, могут ли они быть высушены или нет. Греч дразнил по этому случаю Сленина пародированным стихом из русской песни: «Цвели, цвели цветики, да подмокли!» — Сленни отвечал ему экспромтом:

Подмокли цветики! — в восторге Греч кричит.
Нет, «Северных цветов» вода не повредит.

Размокли в Департаменте» Министрства» просвещения» и «Русская старина» Корниловича, и «Греческие классики» Мартынова. Счастлив Булгарин! Его «Талия» уцелела. А славно отделили его кн. Одоевский и Кюхельбекер.⁵⁶ Вчера только выпросил я у Сленкина» «Мнемозину» и не успел еще всю прочесть «...»

Пятница. 21 ноября.

«...» Вчера Зарайский видел Борьку «Федорова» у Смирдина. Борька подговаривал последнего издавать критический журнал по листу в неделю, но Смирдин, кажется, не решился. И хорошо сделал.

Повторяю мою покорнейшую и убедительнейшую просьбу: пришли что-нибудь для первой книжки. Пора уже и об ней подумать. О Чертополохове все заботятся и спрашивают — подождут до нового года. Знаешь ли старую штуку Греча? Он нарочно разбивал занимательные статьи на два полугодия или на два года, чтобы брали целый год или два. Это недурно «...»

Вторник. 25 ноября 1824.

«...» Греч и Булгарин ругают меня не на живот, а на смерть. Вчера сказывали мне, что раскритиковали они мои стихи на наводнение. Терплю и молчу, — но скоро, скоро я их проучу. Едва ли не они распустили

^л Весь ваш (франц.).

слух, будто Милорадович призывал меня за эти куплеты и мыл мне голову. Что-то готовится на меня страшное от Булгарина. Слышал я, что он приносил к Бирукову какую-то пьесу, в которой говорится о Софии⁵⁷ и о мужчине, имеющем басистый, хриповатый голос. Увидим, что будет. Прибью его в лавке Сленина.

Дошли ли до тебя следующие новые стихи Пушкина?

Вот Хвостовой покровитель!
Вот холопская душа!
Просвещения губитель,
Благодетель Бантыша.

Напирайте бога ради
На него со всех сторон.
Не попробовать ли сади?
Там всего слабее он.⁵⁸

Хвалят чрезвычайно новую комедию Грибоедова в стихах: «Горе от ума». Сомов читал мне наизусть некоторые стихи из ней — очень удачны <...>

20

3 декабря 1824.

<...> директор Российско-Американской компании Прокофьев звал Я. В. Виллие к себе обедать. Услышав, что у него обедают по середам Греч и Булгарин, велел он пригласить и меня. Хочется ему посмотреть травли Слона с собаками <...>

Спасибо за последние письма, присланные в футляре. Спасибо и за советы о «Благон~~а~~меренном». Клянусь прахом незабвенной С. Д. «Пономаревой», что не стану помещать у себя старинных скучных переводов. Надоели самому мне они, проклятые. «Страсть к эпитафиям» уже в цензуре и будет помещена в первой книжке. Ах, если б могла попасть в нее хоть одна твоя оригинальная прозаическая пьеса! Кругликов прислал мне целую тетрадь «Смеси», которую разделил я на две книжки. Правда твоя, что эта кашка многим по зубам <...> Сказать ли тебе неожиданную новость: *Катехизис Филарета* запрещен!!⁵⁹ Мог ли я ожидать, что куплеты мои на наводнение чуть ли не стоили тебе жизни? Однако и граф Хвостов написал на этот случай стихи маленькие и большие. Первые, без всякою заглавия, прислал он ко мне, последних я еще не читал.⁶⁰ Он назначил их для «Телеграфа». Лучше бы послал в «Дамский журнал». А мои куплеты на наводнение наделали здесь много шума. Всякий день спрашивают меня: был ли я у Милорадовича? Сколько дней сидел в крепости? и т. п. <...>

21

4 декабря 1824.

<...> Вчера обедал с Виллие и Кайдановым у директора Рос~~с~~ийско-Ам~~е~~риканской Комп~~а~~нии Прокофьева. Славный хлебосол! Жаль только, что я был на диете и под опекою племянника Кайданова. Обедало довольно литераторов: Греч, Булгарин, Батенков, китаец Тимковский, за-виращка Бестужев, Алексапка Боровков и Сомов. Булг~~а~~рин спрашивает меня: «Знаешь ли, что о тебе говорят?». — «Что я сижу в крепости». — «Нет, что тебя позвали к Милорад~~о~~вичу и что ты отравился». Это говорили Гречу в Англинском клубе Яценков⁶¹ и Жуковский. Я сказал, что это неправда: Измайлов не трусливого десятка. После того Греч подтвердил мне это же самое. — Наконец Сомов шепнул мне за секрет, что спас меня от неминуемой гибели... Булгарин. Видишь, как было дело. Кн. Шах~~о~~вской представлял графу, что непростительно шутить во время всеобщего несчастья. Граф сказал: «надо проучить». Но Булгарин отсоветовал — сколько из дружбы ко мне, сколько же и из приязни ко всем

вообще литераторам. — За столом называл меня Булгарин *sans façon*^м *Измайловым*, а я его крестником. После обеда и он и Греч мгновенно исчезли. За столом рассказывали между прочим, что во время наводнения плыла по Невскому проспекту кошка и подле нее крыса. Ни та, ни другая не ссорились между собой. — «А в это самое время, — подхватил Греч, — ехали же по Невскому проспекту на спинах мужиков Борис Федоров и барон Дельвиг. Барон кричал: „Федорова Борьки мадригалы горьки“ и проч., а последний: „Дельвига баронки, пакостны стишонки“» и т. д.⁶²

Собираюсь вечерком к Борьке. Жена у него именинница. Не столкнись ли там со Свиныным.

Я было начал писать к тебе письмо в стихах и прозе о наводнении. Напишу, непременно напишу и обругаю там Свинына. Как наврал он в своей статье о наводнении.⁶³ Теперь есть материалы <...>

22

Пятница. 19 декабря 1824.

<...> Сегодня утром кончил я послание к тебе о нашем потоце, которое назначаю для первой книжки. Славная статья! Первая книжка будет хороша и вторая также <...> «Страсть к эпитафиям» напечатана в 1-м №. Скажу в ней коротенько и о вышедших на сих днях альманахах: «Русской Талии» и «Русской старине». На следующей почте приплю к тебе обе эти книжки, также и «Северные цветы», которые должны к тому времени выдти. Прежде всего похвалю 3-ю часть «Мнемозины», которая истинно хороша, а под «Мнемозиною» поставлю «Талию». «Талия» очень недурна: есть прекрасные отрывки, особенно из новой комедии Грибоедова — прелесть! Не успел еще прочесть всей «Талии» и «Русской старины»; с трудом получил экземпляры, потому что еще мало переплетенных. Прочел, однако, отрывок из хваленой Катениной «Андромахи». Если вся трагедия такова, как напечатанные в «Русской Талии» сцены, то Хвостов может гордиться перед Катениным. Сам увидишь. Что бы еще сказать тебе? «Невский альманах», издаваемый неким Аладыным, служащим под начальством Д. М. Княжевича по питейной части, выдет к масленице. Будут и тут очень хорошенькие пиесы. Я дал Аладыну кучу старинных, забраванных цензорами пиес, в том числе довольно изрядных и даже хороших. Почти все одобрены к напечатанию!! Вот как все со временем переменяется <...> Вчера позвали меня для расчета в Газетную экспедицию. Увы! по самому вернейшему счету открылось, что я в нынешнем году перебрал на счет будущего 2300 р. Следовательно, барыша от журнала нынешнего года едва ли наберется тысячи полторы <...>

23

23 декабря 1824.

<...> В первой книжке набрано новое мое письмо к тебе. Злодей цензор уничтожил одну половину, а из другой исключил все лучшее. А как было удачно написано письмо мое, как хорошо расположено! Я начал будто писать к тебе 13 ноября и заключаю первую половину письма обещанием писать *непременно* на следующей почте. Другая половина письма (от 20 дек.) начинается извинением, оправданием, уведомлением о мнимои моей смерти и пр. и пр. Но *все к лучшему*. В следующем письме, которое *непременно* будет во второй книжке, обругаю с досады Свинына за вымышленные им анекдоты и сообщу сам несколько анекдотов любопытных, истинных, невымышленных <...>

^м Без церемоний (*франц.*).

Вторник. 6 января 1825.

«...» На праздниках же был большой праздник в Обществе соревнователей, кажется 29 числа». Выбирали должностных членов и после выборов последовал ужин. Борьку «Федорова» посадили подле Чугунного лба и стравили. Первого черт дернул спросить, какая разница между *Булгаринскими* рифмами и *Гагаринскими* банями. И Фадей, чугунный» лоб, отвечал довольно удачно: первыми парят, а в последних парятся. Плетнев сказал Борьке: «Я люблю вас не за стихи, а за то, что вы любите свою сестру». Подунались и заключили всеобщий мир, который Греч назвал *Тильзитским*. Все на другой день у Княжевича изъявляли мне сожаление, что я не был. — И я жалел, что меня не было. Дельвиг сделал очень удачную пародию из Дунканова вечера.⁶⁴

На рассвете поднявшись, извозчика взял
Александра Ефимоч с Песков...

Как досадно! Не припомню далее, и Княжевичи тоже, содержание баллады (впрочем, еще не конченной): я еду во фраке, который *запылен*, и никто не знает, какого цвета он, в боковом кармане у меня *20-фунтовая тетрадь* — еду в желтый дом, где живет Бируков ... потом вижу Борьку и кличу его:

Ты поди ко мне, Борька, мой трагик плохой!

Сажая его к себе на брюхо ... Борька доносит на Панаева, что тот мне изменяет, начинает предаваться романтизму. — Далее не знаю⁶⁵ «...»

Хорош я! и не поблагодарил тебя за Чертополохова! Спасибо и преспасибо тебе, любезнейший племянничек. Нужды нет, что плохо переписано — все разобрал. Славно! Мастерски! Исполать! Надобно будет только *переменить* им *Кутейкина*. Целую заочно плутовские твои глазки за слезоокого Чертополохова. Кстати сделал ты его пастушенком. Я посажу его в третий №... *Все к лучшему!* Возьмут многие нехотя «Благоднамеренный» и за прошлый 1824 год.

Вышли и «Северные Цветы» «...» Я прочел в «Цветях» одни только стихи. Есть очень изрядные. *Черного* моего *кота* собиратель не заблагорассудил поместить; а какой пренизкий поклон отвесил мне за него Сленин. Впрочем, я не в претензии «...»

Булгарину императрица» Елизавета» Алексеевна» пожаловала за «Русскую Талию» золотую табакерку с изображением Талии и с надписью имени этой музы, или грации.

Пятница. 9 января».

«...» Надобно идти к Бирукову. Наказал его бог, повредил зрение за то, что исказил он первое мое к тебе письмо о наводнении. Что-то будет со вторым, а второе несравненно лучше. Дрожу, трепещу, чтобы не опоздать 2-м №.

Вторник. 13 января» 1825.

Слава богу! И вторая книжка вышла вовремя, т. е. вчера. Чертополохов в типографии. Дай бог здоровья Александру Степановичу! Перекрестили мы только с ним Кутейкина в Горланского, Семинарию переменяли на школу, а *блаженство* — на *счастье* «...» Сегодня буду на литературном обеде у одного мецената со звездой. Это полковник Чебышев, иностранный кавалер и российский винный поставщик, приятель Грибоедова, которого первый раз сегодня увижу.⁶⁶ Предчувствую, что проведу весело

время — будет на обеде задорный польский пес пудель,⁶⁷ Завирашка и пр. и пр. Ах, как глуп Борька «Федоров» в честной компании. Смел он, сукин сын, при Кат<еньке»⁶⁸ упрекнуть меня стихами к покойной С. Д. «Пономаревой», напечатанными в «Северных цветах». О Булгарине он теперь хорошо думает, потому что тот в письме к нему подписался tout à vous.» О дурак! Как жаль, что я не видел его пьяного в Обществе <...>

26

Среда. 21 генв<аря> 1825.

<...> Наконец преемник мой прибыл сюда и явился в Департ<амент>. В последний уже раз пипу тебе из IV Распорядительного отделения, завтра перейду опять в III Контрольное и к своим Ларам и Пенатам. «Благонамеренный» пойдет лучше. Я уже выступил на широкое и страшное поле Критики, написал замечания на две новые басни Крылова. Бируков расхвалил мои разборы. Что-то скажут об них другие? Теперь разбираю отрывок хваленой «Андромахи» Катенина.

Не хотел было более писать литературных пасквилей — но черт дернул — так и быть. Вот новые стишки, за десять минут пред сим написанные мною:

О как несчастна Андромаха!
Пирр бедную вдову в отчаянье привел,
Парнасский же козел,
Рифмач, палач, Хвостов-перья
Расинов снял с нее наряд
Да в сарафан одел китайчатый — и рад!
Катенин наконец с ней поступил тирански:
Заставил говорить без смысла по-славянски.

Многих новых моих стихов ты еще не читал. Правду сказать, хороших-то мало; но я все пришлю к тебе — читай от скуки, или для скуки. Вот еще стишки Остолопова на Хвостова:

Всему наш Бавий рад: пожару, наводненью,
Войне, землетрясенью,
Все кажется ему прекрасно и добро,
Лишь только б случай был приняться за перо
И приступить к тиснению!
Я даже бьюсь со всеми об заклад,
Что для стишков он будет рад
И светапреставленью.

Бируков догадался, что это на Хвостова, и не пропустил.

Вчера получил я 1-ю книжку «Телеграфа» и почти всю прочел. Много хорошего. Прибавления, содержащие в себе заграничные новости, кажется, очень интересны. Только какой виньет с телеграфом наляпан на главном листке! Подлец Воейков предсказывает «Телеграфу» первенство над журналами и восклицает: какая возвышенность мыслей! и т. п., а издатели «Северной пчелы» начинают уже исподтишка ругать нового собрата, говоря, что план хорош, но только идеальный, а журнал никуда не годится. Во 2-м № «Северного Архива» Булгарин награждает его двумя пузырями⁶⁹ <...>

⁶⁸ «Весь ваш (Франц.).»

Пятница. 23 генв<аря> 1825.

<...> И вчера и третьего дни виделся я с Гречем и с Бул<гариним> в лавке Сленина. Как учтивы они теперь передо мною, как ласковы. Булгарин благодарил меня за снисходительный отзыв о Талии и признался, что не ожидал от меня такого великодушия. Хочет звать меня к себе обедать.^о На Полевого оба они приметно негодуют <...> Знаешь ли что, любезнейший племянник, какая счастливая мысль пришла мне в голову? Издадим вместе с тобою на будущий 1826 год какой-нибудь альманах. Напиши две, три новых повести, несколько небольших и маленьких разговорцев; а я напишу несколько басен и сказочек да что-нибудь в прозе — друзья-литераторы дадут и стихов и прозы — ты нарисуешь виньетку и одну или две картинки к своим повестям, а я отдам выгравировать через кума моего артиста. По крайней мере тысяч пять получим барыша. По две или по три тысячи на брата — право, годится. Подумай-ка хорошенько. В июне или в июле объявим, а в сентябре примемся за издание. Все нынешние альманахи не раскупают, а расхватывают <...>

Пятница на масленице. 6 фев<раля> 1825.

<...> Что бы новенького сказать тебе? На сих днях слышал я неожиданную новость, будто Виленский университет исключен из ведомства Департ<амента> Мин<истерства> просвещения. А все Магницкий смастерил это.⁷⁰ Раскритиковал методу или проспекты преподавания наук, присланные от Новосильцова,⁷¹ а тот осердился, написал к государю и бряк именной указ. То же, полагают, будет и с Дерптским университетом. Директор Деп. Мин. проsv. Балеман, деловой и благородный человек, будучи выведен из терпения Магницким, подал просьбу в отставку. То же сделал и Языков, который правил после его должность директора и которому обещано было это место. Теперь берут в директоры со стороны какого-то военного <...>

19 фев<раля> <1825>.

<...> Борька бесится на Булгарина и Греча за то, что обругали поганого его Ванюшу,⁷² и хочет обоих их посадить в стул.^п Что-то и со Свиныным у него не ладно! Вот какие нынче времена: и свинья с поросенком ужиться не может. Наконец, Бул<гарин> и Греч вывели из терпения Черного критика. Третьего дни в листочке своего «Инвалида» завел он Греча в Пекин и дал ему 100 ударов бамбуковою палкою, сказав, что во всем Китае только и есть *два бездельника* литератора.⁷³ С нетерпением ожидаю 3 № «Телеграфа». Напали они тоже и на Полевого, который, как я слышал, хотел дать им с кн. Одоевским⁷⁴ пресильный отпор. Сделай милость, от безделья замечай, что соврано в журналах, и присылай ко мне свои замечания. Это ведь не так трудно: советовал бы особенно заняться тебе этим делом, когда взбесят тебя за спиною беспокойные соседи.

^о Расхвалил до небес мои письма к тебе. (Примеч. А. Е. Измайлова).

^п Греч заметил, будто нельзя сказать сидеть на креслах, а в креслах. (Примеч. А. Е. Измайлова).

Знаешь ли, за что Греч разругал поэму Олина «Клейфон»? ⁷⁵ За то, что он издает Коммерческую газету и что помещаемые в ней сведения отказали давать ему для «Северной пчелы».

На сих днях вышла новая поэма Пушкина, или только первая глава романа, «Евгений Онегин». Плана вовсе нет, но рассказ прелесть. Булгарин не хотел возвестить об Онегине потому, что... Плетнев держал корректуру.⁷⁶

«Дело от безделья, или Замечания на журналы» написаны Остолоповым. Mais c'est entre nous.^p Впрочем, об этом в Вятке никто не поинтересуется.

Спрашиваешь ты меня: быть или не быть альманаху? Быть, быть! Право, это будет для нас хорошо — по крайней мере достанется тысячи по две барыша на брата за всеми издержками. «Невский альманах» дрянной, но и тот хорошо разбирают. В течение года ужели не напишу я пяти или шести порядочных басен или сказок. Дадут нам хорошеньких пьесок и другие, например: Панаев, А. Крылов, Межаков, Языков Н., Остолопов и пр. и пр. В мае или в июне объявим и отобьем чрез то охоту у литературных спекулянтов. Верно не откажутся дать пьесок и Крылов и Жуковский, а может быть и А. Пушкин. Чем же мы с тобою хуже Рылеева, Бестужева и Дельвига?

Через год надобно будет вдруг взять двух моих дочек ⁷⁷ — так годится им на гардероб. Вся моя надежда на тебя — заключим альманачный союз; право, не будем раскаиваться. Ты приготовь только прозу, да смастери картинку, а за стихами дело не станет. Журнал же может обойтись и без стихотворений.

Половина путешествия на Александровскую Мануфактуру уже написана и напечатана.⁷⁸ Я разохотился что-то писать по примеру твоему маленькие разговоры.⁷⁹ Вчера написал целых три. Есть еще сюжеты. В прошедшее воскресенье видел я С. Н. Окуневу. Варка с Афроськой уверили ее, будто я застрелился от стихов на наводнение <...>

На масленице, идучи по Галерной улице, слышу: «Почтеннейший! почтеннейший!». Кто бы, подумал ты, это кричал и кому? — Почтальон буточнику. — Через четверть часа проезжая мимо ордонанс-гауза, слышу из-за решеток нижнего жилья басистый голос: «Почтеннейший господин! не оставьте нас, бедных невольников заключенных». — Так кричали мне небритые арестанты.

На сих днях почти вместе с Евгением Онегиным появился здесь и Евгений митрополит киевский. Архимандрит Фотий, или, как некоторые называют его, le père Fottis,^c повесил, говорят, нос. Недавно плюнул он в золотую табакерку одной даме и сказал ей: «нюхай, нюхай! Это еще чище, чем трава, которая выросла из праха блудницы». — «Ваше высокопреподобие, да вы позволили нюхать табак графине N». — «Та стара, а ты молода: тебе можно отстать» <...>

Не забыл ли чего тебе написать. Постой, дай справлюсь со своим секретным журналом.

С. Глинка здесь. Шишков выпросил ему на оплату долгов и в награждение 9 т<ыс.> р. Хорошо?

Филимонов... ах! Как бы прибил я этого толстяка... Женился при живой жене. Он бросил ее за то, что не позволила промотать свое имение... украл у нее дочь и отдал в Смольный монастырь. Теперь он здесь, но прячется от полиции, которая хлопочет за его заимодавцев. И эта скотина выдает «Искусство жить»!

Греч или Булгарин где-то в «Северной пчеле» употребили выражение *столичные писатели*, т. е. живущие в столицах. Сленин по этому поводу сказал: они не *двуличные*, а *столичные*.

p Но это между нами (франц.).

c Отец Фотий (франц.).

Лабзин приказал долго жить.

Давыдов написал какие-то неблагопристойные стихи на поляков. Я не читал еще их, а говорят, будто очень хороши. Мне сказали один стих:

Глотнем в Литве, а <...> в Камчатке.⁸⁰

Не встречаюсь нигде с Булгариным, а то бы прочел я ему этот стихок <...>

30

Вторник. 3 марта 1825.

<...> Спасибо и преспасибо тебе за Чертополохова. Он у цензора и провидению угодно было спасти его от пламени.⁸¹ Душа дрожала у меня за Эраста. Ай да племянник! Славно кончил. Но более всего понравился мне суд над Чертополоховым и над Маркизом Г. Вчера показывали мне письмо из Владимира от одного моего субскрибента. Умный человек! решил целый месяц не пить пуншу, а на сбереженные от рому деньги выписать «Благонамеренного». Между прочим в письме своем к приятелю ругает он немилосердно «Мнемозину» и пишет, что вся каптовщина не стоит одной страницы «Бедного Макара» и «Несчастий от слез и вздохов» <...>

На прошедшей неделе был я на двух похоронах и вылечил от головной боли одну миленькую англичаночку — пушкиными стихами <...>

В Новгороде ходят похабные, бумажные изображения его высокопреподобия о. архимандрита Фотия и смиренной рабы его, ее сиятельства гр. Ан. Ал. «Орловой». В церквах Юрьевского монастыря только почти и святых: Фотий да Анна, то рядышком, то друг на дружке. Есть и патроны Фотиевых родителей: блаженные памяти пономаря и пономарши. Ну, если на том свете узнает все это граф А. Г. Орлов-Чесменский и попадутся ему эти проказники — изуродует их в аду пуще божьего милосердия <...>

Гр. Хвостов написал новую басню на наводнение.⁸² Я не читал еще ее. Мысль для басни подал ему Сленин или, лучше сказать, взял из моего письма к тебе, что кошка плыла подле крысы и ее не тронула. Какой-то остряк сказал славное *bon mot* у на счет Хвостова, в день преполовения, когда бывает крестный ход по стенам крепости: «Жаль, что граф прислан сюда в качестве сенатора, а не стихотворца, а то бы он разогнал народ» <...>

31

Великий четверг. 26 марта 1825.

<...> Хваленая «Полярная звезда» едва ли чем лучше «Северных цветов». А как наврал Завирашка во «Взгляде на русскую словесность»! Восточные переводы, переведенные Сенковским с разных басурманских языков на польский, а с польского Булгариным или А. Бестужевым на холопский русский язык, очень неважны.⁸³ В прозе мы с тобою их перещеголяем, да и стихов хороших наберем. В новой «Полярной звезде» много хороших стихов, но есть довольно и дрянцы: *плетневицины*, *баратыницины* и т. п. Как только получу от тебя статьи, то и стану писать ко всем своим знакомым поэтам, чтобы приготовили что-нибудь для нашего альма-

⁸⁰ Цензор умница все пропустил. (Примеч. А. Е. Измайлова).
⁸¹ Острога (франц.).

наха. Панаев здесь. Он и кн. Цертелев дадут нам по хорошей прозаической пиесе. А в стихах, ей-богу, не будет недостатка. Головой отвечаю, что в нашем альманахе несравненно более будет разнообразия, даже в стихотворениях <...>

32

Пятница. 17 апреля 1825.

<...> Не знаешь ли ты Настасью Васильевну Флеровскую? Как не знать? Она губернская секретарша и живет в Вятке. На днях получил я от нее письмо, в котором просит о помощи и пишет между прочим: «доброта души вашего высокородия известна уже полвселенной». Не Алексашка ли Завирашка сочинил ей это прошение. — А гротос Ф Карамзин очень хвалит А. Бестужева. «Он всегда меня тешит», — говорит о нем историограф. А нельзя ли в самом деле справиться о Флеровской и дать мне знать, заслуживает ли она такое вспоможение <...>

33—34

11 мая 1825.

<...> Давно уже отужинали, все спят кроме меня. Я сижу в гостиной у столика, не в *софе*, как сказал Державин, но на креслах против софы. Передо мною лежит журнал. Есть что тебе порассказать: но всего не напишешь — по крайней мере выпишу для тебя из своего журнала, что любопытнее.⁸⁴

19 <апреля>.

Павел Яковлев (не умный, а дурак) написал препохабную критику — добро бы на Невский альманах, а то на Полярную звезду. Ах! м...⁸⁵

20 <апреля>.

<...> Запретили книгу Филимонова «Наука жить». За что? — За то, что сказано там: лови удовольствия сердца, наслаждайся удовольствиями ума. — «Да, сердце наше развращено и ум также», — сказал Бирукову де-душка Ал. Семен. Ш<ишков> и не велел пропускать 2-й части.

27 <апреля>.

Обедал у больного Никитина, секретаря <Общества> соревнующих, и встретил там кого? — Кюхельбекера! Дик, но мил! Право, я люблю его: он благородный малый. Булгарин подличал перед ним и клялся ему в дружбе.⁸⁶

7 <мая>.

Был у меня в первый раз проф. Куницын. Вел. князь Николай Павлович благодарил Рунича, что он выгнал Куниц<сына> из Университета. Знаете ли, сказал ему, это человек отличный, благородный! — Обедал у Пукаловых и побранился с Пукальшею. Читала мне, курва, стихи Борьки Княжнина, писанные ей во время оно. «Не правда ли? ведь очень хороши, лучше Пушкина». — «Самые гарнизонные!», — отвечал я <...>

9 <мая>.

П. П. Свинын уехал в Грузию. Редактором «От<ечественных> Записок» будет по-прежнему Борька <Федоров>. Булгарин и Греч помири-

Ф Кстати (франц.).

лись со Свиныным. Видели многие, как первый с последним прогуливались под ручку по тротуару. И как же не помириться? Свинын в милости теперь у мин<истра> просв<ещения>. Через Кикина получил от господ<аря> перстень за «Сибирские виды». На следующий год поедет в Париж для видов, т. е. издаст там виды многих достопамятных русских мест. Молодец, что ни говори... *Ах! его лукавый подери* <...> Однако скоро пробьет час, а я еще не ужинал. Съем черного хлеба с кваском, и да и бай! Прощай, племянник.

35

Понедельник. 25 мая 1825.

Бог тебе судья, брюзгливый мой племянник, что ты разбрал XIV № «Благонамеренного» и сравнил помещенные в нем анекдоты с анекдотами «Невского альманаха». И статья П. Яковлева⁸⁷ не понравилась тебе! — А мне нравится, очень нравится... что ты так откровенен со мною. Говори всю правду о каждой плохой статье «Благонамеренного». Это развеселит меня, а мне скучно, очень скучно, право! Ей-богу! <...>

Знаешь ли, что случилось с Рылеевым. 4<-го> ч<исла> сего месяца (этот день очень для нас с тобою памятен)⁸⁸ ударил он четыре раза палочкою, или палкою, по спине сына адмирала фон Дезина, когда тот шел с женою под ручку по Синему мосту. Фон Дезин не защищался и даже не отругался. Но после того целую неделю караулил Рылеева на Синем мосту, наконец поймал его и ну трепать. Рылеев отретировался было под карету, но фон Дезин вытащил его за волосы. К счастью, явились

Два воина осанки важной,
С секирами в броне сермяжной.⁸⁹

Разняли сражающихся и отвели их неизвестно куда. Последствия еще неизвестны <...>

36

Вторник. 16 июня 1825.

<...> Я рассердился на литературных торгашей. В последнем XXII № ругнул их.⁹⁰ Хорошо или нет? Ругаться ли вперед? Авось, хоть это не поддержит ли мой журнал, который приметно чахнет. Начиниваю его переводами. Только как скучно перечислять эти потроха. Скучнее всего, что нет денег. Когда-то я разбогатею или по крайней мере уплачу долги. Чуть ли не придется ехать куда-нибудь в изгнание... на вице-губернаторство! <...>

Среда. 17 июня.

<...> Как отделал Магницкого Красовский и на словах и на письме. Ни одна <...> не была еще так поругана, как М. Но вот лоб, уж не медный, а не знаю, как и назвать. Добираются теперь до него. Отче наш! Избави нас от лукавого! <...>

37

Четверг. 18 июня 1825.

<...> Сленин берется купить на свой счет нам бумаги, заплатить за печать, выгравировать картинки и пр. и проч., если только у него одного или через него одного будет продаваться наш альманах и если дадим ему

мы вместо 20 — тридцать процентов за комиссию. По 30 процентов платят ему и издатели «Полярной звезды» и литературные откупщики Греч и Булгарин. Кажется, можно согласиться. Если есть у тебя что готовое, пришли, Христа ради — раздам заблаговременно переписывать, а в сентябре приступим к делу, если не ранее. Можно заблаговременно отдать некоторые статьи в цензуру. Посылаю тебе вдруг три номера. Впредь буду писать хоть помаленьку, но каждую неделю. С досады хочется поругаться и стану ругаться в каждом номере. *Se la soulage un peu.*^x На досуге не сделаешь ли ты каких-нибудь отрывистых замечаний на журналы. Поругай и «Благонамеренного» — все напечатаю. В Westminster Review назван я Земайловым и сказано, что меня называют Генерсом, т. е. Теньером <...>

38

29—31 июля 1825.

<...> Славно напечатаны в Париже басни Крылова. Какой превосходный шрифт Дидота! Право, еще такого я не видывал. А гравюры, гравюры! Жаль, что их мало — только пять <...>

Сообщить ли тебе некоторые здешние новости?

Наконец новый наш обер-полицеймейстер вступил в свою должность и разослал ко всем значущим обывателям визитные билеты. Призвал к себе извозчиков и разносчиков и велел им быть опрятными и вежливыми <...> Вчера, сидя на дрожках, разговаривал я с извозчиком о нововведениях по извозничей части. Нумера у них не болтаются теперь на шее, а пришиты плотно к затылку. Запрещено разваливаться на дрожках. Велено всем иметь синие кафтаны. Приказано снимать шапки перед частными приставами, полицеймейстерами, обер-полицеймейстерами и генералами. На щитках дрожек будут нанесены белую и красною краскою те же самые №№, какие изображены на жестяных бляхах или билетах. Белые буквы для лихих извозчиков, красные для ванек <...>

Чем кончилась история Рылеева, не знаю. — Знаю только, что он здоровел. — Впрочем, победитель его, как говорят, величайший мерзавец <...> Преподобный Фотий сделался маклером: через него купец Громов купил у граф. Орловой дровяной двор и лесные дачи за 5 000 000 р.

39

Воскресенье. 16 августа 1825.

<...> Сейчас ушел от меня будущий мой сотрудник по журналу... угадай кто? — Вилсгелм Кюхельбекер. Этот благородный малый не мог ужиться с двумя литературными торгашами, которые, как говорит он, *имеют все достоинства, кроме честности*. Он сам вызвался издавать со мною с будущего года журнал на тех самых условиях, какие сделали ему Греч и Булгарин. Я очень рад такому доброму товарищу. В случае, если получу вице-губернаторское место, передам ему совсем журнал, и он может иметь изрядный доход.⁹¹

С Дельвигом виделся в среду в лавке Сленина; пили вместе пенник и закусили ржаным пирогом с луком. Барон Дельсвиг женится 3 числа будущего месяца. Он пополнел. Кланяется тебе. Мы поменялись с ним стихами: он дал мне сонет Туманского на его свадьбу, а я дал ему новую свою басню «Стрелки», которую при сем посылаю вчерне, как она вылилась из головы... авось разберешь. Прилагаю на слу-

^x Это облегчает немного (франц.).

чай печатные объявления о издании новых моих басен и сочинений, также по три билетца на то и другое. Если можно, всучи кому-нибудь билетцы, а нельзя, то я не буду в претензии <...> Козлов (слепец) обещал давать для «Благко^намеренного» свои пиесы, если я соединюсь с Кюхельбекером. Обещал дать также и для альманаха. Кюхельбекер хотел написать и к Пушкину. Знаешь ли, кто еще готовит пиесы для альманаха? — Булгарин и Греч. — Первый сам сказывал мне это, встречаясь со мною на Кам^кенном Острове». Бог с ними! <...>

17 <августа>. Понедельник.

<...> Наконец прогнали Магницкого в Казань. Он подавал донос на Шишкова. В этом доносе доказывал он, что Шишков не может быть министром по глубокой своей старости и слабости, по страсти к картам и к женщинам, и что он делает все, что захотят правитель его канцелярии князь Шихматов и Языков. Последнего утвердили недавно директором, а Магницкому, как говорят, вымыли голову. Что бы обрить? Перед отъездом Магницкого посадили по его доносу в крепость двух цензоров из особенной канцелярии Мин^кистерства внутренних дел за то, что позволили продавать Conversations Lexicon.^ч 92 Впрочем, и они были очень неосторожны.

Слава богу! С удалением Магницкого есть теперь надежда, что дела по Департ^каменту Мин^кистерства просвещения пойдут лучше прежнего. С Рунича велено взыскать 80 т^кыс.> руб. Остолопов, кажется, точно будет директором на место Майкова. Последний приглашал его уже на какую-то пробу в театральное училище. Хотят приняться хорошенько за школу. Дай бог успехов! <...>

40

Вторник. 1 сентября <1825>.

<...> Вчера был я в цензуре. Бируков мне сказывал, будто показывал министру басню мою «Слон и собаки» и что тот, поморщившись, вскричал: «Как это можно! Впрочем, если он (т. е. я) будет усиливаться, чтобы пропустили его басню, то скажите ему, что я велю пропустить на него сатиру». — Хоть три, — отвечал я. — Черт знает! Булгарин приворожил к себе Бирукова: у него все пропускают, а на него — ничего <...>

О Магницком носят слухи, будто запрещено ему въезжать в ту или другую столицу. Кажется, неправда.

Кюхельбекер разругал Булгарина по-матерну.⁹³ Чугунный лоб перенес это с христианско-философским равнодушием <...> Лопнула надежда моя на вице-губернаторство. Великая княгиня струсилась просить обо мне мин^кистра потому, что *эти места скользки*. О женщины! женщины! Видно, такая моя судьба. Вместо вице-губернаторов не пойти ли мне лучше в актеры? А что, ведь славно сыграю тиранов. Зареву и приведу в ужас и партер и раек. Вот тебе на закуску новая пародия «Черной шали», не моя, а не знаю чья. Кажется, написана в Москве на игроков Шатилова и Алябьева.^ч 94 <...>

41

11 сент^кября 1825.

<...> На следующей неделе представлю Александру Степановичу <Бирукову> кучу стихов для альманаха. Собираю помаленьку и набрал

^ч Энциклопедический словарь (нем.).

^ч Далее в письме приводится текст пародии.

довольно хороших. Вчера писал к Ивану Ивановичу Дмитриеву и просил у него для Календаря Муз (лучше ли Парнасского Цветника) стихов, как его, так и знакомых ему поэтов: кн. Вяземского, Мих. Дмитриева и пр.

Вчера утром был у нас на Выборгской стороне поединок. Какой-то Чернов вызвал на дуэль флигель-адъютанта Новосильцова за то, что отказался жениться на его сестре. Чернов попал Новосильцову в голову (надлежало бы попасть в другой член), а Новосильцов Чернову в брюхо. К вечеру оба умерли.^ш Рылеев был у Чернова секундантом и, кажется, еще А. Бестыжев, или, попросту сказать, Алексашка-Завирашка.⁹⁵

Плачут у нас попадьи и дьяконицы; плачут поповны и поповичи. Дан указ св. Правительствующему Синоду, дабы в предупреждение зловредной роскоши и для христианского смирения придумать для супругов и сыновей священнослужителей приличную одежду. — Все бранят невежду митрополита. Антипатия у этого человека против шляпок и шалей.

Летает ли отсюда в Вятку «Северная пчела»? — Прочти 1-го «сентября» статью в №. Вот дожид до какой чести, что мои куплеты в день Елисаветы были петы в Бюргер-клубе. — А я, подивись, там не был.

Слышал много нового об А. Пушкине от одного недавно возвратившегося из Пскова полулитератора. Проказничает наш Пушкин, да и только. Видели его на ярманке в красной рубашке с косым воротом (обложенным золотым газом) и в таковых же портах. Перед ним и за ним были друзья его нищие. И в правой, и в левой руке держал он по апельсину и так сдал их, что сок тѣк и по рубашке и по порткам. Капитан-исправник заметил ему, что это неприлично для благородного человека. Вместо того чтобы послушаться умных речей г. капитана-исправника, он (такой разбойник!) стал еще смеяться над ним. Говорят, будто он доставил его благородию бессмертие, поместив его в своем описании ярманки⁹⁶ <...>

42

14 сентября. 1825. Секретно.

Читай и ужасайся.

Знал ли ты Настасью Федоровну, домоправительницу его сиятельства гр. А. А. Аракчеева и родительницу флигель-адъютанта Шумского? Как не знать? по крайней мере по репутации. Еще в среду трепетало пред нею все Грузино, еще в четверг утром со страхом и ужасом ожидали ее пробуждения — *и се не бе!*

Жизнь наша, яко сельный цвет.
Сегодня живы, завтра нет!
Сегодня кто здоров, ругается, бранится,
Назавтра в тартаре с чертями очутится.

«Что это так долго не встает Настасья Федоровна?», — сказала одна из ее прислужниц в четверг поутру. — И не встанет! — подхватила любимица ее девчонка 14 или 15 лет, высеченная немилосердо накануне. — «Как? не встанет?..». — Да, не встанет: *я зарезала*^ш ее.

Рано утром в этот день прокралась она в спальню Н. Ф. Герцогиня Грузина почивала, разинув рот. Новая *Шарлотта Кордай* подходит к ней и вонзает поварской нож в рот, брызнула кровь, Н. Ф. хотела вскрикнуть и замолкла навеки.

^ш Не так. Чернов попал Новосильцову в брюхо, а Новосильцов Чернову в голову. Новосильцов жил после дуэли около недели, а Чернова похоронили 27 числа. Примеч. 29 сентября. (Примеч. А. Е. Измайлова).

^ш А la Глинка курсивом. (Примеч. А. Е. Измайлова).

О человеки! человеки! зачем забываете вы человечество! Граф в отчаянии — отказался ото всех дел.

Теперь, как слышно, происходит combat de générosité.⁷ Девчонка называет убийцею себя, а брат ее, поваренок, утверждает, будто он зарезал покойную.

Все к лучшему! — О Панглос!⁸ <...>

25 сентября.

<...> Убийца Настасьи отправлена неизвестно куда — кажется, только в Сибирь и с нею брат ее родной, шамитон,⁹ да еще человек пять. Черт знает кто убил Настасью! Поваренок говорит, будто он, а сестра утверждает, будто она. Прошу добраться правды. Граф А. А. «Аракчеев» был в отчаянии. Ему сказали только, что Наст. Фед. очень нездорова — он прискакал с поселений сломя голову, входит в комнату и видит несчастную décaritée.⁹ Мгновенно растерзал на себе ризу свою — мундирный сертук. При погребении бросился в могилу — и, жестокие, вытащили его оттуда. Но вера и преподобный Фотий утешили его. Говорят, что граф не будет жить ни в городском своем доме, ни в Грузии и будто последний отдал уже под поселение <...>⁹⁷

43

26 сентября 1825.

<...> Славный праздник был вчера у кумы.⁹⁸ Гости, гости — не сосчитать. — Ужинало по крайней мере человек пятьдесят, а многие уехали еще до ужина. За большим столом сидели все дамы, в числе которых были и хорошенькие <...> Вчера отличились Людмила, Эраст и Александр — на арфе, на скрипке и на фортепиано. Концерт начался увертюрою из Фрейшица. После того сыграно еще несколько квартетов и концертов. Наконец некто, то есть какой-то аноним, бог знает как зовут его, — сел за фортепиано. Эраст, Людмила и Александр вышли на сцену и запели сочиненные маменькою их куплеты <...> Забыл сказать, что в это время раздвинулась ширма и представился взорам зрителей цветочный вензель именинника.⁹⁹ Все было превосходно — а вино какое! Я пил за двоих: за себя и за брата М<ихаила> Л<укьяновича>. Левушка Пушкин сидел подле нас — и мы втроем превесело беседовали. Согрешили: посмеялись над графом Хвостовым и над графинею. Она не лучше его притчей <...>

44

Вторник. 29 сентября <1825>. Секретно.

<...> Недавно попалась мне любопытная пьеса «Сон Магницкого в Грузии с 27 на 28 июля», присланный к гр. Аракчееву при письме от 4 августа. В лаконическом письме своем пишет он только то, что «возвращаю вашему сия<тельст>ву, что увез у вас из Грузина». Во сне видел он покойного столетнего старца Исаака Константинова, которого граф Аракч<еев> похоронил и воздвиг ему памятник. Накануне Магницкий, стоя у его могилы, помолился и сказал сам к себе: «Помяни его,

⁷ Борьба великодуший (франц.).

⁸ Теперь наверное известно, что Настасью Федоровну убил поваренок. Тотчас после убийства сестра его, взяв у него обгаренный нож, назвала убийцею себя. Н. Ф. схоронена в гробе, который граф приготовил было для себя. Точно бросился он при погребении в могилу. (Примеч. А. Е. Измайлова).

⁹ Поваренок (франц.).

⁹ Обезглавленную (франц.).

господи, в царствии твоём». По этому-то случаю и явился ему во сне праведный Исаак Константинов; хвалил графа за то, что он перед смертью велел давать ему в каждой отчине телегу с колокольчиком; потом повел его по Грузину и при всяком случае превозносил похвалами графа; хвалил также и военные поселения. *Дети ваши или внуки*, сказал между прочим, *почувствуют настоящую пользу от этого заведения*. — Видел, как сквозь туман, в Грузии несколько *златоглавых церквей, ряд каменных домов, большую торговую площадь, кипящую народом*, — а по-вара с пожом не видал. Сон этот занимает два листа писчей бумаги обыкновенного формата самым мелким почерком. Написано очень недурно, а дурно то, что много подлости. На всякой странице раз пять или шесть плюнешь от негодования. — Когда-то позволят плевать торжественно подлецам в рожу? Доживем ли мы до этих счастливых дней?

Забавны карикатуры на митрополита: 1) Митрополит в армяке примеривает попадье юбку; на столе лежит шляпка и шаль. 2) Митрополит с архиереями разоблачает попадью: один снимает с нее шляпку, другой — шаль, третий — сарафан, четвертый — кокошник и т. п. 3) Серафим митрополит, держа в одной руке ножицы, а в другой кусок материи, возвел очи горé и просит господа надоумить его, какое бы скроить для попадей платье? — Говорят, будто выдет еще другой указ, чтобы поповен не иначе выдавать как за духовных <...>

45

Понедельник. <16 ноября 1825>.¹⁰⁰

<...> Спасибо тебе и за «Смесь». Сегодня пойду за нею в цензуру, где не помню уже когда был. Помню только, что в твоей «Смеси» Бируков много загнул листов и наставил NB. NB. Чтоб отсохла рука у этого дурака! Прекрасный цензор, только глуп, трус и имеет дурной вкус. Надобно еще повидаться со Слениным; что-то он начал пятиться; если откажется, то нечего делать — открою подписку — занял бы; но то беда, что задолжал всем своим знакомым <...>

Дельвиг женился. Кто-то из знакомых видел его, как он, сидя важно в карете с новобрачною, кланялся с улыбкою своим пешествующим друзьям.

И Фаддей *чугунный лоб* женился на племяннице или дочери *танты*, прелестной Елене. Сомов был на свадьбе. Были еще званые гости: Рылеев и Бестужев Сашка Завирашка *дворняшка*, да незванный... угадай... *Греч*. Он применил к Елене сказанные Франклином слова об Американской республике: *j'ai été le premier à la refuser et je suis le dernier à la reconnaître*.¹⁰

Возвратились с Кавказа: Гнедич Циклоп и Павлушка <Свиньян>, медный лоб. Последний привялся уже за лганье. На возврат первого сделана пародия *par une société de gens des lettres*¹¹ (Греч, Булгарин) с братиею): «Гнедич, Гнедич! где ты был? На Кавказе ж... ку мыл; вымыл разик, вымыл два, освежилась голова. Выпил я воды глоток, прояснился мой глазок» — далее не знаю.

Кюхельбекер едва ли будет моим сотрудником по журналу: он надеется получить при Черноморском флоте место ... профессора словесности и будет читать там лекции морским офицерам.

Вечером в 9 часов.

Знаешь ли, где я теперь? — В кабинете Я. К. Кайданова. Сейчас списал для тебя стихи Кюхельбекера на смерть Чернова. *Стишки не так-то хороши, но писаны от всей души*.¹⁰¹ Злодей Бируков возвратил мне без

¹⁰ Я первый отказался от нее, и я последний ее признал (франц.).

¹¹ На Общество литераторов (франц.).

скрепы только Смесь. Сколько наставил он NВ против *барской снеси* и *приказных справок*. Как испугала его твоя приписка: *historique*. — Однако же, кажется, кроме *барской снеси* все пропущено будет. Не пропустил он еще одной полемической пиесы Кюхельбекера против Булгарина, с которым встретился я сегодня в Цензурном комитете. Как он ласков, учтив со мною! Собирается ко мне с пиесами для альманаха.

Читал ли ты московские стихи на попадей, поповен и поповичей? — Препакостные! Последние только стихи замечательны:

Но успокойтесь — страх велик лишь издали бывает.^а

Вот Шаликов своей улыбкой одобряет.

«Молчите, — говорит, — я сам пойду в Синод,

Представлю свой журнал и, верно, в новый год

Как ни кроить на вас убор святым отцам —

Не быть портными им, коль мысли я не дам».^б

Еще есть две новые карикатуры на попадей: 1-я) Попадья нагая стоит перед митр<ополитом> и держит в одной руке национальный, в другой общий европейский костюм. На вопрос ее: «который лучше?» — митр<ополит> отвечает: «Лучше бы так остаться, как есть». — 2-я) Попадья в рубашке стоит перед митр<ополитами> Фотием и Григорием. Протодиакон провозглашает: «повели, преосвященнейший владыко!», раздирает срачицу с нижнего края до пояса. И митр<ополиты> и Григорий и Фотий смотрят жадно на священное руно. Последний, всплеснув руками, восклицает: «о всепетая» <...>¹⁰²

Теперь я чаще бываю в театре. Видел дебют Колосовой в «Мизантропе» по возвращении ее из изгнания. Чудо! как играет эту роль! Лишь вышла на сцену, минут десять раздавались рукоплескания, и она все это время принуждена была стоять перед публикою почти раком. Всякий раз, когда выходила на сцену, аплодировали ей. После того играла она в «Валерии» и в «Уроке кокеткам». Семенова с досады играла после того в «Меропе» и в «Медее».¹⁰³ Видел ее в обеих ролях. В Медее была она бесподобна. Скоро будет дебют в Фрейшпице Софии Шоберлехнер, урожденной Далонка. Хвалят чрезвычайно нового немецкого актера Вурма <...> Много новых пиес представлено Остолопову. Позволишь ли представить твоего «Говоруна»? Теперь, кажется, можно трудиться для театра.

В бенефис Азаревичевой и Телешовой собрано *чистыми деньгами* более 15 тыс. р. Какой-то граф Потоцкий (чуть ли не кавалергардский офицер) прислал за креслы 1000 р. — А сколько подарено им шалей, браслет! — Мне хорошо: смотри даром из директорской ложи на актерские рожи. Жаль, что мало времени <...>

46—47

Понедельник. 23 ноября 1825.

Слава богу! Любезнейший мой племянник! Альманах наш выдет к новому году и, право, будет не хуже других, по крайней мере по пиесам. Сленин отказался, потому что совестно ему брать в долг бумаги у Кайдановых (а мне еще совестнее перед ними: я им должен более 4000 р.) — печатает одни только «Северные цветы», а другой, свой собственный альманах, детский (составленный Борькою Федоровым), отложил до пасхи.

Вот иду я из лавки Сленина, повеся голову, думая, как бы получше объявить о подписке на альманах, и потеряв надежду выпустить его к новому году. Навстречу мне И. И. Ястребцов.¹⁰⁴ — «Что так невесел?» — Ответ: «денег нет!». — Нечувствительно перешел разговор от де-

^а 7-ми стопный стих. (Примеч. А. Е. Измайлова).

^б 4 мужские стиха. (Примеч. А. Е. Измайлова).

нег к альманаху. — «Да что не предложили вы Смирдину?», — сказал Ястребцов. — Я хотел было продать ему свои Басни, — отвечал я, — да он со вздохом отказался, во-первых, потому, что не при деньгах, а во-вторых, по той причине, что и так уже забрался работой для своей типографии. — «Да я могу ему приказать». — И в самом деле Ястребцов приказал ему и на третий день дал мне знать, чтобы явился я с оригиналом в типографию Смирдина. В субботу был я у него и оставил оригинал листа на три или на четыре. Смирдин взялся печатать наш альманах на тех же самых условиях, которые предложил прежде Сленин, и клялся Ястребцову, что деньгами не в состоянии бы был дать даже 500 р. <...> По примеру «Северных цветов» разобью я «Календарь Муз» на два отделения: в первом будет проза, в последнем стихи, и в каждом особый счет страниц, чтобы вдруг можно было набирать и стихи и прозу. Хорошо ли? <...>

Ах! Какое прелестное новое послание написал Пушкин к цензору.¹⁰⁵ Сию минуту посылаю один экземпляр к Бирукову и для тебя велю списать <...>

Среда. 25 ноября <1825>.

<...> Что я слышал сегодня? — Будто гр. Аракчеев треснул в рожу дреподобного Фотия за то, что тот отказался принять в Грузинского кладбища на свое прах великоблудницы Анастасии. Не верю! Говорят, будто он потерял доверенность государя. Тоже не верю, хотя ото всего сердца этого желаю. Еще говорят, будто он после смерти на днях нашел у нее много *billets doux*.^в Этому верю. Утверждают также, что он при циркулярных отношениях возвращает теперь многим знаменитым особам вещи и деньги, которые они дарили его домоправительнице. И этому верю <...>

Участь Кюхельбекера еще не решена. Неизвестно наверное, поедет ли он в Севастополь или нет. Обещается и в Севастополе быть мне верным сотрудником.¹⁰⁶ Еще будет у меня сотрудница и очень хорошая — старшая моя дочь Настинька. Она переводит и пишет прозою (могу сказать без родительского ослепления) лучше многих наших записных словесников.

В четверг играли «Аристофана». И враги кн. Шаховского не могут не отдать справедливости этой пиесе. Едва ли это не самая лучшая из наших комедий (стихотворных). Гавнюшка Хмельницкий обвиняет автора, будто заимствовал он сюжет из Голдони. Эка беда! К сожалению, не видал я «Аристофана». А преудачно, говорят, был он разыгран <...> Андромаха, или Россомаха, Катенина принята на театр. В пятницу иду я с Кюхельбекером к славному и безногому поэту Козлову — за стихами для «Календаря Муз» <...> Сколько стихов прислал мне граф Хвостов для альманаха! — Ни одни не годятся, даже и в «Невский альманах».

Общество *сореvущиx* определило, постановило: прекратить с будущего 1826 года издание «Соревнователя». Члены лентяят и редко собираются. А в нашем ленивом Обществе лю<бителей> сл<овесностей>, н<аук> и х<удожеств> с мая месяца не было собраний <...>

Пятница. 27 ноября 1825.

<...> Что за умница Бируков! Верно, подействовало на него второе послание Пушкина. Сегодня милый мой цензор возвратил мне кучу писес для «Благонамеренного» и для альманаха, между прочим твой Словарь модных слов¹⁰⁷ и Смесь. Мало, очень мало вымарано <...>

^в Любовных записочек (*франц.*).

7 декабря 1825.

«...» Четвертого дня, с четверга на пятницу, выслали отсюда просвещения мучителя, казанского попечителя лицемера Магницкого. Ай да Милорадович! Молодец! Услышав от дедушки Шишкова, что Магницкий возвратился сюда самовольно, выпроводил его с квартальным надзирателем. Магницкий жаловался на графа имп. М^сарии Ф^седоровне, будто он присваивает себе самодержавную власть, но царица не вступилась за него — ей не до того, а только сказала *qu'est ce que cet homme me veut*^г или что-то похожее. Накануне получения известия сюда о кончине государя Магницкий похвастался перед Шишковым, что граф Сила Андреевич¹⁰⁸ обласкал его в проезде через Грузино, и просился к нему погостить недельки на две, однако же не поехал «...»

24 декабря 1825.¹⁰⁹

«...» В тот самый день, как отправил я к тебе последнее мое письмо, когда молились мы о здравии государя, получили мы плачевное известие о его кончине. Все почтили слезами память доброго монарха. С нетерпением ожидали прибытия сюда Константина Павловича. Поговаривали, однако, что он не приедет и что откажется от престола. Наконец, утром 14 числа нынешнего месяца вышел манифест Николая I. Все добрые граждане тотчас ему присягнули. В этот день получил я *billet doux* — повестку на 30 р. и послал с нею в почтамт одного канцелярского служителя. Через час собрался идти в цензуру и лишь только надел на себя шинель, как мой посланный возвратился из почтамта с письмом и с деньгами. «Насилу проехал я, — сказал он мне: — по Гороховой улице идет Московский полк в штыки с распущенными знаменами, и солдаты кричат: „*Ура! Константин!*“». В ту же минуту подхватил я извозчика и полетел ко дворцу или к Главному Штабу. Приезжаю и вижу: стоят два батальона смиренхонько — приметно только небольшое волнение в народе, взад и вперед мчатся экипажи, и народ перебегает с места на место. Но когда дошел я до Лобанова дома, толпа народа была несравненно гуще и раздался вдали ружейный залп. Я воротился на прежнее место, сел в сани и поехал чрез Итальянскую слободку на Пески в дом Моденова. Умно? Часа через два явился студент Мих. Изм^сайлов и рассказывал, как через его голову летели пули (он стоял у Адм^сиралтейства), как конница нападала на пехоту, как стреляла артиллерия и пр. и пр. На другой уже день — представь себе мое удивление — слышу, что предводителем мятежников был... угадай кто — *Завирашка Алексашка Бестужев!* Он, назвавшись адъютантом вел. кн. К^сонстантина П^савловича, обольжил две роты Московского полка и привел их к Сенату с саблею в одной руке и с трубкою в другой. Брат его Николай предводительствовал Гвардейским экипажем. В каре, составленном из штыков, был и сумасшедший наш, *Кюхельбекер*. Держа кинжал, кричал он, заикаясь, как слышали очевидцы: *Кон-стан-тин и Кон-ституция!* Один из солдат спросил своего товарища: *да кто эта конституция?* — «Экой ты, — отвечал этот, — *хозяйка К^сонстантина П^савловича (historique)*». ¹¹⁰ Тут же был, как говорят, и Кутейкин-Сомов, и Рылеев, и князь Одоевский, и Корнилович, и пр. и пр. Гр. Милорадовича застрелил, как утверждают одни, бывший кавказский вице-губернатор Грабегорский, который грабил самих горцев, а другие говорят, что кн. Одоевский.¹¹¹ — Бунтов-

г Чего хочет от меня этот человек (*франц.*).

щики не послушались ни гр. Милорадовича, ни митрополита, ни самого государя. Бодро стояли они, пока не употребили против них самого лучшего для вразумления доказательства — картечей. Тотчас пустились в ретираду на В. О. Конница преследовала их и переловила. В 6 часов вечера все уже было тихо. Государь в этот день показал и свою неустрашимость, и благоразумие, и милосердие, и даже великодушие. Всякий день слышишь об нем много такого, что истинно веселит сердце и подает несомненную надежду, что в его правление будем мы счастливы. Занимается много и очень дельно. Жене Рылеевой, которая просила его о несчастном и буйном своем муже, пожаловал 1000 р. и обещал сохранить его жизнь. Каждого мятежника лично сам допрашивал. Николая Бестужева, который схвачен был на Толбухином маяке, в матросском платье, велел накормить во дворце. Говорят, а правда или нет, утверждать не могу, будто государь сказал о Ник. Бестужеве, что одного только умного человека (т. е. его, Ник. Бес.) и нашел он между мятежниками. Поэтому и Сомов дурак?

Ах! скоты, скоты, мерзавцы! Представь себе, сочинили конституцию (верно хороша) и назначили кандидатов в сановники Республики, например Завиращку Бестужева хотели сделать третьим консулом, Кюхельбекера — цензором.

Кюхельбекера и теперь еще, кажется, ищут. — Имена прочих бунтовщиков: Каховский, Щепин-Ростовский (изверг, разбойник), Сутгоф, Панов (маленький, мерзвинский и пьяненький), кн. Оболенский (адъютант Бистрома), какой-то Пущин и Цебриков (дурак полусловестник).

Если бы имел я время, то вместо четырех страничек было бы о чем написать на четырех десятиях. Имена мятежников, как сегодня слышал я, напечатаны уже при Главном Штабе. Выдет в свет подробное описание этого злодейского и вздорного заговора <...>

У Греча и Булгарина болят животы. Желал бы с ними теперь встретиться. Теперь уже не лижут Завиращку, как прежде <...>

51

4 января 1826.

<...> Кюхельбекер как в воду канул. Один полицейский офицер привязался было к Мише <Измайлову>, сочтя его по росту и по сухощавости за несчастного поэта <...>

Говорят, будто уже подписан указ об отставке Магницкого. Если нужна смертная казнь, то для таких извергов, как он. Привязал бы его к лошадиному хвосту и размыкал бы по чистому полю.

Гр. Аракчеев, сказывают, собирается на теплые воды. Посадил бы его часиков на 10 в горячие.

Государь ложится обыкновенно в три часа по полуночи, а встает в 7 по утра. Занимается не пустяками, а делом. Истину сказать, что в течение трех недель сделал он больше доброго, чем иной в три года или в три десятилетия. Право, я влюблен в него, и не один.

Развертываю теперь свой журнал и памятные книжки.

Сказывают, будто 14 дек<абря> одного купца били у дворца за Константины, а у сената за Николая.

В этот день сестра Греча, который живет теперь на Исаакиевской площади, вышла на улицу и, услыша, что бунтовщики кричат: *Ура Константин!* сказала: — Как Константин? *Николай!* — чуть-чуть не благословил ее один пьяный солдат прикладом. По этому случаю Греч сказал следующее *bon mot*: «сестра издателя не утерпела, чтобы не *продержать корректуры*».

Сказывают, будто сумасшедший Кюхельбекер 14<го>, в день возмущения, метил из пистолета в великого князя Михаила Павловича; но один солдат (из бунтовщиков) ударил долговязого Дон-Кишота по руке, выругав его по-русски за такой злой умысел.¹¹² М. П. взял этого доброго солдата к себе в денщики.

Говорят, будто государь долго говорил с Ник. Бестужевым и сказал, что одного только умного человека, т. е. его, Бестужева, нашел между бунтовщиками. И действительно, правда. Не понимаю, как этот умный и благородный человек замешался между щенятами-головорезами.

Более всех струсили из них Рылеев, Сомов и князь Трубецкой. Последний, о подлец! божился перед государем, что он ни в чем не виноват; но когда уличили его собственным рукописанием, то он упал на колени и просил о сохранении ему живота. Как животолюбивы подлецы!

И митрополит струсил было, когда надобно было ему идти уговаривать бунтовщиков. «С кем же пойду я?», — спросил он одного генерала. — *С богом!* — отвечал тот <...>

52

15 января 1826.

<...> Сомов оправдался и освобожден. Я не видался еще с ним. Славно пошутил с Булгариным П. В. Кутузов. Призывает он его к себе и говорит ему, что Сомов бежал из крепости и скрывается в квартире Фадея Венедиктовича. Фадей перетрусился, клянется, божится, что этого не может быть, боится идти домой — однако идет, и первый предмет, представившийся ему в его квартире, был маркиз Г. с отросшею бородкою.¹¹³

Сомову в крепости было хорошо — давали, говорят, три блюда и поили чаем. Обходились благородно, не как при блаженной памяти Ст. Ив. Шешковском. Государь спросил Сомова: «Где Вы служите?». — В Российско-Американской компании. — «То-то хороша собралась у вас там компания!». И в самом деле, Рылеев был правителем дел, хотя прозою писать и не умел — а Завирашка Бестужев жил в квартире Сомова. Замечают, что во всех бывших в России мятежах всегда и везде замешаны были Бестужевы.

Календарь наш идет, как говорит Смирдин, порядочно. Булгарин расхвалил и тебя и меня по совести. Видно, не догадался, на какого журналиста метил ты в статье «Вблизи и издали». А в самом деле, альманах хоть куда — есть, правда, грешки, а особливо стишки. Зато поспел в две недели <...>

53

1 февраля 1826.

<...> Третьего дня в субботу первый раз был у меня Сомов. Все обступили его и слушали. С ним поступили очень благородно. Это второй освобожденный из крепости арестант.

Не помню, писал ли я тебе, что недели за две тому назад видел я у Шишкова родного его племянника, накануне выпущенного из той же Петропавловской крепости. И тот говорил почти то же самое, что и Сомов, — кормили их хорошо, поили чаем, помещение было порядочное, а обхождение без преувеличения преблагородное. Можно сказать, что никогда еще у нас так благородно с арестантами не поступали. Государь, дай бог ему здоровья! более и более заслуживает искреннюю любовь от народа и действует преумно.

Кто-то из санкюлотов сказал 14 декабря солдатам: *у нас будет республика!* — А кто же будет *царем?* — спросил его один простодушный воин. Кюхельбекер попался. Вот собака-то с жиру взбесилась. Если бы не дурацкий либерализм, был бы он теперь человеком <...>

54

11 февраля 1826.

<...> У брата твоего Михаила Л^сукьяновича был я в прошедшую пятницу и слушал, как пел он с Рупини дуэты из италяньских опер. У него были все лицейские. Теперь живет он один неподалеку от меня, в Стремянной улице. Нет при нем никого, кроме виолончели и кухарки немки, немолодой, лет тридцати пяти; впрочем, можно...

Новостей у нас достоверных нет, а слухов много. Например, вчера говорили некоторые, а ныне говорят уже и многие, будто какие-то анонимы, напоив допьяна сторожа Казанского собора и дав ему денег, убедили его, чтобы он позволил вкатить в погреб под церковь три бочонка или три бочки пороха, которые хотели поджечь в день отпевания покойного императора. Если это правда, то ужасно. Любопытно знать, кто глава наших безумных санкюлотов.

Еще говорят, будто стонет Финский залив от того, что бросили в него с 14-го на 15-е число декабря всех праведно и неправедно убиенных. Вернись ли, что есть скоты, которые говорят: *да, конечно, лучше бы похоронить хоть не бунтовщиков.* Время было рыть могилы и отпевать по кладбищам!

В Москве, как сказывают, переловлено около 70 мятежников, которые подбрасывали письма, будто покойный государь умерщвлен, будто вел. кн. Константин Павлович в заточении и подобные сему нелепости. Слава богу, однако, что во время прибытия туда тела покойного императора все было там тихо и покойно <...>

55

22 февраля 1826.

<...> Сам бог внушил тебе счастливую мысль о литографическом альбоме. Bravo! Bravo! Bravo! Хорошо. С 1-й недели поста примусь за дело и начну надписью к портрету незабвенной С. Д. <Пономаревой>. *Помяни!* Бесподобно! Знаешь ли, как мне опротивел журнал? Что ни будет, а уж не стану на следующий год издавать «Благонамеренного». Займусь лучше чем-нибудь другим. Журналов теперь у нас много; сотрудников у меня мало: только полуграмотные переводчики, беснующиеся рифмачи, а с ними хлопочи, хлопочи! Год прошел, и остальные экземпляры хоть брось, а всякое другое издание если не в год, то в три, ну хоть в четыре года разойдется, а после можно будет еще и перепечатать. Сколько в последние 8 лет, начиная с прошедшего 1818 по нынешний 1826, написал бы я басен! По крайней мере 200, и в том числе 100 хороших. Теория о басне и разбор образцов баснописцев или комментариев на них давно были бы кончены. Но увы! старая песня: *on fait ce qu'on peut et non pas ce qu'on veut.*^д

А все на 1827 год не стану издавать «Благонамеренного». Право, не шучу: *не хочу! не хочу! не хочу!* <...> Можно будет, кажется, напечатать в литографическом альбоме надпись С. Д. <Пономаревой> к портрету Крылова: «Писал как Лафонтен, а превзойти его ему мешала лень» <...> Ка-

^д Делают так, как можно, а не так, как хочется (*франц.*).

ендарь Муз, кажется, идет хорошо. По сие время взял я от Смирдина еньгами только 300 р. да сам продал 6 экз. Думаю, что Смирдин выручил же свои издержки, которые, как он говорил, простираться будут не выше 1500 р. Недели уже две я не видал его. Женился в прошедшее юскресенье на сироточке немочке. Вчера давал свадебный обед, но меня не позвал <...>

Вот маленький разговор, сочиненный неизвестным насмешником на счет графа Д. И. Хвостова и его супруги:

Она

Граф Дмитрий! не зевай:
На престоле Николай.

Он

О-ох, моя Темира!
Оробела моя лира.

А вот эпиграмма неизвестного же на трех славных словесников:

Великих тройка здесь певцов:
Шихматов, Шаховской, Шишков.

Уму есть тройка сопостатов:
Князь Шаховской, Шишков, Шихматов.

Кто ж всех глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской! ¹¹⁴

А что глупее — разговор или эпиграмма?

Недавно купил некто на Щукином дворе за сходную цену мои Басни. Пришел домой и давай читать; но как же удивился, когда, прочитав первые 8 страничек, увидел, что следующие листы вместо моих басен заключали в себе стихотворения графа Д. И. Хвостова <...>

Знаешь, как Оленин подписывается под своими виньетками? ☉ Злодей Булгарин сказал на этот счет *bon mot*: нуль на двух ножках. ¹¹⁵

Вчера и сегодня был я в Печальной комиссии. Пожалей обо мне, племянничек: я избран маршалом от Министерства финансов и в день перевезения тела в бозе почивающего Александра буду предводительствовать чиновниками, отряженными от 14 мест. Эту честь разделит со мной другой еще маршал, известный шарлатан и плут Салватори, который был во всех четырех частях света, даже в Сибири в 1812 году, и перелжет, кажется, самого Павлушку Свинына <...>

Вчера был я в театре — не в анатомическом, не в Большом, не в Малом, а в маленьком, крошечном, т. е. в театральной школе. Играли воспитанники: комедию Хмельницкого «Нерешительный» и оперу-водевиль «Ломоносов». Хоть настоящим актерам играть так. Право, голубчик, племянничек.

Скоро будет представлена, сперва в школе, а потом и на театре, оригинальная твоя комедия «Говорун». Теперь все заботятся о том, откуда смотреть печальную процессию. Платили за одно окно по сту, по двести и даже по триста рублей <...>

Вчера встретил я Греча и Булгарина. Последний вызвался вторично объявить о нашем альманахе. И он, и Греч сказали, что все рады для меня сделать <...>

На прошлой неделе прочел я в рукописи вторую главу «Онегина». Прелесть!

Баратынский издал романтическую поэму: Эда. Финляндская повесть. Все ругают его, а мне кажется, что она не так дурна <...>

Пятница. 26 февраля 1826.

«...» Мщение! мщение! любезный племянник! Полевой... *ах!* он купчихка! *ах, злодей!* обругал наш Календарь муз, разругал твою прозу и мои стихи!

Натужимся, напред, за перья! отомстим
И знать себя ему дадим!

Видно, захотел бессмертия! Хорошо, *кабачник*, узнает, каков *альманачник!*^е «...»

Четверг. 11 марта 1826.

Спасибо тебе, любезнейший мой племянник, и за письма твои, и за раздачу билетов «...» Если можешь еще раздать несколько билетов на «Благонамеренного», то раздай, а деньги оставь у себя. Не знаю, много ли разошлось нашего «Календаря Муз». Месяца уже полтора не видел я Смирдина. Вчера зашел было к нему поздравить его с законным браком и попросить у него денег, но не застал дома. Зайду завтра. Все был в хлопотах: не удалось даже отругаться от Полевого и Свинына,¹¹⁶ а славно их отделаю. Непременно, непременно! «...»

Рассказать ли тебе о печальной процессии, в которой и я минувшую субботу отличался? Я не видал ничего, кроме войск, расположенных по обеим сторонам улиц, разноцветной толпы народа на подмостках и на балконах и двух-трех церемониймейстеров верхами с пестрыми перевязями через плечо. А церемония была препышная. Подгадили только наша братья подьячие — перепились некоторые с горя. Иные во время марша вынимали из кармана скляночки и буль-булькали, другие ели булки и пироги, многие писали вензеля — шли не в ногу, неровно — одно отделение отставало от другого сажень на 50 или более. Всех лучше шли духовные, а после них ямщики и цеховые с значками. Я шел переважно с железом и заслужил от многих знакомых и незнакомых дам большую похвалу. А говорят, какой-то другой маршал по окончании церемонии сел на свой жезл или штаб верхом, как дети, и проехал таким образом несколько шагов. Какой-то чиновник в траурной мантии и в большой шляпе, потерявший свое отделение, паясничал на Казанской площади и забавлял солдат. Несколько человек упало с кровель и ушиблось до смерти. Две дамы в Гостином дворе стали (за деньги) на сороковую бочку и провалились в нее. — Когда пронесли регалии и один офицер спросил солдата, что это такое, то сей последний отвечал: ракалии, ваше благородие! Знаешь ли карлика Анчапова? Насмешники выдумали, будто зрители во время процессии, увидя его, спрашивали: *не наследник ли этот малютка?* А этому малютке уже за 50 лет. — Ассистент Голстинского герба заходил с ним в герберг и чуть было его там не забыл. Вот и все наши субботние анекдоты «...»

Вторник. 13 апреля 1826.

«...» Спасибо тебе, голубчик, за отрывки из Путешествия в Персию. Не прочел еще, а знаю, что хороши. Авось эта статья прибавит несколько подписчиков на «Благонамеренного». Много что-то хотел написать я тебе, да забыл «...»

Да... вышли Северные Цветы. Стихов еще не читал, а прозу кончил сегодня. Нет, проза в Календаре Муз несравненно лучше, чем в Северных

^е Новое слово, изобретенное Полевым. (Примеч. А. Е. Измайлова).

Цветах. Писесы пресухие, хотя занимательны по содержанию и довольно хорошо написаны. Кроме «Трактирной лестницы» (Н. Бестужева, преобразившегося в Коростылева) и путешествия Илличевского на Сен-Бернар, прочие прозаические писесы, по моему мнению, не могли иметь место в альманахе, а лучше бы поместить их в журнале, и то не литературном, а ученом <...>

С завтрашнего дни начну писать «Мысли, замечания и воспоминания философа на Песках» и стану по несколько страниц помещать в каждой книжке «Благонамеренного». Работа легкая — пиши с плеча. Как ни худо будет, а все лучше плохих переводов. Надоели они мне, проклятые, пуще горькой редьки. Стану больше писать сам, а для наполнения книжек вместо переводов помещать выписки из новых книг. Хорошо ли, племянничек? Скажи правду. Присылай и ты мне почаще *Смесь*. — Да будет «Благонамеренный» весь — *Смесь*. Кончить бы как-нибудь нынешний год, но кончить с шумом. Пособи поругаться. Не откажи в этом невинном удовольствии доброму твоему дяде <...>

Театр откроется здесь тотчас по отбытии государя. Славно! Можно будет размыкать хандру в директорской ложе. Смотри даром. Скоро, говорят, будет разрешение писать о театре.

Следственной комиссии велено разбирать одни только *дела* бунтовщиков, а не *мнения*. Как умно и благородно! Дай бог здоровья государю: я более и более влюбляюсь в него, и у меня множество соперников. Сказывают, будто мятежники будут в заключение судимы Сенатом, Советом и Синодом и будто при слушании этого дела скрыты будут имена преступников, а изложены только одни их поступки <...> Граф Хвостов с братиею хочет выдавать какой-то словарь писателей и просит неотступно моей биографии. Пришли-ка и свою <...>

59

Пятница. 28 мая 1826.

<...> Как благодарен я тебе за «Хлыновского Наблюдателя». Многие статьи из него переписаны для «Благонамеренного» и отданы А. С. Бирухову. Что будешь делать с цензорами? Где только говорится хоть о капельке крови, о какой-нибудь вздорной дуэли, о разбойнике, а не то чтобы о разбойниках возмутителях — *нельзя пропустить по нынешним обстоятельствам, особливо в журналах — перетолкуют, — конечно, это очень хорошо, тут нет ничего — но все нельзя пропустить*. Нет на цензоров апелляции — министр просвещения, молодой человек,¹¹⁷ думает не о нашей братии журналистах, не о делах — а <о> своей миленькой Лобаржевской. Проклятый старик! Ну черт ли ему в *amour platonique* * <...> Отрывки из «Путешествия в Персию» напечатаны. Спасибо Тимковскому: исходатайствовал позволения напечатать их в «Благонамеренном» и сверх того поправил многие ошибки, сличив записки неизвестного сочинителя с подлинными донесениями генерала Ермолова <...>

Календаря Муз продано у Смирдина 330 экз. Он подал мне счет, по которому выходит, что получено барыша еще только около тысячи рублей. Десятков шесть еще перебрано мною. Что за благородный малый Смирдин. Все прочие книгопродавцы, даже лучший из них Сленин, не стоят пальчика Смирдина. Никогда не отказывает в деньгах и даже иногда дает вперед.

Не знаю, что мне делать? Хочу просить у государя денег хоть займы на издание басен. Но как? Через кого? На министра просвещения плохая надежда <...> — Не подать ли прямо государю. Как примет? Но за что же, кажется, рассердиться? Он любит правду и покровительствует литераторам. Думаю все, думаю и еще подумую <...>

* Платонической любви (*франц.*).

22 июля 1826.

<...> Справедливо написал ты, что при нынешнем государе *весело на сердце и светло на уме*. Я влюбился в него. И умен, и добр. Сказывают, что он прослезился, когда донесли ему о свершении казни над пятерыми злоумышленниками, поставленными вне разрядов. На другой день, т. е. 13 числа, четыре раза присылал он к несчастной вдове Рылеева чиновника, которому сам дал нужные по сему случаю наставления. Когда взяла мужа ее, давно уже приговоренного родною матерью и бабушкой к виселице, то государыня Александра Федоровна прислала ей 3 т^{тыс.} р. и приказала сказать, чтобы в случае какой нужды обращалась она прямо к ней. На другой день казни государь послал к Рылеевой еще 3 т^{тыс.} р. и сказал чиновнику: «Ты, братец, отдай деньги не ей самой, а кому-нибудь из ближних». Платят за нее казенные и партикулярные долги, всего 8 т^{тыс.} р., отправляют ее на казенный счет к матери, и малютку дочь ее возьмут для воспитания в казенное заведение, когда решится она расстаться с нею. Старший брат Пестеля сделан флигель-адъютантом, а отцу их (не знаю, правда ли уже или нет) дано 5 т^{тыс.} р. Говорят, будто он ничего не нажил в Сибири. Младший Пестель переведен из Конного полка в Конную гвардию <...>

Пятница. 17 сентября 1826.

<...> Книжной торговли у нас в Петербурге во все лето не было. Продавались только: «Донесение Следственной комиссии», церемониалы о короновании и Всемиловивейший манифест. Ни здешние, ни иногородние не берут даже превосходного издания Басен Крылова. Недели уже две как вышла первая книжка моих Басен, а я продал только два экземпляра и то не в лавках. Жалованье забрано вперед, кредиту нет, а займодавцы приступают — но *все к лучшему!*

Обрадую тебя известием об А. Пушкине. С неделю назад слышал я, что приехал к нему фельдъегерь и увез его в Москву. Теперь слышу, и это, верно, достоверно, что в Москве представлен он был доброму и умному нашему государю, который (как *говорят*) говорил с ним целый час и простил его. — Дай бог, чтоб такая неожиданная милость подействовала на шалуна-поэта и послужила к совершенному его исправлению.¹¹⁸

Матюшка Заикин зажил у меня 10 р. и насакал мне грубостей за Сленина и Смирдина. — За это написал я сказку: «Торгаш-Матюшка».⁵ Булгарин поцеловал меня за это в щечку (за Павлушку¹¹⁹ благодарил на коленях). Утром часу во 2-м взял он ее у меня, а вечером уже вся просвещенная петербургская публика знала об ней, и многие в тот же самый день говорили мне на счет этого в театре комплименты. «Да у кого вы читали?» — У Булгарина! Мастер, собака, распространять новости. Всякий раз, как я с ним встречаюсь, называет он меня *папенькою*. Сколько у меня крестных сынков! <...>

Недавно виделся я с возвратившимся из Москвы Смирдиным и говорил с ним на счет «Календаря Муз» на 1827 г. Кажется, можно будет прибегнуть к изданию, хотя и не останусь в Петербурге. Со Смирдиным можно иметь дело. Истинно он самый лучший и честнейший из всех здешних книгопродавцев. Пришли сюда, что у тебя есть. Прозы, прозы больше, а стихов как можно меньше. Вот программа для нашего альманаха <...>

⁸ Не сказка, а быль! Матюшка купил у сестры покойного Хемницера оригинал его Басен, трагедию «Китайский Сирота» и пр. и пр. за 200 р.!!! (Примеч. А. Е. Измайлова).

Воскресенье. 26 сентября 1826.

«...» Рассмешить ли тебя ссорю мою с Матюшкою Заикиным? «...» Эка память! И забыл, что писал уже об этом. Однако надобно сказать о последствиях. В прошедший понедельник является ко мне утром Матюшка в самое то время, когда я писал о себе записку для представления министру.¹²⁰ Является, кланяется, просит у меня прощения. Жалко стало — простил его и дал слово не печатать своей сказки. После того услышал я, что у Матюшки был консилиум из всех братьев под предводительством отца, маститого Ивана Заикина. Были в этом комитете и почетные члены — ученые пьяницы. Сочинили на меня какую-то жалобу и просили Смирдина, чтобы тот пошел в свидетели, якобы слышал от меня, что сказка точно написана на Матюшку Заикина. Но Смирдин отказался быть свидетелем. По просьбе их разодрал он мою сказку, которая, однако, ходит теперь везде по рукам. По просьбе Матюшки какой-то из подраженных им словесников написал и на меня какую-то басню или стихи. Не читал еще — достану, так и тебе пришлю «...»

28 окт⟨ября⟩ 1826.

«...» Новая цензура, чтобы не сглазить ее, кажется гораздо благоумнее и снисходительнее прежней. Один только фанатик Красовский по временам неистовствует. Не хотел пропустить в оде одного рифмача слово *бабка*, почитая это оскорблением для блаженной памяти Екатерины II «...»

Добрый и умный государь наш славный хозяин. Нынче делает он сюрпризы училищам: был в Гимназии и в Военносиротском корпусе. Первого остался доволен, приказал кой-что перестроить и прибавить, а в последнем пошумел, найдя творения И. С. Баркова под подушкой одного баловня-кадета. Броневский, инспектор Тульского или Александровского Военного училища, который недавно оттуда привез сюда кадет, сказывал мне, что государь у них входил во все подробности и, услышав, что в течение 12-ти лет умер один только кадет, пожаловал штаб-лекару орден св. Анны 2-го класса. Там же сказал он, что у нас все почти небольшие заведения лучше больших. Еще что у нас идет все *aureours*,[»] т. е. что женские училища лучше мужских и солдатские лучше дворянских. И правда! «...»

Пятница. 5 ноября 1826.

«...» Для Календаря Муз получил уже несколько весьма хороших материалов. Вчера дали мне «Роман моего отца»,¹²¹ стих. повесть, под которой не постыдился бы и Пушкин подписать своего имени, да превосходную большую прозаическую статью «Пустынный на празднике»¹²² «...» Чуть-чуть было не попал я на место Жуковского в учителя русского языка к вел. кн. Елене Павловне, да перебил Плетнев «...»

12 ноября 1826.

Старшему ревизору межевых контор нижеподписавшийся тверской вице-губернатор здравия, благоденствия и скорейшего выезда из Вятки желает.

[»] Наоборот (франц.).

5 числа) нынешнего месяца подписан именной высочайший указ о бытии мне вице-губернатором в Твери. Теперь *бери*, да в оба смотри. Ах, любезнейший племянник! другие вице-губернаторы при определении их радуются, а я грущу, грущу да денег ищу.

Несколько статей для Календаря» Муз подписано цензором и отослано в типографию. Новые цензоры, кроме разве одного Анастасевича, несравненно рассудительнее и снисходительнее прежних. Не могу нахвалиться их благосклонностью и вежливостью. «Разбойники»¹²³ уже в типографии.

В начале декабря, вероятно, буду уже я в Твери, а Катерина Ивановна останется здесь до мая или июня. Пиши ко мне смело в Тверь. Пришли свою повесть ради Христа. Распоряжусь так, что Календарь» М«уз» кончится и без меня. Много есть очень хороших пьес. Прости — почта отходит, а дядюшка от хлопот с ума сходит.

Твой до гроба А. Измайлов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В «Сыне отечества» (1820, ч. 63, № 30) была напечатана рецензия на стихотворение Жуковского «Подробный отчет о Луне, представленный ее имп. велич. государыне имп. Марии Федоровне 1820, июня 18, в Павловске» (СПб., 1820).

² Цитата из басни И. А. Крылова «Слон и моска».

³ Цертелев Николай Андреевич, Капнист Василий Васильевич, Рихтер Александр Федорович, Лыкошин Яков Михайлович — члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

⁴ В № 33 «Сына отечества» было объявлено о согласии Жуковского «быть постоянным сотрудником» журнала и «ни в каком другом издании не помещать своих произведений». О Воейкове сообщалось, что он «разделяет отныне труды» с Гречем «по части Наук и Словесности» (с. 328—329).

⁵ О предполагаемом участии Кюхельбекера в издании «Невского зрителя» было известно из протоколов Вольного общества любителей российской словесности (см.: Базанов В. Г. Ученая республика. М.—Л., 1964, с. 152—163), однако официальными редакторами журнала числились Г. П. Кругликов и И. Сниткин. Из письма Измайлова следует, что в первой половине 1820 г. журналу грозило запрещение. По-видимому, это связано с доносом В. Н. Каразина, в котором упоминались стихотворения Баратынского («Прощание») и Пушкина («Кюхельбекеру», в позднейшей редакции «Разлука»), напечатанные в журнале (о доносе Каразина см.: там же, с. 141—147).

⁶ Имеется в виду книга Н. А. Цертелева «О произведениях древней русской поэзии» (СПб., 1820).

⁷ Отрывок о Пушкине опубликован, см.: ЛН, т. 58, с. 35.

⁸ Имеется в виду стихотворение Кюхельбекера «Дифирамб. Из Бакхилида» (Соревнователь просвещения, 1820, № 7, с. 94).

⁹ До середины 1820 г. цензорами «Благонамеренного» были И. О. Тимковский и И. И. Ястребцов, затем — А. С. Бируков. «Чурбан» и «Журавль» — персонажи басни И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя».

¹⁰ Отрывок о Кюхельбекере и Дельвиге опубликован, см.: Дельвиг, с. 46.

¹¹ «Кухмистерский стол» в «Благонамеренном» напечатан не был.

¹² Имеется в виду глава «Модная лавка» из очерка П. Л. Яковлева «Чувствительное путешествие по Невскому проспекту» (Благонамеренный, 1820, ч. 11, № 13, с. 11—15). С. Д. Пономарева (1800—1824) выведена здесь под именем мадам N.

¹³ «Братец» — Николай Лукьянович Яковлев, литератор. Свои стихи подписывал: «14—33» (см. письмо 13).

¹⁴ Воейков в своей рецензии (Сын отечества, 1820, № 34—37) возмущался «мужицкими рифмами» Пушкина; Измайлов выступил в защиту поэта (Благонамеренный, 1820, ч. 11, № 18, с. 405—406). «Эпиграммы» Дельвига и Крылова напечатаны в «Сыне отечества» (1820, ч. 64, № 38, с. 233). Отрывок о Дельвиге и Крылове опубликован, см.: Дельвиг, с. 478.

¹⁵ Пьянюшкин — персонаж басни Измайлова «Пьяница». Далее содержится намек на полемику «Благонамеренного» с «Вестником Европы» (см.: Благонамеренный, 1818, ч. 3, с. 218—222; Вестник Европы, 1818, ч. 99, с. 39—57; ч. 101, с. 307—312). Аристарх Иванович последний раз упоминается в направленной против М. Т. Каченовского статье П. Л. Яковлева «Рассказы Лужицкого старца и мои воспоминания о нем» (Благонамеренный, 1820, ч. 9, № 4, с. 217—238).

¹⁶ Ф. П. Львов издавал в 1813 г. «Письма Схимнина». Перечень пьес, прочитанных в Обществе соревнователей Львовым и Ф. Н. Глинкой, см.: Базанов В. Г. Ученая республика, с. 425, 427.

¹⁷ Это стихотворение Дельвига неизвестно. Б. В. Томашевский связывает слова Измайлова со стихотворением «К Софии» (Дельвиг, с. 481).

¹⁸ Речь идет о рецензии на статью А. Бестужева в «Полярной звезде» на 1823 г.: И—е. О взгляде на старую и новую словесность в России. — Вестник Европы, 1823, ч. 127, № 2, с. 139—147. Измайлов здесь и повсюду вместо «Бестужев» пишет «Безстужев».

¹⁹ Заключительные строки басни Н. Л. Яковлева «Лисица» напечатаны в «Благонамеренном» (1823, ч. 23, № 15, с. 233) с изъятием слова «добрый» («Так секретарь вздыхает...»).

²⁰ В «Объявлении о стихотворениях моего приятеля NN» (Благонамеренный, 1823, ч. 21, № 5) напечатано: «В Москве, в Петербурге не знают приятеля моего. Ни его баллад, ни его песен, ни его комедий, ни его трагедий». «Объявление» было направлено против П. А. Катенина.

²¹ Повесть Г. Клаурене «Заблуждение любви» напечатана в № 8 «Библиотеки для чтения» за 1823 г.

²² Имеются в виду «Сатирические ведомости», напечатанные в «Благонамеренном» (1823, № 13 и 18, отдел «Смесь»).

²³ Перевод «Кавказского пленника», о котором пишет Измайлов, неизвестен; также неясно, кого он называет «Сенькой». Сен-Тома — переводчик «Истории государства Российского» на французский язык.

²⁴ «Малорослый» — Федор Николаевич Глинка.

²⁵ Членами «Общества несчастных, довольных собой» Измайлов называет П. А. Катенина и его литературных единомышленников, в частности Н. И. Бахтина, напечатавшего в «Вестнике Европы» (1823, № 3—4) статью «О стихотворениях г. Катенина». Статья напечатана без подписи. Инициалы И. И. — описка Измайлова (вместо Н. И.). «Уездный стихотворец» и «Двоюродный братец» — П. А. Катенин (см. письмо от 15 марта 1823 и примеч. 20).

²⁶ Жуи В.-Ж.-Э. (1789—1852) — французский журналист и очеркист. В «Полярной звезде» на 1823 г. А. Бестужев писал: «П. Яковлев обещает многое вроде Жуи» (с. 40). В Обществе соревнователей Яковлев не был принят.

²⁷ «Уездный стихотворец» — герой памфлетного «Объявления» (см. примеч. 20).

²⁸ Отрывки из «Истории» Карамзина на этом заседании Общества не читались, а сам Карамзин не присутствовал.

²⁹ Статья Н. А. Цертелова «О философических или нравоучительных одах Державина», первоначально намеченная к чтению на публичном заседании, была отклонена и прочитана в Обществе позже. Подробно об этом см.: Базанов В. Г. Ученая республика, с. 290—316, 426; см. также письмо А. А. Бестужева к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г.: ЛН, т. 60, ч. 1. М., 1956, с. 203—206.

³⁰ Статья О. М. Сомова «О романтической поэзии» читалась в Обществе соревнователей в 1823 г. и была напечатана в «Соревнователе просвещения» (1823, ч. 23, кн. 1—3; ч. 24, кн. 2).

³¹ С живописью Теньера сравнил творчество Измайлова Бестужев (Полярная звезда на 1823 г., с. 18). На публичном собрании 22 мая 1823 г. Измайлов читал три сказки: «Бегун и клыча», «Так да не так» и «Сметливый эконоом» (см.: Базанов В. Г. Ученая республика, с. 300—301).

³² Нравоописательные очерки П. Л. Яковлева «Записки Москвича» печатались в «Благонамеренном» в 1823 г. (№ 8, 23, 24).

³³ Старый министр финансов — известный казнокрад Д. А. Гурьев, новый министр — Е. Ф. Канкрин.

³⁴ Элегия эта и автор ее неизвестны.

³⁵ Сведения о подготовке к этому собранию и о самом собрании, которое состоялось не 17-го (как пишет Измайлов), а 22 мая 1823 г., см.: Базанов В. Г. Ученая республика, с. 292—293. См. также письмо А. А. Бестужева к П. А. Вяземскому от 3 мая 1823 г. (ЛН, т. 60, ч. 1. М., 1956, с. 203—206). Обещанное письмо к Яковлеву, по-видимому, не было написано.

³⁶ Речь идет о Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств.

³⁷ Александра Михайловна Колосова (1802—1880) — петербургская драматическая актриса. В 1822—1823 гг. она была в Париже.

³⁸ С 1821 г. Измайлов занимал место начальника отдела в Департаменте государственного казначейства.

³⁹ Басня Измайлова «Слон и собаки», направленная против Булгарина и Греча, была напечатана в «Северной пчеле» лишь в 1849 г. (№ 142, с. 566).

⁴⁰ «Revue Encyclopédique» («Энциклопедическое обозрение») — журнал, издававшийся в Париже в 1819—1835 гг.

⁴¹ Эраст Лиодорович Чертополохов, автор баллад, элегий и чувствительных повестей, — герой повести П. Л. Яковлева «Несчастия от слез и вздохов», печатавшейся в «Благонамеренном» в 1824 и 1825 гг. Среди писем к Яковлеву имеется листок с записью рукой Измайлова пяти следующих эпиграмм Б. Федорова на Булгарина.

1

Фадей, под разные подделываясь лица,
С волшебным фонарем обходит белый свет:
Правдоподобные он кажет небыллицы,
Так странно ль, что за ложь бывшее выдает.

2

Фадей стал горд и по причине:
Не два журнала; три пойдут с его пера!!!
Но, издавая три журнала в половине,
Он будет издавать лишь только полтора.

3

Кто осужден носить сей вид фатальный?
В словесности преступник криминальный,
С волшебным фонарем двуличный чародей,
Убийца логики, грамматики злодей... Фадей!

4

Архипка залетел в архив,
В Сыны Отечества попал глава нахалов;
Шмель за пчелу жужжит, и стал Фадей спесив,
Безграмотный издатель трех журналов.

5

Ну исполать Фадею!
Пример прекрасный подает!
Против отечества давно ль служил злодею;
А Сын Отечества теперь он издает.

⁴² Речь идет об очерке Булгарина «Военная жизнь. Письмо к Н. И. Гречу» (Литературные листки, 1824, ч. 1, № 1, 2). «Улан» Радожицкого в «Благонамеренном» напечатан не был.

⁴³ Т. е. в журнал «Новости литературы».

⁴⁴ Речь идет о Михаиле Лукьяновиче Яковлеве.

⁴⁵ Лобанов Михаил Евстафьевич — писатель, член Российской академии.

⁴⁶ Имеются в виду водевиль Шаховского «Эзоп у Ксанфа» и пьеса Э. Бурсо (1801).

⁴⁷ Речь идет о сказке Измайлова «Приказные синонимы».

⁴⁸ По-видимому, имеется в виду «Логогриф» (Дамский журнал, 1824, ч. 7, № 20, с. 59).

⁴⁹ Ежова Екатерина Семеновна (1788—1836) — комическая актриса. Фин — «Фин. Волшебная комедия в стихах, соч. кн. А. А. Шаховского из эпизода поэмы „Руслан и Людмила“». О «Езопе» см. в письме от 31 октября 1824 г. (письмо 13).

⁵⁰ Эта статья П. Л. Яковлева была напечатана в № 16 «Благонамеренного» за 1824 г.

⁵¹ В статье «Ответ издателя „Благонамеренного“ г. Чахоткину» (1824, ч. 25, с. 287) приведено двустишие «Друзья, не станем пить воды — От ней великие беды» с примечанием: «Из песни, переведенной мною с французского „Опасности от воды“. Музыка соч. Г. Нилина и Грибового».

⁵² В статье «О наводнении в Петербурге. Письмо к П. Л. Яковлеву 13 ноября 1824» (Благонамеренный, 1825, ч. 29) только в самых общих чертах сообщается о бедствиях населения; основное внимание уделяется Александру I и его поведению во время наводнения.

⁵³ «Все к лучшему» — слова героя повести Вольтера «Кандид» Панглоса, проносимые им всякий раз после очередного бедствия.

⁵⁴ Речь идет о рецензии Н. И. Бахтина в IV томе «Mercure du XIX siècle» за 1824 г. на изданную Эмилем Дюпре де Сент-Мором (1772—1854) «Русскую антологию с приложением восточных стихотворений» («L'Antologie russe, suivie de poésies orientales»). Бахтин давал краткий очерк русской поэзии от Кантемира до современности. В русском переводе статья Бахтина была напечатана в «Вестнике Европы» (1824, ч. 138, № 22) под заглавием «Некоторые замечания россиянина, живущего ныне в Париже, на Русскую Антологию Дюпре де Сент-Мора».

⁵⁵ См. рецензию Булгарина на повесть Нарезного «Бурсак» (Литературные листки, 1824, ч. 3, № 19—20, с. 49).

⁵⁶ Отрывок о Кюхельбекере опубликован, см.: ЛН, т. 59, с. 532. Измайлов имеет в виду «Разговор с Ф. В. Булгариным» Кюхельбекера и критику В. Ф. Одоевского «Прибавление к предыдущему Разговору, или Замечания на статью, напечатанную в № 38 „Сына Отечества“ под заглавием: Журнальные статьи к. Одоевского» (Мнемозина, ч. III, 1824, с. 157—188).

⁵⁷ София — С. Д. Пономарева.

⁵⁸ Эпиграмма «На Голицына» в «Полном собрании сочинений» Пушкина (II, 127; 4-я строка: «Покровитель Бантыша») датируется апрелем 1817—1820 г. по аналогии с другими его политическими эпиграммами, написанными до ссылки.

⁵⁹ В 1823 г. Синод поручил архиепископу Филарету составить катехизис, в котором все тексты были бы переведены на русский язык.

⁶⁰ «Большие» стихи Д. И. Хвостова — «Послание NN о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября» — напечатаны в «Невском альманахе» на 1825 г. (СПб., 1825, с. 34—44). В «Благонамеренном» стихов Хвостова о наводнении нет.

⁶¹ Яценков Григорий Максимович — цензор.

⁶² Эпизод с Дельвигом и Б. Федоровым напечатан: Дельвиг, с. 493. Второе письмо о наводнении в Петербурге к П. Л. Яковлеву (Благонамеренный, 1824, ч. 29, № 2) содержит в основном забавные анекдотические происшествия. Анекдот о Дельвиге и Федорове приведен здесь, но с заменой имен на «классика» и «романтика», с другими стихотворными строчками и с басенной концовкой: «бранились, бранились романтик с классиком, кричали и наконец со спин носильщиков упали да попали в воду».

⁶³ Упоминаемая статья Свинына о наводнении в «Отечественных записках» (1824, ч. 20, № 55) носит официальный характер и состоит в основном из перечисления мер, принятых правительством, в частности Аракчеевым, для ликвидации последствий наводнения, а размеры бедствия сглажены.

⁶⁴ Имеется в виду баллада Жуковского «Смальгольмский барон».

⁶⁵ Отрывок о Дельвиге напечатан, см.: Дельвиг, с. 486.

⁶⁶ Об этом обеде см.: Бестужев в А. А. Знакомство с Грибоедовым. — В кн.: Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 528. Бестужев называет только инициалы Чебышева: «М. К. Ч.». М. К. Азадовский предположительно расшифровал их как «М. К. Чепегов» (там же, с. 805). Письмо Измайлова раскрывает подлинное имя «мечената».

⁶⁷ Имеется в виду Булгарин.

⁶⁸ Катенька — жена Измайлова Екатерина Ивановна.

⁶⁹ См. статью Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствие по свету в ХХIX веке» (Северный архив, 1825, ч. 13, № 2).

⁷⁰ Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — член Главного правления училищ, известный своей реакционностью.

⁷¹ Новосильцев Николай Николаевич (1761—1836) заведовал комитетом по учебной части в Царстве Польском.

⁷² Речь идет об отзыве Булгарина на драму Б. Федорова «Путешествие Ванюши» (Сын отечества, 1825, ч. 99, с. 439—440).

⁷³ См.: Русский инвалид, 1825, № 40, 17 февраля, с. 161.

⁷⁴ По-видимому, имеется в виду не В. Ф. Одоевский, а П. А. Вяземский, прививавший деятельное участие в «Московском телеграфе».

⁷⁵ В журнале Греча «Сын отечества» (1825, ч. 100, № 6, с. 164—183) напечатана рецензия О. М. Сомова на поэму В. Н. Олина.

⁷⁶ Отрывок о Пушкине опубликован, см.: ЛН, т. 58, с. 47.

⁷⁷ Дочки Измайлова заканчивали Смольный институт.

⁷⁸ Речь идет о статье «Веселое путешествие. Письмо издателя к старшей дочери» (Благонамеренный, 1825, ч. 29, с. 263—270, 424—433).

⁷⁹ Имеются в виду драматические сценки Измайлова; см.: Благонамеренный, 1825, ч. 29, с. 57, 251, 303—305; ч. 30, с. 28.

⁸⁰ Строка из стихотворения Д. Давыдова «Поляки, с русскими Вы не вступайте в схватку» (см.: Давыдов Д. Полн. собр. соч. Л., 1933, с. 121). У Давыдова: «Мы вас глотнем...».

⁸¹ В начале письма речь идет о пожаре в Петербурге, во время которого сгорел Новый театр.

⁸² Измайлов имеет в виду стихотворение Хвостова, напечатанное в «Невском альманахе» на 1825 г. (см. примеч. 60).

⁸³ В «Полярной звезде» на 1825 г. напечатаны три «восточные повести» О. И. Сенковского: «Деревянная красавица» (с татарского), «Истинное великодушие» (с арабского) и «Урок неблагоприятным» (с персидского).

⁸⁴ Далее Измайлов приводит выписки из своей «памятной книжки».

⁸⁵ По-видимому, имеется в виду сам П. Л. Яковлев, «критика» которого не была напечатана в «Благонамеренном». Частично эта «критика» могла быть использована в статье Яковлева «О новейших словах и выражениях, изобретенных российскими поэтами в 1825 г.» (Календарь муз на 1826 г. СПб., 1825).

⁸⁶ Отрывок о Кюхельбекере напечатан, см.: ЛН, т. 59, ч. 1, с. 534.

⁸⁷ Речь идет о статье П. Л. Яковлева «Взгляд на нынешнее состояние наук в Испании».

⁸⁸ 4 мая 1824 г. скончалась С. Д. Пономарева.

⁸⁹ Стихи из басни Измайлова «Пьяница». Эпизод с фон Дезином описан М. А. Бестужевым. Причиной столкновения был отказ фон Дезина, оскорбившего мать А. А. Бестужева, от дуэли с последним. «Рылеев встретил его (фон Дезина. — Я. Л.) случайно на улице и в ответ на его дерзости исхлестал его глупую

рожу кравашем, бвышим в его руке» (Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 55).

⁹⁰ В «Книжных известиях» этого номера «Благонамеренного» Измайлов рекомендует читателям книгу П. Енгальчева «О продолжении человеческой жизни» и полемизирует с отзывом на нее в «Северной пчеле» (1825, № 68).

⁹¹ Отрывки о Кюхельбекере опубликованы, см.: ЛН, т. 59, ч. 1, с. 534, 536.

⁹² По-видимому, имеется в виду издание: Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände (Conversations Lexicon). Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1824. Ниже речь идет об Н. Ф. Остолопове, который в октябре 1825 г. занял должность директора петербургских театров вместо А. А. Майкова.

⁹³ По-видимому, имеются в виду статьи в IV части «Мнемозины» (вышла в октябре 1825 г.): «Короткий ответ кн. Одоевского г-ну Булгарину», «Замечание на письмо к изд. Л<итературных> л<истков> госп. Ий-ова», «Несколько слов о Мнемозине самих издателей».

⁹⁴ Алябьев Александр Николаевич (1802—1852) — композитор.

⁹⁵ Отрывок о дуэли Чернова и Новосильцева напечатан, см.: ЛН, т. 59, ч. 1, с. 536. А. А. Бестужев не был секундантом Чернова.

⁹⁶ Отрывок о Пушкине напечатан, см.: ЛН, т. 58, с. 50. Описания ярмарки у Пушкина нет.

⁹⁷ Далее следует анекдот о рогатом попе, напечатанный М. К. Азадовским в комментариях к «Русским народным сказкам» А. П. Афанасьева (т. II. Л.—М., 1938, с. 629—630).

⁹⁸ Кума — Даргомыжская Мария Борисовна.

⁹⁹ Именинник — Даргомыжский Сергей Николаевич (1789—1864), отец композитора.

¹⁰⁰ Письмо датировано: «Понедельник. 16 июля 1825», но это описка Измайлова; оно содержит сведения о свадьбе Дельвига, состоявшейся 30 октября 1825 г.

¹⁰¹ Отрывок о стихотворении «На смерть Чернова» печатался несколько раз. В. Н. Орлов и Н. И. Мордовченко пользовались им для подтверждения авторства Кюхельбекера, А. Г. Цейтлин и М. К. Азадовский (М. Константинов) считали автором стихотворения Рылеева (подробно об этом см.: ЛН, т. 59, ч. 1, с. 268—269, 534—537).

¹⁰² В конце письма приписка: «а письма мои о Настасье и митрополите сожги; пусть их горят, окаянные».

¹⁰³ «Мизантроп» — комедия Мольера, «Валерия, или Слепая» — комедия Э. Скриба, «Урок кокеткам» — комедия А. Шаховского, «Меропа» — трагедия Вольтера, «Медея» — трагедия Жанжерова.

¹⁰⁴ Ястребцов Иван Иванович (1775—1839) — член Российской Академии, цензор (см. также примеч. 9).

¹⁰⁵ Речь идет о «Втором послании к цензору».

¹⁰⁶ Отрывки о Кюхельбекере напечатаны, см.: ЛН, т. 59, с. 536, 537.

¹⁰⁷ Статья Яковлева «О новейших словах и выражениях, изобретенных российскими поэтами в 1825 году» напечатана в «Календаре муз» на 1827 г.

¹⁰⁸ Т. е. Аракчеев.

¹⁰⁹ Отрывки из писем от 24 декабря 1825 г., 4 и 15 января, 16 февраля и 22 июля 1826 г., относящиеся к восстанию 14 декабря, напечатаны, см.: Памяти декабристов, т. I. Л., 1926, с. 238—248.

¹¹⁰ Анекдот о Константине и конституции приводится во многих источниках, однако достоверность его не доказана.

¹¹¹ М. А. Милорадович в действительности был убит П. Г. Каховским.

¹¹² Выстрел Кюхельбекера в действительности предотвратил Петр Бестужев.

¹¹³ «Маркис Г.» — герой повести П. Л. Яковлева «Несчастья от слез и вздох». Здесь под ним подразумевается Сомов.

¹¹⁴ Эпиграмма написана Пушкиным в 1815 г. Измайлов приводит ее с ошибками — 1-ю и 4-ю строки следует читать: «Угрюмых тройка есть певцов» и «Шшиков наш, Шаховской, Шихматов».

¹¹⁵ Ср. в черновых вариантах «Евгения Онегина»: «Нулек на ножках» (VI, 514).

¹¹⁶ См. отзывы на «Календарь муз»: Московский телеграф, 1825, ч. 7, № 2, с. 190—193; Отечественные записки, 1826, ч. 25, № 70, с. 341.

¹¹⁷ Речь идет о А. С. Шишкове (1754—1841).

¹¹⁸ Отрывок о Пушкине напечатан, см.: ЛН, т. 58, с. 52.

¹¹⁹ Т. е. за басню «Лгун» («Павлушка медный лоб — приличное прозвание»).

¹²⁰ Измайлов рассчитывал получить место вице-губернатора в Казани.

¹²¹ Автор «Романа моего отца» — И. Бартинский.

¹²² «Пустынник на празднике» напечатан в «Календаре муз» на 1827 г. без подписи.

¹²³ Имеются в виду «Разбойники» П. Л. Яковлева (в «Календаре муз» на 1827 г.).

М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА ПОСЛЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Взаимоотношения Пушкина и его литературных соратников с цензурой привлекали внимание многих исследователей.¹ Однако многие документы, имеющие непосредственное отношение к этой проблеме, до сего времени остались вне поля зрения исследователей. Мы имеем в виду комплекс материалов, относящихся к истории цензурного устава 1828 г. Эти материалы отложились в нескольких архивах, и только совместное, перекрестное изучение всех архивных документов позволяет восстановить с достаточной полнотой борьбу мнений, связанных с заменой устава 1826 г. новым, более либеральным уставом 1828 г.

Работа негласного комитета по цензурным вопросам происходила в обстановке секретности. Тем не менее Пушкин, имевший давние приятельские отношения с лицами, возглавившими оппозицию уставу 1826 г., был в курсе заседаний этого комитета. И, конечно, многие журнальные и писательские замыслы Пушкина и его друзей во второй половине 1820-х годов прямо или косвенно соотносились с деятельностью этого негласного комитета, и, следовательно, без привлечения материалов этого комитета проблема «Пушкин и цензура его времени» не может считаться до конца изученной.

Внутренняя политика Александра I представляет классический образец колебаний от либерализма к аракчеевщине, и чем дальше, тем упорнее и настойчивее к реакции. В свою очередь изменение курса государственной политики способствовало революционизированию декабристского движения. Поляризация общественных сил привела в начале

¹ См.: Сухомлинов М. И. Император Николай Павлович — критик и цензор сочинений Пушкина. — В кн.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. 2. СПб., 1889, с. 205—246; Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг. СПб., 1908; Егоркин А. И. Литературные дела архива цензурного комитета. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXIX—XXX. Пг., 1917, с. 98—130; Замков Н. К. К цензурной истории произведений Пушкина. — Там же, с. 49—62; Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина. — Литературное наследство, т. 16—18. М., 1934, с. 513—536; Данилов В. В. Документальные материалы об А. С. Пушкине. — В кн.: Бюллетень Рукописного отдела Пушкинского Дома, т. 6. М.—Л., 1956, с. 82—90; Левкович Я. Л. К цензурной истории «Путешествия в Арзрум». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967, с. 34—37; Шальман Е. С. «План статьи о правах писателя» Пушкина. — Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, т. 23, вып. 6, 1964, с. 531—538; Городецкий Б. П. Кто же был цензором «Бориса Годунова» в 1826 году? — Русская литература, 1967, № 4, с. 109—119; Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с. 229—251; Вацуро В. Э. К изучению «Литературной газеты» Дельвига. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1965. Л., 1968, с. 23—36; Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972.

1820-х годов к упорной борьбе двух взаимоисключающих тенденций. Многие печатные органы («Невский зритель», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Сын отечества», «Полярная звезда», «Мнемозина») становятся проводниками декабристских идей.² Широкое распространение вольнолюбивых идей в периодических изданиях обратило на себя неблагоприятное внимание верховной власти. Либеральный цензурный устав 1804 г., этот осколок «дней Александровых прекрасного начала», необходимо было заменить более жестким инструментом надзора за умственной жизнью страны; устав 1804 г. стал помехой, досадным анахронизмом в годы Священного союза и военных поселений.

С июня 1820 по май 1823 г. при Главном управлении училищ заседал особый комитет для составления нового цензурного устава. Душой и негласным руководителем комитета был М. Л. Магницкий, один из ревностных гонителей просвещения. Начав свою карьеру при Сперанском, Магницкий вовремя учуял новые веяния, быстро переориентировался и стал одним из идеологов реакционных бюрократических кругов. Эта эволюция, столь характерная для многих чиновников александровского царствования, превосходно уловлена в злой эпиграмме Вяземского на Магницкого:

NN, вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке.
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе
Он щеголяет ханжеством.

Проект цензурного устава, составленный под руководством Магницкого, отличался крайней реакционностью; невежественная боязнь всего нового, попытка оградить Россию от либеральных и революционных идей — таков был символ вчерашнего ученика Сперанского, переметнувшегося в стан охранителей российской косности.³

Между тем оказалось, что некоторые параграфы проекта Магницкого вторгаются в область духовной цензуры. А ведь в то же время Синод трудился над новым уставом духовной цензуры. Подобное нарушение ведомственных прав было недопустимо, и проект Магницкого был возвращен обратно в комитет для точного разграничения обязанностей светской и духовной цензуры. Александр I царствовал еще два с половиной года, но он так и не утвердил устав Магницкого. Непоследовательность Александра I оказалась на пользу русской словесности, русскому революционному движению. Усиление надзора за печатью в первой половине 1820-х годов при отсутствии жесткого цензурного устава было лишено должной целеустремленности. Благодаря расхождениям между действовавшим уставом 1804 г. и частными указаниями Главного управления училищ создалось положение, при котором многое порой зависело от разума каждого цензора. Именно поэтому оказалось возможным получить разрешение московской цензуры, действовавшей более независимо, нежели в столице, на издание произведений Рыльева. Можно думать, что выход в свет «Полярной звезды» также был бы немислим, если бы устав Магницкого был своевременно утвержден.

Вступление на престол Николая I привело в конечном счете к торжеству консервативного начала. Но это торжество наступило не сразу: подспудные течения внутри правительственной бюрократии тайно бурлили в первые годы его правления. Мрачному семилетию конца его царствования противостоят первые шесть лет, когда Николай I

² Подробнее об этом см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., 1959; Базанов В. Ученая республика. М.—Л., 1964.

³ Об этом проекте см.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700—1863 гг.). СПб., 1892, с. 184—187.

колебался в выборе государственного курса. Эти колебания, отразившиеся в зигзагах цензурной политики, сделали возможным проникновение в печать некоторых произведений литераторов-декабристов.

Восстание 14 декабря и следствие по делу декабристов показали Николаю I, какое первостепенное влияние оказывает на общество литература. Надеть «намордник» на прессу стало страстным желанием царя, едва усидевшего на троне в первый день своего царствования. Уже в начале января 1826 г. Николай I вызвал к себе министра народного просвещения А. С. Шишкова и отдал повеление «о скорейшем приведении к окончанию дела об устройстве цензуры».⁴

По распоряжению министра работу над составлением цензурного устава возглавил директор канцелярии министерства П. А. Ширинский-Шихматов. В обсуждении проекта устава непосредственное участие принимали цензоры А. И. Красовский, А. С. Бируков, К. К. фон Поль. В основу проекта был положен устав 1823 г. Еще в первые дни работы над проектом исполняющему должность попечителя Петербургского учебного округа Д. П. Руничу была послана бумага с просьбой «немедля доставить находящееся у него в рассмотрении дело о проекте нового цензурного устава в Департамент народного просвещения для представления г-ну министру».⁵

За два месяца цензурный проект Магницкого был подправлен, расширен за счет педантичной регламентации, и 14 марта 1826 г. А. С. Шишков доложил Николаю I, что проект цензурного устава приведен к окончанию, и просил разрешения «удостоить означенный проект предварительного своего прочтения».⁶ С середины марта до 17 мая проект находился у Николая I. За это время проект побывал в чтении по крайней мере у двух «консультантов» царя (имена их неизвестны). Сохранились их письменные мнения, указывающие на то, что «детисце» Шишкова—Магницкого было встречено с явной настроженностью и неодобрением:

Замечания на устав цензуры

п. 184-й. Не позволяется пропускать к напечатанию места в сочинениях и переводах, имеющие двойкий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам.

п. 185-й. Запрещается сочинителям и переводчикам в печатных произведениях их означать целые места точками или другими знаками, как бы нарочно для того поставляемыми, чтобы читатели угадывали сами содержание пропущенных повествований или выражений, противных нравственности, благопристойности или общественному порядку.

п. 213-й. Общая или частная история народов, а также исторические отрывки и рассуждения, которые по образу изложения повествуемых происшествий и по связям других приводимых в них обстоятельств обнаруживают неблагоприятное расположение к монархическому правлению, строго воспрещается.

п. 214-й. История не должна заключать в себе произвольных умствований, которые не принадлежат к повествованию и коих содержание противно правилам сего устава.

По сему параграфу все почти сочинения могут быть запрещены.

Мне кажется, что сие правило, принятое без исключения, стеснит писателей без всякой пользы.

По сему параграфу история греческая, римская и всех вообще республик будет запрещена.

Мало сего рода сочинений, в которых не было рассуждений сочинителей. Тацита, Тита Ливия, и даже Карамзина история запрещены будут.

Вверху листа с этими замечаниями резолюция Николая I: «Замечания сии сообщить».⁷ А. С. Шишков ответил царю, что он считает необходимым

⁴ ЦГИА, ф. 733, оп. 118, № 557, л. 1.

⁵ Там же, л. 5.

⁶ Там же, л. 86.

⁷ Там же, л. 89.

для обуздания вольнодумства сохранить без изменения эти четыре статьи устава; в частности, он писал: «Тацит и Тит Ливий принадлежат к классикам, печатание коих разрешено. Что касается до истории Карамзина, то нет сомнения, что цензура ни в каком случае не могла бы сама собою позволить печатание оной, и для того-то история сия и издана не по ее разрешению, а по высочайшему повелению блаженной памяти государя императора».⁸

Слухи об этих замечаниях проникли в публику. 29 сентября 1826 г. Вяземский писал Жуковскому и А. И. Тургеневу: «Что за новый устав цензурный! <...> В уставе сказано, что история не должна заключать в себе умствований историка, а быть голым рассказом событий. Рассказывают, что государь, читая устав в рукописи, сделал под этою статьею вопрос: „в силу этого должно ли было бы пропустить историю Карамзина? Отвечайте просто *да* или *нет*“. Они отвечали: *нет!* Государь приписал тут: *вздор!* но, между прочим, *вздор* этот остался и быть по сему».⁹

Действительно, эти четыре пункта проекта целиком вошли в устав 1826 г. Зато по вопросу о цензуре иностранных книг А. С. Шишков потерпел поражение, которое, как мы увидим из дальнейшего изложения, оказалось роковым для всего устава. Шишков предлагал создать при Министерстве народного просвещения всеобъемлющую цензуру и, естественно, включил в свой проект параграфы по цензуре иностранных книг. Эти параграфы стали предметом особого рассмотрения. Неизвестно, кому передал Николай I этот вопрос на «экспертизу» — сохранился писарский экземпляр пространной записки (без подписи). Автор этой записки, в частности, писал: «Благонамеренная цензура иностранных книг у нас необходима; но она должна руководствоваться мерами благоразумия и снисхождения. Всякая мера строгости в сем случае произведет более зла, нежели добра».¹⁰ Прочитав эту записку, Николай I начертал на ней: «Цензура книг в России издаваемых должна быть под Мн. просвещения; но цензура книг иностранных должна быть в Минис. внут. дел или полиции».¹¹ Получив резолюцию царя, А. С. Шишков вынужден был изъять из проекта все параграфы, относящиеся до цензуры иностранных книг.¹²

Наконец, 10 июня 1826 г. цензурный устав, который современники по справедливости нарекли «чугунным», был утвержден.

В этом уставе, содержавшем 230 (!) параграфов, всяческие запреты были расписаны до мельчайших подробностей; тщательно были предусмотрены меры, препятствующие свободному и независимому изъяслению мнений и суждений автора. Параграф 158 предусматривал особо строгое наблюдение за повременными изданиями, ибо последние, быстро раскупавшиеся публикой, «в случае предосудительного содержания могут производить гораздо опаснейшие последствия». Запрещалось печатать мнения частных лиц «о преобразовании каких-либо частей государственного управления». В. Ф. Одоевский так характеризовал этот драконовский цензурный кодекс: «Сей устав, сверх необычайной стеснительности всех мер, замечателен тем, что в нем запрещались не только целые роды сочинений, но целые отделы наук; запрещалось не только что-либо противное какому бы то ни было правительству или какому бы то ни было вероисповеданию, но философия, политика, геология, вообще всякое рассуждение, где автор от рассмотрения природы восходит

⁸ Там же, л. 127.

⁹ Архив бр. Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921, с. 40.

¹⁰ ЦГИА, ф. 733, оп. 118, № 557, л. 100—101.

¹¹ Там же, л. 90. Резолюция Николая I шла вразрез с мнением А. С. Шихова, полагавшего, что при Министерстве народного просвещения должна существовать единая, всеобъемлющая цензура. См. его докладную записку Николаю I: там же, л. 104—115.

¹² ЦГИА, ф. 733, оп. 118, № 557, л. 117—118.

мыслию к божеству; наконец, даже биография и мемуары и проч. и т. п.».¹³

В. Ф. Одоевский нисколько не преувеличивал. Вот, к примеру, некоторые правила о пропуске, или, вернее сказать, о непропуске в печать исторических сочинений:

«178

Есть ли сочинитель, описывая последовавшие в разных государствах против законной власти возмущения, старается, прямо или косвенно, оправдать виновников оных и закрывать происшедшие оттого преступления, ужасы и злосчастия целых народов; есть ли всех сих горестных последствий не представляет в спасительное поучение современникам и потомкам, то сочинение его, осуждаемое справедливостию и человечеством, подвергается строгому запрещению.

179

Такому же жребию подвергается всякое историческое сочинение, в котором посягатели на законную власть, приившие справедливое по делам их наказание, представляются как жертвы общественного блага, заслуживающие лучшую участь.

190

«...всякая вредная теория, таковая, как например о первобытном зверском состоянии человека, будто бы естественном, о мнимом составлении первобытных гражданских обществ посредством договоров, о происхождении законной власти не от бога, и тому подобное, отнюдь не должно быть одобряемо к напечатанию».¹⁴

Придерживаясь этих инквизиторских параграфов, цензура включила в индекс запрещенных книг труды величайших мыслителей; сочинения Вольтера, Руссо, Дидро, Гольбаха, Гельвеция, Монтескье и многих других становились запретным плодом для русского читателя.

Цензурный устав 1826 г. мог прочно затормозить развитие отечественной культуры. И понятно, что отовсюду стали раздаваться голоса протеста. «Особенно стараются растерзать на части цензурный устав, экземпляры которого встречаются даже в гостинодворских лавках, — писал фон Фок Бенкендорфу. — Литераторы в отчаянии. Писатели и журналисты носят с своим негодованием по всем кружкам, которые они посещают, а у них связи и знакомства огромные». Неблагоприятные для правительства толки неслись не только из среды литераторов и широкой публики. И в правительственном лагере не было полного единства. Смена лиц в государственном аппарате при воцарении Николая I была значительной, но не всеобъемлющей. В некоторых ведомствах уцелели деятели александровского царствования. Наиболее дальновидные из них опасались, что откровенно реакционный курс может повлечь за собой нежелательные политические последствия, новый кризис, чреватый сотрясением самых основ крепостнического государства. Именно поэтому они считали необходимым проводить более «обтекаемую» внутреннюю политику, в частности придерживаться более здравомыслящих цензурных установлений.

Голоса протеста против нового цензурного устава раздавались не только из рядов оппозиции. В архиве III отделения сохранилась ано-

¹³ Русский архив, 1874, т. 7, с. 12.

¹⁴ ЦГИА, ф. 733, оп. 118, № 557, л. 119.

нимная записка, автор которой считал утверждение этого устава серьезным политическим просчетом правительства. Верноподданнические чувства автора этой записки не подлежат сомнению, но, принадлежа к числу умных приверженцев власти, он в то же время писал: «Все акты нынешнего государя имеют особенное отличительное свойство великодушия, правоты, откровенности, доверенности к верным подданным и доброжелательства. Все изданы с целию ободрять честных и благомыслящих людей, обуздывать злоупотребления низших властей, облегчать народные тяготы. Тем неприятнейшее действие произвел в просвещенной части публики новый устав о цензуре, написанный без знания дела, на правилах, диктованных Магницким, Фотием и т. п., и имеющий целию совершенно уничтожить распространение всяких мыслей, погасить науки и истребить словесность, ограничив оную переводами вялых и ничтожных книг. Может быть, что при сочинении сего устава не имели сей цели, но последствия оного будут вышеисчисленные. Таково суждение людей, который имели случай читать сей устав. Негодование публики, при появлении его в свет, будет весьма велико; но самое невыгодное на счет правительства мнение возбудит он в чужих краях: надобно всячески стараться, чтоб его не перевели на немецкий или на французский язык. Сие впечатление будет тем сильнее и вреднее, что правила и дух сего устава совершенно противны содержанию манифеста от 13 июля; не будут знать, чему верить.

В одном немногочисленном отборном обществе рассуждали о сем уставе. Вот некоторые замечания, оставшиеся в памяти сочинителя сих строк.

§ 2. „Ведению цензуры подлежат все вообще музыкальные ноты“. Что это значит? Слова, текст при нотах — так! Но самые ноты? Увертюры, сонаты, вальсы, аллегро, адажио? Это непонятно. . .

В § 78 дается цензору позволение вновь рассматривать в печати то, что им уже одобрено в рукописи, и перепечатывать на свой счет что ему угодно: сим способом чрезвычайно затрудняется издание книг. Цензоры будут напечатанную книгу перемарывать и портить; напечатание же на их счет никогда производиться не будет <...>

В § 125 определено, чтоб все вообще учебные книги предварительно рассматриваемы были в академиях и университетах, а потом подвергаемы одобрению цензуры. Это принесет большой вред, ибо наши академии состоят из людей упрямых и пристрастных, которые придавят всякого, кто дерзнет перейти за черту, которую они в лености своей положили наукам и словесности. Отличнейшие наши литераторы не суть члены Академии Российской, которая, конечно, употребит все старание, чтоб они никогда в нее не вступали и чтоб никакая хорошая учебная книга постороннего автора не мешала распродаже произведений ее членов. Что наши академии в 90 лет произвели хорошего и полезного? Каким образом употребили они великие способы, им дарованные? — Теперь они получили власть истреблять и то, что делается в пользу наук другими.

В § 141 сказано: „Статьи, касающиеся до государственного управления, не могут быть напечатаны без согласия того министерства, о предметах коего в ней рассуждается“. Сим параграфом уничтожены все благие последствия книгопечатания. Ни просвещение народное, ни промышленность частная и государственная, ни изобретения по военной и морской части не могут доходить до сведения русской публики! В манифесте 13 июля сказано, что государь желает знать благие мысли своих подданных, доходящие к нему законным путем, а здесь сей законный путь преграждается. Можно быть уверену, что теперь совершенный мрак покроет все отечественные сведения и что только взяточники, ябеды и доносчики будут иметь средство доводить до правительства свои мнения и необходимости. Можно вообразить, какие прижимки последуют от этого в цензуре. Советую, на основании сей статьи, написать путешествие

по России. *На этой станции нет лошадей!* нельзя печатать: противно Почтовому департаменту. *Встретился мне пьяный магрос.* Противно начальству Морского штаба. *В этой деревне есть приходское училище.* Об этом справиться в Департаменте народного просвещения. *Я выпил рюмку водки, разведенной водою.* Противно министру финансов.

В § 142 запрещены все стихи, посвящения и сочинения, надписанные государю императору и особам высочайшего дома. Сим параграфом уничтожены все оды Ломоносова, Державина, патриотические стихотворения Жуковского и проч.

В § 143 запрещается печатать записки частных людей по тяжбым делам. За эту статью взяточники и ябедники воздвигнут монумент ее автору. Гласность в юридических делах есть страх воров и злодеев, которые именем государя и закона грабят людей, давят невинных, оправдывают порочных. Печатание записок сенатских, представляемых в общее собрание, произвело самые благие последствия. Позвольте всякому тяжущемуся печатать свои записки и доводы, не касаясь лично судей и противников своих; дайте сему ход в журналах и газетах: половина тяжб прекратится, а другая будет судима с толком. Теперь же славно в мутной воде ловить рыбу.

§ 144 запрещены мистические учения тайных обществ, и по справедливости: этим средством хитрецы сводили с ума слабых и набивали себе карманы; но к чему было в § 145 сказать, что сему же запрещению подлежат сочинения, в коих ложно утверждается, что существовали оные тайные общества в самой якобы глубокой древности. Известно по всем историям, что Элевзинские и другие таинства теряются во мраке веков. К чему было наводить людей на этот пункт! Этот самый § устава о цензуре подлежит запрещению, по вредной мысли, им возбуждаемой.

§ 151 сказано: „Не позволяется пропускать к напечатанию места, имеющие двойкий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам“. Сие подает повод к бесконечным прениям и прижимкам со стороны цензоров. В прежнем уставе повелено было толковать в лучшую сторону. В оправдание нового сего § приводят, что цензура на основании прежних правил пропускала сочинения возмутительные: Исповедь Наливайки, Войнаровского и проч. Это неправда. Сии сочинения отнюдь недвусмысленные: они явно проповедают бунт, восстание на законную власть, выставляя в похвальном виде мятежников и разбойников и проч., и пропущены к напечатанию единственно по непростительной глупости цензора, читавшего оные и не понимавшего в них явного злоумышления. Теперь, за злоумышление одного и за глупость и невежество другого, должна страдать вся русская публика, и пишущая и читающая...

В §§ 186 и 187 запрещаются сочинения *логические* и философические, наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времен. Спрашивается: знает ли человек, писавший сей устав, что есть *логика*? В какой логике нашел он вредные умствования? Для чего не присовокупил он к ней алгебры и геометрии? Страшно подумать, что этот устав сделается известным Европе!

В § 213 сказано: „Так как устав о цензуре не должен быть известен никому из писателей или художников, издающих в свет произведения свои, то, в случае важных обстоятельств, ответственность за содержание напечатанных уже творений их не прекращается от того, что они напечатаны по одобрению цензора. Ибо гораздо виновнее тот, кто, занимаясь на свободе одним только сочинением своим, обдумывает в тишине кабинета что-либо вредное для общественной безопасности и нравов и потом издает в свет, нежели цензор, рассматривавший сочинения его, по обязанности своей, наряду со многими другими“. Эту статью ниспровергается вся безопасность писателей, переводчиков и издателей, и цензор, забывший свою обязанность, имеет все право, возло-

«жить» вину на издателя. К чему же учреждается цензура? К чему она прижимает, волочит, разоряет авторов, если еще сверх того не дает им гарантии? И когда оканчивается сия ответственность? Теперь всякий новый министр вправе предать суду людей, кои писали до его времени и печатали с одобрения цензора книги, которые ему не нравятся. Постановление неосновательное и противное здравому смыслу и справедливости.

Вот некоторые беглые мысли о новом уставе. Нет никакого сомнения, что с появлением его в свет оный возбудит великое неудовольствие и причинит крайний вред правительству, ибо поневоле заставит порицать его меры и не доверять его торжественным обещаниям.

21 июля 1826». ¹⁵

Автор анонимной записки был неодинок в своей уничтожающей оценке цензурного устава 1826 г.: не только оппозиционные элементы передового дворянства были возмущены этим детищем Магницкого — Шишкова, но и более умные сторонники правительства находили, что подобное неслыханное стеснение печатного слова подорвет кредит самодержавия как внутри страны, так и за ее пределами. Они понимали, что дух нового времени требовал более гибкой политики в области общественного мнения. В недрах канцелярии III отделения сохранился устав о цензуре 10 июня 1826 г., испещренный многочисленными резкими замечаниями на полях. ¹⁶ Приведем наиболее характерные пометы.

Против параграфа 141, гласящего: «Статьи, касающиеся до государственного управления, не могут быть напечатаны, без согласия того министерства, о предметах коего в них рассуждается», написано: «Ужас». ¹⁷ Этот параграф устава, присвоив цензурные права различным ведомствам, в течение полувека был одним из серьезнейших препятствий для развития русской прессы.

Против параграфа 151: «Не позволяется пропускать к напечатанию места в сочинениях и переводах, имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам», стоит выразительная надпись: «Варварство». ¹⁸

Против параграфа 154, обязывающего не пропускать рукописей с грамматическими погрешностями, язвительно замечено: «Цензоры невежи». ¹⁹

Против параграфа 213, по которому, как отмечалось выше, авторы несли ответственность за свои произведения, невзирая на цензурский триф, кратко обозначено: «Инквизиция». ²⁰

После введения в действие цензурного устава 1826 г. нарекания и неудовольствия не прекратились. Вот одно из донесений, написанное фон Фокком по агентурным сведениям: «Сообщено. Генерал граф Сухтелен (наш посол в Швеции) сказал одному своему доверенному: „Правда, что много рассевают дурных слухов и что это обескураживает народ и питает неприятные чувства. Но для уничтожения вредного влияния скрытых врагов одно средство: Il faut un peu délier la presse. ²¹ Ныне таков век“. — Это совершенно справедливо. Нынешняя цензура представляет правительство в самом смешном виде и каждый день как на заказ делает недовольных. Трудно поверить, что цензор Ветринский из одной статьи вымарал слова: *любовь к отечеству*, где говорилось, что французские канонеры были одушевляемы благоразумием и любовью к отечеству. Он же вымарал слово *краеугольный камень* (*pietre angulaire*), где говорится, что свобода промышленности есть *краеугольный камень*

¹⁵ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1785, л. 1—10.

¹⁶ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1782, л. 12—28.

¹⁷ Там же, л. 21 об.

¹⁸ Там же, л. 22.

¹⁹ Там же, л. 22 об.

²⁰ Там же, л. 26 об.

²¹ Надо дать немного простора печати (*франц.*).

богатства народов. В первом случае цензор руководствовался одною монашескою книгою, где доказывается, что любовь к отечеству не есть христианская добродетель; во втором случае он утверждал, что краеугольный камень есть Иисус Христос, понеже так он назван в Евангелии. Сей же цензор вместе с Красовским запретили перепечатывать письмо Владимира Измайлова о Сарепте, потому что там говорится в пользу немцев и хвалится их нравственность и чистота. Цензоры сказали, что это обидно для русских, чтоб немцы жили чище и были нравственнее других. Письмо сие было уже три раза напечатано. — Некому жаловаться на цензуру: они сами судят себя и никто не мешается в их дела. Авторы чуть не плачут, а вся умная часть публики оскорблена сими притеснениями».²²

О необходимости считаться с общественным мнением писал фон Фок в своих донесениях Бенкендорфу в Москву летом 1826 г.: «Талейран выразился очень верно: „Я знаю кого-то, кто умнее Наполеона, Вольтера с компанией, умнее всех министров настоящих и будущих, и этот кто-то — общественное мнение“. Общественное мнение не навязывается; за ним надо следовать, так как оно никогда не останавливается. Можно уменьшить, ослабить свет озаряющего его пламени, но погасить это пламя — не во власти правительства. Наполеон сам сказал, что если бы можно было дать сражение общественному мнению, он не боялся бы его; но что, не имея таких артиллерийских снарядов, которые могли бы попадать в него, приходится побеждать его правосудием и справедливостью, перед которыми оно не устоит: действовать против него другими средствами, говорит он, значит даром тратить и деньги, и почести; надо покориться этой необходимости; общественное мнение не засадишь в тюрьму, а прижимая его, только доведешь до ожесточения».²³

Хотя неблагоприятные толки о цензурном уставе 1826 г. стали доходить до Николая I еще до введения его в действие, вначале царь не был склонен прислушиваться к этим мнениям. Более того, 8 июня 1826 г. т. е. за два дня до подписания устава о цензуре Министерства народного просвещения, Николай I приказал министру внутренних дел В. С. Ланскому подготовить устав для цензуры иностранных книг, руководствуясь цензурным уставом Шишкова.²⁴ 15 июля 1826 г. председателем Цензурного комитета Министерства внутренних дел был утвержден М. М. Демчинский, который к началу ноября подготовил проект устава иностранной цензуры с приложением секретных инструкций. Проект предусматривал исключительно строгие правила ввоза в Россию книг и журналов. По замыслу Демчинского, — он имел отличный чиновничий нюх и сразу же учуял средневековый «колорит» устава Шишкова, — иностранная цензура должна была стать неким подобием великой китайской стены, отделяющей русское просвещение от интеллектуальной жизни Западной Европы. С особым «блеском» были составлены секретные инструкции. По сути дела, было предусмотрено создание двух иностранных цензур: одной для простых смертных и другой — для высокопоставленных особ. Последним разрешалось выдавать под расписку, для их личного пользования, крамольные иностранные книги и журналы.

8 ноября 1826 г. министр внутренних дел В. С. Ланской передал проект цензуры иностранных книг на высочайшее утверждение, и неожиданно произошла первая «осечка»: Николай I не подписал представленный ему проект, а создал Временный комитет для его рассмотрения. В состав этого комитета были назначены В. С. Ланской, генерал-адъютант И. В. Васильчиков, управляющий Министерством внутренних дел

²² ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1886, л. 35—36.

²³ Русская старина, 1881, № 11, с. 550—551.

²⁴ ЦГИА, ф. 733, оп. 118, № 558.

граф К. В. Нессельроде, генерал-адъютант Бенкендорф, сенатор С. С. Уваров и действительный статский советник Д. В. Дашков.²⁵

15 ноября 1826 г. состоялось первое заседание этого комитета, члены которого позволили себе не согласиться с высочайшей волей. Николаю I было сообщено следующее мнение комитета: «Приступив к исполнению высочайшего поручения, комитет при самом начале своих занятий имел рассуждение, что цензура иностранных книг по многим уважениям отлична от цензуры книг, внутри государства издаваемых, и что уже по самому и правилам для них не могли бы быть во всем одинаковы. — О сем своем предварительном заключении комитет поставил долгом всеподданнейше донести его императорскому величеству и просить о высочайшем разрешении, дозволено ли будет ему иметь суждение о правилах для цензуры иностранных книг по тем началам, кои бы он нашел для подлежащего дела приличными и достаточными, хотя бы оные были и не совсем согласны с правилами, в уставе 10 июня 1826 года начертанными».²⁶

В развитие мнения Временного комитета Д. В. Дашков представил докладную записку «О цензурном уставе»:

«Цензура внутренняя действует, рассматривая в рукописи сочинения и переводы, издаваемые в России, и не дозволяя печатание тех, кои признает вредными. Цензура внешняя рассматривает книги, привозимые из-за границы, и запрещает те, кои признает вредными. И та и другая должны препятствовать обращению в народе книг, содержащих в себе учение и мысли, противные вере, престолу, добрым нравам, или предосудительное личной чести граждан. Главные для них правила должны быть одни и те же.

Законы ценсурные суть, по существу своему, *запретительные*, подобно всем законам уголовным. Но последние могут с точности предвидеть преступления и определить заранее, что почитать грабежом или убийством. Напротив того, никакая мудрая предусмотрительность не может исчислить всех случаев по делам цензуры и постановить, какой именно оборот речи или намек почитать вредным и подвергать запрещению. Чем пространнее и подробнее будут ценсурные законы, тем более остерегаться должно, чтобы они не подали повода к неправильным толкованиям и применениям. При всем возможном совершенстве они будут еще многое оставлять на произвол ценсоров. Когда же сверх того излагатель закона потеряет из виду истинную цель цензуры и *запретительное*, то есть *отрицательное*, ее свойство, если он захочет не только удерживать ею зло, но еще давать направление словесности и общему мнению, то неудобства умножатся до бесконечности и успехи полезного для государства просвещения будут стеснены непременно. Произвольная власть ценсора будет действовать в круге обширнейшем, где никакие постановления не могут ее ограничить.

Но если, даже заключив цензуру в истинных ее пределах, нельзя резко означить той черты, по коей должен идти цензор, то закон может и должен указать ему две крайности, равно отделяющие его от предполагаемой благотворным правительством цели: запрещение вредного и стеснение просвещения. На сих двух крайностях закон может поставить, так сказать, грани, дабы цензор знал, чего избегать должен: сим определяется и мера его ответственности. Потом должно дать ему в руководства некоторые частные правила, объяснить случаями и примерами глав-

²⁵ Там же, л. 155. Состав комитета был обнародован в официальном издании «Исторические сведения о цензуре в России» (СПб., 1862, с. 35), однако его работа была изображена в идиллических тонах: «Труды этого комитета продолжались весьма долго — до конца 1827 года, когда уже почувствована была потребность в новом цензурном уставе» (там же).

²⁶ ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 486, л. 73.

ную мысль и виды правительства и наставить его, как искать среднего пути между обеими заповедными крайностями. Но сии наставления не должны входить в состав закона, ибо не могут согласоваться с существенными его свойствами в изложении — точностию и повелительною краткостию. Сверх того, некоторые виды правительства (например в отношении политическом) могут от времени до времени изменяться, а сила закона преимущественно основана на его неизменности. По сему нужно отделить *временную* часть постановлений ценсурных от главных начал, о коих было выше сказано (в отношении к вере, престолу, нравственности и чести личной) и кои ни в каких обстоятельствах не должны быть изменяемы.

Из сего следует:

1. Что законы для обеих ценсур, внутренней и внешней, должны быть одни и те же, в одном ли министерстве будут сосредоточены сии ценсуры или оставлены по-прежнему в разных ведомствах.

2. Что закон должен с возможною точностию определить главные, непреременные основания ценсуры, не расширяя напрасно круга ее действия, и содержать в себе только те положения, кои следует к общему сведению и исполнению.

3. Что сверх того надлежит дать ценсорам в руководство наставления, кои, не быв обнародованы, могли бы по обстоятельствам изменяться, между тем как государственный закон оставался бы неприкосновенным.

Сии отдельные по существу своему части смешаны в уставе о ценсуре 10-го июня 1826 г., и тем еще умножены неудобства сего постановления. Общие замечания на оные ныне представлены на высочайшее благоусмотрение. Если его императорскому величеству угодно будет признать их правильными и дать повеление об исправлении устава, то сей труд мог бы совершен быть следующим образом:

Сперва были бы рассмотрены порознь все положения устава 10-го июня для означения, какие из них исправить, какие сохранить во всей их силе и куда отнести сии последние в новой редакции.

Потом комитет приступил бы к начертанию нового устава, общего для книг российских и иностранных. Его можно разделить на две части. В первой были бы определены: истинная цель и круг действия ценсуры; разные ведомства по ценсурным делам; устройство ценсурных комитетов, управление ими и порядок производства дел. Во второй содержались бы все правила, кои должны иметь силу закона и в коих ценсоры и писатели должны видеть свои обязанности и взаимные отношения. Изложив сии правила, с ясностию и точностию, будет дана ценсору возможность запретить всякую *вредную* книгу на их основании, не ссылаясь на свои частные наставления.

Правила для типографщиков, книгопродавцов и мелочных торговцев будут собраны в одно, особенное полицейское учреждение.

Оба сии постановления, по подлежащем рассмотрении в Государственном совете и по высочайшем утверждении, должны быть обнародованы; и всякое их нарушение подвергает виновного взысканию по общим законам.

Наконец, частные наставления ценсорам следует разделить на двое: одни для рассматривания книг, внутри империи печатаемых; другие для привозимых из-за границы. Сии наставления должны быть изъяснением (комментарием) устава; цель их есть — сблизить по возможности означенные выше две крайности, оставляя на произвол ценсору только тот промежуток, коего уже нельзя определить никаким руководством. Впрочем, учредив таковой порядок, средства к исправлению будут легки и удобны. При всякой перемене обстоятельств или ошибке, замеченных внимательным начальством, можно тотчас дополнить или переменить сии частные наставления ценсорам, не касаясь коренных, обнародованных узаконений.

Частные наставления для рассматривания книг иностранных должны, в некотором отношении, быть различны с теми, кои даны будут для книг русских. — Первые обращаются в немногих руках и между людьми образованными; а по сему не так скоро могут подать повод к соблазну. Часто встречается в иностранных сочинениях, писанных вообще в хорошем духе, несколько нескромных выражений, кои были бы исключены, по чувству приличия, из русской книги: запрещать ли в таком случае целые томы, иногда и десятки томов, полезных успехам просвещения?

Можно бы, кажется, установить две степени в запрещении иностранных книг: одни, не поступая в продажу и быв отбираемы у книгопродавцев, выдавались бы ценсурою только лицам известным, с подпискою о хранении их для собственного употребления; другие же были бы никому не выдаваемы без особенного высочайшего разрешения. Таков порядок, наблюдаемый и австрийскою ценсурою.²⁷

Для своего времени записка Д. В. Дашкова — поразительно смелый документ: ее автор не побоялся сказать Николаю I, что цензурный устав 1826 г., признанный Временным комитетом не приложимым по своим основным положениям для начертания устава цензуры иностранных книг, также неудовлетворителен для цензуры книг, выходящих внутри

²⁷ ЦГИАЛ, ф. 1630, оп. 1, № 4, л. 1—9. Д. В. Дашкову также принадлежит «План 2-го проекта замечаний на цензурный устав 10 июня 1826 года»:

«Изложить качество: а. закона вообще.

б. закона запретительного.

с. Цензурного устава, как закона, касающегося до образованнейшего класса в государстве.

Определивши таким образом точку зрения, с которой комитет рассматривает устав 10 июня, показать:

I. Противоречие устава 10 июня *общим качеством закона*, как-то

а. Неясность и неопределенность большей части параграфов. (Причем обратить внимание на то, что сей устав не имеет определенных границ; по смыслу сих параграфов он содержит в себе смешение уголовных и полицейских установлений с цензурными).

б. Несообразность устава 10 июня с временными и местными обстоятельствами государства.

В обоих отношениях означить, каких случаев не предвидит устав 10 июня и каких злоупотреблений не предотвращает.

II. Противоречие устава 10 июня *качествам закона запретительного*:

а. Не обеспечивая равно от злоупотреблений лиц, поставленных от правительства для запрещения, и лиц, коих собственность может быть подвергнута запрещению.

б. Простирается далее нужного и потому может произвести противное действие, т. е. поставить тех, до кого он касается, в необходимость избегать оный.

Здесь также исчислить случаи, непредвиденные уставом.

III. Неудобства и излишние *затруднения распорядительной части* устава 10 июня, как-то:

а. Ненужное умножение числа инстанций.

б. Озабочение трех министерств делами, им чуждыми.

Из соображения сих 3-х отделений, ясно истекает следующая мысль: *когда затруднения, исчисленные в 3-м отделении, были бы велики и при ясных, определенных правилах устава, то сколь должны увеличиться сии затруднения, когда к ним присоединится неясность и неопределительность замеченных параграфов.*

IV. Цензурный устав 10 июня, будучи законом, касающимся до образованнейшего класса в государстве, не имеет ученого достоинства, как-то:

а. Несообразен с нынешним состоянием наук и даже содержит ошибки противу них.

б. Не имеет точного распределения.

V. Из всех сих недостатков ясно истекает: *неисполнимость* устава 10 июня. Часть особенная:

1. Общее замечание на возражение г. Карбоньера.

2. Необходимость и возможность соединения в общий цензурный устав цензурного наказа для книг, внутри России издаваемых, и цензурного наказа для книг, из-за границы ввозимых» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1782, л. 11; черновой вариант этого документа, содержащий правку, см.: ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 486, л. 26).

страны. Вспомним, что этот устав был высочайше утвержден; между тем Д. В. Дашков в своей записке признал его не отвечающим своему назначению.

В то же время записка Д. В. Дашкова была составлена умно и дальновидно. Правила, предлагаемые в ней для выработки нового цензурного устава, неоспоримые по своей юридической обоснованности (недаром Д. В. Дашков был впоследствии назначен министром юстиции!), были настолько гибки, что предполагали возможность как либеральной цензурной политики, так и усиления цензурного гнета. Оговариваясь, что цензура не должна стеснять развитие просвещения, Д. В. Дашков предлагал, помимо цензурного устава, утверждать для цензоров дополнительные секретные наставления, которые в зависимости от политических обстоятельств могли бы иметь различный характер. Как мы увидим из дальнейшего изложения, эта мысль, принятая при составлении цензурного устава 1828 г., позволила правительству Николая I сочетать новый либеральный устав с жестокими цензурными репрессиями.

Получив мнение Временного комитета и записку Д. В. Дашкова о «Цензурном уставе», Николай I был поставлен перед выбором: либо разогнать комитет и создать новый из других лиц, либо уступить требованию комитета. Он избрал последнее.

«По поводу сего доклада последовало отношение статс-секретаря Муравьева от 21 ноября на имя управляющего Министерством внутренних дел о том, что государь император, рассмотрев докладную сего комитета записку, изволил изъявить свою высочайшую волю, что оный комитет может иметь суждение, не стесняясь цензурным уставом 10 июня 1826 года для печатаемых внутри государства книг изданных, и оному комитету в то же время изложить свои замечания, если нужны будут на сей цензурный устав 10 июня, для того высочайше соизволяя, чтоб министр народного просвещения Шишков был его членом. В отношении же его статс-секретаря Муравьева от 24 ноября объявлено было, что государь император повелеть соизволил инженер-генерал-лейтенанту Карбониеру быть членом сего Временного комитета».²⁸

Комитет одержал первую значительную победу: согласившись с мнением комитета, Николай I разрешил, кроме того, «изложить свои замечания» на действующий цензурный устав. Что означало подобное решение? Было ли это приказанием составить новый цензурный устав? Вряд ли. Туманная формулировка «изложить свои замечания» давала возможность различного толкования. Скорее всего, обеспокоенный запиской Д. В. Дашкова и нежелательными разговорами о цензурном уставе, Николай I хотел услышать мнение комитета, какие именно параграфы этого устава вызывают особые нарекания.

Однако члены комитета (за исключением вновь введенных в его состав А. С. Шишкова и Л. Л. Карбониера) стали расширительно трактовать полученное разрешение — надо было, не теряя времени, использовать уступку царя и развивать достигнутый успех. Было вынесено решение: «Комитет, имея в виду, что проект цензурного устава Министерства внутренних дел, в главном своем основании согласный с уставом о цензуре 10 июня, не может быть рассматриваем без предварительного соображения правил, в сем последнем изображенных, имея при том высочайшее повеление изложить свои замечания, если нужно будет, на сей последний устав, положил прежде всего заняться сказанным соображением. Вследствие чего прочтено было несколько параграфов помянутого устава, и по некотором рассуждении комитет признал удобным, дабы каждый член, по усмотрению своему, представил на оный замечания, кои потом составят общее комитета суждение и заключение».²⁹

²⁸ ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 486, л. 82 об.—83.

²⁹ Там же, л. 83—84.

В стране, где все было регламентировано до последней запятой, произошло неслыханное событие: явочным порядком комитет приступил к пересмотру цензурного устава! Началась упорная и длительная борьба за отмену старого и введение нового цензурного устава.

Комитет представил А. С. Шишкову и Карбониеру проект замечаний с резкой критикой устава 10 июня, «которого благородная цель теряется в противоречиях и отступлениях от истинного предназначения цензуры, а средства, предлагаемые уставом к прекращению зла и водворению добра, кажутся комитету недостаточными, неудобноисполнительными, затруднительными и во многих отношениях двусмысленными, а потому и недействительными. Сие происходит преимущественно от выведения цензуры из круга действия, определяемого ей взаимным отношением других государственных учреждений, и от неточности и неопределительности выражений в объяснении обязанности писателя и цензора».³⁰

Такое решение комитета было равносильно торжественному реквиему по цензурному уставу 1826 г., и понятно, что оно вызвало возмущение у ревностных защитников этого устава. Получив замечания комитета, Карбониер стал на дыбы: он представил свои возражения и, кроме того, заявил, что комитет неправомочен заниматься пересмотром действующего цензурного устава.

Мнение Карбониера на замечания комитета сохранилось: это огромная записка, состоящая из 132 пунктов и занимающая 74 листа. В делах комитета имеется также черновик «Проекта замечаний на Устав 10 июня и ответ на возражения г. Карбониера» и, кроме того, подробные возражения, сделанные фон Фоком. 120 страниц исписал фон Фок, полностью разбивая аргументацию Карбониера. Не имея возможности дать полностью эти документы, приведем несколько характерных примеров из «диалога» Карбониера и фон Фока.

Карбониер: «Цензура споспешествует народному просвещению, ибо тогда только, когда в народном обращении не выпускается ничего вредного, правительства могут с совершенною безопасностью и без ограничения распространять полезные познания и удовлетворять благоугоднему желанию своему управлять народом просвещенным, имеющим в себе все средства достигать до высшей степени могущества, благоденствия, изобилия».

Фон Фок: «Софизм. Последующее отнюдь не выводится из предыдущего. Воспрещение печатания вредного не способствует распространению просвещения, ибо цензура, запрещая вредную книгу, не издает на место оной книги полезной. Могут быть совершенно безвредные и вместе с тем вовсе нелепые и безопасные книги, как например сказка о Бове Королевиче. Зачем приписывать цензуре то, чего ни коем образом исполнить не в состоянии? К чему умствование о предметах, совершенно посторонних?».

Карбониер: «Цензура необходимо направляет общее мнение, ибо чрез отсеечение всего вредного и ложного читатели привыкают к истинному и полезному и писатели употребляют свои дарования только на хорошие сочинения».

Фон Фок. «Софизм. Отсечением вредного не вставляется полезное. Отрицательное действие не производит положительного».

Карбониер: «Потомство примет с благоговением только те творения, которые без сомнения пропустила бы самая разборчивая цензура».

Фон Фок: «Сие ложно. Не говоря уже о писателях иностранных, цензура не пропустила бы Карамзина».³¹

³⁰ Там же, л. 84.

³¹ Там же, л. 140—215 (Первые замечания Комитета и ответы на оные г. Карбониера); л. 246—306 (Возражения фон Фока на ответы г. Карбониера).

В одном месте фон Фок ядовито задел самого Шишкова, полагая, что и в его сочинениях можно обнаружить места, подлежащие преследованию, запрещению согласно цензурного устава 1826 г. Фон Фок писал: «... что, разумеется под словом нравы? Какое-нибудь слишком вольное стихотворение, неправоучительная повесть, похвала вину, картам, двусмысленная эпиграмма, как например приведенная в книге „Рассуждение о старом и новом слоге“:

Женился Блез, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И, не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись оставил свет.
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружью смерть нетронута взирала.

Эта эпиграмма не слишком пристойна и не назидательная для нравов; но можно ли подвергнуть суду автора за напечатание оной по одобрению цензуры? По уставу 10 июня очень можно, ибо там отнюдь не определены важные случаи».³²

Как известно, эта эпиграмма Ломоносова была направлена против Сумарокова, который в своей переделке трагедии «Гамлет», пользуясь французским переводом пьесы Шекспира, под влиянием французского языка неудачно употребил слово «тронуть». У Сумарокова мать Гамлета, повествуя об убийстве мужа, говорит:

Тех пагубных минут, как честь я потеряла
И на супружью смерть нетронута взирала...

А. С. Шишков привел эту эпиграмму Ломоносова в своем полемическом сочинении «Рассуждение о старом и новом слоге», желая показать, как смешны бывают галлицизмы в русском языке. В пылу полемики с Карамзиным и его литературными соратниками А. С. Шишкову было не до благопристойности — мог ли он думать, что много лет спустя, когда он уже займет пост министра народного просвещения, ему будет поставлено в вину приведение этой двусмысленной эпиграммы? К сожалению, Шишков так и не узнал о едкой реплике фон Фока — один из членов комиссии написал на полях его замечаний: «Пример выбран очень кстати: но я бы полагал его выпустить для избежания всякой личности». И действительно, при переписке этот пример был опущен.

С резко отрицательным мнением о подготовленном цензурном уставе Министерства внутренних дел выступил С. С. Уваров. 12 декабря 1826 г. он представил в комитет подробную записку, представляющую первостепенный интерес для уяснения атмосферы работы комитета. С. С. Уваров писал:

«Приступая по высочайшему повелению к изложению некоторых замечаний на цензурный устав, 10 июня сего 1826 года утвержденный, я поставляю долгом объяснить сперва следующее:

Г. министр народного просвещения в докладе своем государю императору при поднесении вышесказанного устава говорит, что мысли его по сему предмету были уже изложены в 1815 году, но что мнение его не обратило на себя внимание тогдашнего Министерства просвещения. В 1815 году возникло не по Министерству просвещения, а в Государственном совете деле о цензуре, по поводу представленного министром полиции проекта цензурного устава. Тогда дело состояло в вопросе: кому принадлежит в России цензура иностранных книг, Министерству ли просвещения или Министерству полиции? В то же самое время его высокопревосходительство Александр Семенович Шишков, как член Государственного совета, дал особое мнение, в коем действительно излагал часть тех соображений о цензуре вообще, кои служили основанием новому уставу 10 июня 1826 года, но сие особое мнение не могло в то время касаться

³² Там же, л. 298.

Министерства народного просвещения, полагавшего тогда (см. мнения графа Разумовского и князя Голицына), что устав 1804 года (при небольших, так сказать, домашних дополнениях совершенно достигал своей цели во всех отношениях, и имевшего в виду не преобразование цензуры в России, по новому определению оной, а просто решение вышеупомянутого вопроса, в Государственном совете возникшего. — Впрочем, дело сие осталось неоконченным, и на сих днях по высочайшему повелению препровождено к нам из Государственного совета. К сему осмеливаюсь присоветовать, что в десятилетнее управление мое С.-Петербургским цензурным комитетом (от 1810 по 1821) не встретилось, сколько я помню, ни одного важного дела, в коем устав 1804 года оказался бы недостаточным, и, как мне кажется, ни один раз внимание высшего правительства не было утруждаемо посторонней жалобой на комитет, и комитет не получал во все сие время никаких замечаний на счет своих действий.

Устав 1804 года полагает в обязанность цензуры: „доставлять обществу книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалять книги и сочинения, противные сему направлению“ (п. 2). — Устав 10 июня 1826 года определяет, напротив, цель учреждения цензуры следующими словами: „чтобы произведениям словесности, наук и искусств дать полезное или по крайней мере безвредное для блага отечества направление“ (п. 1). Если к этому определению прибавить еще содержание п. 3, то явствует, сколь самое определение цензуры, ее значение и круги ее действий расширены в новом уставе. Из сего необыкновенного смысла, данного слову *цензура*, проистекает большая часть распоряжений, отличающих сей новый закон от устава 1804 года, как например учреждение *Верховного комитета* (глава V), составленного из трех министров и данного в пособие министру народного просвещения (п. 5). Если цензура просто бы ограничивалась обязанностью не допускать к напечатанию всего противного религии, правительству, нравственности и всего предосудительного для личной чести, то, конечно, учреждение *Верховного комитета*, из трех первоклассных государственных чиновников составленного, было бы бесполезно; но если цензура должна (как говорит п. 6) наблюдать за науками и воспитанием, за правами и даже за *внутреннею безопасностью*, за направлением общественного мнения согласно с политическими обстоятельствами, то *Верховный цензурный комитет* делается каким-то высшим политическим судилищем, коему ничего подобного нигде, по крайней мере открыто, не существует. Впрочем, и самое положение сего Высшего судилища, по смыслу устава, довольно стеснительно, ибо „сей комитет собирается только по приглашению министра народного просвещения“ (п. 27), „и сей последний имеет один право вносить дело в оный“ (п. 28), „и сверх того комитет ни с кем не имеет никаких сношений“ (п. 28). — Сообразив сие, конечно, заключить можно, что занятия прочих членов, т. е. гг. министров иностранных и внутренних дел, необременительны, ибо и самые ежегодные инструкции, цензурным комитетом даваемые, названные в п. 33 „Главнейшие обязанности Верховного комитета“, составляются правителем дел (п. 34), на деятельность коего возлагается особенная надежда; он и „директор канцелярии министра просвещения“ (п. 7), и „все журналы поступают к исполнению в канцелярию министра“ (п. 32). Хотя по общему учреждению министерств все дела должны стекаться в департаменты.

Сверх изданных инструкций возлагается на Верховный комитет: „изыскание средств к изъятию из обращения в народе прежде изданных вредных книг“ (п. 37). Под сими словами подразумевать должно, кажется, право делать *объезд* в частных библиотеках: ибо каким образом изъять из народного обращения книги, не подвергая осмотру библиотеки частных людей? Полагать можно, что исполнение сего распоряжения должно затруднить Верховный комитет.

Если, удалясь от сих крайностей, цензура Министерства внутренних дел, будучи приведена в обыкновенные, везде ей принадлежащие границы, будет просто составлять род *таможни* для удержания всякого *контрабандного* произведения ума, то Верховный комитет с отвлечением его кругом действия для наблюдения за оной в полной мере лишней. Требовать от цензуры, чтобы она давала *направление наукам, воспитанию и мнению и пеклась о красотах слога*, было бы то самое, что приписать таможне право распоряжаться государственною промышленностью. Бдительность таможни ограждает промышленность, охраняет ее от вредного влияния запрещенных законами товаров, но отнюдь не может давать ей направление или движение. Если возложить на таможню обязанность одушевлять ход промышленности, то она перестанет быть *таможней*. Если попечению цензуры предоставить направление умов, наук, воспитания, политических мнений, вкуса, то она не есть уже *цензура*, по крайней мере в общем значении сего слова.

В деле, каков цензурный устав, все зависит от главных начал и от духа, в коем оный составлен: в уставе 10 июня очевидно стремление к какой-то необыкновенной строгости, будто бы могущей предупредить, по средствам чрезвычайных мер, все злоупотребления и заблуждения по сей части государственного управления; оттоле происходит сложность мелких форм, умножение инстанций, денежные штрафы, ненависть к точкам (п. 63, 152) и наконец необычайное удержание личной ответственности сочинителя и по изданию с дозволения цензуры напечатанного сочинения (п. 213, 214), хотя сие последнее противоречит самому понятию цензуры, ибо ясно, что где остается в полной мере личная ответственность сочинителя перед законом, там не надобно цензуры; а где учреждена цензура, то невозможно преследовать (и без давности) сочинителей, печатавших сочинение с актального дозволения правительства. Сие последнее распоряжение не согласуется с существующими общими законами; сверх того, оно, кажется, обнаруживает какое-то чрезмерное опасение на счет мнимых последствий, не всегда выгодное для правительства и могущее взбудить даже некторое к нему недоверие.

Не находя удобства приспособить общее распоряжение устава 10 июня 1826 года к вновь составляемому уставу Министерства внутренних дел, можно заключить, что частные правила, для цензоров начертанные, еще менее могут быть приняты в руководство при рассмотрении иностранных книг, ибо строгое соблюдение сих цензурных наставлений равнялось бы с едва ли не совершенным запрещением всех книг, из чужих краев доставляемых.

„*Всякое косвенное порицание монархической власти (п. 168), всякое предложение частных людей о преобразовании каких-либо частей управления или изменения прав и преимуществ (п. 169), всякое рассуждение о правительствах, советы и наставления оным (п. 171)*“ — будучи единожды запрещены, ни одна английская или французская книга о современной политике, о законодательстве, о торговле, о финансах, о парламенте, о камерах, об английском или французском министерстве не будет допускаема в Россию, а что было бы еще гораздо чувствительнее, мы неминуемо лишиться должны чтения древних историков, ибо п. 180 запрещает всякое историческое сочинение, *в коем обнаруживается неблагоприятное расположение к монархическому правлению*, из чего следует, что *Фукидид, Ксенофонт, Тацит* и большая часть древних греческих и римских историков останется навсегда под печатью цензуры. — С другой стороны, те из древних, которые, писав в духе монархическом, могли бы избегнуть строгости оного п. 180, неминуемо осуждены будут по силе следующего п. 181, запрещающего в истории *умствования*, не принадлежащие к повествованию. Сему жребию, вероятно, подвергнутся и все новейшие историки, из коих ни один не ограничился сухим повествованием, а все *рассуждали* о происшествиях.

Все теории о правах и законах, все метафизические изыскания о праве естественном, народном, гражданском, уголовном запрещены п. 190. Следственно, мы не будем читать ни *Монтеские*, ни *Филанджиери*, ни *Пуфендорфа*, ни *Бенгама*.

История *правоведения* подчиняется п. 181, т. е. требуется без умствования. Но где найти историю правоведения без умствования и как ее написать по одним хронологическим числам дней и годов?

По содержанию п. 192 книги о *естественных и медицинских науках*, вероятно, подвергнутся опасности всеобщего запрещения, ибо вышепомянутый параграф не дозволяет *никакого отступления от вещественного к духовному, нравственному или гражданскому миру*. — В нынешнем положении естественных и медицинских наук нет возможности ограничить их одною *номенклатурою*; и решительно сказать можно, что теперь в Европе не выходит в свет ни одного сочинения по сим наукам, в коем, напротив, не требовалось бы от автора, чтоб он возвышался к обозрению общих истин и к созерцанию природы в больших, непременных ее законах и действиях. — Если принять сей параграф, то творения *Гумбольдта*, *Кювье*, *Гуфеланда* и *Алибера* причислены будут к вечной контрбанде.

Краткое сие извлечение из устава 10 июня ведет к заключению, что ни в главных его началах, ни в частных распоряжениях не представляет удобства приноровить к оному цензурный устав Министерства внутренних дел.

Если сему последнему дано будет основание твердое, но простое и не сложное; если особенно исполнение оного возложено будет на цензоров, равно известных своими познаниями и правильным образом мыслей, то цель Высшего правительства без сомнения достигнута будет. — Вредные сочинения будут остановлены, а полезные или по крайней мере безвредные будут поступать без замедления в общее употребление. Цензоры (в выборе коих и главное затруднение и главная важность сего дела) будут в случае сомнения требовать решения от высшего своего начальства; а если сверх сего угодно будет его императорскому величеству назначить (не *гласно*, а так сказать *приватно и временно*) двух или трех доверенных особ, к коим цензоры могли бы иногда обращаться или к коим Министерство внутренних дел могло бы обращать цензоров, в случае какого-либо с их стороны недоумения, то цензорское дело может иметь свое течение с безопасностью для правительства и без притеснения для публики». ³³

Эта записка С. С. Уварова, равно как и замечания Д. В. Дашкова и возражения фон Фока на мнение Карбоньера были положены в основу заключения комитета о действовавшем цензурном уставе. Мнение Карбоньера, выступившего с защитой этого устава, было решительно отвергнуто комитетом. Комитет пришел к выводу, что пределы цензуры должны быть значительно сужены. Переходя в наступление на устав 1826 г., комитет подверг резкой критике основополагающие принципы этого цензурного узаконения:

«Комитет для того еще полагает нужным изменить устав 10 июня, что Министерство просвещения при изложении главной цели оного основало

³³ ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 118, № 558, л. 261—267. Если участие фон Фока в работе комитета (фон Фок в данном случае трудился вместо своего начальника Бенкендорфа, члена комитета), оставалось неприметным, то деятельность Д. В. Дашкова и С. С. Уварова была на виду их противников. Вспоминая о работе комитета, А. С. Шишков писал: «... комитет сей, оставя порученное ему дело, принялся рассматривать и опорочивать изданный уже для российских книг цензурный устав. Оporочение сие сочинили два человека, из коих один написал и напечатал некогда речь, наполненную такими противными правительству и всякому благоустройству умствованиями, за которое надлежало бы его подвергнуть ответственности; а другой также некогда написал на одно из сочинений моих критику...» (Шишков А. С. Записки. Берлин, 1870, с. 128).

сию цель на непрочном начале, объявляя всенародно, что цензура должна давать направление словесности. Сие предположение Министерства просвещения, без сомнения благое, произведет совершенно противоположное действие. Народ, будучи уверен, что каждая мысль автора, каждое выражение, каждое слово есть внушение правительства, станет почитать всякое умствование частного писателя статьею официальною, толковать об оной сообразно с своим понятием и на сем основывать свои заключения. Действие сие вредно для правительства. В каждом государстве, где существует литература, официальное должно быть отделено резко чертою от неофициального и народ должен утверждаться в тех правилах, что не всему печатному должно верить, что разум человеческий может заблуждаться, но что одно правительство достойно безусловной доверенности и только его акты не подвержены суждению и критике.

В государстве не может и не должно существовать судебное место для исправления умов <...> Правительство сочиняет официальные акты и наблюдает только, чтобы в частных сочинениях не было ничего противного принятым правилам, — следственно, цензура действует отрицательно. Она уподобляется таможене, воспрещающей ввоз запрещенных товаров, а не есть фабрика, где делаются товары хорошие.

Замечания комитета и возражения на оные генерал-лейтенанта Карбоньера самым разногласием своим касательно истолкования пунктов устава служат доказательством, что закон не полон и не ясен и потому, по мнению комитета, подлежит перемене; ибо если люди, которым поручено для блага общего рассмотреть устав, должны спорить между собою о смысле закона, то какой вред произойдет от одного, когда он подвергнется толкованиям лиц менее опытных или не столь благонамеренных и беспристрастных?». ³⁴

Отвергнув возражения Карбоньера и установив общие принципы, которые должны быть положены в основу нового цензурного устава, комитет перешел к подробному рассмотрению цензурного устава 1826 г. Заключение комитета звучит беспощадным обвинительным приговором:

«1. Цензуре приписан круг действия, вовсе ей не принадлежащий, а именно: наблюдение за науками и воспитанием юношества, попечение о нравах и направлении общественного мнения (II, III, IV, V, VI); наблюдение и исполнение мер полицейских (XIII, XXII, XXXV, XLVII, L); поправки и перемены в сочинениях, ей представляемых (XVII, XXXIII); требование от авторов и издателей качеств и достоинств, не подлежащих ее суждению (XXIV); наблюдение, чтоб в сочинениях не было ничего бесполезного, между тем как она должна запрещать только вредное (XXXII, XLIV); суждение о художественном достоинстве и сходстве портретов (XLI); рассматривание музыкальных нот без слов (VII); определение, кто из современных писателей есть классический.

2. Многие правила в том уставе неопределительны, неясны и сбивчивы, как-то: о наблюдении народной чести (VIII); об исключении произвольных умствований из истории (XL); о рассмотрении книг философских (XLII, XLIII).

3. Многие правила сего устава без пользы стеснительны и могут вредить и препятствовать ходу словесности и успехам наук и просвещения, а именно: требование представлять все в рукописи (XVI); запрещение точек (XVIII); обременение медицинских и учебных книг двумя цензурами (XXIII); гонение на издателей, коих статьи задержаны цензурою (XXV); запрещение в отрывках того, что позволено в целом (XXX); позволение толковать в дурную сторону (XXXI); запрещение суждений косвенных (XXXI); стеснение позволительности книг философских (XLII, XLIII) и наконец возложение ответственности на автора за вину цензора (XLIV).

³⁴ ИРЛИ, ф. 257, оп. 2, № 486, л. 75 об.—76.

4. Некоторые правила ненужны и излишни, как-то: запрещение всех без разбора книг о тайных обществах (XXVII), также книг о магии, астрологии и проч. (XXVIII).

5. Некоторые предписываемые сим уставом формы кажутся комитету лишними и обременительными, как-то, например: объявление книгопродавцам о запрещенных книгах (XV); равномерно и несообразны (впрочем, и отнюдь не принадлежащие к сему уставу) некоторые назначения наказаний (XLVIII, XLIX, LI).

6. Сим уставом требуется составление вовсе ненужного Верховного цензурного комитета (XII); собственные действия цензуры ограничиваются теснейшим противу прежнего кругом, и многие губернии России затрудняются в книгопечатании (X), между тем как суммы, назначенные для содержания новой цензуры, превосходят издержки прежней в 16 раз.

7. В редакции устава равномерно найдены комитетом нарушения порядка и ясности, а именно: излишние подробности, ограничивающие и затемняющие смысл целого (XXXIV); присовокупление ненужных подробностей о внутреннем устройстве (XI); грамматические погрешности и недостаток ясного смысла.

Приняв в соображение все сии обстоятельства, комитет мнением полагает войти к его императорскому величеству со всеподданнейшим докладом о сих последствиях его сравнений и всеподданнейше просить высочайшего соизволения: составить новый проект общего устава для рассмотрения всех книг и изданий, как печатаемых внутри государства, так и привозимых из-за границы, соблюдая притом необходимсе в рассмотрении тех и других различие. Сим только средством прекратятся бесплодные словопрения, коим без того не предвидится предела.³⁵

В окончательной редакции заключительная часть мнения комитета сформулирована более осторожно: «представить о последствиях сих сравнений на высочайшее его императорского величества благоусмотрение и ожидать дальнейших его величества повелений». Однако весь текст мнения комиссии не оставлял сомнения в том, что комиссия убеждена в необходимости составления нового цензурного устава.

Сторонники Шишкова пытались всячески помешать работе по пересмотру цензурного устава; они пускались на тайные происки, стремясь воздействовать на Николая I. Вот некоторые агентурные донесения по этому поводу: *«Сообщено. Цензор Красовский, управляющий делами графини Софии Владимировны Строгоновой и домашний у Натальи Петровны Голицыной, при помощи монахов начал сильно действовать, чтобы новый план цензуры не состоялся и цензурный комитет остался на прежнем положении. Предполагается просить генерала Васильчикова, С. С. Уварова, флигель-адъютанта Строгонова и т. п. Тем по крайней мере утешают себя цензоры. — Министр Шишков объявил, что пока он министром, то устава и комитета не коснутся, и что он пустил уже бомбу, которой не разжуют вдесятером. Вообще не должно предполагать, что действия комитета о составлении нового устава не контролируются. Противная партия имеет своих протекторов; монахи и женщины, друзья Шишкова и Карбоньера, покровители цензоров — все это сильно хлопочет, чтобы уничтожить работу комитета»*.³⁶

Председатель Главного цензурного комитета Карбоньер был одним из самых ретивых сторонников цензурного устава 1826 г.: «Карбоньер объявил официально в цензуре, что одержана победа Министерством просвещения над комитетом, назначенным для рассмотрения цензурного устава. Министр Шишков объявляет о сем всем и каждому. Письмо его к государю и замечания на возражения комитета ходят по рукам и посланы даже в Москву. Публика, особенно благонамеренные люди и

³⁵ Там же, л. 77 об.—80.

³⁶ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1886, л. 34.

друзья славы престола, повесили головы. Все приятные надежды на блестящее и, как говорят, на *откровенное* царствование меркнут. Этот проклятый цензурный устав, как страшилище, как привидение, у всех на глазах. Враги престола радуются этому и беспрестанно выводят его на сцену. Что остается делать друзьям государя? — Защищать устав невозможно. Даже люди, весьма близкие к престолу, говорят, что дело кончено с уничтожением комитета и что новый устав позволено составлять членам комитета, чтобы не слишком огорчить их тем, что Шишков победил их. — Говорят, что члены комитета играют в бирюльки, которые после рассыпаются». Сверху на этом донесении Бенкендорф написал: «Не долго будут ликовать».³⁷

Это донесение, по всей вероятности, было написано в конце 1827 или в начале 1828 г. 14 октября 1827 г. Временный комитет постановил представить свои замечания на устав 1826 г. вместе с возражениями А. С. Шишкова и Карбоньера на «благоусмотрение» Николая I, а пять дней спустя, 19 октября, царь дал распоряжение о закрытии Временного комитета.³⁸

Между тем работа по выработке нового цензурного устава продолжалась, несмотря на закрытие комитета. Однако сейчас трудно с достоверностью утверждать, кто именно явился автором этого устава. Сведения противоречивы. В предисловии к запискам Н. И. Греча Р. В. Иванов-Разумник писал: «Греч принимал ближайшее участие в выработке устава о цензуре 1828 года; в рукописях Публичной библиотеки сохранился черновой проект этого устава с надписью: „Устав о цензуре, высочайше утвержденный 22 апреля 1828 года, составленный коллежским советником Гречем и потом рассмотренный и исправленный товарищем министра внутренних дел, тайным советником Д. В. Дашковым“».³⁹ Шифр рукописи в предисловии не указан — попытки разыскать ее пока не увенчались успехом. Посмотреть же на эту рукопись необходимо — надо сверить, кем она написана. Ведь сохранилось следующее свидетельство В. Ф. Одоевского: «В мире чиновническом замечен мой цензурный устав 1828 года и права авторской собственности, о которой до меня никто и не думал...».⁴⁰

Как бы там ни было, 22 апреля 1828 г. Николай I утвердил новый цензурный устав. Этот устав, объединивший правила как внутренней, так и иностранной цензуры, содержал всего 158 параграфов; он был составлен с явно выраженным намерением упростить и облегчить цензурные условия. По своим основным положениям он напоминал цензурный устав 1804 г.

23 апреля 1828 г. А. С. Шишков был уволен от должности министра народного просвещения согласно его просьбе, «по преклонности лет и по расстроенному здоровью». На его место был назначен князь Карл Андре-

³⁷ Там же, л. 37.

³⁸ ЦГИА, ф. 733, оп. 118, л. 466—468.

³⁹ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 26.

⁴⁰ Русский архив. 1897, кн. 2, № 6, с. 284. Первоначальная работа по составлению цензурного устава велась в недрах Временного комитета, так как черновые материалы по проекту устава сохранились в делах этого комитета (ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 486, л. 1—46, 49—67). Однако сравнение этих черновиков с утвержденным цензурным уставом 1828 г. доказывает, что эти первоначальные наброски значительно отличаются от окончательного текста (в частности, предполагалось оставление цензуры иностранных книг при Министерстве внутренних дел, а также создание книгопечатного отделения при Главном управлении училищ). Таким образом, следует думать, что во время существования Временного комитета была проведена лишь предварительная работа по составлению нового цензурного устава. Отсутствие в архивах бумаг, отражающих более поздние стадии работы, а также приводимое нами секретное донесение, из которого видно, что членам распущенного Временного комитета «новый устав позволено составлять», позволяют предположить, что Николай I дал неофициальное распоряжение продолжить работу по выработке нового цензурного устава.

евич Ливен, занимавший с 1817 г. пост попечителя Дерптского учебного округа.

18 мая 1828 г. новый цензурный устав был опубликован. На первый взгляд казалось, что наступает эра цензурного либерализма; однако на самом деле оказалось иначе. Уход Шишкова не привел к кардинальному изменению в этой области. Среди правительственной бюрократии не было единомыслия по вопросу цензурной политики. В. М. Комовский так характеризовал в письме к А. М. Языкову хитросплетения цензурного ведомства: «Вы, конечно, любобытствуете знать: каково новое устройство цензуры и что можно ожидать в будущем? — Доселе еще ничего решительное не приведено в действие. Кандидатами в цензоры назначены здесь: Лодий, Щеглов и Сенковский, Гаевский и Сербинович; в Москве: Двигубский, Цветаев и Снегирев; еще должно назначить стороннего цензора; об избрании его из здешних цензоров предложено попечителю. Сверх того, в Москве хотят определить еще одного стороннего цензора. Как мило у нас законодательствуют: издадут закон — и прежде, нежели приведет в исполнение, исполнитель его уже переделает на свой лад. Вы знаете, я думаю, как должно устроить цензуру на основании нового устава. Главное управление цензур полагает совсем иначе. Один СПб. комитет остается невредим; в Москве, как я сказал, прибавляется еще один сторонний цензор для того, что в Харькове и Казани не хотят учреждать комитетов — в Казани будет один цензор для татарских и восточных книг. В Вильне сливают вместе цензуру иностранную и внутреннюю; и для этого комитет хотят составить из 4-х профессоров; сверх того, определяют одного жида (а может быть и двух, если Новосильцев настоит на своем проекте) для еврейских книг; в Ревеле и Митаве цензоров не будет, зато в Риге два вместо одного. В Одессе также будет отдельный цензор.

А пророс — я говорю вам о действиях Главного управления, не сказав, кто действователи. Кроме министра и его товарища, как вы знаете, заседают в нем президенты академий: Шишков не ездит, за Уварова бывает Шторх. — Членом от Министерства иностранных дел назначен Дашков, который был в Америке (посланником либо консулом); от Министерства внутренних дел Филатьев — родственник Блудова. Блудов присваивает себе более всех влияния и может быть назван наиболее свободомыслящим; Оленин не довольно тверд, колеблется. Шторх не довольно принимает участия — глух и худо по-русски знает. Дашков еще скромничает; впрочем, мнение, поданное им относительно наказов цензорам, довольно отрадно. Филатьев тем хорош, что служит подпорою Блудову, — для него самого цензура и книгоиздание, наверно, есть дело совершенно чуждое. Что сказать о Ливене? Принадлежа старому веку, он хоть не враг всего нового, однако же склонен иногда сжимать, — одним словом, строгий классик. У него есть несколько *idées fixes*, за которые крепко держится; такова, например, что просвещение бывает и хорошо и дурно; не веря, что хорошее само собою одолевает дурное, он неумолимый враг всему, что по своему суждению почитает дурным в просвещении; далее, ко всему должно примешивать Библию и пр. Впрочем, он чисто-сердечно желает добра и готов на все, что не сталкивается с его *idées fixes*. — Теперь надобно ждать, что представит Блудов, которому Главное управление поручило сочинять проект наказа цензорам; судя по предварительным толкованиям, можно ожидать хорошего. О дальнейшем не премину Вам сообщить».⁴¹

Письмо В. М. Комовского показывает, что утверждение цензурного устава 1828 г. не положило конца разногласиям по вопросу цензурной политики. Новый устав, более краткий и сдержанный, нежели устав 1826 г., давал в то же время больше простора для того или иного толко-

⁴¹ ИРЛИ, шифр 19.4.122 (фонд Языкова, IV, 19), л. пенум.

вания его статей. Как явствует из письма В. М. Комовского, в Главном управлении цензуры шли оживленные прения о направлении и устройстве цензуры. Читая это письмо, невольно вспоминаешь известную русскую поговорку: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Самое невероятное заключалось в том, что высочайшая резолюция Николая I «быть по сему», начертанная 22 апреля 1828 г. на новом цензурном уставе, не привела, как того следовало ожидать, к автоматическому изъятию прежнего цензурного устава. Наступили месяцы уставного двоевластия. Оказалось, что в царской России, в стране строжайшей регламентации, где все расчислено по параграфам педантично составленных инструкций, возможно вопиющее нарушение установленного порядка.

К. А. Ливен, сменивший А. С. Шишкова на посту министра народного просвещения, не торопился сдать в архив упраздненный цензурный устав 1826 г. В конце 1828 г. фон Фок представил Бенкендорфу следующую любопытную записку: «Уже несколько недель носится слух, что министр просвещения намерен переменить цензурный устав 22-го апреля 1828 г. Поводом к сим слухам служило то, что в течение полугода закон, утвержденный торжественно государем императором, не приведен был в исполнение и цензура не переменилась. Цензоры же всегда ссылались на прежний устав в своих определениях, утверждая, что поелику они не смены и новый устав не введен в действие предписанием министра, то они не почитают его действительным законом. Между тем святоши-интриганты, пользующиеся доверенностию министра, составляли планы к перемене устава, а ныне один из главных сочинителей прежнего устава объявил торжественно в одном обществе, что уже составлен план дополнений и перемен к новому цензурному уставу и скоро будет внесен в Государственный совет.

Между тем из Риги пишут, что губернатор велел перевести новый устав для рижского цензора и хотел печатать сей устав, но удержал по дошедшим до него слухам, что устав будет скоро переменен и что в Дерпте даже не перевели оного на немецкий язык, ожидая перемены. При сем из Дерпта и Риги получают письма от профессоров и ученых с горькими жалобами. Они на сем новом уставе основывали все свои литературные надежды, прославили его и превознесли, и вдруг получают известие, что происки и интриги подрывают один из лучших законов до приведения оного в исполнение.

Из Риги пишут по сему предмету следующее: цензором в Дерпте есть некто барон Унгерн-Штернберг, первейший ханжа и глава гернгутеров. Сей барон Унгерн, к общему соблазну добрых лифляндцев, купив дом за 30 тыс., продал в казну за 100 тыс. > слишком, по протекции кня. Ливена. — Поелику же сей барон Унгерн человек скупой и сребролюбивый, то, не желая лишиться цензорского места и жалованья, сильно вопиет против нового устава; почему догадываются, что он интригует, чтоб как можно более продлить исполнение закона или даже вовсе изменить. Ректор Эверс также не желает лишиться председательского места в цензуре. — Таким образом, частные виды замедляют исполнение закона и стремятся к низвержению оного к общему сожалению всех людей благонамеренных и беспристрастных». ⁴²

Бенкендорф наложил резолюцию: потребовать объяснений у К. А. Ливена. Запрос шефа жандармов произвел желанное действие: 20 ноября 1828 г. было начато дело о закрытии Главного цензурного комитета, ⁴³ а 1 декабря состоялось первое заседание Петербургского цензурного комитета. ⁴⁴ Таким образом, понадобилось 7 месяцев, чтобы сломить сопро-

⁴² ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1789, л. 1—2.

⁴³ ЦГИА, ф. 77, оп. 1, № 750.

⁴⁴ Там же, № 752.

тивление Министерства народного просвещения и ввести в действие новый цензурный устав.

Проволочка с введением цензурного устава 1828 г. показала, что во главе Министерства народного просвещения находится достойный преемник А. С. Шишкова, готовый препятствовать смягчению цензурного гнета. И хотя наиболее ревностные цензоры лишились своих мест, руль цензурной политики остался в цепких руках противников просвещения. Существование двух цензурных уставов на протяжении семи месяцев было бесспорной победой наиболее консервативных элементов в правительстве Николая I: в эти месяцы цензурного двоевластия была поколеблена вера в новый цензурный устав и созданы благоприятные условия для ограничения устава путем подготовки дополнительных инструкций и положений.

И тем не менее на первых порах отмена цензурного устава 1826 г. возбудила надежды на торжество более либеральной литературной политики. Надо думать, что и Пушкин не избежал подобных иллюзий. Недавно нами было высказано предположение о том, что борьба вокруг цензурного устава в какой-то мере отразилась на творческих замыслах Пушкина.⁴⁵ На наш взгляд, написание декабристской главы «Евгения Онегина» не может быть осмыслено вне конкретной исторической обстановки. Пушкин, вероятно, полагал, что при наступлении эры «разумной» цензуры станет возможным коснуться в романе истории царствования Александра I и трагических событий недавнего прошлого. Однако цензурный устав 1828 г. и направление внутренней политики Николая I в начале 1830-х годов не оправдали надежд, которые на них возлагались. Пушкин был вынужден «урезать» замысел «Евгения Онегина» и сжечь декабристскую главу романа.

⁴⁵ Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977, с. 41—42.



*
Р. В. ИЕЗУИТОВА

ПУШКИН И «ДНЕВНИК» В. А. ЖУКОВСКОГО 1834 г.

Дневники Жуковского, которые поэт вел на всем протяжении своей творческой жизни, являются ценнейшим документом для исследователей русской и европейской общественно-литературной и культурной жизни первой половины XIX в. Представляя источник разнообразных сведений, они заключают в себе информацию об общении поэта с огромным множеством современников: с выдающимися деятелями культуры, видными историческими лицами, ближайшими друзьями и знакомыми, связанными с Жуковским деловыми и повседневно-житейскими отношениями. Воссозданный в дневниках красочный калейдоскоп событий, происшествий и встреч не только всесторонне характеризует среду, в окружении которой протекала жизнь их автора, но и представляет во многих отношениях существенный интерес для пушкиноведения, так как содержит немало сведений, важных для изучения жизни и творчества Пушкина. Более чем двадцатилетняя история взаимоотношений Жуковского и Пушкина нашла свое отражение на страницах этих дневников, которые постоянно используются в качестве авторитетного документального источника.¹

Дошедшие до нас дневники Жуковского охватывают в общей сложности четыре десятилетия: первые из них относятся еще к 1804—1806 гг., последние (1846) писались уже за пределами России, в Германии, куда переселился поэт в начале 40-х годов. Не сохранились, хотя и несомненно существовали, дневники за 1807—1813 гг.²

Внешние обстоятельства жизни поэта не получают освещения в дневниках 1804—1806 гг. Внимание их автора сосредоточено вокруг нравственных, психологических проблем. Подобно толстовским дневникам, «журнал» молодого Жуковского носит яркий отпечаток его личности, отражает его стремление к нравственному самоусовершенствованию, углубленному самоанализу. Размышления поэта о пройденном уже пути сочетаются с обширными планами на будущее, с программой самовоспитания. С течением времени самый тип дневников Жуковского претерпел заметную эволюцию. Подробные рассуждения заменились кратким перечнем происшествий; изменилась и самая структура дневников, которые, становясь все более лаконичными, одновременно впитывали в себя все большее количество внешней информации — о различных событиях, свидетелем и участником которых был Жуковский.

¹ См., например: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М.—Л., 1950 (см. по указателю имен).

² Об одном из таких дневников упоминает сам Жуковский в письме к А. И. Тургеневу, см.: Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 83. Фрагмент из дневника Жуковского 1813 или 1814 г. см.: Русская старина, 1883, № 1, с. 207—212.

Начиная с 1817 г. дневник поэта приобретает свое основное, сохраняющееся и далее назначение: он становится по большей части журналом его путешествий. Кроме «московского дневника» (1817—1818), определившего новый тип записи, мы располагаем журналами многих путешествий поэта по Западной Европе (1820—1822, 1826—1827, 1838—1840), его поездок по России (1831, 1837 и 1839). Оседлая жизнь Жуковского оказывается освещенной в гораздо меньшей степени, и это, по-видимому, не случайно. Потребность обращения к дневнику возникает у Жуковского чаще всего в драматически напряженные ситуации. В таких случаях поэт делает свои записи чаще всего для памяти, но нередко и с целью анализа поразившего его чем-либо события. «Дневник его (Жуковского), — отмечает Вяземский, — не систематический и не подробный. Часто отметки его просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы означить пройденный путь, если придется на него возвратиться, или заголовки, которые он записывает для памяти, чтобы после на досуге развить и пополнить».³

Взятые в совокупности, дневники Жуковского представляют собой весьма существенную сторону его творческой деятельности, характеризуются широтой охвата жизненных впечатлений, многообразием затронутых на его страницах вопросов, связанных с литературой, политикой и историей. В них звучит голос внимательного и умного наблюдателя русской и европейской жизни того времени, доброжелательного ко всему, что достойно уважения и интереса, и резко отрицательно настроенного по отношению ко всякой несправедливости, неправде, насилию и злу.

Первым публикатором дневников Жуковского был Вяземский, напечатавший в «Русском архиве» выдержки из парижского дневника поэта 1827 г.⁴ Главный же их массив (1817—1846) появился сначала на страницах «Русского вестника» (1889—1890), затем в особом приложении к «Русской старине» (с присоединением упомянутого выше журнала 1804—1806 гг.).⁵ Последняя публикация составила основу отдельного комментированного издания дневников Жуковского под редакцией И. А. Бычкова. Отмечая в предисловии, что подлинные рукописи публикуемых дневников Жуковского хранятся в Публичной библиотеке, ученый подчеркнул, что «в этой позднейшей серии дневников имеются пробелы за целые годы».⁶ Так, в частности, среди этой серии нет дневников за годы 1823—1825, 1830 и 1834—1836. Последовавшие затем публикации П. К. Симони (дневник Жуковского за 1814—1815 гг. в форме писем, обращенных к М. А. Протасовой)⁷ и М. Л. Гофмана («Дерптский дневник» поэта 1815—1817 гг.)⁸ заполнили некоторые из этих пробелов, а главное показали, что поиски неизвестных ранее в печати и считавшихся утраченными дневников поэта продолжают давать результаты. Важное значение имела публикация (хотя и неполная) в 1916 г. конспективных заметок Жуковского о дуэли и смерти Пушкина,⁹ которые в сущ-

³ Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, с. 481—482.

⁴ Русский архив, 1876, кн. 2, с. 94—99. Перепечатно в кн.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VII, с. 470—489.

⁵ Русский вестник, 1889, август, с. 356—371; 1890, январь, с. 291—298; Русская старина, 1901, № 4—12, Приложение, с. 3—192; 1902, № 1—12, Приложение, с. 193—535.

⁶ Дневники В. А. Жуковского. С примеч. И. А. Бычкова. СПб., 1903, с. 3—4.

⁷ Этот дневник стоит несколько особняком: в его подробных записях отражается переживаемая поэтом в эти годы душевная драма, вызванная невозможностью женитьбы на М. А. Протасовой. Впервые на этот дневник указал, опубликовав из него большие выдержки, А. Н. Веселовский, см.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904, с. 163—173, 177—181, 194—198. Полная публикация подготовлена П. К. Симони, см.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя, вып. I. СПб., 1907, с. 143—213.

⁸ Гофман М. Л. Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже. Общий обзор, описание и извлечения из рукописного собрания. Париж, 1926, с. 110—143.

⁹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Пг., 1916, с. 196—198.

ности также являются дневниковыми записями Жуковского, хотя и связанными лишь с его участием в истории последней дуэли Пушкина. Дополненная И. Боричевским¹⁰ и исправленная Я. Л. Левкович на основе нового прочтения автографа,¹¹ эта публикация заполнила одно из «белых пятен» в общей хронологии дневников Жуковского, доведя ее до начала 1837 г.

Публикуемый в настоящем издании дневник Жуковского 1834 г. восполняет еще один, весьма ощутимый пробел в ряду известных ранее дневников поэта. Жуковский вел его летом этого года, которое было временем наиболее тесного общения с Пушкиным.

Что представляет собой дневник 1834 г. и какова его судьба? Речь пойдет о документе, на который еще в 1926 г. указал в своем описании «Пушкинского музея А. Ф. Онегина в Париже» М. Л. Гофман. Изучая автографы Жуковского в онегинском собрании, исследователь обратил внимание на документ, условно названный им «Дневником занятий Жуковского с наследником». Рассматривая его как сугубо учебный журнал, связанный исключительно с педагогическими занятиями поэта, М. Л. Гофман опубликовал из него несколько отрывков, посвященных беседам Жуковского с его учеником. Эта выборочная публикация, а главным образом самый характер интерпретации документа Гофманом ввели в заблуждение исследователей, считавших его публикацию исчерпывающей. После поступления онегинского собрания в Пушкинский Дом за дневником закрепилось первоначальное, неточное (как я постараюсь показать далее), не передающее его специфики название. Педагогическая деятельность Жуковского в послереволюционные годы не привлекала внимания исследователей, вследствие чего документ оказался полностью забытым. Обращение к рукописи показало, что в своей подавляющей части дневник этот остался неопубликованным. Гофман, исходя из ошибочного понимания характера и назначения этих записей, произвольно выбрал из них несколько более или менее законченных отрывков педагогического содержания (легко читаемых) и оставил без внимания основное содержание дневника.

Публикуемый документ представляет собой довольно большого формата переплетенную тетрадь, содержащую 96 листов. Записи, сделанные рукой самого Жуковского, имеются на 57 листах. Они производились чернилами. Тетрадь заполнялась подряд, охватывая собою почти целиком июнь и июль (включая 26 июля) 1834 г. На предпоследней странице — единичная запись за 9 сентября этого же года. На корешке переплета вытиснено золотом: «июнь, июль, август 1834». По своему внешнему виду и оформлению документ действительно напоминает учебный журнал. Очевидно, он был изготовлен по специальному заказу для учебных занятий наследника (типографским способом), переплетен и украшен сафьяном (уголки и корешок переплета). Жуковский никак не озаглавил этот журнал, хотя и дал ему порядковый номер, поставив его собственноручно карандашом на переплете (№ 14). Надо полагать, номер означает место этого журнала в ряду других журналов и дневников поэта. На первом листе рукою Жуковского означен год — 1834. В развернутом виде тетрадь выглядит следующим образом: страницы, расположенные слева (оборотные листы), разграфлены типографским способом и имеют следующие рубрики: «Часы», «Чем занимались», «Номера (А, В, П)», «Примечания», Первая графа, «Часы», содержит (по вертикали) почасовую роспись, начиная с 6 час. утра до 10 час. вечера (включительно). Страницы, находящиеся справа, не разграфлены и предназначены для развернутых записей.

¹⁰ Боричевский И. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 3. М.—Л., 1937, с. 371—392.

¹¹ Левкович Я. Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974, с. 77—83.

Буквы в графе «Номера» (т. е. оценки) означают инициалы наследника (Александра) и двух его соучеников — Виельгорского и Паткуля.¹²

Гофман не придал никакого значения календарным, почасовым записям в этом журнале и даже не упомянул о них в своем описании. Между тем именно они и составляют главную документальную ценность дневника, и не только потому, что содержат ряд неизвестных ранее сведений о Пушкине и встречах Жуковского с ним (связанных с приходившимся как раз на эти месяцы «делом об отставке» Пушкина), но и потому, что они с точностью до часа фиксируют те события, участником которых был Жуковский в летние месяцы 1834 г. В них находим упоминания о встречах поэта с П. А. Вяземским, Мих. Ю. Виельгорским, И. И. Козловым, со многими из тех, кого хорошо знал и Пушкин (Т. С. Вейдемейер, В. И. Дубенская, П. Д. Киселев, Н. И. Кривцов и др.). Дневник дает, может быть единственное по своей наглядности и точности, представление о расписании дня Жуковского: часах его работы, отдыха, прогулок, вечерних встреч. В нем отмечены его пребывание в Петергофе, поездки в Петербург, Царское Село, Гатчину, точно указаны все перемещения императорской семьи в различные летние резиденции, придворные празднества, балы, приемы, военные маневры. Некоторые из этих дворцовых «мероприятий» упоминаются в подробнейших письмах Пушкина к Наталье Николаевне (от июня—июля 1834 г.). Дневник вносит новые данные в комментарии к этим письмам. Такова, например, запись от 15 июля (воскресенье), в которой отмечается, что в 6—7 часов вечера в Красном Селе был ставший традиционным фейерверк. Возможно, что именно о нем писал Пушкин: «Сегодня фейворок, или фейерверк — Сергей Николаевич едет смотреть его, а я в городе останусь» (XV, 181).

Дневник позволяет установить источник целого ряда сведений Пушкина о придворных празднествах в тех случаях, когда поэт не был непосредственным участником тех или иных тяготивших его дворцовых церемоний. С этой точки зрения публикуемый ниже документ, видимо, даст исследователям творчества и жизни Пушкина материал для дальнейших сопоставлений и разысканий. Дневник содержит целый ряд новых данных для летописей жизни и творчества не только Пушкина, но и ряда близких ему литераторов и других исторических лиц.

Непосредственно связанный с придворным бытом, этот дневник, однако, не замкнут в кругу сугубо придворных впечатлений — он хранит на своих страницах следы живых дружеских общений, споров, размышлений о прошлом, настоящем и будущем России, о развитии ее литературы, о разнообразных вопросах морали и этики. Таково в самых общих чертах содержание развернутых, подробных записей в дневнике. Часть из них, как отмечалось выше, была опубликована Гофманом, опустившим, однако, ряд трудно читаемых мест и французских записей.

Наиболее существенная из записей была сделана 5 июня после разговора Жуковского с великим князем о Екатерине II. Поэт с поразительной в его положении наставника наследника смелостью судит о характере этой императрицы, касается тех вопросов, о которых умалчивают официальные источники. «Все упреки, которые она заслуживает от потомства, падают на нее от первого ее шага, принужденного, но неправого. От него начинают находить полезным убийство Петра III, в коем воля ее невинна» (л. 6). Последняя фраза была опущена в публикации Гофмана.

Весьма показателен для Жуковского, как воспитателя наследника, следующий, обращенный к нему совет: «Лучше, чтобы вам повиновались свободные люди, нежели рабы»; в противном случае «государь — это только господин, который держит их в узде, которому повинуются потому, что он могуществен, но втайне ненавидят, потому что власть его унижительна

¹² См.: ИРЛИ, ф. 244 (архив А. Ф. Онегина), № 27816. СХСІХб. 13, л. 1—96.

и <...> переходит за пределы права» (л. 6; отрывок также опущен Гофманом).

Подобные записи представляют значительный интерес для понимания позиции, занимаемой Жуковским при дворе и в царской семье (многие из членов которой, подобно наследнику, были «учениками» поэта). Эта позиция до сих пор получает в литературоведческих и особенно в научно-популярных работах одностороннее и даже искаженное освещение. Глубоко справедливо замечание М. И. Гиллельсона о том, что исповедуемый поэтом идеал просвещенной монархии был бесконечно далек от действительных незаконных порядков самодержавной России». Исследователь прав, подчеркивая, что Жуковский «был намного проникательнее, чем это представляется его интерпретаторам. За шесть лет — с 1832 по 1838 год — Жуковский многое понял и отрекся от многих иллюзий. Понял он, в частности, что воспитать идеального монарха не в его власти».¹³

1834 год (время совершеннолетия наследника) — важнейшая веха постепенного, но неуклонного «прозрения» Жуковского. Если в 1826 г., приступая к воспитанию будущего монарха, поэт стремился в лице его образователя отца своих подданных, то теперь, после нескольких лет обучения наследника, он убедился в полной неспособности своего ученика воспринять подобные уроки. Недаром в одном из откровенных и сохранившихся в глубокой тайне разговоров с А. П. Елагиной поэт назвал своего ученика «диким бараном».¹⁴ Глубокое сомнение в нравственных и интеллектуальных качествах великого князя выражается во многих дневниковых записях Жуковского. 4 июня он пишет о наследнике: «Посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его и дремлет его сердце!» (л. 5).

6 июня поэт с возмущением описывает бесцеремонное обращение наследника со своим сверстником Паткулем. Великий князь, «лежа, протянул ноги и положил их на колени Паткуля» (л. 6). 9 июня Жуковский с горечью размышляет о духовной спячке, ограниченности ума будущего монарха и выражает глубокие опасения по поводу предстоящего ему управления всей Россией (л. 10). Жуковский с грустью констатирует не только равнодушие к учебе самого ученика, его душевную вялость и холодное безразличие ко всему, что кажется таким важным поэту-наставнику, но и полное неуважение к учебным занятиям сына со стороны августейших родителей. Уроки то и дело отменяются, прерываются по причине придворных праздников, приездов заграничных гостей, военных маневров и т. д.

Дневник 1834 г. приоткрывает завесу над внешне идиллической картиной взаимоотношений наставника и ученика,¹⁵ вскрывает глубокий драматизм положения поэта при дворе. Он помогает уяснить причины его отдаления от придворной жизни в конце 1830-х годов; показывает мучительные переживания Жуковского-наставника, пытавшегося противопоставить нормам самодержавно-крепостнической этики просветительские принципы, стремившегося, но так и не сумевшего привить наследнику возвышенные представления о своем гражданском и патриотическом долге перед Россией.

Откровенность педагогических записей Жуковского позволяет сделать важный вывод: журнал июня—июля 1834 г. не носил официального характера и не подлежал высочайшему контролю. Поэт вел его для себя, а следовательно, этот журнал выходит за пределы первоначального, учебного назначения и без всякой натяжки может быть назван личным днев-

¹³ Гиллельсон М. И. О друзьях Пушкина. — Звезда, 1975, № 2, с. 212—213.

¹⁴ Голос минувшего, 1918, № 7—9, с. 226.

¹⁵ Это разрушает одну из устойчивых легенд, созданных в дореволюционные годы, о «трогательной» привязанности наставника к ученику, об их полном единодушии. См.: К. П. В. А. Жуковский. — Русская старина, 1880, № 2, с. 254—268.

ником Жуковского 1834 г., как он и будет именоваться нами далее.¹⁶ Знакомство с записями в дневнике 1834 г. в их полном объеме позволяет проследить, как постепенно меняется характер документа; учебные записи сначала отступают на второй план, а затем и вовсе исчезают со страниц дневника, уступая место размышлениям общественного деятеля, автора работ по истории России, писателя, озабоченного будущими судьбами отечественной литературы (например, запись от 6 июня, которая перекликается с пушкинскими оценками русского литературного развития в статье «О ничтожестве литературы русской», и др.).

Содержание публикуемого документа, обращенного к широкому кругу литературных, политических и этических проблем, его структура, его назначение дают все основания рассматривать его в ряду других, уже известных нам дневников Жуковского. Вместе с недавно обнаруженным дневником Жуковского 1835 г.¹⁷ он воссоздает почти непрерывную хронологическую канву жизни и творчества Жуковского на протяжении 30-х годов (1831—1840). Сопоставленный с известными ранее дневниками Жуковского, интересующий нас документ выявляет свою уникальность: содержащаяся в нем почасовая каждодневная роспись позволяет поставить на более прочную основу датировки целого ряда важных событий, о которых пойдет речь ниже. И здесь необходимо прежде всего напомнить, что на июнь—июль 1834 г. приходится ряд важных записей в «Дневнике» Пушкина.

Сопоставление одновременно сделанных записей Жуковского и Пушкина обнаруживает черты жанрового сходства. При этом дневники дополняют и корректируют друг друга. Но это сопоставление выявляет и принципиальное различие. Пушкин стремился в своем «Дневнике» стать «русским Данжо», летописцем и обличителем придворных нравов. Его отношение к придворному укладу проникнуто резким сарказмом, иронией, беспощадным осуждением Николая и его окружения. Жуковский тоже интересовался нравами, господствовавшими при крупных европейских дворах (Маргариты Валуа, Людовика XVIII и др.). Читая апокрифические записки Людовика XVIII (*Mémoires de Louis XVIII*. Paris, 1832), поэт замечает: «Какое бедствие для государя и государства двор: но французский двор был неизбежная беда, произведение веков. Нужна была бедственная революция, чтобы уничтожить это бедствие».¹⁸ Дневник 1834 г. несомненно отражает критическое отношение и ко двору Николая I, внутренне чуждому Жуковскому, однако поэт нигде не выступает его обличителем. Функция его критики иная — учительная, исправляющая. Различия в характере и назначении дневников Жуковского и Пушкина отчетливо выступают уже при сравнении первых записей за июнь. Пушкин пишет: «3-го июня обедали мы у Вяземского: Жук.овский, Давыдов и Киселев. Много говорили о его (Киселева, — *Р. И.*) правлении в Валахии. Он, может быть, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана» (XII, 330). Отметим попутно, что дневник Жуковского также содержит ряд упоминаний о встречах с П. Д. Киселевым в июне 1834 г. Далее у Пушкина следует фраза, казалось бы лишённая прямой связи с записью об обеде у Вяземского и звучащая в этом контексте несколько саркастически и фамильярно: «Цари уехали в Петергоф». Дневник Жуковского помогает

¹⁶ Необходимо самым решительным образом отказаться от названия «Дневник занятий с наследником», которое не принадлежит самому Жуковскому и не отражает специфики этого документа.

¹⁷ Фрагменты из этого «Дневника» опубликованы в упомянутой выше статье М. И. Гиллельсона «О друзьях Пушкина» (с. 212—213).

¹⁸ Дневники В. А. Жуковского, с. 225. Подробнее о жанре и характере пушкинского дневника см.: Крестова Л. В. Почему Пушкин называл себя «русским Данжо?» (К вопросу об истолковании «Дневника»). — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. М.—Л., 1962, с. 267—277.

установить эту связь, так как в нем имеется запись о том же событии, но данная в более нейтральном, официальном тоне: «Переезд императорской фамилии в Петергоф 2 июня». Надо полагать, на дружеском обеде Жуковский сообщил друзьям эту последнюю придворную новость; ироническая ее интерпретация принадлежит уже Пушкину.

Дневник Жуковского содержит точную дату его собственного переезда в Петергоф, который состоялся 4 июня, на следующий день после дружеского обеда у Вяземского. В календарных записях с точностью до часа отмечаются все поездки Жуковского в Петербург, разъясняются обстоятельства, их вызвавшие. Данные эти оказываются в ряде случаев важными для пушкиноведения. Они, например, позволяют точно датировать одну из июньских записей в «Дневнике» Пушкина. Вот эта запись: «Тому недели две получено здесь известие о смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубей нечем заменить!» (XII, 331). В. П. Кочубей умер в Москве в ночь с 2-го на 3 июня. Известие о его смерти было получено в Петербурге 5 июня.¹⁹ Дневник Жуковского дает дату погребения канцлера в Александро-Невской лавре. Церемония похорон была пышной: на ней присутствовали император и весь придворный Петербург. Для участия в ней приезжал в Петербург и Жуковский, отметивший в дневнике, что 21 июня с 8 до 11 часов утра он был «на погребении Кочубея». Пушкин на церемонии не присутствовал и знал о ней из рассказов очевидцев. Одним из них несомненно был Жуковский. Погребение Кочубея вызвало еще один отзыв в пушкинском творчестве. В «Table-Talk» поэт включает следующий анекдот: «Графа Кочубея похоронили в Невском монастыре. Графиня выпросила у государя позволение огородить решеткою часть пола, под которой он лежит. Старушка Новосильцева сказала: „Посмотрим, каково-то будет ему в день второго пришествия. Он еще будет карабкаться через свою решетку, а другие давно уж будут на небесах“» (XII, 164—165).

В дневниковой записи Пушкин приводит эпиграмму, начинающуюся словами: «Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей» (XII, 331). Таким образом, запись могла быть сделана только после погребения канцлера (после 21 июня). Обращение к дневнику Жуковского позволяет и в этом случае внести несколько важных уточнений. После погребения Кочубея — 22 июня — в нем появляется запись о неизвестной ранее встрече с Пушкиным. С пяти до семи часов вечера Жуковский (как он пишет) «обедал у Вяземского с Пушкиным и Кривцовым» (речь идет о Н. И. Кривцове, старом петербургском приятеле Пушкина из числа вольнодумцев и родном брате декабриста С. И. Кривцова). Сведения об этом дружеском обеде отразились в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу: «Жуковский здесь с минуту. Он будет писать к тебе. Он сказывал мне, что князь А. Н. Голицын очень к тебе расположен».²⁰ Какой бы короткой ни была эта встреча, она заслуживает самого пристального внимания.

Во время этого обеда мог состояться обмен мнениями по поводу похорон В. П. Кочубея. Присутствие на этом обеде Жуковского объясняет также, почему Пушкин включает в свой дневник еще одну, последнюю «дворцовую новость»: «Здесь прусской кронпринц с его женою» (XII, 331). В дневнике Жуковского подробно рассказывается о церемонии встречи кронпринца (будущего прусского короля Фридриха-Вильгельма IV), которая состоялась 13 июня. Таким образом, запись в «Дневнике»

¹⁹ Это позволяет (на первый взгляд, точно) приурочить пушкинскую запись к 19 июня — числу, упоминаемому самим поэтом («19-го числа послал 1000 Наш. окоину» — XII, 331). Однако содержание записи в целом убеждает, что она была сделана несколькими днями позднее.

²⁰ Остафьевский архив, т. III. СПб., 1899, с. 258.

Пушкина о смерти В. П. Кочубея не могла быть сделана ранее 22 июня, так как ее содержание восходит к разговорам на дружеском обеде у Вяземского.

Через три дня — 25 июня — Пушкин, как известно, отправит Бенкендорфу свое прошение об отставке. На обеде же 22 июня поэт либо не смог (Жуковский торопился в Петергоф и был у Вяземского только в течение двух часов), либо не захотел посоветоваться с Жуковским. Эта встреча проясняет теперь, почему Жуковский упрекал Пушкина в неуместной скрытности. «Сожалею, что ты ничего не сказал мне предварительно о своем намерении, ни мне, ни Вяземскому», — писал Жуковский, называя тех друзей Пушкина, с которыми тот виделся почти накануне подачи прошения.

Как это известно из дошедшей до нас переписки, связанной с «делом об отставке», Жуковский был одним из основных участников драмы, разыгранной в июньские и июльские дни 1834 г. Он стал прямым и единственным посредником между Пушкиным, подавшим прошение об отставке, и Николаем I с Бенкендорфом, вынудившими поэта в конце концов взять свое прошение обратно. Жуковский положил немало сил, чтобы мирно, без необратимых для Пушкина последствий уладить конфликт с царем. Именно поэтому свидетельства, исходящие непосредственно от Жуковского, трудно переоценить. Дневник 1834 г. дает целый ряд новых данных, а главное — позволяет значительно конкретнее представить себе сложившуюся тогда ситуацию.

Из дневниковых записей Жуковского становятся очевидными и «расстановка» сил, и точное место (а в ряде случаев и время) происшедших в связи с «делом об отставке» событий. На всем протяжении этого дела (25 июня—6 июля) Жуковский постоянно находился в Петергофе (а не в Царском Селе, как на это указывается в академическом собрании сочинений Пушкина), где царский двор оставался до конца июля. Переезд в Царское Село состоялся позднее, уже в августе. Последняя запись в дневнике Жуковского, от 9 сентября, указывает на пребывание двора в Царском Селе. Как мы сможем убедиться далее, это обстоятельство помогает объяснить стремительный ход событий. Официальные ответы Бенкендорфа направлялись Пушкину из Петергофа, где Жуковский имел возможность лично общаться с шефом жандармов по делу Пушкина, встречаться и разговаривать с Николаем I.

Некоторые, не принимавшие ранее во внимание обстоятельства, усилившие гнев императора при получении им прошения Пушкина, также выясняются через дневник Жуковского. Обратимся к его записям за 25 июня. Утро поэта началось в этот день с участия в церемонии «поздравления императора и императрицы». С чем именно? Многочисленные комментаторы писем Пушкина не обратили внимания на роковое стечение событий: оказывается, прошение об отставке было подано как раз в день рождения императора (25 июня 1796 г.). Близкий к царской семье Бенкендорф вполне мог обыграть это случайное совпадение, мог обратиться на это внимание и сам император. О необычном раздражении Николая I Жуковский несколько раз писал Пушкину.

Получив прошение Пушкина об отставке, Бенкендорф ответил ему 30 июня. Поэт получил письмо шефа жандармов лишь 3 июля. Дни между подачей прошения и получением ответа наполнены рядом важных событий, приведших Пушкина к отказу от отставки. Дошедшие до нас документы (прошения Пушкина, ответное письмо Бенкендорфа с решением Николая I, переписка Пушкина и Жуковского, связанная с этим делом)²¹

²¹ Исчерпывающие сводки документальных данных, связанных с «делом об отставке», см. в следующих изданиях: Дневник А. С. Пушкина. Под ред. В. Ф. Саводника. М.—Пг., 1923, с. 473—475; Дневник Пушкина. 1833—1935. Под

лишь фиксируют результаты происходивших в эти дни событий: встречи и разговоры, как официальные, так и неофициальные, остаются за их пределами, и мы можем судить об их содержании лишь косвенно. Гипотетичны и наши хронологические приурочения (хроника этих дней строится нередко предположительно). Дневник Жуковского и в этом отношении оказывается исключительно ценным: он дает ряд абсолютно точных новых дат, вносящих важные коррективы в «дело об отставке».

Каждая из дневниковых записей, сделанных 30 июня—6 июля, заслуживает самого пристального внимания, так как именно в этот промежуток времени Жуковский активно включается в хлопоты по улаживанию конфликта Пушкина с императором. По собственному, неоднократно подчеркиваемому признанию Жуковского, о решении Пушкина уйти в отставку он узнал непосредственно от самого Николая I. Обращение к дневнику позволяет определить время и место разговоров Жуковского с Николаем о Пушкине. Из записей от 30 июня мы узнаем, что в этот день в 8 часов вечера во дворце состоялся бал, которым открывался пышно празднуемый ежегодно петергофский праздник в честь дня рождения императрицы Александры Федоровны (1 июля 1798 г.). «Вечеру бал и поздравление», — отмечает Жуковский в дневнике. Скорее всего именно на балу он узнал о поданном Пушкиным прошении. Весть эта застала Жуковского врасплох. Тот испуг, который сквозит в его записках Пушкину (от 2 и 3 июля), не оставляет сомнений в том, что разговор императора с Жуковским о Пушкине носил весьма угрожающий характер. Вмешательство Жуковского в «дело об отставке» было вызвано вовсе не стремлением внушить Пушкину «верноподданнические» чувства или же «сыграть на руку» царю (как об этом пишут некоторые современные исследователи).²² Оно вытекало из понимания сложившейся ситуации. Находясь долгие годы при дворе и близко наблюдая императора Николая, Жуковский прекрасно понимал, что Пушкину с самого начала был предъявлен жесткий ультиматум: или его прежнее, зависимое положение, делавшее столь удобным контроль за ним, или глубокая опала, новые политические преследования (одним словом, все то, с чем уже однажды столкнулся Пушкин, испытавший «гнев» Александра I). Не зная мотивов, побудивших Пушкина подать прошение об отставке, Жуковский поспешил предупредить Пушкина об опасности ссоры с Николаем I. Комментаторы справедливо приурочивают разговор Жуковского с Пушкиным к 1 июля, так как сохранились авторитетные свидетельства о том, что Пушкин присутствовал в этот день на большом петергофском гулянье.²³ Кроме того, в своей записке к Пушкину от 2 июля 1834 г. Жуковский пишет: «Государь опять говорил со мною о тебе» (XV, № 966). Следовательно, о своем первом разговоре с Николаем I Жуковский уже рассказал Пушкину.

Дневниковые записи Жуковского от 1 июля могут также иметь отношение к Пушкину. В графе 8—9 часов сделана не совсем ясно читаемая пометка «Император», которую можно было бы связать с тревожными размышлениями поэта о раздражении Николая I на Пушкина. В свете происходивших в этот день событий весьма многозначительной представляется и последняя запись: «Ходил пешком по саду» (между 9 и 10 часами вечера), не совсем обычная по своему тону и характеру, передающая душевное смятение Жуковского.

ред. и с объяснительными примеч. Б. Л. Модзалевского. М.—Пг., 1923, с. 204—207; Письма Пушкина последних лет. Л., 1969, с. 231—233 (комментарий, уточняющий ход событий, написан Я. Л. Левкович).

²² См., например, наполненную фантастическими домыслами статью С. А. Саунина «Пушкин и Жуковский» (Сибирь, 1974, № 3), автор которой прямо пишет о тайномговоре против Пушкина Николая I, Бенкендорфа и... Жуковского, послушно исполнявшего их повеления.

²³ Например, свидетельство В. Ф. Ленца (Русский архив, 1878, кн. 1, с. 451—452).

Я. Л. Левкович на основе анализа упомянутой выше записки Жуковского (XV, № 966) пришла к справедливому заключению, что второй его разговор с Николаем I происходил 2 июля. Дневник поэта помогает уточнить, где и когда он состоялся. В этот день вечером в «Александрии» — личной даче императрицы — давался праздник, на котором присутствовал Жуковский. Как это следует из его письма от 3 июля, Д. Н. Блудов доставил Пушкину записку, написанную Жуковским 2 июля — видимо, сразу же после разговора Жуковского с Николаем I во время праздника в «Александрии».

Дневник поэта за 3, 4 и в особенности 5 и 6 июля показывает, что обычный ритм его жизни (с непременными занятиями утром) нарушился. Именно в эти дни идет интенсивная переписка с Пушкиным: письма отправляются по оказии (чтобы избежать вмешательства почты) и даже с нарочным. Не довольствуясь этим, Жуковский лично общается с Бенкендорфом по делу Пушкина, стремится во что бы то ни стало добиться от него, что же именно требуется от Пушкина, чтобы все осталось по-прежнему. Жуковский боится упустить время, не уловить важные для будущей судьбы Пушкина оттенки отношения к нему Николая I; он заставляет поэта трижды переписать письмо к Бенкендорфу с отказом от отставки, добываясь такого объяснения, которое бы удовлетворило императора. 4 июля (как это следует из дневника Жуковского) во дворце снова состоялся вечер. А на следующий день — «5 июля. Четверг» — поэт заносит в свой журнал очень важные данные. В графе 9—10 часов записано: «У гр.<афа> Бенкендорфа о Пушк.<ине>». Напрашивается вывод о том, что накануне, увидев Бенкендорфа во дворце, Жуковский договорился с ним о встрече на следующее утро или был приглашен к нему для официального разговора о Пушкине. 6 июля Жуковский снова был у шефа жандармов, отметив в дневнике: «Поутру у Бенкендорфа о Пушкине». О встрече с Бенкендорфом в ходе «дела об отставке» было известно из последней записки Жуковского Пушкину (XV, № 973), датированной 6 июля. Теперь мы знаем, что встреч было две, знаем их точные даты и даже часы, в которые они происходили, а следовательно, располагаем данными, вносящими уточнения в общий ход событий.

Почему потребовались два разговора с Бенкендорфом? 4 июля Жуковский получил от Пушкина письмо с разъяснением причин подачи прошения об отставке (XV, № 970). К этому времени Бенкендорфом было получено и письмо к нему Пушкина от 3 июля (XV, № 958) с отказом от отставки. 5 июля утром Жуковский лично передал Бенкендорфу полученное им от Пушкина письмо (XV, № 970).²⁴ Так как это письмо Пушкина на имя Бенкендорфа оказалось слишком сухим («новой неприличностью») и независимым по тону, Жуковскому было дано разъяснение, каким именно образом должно быть составлено прошение, чтобы оно удовлетворило Николая.²⁵ В течение дня Бенкендорф получил второе письмо Пушкина (XV, № 971), которое подробнее объясняло причины подачи прошения об отставке, но и оно не удовлетворило шефа жандармов. Оба письма Бенкендорф переслал Жуковскому. Ознакомившись с ними, последний нашел их неудачными и в записке от 6 июля посоветовал Пушкину переписать письмо еще раз. Записка заканчивается сло-

²⁴ Письмо это сохранилось в составе архива П. И. Миллера (личного секретаря Бенкендорфа). См. об этом ценную публикацию: Эй дель м а н Н. Я. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера. — В кн.: Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 33. М., 1972, с. 292—294.

²⁵ Между тем, как справедливо полагает Я. Л. Левкович, уже письмо Пушкина от 3 июля вместе с письмом поэта к Жуковскому от 4 июля по существу решили вопрос об отмене отставки Пушкина (Пушк и н. Письма последних лет. Л., 1969, с. 232). Таким образом, мы вправе сделать вывод о решающем для хода всего дела вмешательстве Жуковского. Вопрос о «прошении» Пушкина был решен уже 5 июля, после первого разговора Жуковского с Бенкендорфом.

вами: «Оба последние письма твои теперь у меня. несу их через несколько минут к Бенкендорфу» (XV, № 972). Таким образом, в этой записке идет речь о посещении Жуковским Бенкендорфа утром 6 июля.

По дневнику Жуковского заметно, как постепенно восстанавливается прежний ритм его жизни, возобновляются занятия. Последний след разговора Жуковского с Николаем I о Пушкине — неясно читаемая запись о вечере во дворце 6 июля, в которой речь идет о «письмах» и «роли». Надо полагать, Жуковский имеет здесь в виду свою роль в улаживании конфликта.

Итак, дневник 1834 г. дает несколько прямых упоминаний о Пушкине и целый ряд дат, важных для понимания «дела об отставке». Но его значение для пушкиноведения не ограничивается только этим. Нельзя забывать, что дружеское общение Пушкина и Жуковского было общением двух знаменитых поэтов, двух мыслящих современников. Оно не могло не оставлять следов в творчестве каждого из них. Особой неповторимой атмосферой этого общения проникнут «Дневник» Пушкина: на его страницах Жуковский является собеседником поэта, участником откровенных политических разговоров и дружеских споров. «Жуковский» поймал недавно на бале у Фикельмон <...> царевичу Скарятину, и заставил рассказывать его 11-ое марта. Они сели. В эту минуту входит гос.<ударь> с графом Бенкенд.<орфом> и застаёт наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцею его отца» (XII, 321). Казалось бы, Пушкин рисует Жуковского с неожиданной стороны. Но знакомство с записями в дневнике 1834 г. убеждает в том, что тема царевичества постоянно интересовала Жуковского. Недаром многие из его записей касаются другого умерщвленного придворными тирана — Петра III. Дневник 1834 г., обнаруживая пристальное внимание поэта к одному из наиболее напумевших политических переворотов в России, позволяет наметить новую линию в истории литературных отношений Жуковского и Пушкина. 30-е годы характеризуются для писателей пушкинского круга широким и всесторонним интересом к русской истории, в особенности к ее переломным, кризисным моментам. Чтение в пушкинском кругу произведений знаменитых мемуаристов (Е. Н. Дашковой, Екатерины II, Дидро, Казановы, Маргариты Валуа, упоминаемых выше Жуковским апокрифических мемуаров Людовика XVIII и др.), известных исторических сочинений, обмен мнениями по их поводу, беседы с очевидцами напумевших происшествий и событий становятся характерной приметой 30-х годов. Это помогает ощутить атмосферу живого общения литераторов пушкинского круга. В этой атмосфере не только вызревали многие исторические замыслы, но и складывались новые жанры исторической прозы. В 30-е годы получил исключительное развитие исторический анекдот, который из явления устной прозы становился жанром литературы. «Table-Talk» Пушкина складываются и вызревают в атмосфере этих исканий. Записанные Пушкиным со слов очевидцев тех или иных исторических происшествий, отмеченные живостью и блеском пушкинского ума, совершенством его мастерства, они становились одним из путей отражения литературой исторического прошлого. Этот процесс захватил и Жуковского, включившего в свой дневник записи четырех исторических анекдотов, сделанные со слов князя А. Н. Голицына. Они еще не появлялись в печати и не были также упомянуты в описании М. Л. Гофмана. Между тем они представляют несомненный интерес и со стороны своего содержания, и для прояснения путей формирования жанра исторического анекдота в русской прозе 30-х годов.²⁶

²⁶ Записи производились в два приема. Два анекдота о Екатерине II (в связи с Петром III и бароном Черкасовым) находятся на л. 12—14 рукописи. К ним прилагается письмо (точнее, список письма) Екатерины II, по-видимому к графу Мамонovu. Эти записи по положению в тетради могут быть датированы временем между 11 и 13 июня. Две другие, более короткие записи (анекдот о Екатерине II

Как известно, со слов князя А. Н. Голицына был записан Пушкиным «Славный анекдот об Указе» Петра I (XII, 162), а следовательно, князь несомненно входил в круг собеседников Пушкина и интересовал его как яркий рассказчик. Анекдоты, записанные Жуковским, имеют множество параллелей в исторической прозе Пушкина, и их опубликование безусловно даст интересный материал для сопоставлений.

Таким образом, дневник Жуковского, относящийся к лету 1834 г., включает в себя календарные записи, заметки педагогического назначения, размышления поэта на исторические темы, а также элементы его художественной прозы. Он представляет собой внутренне целостный документ, содержащий множество новых и важных сведений о Пушкине и его современниках. Предлагаемая публикация является полной: тексты, опубликованные в свое время М. Л. Гофманом, проверены по рукописи и напечатаны в более точном виде. В примечаниях к дневнику разъясняются более подробно те сведения, которые связаны с Пушкиным. В них также содержатся краткие данные о лицах, упоминаемых в документе.

〈ДНЕВНИК〉

- | | | | |
|--|-------------|-------------|--|
| | л. 1 | 1834 | |
| | л. 1 об. | | 1 июня. Суббота.¹ |
| | л. 2 об. | | Июня 2. Воскресенье. |
| | | <i>Часы</i> | |
| | | 6—7
7—8 | } Переезд императорской фамилии в Петергоф. |
| | л. 3 об. | | |
| | л. 4 об. | | Июня 3. Понедельник. |
| | | | Июня 4. Июнь. Вторник. |
| | | <i>Часы</i> | |
| | | 11—12 | Мой переезд в Петергоф. |
| | | 1—2 | Арсеньев. ² О ратном деле до Петра. |
| | | 2—3 | Плетнев ³ } Чтение статьи |
| | | 3—4 | Плетнев } <о> Екатерине и Павле.
см. ниже |
| | л. 5 | | Чтение Пеллико.⁴ |

Во время лекций разговор о Екатерине. Великий князь слушал с каким-то холодным недовольным невниманием, я спросил о причине оного; ответ был уклонительный. Должно об этом переговорить после. Я напомнил ему, что он должен бояться преубеждений и что в сношении со мною должен наблюдать совершенную искренность. — После обеда он поспешил уехать. — Наша жизнь раздроблена совершенно. Мое влияние на него ничтожно. Бываю и могу быть с ним только в часы учебные; во все другие я ему чужой. Отчего это? Не нужно ли бывать с ним чаще? Но когда? Только во время прогулок? — Во всякое другое время или уроки, или занятия для уроков. Все же свободное время принадлежит не ему. Я для него только представитель скуки. А сколько помехи во всем остальном. Посреди каких идей обык-

и графе А. С. Строганове и небольшое сообщение об английском посланнике при дворе Екатерины II (Фитцгерберте) завершают собой заполненную часть дневника и могут быть датированы временем не позднее 9 сентября 1834 г. Характер заполнения всей рукописи, записи в которой делались подряд, не позволяет усмотреть в ней материалов более позднего времени.

новенно кружится бедная голова его и дремлет его сердце! Что же делать, чтобы иметь более хорошего на него действия? Чем произвести с ним свычку?

л. 5 об.

Июня 5. Июнь. Середа.

Часы	
6—7	По болезни великого князя учения не было.
12—1	Разговор с Нефом. ⁵
1—2	Чтение записок Пеллико, продолжавшееся недолго. В«еликий» к«князь» заснул.
2—3	История «?» Ж. и кн«князь» Волконский. ⁶
5—6	Чтение [Записок Пеллико] описания путешествия во Флоренцию.
7—8	Прогулка с Ушаковым «?» ⁷
8—9	На молитве с Крейтоном «?» ⁸
9—10	Письмо от Виельгорского. ⁹ У Рауха. ¹⁰ Вечером с Дубенскою. ¹¹

- л. 6 Был разговор с великим князем о Екатерине. Все упреки, которые она заслуживает от потомства, падают на нее от первого ее шага, принужденного, но не правого. От него начинают находить полезным убийство Петра III, в коем воля ее невинна. Убийство Иоанна Антоновича есть необходимое следствие преступления, до нее совершившегося. Вражда с Павлом есть также следствие первой неправды: за трон заплатила она чувством матери. Но ее развратная жизнь принадлежит уже совершенно ей самой. Сколько ж за то с другой стороны и великого. La reconnaissance qu'on ressent pour un grand Souverain est un sentiment sublime, car il est desinteressé et entouré «?» en même temps d'idées grandes.^a

Во время чтения, при котором присутствовал Паткуль,¹² великий князь забылся: он, лежа, протянул ноги и положил их на колени Паткуля. Я взглянул на эти ноги; в«еликий» к«князь» почувствовал неприличие и переменил положение. Правила: N'exposez pas ceux qui sont près de vous à rien qui peut les abaisser: vous les blaissez et les éloignez de vous et vous vous abaissez vous même ras ces marques d'une fause supériorité, qui ne consiste pas à faire sentir aux autres leur petitesse, mais à leur inspirer par votre présence le sentiment de votre dignité et de la leur. — Il n'y a qu'une âme basse qui croit s'élever au dessus des autres par leur abaissement: l'élément ou vit une âme grande est pur; elle ne se plait que là ou tout lui ressemble; elle aime la noblesse des autres parce qu'elle est noble elle même. — Il vaut mieux être obéi par les hommes libres que par les esclaves. Pour les uns le Souverain est le représentant d'une puissance divine, indispensable pour les choses humaines comme Dieu lui-même l'est pour l'univers; pour les derniers le Souverain n'est qu'un maître que les tient en bride, obéi parce qu'il est puissant, mais haï secrètement, parce que sa puissance est avilissante et parait être une «нрзб» parce qu'elle passe les bornes du droit.⁶

^a Благодарность, которую мы ощущаем к великому государю, это — возвышенное чувство, потому что оно бескорыстно и вместе с тем сопряжено с высокими мыслями (франц.).

⁶ Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унижить; вы их оскорбляете и отдаляете от себя, и вы унижаете самих себя этими проявлениями ложного превосходства, которое должно заключаться не в том, чтобы давать чувствовать другим их ничтожество, но в том, чтобы вну-

В«еликий» к«нязь» недослушал чтения; это было неприлично. Чтение не могло долго продолжаться. Если бы он дал мне его докончить, то доказал, что слушал с удовольствием. Такого рода принуждение необходимо: не подобно привыкать употреблять других только для себя: надобно к ним иметь внимание. А ко мне и подавно. Избави бог от привычки видеть одного себя центром всего и считать других только принадлежностью, искать собственного удовольствия и собственной выгоды, не заботясь о том, что это стоит для других: в этом есть какое-то сибаритство, самовольство, эгоизм, весьма унижительный для души и весьма для нее вредный.

л. 6 об. **Июня 6. Четверг.**

<i>Часы</i>	
7—8	} Выписки из Ансильона. ¹³
8—9	
9—10	
10—11	
11—12	
12—1	У императрицы в Монплеzure.
1—2	} Варанд<?>
2—3	
3—4	Эртель. Чтение Валленштэйна. ¹⁴
8—9	Чтение Пеллико.
9—10	У меня Виельгорский.

л. 7 Народ, не имеющий литературы, — это ребенок, еще не научившийся говорить. Бывает долгое, бывает и вечное ребячество. Народ необразованный, быстро вступающий в среду образованных, чрез то заимствует у них без приготовления их образованность: его литература не может иметь оригинальности или терять ее. Для нас не было ни классической литературы, ни собственно народной: первой лишила нас греческая вера и татары; последняя почти вся погибла; теперь начинают добираться до народности; но и это подражание. Климат, однообразная природа, политические причины, равнодушие правительства или его невежество, нестойкость, расположение все пренебрегать и над всем издеваться. Вопрос: какою должна быть судьба России, если взять в рассуждение ее историю, ее политическую жизнь и характер ее народа?

л. 7 об. **Июня 7. Пятница.**

<i>Часы</i>	
7—8	} Чтение Ансильона.
8—9	
10—11	} Лекция Арсеньева. Разговор о письмах <?>
11—12	
12—1	Прогулка.
1—2	} Чтение в лекции Плетнева сочинений Екатерины.
2—3	
3—4	Обедал у «еликих» княжен.
7—8	Прогулка.
9—10	У Дубенской.

шать им вашим присутствием <?> чувство вашего и их достоинства. Только низкая душа может считать, что она возвышается над другими, унижая их: стихия, в которой живет высокая душа, чиста; она хорошо чувствует себя лишь там, где все подобно ей; она любит благородство других потому, что сама благородна. —

л. 8 Я дал совет великому князю... Записывать в особенную книжку все те вопросы касательно государственного управления и России, которые надлежит разрешить подробнее со временем или на которые надлежит обратить большее внимание для улучшения, изменения или учреждения.

л. 8 об. Июнь. 8. Суббота.

<i>Часы</i>	
7—8	} Выписки из Ансильона.
8—9	
10—11	} Лекций не было от приезда принца Оранского. ¹⁵
11—12	
12—1	
1—2	
2—3	
3—4	} Выписки из Ансильона. У меня Виельгорский.
8—9	
9—10	

л. 9 L'individu agit par principe, la masse par impulsion.¹⁶

л. 9 об. Июня 9. Воскресенье.

<i>Часы</i>	
6—7	} Выписки из Ансильона.
7—8	
8—9	
9—10	
10—11	
11—12	У обедни.
12—1	Прогулка с Виельгорским.
3—4	Обед во дворце.
4—5	} У Киселева.
5—6	
9—10	Вечер во дворце. Маленький бал.

л. 10 Нынче на бале императрица послала в<еликого> кн<язя> вальсировать. Он вальсирует дурно оттого, что, чувствуя свою неловкость, до сих пор не имел над собою довольно сил, чтобы победить эту неловкость и выучиться вальсировать как должно. Будучи принужден вальсировать и чувствуя, как смешно быть неловким, он в первый раз вальсировал порядочно, потому что взял над собою верх и себя к тому принудил. Самолюбие помогло. — Все это можно отнести к его учению. Он учится весьма небрежно; собственные занятия идут весьма вяло, то есть такие собственные занятия, коих от него требуют и коих избежать нельзя; но собственных произвольных занятий и не требуй. Ум его спит, и не знаю, что может пробудить его? Иной скажет, что у него нет ума или что он имеет весьма ограниченный ум, и это будет несправедливо. То же, что неловкость в вальсах. Придет минута, в которую подобно будет необходимо действовать умом. Но уда-

Лучше, чтобы вам повиновались свободные люди, нежели рабы. Для первых государь — это представитель божественной власти, необходимой для людских дел, как сам бог <необходим> для вселенной; для последних <же> государь — это только господин, который держит их в узде, которому повинуются потому, что он могуществен, но втайне ненавидят, потому что его власть унижительна и могла бы стать <нрав> потому что она переходит за пределы права (*франц.*).

¹⁶ Личность действует по принципу, масса — импульсивно (*франц.*).

стся ли это так, как вальс? Не думаю. А самолюбие пробудится, и ему будет тогда жестоко больно. И хорошо бы, когда бы только кончилось одним огорчением самолюбия. А угрызение совести? А раскаяние? А чувство своей неспособности перед другими, которыми надобно руководствовать? а чувство, что делаешь свое дело не так, как следует, и пр. и пр.

л. 10 об.

Июня 10. Понедельник.

<i>Часы</i>	
8—9	} Выписки <из> Ансильона.
9—10	
10—11	} Лекция Липмана. ¹⁶
11—12	
4—5	} Чтение Герена. ¹⁷
5—6	
6—7	} Прогулка на ферму бульваром.
7—8	
8—9	У меня Муравьев. ¹⁸
9—10	Вечер в Александрии.

л. 11

Лекция началась получасом позже оттого, что императрица взяла <великого> к <князя> с собой. Вот что замечательно: <великий> к <князь> никогда не найдет средства отговориться, когда ему кто бы то ни было помешает приняться в назначенный час за свое дело. А кажется, просто бы сказать: *нельзя! время за дело*. Зато всегда есть готовая отговорка для того, когда спросишь: для чего вы опоздали? Теперь эта расточительность на время вредит успеху ученья и в то же время обращается в привычку. После, обратясь в привычку, она будет вредна царскому делу, которое сверх того и потому уже не будет столь успешно, что теперь делом юношеских лет занимались лениво. Что бы кто ни говорил, а пословица: дело мастера боится — есть глубокая мудрость. Мастером быть нельзя, не зная ремесла своего. И дровосеку надобно знать топор свой и уметь владеть им. Он может сказать: выучусь рубить, когда рубить начну. Да сколько же деревьев перекрошишь понапрасну; а чего доброго и еще себе руку перерубишь. — Я слышал слово: *les gens d'esprit ne valent rien*. По-французски еще это сказать можно в ином случае. Но попробуй перевести на русский. *Умные люди никуда не годятся*. Кто же годится? Дураки? *Умники* — это другое дело. Но умничать не значит быть умным, а только портить ум...

л. 11 об.

Июня 12. Вторник.^г

<i>Часы</i>	
6—7	} Чтение Герена. Лекций не было по причине праздника.
7—8	
8—9	
9—10	
1—2	} Лекция Арсеньева.
2—3	
3—4	} Начало ваканций. Поездка в Стрельну с императрицею. Час потом вместе с Дубенскою. Возвратился с Сухтелен. ¹⁹
6—7	
7—8	
8—9	
9—10	Письмо от Дуняши. ²⁰ Обознались.

^г Переправлено из «понедельник»; нет записей за 11 июня.

Мы читаем Сегюра²² [Сегюровы записки]. Наш слушатель — князь Александр Николаевич. Он дополняет своими рассказами записки остроумного французского экс-министра, и надобно признаться, что в его рассказах гораздо более жизни, нежели под пером Сегюра, впрочем, весьма искусным. Буду записывать, что впомнимю.

Петр III, говорит Сегюр, потерял свой трон как ребенок, которого посылают спать. Екатерина, спасая себя, лишила его короны.²³ Но она не имела никогда ужасной мысли быть его убийцею. Орлов сделался им пьяный. Убийство было полезно похитительнице. Известие о нем приняла она с горестию: есть письмо Орлова к ней, в коем он просит у нее прощения и складывает вину на пьянство. И он был прощен. Злодейству Орлова Россия обязана веком славы; но Екатерина заплатила за него стыдом (незаслуженным) перед современниками и потомством: ибо всякое зло оплачивается. Петр был презрительно малодушен и ограничен. Он не понял великого характера жены своей, не умел ни воспользоваться им, ни с ним бороться. При первом признаке опасности он признал себя побежденным. Миних говорил ему: Государь, надень мундир Преображенского полку, возьми в руки крест и иди за мною; я с одним взводом солдат приведу тебя в Петербург и заставлю войска положить ружье. Петр не послушался. Хотел бежать в Кронштадт. У него спросили с пристани, кто он, и на ответ его: я государь! отвечали: государя у нас нет, а есть государыня Екатерина вторая — и начали махать зажженными факелами, как будто готовясь стрелять из пушек; а в самом деле не имели боевых снарядов. Петр испугался и, возвратясь в Ораниенбаум, тотчас послал в Петербург уведомить Екатерину, которая уже шла в Петер<гоф> с гвардиею, что уступает ей корону.

Его привезли в Петергоф [Оран<иенбаум>]. Он остановился под Ораниенбаумом <?>, где и подписал отречение; оттуда его отправили в Робшу, и через три дня его не стало.

Барон Черкасов²⁴ был умный и образованный человек, но вспыльчивый и упрямый. Екатерина очень его любила. Она послала его в Дармштадт к невесте «великого» к<нязя> Павла Петровича, бывшей «великой» к<нягине> Наталии Алексеевне. В одном из писем своих к нему она говорит: я вас рекомендовала принцессе, сказала ей почти все, что об вас думаю, следовательно, много хорошего; но ни слова о «нрзб». И в самом деле, императрица любила играть с «бароном» Черкасовым в «нрзб», и он за игрою всегда горячился. Наконец он поссорился с императрицею, уехал из Петербурга и уже не возвращался.

Перед окнами императрицы в Царском Селе была группа деревьев, которые портили вид, и императрица часто на это жаловалась, но она не хотела велеть срубить эти деревья. Черкасов вздумал это взять на себя, надеясь тем угодить Екатерине. По его приказанию деревья были срублены; но императрица была тем весьма недовольна. Она отомстила очень забавным образом Черкасову за его своеволие. Он чрезвычайно любил порядок: в горницах его была чистота необыкновенная. По приказанию императрицы несколько фрейлин, воспользовавшись отсутствием Черкасова, забрались в его комнаты и все в них поставили вверх дном: несколько стекол в окнах было разбито: чернила разлиты по столу, стулья опрокинуты; пуховики распороты и пух рассыпан по полу. Черкасов взбесился, когда, возвратясь к себе, нашел такое разорение. Он долго дулся на императрицу. Вы сер-

дитесь напрасно, барон, сказала ему она: Вы со мной поступили гораздо хуже: в моем доме вздумали вы хозяйничать и срубили мои деревья, которых уж мне возратить нельзя; а я в ваших горницах перебила свои стекла и переломала свои стулья. Эта беда может быть легко поправлена. Видите ли, что моя вина гораздо менее вашей.

л. 14

Письмо Екатерины к Мамонову.²⁵

Escoutez, mon cher ami, vous m'avez dit hier que les avances etc. ne dépendait point от постороннего доклада или запаматования, но от моей власти.

Dans un sens sans doute oui, mais dans un autre non pas oui. J'ai pris pour but de mon Règne le bien de l'Empire, le bien public, le bien particulier, mais le tout à l'unisson. Les grands avancements ont eu lieu chaque fois quand une liste poussait l'autre on qu'il y avait des places vuides à remplir. Listes, j'appelle^д список военный, как морской, так и сухопутной, список штатской, список поваральной — где по старшинству, а не по роду службы все вписаны, в обеих военных службах все счетом положено, как-то: три фельдмаршала, шесть генер<ал>-пол<ковников>; двадцать два ген<ерал>-пору<чика>; и проч. Много сверх комплекта отягощает военную сумму, штатская служба счетом лиц по мере мест, сверхкомплет отягощает равномерно казначейство. Я думаю, что ты все сие знаешь так, как я, но пишу сие, чтоб ты мог видеть мои поводы и что у меня порядок в управлении, а не *capricieuses* хотение. Синих лент я давала как возможно реже, Алекс<андровских> я редко давала par faveur,^е а чаще по службе в награждение. Егорие и Владимир имеют штатуты.

л. 15

При дворе места главные наполнены. Теперь отдаю тебе на суд, что на сей раз осталось делать.

J'ai cru nécessaire d'entrer dans ce compte-rendu, si vous avez des objections ou des questions à me faire, je vous prie de me les dire parce que j'aime à rendre raison de ce que je fais ou ai fait.^ж

л. 12 об.

Июня 13. [среда] [вторник] Среда.^з

Часы

7—8	Журнал.
11—12	} Поездка на пароходе для встречи кронпринца. К<рон>-п<ринц>. К<рон>принцесса. Граф Реде, Борстель, Вердек, Гребен, Шлифен, Маслов, Денгоф, Стош. ²⁶
12—1	
1—2	
2—3	
3—4	
4—5	Обедал с Кавелиным. ²⁷
6—7	Прогулка на линейках. К Шлифену.
7—8	К Гребену, к Маслову.
8—9	Прогулка к Монплезиру.
9—10	У Дубенской с Жиллем. ²⁸

д Послушайте, мой дорогой друг, вчера вы сказали мне, что повышения в чинах и т. п. не зависят от постороннего доклада или запаматования, но от моей власти. С одной стороны, несомненно да, но с другой, совсем нет. Целью моего правления я сделала благо государства, благо общественное, благо каждого в отдельности, но непременно все это вместе. Большие повышения в чинах производились всякий раз, когда появлялась надобность в новом листе или когда отрывались свободные вакансии. Листами я называю... (*франц.*).

е Из благодарности (*франц.*).

ж Я сочла необходимым дать этот подробный отчет, если же у вас имеются возражения или вопросы, прошу вас их высказать, потому что я склонна разъяснять то, что делаю или сделаю (*франц.*).

з Переделано из «вторник».

л. 13 На пароходе была императрица с великими княжнами. Графини Моден и Тизенгаузен, князь Волконский, Воронцов, Лобанов, Будберг Бяратинский, Литке, принц Оранский с гувернером и я.²⁹ Встретились по сию <?> сторону Кронштадта. Прелесть встречи на море; что-то магическое в этом приближении, в постепенном открытии сперва судна, потом людей, потом лиц, наконец видишь знаки, потом узнаешь черты, наконец внешность. Встретились с государем на половине возвратного пути. Грустно было смотреть на кронпринца, которому при всей радости свидания должно было стеснить душу его от многочисленного семейства государева при обидном его одиночестве <нрзб> <нрзб>. Я получил лестное письмо от Бутенева³⁰ — вечер провел один, лишь с Дубенскою и Жиллем.

л. 13 об. 14 июня. Четверг.

Часы

7—8	}	Писал письма.
8—9		
9—10		
10—11		
11—12		
1—2	}	Чтение } у в<еликого> к<нязя> Записок Туманского. ³¹
2—3		
3—4		
5—6	}	Вместе к Реде, Борстель и Вердек.
6—7		
7—8		
8—9		Гулянье в линейках.
9—10		Вечер у графини Тизенгаузен.

л. 14 об. 15 июня. Пятница.

Часы

9—10	}	Прогулка. На разводе.
10—11		
11—12	}	Писал письма.
12—1		
1—2	}	Чтение у в<еликого> к<нязя> Записок Туманского.
2—3		
3—4		
4—5	}	Дома.
5—6		
6—7		
7—8		У меня Маслов.

л. 15 об. 16 июня. Суббота.

Часы

11—12	}	Чтения не было по причине поездки в Кронштадт.
12—1		
2—3		У меня Кеттерлиц.
4—5		Обед за маршальским столом.
5—6		У Дубенской.
6—7		У Кавелина. О Кеттерлице.
9—10		Вечер в собрании. Концерт.

л. 16 об.

17 июня. Воскресенье.

Часы

7—8	}	Чтение Герена.
8—9		
9—10		
10—11		
11—12		
12—1		
1—2	}	Обед во дворце.
2—3		
4—5		
9—10		Бал во дворце.

л. 17 об.

18 <июня>. Понедельник.

Часы

7—8	}	Чтение Герена.	
8—9			
9—10			
10—11			
11—12			
12—1			
1—2	}	Чтения не было. В<еликий> к<нязь> на маневрах.	
4—5			Обедал у вел<ких> княжен.
8—9			Прогулка в ливейках.
9—10			Вечер дома.

л. 18

О Кетгерлице. О падении артиллериста.

л. 18 об.

Июня 19. Вторник.

Часы

7—8	}	Чтение Герена.		
8—9				
9—10				
10—11				
11—12				
12—1				
1—2	}	Переезд на пароходе в Петербург.		
2—3				
3—4				
4—5			}	У Смирнова. ³²
5—6				
7—8		В театре.		

л. 19 об.

20 июня. Среда.

Часы

8—9	}	Чтение Герена.
1—2		
2—3	}	Чтение Пеллико.
3—4		
5—6		Обедал у в<еликих> княжен.
7—8		В Смольном.
7—8		[Театр]
8—9		У Плюсковой. ³³ <?>

- л. 20 об. **21 июня. Четверг.**
- Часы*
- 8—9 }
 9—10 } На погребении Кочубея.
 10—11 }
- 4—5 Обедая у Сперанского.³⁴
 6—7 У Смирновой.
 7—8 }
 8—9 } У Дашкова с Блудовым.
- л. 21 об. **22 июня. Пятница.**
- Часы*
- 7—8 }
 8—9 } Чтение Ансильона.
 9—10 }
 10—11 } У Шиллинга.³⁵
 12—1 }
 1—2 } Не было чтения. В«великий» к«нязь» с кадетами в Стрельне.
 5—6 }
 6—7 } Обедая у Вяземского с Пушкиным и Кривцовым.³⁶
 7—8 }
 8—9 } Чтение Ансильона.
 9—10 }
- л. 22 об. **23 июня. Суббота.**
- Часы*
- 6—7 }
 7—8 } Весь день дома. Чтение Герена и «Mémoires de Marguerite de Valois».
 8—9 }
- 11—12 В«великий» к«нязь» в Стрельне.
 8—9 }
 9—10 } Вечер у Козлова³⁷ с Т. Вейдемейер.³⁸
- л. 23 об. **24 июня. Воскресенье.**
- Часы*
- 7—8 Приезд из Петергофа «Петербурга?».
 3—4 Обед во дворце. Росси.³⁹ Лорд Моор.
 7—8 Худое известие о графе Виельгорском.
 8—9 Бал во дворце.
- л. 24 об. **Июнь. 25. Понедельник.**
- Часы*
- 9—10 Поздравление императора и императрицы.
 3—4 }
 4—5 } Обед во дворце за маршалским столом.
 6—7 У кронпринца.
 9—10 Вечер дома. Болен.
- л. 25 об. **Июнь. 26. Вторник.**
- Часы*
- 9—10 Все утро дома.
 2—3 Чтение с великим князем Ансильона.
 3—4 Вступление.
 6—7 Пустил кровь.
 7—8 Лучшее известие о графе Виельгорском.

- л. 26 об. **Июня 27. Середа.**
- Часы*
- 9—10 Чтение Ансильона.
- 1—2 } Чтение с в<еликим> к<нязем> Ансильона.
- 3—4 }
- 4—5 Обедал у великого князя. Ссора<?> с Дубенской.
- 7—8 Прогулка с Масловым.
- 8—9 Хорошее известие о гр<афе> Виельгорском.
- 9—10 Чтение Ансильона.
- л. 27 об. **Июня 28. Четверг.**
- Часы*
- 1—2 Атака кадетов.
- 2—3 } Урок Весселя.⁴⁰
- 3—4 }
- 4—5 Обедал у в<еликих> княжен.
- 7—8 Гулял на <линейке>.
- л. 28 об. **Июня 29. Пятница.**
- Часы*
- 7—8 } Чтение Ансильона.
- 8—9 }
- 9—10 }
- 10—11 } Чтение Ансильона.
- 11—12 }
- 12—1 }
- 1—2 } Вессель.
- 2—3 }
- 3—4 Чтение у в<еликого> к<нязя> Ансильона.
- 5—6 } Прогулка с кронпринцем. ;
- 6—7 }
- 7—8 } Вечер у Дубенской.
- 8—9 }
- 9—10 }
- л. 29 об. **30 июня. Суббота.**
- Часы*
- 7—8 } Чтение Ансильона.
- 8—9 }
- 9—10 }
- 10—11 }
- 11—12 } У меня Александр.⁴¹
- 1—2 } Чтение у в<еликого> к<нязя> Ансильона.
- 2—3 }
- 4—5 Обедал у в<еликого> князя
- 8—9 } Ввечеру бал и поздравление.
- 9—10 }
- л. 30 об. **1 июля. Воскресенье.**
- Часы*
- 8—9 Поздравленье. <нрзб>
- 4—5 Обед за маршальским столом.
- 8—9 Император <?>
- 9—10 Ходил пешком по саду.

л. 31 об. **2 июля. Понедельник.**

Часы
8—9 }
9—10 } Чтение Ансильона.
10—11 }
11—12 }
12—1 }
1—2 } Вел^икий к^нязь заним^ался с Весселем.
2—3 }
3—4 } Обед за маршальским столом.
8—9 } Прием в Александрии.

л. 32 об. **3 июля. Вторник.**

Часы
1—2 } В^еликий к^нязь заним^ался с Христиани.⁴²
2—3 }
3—4 } Обед за маршальским столом.

л. 33 об. **4 июля. Среда.**

Часы
2—3 } Чтение с в^еликим к^нязем Ансильона.
3—4 }
4—5 } Обед на ферме.
7—8 } Гулял в Англ^йском саду.
8—9 }
9—10 } Вечер во дворце.

л. 34 об. **5 июля. Четверг.**

Часы
9—10 У гр^афа Бенкендорфа о Пушк^ине.
10—11 }
11—12 }
12—1 }
1—2 }
2—3 } Поездка в Кронштадт.
3—4 }
4—5 }
5—6 }
6—7 }
8—9 } Вечер дома.

л. 35 об. **6 июля. Пятница.**

Часы
10—11 В^еликий к^нязь в лагере.
11—12 Поутру у Бенкендорфа о Пушкине.
3—4 Обед у в^еликого к^нязя в лагере.
8—9 Вечер во дворце. <нрзб> письма <?> о жертве<?>. Роль.

л. 36 об. **Июля 7. Суббота.**

Часы
12—1 } Читал в^еликому к^нязю Ансильона.
1—2 }

- Часы*
 3—4 } Обед у в«еликих» княжен с пруссаками.
 4—5 }
 5—6 У кронпринцессы.
 6—7 } Поездка в Стрельну.
 7—8 }
 8—9 } У меня Гребен.
 9—10 }
- л. 37 об. **Июля 8. Воскресенье.**
- Часы*
 8—9 У обедни в Александрии.
 9—10 }
 10—11 } У Киселева.
 11—12 }
 12—1 Отъезд государя в Петербург.
 3—4 Обедал у в«еликого» князя.
 8—9 Читаю Вильмена о церковных ораторах.
- л. 38 об. **Июля 9. Понедельник.**
- Часы*
 12—1 } Чтение у в«еликого» к«нязя» Ансильона.
 1—2 }
 3—4 Обед у великих княж«ен».
- л. 39 об. **Июля 10. Вторник.**
- Часы*
 11—12 Не было чтения. Христиани.
 3—4 Обедал у в«еликой» кн«яжны» Алек«сандры» Нико-
 лаевны».
- л. 40 об. **Июля 11. Середа.**
- Часы*
 6—7 Отъезд в«еликого» к«нязя» в Петербург.
 8—9 Отпустил Федора.
 4—5 Обедал у великих княж«ен».
 7—8 } У Бека.⁴³
 8—9 }
- л. 41 об. **Июля 12. Четверг.**
- Часы*
 3—4 Обедал у в«еликих» княжен.
 7—8 У Дубенской.
- л. 42 об. **Июля 13. Пятница.**
- Часы*
 6—7 В«еликий» князь в Крас«ном» Селе.
 3—4 Обедал у в«еликих» княжен.
 7—8 Катанье на линейках.
- л. 43 об. **Июля 14. Суббота.**
- Часы*
 6—7 В«еликий» к«нязь» в Красном Селе.
 3—4 Обедал у в«еликих» княжен.
 7—8 } В молитвенную час«овню». Прогулка с Дубенскою;
 8—9 } у Бутенева.

- л. 44 об. **Июля 15. Воскресенье.**
Часы
 3—4 Обед у в«еликой» к«няжны» Алек«сандры» Ник«о-
 лаевны».
 6—7 В Красном Селе. Фейерверк.
 9—10 Возвратился в два часа.
- л. 45 Сказать в«еликому» к«нязю» о неприличности того, что при
 малейшем признаке болезни он пугается и жалуется.
- л. 45 об. **Июля 16. Понедельник.**
Часы
 11—12 Возвращение великого князя.
 3—4 Обед у в«еликого» князя.
 7—8 Вечер с Гребеном и др.
- л. 46 об. **Июля 17. Вторник.**
Часы
 10—11 Чтение с в«еликим» князем.
 6—7 У Кронпринца.
 7—8 Вечер во дворце.
- л. 47 об. **Июля 18. Середа.**
Часы
 10—11 У в«еликого» к«нязя» Христиани.
 3—4 Обед у в«еликого» князья». Сухтелен,
 8—9 Вечер у «*нрзб*»
- л. 48 об. **Июля 19. Четверг.**
Часы
 10—11 У в«еликого» к«нязя». Вессель.
 3—4 Обед«ал» у Крейтона.
 6—7 У Дубенской.
 7—8 Вечер на собств«енной» даче.
- л. 49 об. **Июля 20. Пятница.**
Часы
 3—4 Обед у великих княжен.
 4—5 После обеда у Крейтона. Бруммер.
- л. 50 об. **Июля 21. Суббота.**
Часы
 6—7 Отъезд в Гатчину.
- л. 51 об. **22. Июль. Воскресенье.**
Часы
 7—8 В Гатчине.
 7—8 Театр. Гуляние «?». Елена Павловна.⁴⁴
 (вечер)
 8—9 Отъезд в Петербург.
- л. 52 об. **23 июля. Понедельник.**
Часы
 7—8 В Петергофе.
 9—10 В«еликий» к«нязь» в Гатчине.
 3—4 Обед у Крейтона.

- л. 53 об. 24 июля. Вторник.
- Часы
3—4 Обедал у «великого» князя.
7—8 У кронпринца.
9—10 Вечер во дворце.
- л. 54 об. 25 июля. Середа.
- Часы
12—1 Чтение Pellico.
3—4 Обедал на биваках.
- л. 55 об. 26 июля. Четверг.
- Часы
3—4 Обедал за марш<альским> столом.
4—5 У Борстеля <?> Львов.⁴⁵
9—10 У Орлова.⁴⁶
- л. 56 об. 9 сентября. Воскресење. Царское Село.
- Часы
6—7 В среду отбывает государь.
7—8 В четверг отъезд императрицы с детьми.
В [субботу] пятницу после обеда я ездил в Петербург, пробыл субботу (обед с Дубенскою у Бобринской)⁴⁷ и воскресенье.
В воскресенье ввечеру бал у Константина Николаевича.
- л. 57 К<нязь> А<лександр> Г<олицын> рассказывал, что однажды в Царском Селе играл перед окнами императрицы в бары. Он должен был на минуту выйти из игры, чтобы поправить башмак; он зашел для этого за куст, и в это время импер<атрица> Екатерина шла мимо его с гр<афом> А. С. Строгановым.⁴⁸ — Граф, — сказала Екатерина Строганову, — мы теперь одни и я бы вас могла поцеловать, но вы так дурны лицом <...>

Фиц Герберт⁴⁹ еще жив. Он не может без трогательного чувства говорить о Екатерине, которая его любила, и в особенном обществе, когда он находился с Сегюром, Кубенцелем⁵⁰ и Делинем <...>⁵¹

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ошибка в записи: суббота приходилась не на 1 июня, а на 31 мая 1834 г. Далее с 1-го по 10-е июня все записи оказались сдвинутыми на один день вперед (см.: Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1834 год. СПб., 1833). Ошибка была замечена лишь 15 июня. Числа 12, 13, 14 и 15 переправлены, запись за 11 июня при этом оказалась выпавшей.

² Арсеньев Константин Иванович (1789—1863) — историк и географ, профессор Петербургского университета, преподававший наследнику русскую историю и статистику. Арсеньев был знакомым Пушкина, который беседовал с ним, встречаясь у Плетнева, «о лицах и событиях времен Петра Великого» (см.: Русский архив, 1908, № 10, с. 292).

³ Известный поэт и критик Петр Александрович Плетнев (1792—1865) преподавал наследнику грамматику и русскую словесность.

⁴ Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский писатель и публицист, автор известных мемуаров «Мои темницы» (1833) и трактата «Об обязанностях человека» (1834). Обе книги вызвали огромный интерес в России (см.: Гиллельсон М. И. Из истории итальяно-русских литературных связей. — Русская литература, 1966, № 2, с. 246—250). Пушкин напечатал в «Современнике» рецензию

на книгу Пеллико «Об обязанностях человека» (XII, 99—100). Дневник Жуковского отражает самую раннюю стадию знакомства с произведениями Пеллико в России. Надо полагать, речь идет о «Моих темницах», так как в записи за 5 июня Жуковский упоминает «Путешествие во Флоренцию» — одну из глав этой книги. Подробнее см.: Kauchtschischwili N. Silvio Pellico e la Russia. Un capitolo sui rapporti culturali russo-italiani. Milano, 1963 (в книге подробно охарактеризованы переводы произведений Пеллико на русский язык). В библиотеке Пушкина имеются обе упомянутые книги Пеллико, см.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, № 1250, 1251.

⁵ Нефф Тимофей Андреевич (1804—1876) — профессор исторической живописи, член Академии художеств.

⁶ Волконский Петр Михайлович (1776—1852) — министр двора.

⁷ Ушаков Павел Петрович (1779—1853) — генерал-адъютант, состоявший при наследнике.

⁸ Крейтон Василий Петрович — придворный медик, лечивший императорскую семью. Жуковский был дружен с Крейтоном и постоянно упоминает о нем в дневниковых записях за 1820, 1829, 1838 гг. (см.: Дневники Жуковского, с. 85, 87, 208 и др.). В начале 30-х годов Жуковский лечился у Крейтона (см. письмо Жуковского к вел. кн. Александру Николаевичу от 7 июня 1833 г.: Русский архив, 1883, № 1, с. XXVI).

⁹ Упоминания в дневнике 1834 г. о Михаиле Юрьевиче Визельгорском (1788—1856) связаны с болезнью его сына Иосифа, умершего в 1839 г. от туберкулеза. При дворе Визельгорский занимал должность шталмейстера.

¹⁰ Раух Егор Иванович (1789—1864) — лейб-медик императрицы.

¹¹ Дубенская Варвара Ивановна (ок. 1812—1901) — фрейлина, была в числе наиболее близких друзей Жуковского в придворной среде. Отсылки о ней см. также в «Письмах Жуковского к А. И. Тургеневу» (М., 1895, с. 281, 284) и в письмах Жуковского к Пушкину: приглашая Пушкина на свои именины, Жуковский перечисляет гостей, в их числе и «привлекательную Дубенскую» (XV, 107).

¹² Паткуль Александр Владимирович (1817—1877) — сверстник наследника, воспитывавшийся вместе с ним, участник его путешествия по России в 1837 г. Впоследствии Паткуль занимал ряд видных государственных и военных постов.

¹³ Ансильон Иоганн-Фридрих (1767—1837) — видный прусский государственный деятель, писатель, воспитатель кронпринца прусского Фридриха-Вильгельма. Автор известного педагогического сочинения «Pensees sur l'homme ses rapports et ses intérêts» (vol. I, II. Berlin, 1829) («Мысли о человеке, его отношениях и его стремлениях»), которое имеется в коллекции книг библиотеки Жуковского, хранящейся в Пушкинском Доме. Об этой книге постоянно идет речь на страницах публикуемого дневника Жуковского 1834 г. Жуковский был лично знаком с Ансильоном и общался с ним во время своего путешествия в Германию в 1820—1821 гг. (см.: Дневники Жуковского, с. 87, 89, 100). Упомянутая книга была известна и Пушкину, получившему ее в подарок от П. Я. Чаадаева в 1829 г. (XIV, 44, 394). Экземпляр с многочисленными пометами Чаадаева сохранился в библиотеке Пушкина (см.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, № 540).

¹⁴ Эртель Василий Андреевич — преподаватель немецкого языка. В данном случае речь идет об учебном переводе драматической трилогии Шиллера «Валленштейн», который выполнял под наблюдением Эртеля наследник.

¹⁵ Вилгельм II, принц Оранский (1792—1849), будущий король Нидерландов. был женат на сестре Николая I Анне Павловне.

¹⁶ Липман Федор Иванович (1784—1854) — историк, читавший наследнику курс всеобщей истории.

¹⁷ Геерен Арнольд-Герман-Людвиг (1760—1842) — немецкий историк, профессор философии и истории в Геттингенском университете, у которого в свое время учился А. И. Тургенев (см.: Тургенев А. И. Хроника русского в Париже. М.—Л., 1964, по указателю имен). Автор многочисленных работ по истории и праву («Ideen über Politik den Verkehr und den Handel der vernehmsten Völker der alten Welt», 1824—1826; «Geschichte der Staaten des Alterthums», 1823, и др.). В дневнике Жуковского речь идет скорее всего о книге Геерена «История европейских государственных систем» («Geschichte des europäischen Staatensystem»), которая должна была познакомить наследника с различными формами государственного устройства. Сочинения Геерена имеются в коллекции книг библиотеки Жуковского, хранящейся в Томском университете.

¹⁸ Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874) — писатель, автор книг духовного содержания (см. отзыв Пушкина о его книге «Словарь о святых»: XII, 101).

¹⁹ Сухтелен Ольга Павловна — фрейлина.

²⁰ Имеется в виду Елагина Авдотья Петровна (1789—1877), племянница, близкий друг Жуковского.

²¹ Голицын Александр Николаевич (1763—1844) — министр просвещения и обер-прокурор Синода, личный друг Александра I. В 1824 г. по настоянию архимандрита Фотия был удален от дел. В царствование Николая I был снова приближен ко двору и пользовался большим влиянием. Жуковский, знакомый с Голи-

цыным еще с конца 1810-х годов, неоднократно прибегал к его посредничеству при ходатайстве за декабристов и других лиц, пострадавших от произвола властей. Свидетель пяти царствований, воспитывавшийся вместе с Александром I, А. Н. Голицын был живым хранителем дворцовых тайн и преданий, близко знал многих исторических деятелей времен Екатерины и Павла. Его устные рассказы и анекдоты о Потемкине, Суворове, Екатерине II, М. С. Перекусихиной, графе А. С. Строганове и других лицах пользовались громкой известностью у современников (см. об этом: Дивов П. Г. Дневник. — Русская старина, 1900, № 7—9, с. 195; Гетц П. П. Записки. — Русский архив, 1902, кн. III, с. 66—68; Мердер М. К. Дневник. — Русская старина, 1900, № 2, с. 434; Баргеве в Ю. Н. Из крымского дневника. 1843. — Русский архив, 1909, кн. II, с. 607—608, 670, и др.). Князь Голицын был крупнейшим знатоком и собирателем исторических документов, в частности владел уникальной коллекцией писем и мемуаров исторических лиц. По его поручению такого рода материалы собирал для него и А. И. Тургенев (см.: Остафьевский архив, т. IV. СПб., 1899, по указателю имен). Записанные со слов Голицына исторические анекдоты связаны главным образом с Екатериной II. Они ярко характеризуют своеобразие и стиль этого расказчика.

²² Сегюр Луи-Филипп (1753—1830) — известный французский дипломат, автор известных мемуаров «Mémoires, ou Souvenirs et Anecdotes» (vol. I—III) («Мемуары, или Воспоминания и анекдоты»), выдержавших несколько изданий. В 1783 г. граф Сегюр был назначен послом в Россию, где провел несколько лет, близко наблюдая Екатерину II и ее приближенных. Эти впечатления нашли отражение во II и отчасти III томах его мемуаров. В библиотеке Пушкина имеется два издания мемуаров Сегюра (Paris, 1826—1827; Bruxelles, 1827). См.: Пушкин и его современники, вып. IX—X, №№ 1378, 1379. В издании 1827 г. разрезаны все три тома, в издании 1826—1827 гг. — тома II и III, посвященные описанию пребывания Сегюра в России. Это свидетельствует о несомненном интересе Пушкина к личности мемуариста и к его описанию придворных нравов екатерининского времени. Мемуары Сегюра, касающиеся времени его пребывания в России, неоднократно переводились на русский язык. Наиболее полное их издание см.: Русский архив, 1907, кн. III, вып. 9, с. 11—118; вып. 10, с. 193—266; вып. 11, с. 298—416. Первые переводы на русский язык отдельных фрагментов мемуаров Сегюра появились в конце 1820—начале 1830-х годов (их перечень см. в кн.: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях, т. I. XV—XVIII века. М., 1976, с. 170).

²³ Имеются в виду следующие слова Фридриха II, сказанные им Сегюру: «Петра III погубило то, что, несмотря на совет храброго Миниха, в нем не оказалось достаточно мужества; он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать. Екатерина, коронованная и свободная, вообразила, как молодая неопытная женщина, что все кончено; столь малодушный неприятель казался ей неопасным. Но Орловы, более смелые и более прозорливые, боясь, как бы не восстановили этого государя против них, покончили его» (Русский архив, 1907, кн. III, с. 18).

²⁴ Черкасов Александр Иванович (ум. 1788) — барон, сын статс-секретаря Елизаветы Петровны, президент медицинской коллегии. Входил в интимный кружок императрицы Екатерины II. Ему посвящена вторая часть ее записок (см.: Записки Екатерины Второй. СПб., 1907, с. 73: «Барону Александру Черкасову, из тела которого я честно обязалась извлекать ежедневно по крайней мере один взрыв смеха, или же спорить с ним с утра до вечера, потому что эти два удовольствия для него равносильны, я же люблю доставлять удовольствие своим друзьям»). Отставка А. И. Черкасову была дана в 1778 г.

²⁵ По-видимому, имеется в виду фаворит Екатерины II граф Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич (1758—1803), принимавший некоторое время участие в управлении делами. В 1788 г. Мамонов был назначен генерал-адъютантом Екатерины II, с чем и могло быть связано приведенное Жуковским письмом императрицы.

²⁶ Речь идет о приезде кронпринца Фридриха-Вильгельма (1795—1861), будущего прусского короля, и его жены, кронпринцессы Елизаветы Баварской (1801—1873), брак которых был бездетен. Это объясняет смысл записки за 13 июня. Жуковский перечисляет придворных кронпринца, прибывших вместе с ним в Петергоф, среди которых находилось несколько знакомых поэта. Во время поездки в Германию 1820—1822 гг. он постоянно общался с Гребеном Карлом-Иосифом (1788—1876), прусским генералом, адъютантом кронпринца Шлифеном, Стошем (см.: Дневники Жуковского, с. 92—112, 219, 379 и др.). Кронпринца сопровождал В. И. Маслов (1787—1861), генерал-лейтенант, строитель кронштадтских укреплений.

²⁷ Кавелин Александр Александрович (1793—1850) — воспитатель наследника.

²⁸ Жилль Флориан Антонович (ум. 1865) обучал наследника исторической географии.

²⁹ Со стороны русского двора на этой встрече присутствовали фрейлины Моден Софья Гавриловна (либо ее сестра Мария Гавриловна) и Тизенгаузен Екатерина Федоровна (дочь Е. М. Хитрово), князь П. М. Волконский, генерал-адъютант

танты Барятинский Владимир Иванович (ум. 1875) и Лобанов-Ростовский Алексей Яковлевич (1795—1848), адмирал Литке Федор Петрович (1797—1882), известный путешественник, с 1832 г. воспитатель великого князя Константина Николаевича. «Принц Оранский с гувернером» — имеется в виду будущий Вильгельм III, сын принца Вильгельма (см. выше, примеч. 15). В 1834 г. ему было 17 лет (1817—1891).

³⁰ Бутенев Аполлинарий Петрович (1780—1868) — видный русский дипломат, знакомый Жуковского. См. о нем: Русский архив, 1883, № 1, с. 62.

³¹ Имеется в виду книга: Туманский Ф. О. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деятельности государя императора Петра Великого. СПб., 1787. Книга эта служила Пушкину одним из источников при работе над историей Петра I.

³² Смирнов Николай Михайлович (1808—1870) — муж А. О. Смирновой-Россет, близкой к пушкинскому петербургскому кругу. 18 июля 1834 г. Смирнова родила двойню. Таким образом, посещение Жуковским дома Смирновых было связано с желанием навредить большую. О тяжелых последствиях этих родов писал жене и Пушкин (XV, 183, 185).

³³ Плюскова Наталья Яковлевна (ок. 1780—1845) — давняя знакомая Жуковского, фрейлина имп. Елизаветы Алексеевны. Ей адресовано стихотворение Пушкина «На лире скромной, благородной» (1818).

³⁴ Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — известный государственный деятель.

³⁵ Шиллинг Павел Львович (1787—1837) — дипломат и ученый, петербургский знакомый Жуковского и Пушкина.

³⁶ Кривцов Николай Иванович (1791—1843) — приятель Пушкина и Вяземского, участник войны 1812 г.

³⁷ Козлов Иван Иванович (1779—1840) — известный поэт.

³⁸ Вейдемейер Татьяна Семеновна (1792—1868) — знакомая Жуковского и Пушкина.

³⁹ Росси и Моор (Мур) — английские офицеры.

⁴⁰ Вессель Егор Христофорович (1796—1853) обучал наследника искусству артиллерии.

⁴¹ По всей вероятности, имеется в виду Александр Ваттемар (ум. в начале 1850-х годов) — французский артист, мим и чревовещатель.

⁴² Христиани Христиан Христианович (1786—1835) — генерал-майор, учивший наследника фортификации.

⁴³ Бек Христиан Андреевич (1768—1853) — старший советник Министерства иностранных дел. Знакомый Жуковского (Дневники Жуковского, с. 196, 232).

⁴⁴ Елена Павловна (1806—1873) — великая княгиня, с сочувствием относившаяся к русскому искусству, принимавшая участие в Пушкине и Жуковском.

⁴⁵ Львов Алексей Федорович (1799—1870) — композитор, директор певческой капеллы.

⁴⁶ Орлов А. Ф. (1787—1862) — генерал-адъютант, будущий шеф жандармов.

⁴⁷ Бобринская Софья Александровна (1799—1866) — приближенная императрицы, давняя знакомая Жуковского, адресат его стихов.

⁴⁸ Строганов Александр Сергеевич (1738—1811) — президент Академии художеств.

⁴⁹ Фитцгерберт А., барон (1753—1839) — английский дипломат, с 1783 г. посланник при Екатерине II, входивший в интимный кружок императрицы.

⁵⁰ Кобенцель Людвиг, граф (1753—1809) — австрийский посланник в Петербурге, также принадлежавший к интимному кружку Екатерины II.

⁵¹ Линь Ш.-Ж., де (1735—1814) — бельгийский принц, в 1782 г. послан австрийским императором Иосифом II к Екатерине II с важным дипломатическим поручением. Принадлежал к кружку императрицы. Мемуары принца де Линя имелись в библиотеке Пушкина (см.: Пушкин и его современники, вып. IX—X, № 1103).



Р. Е. ТЕРЕБЕНИНА

ЗАПИСИ О ПУШКИНЕ, ГОГОЛЕ, ГЛИНКЕ, ЛЕРМОНТОВЕ И ДРУГИХ ПИСАТЕЛЯХ В ДНЕВНИКЕ П. Д. ДУРНОВО

В Рукописный отдел Пушкинского Дома в 1971—1975 гг. поступили (в два приема) десять книжечек (in 8°) в изящных сафьяновых, тисненых золотом переплетах, содержащих дневник неизвестного за 1835—1861 гг. на французском языке.¹ В дневнике оказались записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях. На первом листе каждой книжки написано «Journal de P... D...ff» и указаны крайние даты записей («Depuis... Jusqu'au...»); каждая книжка охватывает примерно полтора—два года). Круг упоминаемых родственников и сослуживцев позволил установить, что автор дневника — Павел Дмитриевич Дурново (1804—1864), муж А. П. Волконской, дочери министра имп. двора кн. П. М. Волконского и Софьи Григорьевны, в доме которой Пушкин снимал последнюю квартиру.

С А. П. Волконской (Алиной) Пушкин познакомился летом 1824 г. в Одессе, где она была с матерью на купаньях, и тогда же восторженно писал о ней А. И. Тургеневу (XIII, 103). Б. В. Казанский в 1936 г. опубликовал записи А. П. Волконской в памятной книжке на 1837 г., относящиеся к дуэли и смерти Пушкина.² В предисловии к публикации он упомянул и ее мужа шталмейстера (на самом деле он тогда был камергером) П. Д. Дурново (в публикации ошибочно И. Д.), в браке с которым она была несчастлива. В печати никаких сведений о Дурново, кроме официальных, мы не нашли. Но дневники достаточно полно раскрывают облик этого человека, во многом типичного для своего времени.

Дурново — старинный дворянский род. Василий Юрьевич Толстой (в VII колене), по прозвищу Дурной, стал родоначальником их фамилии.³ Дед Дурново, Николай Дмитриевич, при Екатерине II был генерал-кригс-комиссаром и сенатором.⁴ Отец, Дмитрий Николаевич (1769—1834), обер-гофмейстер, был женат на Марии Никитичне Демидовой. Известные богачи Польш и Анатоль Демидовы были двоюродными братьями П. Д. Дурново. Сестра и четверо братьев его умерли в детстве, старший брат, Николай Дмитриевич Дурново (1792—1828), флигель-

¹ Записи в дневнике идут (с перерывами) с 8 мая 1835 г. по 15 апреля 1861 г. Нет записей за периоды: с 1 января по 30 октября 1838 г.: с 1 сентября 1841 по 20 апреля 1843 г.; с 1 марта 1845 по 25 июня 1847 г.; с 9 апреля 1853 по 31 декабря 1856 г.

² См.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.—Л., 1936, с. 236—239.

³ См.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. 2. СПб., 1886, с. 488.

⁴ См. «Формулярный список о службе и достоинстве управляющего Комиссариатским департаментом генерал-поручика Николая Дурново»: ИРЛИ, ф. 320, ед. хр. 549.

адъютант и генерал-майор, был убит под Варной.⁵ П. Д. Дурново остался единственным наследником значительного состояния: восьми с лишним тысяч душ в Вятской, Нижегородской, Костромской и Калужской губерниях (да у жены было свыше 1200 душ в Орловской губернии), каменного дома в Петербурге на Английской набережной⁶ и дачи «с разными строениями» на Выборгской стороне. Женитьба в 1831 г. на богатой и высокопоставленной княжне А. П. Волконской еще более упрочила его положение в придворно-аристократическом обществе.

Получив домашнее воспитание, в 1820 г. Дурново вступил юнкером во 2-й Карabinерный полк; в 1822 г. переведен в л.-гв. Павловский полк, был адъютантом при генерале от инфантерии Довре; в 1828—1829 гг. участвовал в русско-турецкой войне. После гибели брата по ходатайству матери он был переведен в Петербург и вскоре, в декабре 1829 г., вышел «за болезнью» в отставку и определился чиновником особых поручений при министре внутренних дел. В октябре 1836 г. перешел в том же качестве в Военное министерство; в 1841 г. назначен там исправляющим должность вице-директора провиантского департамента, но в 1843 г. «уволен по расстроенному здоровью, согласно просьбе его, от занимаемой им должности». В конце 1844 г. перешел в Государственный контроль, исправлял должность генерал-контролера департамента морских отчетов. Параллельно развивалась и его придворная карьера: в 1830 г. — камер-

⁵ В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранятся 17 книжек дневника Н. Д. Дурново, с 9 ноября 1811 г. по 14 сентября 1828 г. В дневнике записи об Отечественной войне 1812 г., о заграничных походах 1814—1815 гг., о смерти Александра I, междоусобице и восстании 14 декабря 1825 г., о следствии над декабристами и др. Записи о декабристах опубликованы в «Вестнике Общества ревнителей истории» (вып. 1, 1914, с. 43—60) и в «Записках Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина» (вып. 3. «Декабристы». Соцэкгиз, 1939, с. 8—22). Записи о тайном преддекабристском обществе «Рыцарство», членом которого был Н. Д. Дурново, приведены Ю. М. Лотманом в статье «Декабрист в повседневной жизни. (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)» в сборнике «Литературное наследие декабристов» (Л., 1975, с. 67—68). При просмотре дневника нам встретились неопубликованные еще записи о Пушкине и Грибоедове. 25 июля 1824 г. Н. Д. Дурново записал: «Le jeune Pouchkin, poète distingué s'est brulé la cervelle. On ignore ce qui a occasionné un pareil désespoir» («Молодой Пушкин, известный поэт, застрелился. Чем вызвано подобное отчаяние, не знают») (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9546, л. 65 об.). Слух о том, что Пушкин застрелился, пронесся по Петербургу 14 июля. На следующий день А. И. Тургенев писал об этом П. А. Вяземскому, К. Я. Булгаков — брату А. Я. Булгакову. Вяземский не поверил этому слуху; кто его распространил — неизвестно (см.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, с. 492—496). Н. Д. Дурново подробно освещает в дневнике все перипетии войны с Персией. 14 марта 1828 г. он записал: «Le canon de la forteresse a annoncé à uno heure après midi aux habitants de la capitale, que la paix était définitivement conclue avec les Persans. Griboédoff parent de Paskevitch en est le porteur. On dit qu'il aura deux grades, la croix de Ste Anne et de l'argent. Tous les militaires seront aussi récompensés» («Пушка крепости в час дня возвестила жителям столицы, что окончательно заключен мир с персами. Грибоедов, родственник Паскевича, привез его. Говорят, что ему дадут два чина, орден св. Анны и деньги. Все военные также будут награждены») (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9550, л. 116 об.). На следующий день в дневнике сообщалось о наградах участникам русско-персидской войны. В 1810-х годах Н. Д. Дурново посещал заседания «Беседы любителей русского слова». 31 марта 1816 г. он записал: «Вечером я был в русском литературном обществе у Державина. Шишков, Лобанов, Шаховской и Крылов по очереди читали свои произведения; басни последнего прелестны» (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9539, л. 9). 4 марта 1828 г. он был на знаменитом литературном обеде у «журналиста» П. П. Свиньина: «Там было еще много других писателей. Разговор был очень шумный» (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9550, л. 113 об.). Очень хороший некролог о Н. Д. Дурново, возможно составленный П. П. Свиньиным, был напечатан в «Русском инвалиде» 4 декабря 1828 г.

⁶ Дом этот (ныне наб. Красного Флота, д. 16 — по указанию Н. Н. Фокина) вплоть до Октябрьской революции находился во владении его сына — П. П. Дурново (1835—1919), московского генерал-губернатора, члена Государственного Совета, умершего в Петрограде (см.: Весь Петроград на 1917 г. Алфавитный указатель жителей города Петрограда..., с. 224; Алфавитный список улиц города Петрограда и его пригородов..., стлб. 9).

юнкер, в 1835 г. — камергер, в 1843—1844 гг. — в должности шталмейстера при великих княжках Елизавете и Екатерине Михайловнах. К концу жизни он тайный советник, гофмейстер, кавалер многих орденов.⁷

Но чины и награды приходили с годами, и не без помощи тестя. Официальные документы и дневники показывают, что рвения к службе у Дурново не было — он манкировал ею, часто брал для поездок за границу продолжительные отпуска, чем вызывал недовольство начальства и самого императора, и тогда тестю приходилось спасать его. Приехав в октябре 1837 г. в Москву, где в это время находился Николай I со своей свитой — Бенкендорфом, Адлербергом, Клейнмихелем, Орловым и др., Дурново сетует, что он, родовитый аристократ, должен ходить к этим «великим авторитетам», к этим «господам». Но он делает визиты им; переходит от Блудова к Чернышеву, потому что тот «лучше награждает»; едет с поручением, так как «надо продвигаться». В дневнике он постоянно отмечает все повышения, все награды своим знакомым и обижается, когда его обходят; жалуется, что государь не любит его, преследует... От позиции Чацкого («Служить бы рад, прислуживаться тошно»), как видим, это довольно далеко.

По дневнику легко представить образ его жизни. Заглянув ненадолго в департамент, где он служил, Дурново отправлялся с визитами: поздравить кого-либо — с днем рождения, с именинами, наградой, повышением, выразить соболезнование, навестить во время болезни, перед отъездом, после приезда и т. п.; потом обед, чаще не дома, театр, вечер в каком-нибудь салоне, раут, бал. И так изо дня в день. В Петербурге, в Москве, в провинции и за границей. Это в полном смысле слова «светский человек». На Онегина от такой жизни вскоре напала хандра, Дурново же сохранил к ней любовь почти до конца дней. Для него все это общество, как он признался однажды, было «волшебным фонарем». В дневнике громадное количество имен: у кого был, кого принимал, кого видел, о ком слышал. В основном это люди круга Дурново — представители русской и международной аристократии. Среди них немало и пушкинских знакомцев. Сообщаемые автором дневника мелкие подробности (нередко сплетни) дополняют наши сведения о них.

Летом 1835 г. в Мариенбаде и Франценбрюне Дурново тесно общается с четой Смирновых (при этом обращает внимание, что к жене внимателен вел. кн. Михаил Павлович, а у незадачливого мужа всегда что-нибудь не так). В Вене он наблюдает роман князя А. М. Горчакова с его будущей женой — графиней М. А. Мусиной-Пушкиной, урожд. Урусовой. Встретив там же П. Л. Шиллинга, сообщает, что тот — родственник Бенкендорфа и помогает последнему следить за русскими за границей, что, впрочем, не мешает самому Дурново посещать его. Едкие характеристики, перекликающиеся с пушкинскими, дает он графу и графине Шуваловым. Об А. И. Чернышеве пишет, что тот хвастун и самодоволен. В Петербурге Дурново часто бывает у А. В. Бобринской, сосватавшей его с А. П. Волконской, и после одного обеда записывает: «тетка и компания». А после визита к Н. К. Загряжской: «она совсем не меняется, и, несмотря на свои 84 года, она всегда очень весела». По возвращении из-за границы осенью и зимой 1836/37 г. Дурново часто бывает у нее и однажды делает запись: «довольно скучно, но надо туда ходить». Оказывается, салон Загряжской был в великосветском обществе из обязательно посещаемых. В нем часто бывало многолюдно. О венском салоне Разумовских Дурново как-то написал: «сборище как у Загряжской». И последний штрих: сообщая о смерти Загряжской, он пишет, что она

⁷ См. «Формулярный список о службе и достоинстве члена совета Государственного контроля действительного статского советника Дурново»: ЦГИА, ф. 1349, оп. 5, ед. хр. 424, л. 78—96. См. также служебные документы Дурново 1822—1861 гг.: ЦГИА, ф. 934, оп. 2, ед. хр. 929.

умерла «в комнате, где 30 лет играла в бостон». В августе 1837 г. Дурново в Смоленске «пил чай у коменданта» Е. Ф. Керна и записал: «...его дочь мила. Мать в Петербурге, и, говорят, она дурного поведения». В том же году о княгине Е. П. Голицыной («Princesse Nocturne»): «Это женщина странная, но умная. Она ударилась в математику».⁸ Этот ряд можно было бы продолжить не только количественно, но и во времени. Человек пушкинского поколения, Дурново в последующие годы поддерживает связи в основном со своими сверстниками, и вместе с ним мы прослеживаем и их судьбы.

В дневнике есть записи и о декабристах. Вначале о них сообщается при рассказе о других, попутно. В апреле 1836 г. в Вене, встретив Лебцельтернов, едущих в Петербург повидать Лавалей, Дурново записывает: «В злосчастный день 14 декабря 1825 г. оборвалась карьера графа в качестве посла в России, его назначили послом в Неаполе и то с великим трудом; свояк Трубецкой стал причиной его немилости». В ноябре 1860 г. запись о смерти декабриста: «Сергей Трубецкой умер в Москве. Это герой печального заговора 1825 г.». Автор дневника осторожен, и мы не сразу узнаем, что в молодости он дружил с К. П. Оболенским — «братом изгнанника» и был влюблен в их сестру. С. Г. Волконский был родным братом тещи Дурново, и все члены семьи Волконских (и их мать Александра Николаевна, урожд. Репнина, и З. А. Волконская — жена их брата Никиты) приняли горячее участие в судьбе осужденного и, как это видно из хранящейся в ЦГИА семейной переписки, энергично хлопотали об облегчении его участи, а позднее переписывались с ним. В литературе есть сведения, что С. Г. Волконская уехала за границу и жила там почти до самой смерти, изредка приезжая в Россию, «хотя и носила звание статс-дамы» двора е. и. в., — «возмущенная участью брата, томившегося в сибирской ссылке».⁹ В 1854—1855 гг., еще до амнистии, она ездила к брату в Иркутск и прожила там год. 16 ноября 1850 г. Дурново записывает о приезде в Петербург дочери «дяди, князя Сергея Волконского (сосланного в Сибирь и разжалованного)»; 28 марта 1852 г. о ней же: «Г-н и г-жа Молчановы приехали из Иркутска: они сделали это путешествие как ни в чем не бывало...». С возвращенным из Сибири декабристом автор дневника встретился в Москве 18 августа 1858 г., и из записи выясняется, что он был с ним знаком и ранее: «Я возобновил знакомство с дядей Сергеем: у него большая белая борода, черты лица немного изменились, но он по-прежнему любит поговорить. Нас было за обедом: князя Лобанов и Николай Трубецкой, Свербеев, Сабуров, Павей и дядя Сергей...». Есть записи об отъезде С. Г. Волконского в Одессу, о получении им разрешения отправиться к семье за границу, о поездке в Фаль, где его невестка родила сына Сергея.

С Н. И. Тургеневым Дурново был знаком тоже еще до восстания. В ноябре 1824 г. он писал из Флоренции брату: «Здесь много русских: Самарин с женой, Н. Тургенев, Чертков...».¹⁰ В 1857—1858 гг., находясь в Париже, Дурново и с женой и один много раз бывал у Тургеневых. После первого визита 6 ноября 1857 г. он записал: «Вечером мы были у Тургенева. Его жена очень приятна и беременна четвертым ребенком, несмотря на то что мужу 70 лет. Впрочем у него еще очень свежий ум». Во второй свой приезд в Россию, в августе 1859 г., в Петербурге Н. И. Тургенев с сыном был у Дурново. Из введенной в публикацию записи выясняется, что автор дневника был знаком, по-видимому, и с А. А. Бестужевым.

⁸ Напомним, что в библиотеке Пушкина сохранилась книга: De l'analyse de la force, par M-dme la Princesse Eudoxie Galitzine, née Ismailoff. 1-^{re} partie du 1-er livre. SPb., 1835 (ИРЛИ, Библиотека Пушкина, № 932).

⁹ Новое время, 1914, № 13669 (рецензия Е. Шумигорского на «Биографический очерк» о П. М. Волконском).

¹⁰ ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9552/13.

Для публикации мы отобрали записи Дурново о писателях. Их немало, и, кроме записи о Гоголе, они не имеют литературного значения, т. е. не являются откликом на их произведения. Это, так сказать, «светские» писатели: А. К. Толстой, И. И. Козлов, З. А. Волконская, Мятлев, Соллогуб, Ростопчина, Тютчев, Вяземский, Хмельницкий. Для Дурново они просто знакомые, он встречается с ними в свете и дома. Его записи о них чисто биографического характера, но почти все они содержат новые факты и некоторые из них бесспорно войдут в биографии писателей (З. А. Волконской, А. К. Толстого, И. И. Козлова, например), в летописи их жизни и творчества (таковы записи о Гоголе, Тютчеве, И. С. Тургенева).

Нам не удалось найти сведений о знакомстве П. Д. Дурново с Пушкиным. То, что поэт был знаком с его женой, делает это весьма вероятным. Но они, несомненно, часто встречались — во дворце, у общих знакомых, на раутах и балах. 23 января 1834 г. в камер-фурьерском журнале записано, что на балу и ужине в Аничковом дворце были камер-юнкеры: «Дурново с супругою <...> Пушкин с супругою». Оба они навещали Загряжскую. Из письма А. Н. Карамзина известно, что Пушкины были у Загряжской в день ее именин (в Натальин день) — 26 августа 1836 г.; в этот же день там был и Дурново. 21 января 1837 г. он был на балу у Фикельмонов, 23 января — у Воронцовых-Дашковых, а 26 января — у графини Разумовской, где, как известно, был и Пушкин.¹¹ В дневнике несколько записей о дуэли и смерти поэта и о связанных с ними событиях. При оценке их надо иметь в виду следующее обстоятельство.

Дурново не был наблюдателем (к тому же большую часть времени он в салонах играл в карты). Сообщая те или иные сведения о лицах, он часто пишет: говорят, полагают, считают, думают, утверждают, т. е. он выражает не свое личное, индивидуальное, а общее мнение о них. Если Дурново передает ту или иную новость, то это показывает, что в этот день она была предметом разговора на обеде, на который его пригласили, в салоне или на рауте, на бале, где он был, и т. д. Это придает его записям о событиях особое значение. К тому же Дурново был очень осведомленным человеком. Родственные связи открыли перед ним двери придворно-аристократических, бюрократических и дипломатических салонов. Он был постоянным посетителем салона Нессельроде (и находил его очень приятным), он бывал у Чернышева, у Бенкендорфа, у Бобринских, и они редко, но бывали у него, не говоря уже о тесте — первом чиновнике государства. Некоторые новости он узнавал из первых рук (отсюда его точность) и ранее других. Все это определяет значение его записей о Пушкине, Лермонтове, Чаадаеве и др.

С Лермонтовым Дурново, вероятно, не был знаком, но, как и с Пушкиным, мог встречаться с ним в свете — у Воронцовых-Дашковых например, с которыми был дружен и у которых часто бывал; присутствовал он и на знаменитом новогоднем балу у Баранта, на который был приглашен и Лермонтов. В дневнике две записи о дуэли поэта с Барантом. Они одни из самых ранних и позволяют уточнить развитие событий, предшествующих аресту поэта и суду над ним. Интересны и записи Дурново и его жены о смерти Лермонтова. В публикацию введены также краткие записи о смерти Крылова, Гоголя, Жуковского и др. Они показывают, что кончина писателей вызвала отклик и в великосветском обществе. Из записей об иностранных писателях (а Дурново пишет об изгнании Гюго из парламента, о похоронах Беранже, о смерти Э. Сю и др.) приведены только две, в которых обнаруживается связь с Россией, — о визите автора дневника к Жюлю Жанену и о приезде в Петербург А. Дюма-отца.

¹¹ См.: ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 91, л. 71 об.; Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 96.

Дурново — неутомимый театрал. Где бы он ни был, он везде и всегда посещал театры. По его записям можно воссоздать их репертуар. Он многое видел. В апреле 1836 г. в Вене, в Итальянской опере, он слушал примадонну Гарсиа, юную и грациозную, которая, по его словам, «со временем станет превосходной». В Париже много раз видел Рашель, бывал на концертах Берлиоза и др. В Петербурге был на концертах всех приезжих знаменитостей. С некоторыми из них был знаком. В 1840 г. у Дурново пела Джудитта Паста, и он бывал на многих ее концертах (и его записи, возможно, позволяя уточнить некоторые даты в летописи жизни М. И. Глинки). Он постоянный посетитель спектаклей итальянской оперы, приехавшей в Петербург. Он часто бывает во французском театре. Русскую оперу и драму он посещает реже. Впрочем, он видел Каратыгина и его жену во многих спектаклях, Мочалова в роли Гамлета («хорош»), Мартынова в водевиле «Лев Гурыч Синичкин» (а при известии о его внезапной кончине написал: «большая потеря для театра»), Щепкина в роли Городничего («превосходен»). На «Ревизоре» Гоголя в Москве он был трижды (30 августа 1837, 18 августа 1839 и 19 августа 1860 г.) и трижды записал, что русские актеры играли «очень хорошо». 9 ноября 1837 г. в Москве в Большом театре он видел «Горе от ума» Грибоедова (и отметил, что на спектакле был «государь с наследником и двумя великими князьями»). Из театральных записей мы публикуем его отзыв об «Иване Сусанине» Глинки (он был на первом представлении оперы) и две записи о великом композиторе, дающие новые, неизвестные прежде факты для его биографии.

И в России и за границей Дурново посещает музеи и выставки. Он член Общества поощрения художников. В публикацию мы ввели его запись о Брюллове и показавшуюся нам любопытной в связи с Пушкиным запись о посещении Академической выставки 1836 г. в Петербурге.

Записи Дурново краткие, но они подневные. По его дневнику можно узнать не только, какая погода была в Петербурге в тот или иной день, но и основные события, волновавшие русское общество. Это своеобразная хроника русской жизни с 1835 по 1861 г. Много также откликов и на европейские события.

С мая 1835 по август 1836 г. Дурново с семьей находится за границей. Он живет в Мариенбаде, Франценбруне, Аахене. В его записях (как в эти годы, так и в последующие) много любопытных черточек о жизни русской аристократии «на водах». Дурново подсчитывает, сколько стаканов минеральной воды он выпил, сколько ванн и душей принял; по рекомендации врачей он ежедневно совершает променады, а вечером в компании русских или в казино до ночи играет в карты и утром жалуется на большую голову. В Берлине Дурново посещает дипломатический салон Рибоьера, в Дрездене — Шредера, в Вене, где они прожили зиму, — салоны Татищева, Разумовских, Меттерниха. В дневнике масса частных подробностей о представителях европейской аристократии, об австрийском дворе, о Меттернихе и его жене (она несколько раз была у супругов Дурново). В сентябре 1835 г. Дурново был в Теплице во время встречи трех императоров, присутствовал при закладке памятника русским воинам, павшим в Отечественную войну в Кульмской битве. От политики автор дневника далек, но некоторые его частные замечания о встрече союзников любопытны. Николай I привез австрийскому двору много хороших подарков, союзники же оказались скупы. Дурново жалеет, что приехал в Теплиц, так как многочисленных гостей не очень хорошо приняли. После опубликования в Лондоне похищенных из кабинета вел. кн. Константина дипломатических депеш, относящихся к войне России с Турцией, он записал в дневнике, что Меттерних «хитрый малый», который обманывал и Александра, и Николая, и после этого почти перестал бывать в его салоне. Вероятно, это отклик разговоров в русских кругах Вены.

В августе 1840 г. в Париже Дурново был свидетелем первых классовых боев пролетариата за свои права. Красноречивы страницы с краткими записями о европейских революциях 1848 г. Дурново, конечно, не на стороне восставших («Бедная Франция», «несчастные страны» — комментирует он), но по его записям можно узнать, когда то или иное событие стало известно в Петербурге. В России в это время холера. Народ беспокоен, но придворно-аристократическая жизнь течет без перемен. И вдруг запись от 24 апреля 1849 г.: «В Петербурге только что раскрыто тайное общество (клуб), составленное из профессоров, студентов, четырех гвардейских офицеров и воспитанников школы правоведения: арестовано более 40 человек. Их выдал один профессор»; от 9 мая: «Некий Петрушевский (sic!), сын врача, причисленный к Министерству иностранных дел, является главой тайного общества, которое раскрыто здесь и отрасли которого распространяются за границу и в провинции России; много лиц уже в крепости, но еще не все». Первая запись сделана на следующий день после ареста петрашевцев, присутствовавших на очередной пятнице, другая — после первых допросов. Осведомленность, как всегда, редкая. И последняя запись, после суда, 23 декабря: «Суд над обществом коммунистов закончился вчера. 21 были приговорены к смерти. Император даровал им жизнь: одни приговорены к каторжным работам на срок, другие отданы в солдаты. Глава Петрашевский «осужден» на каторжные работы в Сибири пожизненно. Приговор был прочитан на Семеновском плацу. Молодой Кашкин отдан в солдаты на Кавказ. Среди них было четверо офицеров гвардии: трое разжалованы и один переведен в армию тем же чином. Один заговорщик за отсутствием доказательств отправлен в Шлиссельбург, а другой, безумный, лечится до своего выздоровления, и потом его будут судить».

Убежденный защитник самодержавно-крепостнического строя, Дурново обрушивается на всех, кто стремится поколебать существующий порядок вещей. Богатый помещик, он не имеет дел с крестьянами, для этого есть управляющий, он же только изредка проверяет счета. Во время кратковременного пребывания в поместье, когда его встречают с хлебом и солью и падают перед ним на колени, он записывает: «мои добрые крестьяне». Но он всегда на страже своих интересов и отмечает в дневнике все ставшие ему известными случаи неповиновения крестьян помещикам. Когда в связи со свадьбой наследника в апреле 1841 г. по городу распространились слухи, что «император хочет освободить крестьян», он надеется, что этого не будет, так как «подобная мера возмутит всю Россию». Для него очевидно, что движение народа за свободу и землю несет гибель и разорение дворянству. Первые вести о готовящемся освобождении вызывают его гневные реплики: «Его величество хочет дать землю крестьянам, следовательно — уничтожить дворянство», «тем хуже», «берегись бомбы». Долго подготавливаемое освобождение, как это видно и из дневника, прошло тихо. Для чтения манифеста царь разослал во все концы генерал- и флигель-адъютантов. Поехал на Дон и сын автора дневника. Записи обрываются на пороге новой эпохи.

В заключение необходимо сказать: то, на что мы обратили внимание, было извлечено нами из массы неинтересных, не имеющих существенного значения записей. Перед нами предстает удивительно однообразная и пустая жизнь светского человека, лишенная общественного содержания. Выше всего в жизни Дурново ценит благосостояние и комфорт; брак по любви двух необеспеченных людей считает глупым. Женясь по рассудку, он продолжает жить своей отдельной жизнью, а потом жалуется, что его никто не любит, и лишь с годами приходит привязанность к жене-другу.

И последнее: публикуемые записи из дневника П. Д. Дурново (ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, № 273) даются в строгой хронологической последовательности, вначале в оригинале, потом в переводе. В связи с разнообразным

характером записей (о разных лицах), их значение в каждом отдельном случае раскрывается в комментариях. Для комментирования записей привлечены неопубликованные материалы семейной переписки Волконских и архива Дурново, камер-фурьерские журналы, хранящиеся в ЦГИА, дневник Н. Д. Дурново и семейная переписка Веневитиновых, хранящиеся в ГБЛ, а также некоторые материалы, хранящиеся в ПД, ГПБ и ЦГАЛИ. Они дополняют сведения Дурново. Почти все они, кроме камер-фурьерских журналов, на французском языке, но в комментариях, за исключением записей о Пушкине, Лермонтове и Грибоедове, даются только в переводе, что в дальнейшем не оговаривается.

ЗАПИСИ

«Franzensbrunn», 14 Juillet «1835».

«...» M-me Tolstoï, soeur de Madame Kriganovski, est venue de Carlsbad pour la voir. Elle est encore bien. Son fils âgé de 17 ans, qu'elle a avec elle, a l'air d'être son frère «...»

«Dresde». 14 Août «1835».

«...» Chez la Comtesse Tolstoï, née Pérovski: elle arrive de Carlsbad et se rend en Russie «...»

«Dresde». 19 Août «1835».

J'ai essayé le matin d'aller me promener, mais la pluie m'a surpris et m'a forcé de me réfugier chez la Comtesse Tolstoï, à l'hôtel de Pologne. Elle est je crois mauvaise langue et femme galante «...»

«Dresde». 25 Août «1835».

«...» M-mes Sobensko et Tolstoï ont passées la soirée chez nous.

«Vienne». 12 Novembre «1835».

«...» Davidoff est arrivé à Vienne de retour de son voyage en Grèce et à Constantinople «...» Le peintre Bruloff l'a accompagné dans son voyage: il l'a laissé à Constantinople, d'où il retourne à Pétersbourg.

«Aix-la-Chapelle». 3 Juin «1836».

«...» Le Colonel Engelhart est arrivé dans la nuit de Pétersbourg: il vient pour se traiter. Il m'a dit, que le pauvre Apréleff a succombé à sa blessure. Il paraît que Pavloff a voulu venger l'honneur de sa soeur, mais c'est toujours affreux. L'Empereur l'avait d'abord condamné aux travaux forcés en Sibérie: mais il a commué la peine et on l'a fait soldat au Caucase, avec le droit d'avancement. Le Baron d'Eckern, Ministre de Hollande en Russie, vient d'adopter un François le Baron d'Antès et il lui a donné toute sa fortune: on ne sait pas le pourquoi «...»

«Aix-la-Chapelle». 17 Juin «1836».

«...» Miatleff, vient de passer avec sa mère et ses enfans, pour aller rejoindre sa femme, qui est à Londres, avec sa soeur la Princesse André Golitzine.

«Aix-la-Chapelle». 3 Juillet «1836».

«...» Notre auteur Гоголь vient d'arriver: c'est un jeune homme rempli de talent. Il a composé un vaudeville intitulé Ревизор qu'on dit être très bon, C'est une critique amère de la province et on dit même, qu'il a été obligé, d'aller voyager, pour éviter des désagrémens.

«Pétersbourg». 9 «Août 1836».

«...» Je suis allé chez le Prince Nikitta, qui j'ai trouvé vieilli «...» J'ai été chez la Princesse Zénéide — c'est une nouvelle connaissance pour moi. Son fils Alexandre relève d'une grande maladie «...»

«Pétersbourg». 23 «Septembre 1836».

«...» J'ai passé chez la Princesse Zénéide, qui est arrivée de Moscou et qui part incessamment pour Rome «...»

«Pétersbourg». 27 «Septembre 1836».

Je suis allé le matin à l'Académie des Beaux-Arts. Il y avait une séance publique. On y était engagé. L'exposition de cette année est fort belle. On nous a tenu jusqu'à quatre heures, avec la lecture du compte rendu et la distribution des Médailles «...»

«Pétersbourg». 29 «Septembre 1836».

«...» Le soir, chez la Princesse Zénéide: elle demeure chez M-me Venvitinoff. On y a fait de la musique. La Princesse chante encore bien, malgré ses 50 ans. Glinka touche à merveille du piano.

«Pétersbourg». 30 «Septembre 1836».

«...» J'ai été prendre congé de la tante Zénéide: elle part demain «...»

«Pétersbourg». 25 «Octobre 1836».

Un certain Tchédæeff, ex-militaire, vient d'écrire dans le *Télescope*, un article virulent, contre la Religion et le Gouvernement. Le *Journal* a été défendu et l'auteur traité de fou. J'accuse la Censure, autant que l'Ecrivain «...»

«Pétersbourg». 21 «Novembre 1836».

La présentation de la Vierge: grande fête et vacance pour moi. Je suis allé féliciter M-r Olénine: c'est son jour de naissance. Le soir, au théâtre. *Bénédicte de Peyssard*. La *Bourbier* a été très bonne dans le rôle de la Folle: mais la pièce est mauvaise. Raout chez *Nesselrode*. *Dantès*, adopté par le Baron d'*Eckern*, épouse M-lle *Gantcheroff*. On dit qu'il faisait la cour à la soeur M-me *Pouchkine* et qu'il a été forcé par le mari de se déclarer. Le jeune homme est fils naturel du Roi de Hollande. C'est un fat, avec très peu de moyen.

«Pétersbourg». 27 «Novembre 1836».

«...» Le soir, l'ouverture du Grand théâtre. Il a été arrangé à neuf. On a donné l'Opéra de Glinka *Иван Сусанин, или Жизнь за царя*: froid et long.

«Pétersbourg». 28 «Janvier 1837».

Pouchkine (l'auteur) s'est battu hier en duel à quatre heures après midi, avec son beau-frère *Dantès* (fils adoptif d'*Eckern*). Il le croyait amant de sa femme. Ils n'étaient qu'à dix pas, *Pouchkine* a été mortellement blessé au bas ventre. *Dantès* légèrement au bras et au côté. *Pouchkine* s'est battu avec acharnement — le soir il n'était pas encore mort. Je suis allé le matin recevoir les suppliques et puis j'ai été me présenter à la Grande-Duchesse *Hélène*. Il y avait beaucoup de monde, car c'est la fête du Grand-Duc. J'ai passé chez M-me *Poltoratski* — elle est arrivée depuis peu. Le soir, je suis allé pour un moment chez la Princesse de *Géorgie* — elle avait du monde. Plus tard, chez *Nesselrode*. Raout.

«Пétersbourg». 29 «Janvier 1837».

Pouchkine est mort [hier] aujourd'hui à trois heures après midi. On dit, qu'il a beaucoup souffert. L'Empereur lui a écrit un billet bienveillant et lui a promis d'avoir soin de sa femme et de ses quatre enfans. Le matin, au Département. Le temps est humide — les chemins mauvais. Le soir, chez la tante. Beaucoup de monde.

«Пétersbourg». 31 «Janvier 1837».

J'ai été le matin voir mon ex-Chef Bloudoff. Il est toujours grand causeur. M-r et M-me Hitroff, ainsi que M-me Poltoratski, ont dîné chez nous. L'Empereur a donné à la veuve Pouchkine 10 mille roub. de pension — à ses deux filles par mille jusqu'à ce qu'elles se marient; les deux garçons au Corps des Pages — 10 mille roub. pour l'enterrement, toutes les dettes payées, le bien libéré et une édition de luxe complète des Oeuvres imprimée aux frais du Gouvernement et vendue au profit des enfans. C'est superbe, mais c'est trop. Le soir, chez Nesselrode.

«Пétersbourg». 21 «Mars 1837».

Je ne suis pas sorti de la matinée: ma femme est allée seule à Jelagine — je m'en suis dispensé. J'ai dîné chez mon beau-père. Vers sept heures, je suis allé assister au transport de M-me Zagriatski, au Couvent de Nevsky, malgré qu'on avait engagé personne, il y avait foule. J'ai pris le thé chez M-me Démidoff — passé pour un moment chez Voronzoff et j'ai terminé la soirée chez la tante. Le jugement de Dantès a été terminé: il est dégradé et renvoyé pour toujours hors de Russie. Le témoin de Pouchkine, le Colonel Danzas, mis à la forteresse pour deux mois. La femme de Dantès ira le rejoindre avec le papa Eckern, qui a été rappelé. Ce n'est pas une perte.

«Пétersbourg». 12 «Juin 1837».

Dans la maison; j'ai été ensuite chez M-r et M-me Tutcheff, qui arrivent de l'Etranger. Elle est fort aimable <...>

«Пétersbourg». 13 «Juillet 1837».

Le fils du Prince N. Dolgorouki de Vilna, a été tué en Géorgie dans une expédition contre les Tcherkess, ainsi qu'Alexandre Bestougeff. Le Prince Dolgorouki, fils de l'ex-Ministre a été grièvement blessé <...>

«Пétersbourg». 29 «Novembre 1837».

<...> Le soir, j'ai été pour un moment chez M-me Demidoff: j'y ai renouvelé connaissance avec M-r Glinka, musicien et compositeur de l'Opéra Жизнь за царя. Je l'ai connu en l'année 30, à Aix-la-Chapelle. Il a une très jolie femme <...>

«Пétersbourg». 22 Novembre «1838».

<...> L'Ancien Gouverneur de Smolensk, M-r Hmelninski a été mis à la forteresse <...>

«Пétersbourg». 1 Janvier «1840».

<...> Le soir, grand bal chez l'Ambassadeur de France. Beaucoup de monde et une chaleur atroce. La maison Narichkine qu'il occupe est fort belle et bien arrangée.

«Пétersbourg». 30 Janvier «1840».

<...> L'aveugle poète Kozloff est mort aujourd'hui, à la suite d'une longue agonie <...>

«Пétersbourg». 5 Février «1840».

J'ai été le matin au Monastère de Nevsky, à l'enterrement de M-me Souhareff et de Kozloff <...>

⟨Pétersbourg⟩. 12 Février ⟨1840⟩.

⟨...⟩ Dîné chez la grande-tante. Miatleff a recité une partie du voyage de M-me Kourdukoff: c'est très drôle.

⟨Pétersbourg⟩. 7 Mars ⟨1840⟩.

Le jeune Potemkine épouse une Comtesse Tolstoï de Moskou: on dit qu'elle a 30 ans et lui n'en a que 20. Barante le fils de l'Ambassadeur s'est battu en duel avec Lermantoff, officier aux Hussards de la Garde. Le 1-er a été légèrement blessé. La cause du duel a été M-me Baharat. Le Gouverneur Civil de Vitepsk, M-r Lvoff, s'est brulé la cervelle. Dîné chez le Ministre de Suède: mauvaise table; le soir chez Fersen.

⟨Pétersbourg⟩. 13 Mars ⟨1840⟩.

Le Conseiller-Privé Vronchenko est nommé Adjoint du Ministre des Finances: mauvais choix. J'ai fait le matin quelques visites. Dîné chez le Comte Nesselrode: excellente table. Raout chez l'Ambassadeur d'Angleterre. Mauvaise musique et une chaleur étouffante. Le jeune Barante a été renvoyé de Russie et Lermontoff mis aux arrêts. Les François décidément en veulent à nos Poètes.

⟨Pétersbourg⟩. 19 Avril ⟨1840⟩.

⟨...⟩ La Princesse Zénéide Volkonsky s'est trouvée mal avant-hier et a eu un accès de son ancienne maladie, c'est-à-dire, une espèce de folie. On la tourmente maintenant pour son changement de religion et le cynode veut la mettre au Couvent. Il faut espérer qu'on la laissera partir tranquillement ⟨...⟩

⟨Pétersbourg⟩. 29 Avril ⟨1840⟩.

Aline a été à Strelna prendre congé de la Princesse Zénéide, qui est partie pour l'Etranger. Son mari Nikitta a reçu ordre de revenir en Russie. On craint que sa femme ne lui fasse changer de Religion ⟨...⟩

⟨Pétersbourg⟩. 1 Mai ⟨1840⟩.

⟨...⟩ Aline a été à Strelna, prendre congé de Zénéide, qui part enfin demain.

⟨Paris⟩. 31 Juillet ⟨1840⟩.

⟨...⟩ Le matin, je suis allé chez Jules Janin, lui recommander Bourbier, qui va débiter au 1-er théâtre Français. Il m'a promis de la protéger. C'est le tout-puissant dans les coulisses des théâtres, car il est le Rédacteur du Feuilleton du Journal des Débats. Il va à la fin de ce mois, rejoindre Anatole à Florence et passer avec lui quelques semaines ⟨...⟩

⟨Pétersbourg⟩. 13 Novembre ⟨1840⟩.

⟨...⟩ Le soir, nous sommes allés avec Aline, assister comme parens à la Noce du Comte Salogoube Cadet avec la Comtesse Sofie Véleorsky. La Cérémonie s'est faite dans la petite Chapelle, en présence de toute la famille Impériale. Ensuite on est allé chez les Nouveaux-Mariés, qui demeurent chez les Parens de la Mariée. L'appartement est petit, mais gracieusement arrangé. La jeune personne est bien de figure et surtout bien élevée ⟨...⟩

⟨Pétersbourg⟩. 23 Janvier ⟨1841⟩.

⟨...⟩ Le soir, au théâtre Alexandre, bénéfice de M-me Karatigine. Elle a declamé une scène de M-me Kourdukoff, poème burlesque de Miatleff: c'est assez drôle ⟨...⟩

⟨Pétersbourg⟩. 12 Avril ⟨1841⟩.

M-lle Assenkoff, actrice du théâtre Russe, est morte ce matin d'Etisie. C'était une fort jolie personne et artiste distinguée ⟨...⟩

«Pétersbourg». 13 Avril «1841».

La nouvelle de la mort de M^{lle} Assenkoff, est fautive: mais elle est au plus mal.

«Pétersbourg». 20 Avril «1841».

M^{lle} Assenkoff est morte hier, à cinq heures du matin «...»

«Pétersbourg». 22 Avril «1841».

«...» On a aussi aujourd'hui enterré la pauvre Assenkoff: on dit, qu'il y a eu 1000 personnes à son enterrement «...»

«Pétersbourg». 3 Août «1841».

«...» Le poète, Lermontoff a été tué en duel au Caucase, par un M^r Martinoff: c'est une perte, car il promettait. Le Capitaine Gervais est mort de ses blessures au Caucase. C'était l'amant de la Prin^{cesse} Yousouf.

«Pétersbourg». 13 Février «1844».

«...» M^{me} Olsoufieff est morte hier dans la nuit et Jean Miatleff ce matin à deux heures. Il a été fort peu de temps malade. On dit, que ce sont des hémorrhoides et une paralysie, qui l'a emporté.

«Pétersbourg». 10 Novembre «1844».

Le fabuliste Kriloff est mort hier «...»

«Pétersbourg». 31 Juillet «1848».

«...» Le père du poète Pouchkine vient de mourir du Choléra «...»

«Pétersbourg». 11 Août «1848».

«...» Le Prince Viasemski et sa femme, Tutcheff avec la sienne, Thengoborski avec sa fille etc. ont dîné chez nous.

«Pétersbourg». 24 Février «1852».

«...» L'auteur Gogol est mort à Moscou,

«Pétersbourg». 20 Avril «1852».

«...» Notre poète célèbre Joukovski est mort à Baden «...»
«...»

«Pétersbourg». 31 Janvier «1857».

Le Comte Basile Bobrinski et le Professeur Schévireff, à la suite d'un dîner chez le Conseiller-Privé A. D. Tchertkoff, se sont dits de gros mots et puis se sont rossés.

«Pétersbourg». 1 Février «1857».

Le Comte Basile Bobrinski et Schévireff ont été renvoyés de Moscou et défendu de rester dans les deux Capitales «...»

«Aix-la-Chapelle». 5 Juin «1857».

«...» Ma belle-mère m'écrit que la Comtesse Tolstoy, née Pérowsky, est morte d'un coup d'apoplexie dans la nuit du 1 Juin. On devoit s'y attendre à cause de son embonpoint «...».

«Pétersbourg». 11 Juin «1858».

«...» Le Comte Grégoire Koucheleff-Besborodko est arrivé hier avec sa femme par le bateau de Stettin: il demeure à sa campagne. Alexandre Dumas (père) est venu avec eux, ainsi que le prestidigitateur M^r Hume, qui épouse sa belle-soeur M^{lle} Krohl.

«Pétersbourg». 27 Novembre «1858».

Le Prince Юрка Galitzine, Chambellan, communiquait des articles contre le Gouvernement, à Londres, à Hertz (Искандер): on l'a découvert et il a été exilé dans l'intérieur du pays «...» Le soir, au Club. .

«Pétersbourg». 8 Décembre «1858».

La Comtesse Rostopchine, la jeune, est morte à Moscou d'un Cancer à l'estomac: elle était célèbre par poésies et sa vie galante «...»

«Pskov». 30 Avril «1859».

A huit heures du matin, nous sommes partis par le chemin de fer pour Pskoff: Pierre, moi, Marchenko et Rheinolt nous avons accompagné jusqu'à Pskoff. Aline a très bien supporté le trajet. Le temps est très beau. Au débarcadère, Antoni, nous attendait avec des voitures. A la poste, nous avons pris tout l'hôtel: on y est très bien. Bon dîner et bons lits. J'ai fait la connaissance de notre auteur Tourguénieff, qui va à l'Etranger.

«Moscou». 28 Septembre «1860».

Le 23 de ce mois, est mort Алексей Степанович Хомяков âgé de 55 ans, dans son bien à Рязань: c'était un poète et littérateur et chef des Slavophiles «...».

ПЕРЕВОД

«Франценбрюн». 14 июля «1835».

«...» Г-жа Толстая, сестра госпожи Крыжановской, приехала из Карлсбада повидаться с ней. Она еще хороша. Ее сын 17 лет, который при ней, выглядит как ее брат «...»¹

«Дрезден». 14 августа «1835».

«...» У графини Толстой, урожденной Перовской: она прибыла из Карлсбада и возвращается в Россию «...»

«Дрезден». 19 августа «1835».

Утром я пытался пойти прогуляться, но меня застал дождь и вынудил укрыться у графини Толстой, в отеле «Польша». Я полагаю, она злоязычная и легкомысленная женщина «...»

«Дрезден». 25 августа «1835».

«...» Г-жи Собаньская и Толстая провели у нас вечер.²

«Вена». 12 ноября «1835».

«...» Давыдов прибыл в Вену, возвращаясь из своего путешествия в Грецию и в Константинополь «...» Художник Брюллов сопровождал его в путешествии: он оставил его в Константинополе, откуда тот возвращается в Петербург.³

«Экс-ла-Шапель (Аахен)». 3 июня «1836».

«...» Полковник Энгельгардт прибыл этой ночью из Петербурга:⁴ он приехал лечиться. Он сказал мне, что бедный Апрельев скончался от раны. Кажется, Павлов хотел отомстить за честь своей сестры, но это все же ужасно. Император вначале осудил его на каторжные работы в Сибири, но смягчил наказание и его назначают солдатом на Кавказ, с правом выслуги.⁵ Барон д'Эккерн, голландский посланник в России, только что усыновил французского барона д'Антеса и передал ему все свое состояние: причину не знают «...»⁶

«Экс-ла-Шапель (Аахен)». 17 июня «1836».

«...» Мятлев только что приехал со своей матерью и детьми; он едет к жене, которая в Лондоне со своей сестрой, женой князя Андрея Голицына.⁷

«Экс-ла-Шапель (Аахен)». 3 июля «1836».

«...» Только что прибыл наш писатель Гоголь: это очень талантливый молодой человек. Он сочинил водевиль под заглавием «Ревизор», который, говорят, очень хорош. Это злая критика провинции, и говорят даже, что он вынужден был отпра-виться путешествовать, чтобы избежать неприятностей.⁸

«Петербург». 9 «августа 1836».

«...» Заходил к князю Никите, которого нашел состарившимся «...» Был у княгини Зинаиды — это новое знакомство для меня. Ее сын Александр поднялся после тяжелой болезни «...»⁹

«Петербург». 23 «сентября 1836».

«...» Я зашел к княгине Зинаиде, которая прибыла из Москвы и незамедли-тельно отправляется в Рим «...»¹⁰

«Петербург». 27 «сентября 1836».

Утром я отправился в Академию художеств. Там было публичное заседание. Мы получили приглашение. Выставка этого года очень хороша. Нас продержали до четырех часов, так как читали отчет и раздавали медали «...»¹¹

«Петербург». 29 «сентября 1836».

«...» Вечером у княгини Зинаиды: она живет у г-жи Веневитиновой. Там му-зицировали. Княгиня пела еще хорошо, несмотря на свои 50 лет. Глинка пре-восходно играл на рояле.¹²

«Петербург». 30 «сентября 1836».

«...» Я простился с тетушкой Зинаидой; она уезжает завтра «...»¹³

«Петербург». 25 «октября 1836».

Некий Чедаев, бывший военный, только что опубликовал в «Телескопе» злоб-ную статью против религии и правительства. Журнал запрещен, автор объявлен сумасшедшим. Я обвиняю цензуру столько же, как и сочинителя «...»¹⁴

«Петербург». 21 «ноября 1836».

Введение во храм Богородицы: большой праздник и каникулы для меня. Я ходил поздравлять г-на Оленина:¹⁵ это его день рождения. Вечером в театре. Бенефис Пейсара. Бурбье была очень хороша в роли Безумной, но пьеса плоха.¹⁶ Раут у Нессельроде.¹⁷ Дантес, усыновленный бароном д'Эккерном, женится на м-ль Гончаровой. Говорят, что он ухаживал за «ее» сестрой г-жой Пушкиной и что он был принужден мужем к объяснению. Молодой человек — побочный сын голландского короля. Это фат, весьма ограниченный.¹⁸

«Петербург». 27 «ноября 1836».

«...» Вечером открытие Большого театра. Он отделан заново. Давали оперу Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за царя»: холодно и длинно.¹⁹

«Петербург». 28 «января 1837».

Пушкин (писатель) вчера в четыре часа пополудни дрался на дуэли со своим свояком Дантесом (приемным сыном д'Эккерна). Он считал его любовником своей жены. Они были только в десяти шагах, Пушкин был смертельно ранен в низ живота, Дантес легко — в руку и в бок. Пушкин дрался с ожесточением — вечером он еще не умер. Утром я ходил получать прошения, а потом представлялся вели-кой княгине Елене. Было много народу, так как это был праздник великого князя. Я заехал «потом» к г-же Полторацкой — она недавно приехала. Вечером зашел ненадолго к княгине Грузинской — у нее был народ. Позднее к Нессель-роде. Раут.²⁰

«Петербург». 29 «января 1837».

Пушкин умер [вчера] сегодня в три часа пополудни. Говорят, что он сильно страдал. Государь написал ему милостивую записку и обещал ему позаботиться о его жене и четырех детях.²¹ Утром в департаменте. Погода сырая — дороги плохие. Вечером у тетушки. Много народу.²²

«Петербург». 31 «января 1837».

Утром я навестил моего бывшего шефа Блудова. Он по-прежнему большой го-ворун. Г-н и г-жа Хитрово, так же как и г-жа Полторацкая, обедали у нас.²³ Император дал вдове Пушкиной 10 «тысяч» руб. пенсии, его двум дочерям по

тысяче до их замужества; двух мальчиков в пажеский корпус; 10 «тысяч» руб. на погребение, все долги оплатить, имение освободить «от долгов», издание полного собрания сочинений напечатать за счет правительства и продать в пользу детей. Это превосходно, но это слишком. Вечером у Нессельроде.²⁴

«Петербург». 21 «марта 1837».

Утром я не выходил: жена одна ходила на Елагин — я избавился от этого.²⁵ Обедал у тещи. К семи часам я пошел присутствовать при перенесении «тела» г-жи Загряжской в Невский монастырь; несмотря на то что никого не приглашали, было полно народу.²⁶ Пил чай у г-жи Демидовой,²⁷ ненадолго заехал в Воронцовым²⁸ и закончил вечер у тетушки. Суд над Дантесом кончился: он разжалован и выслан навсегда за пределы России. Секундант Пушкина полковник Данзас посажен в крепость на два месяца. Жена Дантеса присоединится к нему с папá Эккерном, который отозван. Это не потеря.²⁹

«Петербург». 12 «июня 1837».

Дома; потом я был у г-на и г-жи Тютчевых, которые прибыли из-за границы. Она очень мила «...»³⁰

«Петербург». 13 «июля 1837».

Сын князя Н. Долгорукого Виленского убит в Грузии в экспедиции против черкесов, также и Александр Бестужев. Князь Долгорукий, сын бывшего министра, тяжело ранен «...»³¹

«Петербург». 29 «ноября 1837».

«...» Вечером был недолго у г-жи Демидовой: там я возобновил знакомство с г-ном Глинкою, музыкантом и композитором оперы «Жизнь за царя». Я познакомился с ним в 30-м году, в Экс-ла-Шапеле. У него очень хорошенькая жена «...»³²

«Петербург». 22 ноября «1838».

«...» Бывший смоленский губернатор г-н Хмельницкий посажен в крепость «...»³³

«Петербург». 1 января 1840.

«...» Вечером большой бал у французского посла. Много народу и ужасная жара. Дом Нарышкина, который он занимает, очень красив и хорошо отделан.³⁴

«Петербург». 30 января «1840».

«...» Слепой поэт Козлов умер сегодня после продолжительной агонии «...»³⁵

«Петербург». 5 февраля «1840».

Утром я был в Невском монастыре на погребении г-жи Сухаревой и Козлова «...»

«Петербург». 12 февраля «1840».

«...» Обедал у тетушки. Мятлев читал отрывок из Путешествия г-жи Курдюковой: это очень смешно.³⁶

«Петербург». 12 февраля «1840».

Молодой Потемкин женится на московской графине Толстой: говорят, что ей 30 лет, а ему только 20.³⁷ Барант, сын посла, дрался на дуэли с Лермонтовым, гвардейским гусарским офицером. 1-й был легко ранен. Причиной дуэли была г-жа Бахарат.³⁸ Витебский гражданский губернатор, г-н Львов, застрелился.³⁹ Обедал у шведского посла: плохой стол; вечером у Ферзена.⁴⁰

«Петербург». 13 марта «1840».

Тайный советник Вронченко назначен товарищем министра финансов: плохой выбор. Я сделал утром несколько визитов. Обедал у графа Нессельроде: превосходный стол. Раут у английского посла.⁴¹ Плохая музыка и удушливая жара. Молодой Барант высылается из России, а Лермонтов посажен под арест. Французы решительно не расположены к нашим поэтам.⁴²

«Петербург». 19 апреля «1840».

«...» Княгиня Зинаида Волконская позавчера почувствовала себя плохо, у нее был приступ ее старой болезни, так сказать, род помешательства. Ее терзают теперь в связи с переменной религии, и синод хочет заключить ее в монастырь. Должно надеяться, что ей разрешат спокойно уехать «...»⁴³

«Петербург». 29 апреля «1840».

Алина в Стрельне простилась с княгиней Зинаидой, которая отправляется за границу. Ее муж Никита получил приказ возвратиться в Россию. Опасаются, как бы жена не склонила его к перемене религии <...>

«Петербург». 1 мая «1840».

<...> Алина была в Стрельне, простилась с Зинаидой, которая, наконец, уезжает завтра.

«Париж». 31 июля «1840».

<...> Утром ходил к Жюлю Жанену рекомендовать ему Бурбье, которая впервые будет выступать во французском театре. Он обещал мне протектировать ей. Он всемогущ за театральными кулисами, т(ак) к(ак) он редактор «отдела» фельетона в «Journal des Débats». В конце этого месяца он едет к Анатолю во Флоренцию и проведет с ним несколько недель <...>⁴⁴

«Петербург». 13 ноября «1840».

<...> Вечером мы отправились с Алиной, чтобы присутствовать в качестве родственников на свадьбе графа Соллогуба младшего с графиней Софьей Велеорской. Церемония происходила в малой дворцовой церкви в присутствии всей императорской семьи. Потом все пошли к новобрачным, которые поселились у родителей невесты. Апартаменты маленькие, но изящно обставленные. У молодой особы хорошая фигурка, и она очень хорошо воспитана <...>⁴⁵

«Петербург». 23 января «1841».

<...> Вечером в Александринском театре, бенефис г-жи Каратыгиной. Она декламировала сцену из г-жи Курдюковой, бурлескной поэмы Мятлева: довольно смешно <...>⁴⁶

«Петербург». 12 апреля «1841».

М-ль Асенкова, актриса русского театра, умерла сегодня утром от истощения. Это была прелестная особа и весьма хорошая актриса <...>

«Петербург». 13 апреля «1841».

Известие о смерти м-ль Асенковой ошибочно, но она очень плоха <...>

«Петербург». 20 апреля «1841».

М-ль Асенкова умерла вчера в пять часов утра <...>

«Петербург». 22 апреля «1841».

<...> Сегодня также хоронили бедную Асенкову: говорят, что на ее похоронах было 1000 человек <...>⁴⁷

«Петербург». 3 августа «1841».

<...> Поэт Лермонтов убит на Кавказе на дуэли г-ном Мартыновым: это потеря, так как он «много» обещал.⁴⁸ Капитан Жерве умер на Кавказе от ран.⁴⁹ Он был любовником кн-ни Юсуповой.⁵⁰

«Петербург». 13 февраля «1844».

<...> Г-жа Олсуфьева умерла вчера ночью, а Иван Мятлев сегодня утром в два часа. Он болел очень недолго. Говорят, что его унесли геморрой и паралич.

«Петербург». 10 ноября «1844».

Баснописец Крылов умер вчера <...>

«Петербург». 31 июля «1848».

<...> Отец поэта Пушкина только что умер от холеры <...>⁵¹

«Петербург». 11 августа «1848».

<...> Князь Вяземский⁵² и его жена, Тютчев со своей, Ченгоборский с дочерью и др. обедали у нас.⁵³

«Петербург». 24 февраля «1852».

<...> Писатель Гоголь умер в Москве.⁵⁴

«Петербург». 20 апреля «1852».

«...» Наш знаменитый поэт Жуковский умер в Бадене «...»⁵⁵

«Петербург». 31 января «1857».

Граф Василий Бобринский и профессор Шевырев во время обеда у тайного советника А. Д. Черткова говорили друг другу грубости и потом подрались.

«Петербург». 1 февраля «1857».

Граф Василий Бобринский и Шевырев высланы из Москвы, и им запрещено жить в обеих столицах «...»⁵⁶

«Экс-ла-Шапель (Аахен)». 5 июня «1857».

«...» Моя теща пишет мне, что графиня Толстая, урожденная Перовская, умерла от апоплексического удара в ночь на 1 июня. Этого должно было ожидать по причине ее дородности «...»⁵⁷

«Петербург». 11 июня «1858».

«...» Граф Григорий Кушелев-Безбородко вчера прибыл с женой на корабле из Штеттина: он живет в своей деревне. Александр Дюма (отец) приехал вместе с ними, так же как и престижжитатор г-н Юм, который женится на его свояченице м-ль Кроль.⁵⁸

«Петербург». 27 ноября «1858».

Князь Юрка Голицын, камергер, передавал статьи против правительства в Лондон, к Герцу (Искандер): его раскрыли и выслали в провинцию «...» Вечером в клубе⁵⁹

«Петербург». 8 декабря «1858».

Графиня Ростопчина, молодая, умерла в Москве от рака желудка: она прославилась своими поэтическими произведениями и своей легкомысленной жизнью «...»⁶⁰

«Псков». 30 апреля «1859».

В восемь часов утра мы отправились по железной дороге во Псков: Пьер, я, Марченко и Рейнгольд сопровождали «Алину» до Пскова.⁶¹ Алина перенесла дорогу очень хорошо. Погода была прекрасная. На станции Антон ждал нас с каретами. На почте мы заняли почти всю гостиницу: здесь очень хорошо. Хороший обед и хорошие постели. Я познакомился с нашим писателем Тургеневым, который отправляется за границу.⁶²

«Москва». 28 сентября «1860».

23 числа этого месяца умер Алексей Степанович Хомяков, в возрасте 55 лет, в своем поместье в Рязани: он был поэт и литератор и глава славянофилов «...»⁶³

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Графиня Толстая Анна Алексеевна, урожд. Перовская (1796—1857) — мать будущего писателя Алексея Константиновича Толстого (1817—1875). Крыжановская Мария Алексеевна, урожд. Перовская (1791—1872) — жена генерал-лейтенанта М. Н. Крыжановского. Данных о заграничном путешествии А. К. Толстого в 1835 г. мало. Письма А. А. Перовского к племяннику и свидетельство о болезни, выданное Толстому в Дрездене 7 сентября 1835 г., позволили А. А. Кондратьеву предположить, что «он провел это время главным образом в Германии»; А. Лирондель писал, что с 14 июня по 23 августа А. К. Толстой прожил в Карлсбаде, а потом снова приехал в Дрезден (Кондратьев А. А. Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества. СПб., 1912, с. 15; Liron d'elle A. Le poète Alexis Tolstoï. L'homme et l'oeuvre. Paris, 1912, p. 29). Эта и три последующие записки в дневнике П. Д. Дурново уточняют даты пребывания А. К. Толстого летом 1835 г. в Карлсбаде и Дрездене. О его поездке с матерью во Франценбург ранее не было известно; остановились они, по-видимому, у Крыжановской — 10 июля Дурново записал, что она жила «у Бранденбургских ворот, последний дом Франценбурга». Записки П. Д. Дурново прибавляют любопытные черточки к характеристике матери писателя. Графиня Толстая дважды упоминается и в дневнике Н. Д. Дурново. Посланный вместе с генералом Н. И. Демидовым со специальным поручением по делу декабристов на юг, Н. Д. Дурново 26 февраля 1826 г., находясь в Харькове, был с ним вечером у попечителя Харьковского учебного округа А. А. Перовского, который познакомил их со своей сестрой — «графиней Толстой». 21 июля 1826 г. «графиню Толстую, сестру Перовского» Н. Д. Дурново встретил по дороге из

Петербурга в Москву среди спешащих на коронацию (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9548, дневник № 14, л. 50; ед. хр. 9549, дневник № 15, л. 25 об.). Ср. у А. А. Кондратьева: «Есть основание предполагать, что весной 1826 г. графиня Анна Алексеевна не поехала в Малороссию, но перебралась в ожидании коронации императора Николая I в Москву» (Кондратьев А. А. Граф А. К. Толстой..., с. 9).

² Собаньская Каролина Адамовна, урожд. гр. Ржевуская, во втором браке Чиркович, в третьем — де Лакруа (1794—1885) — известная красавица, которой увлекались Мицкевич и Пушкин. Вступив в 1819 г. в связь с графом И. О. Виттом, была приобщена им к политическому сыску и стала тайным агентом царского правительства. В 1832 г. она была послана для слежки за польскими эмигрантами в Дрезден, откуда посылала Витту письма, которые «помогали ему делать важные разоблачения». Однако ее тесная связь с поляками вызвала у царских чиновников и у самого царя недоверие к ней; она была отозвана из Дрездена, а потом выслана из Варшавы (эта история изложена Т. Г. Зенгер-Цявловской в комментариях к двум черновым письмам Пушкина к К. А. Собаньской в кн.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935, с. 188—196). О пребывании Собаньской в Дрездене в 1835—1836 гг. сведений не было. Дурново пишет, что он познакомился с Собаньской во Флоренции, по-видимому в 1825—1826 гг. Находясь в Дрездене в августе—сентябре 1835 г. и в июле 1836 г., он часто бывал в ее салоне, который посещали иностранные дипломаты, саксонская знать и польские эмигранты.

³ В 1835 г. К. П. Брюллов по приглашению графа В. П. Орлова-Давыдова (1809—1882), любителя и знатока классических древностей, принял участие в его «художественной и литературной экспедиции» в Грецию и Малую Азию. Он выехал из Рима 4/16 мая 1835 г., но в Афинах заболел лихорадкой и прибыл в Константинополь на бриге «Фемистокл» с Г. Г. Гагариным. Из-за путешествия повеление Николая I от начала июня 1835 г. о возвращении Брюллова в Россию для занятия в Академии художеств профессорской должности художник получил только в Константинополе. В определенных Совета Академии художеств лишь 26 ноября 1835 г. записано, что «повеление по сему предмету сообщено посланником нашим в Риме таковому же посланнику в Греции для объявления оного г. Брюллову» (см.: К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. Изд. 2-е, дополн. М., 1961, с. 118—119).

⁴ Энгельгардт Александр Егорович — чиновник особых поручений при военном министре (Месяцеслов на 1836 г., с. 110).

⁵ Коллежский советник Апрелев Александр Федорович 26 апреля 1836 г., в день своей свадьбы с Надеждою Кобылиной, был смертельно ранен братом ранее обольщенной им девушки, от женитьбы на которой он отказался, — Павловым Николаем Матвеевичем, чиновником 8-го класса Артиллерийского департамента Военного министерства. История эта имела большой общественный резонанс. На нее откликнулся и Пушкин в письме к жене от 18 мая 1836 г. (Пушкин И. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969, с. 140 и комментарий). А. Ф. Апрелев был приятелем П. Д. Дурново, и в его дневнике несколько записей об этой истории.

⁶ Формальности усыновления Дантеса Геккерном в Голландии были завершены королевским актом 5 мая (н. ст.) 1836 г. В России о соизволении, данном Николаем I на просьбу посланника Геккерна об усыновлении им поручика Дантеса, «с тем, чтобы он именуем был впредь вместо нынешней фамилии бароном Георгом-Карлом Геккерном», Министерству иностранных дел было сообщено 4 июня 1836 г.; соответствующие указания тогда же были даны Правительствующему Сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса (см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. Изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 31). С просьбой о проведении формальностей усыновления в России Геккерн обратился к царю, по-видимому, во время «приватной аудиенции», которая, согласно обнаруженной нами в камер-фурьерском журнале записи, была дана ему Николаем I в Елагиноостровском дворце 21 мая 1836 г. (ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 117, л. 49). П. Д. Дурново записал новость за границей со слов приехавшего из Петербурга Энгельгардта (у которого на поездку ушло несколько дней) 3 июня; это свидетельствует, что толки об усыновлении Дантеса Геккерном распространились в петербургском обществе не после официальных указаний, а сразу же после «приватной аудиенции» и, очевидно, со слов царя. Запись показывает также, что новость эта занимала светское общество не менее, чем история Апрелева. Считалось, что усыновление еще более упрочило положение Дантеса в светском обществе, — так полагал П. Е. Щеголев, так говорится и в издании «Письма последних лет» (с. 396). Между тем, породив двусмысленные толки, оно повредило ему. Императрица Александра Федоровна в письмах к графине С. А. Бобринской от августа—сентября 1836 г. с иронией называет Дантеса «новорожденным» и «безымянным» (см.: Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина. (По новым материалам). — Новый мир, 1962, № 2, с. 213; Яшин М. Хроника преддверных дней. — Звезда, 1963, № 9, с. 171). Этот момент в письмах к Геккерну резко акцентировал и Пушкин («вы отчески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну»). Александр Карамзин в марте 1837 г. писал из Петербурга брату Андрею, что Дантес «был бы добрым малым», если бы его не «усыновил Геккерн,

по причинам, до сих пор еще совершенно неизвестным обществу (которое мстит за это, строя предположения)...» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 190). Запись в дневнике П. Д. Дурново подтверждает это.

⁷ В 1836—1839 гг. поэт Иван Петрович Мятлев (1796—1844) с семьей совершил путешествие по Европе, впечатления от которого нашли отражение в его знаменитой поэме «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей, дан-л'Этранже» (1840). Подробной биографии И. П. Мятлева до сих пор нет.

⁸ В письме к матери от 5/17 июля 1836 г. Н. В. Гоголь писал: «Наконец неделю назад, как приехал я в Ахен (Aix la Chapelle)» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. XI. М., 1952, с. 55). Несмотря на это указание, в хронологической канве жизни Гоголя приезд его в Ахен точно не датирован (там же, с. 13). Дурново пишет, что Гоголь «только что прибыл» (vient d'arriver), хотя, на наш взгляд, не исключено, что писатель мог прибыть туда ранее, а заметить его могли только 3-июля. Запись свидетельствует, что приезд Гоголя в Ахен привлек внимание русской колонии. Кроме П. Д. Дурново, там в это время, судя по упоминаниям в дневнике, находились А. Е. Энгельгардт, Н. В. Путята, П. А. и Ф. И. Шуваловы, А. А. Бехтеев и др. Отзыв о «Ревизоре», о Гоголе и причинах его отъезда за границу сделан, по-видимому, со слов Н. В. Путяты, 10 июня прибывшего в Ахен. По свидетельству М. Ю. Вильевского, 3 мая 1836 г. Гоголь читал «Ревизора» у П. М. Волконского, но в семейной переписке Волконских упоминаний об этом мы не нашли. В Петербурге первое представление «Ревизора» в Александринском театре состоялось в воскресенье, 19 апреля 1836 г. В этот день в камер-фурьерском журнале записано: «Его величество <...> с государем наследником проезжал в Александринский театр, где и присутствовал в ложе при представлении пьесы, откуда и возвратился во дворец в 10-ть часов»; 24 апреля, в пятницу: «45-ть минут 8-го часа полудня их величества выезд имели в карете в Александринский театр, где изволили присутствовать при представлении российскими актерами пьесы <...> возвратились 35 минут 11-го часа вечера»; там же были они и 29 апреля (ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 116, л. 51, 73, 86 об.).

⁹ Князь Никита — Н. Г. Волконский (1781—1844), егермейстер, брат тещи П. Д. Дурново — княгини С. Г. Волконской и декабриста С. Г. Волконского. Княгиня Зинаида — его жена, Зинаида Александровна Волконская, урожд. кнж. Белосельская (1789—1862), писательница, певица и композитор, в 1820-х годах хозяйка знаменитого литературно-музыкального салона в Москве. Их сын Александр Волконский (1811—1878) в это время был чиновником канцелярии И. Ф. Паскевича в Варшаве. В начале 1829 г. З. А. Волконская, как известно, уехала в Италию и поселилась в Риме, где и скончалась, но она дважды приезжала в Россию — в 1836 и 1840 гг. Сведений об этих приездах в литературе о Волконской мало и они не всегда точные. Записи в дневнике Дурново, семейная переписка Волконских и Веневитиновых позволили восполнить этот пробел. В письме из Рима от 7/19 апреля 1836 г. княгиня сообщила П. М. Волконскому о своем отъезде в Россию с мачехой А. Г. Белосельской. 19 мая тот писал жене, что маршал Паскевич согласился дать отпуск А. Н. Волконскому, чтобы он отправился навстречу матери в Дрезден и сопровождал ее на пути из Италии. Княгиня приехала в Петербург около 20 июня 1836 г. 21 июня вместе с А. Г. Белосельской она представлялась в Петергофе императрице и была на балу. 23 июня П. М. Волконский писал жене Софье Григорьевне из Петергофа: «Зинаида была здесь, чтобы представиться двору, провела воскресенье и возвратится к 1-му июля. Ее очень хорошо приняли, но нашли, что она очень изменилась» (ЦГИА, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 300, 302 об., 313; ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 118, л. 63 об., 65, 68). На следующий день княгиня была у А. Н. Веневитиновой, которую она часто навещала во время своего пребывания в Петербурге (ГБЛ, ф. 48, карт. 64, ед. хр. 12). П. Д. Дурново был у З. А. Волконской на следующий день после своего приезда из-за границы.

¹⁰ 13 июля 1836 г. А. Н. Веневитинова сообщила Е. Е. Комаровскому, что З. А. Волконская отправляется в Москву, а оттуда в Варшаву и что «в Петербурге у нее много огорчений и она больна нервами». 26 июля Веневитинова поехала «проститься с княгиней Зинаидой, которая завтра утром уезжает в Москву». Но неожиданная тяжелая болезнь сына задержала княгиню в Петербурге, и лишь 20 августа Веневитинова написала зятю: «Так как Шевырев не может приехать сюда, княгиня Зинаида вчера утром уехала в Москву» (С. П. Шевырев наблюдал за именными княгини в России, см.: ГБЛ, ф. 48, карт. 64, ед. хр. 12). 24 сентября П. М. Волконский писал жене, что видел «Зинаиду, которая возвратилась из Москвы несколько дней назад и готовится к отъезду в Италию» (ЦГИА, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 366). В этот день княгиня обедала у Дурново и говорила о необходимости опеки над мужем. 5 июля 1835 г., находясь в Мариенбаде, Дурново записал, что Н. Г. Волконский «не любит княгиню Зинаиду...». О запутанных делах князя Никиты, о том, что он ничего не дает сыну, писал Софье Григорьевне ее сын Д. П. Волконский 22 августа 1836 г. (ЦГИА, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 34, л. 143—144). Это было одной из причин приезда З. А. Волконской в Россию в 1836 г.

¹¹ Дурново был в Академии художеств еще раз, с женой, 2 октября, и записал: «Картины Воробьева и Тона прекрасны». На академической выставке 1836 г., как

известно, был с Натальей Николаевной и Пушкин. Точная дата его посещения неизвестна, но, по свидетельству И. К. Айвазовского, поэт был в сентябре (Мир, 1912, № 1, с. 70). Для посетителей выставка была открыта 28 сентября, но Пушкин мог быть на ней и 27-го, в числе приглашенных.

¹² З. А. Волконская подружилась с Анной Николаевной Веневитиновой, урожд. Оболенской (1782—1841), матерью поэта Д. В. Веневитинова, еще в Москве. В Петербурге З. А. Волконская жила вначале у Белосельских, на Фонтанке, а после приезда из Москвы остановилась у Веневитиновой. 3 августа 1836 г. Веневитинова, жившая вместе с сыном, А. В. Веневитиновым, крупным чиновником, сообщила Е. Е. и С. В. Комаровским свой новый адрес в Петербурге: «На углу Большой Морской и Гороховой, в доме Кусовникова» (ГБЛ, ф. 48, карт. 64, ед. хр. 12). О знакомстве М. И. Глинки с З. А. Волконской стало известно после публикации хранящегося в римском архиве княгини письма к ней композитора от 23 февраля 1832 г. из Неаполя (см.: Новонайденное письмо М. И. Глинки к З. А. Волконской. Публикация И. Зильберштейна. — В кн.: Памяти Глинки. 1857—1957. Исследования и материалы. М., 1958, с. 441—456). Во время заграничного путешествия, находясь в Риме, Глинка виделся с Волконской. Сведений об их встречах в России до сих пор не было. Однако в 1836 г. княгиня прожила в Петербурге около двух с половиной месяцев, и, очевидно, они виделись не один раз. Нам уже приходилось писать, что Глинка, вероятно, был у З. А. Волконской на музыкальном вечере 16 июля 1836 г. (см.: Терехов и П. Е. Пушкин и З. А. Волконская. — Русская литература, 1975, № 2, с. 141).

¹³ 29 сентября 1836 г. П. М. Волконский писал жене Софье Григорьевне, что княгиня Зинаида накануне была в Царском Селе и простилась с императрицей, а затем в Павловске у вел. кн. Елены Павловны; потом она обедала у него со своим братом Эспером (Э. А. Белосельским-Белозерским). «Она возвратилась в город, чтобы отсюда уехать 30 сент./12 окт. или послезавтра». 2/14 октября он сообщил: «Кн. Зинаида отправилась за границу со своим сыном позавчера» (ЦГАИ, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 369, 370 об.). Но П. М. Волконский по отъезде княгини из Царского Села более не видел ее, и дата ее отъезда — 1 августа, — указанная П. Д. Дурново, точнее. По пути в Италию княгиня на некоторое время остановилась в Париже, где она виделась с Адамом Мицкевичем. В фонде З. А. Волконской в ЦГАЛИ хранятся фотокопии двух ее писем к польскому поэту, написанных в это время, в которых она просит его прийти к ней (ЦГАЛИ, ф. 172, оп. 1, ед. хр. 39, л. 33—34, 36).

¹⁴ Статья П. Я. Чаадаева «Философические письма к г-же***. Письмо 1» была напечатана в № 15 «Телескопа» за 1836 г. (цензурное разрешение от 29 сентября). В Москве журнал вышел в свет 3 октября (Московские ведомости, 1836, № 80). 12 октября П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Петербурга: «Скажи Чадаеву о моем сожалении, что не видел его пред отъездом, но готовлюсь сегодня увидеть его в Телескопе». А 19 октября он сообщил: «О письме Телескопа толков еще нет — кажется, и книжка еще не получена, по крайней мере в расходе» (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4715, л. 9, 11). В это время статья уже дошла до правительства. 19 октября состоялось заседание Главного управления цензуры; 20 октября С. С. Уваров представил царю «всеподданнейший доклад»; 22 октября Николай I наложил резолюцию: автор сумасшедший, журнал закрыт, редактора и цензора отстрелить от должности и вытребовать в Петербург для ответа. В тот же день А. Х. Бенкендорф написал московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну об учреждении над Чаадаевым по высочайшему повелению медицинского надзора (Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. [СПб.], 1908, с. 411—414). Откликом на эти первые репрессии и является запись П. Д. Дурново. Интересно, что ни автор статьи, ни редактор журнала, ни цензор еще не знали о своей участи, а в великосветских кругах Петербурга уже толковали об этом. Охранительно-реакционная точка зрения великосветской черни выражена в записи предельно ясно. В издании «Письма последних лет. 1834—1837» (с. 328—329) в комментариях к неотправленному письму Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. ошибочно сказано, что «сразу же после написания его» поэт узнал от К. О. Россета «о репрессиях, постигших адресата и журнал», в том числе о том, что «цензор А. В. Болдырев, подписавший номер, уволен от должности, а редактор журнала Н. И. Надеждин сослан в Усть-Сысольск»; в действительности же резолюция об этом царь наложил только 30 ноября. В 20-х же числах октября К. О. Россет мог сообщить Пушкину только о первых репрессиях, постигших автора и журнал. Это видно и из его письма к Пушкину, справедливо датированного в академическом издании: «Около (не ранее) 22 октября 1836 г.» (XVI, № 1270). Эта датировка подтверждается записью Дурново.

¹⁵ Оленин Алексей Николаевич (1763—1843) — президент Академии художеств, член Государственного Совета. П. Д. Дурново часто навещал его в городе, бывал и в Приютино — даче под Петербургом.

¹⁶ Пейсар и Виржиния Бурбье — артисты французского театра в Петербурге. «Безумная» («La Folle») — драма Денуайе и Ипп. Жерана.

¹⁷ Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) — вице-канцлер, управляющий Министерством иностранных дел.

¹⁸ О женитьбе Дантеса на Е. Н. Гончаровой было объявлено на балу у Салтыковых 17 ноября 1836 г. Дурново был на этом балу, но отклика на событие в этот день в его дневнике нет, как и в последующие три дня, хотя 18 ноября он был в салоне Нессельроде, 19-го — у Загряжской, жившей у Кочубеев, а 20-го — у А. Г. Белосельской. Очевидно, обществу понадобилось некоторое время, чтобы «переварить» неожиданное событие и дать ему объяснение. Запись Дурново свидетельствует, что лишь 21 ноября женитьба Дантеса стала главной новостью дня; ее обсуждали и на рауте у Нессельроде. Видимо, не случайно Пушкин, который чутко реагировал на толки в обществе, именно в этот день пишет письмо А. Х. Бенкендорфу, уведомляя правительство и царя о происшествии в своей семье. О пасквиле, полученном Пушкиным, и вызове им Дантеса на дуэль общество вначале не знало. Об этом стало известно, вероятно, только из письма поэта к Бенкендорфу — 23 ноября императрица Александра Федоровна написала С. А. Бобринской: «Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет», а 25 ноября С. А. Бобринская уже писала мужу об анонимных письмах «самого гнусного характера», которые «обрушились на Пушкина» (см.: Герштейн Эмма. Вокруг гибели Пушкина. (По новым материалам). — Новый мир, 1962, № 2, с. 213; Н. Б. Востокова. Пушкин по архиву Бобринских. — Прометей, т. X. Изд. 2-е, исправл. М., 1975, с. 268). Для общества не было секретом, что Дантес ухаживал за женой поэта, и причина свадьбы, как видим, была найдена в том, что муж, защищая свою и жены честь, заставил несчастного любовника сделать предложение ее сестре. Пушкин предвидел это и потому был так раздражен предстоящей свадьбой. Очень интересна в записи Дурново отрицательная характеристика Дантеса. Считается, что женитьба на Е. Н. Гончаровой сделала его героем в глазах общества (самопожертвование ради спасения чести любимой женщины). Здесь же мы видим, что никакого ореола жертвы у Дантеса в глазах света сначала не было, а скорее презрение к недостаточно умному человеку, попавшему в историю и не сумевшему из нее выпутаться. Очевидно, что в восприятии великосветским обществом свадьбы Дантеса было несколько этапов (вернее, моментов): вначале просто отклик на событие (констатация факта, — такова, например, запись Александры Федоровны в дневнике 19 ноября), затем объяснение на основании внешних фактов (такова, например, запись Дурново 21 ноября) и, наконец, создание ореола жертвы, причем он был создан не сразу, а по мере раскрытия новых фактов и несомненно не без энергичных стараний Генкерна, пытавшегося реабилитировать своего приемного сына в глазах общества (этим же, на наш взгляд, объясняется и настойчивое ухаживание уже помолвленного и женатого Дантеса за Натальей Николаевной).

¹⁹ Это было первое представление «Ивана Сусанина» Глинки. Восприятие оперы зрителями, как известно, не было единодушным. Отзыв Дурново характерен для представителя великосветского круга, поклонника итальянской музыки, оказавшегося не в состоянии понять и оценить национальный характер и новаторство оперы Глинки (см.: Доброхотов Б., Орлова А. «Иван Сусанин» в оценке современников. — В кн.: М. И. Глинка. Сб. статей. М., 1958, с. 9—47). 14 января 1840 г. Дурново опять слушал оперу и опять записал: «скучно». Об операх А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» и «Громобой» он отзывался с похвалой («хорошо поставлена», «идет очень хорошо»), но находил первую короткой, а вторую слишком длинной (записи от 31 августа и 1 ноября 1837 г., 28 августа 1858 г.).

²⁰ Дурново начал свой отчет о проведенном дне с записи о дуэли и ранении Пушкина. По свидетельству А. П. Дурново, «только об этом и говорили при дворе, где давали спектакль, потом на рауте у Нессельродов» (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.—Л., 1936, с. 237—238). Об этом же говорили и на празднике у вел. кн. Елены Павловны (в честь дня рождения вел. кн. Михаила Павловича), у С. Б. Полторацкой и у А. П. Грузинской, у которых в этот день тоже был Дурново. В записи интересно указание на то, что Пушкин дрался «с ожесточением». Кроме того, нельзя не обратить внимание, что Дурново написал: «Он (Пушкин, — Р. Т.) считал его (Дантеса, — Р. Т.) любовником своей жены». В других случаях, весьма многочисленных, автор дневника прямо пишет: «любовник такой-то», «любовница такого-то». Это свидетельствует, что, хотя об ухаживаниях Дантеса за женой поэта знали все, любовником ее в глазах света он не был — интересный и важный штрих.

²¹ Пушкин умер в 2 часа 45 минут дня. Драма поэта и в этот день была в центре внимания светского общества. Характер двух дневниковых записей показывает, что в этой драме великосветская чернь заняла позицию стороннего наблюдателя, не столько равнодушного, сколько осторожного. И осторожность эта была связана не только со вниманием Николая I к умирающему поэту и его семье (что видно из записи), но и с известным всем фактом, о котором, естественно, прямо не высказывались, — причастностью к драме самого царя (о полученном Пушкиным пасквиле узнали из его письма к Бенкендорфу и после его свидания с царем, а об ухаживаниях царя за Натальей Николаевной, конечно, знали все).

²² Тетушка, вернее двоюродная бабушка, — кн. Екатерина Алексеевна Волконская, урожд. Мельгунова (1770—1853), жена генерал-лейтенанта Д. П. Волконского-старшего (дяди П. М. Волконского). Обычно она жила в Москве, но часто приез-

жала в Петербург. В обществе ее называли «La tante Militaire», Дурново называет ее почему-то «La tante Impériale» (ее отец А. П. Мельгунов — любимый камер-паж Петра III, мать — урожд. Салтыкова).

²³ Блудов Дмитрий Николаевич (1784—1864) — министр внутренних дел в 1832—1837 гг. Хитрово Алексей Захарович (1776—1854) — государственный контролер, женат на Марии Александровне, урожд. гр. Музиной-Пушкиной (1782—1863).

²⁴ Рескрипт министру финансов о производстве пенсiona вдове и детям Пушкина Николай I подпisał 30 января. На следующий день эта новость, как видим, уже обсуждалась в салоне Нессельроде. Концовка изменившего своей летописной манере автора дневника: «это превосходно, но это слишком» — показательна. Такова была реакция великосветских кругов на пенсion вдове и детям поэта. Интересно, что семья Пушкина получила пенсion меньшую, чем семья Карамзина (по словам Николая I, Карамзин умер «как ангел», poeta же с трудом заставлял умереть по-христиански). Но все же семья Пушкина (не говорим уже об уплате оказавшихся большими долгов) получила немалую пенсion. В дневнике Дурново есть записи, что графине Разумовской, вдове русского посла в Вене, дали 10 тысяч пенсiona, а вдове (правда, бесславно умершего) Бенкендорфа — только 5 тысяч («слишком мало» — комментирует Дурново). Великосветское общество не было опечалено кончиной поэта — уже на следующий день (30 января) оно веселилось на балу у кн. В. П. Голицына, согласно записи в дневнике — «лучшем в этом году».

²⁵ А. П. Дурново была у императрицы, жившей в это время во дворце на Елагином острове.

²⁶ Н. К. Загряжская, урожд. гр. Разумовская (1747—1837), умерла 19 марта 1837 г.

²⁷ См. примеч. 32.

²⁸ Граф Воронцов-Дашков Иван Илларионович (1790—1854) — обер-церемоний-мейстер, известный богат.

²⁹ Суд над Дантесом кончился 17 марта; 18 марта Николай I утвердил доклад Генерал-аудиториата. 19 марта Дантес был отправлен в санях с фельдъегерем к прусской границе. Отношение царя и русского общества к Геккерну в это время уже определилось. Напутанный способом высылки Дантеса, Геккерн в письме к нему от 20 марта (у Щеголева оно дано без числа, см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 344; однако упоминание о том, что «старуха Загряжская умерла вчера вечером», позволило датировать его) писал, что ему и Екатерине Николаевне, остававшейся в России, «надо соблюдать осторожность», и он не решился назвать людей, которые оказывают им внимание (графа и графиню Строгановых), «чтобы их не компрометировать». Геккерн просил Дантеса подожать их на границе (прусский посол Либерман — конечно, по просьбе Геккерна — писал об этом пограничным властям). Как видим, все это стало известным обществу. Формально Геккерн уезжал в отпуск. После приезда своего преемника Геверса, т. е. после 25 марта, Геккерн обратился через Нессельроде к царю с просьбой о прощальной аудиенции, но получил вместо нее табакерку с портретом императора, которая обычно давалась иностранному послу, навсегда покидавшему Россию. Запись Дурново показывает, что слухи об отозвании Геккерна из России распространились в обществе ранее получения им табакерки, сразу после высылки Дантеса. Насмешка над «папá Эккерном» свидетельствует, что общество не забыло факта усыновления им Дантеса (кстати, в это время Верстолк известил посла, что усыновление Дантеса не может быть признано в Голландии, как противоречащее некоторым пунктам ее законодательства). «Это не потеря» — впервые эти слова по отношению к Геккерну сказал принц Вильгельм Оранский в письме к Николаю I от 8/20 марта 1837 г. См.: Эйдельман Н. О гибели Пушкина. (По новым материалам). — Новый мир, 1972, № 3, с. 221, 209.

³⁰ 9 мая 1837 г. Ф. И. Тютчев, служивший тогда вторым секретарем русской миссии в Мюнхене, получил отпуск и отправился с женой, Э. Ф. Тютчевой, в Россию; 8 августа того же года, оставив временно жену с детьми в Петербурге, он выехал к месту своего нового назначения — в Турин. О пребывании Тютчева в Петербурге в 1837 г. сведений мало (см.: Чулков Г. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., 1933, с. 45—46; Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 92—93). Когда и где П. Д. Дурново познакомился с Ф. И. Тютчевым, неизвестно.

³¹ Писатель-декабрист А. А. Бестужев (1797—1837) погиб 7 июня 1837 г. в бою за мыс Адлер. В экспедиции против черкесов был убит князь Н. Н. Долгорукий, сын генерал-адъютанта Н. А. Долгорукого. Тяжело ранен был, по-видимому, один из сыновей А. А. Долгорукого, бывшего с 1827 по 1829 г. министром юстиции. В тот день, когда Дурново сделал запись, т. е. 13 июля, в газете «Русский инвалид, или Военные ведомости» был напечатан высочайший, отданный в Петергофе приказ от 9 июля 1837 г., согласно которому из списков исключался «убитый в деле против горцев, Черноморского линейного батальона № 10-го прапорщик Бестужев». О князьях Долгоруких упоминавший в газете нет. Это обстоятельство, а также то, что глухое сообщение было расписано Дурново как относящееся именно к А. А. Бестужеву, показывает, что его запись, по-видимому, восходит к разгово-

рам в обществе в связи с опубликованием приказа. Обычно Дурново отмечал в дневнике смерть только известных ему лиц; поэтому можно предположить, что он был знаком с А. А. Бестужевым.

³² Демидова Мария Денисовна, урожд. Мельникова, жена полковника Демидова Алексея Петровича (1777—1840), троюродного брата Дурново, — лицо новое в биографии М. И. Глинки. В своих «Записках» Глинка упоминает Д. П. Демидова, чиновника особых поручений при герцоге Александре Вюртембергском в Главном управлении путей сообщения, где в 1824—1826 гг. служил композитор (см.: Месяцеслов на 1825 г., ч. 1, с. 737—738), и его дочь — певицу-любительницу Елену Дмитриевну (Глинка М. Записки. Под ред. В. Богданова-Березовского. Л., 1963, с. 49). Находятся ли они в родстве с М. Д. и А. П. Демидовыми, нам определить не удалось (в книге К. Д. Головщикова «Род дворян Демидовых» (Ярославль, 1881) они не показаны). А. П. Демидов был сыном Петра Григорьевича Демидова (брата знаменитого Павла Григорьевича — основателя Ярославского лицея) — владельца крупных заводов на Урале и имения Сиворитцы под Петербургом. Мария Денисовна в браке с А. П. Демидовым была несчастлива; в течение многих лет она была подругой Н. Д. Дурново, имела от него дочь. В память брата П. Д. Дурново бывал у М. Д. Демидовой, помогал ей в устройстве детей и в хлопотах по наследству. В хранившейся в Пушкинском Доме части архива этой ветви Демидовых мы обнаружили записку М. Д. Демидовой к сыну: «Дорогой Александр, купи для твоего отца матросский танец и попроси у Шоберлехнера прелестную музыкальную пьесу для Лизы» (ИРЛИ, ф. 243, ед. хр. 13). О музыкальном вечере у М. Д. Демидовой осенью 1825 г. и о театре в Сиворитцах в 1826 г. писал Н. Д. Дурново (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9547, л. 78 об.; ед. хр. 9549, л. 46). То, что М. Д. Демидова и ее семья увлекались музыкой и устраивали концерты, позволяет предположить, что один из двух упоминаемых Глинкой в «Записках» (с. 105) концертов у Демидовых, а именно второй («В течение зимы с 1834 на 1835 пел в концерте Демидовой в финале „Пирата“ Беллини партию Рубини»), возможно, был не у Е. Д. Демидовой, а у М. Д. Демидовой (в первом случае Глинка говорит, что его квартеты P-dur и g-moll «были исполнены у Демидова» — там же, с. 60). В Аахене (Экс-ла-Шапеле) Глинка в 1830 г. был в мае—июле; Дурново был в отпуске за границей в этот год со 2 мая по 23 сентября. О знакомстве Глинки с П. Д. Дурново ранее сведений не было.

³³ Хмельницкий Николай Иванович (1791—1845), драматург и переводчик, будучи губернатором в Смоленске, был обвинен в казнокрадстве, переведен сначала губернатором в Архангельск, а потом вызван в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, где просидел до 1843 г. Вина его не была доказана; по-видимому, он был жертвой интриг и своего легкомыслия.

³⁴ Французским послом в России с 1835 по 1841 г. был барон де Барант (1782—1866). Французское посольство помещалось на Дворцовой набережной в особняке, стоявшем на месте нынешнего Дома ученых; в 1808 г. особняк был куплен Александром I у кн. Г. С. Волконского и подарен французскому послу Коленкуру (см.: Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935, с. 385); «домом Нарышкина» Дурново называет его, вероятно, по ошибке. По французским источникам, новогодний бал у Баранта, на котором, как известно, был Лермонтов, был датировался 2 января 1840 г. Что он состоялся 1 января, впервые установила Э. Г. Герштейн (Герштейн И. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 32); запись Дурново подтверждает эту дату. В этот же день А. П. Дурново записала в памятной книжке, что «высшее общество у Барантов было весьма многочисленным»; П. М. Волконский тоже писал Софье Григорьевне, что новогодний бал у французского посла был «очень многочисленным и блестящим» (ЦГИА, ф. 934, оп. 2, ед. хр. 1051, л. 1; ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 528 об.). В связи с обострением в это время отношений между Россией и Францией (по восточному вопросу) и ростом антифранцузских настроений в русском обществе Барант пригласил на бал многих представителей светского Петербурга. Прежде чем пригласить Лермонтова, посланец навел справку: бранит ли поэт в стихотворении «Смерть поэта» «французов вообще или только одного убийцу Пушкина?». С этим вопросом секретарь французского посольства д'Андрэ обратился к А. И. Тургеневу, но тот не помнил точного текста стихотворения и, встретив на другой день Лермонтова, спросил его об этом; поэт прислал ему отрывок из стихотворения («для известного употребления»). Друзья позднее упрекали Тургенева за это, он оправдывался, но очевидно, что его неосторожное обращение к автору предопределило характер будущего столкновения последнего с сыном французского посла. По свидетельству Е. П. Ростопчиной, «причиной столкновения» поэта с Барантом был «спор о смерти Пушкина» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 284). Новая датировка бала у Баранта дала Э. Г. Герштейн основание связать с ним стихотворение Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...», появившееся в печати в середине января 1840 г. с пометой: «1-е января». Она пишет: «Если действительно Лермонтов получил приглашение именно на этот торжественный дипломатический прием, то его „железный стих“, напечатанный с демонстративной датой „1 января“, должен был привести французского посла в не меньшее негодование, чем Бенкендорфа и самого царя» (Герштейн И. Судьба Лермонтова, с. 32—33). Нам кажется, что даты совпали случайно, и демонстративность лермонтовской даты определялась значением

дня — первого в году, дня надежд, пожеланий и т. п. Никаких намеков на французов в стихотворении нет, речь идет только о русском светском обществе. Зима 1839/40 г. была периодом светских успехов Лермонтова. В дневнике Дурново перечислено много великосветских балов, на которых мог быть поэт. Но на балу у Лавалей 16 февраля 1840 г., где произошло столкновение Лермонтова с Барантом, Дурново не был — в этот день он присутствовал на бракосочетании Аннет Олениной и полковника Андро.

³⁵ Это не единственная запись о поэте и переводчице И. И. Козловой (1779—1840) в дневнике Дурново. По возвращении из-за границы в 1836—1837 гг. он несколько раз навещал Козлова. 23 августа 1836 г. он записал: «Козлов, хотя и следой, всегда думает о «своем» туалете». Интересную подробность о смерти И. И. Козлова сообщила А. П. Дурново: «Козлов умер после двенадцатидневной болезни; он желал умереть накануне: «в» годовщину смерти поэта Пушкина» (ЦГИА, ф. 934, оп. 2, № 1051, запись 30 января 1840 г.). У И. И. Козлова бывал и Н. Д. Дурново.

³⁶ Тетушка, т. е. кн. Екатерина Алексеевна Волконская (см. примеч. 22), тоже была не чужда литературе. В конце XVIII в. Е. А. Волконская образовала в Рязани нечто вроде литературного общества (см.: Галахов А. Д. История русской словесности, т. 2. СПб., 1868, с. 131). Ее «Речь о влиянии женщин на изящные искусства», читанная на одной из бесед «Дружеского литературного общества» у А. Ф. Воейкова, была напечатана в «Вестнике Европы» (1810, № 4). В один день с мужем А. П. Дурново записала в памятной книжке: «Мятлев у тетушки прочел нам наизусть три эпизода из своей очаровательной бурлескной поэмы: Путешествие г-жи Курдюковой, очень комично перемешанное с французским языком; о ее отъезде во Франкфурт и Рим. При описании Колизея он поднимается до тона, подобно одическому, — прекрасные мысли и хорошо выражены» (ЦГИА, ф. 934, оп. 2, ед. хр. 1051). А 23 октября 1840 г. И. П. Мятлев читал отрывки из своей знаменитой поэмы у Дурново (в тот день у них обедала певица Джудитта Паста с мужем): «Мятлев прочел нам, — записала А. П. Дурново, — визит г-жи Курдюковой к принцессе Монфор и ее восхищение Матильдой» (там же). А. П. Дурново присутствовала и выход в свет первого тома поэмы с иллюстрациями В. Ф. Тимма: «Г-жа Курдюкова в Германии только что вышла в свет с прелестными гравюрами на дереве; нет ничего более смешного и более умного. Честь и слава Мятлеву, который так успешно выступил в бурлескном жанре» (там же, ед. хр. 1052, запись от 6 апреля 1841 г.). 26 января и 15 апреля 1841 г. П. Д. Дурново был у Мятлевых на любительских спектаклях (théâtre de Société).

³⁷ Потемкин Александр Яковлевич (1822—после 1864), сын генерал-губернатора Киевской, Волынской и Подольской губерний Я. А. Потемкина, 3 июня 1840 г. женился на гр. Толстой Варваре Александровне (1815—1881).

³⁸ Дуэль между Лермонтовым и сыном французского посла Эрнестом Барантом произошла 18 февраля 1840 г.; при этом легко ранен был не Барант, а Лермонтов. Поводом к дуэли послужила сплетня, переданная Баранту Терезой фон Бахерахт, женой русского генерального консула в Гамбурге (о ней см.: Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 16—25). Это дело, по свидетельству М. А. Корфа, «несколько недель оставалось скрытым и от публики и от правительства, пока сам Лермонтов как-то не проговорился и дело дошло до государя» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 230—231). А. П. Шан-Гирей тоже вспоминал позднее, что «история эта оставалась довольно долго без последствий», пока «одна неосторожная барышня В***, вероятно безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте» (там же, с. 47; эту барышню, проговорившуюся о дуэли во дворце, отождествляют с Т. Бахерахт, хотя очевидно, что дама, по вине которой произошла дуэль, этого сделать не могла; П. А. Вяземский писал о ней: «Она, говорят, очень печальна и в ужасном положении, зная, что имя ее у всех на языке»; скорее всего, это могла быть одна из фрейлин или кто-либо из приглашенных). Командир л.-гв. Гусарского полка генерал-майор Н. Ф. Плаутин 19 марта 1840 г. писал в военно-судную комиссию, что о дуэли поручика Лермонтова с французским подданным де Барантом он узнал «по городским слухам, прибыв по делам службы в С. Петербург в прошлое воскресенье 10 марта» (ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 12, л. 38). Запись Дурново о дуэли Лермонтова единственная, сделанная до его ареста. Она показывает, какие именно слухи о дуэли поэта распространились в обществе, и уточняет время распространения этих слухов. То, что Лермонтов не назван поэтом, а в характеристике Баранта не акцентируется, что он француз; наконец, то, что об их дуэли сообщается в ряду других светских сплетен, показывает, что первоначально в обществе, не знаящем истинных причин дуэли, она была воспринята как обычная дуэль двух молодых людей из-за дамы.

³⁹ Львов Петр Петрович (1804—1841) — бывший адъютант И. И. Дибича.

⁴⁰ Шведским послом в Петербурге являлся барон де Пальмшерн. Ферзен Павел Карлович (1800—1864) — чиновник особых поручений при министре имп. двора, шталмейстер при вел. княжне Александре Николаевне; Дурново был частым посетителем его салона, где играли в карты.

⁴¹ Чрезвычайным послом Великобритании в России был Ульрик Джон де Бюрг маркиз де Кланрикارد (1802—1874).

⁴² Запись Дурново — один из самых ранних дошедших до нас откликов на арест Лермонтова (хронологически ей предшествует лишь письмо императрицы Александры Федоровны к С. А. Бобринской и ее же запись в дневнике от 11 марта). Полная осведомленность в развитии событий несомненно восходит к вице-канцлеру К. В. Нессельроде, на обеде у которого Дурново был в этот день. Он сообщает те же сведения, что и графиня М. Д. Нессельроде в известном письме к сыну Дмитрию: «Со вчерашнего дня я в тревоге за Баранта, которого люблю; у сына его месяц тому назад была дуэль с гусарским офицером: дней пять только это стало известно. Государь сказал моему мужу, что офицера будут судить, а потому противнику его оставаться здесь нельзя. Это расстроит семью Барантов, а потому тяжело для твоего отпа. Напрасно Барант тотчас не сказал ему об этом: он бы посоветовал ему тогда же услать сына» (Русский архив, 1910, № 5, с. 127). При публикации письмо было ошибочно датировано 18 января 1840 г.; позднее дата была исправлена Э. Г. Герштейн на 6/18 марта (Литературное наследство, т. 45—46. М., 1948, с. 413), так как графиня в письме пишет, что государь «не может решиться опустить Палена... Пален еще здесь», а Проспер де Барант 6/18 марта сообщил Ф. П. Гизо, что «г-н Пален направляется сегодня к своему посту» (*Revue rétrospective aux archives du dernier gouvernement. Paris, 1848, № 17, p. 270*). По русским источникам точную дату отъезда из Петербурга русского посла в Париже гр. П. П. Палена нам найти не удалось (хотя, например, П. М. Волконский лишь 16/28 апреля сообщил жене, что ожидают курьера от Палена, «который уже в Париже» — ЦГИА, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 543), но некоторые факты внушают нам сомнение в правильности датировки письма М. Д. Нессельроде. Прежде всего графиня пишет: «дней пять только это стало известно». Получается, что уже 1—2 марта царь знал о дуэли Лермонтова с Барантом, а дело о предании его суду началось лишь 10 марта — непонятная и несвойственная Николаю I медлительность, обычно очень скорому в решении подобных дел. При просмотре дела штаба Отдельного гвардейского корпуса «О поручике л.-гв. Гусарского полка Лермонтове, преданном Военному суду за произведенную им с французским подданным Барантом дуэль и необъявление о том в свое время начальства» (ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 13) мы обратили внимание, что вначале оно развивалось стремительно. Так, 10 марта начальник штаба Отдельного гвардейского корпуса генерал-адъютант П. Ф. Веймарн, отдавая приказание «заготовить проект приказа» о предании Лермонтова суду (л. 3), собственноручно писал: «проект приказа <...> лично представить ко мне в 8 часов вечера и от меня отправится он к егю <высочеству>» (л. 4). А ведь 10 марта было воскресенье. В тот же день было написано и письмо петербургскому коменданту Г. А. Захаржевскому о содержании Лермонтова под арестом (л. 5). 11 марта печатный приказ о предании Лермонтова суду был подписан вел. кн. Михаилом Павловичем, который в этот же день подал об этом специальный рапорт Николаю I (л. 6, 7). В камер-фурьерском журнале записано, что 10 марта «перед ужином в 9-м часу у его величества был с докладом вице-канцлер Нессельрод» (ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 166, л. 21). Перед этим в марте он был у царя накануне — в камер-фурьерском журнале записано, что 9 марта, в субботу, в 9 часов утра его величество, как обычно, принимал с докладами, у него были Чернышев, Клейнмихель, Нессельроде, Бенкендорф, Волконский (там же, л. 18 об.). Воскресный вечерний визит Нессельроде к царю был экстраординарным — в эти дни и часы Николай I обычно никого не принимал. Разговор, видимо, был о дуэли Лермонтова с Барантом. 10 марта из городских слухов о дуэли Лермонтова узнал и командир л.-гв. Гусарского полка генерал-майор Н. Ф. Плаутин — об этом он сам писал 19 марта, препровождая в комиссию военного суда кондукт-ные и формулярный списки Лермонтова (ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 12, л. 38). Между тем письмо Лермонтова Плаутину с объяснением обстоятельств дуэли датируется почему-то «началом марта», а требование Плаутиным от Лермонтова объяснений отнесено даже к «двадцатым числам февраля» (Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т., т. VI. М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, с. 451, № 37; Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., 1964, с. 116). К этому несомненно привела неправильная датировка письма М. Д. Нессельроде. Очевидно, что, не зная о дуэли, Плаутин не мог требовать объяснения ее. Если бы Лермонтов написал объяснение командиру в начале марта, ему не было бы поставлено в вину «недонесение» о дуэли по начальству. Узнав из городских слухов о дуэли и, вероятно, о том, что слухи эти дошли до царя, Плаутин должен был в тот же день, т. е. 10 марта, потребовать от Лермонтова объяснения, а тот в связи с тем, что делу был дан быстрый ход, сразу написать его. В деле штаба Отдельного гвардейского корпуса после рапорта великого князя идет копия письма Лермонтова Плаутину (л. 8). Объяснение обстоятельств дуэли не могло не заинтересовать царя, и, по-видимому, письмо Лермонтова было представлено ему вместе с рапортом. Очевидно, что о дуэли Лермонтова с Барантом царь узнал только 10 марта, а М. Д. Нессельроде написала сыну письмо 13 марта, в один день с записью Дурново. В самом деле, мы обратили внимание, что в письме императрицы к С. А. Бобринской и в дневниковой записи ее о разговоре с Е. Ф. Тизенгаузен, датированных 11 марта, об отъезде Баранта еще не говорится (Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 97). Из письма М. Д. Нессельроде видно, что о необходимости отъезда Э. Баранта Ни-

колай I сказал вице-канцлеру накануне («со вчерашнего дня я в тревоге за Баранта...»). Согласно записям в камер-фурьерском журнале, после 10 марта Нессельроде был у царя 12 марта, во вторник, и 16-го, в субботу, оба раза утром. Поскольку Дурново сделал запись в дневнике 13 марта, а П. де Барант сообщил Андре о событиях 14-го, очевидно, что об отъезде Баранта Николай I сказал вице-канцлеру утром 12 марта, а на следующий день М. Д. Нессельроде написала об этом сыну. Ее письмо и запись в дневнике Дурново свидетельствуют, что это уже не было тайной (из-за слухов дело приобрело огласку) и об этом, возможно, говорили у шведского посла. Аналогия с дуэлью Пушкина («французы решительно не расположены к нашим поэтам») возникла, по-видимому, после объяснения Лермонтова, который акцентировал национальный момент (защитил честь русского офицера). Дурново написал об этом шутивно-иронически, но Николай I, которого общественная реакция на смерть Пушкина испугала (уехал в Царское Село, назначил внеочередной смотр), отнесся к этому иначе — он приказал Э. де Баранту уехать из России и не допустил его участия в суде (23 марта Нессельроде получил предписание от великого князя снять показания с Баранта и распорядился: «ответить, что Барант уехал», — в этот день Нессельроде был у царя и несомненно согласовал ответ с ним (ЦГИА, ф. 516, оп. 1 (120/2322), ед. хр. 166, л. 42 об.).

⁴³ 13 декабря 1839 г. П. М. Волконский писал из Петербурга Софье Григорьевне: «Лавали получили известие, — об этом мне сказала Алина, — о приезде кн-ни Зинаиды в Варшаву, где она хочет дожидаться возвращения Александра из Константинополя, а Никита с г-жой Власовой еще там и должен, говорят, направиться прямо в Москву, тогда как Зинаида придет сюда» (ЦГИА, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 516). З. А. Волконская приехала из Варшавы в Петербург лишь 23 февраля 1840 г., кажется, так и не дождавшись сына; остановилась она у Белосельских (ГБЛ, ф. 48, карт. 64, ед. хр. 15). А уже 20 марта П. М. Волконский сообщил жене, что «кн. Зинаида очень больна» (ЦГИА, ф. 844, оп. 2, ед. хр. 40, л. 523); о болезни З. А. Волконской по приезде в Петербург в марте-апреле 1840 г. писали и А. Н. Веневитинова, и П. А. Вяземский (см.: ЦГАЛИ, ф. 195, ед. хр. 3268, л. 123). По свидетельству племянницы княгини по мужу В. Н. Репниной, «когда известие о возвращении ее (З. А. Волконской, — Р. Т.) в католицизм дошло до императора Николая Павловича, то он хотел ее вразумить и посылал ей с этой целью священника. Но с ней сделался нервный припадок, конвульсии. Государь позволил ей уехать из России, и она избрала местом жительства Италию» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. III. М., 1895, с. 190; впервые: Шенрок В. Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. 1836—1841. — Вестник Европы, 1894, август, с. 630). В. Н. Репнина, а за нею и все исследователи ошибочно отнесли этот эпизод к 1829 г. и связали с ним отъезд княгини за границу. На самом деле, как это видно из записи Дурново, эпизод этот имел место в 1840 г. Причиной отъезда З. А. Волконской в Италию в 1829 г. была болезнь. Об этом С. П. Шевырев писал А. Н. Веневитинову 26 марта 1830 г. (ГБЛ, ф. 48, карт. 46, ед. хр. 1, л. 7). Католичество княгиня приняла за границей, по-видимому в 1833 г. (см.: Gorodetzky N. Princess Zinaida Volkonsky. — Oxford slavonic papers, 1954, vol. V, Oxford, p. 102). По отъезде сына с Шевыревым в Россию в 1832 г. она, совсем больная, писала А. Милкевичу, что хочет возвратиться в Россию. В ответном письме тот не советовал ей делать этого. О перемене З. А. Волконской религии двор узнал лишь в 1839 г., во время пребывания в Риме наследника. Записями Дурново определяется точная дата отъезда З. А. Волконской из России в 1840 г.

⁴⁴ Жанен Жюль Габриель (1804—1874) — французский писатель и критик. С 1830 г. вел в правительственной газете «Journal des Débats» театральный отдел, публикуя еженедельно фельетоны о новых пьесах, очерки о современных художниках и артистах. Бурбье Виржиния (ум. 1857) — французская актриса, с 1828 по 1841 г. выступала в Петербурге в Михайловском театре. По возвращении в Париж она выступила в Одеоне, где имела блестящий успех. Год ее смерти установлен по записи П. Д. Дурново (15 июля 1857 г. он записал: «в прошлом месяце скоропостижно умерла м-ль Бурбье»). Анатоль, к которому едет Жюль Жанен, — Демидов Анатолий Николаевич (1812—1870), известный богач, двоюродный брат Дурново, почти постоянно живший близ Флоренции в роскошной вилле Сан-Донатто. С Ж. Жаненом он подружился, вероятно, когда служил в середине 1830-х годов при русском посольстве в Париже. Под псевдонимом Nil-Tag А. Н. Демидов поместил в «Journal des Débats» ряд писем о России.

⁴⁵ Бракосочетание Соллогуба Владимира Александровича (1813—1882), писателя, и Вильегорской Софьи Михайловны (1820—1878), дочери М. Ю. Вильегорского, происходило в малой церкви Зимнего дворца. Э. Г. Герштейн считает, что их брак был устроен царской семьей в благодарность за написанную В. А. Соллогубом по заказу вел. кн. Марии Николаевны пародийную повесть «Большой свет», направленную против Лермонтова (см.: Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 215—249). О помолвке Соллогуба и Вильегорской А. П. Дурново записала 18 апреля, П. Д. Дурново — 23 апреля 1840 г.

⁴⁶ Каратыгина, урожд. Колосова, Александра Михайловна (1802—1880) — драматическая актриса Александринского театра, жена знаменитого трагика В. А. Каратыгина. 8 мая 1843 г. А. М. Каратыгина выступала у Мятлевых: «Вечером театр

общества у Мятлева, — записал П. Д. Дурново, — сыновья играли сцену из г-жи Курдюковой, в костюмах. Каратыгин (старший) сцену из Ермака. Г-жа Каратыгина со своим зятем маленькую пьесу, построенную на поговорке, и в заключение г-жи Бибикова и Галахова и оба Хрущева сыграли французский водевиль „Деликатное положение“ (?). Все вышло удачно.

⁴⁷ Неожиданная смерть актрисы Александринского театра В. Н. Асенковой, как известно, вызвала широкий общественный отклик. Из записи Дурново видно, что ошибочная весть о ее кончине распространилась по Петербургу еще 12 апреля.

⁴⁸ В этот же день А. П. Дурново записала в памятной книжке на 1841 г.: «Lermontoff est mort en duel au Caucase. Il était battu avec Martinoff, un camarade, qui a été lassé en fin de l'habitude, qu'il avoit prise de se moquer de lui et Gervais est mort de ses blessures, tandis que son frère le diplomate est devenu fou» («Лермонтов убит на дуэли на Кавказе. Он дрался с Мартыновым, товарищем, которому, наконец, надоела присвоенная им привычка насмехаться над ним, и Жерве умер от ран, в то время как его брат, дипломат, сошел с ума») (ЦГИА, ф. 934, оп. 2, ед. хр. 1052, с. 215). То, что Дурново написал о смерти поэта в конце отчета за день, показывает, что новость эту он услышал не в Павловске, где он был в этот день, а по возвращении домой, видимо от жены. Обе записи — одни из самых ранних петербургских откликов на дуэль и смерть Лермонтова. Сообщаемые А. П. Дурново подробности свидетельствуют, что их сведения восходят не к официальному донесению, полученному в Петербурге в самом конце июля и сообщенному Николаем I семье и приближенным 1 августа, а к частному письму, которое пришло в Москву 26 июля. Высокая оценка Лермонтова как поэта весьма примечательна на фоне многочисленных недоброжелательных отзывов о нем после его смерти.

⁴⁹ Жерве Николай Андреевич (1808—1841), один из членов «кружка 16-ти», был смертельно ранен за два месяца до дуэли Лермонтова.

⁵⁰ Дурново имеет в виду кн. Юсупову Зинаиду Ивановну, урожд. Нарышкину (1810—1893), жену кн. Н. В. Юсупова.

⁵¹ Сергей Львович Пушкин (род. в 1770 г.) скончался 29 июля 1848 г. Из записи Дурново впервые стало известно, что отец поэта умер от холеры.

⁵² Это не единственная запись о П. А. Вяземском в дневнике Дурново. Перейдя в Государственный контроль, Дурново, вероятно, довольно часто общался с ним. 14 апреля 1857 г. на бракосочетании гр. Ал. Ламздорфа с Марией Бек Дурново был посаженным отцом невесты, а П. А. Вяземский — жениха. Есть в дневнике и отклик на «великолепный обед», данный П. А. Вяземскому «его почитателями, коллегами и друзьями» в честь 50-летия его литературной деятельности.

⁵³ Ченгоборский (Тенгоборский) Людвиг Валерьянович — тайный советник; его дочь — вероятно, Евфимия Людвиговна, фрейлина.

⁵⁴ Н. В. Гоголь умер 21 февраля 1852 г.

⁵⁵ В. А. Жуковский умер 12/24 апреля 1852 г.

⁵⁶ Граф Бобринский Василий Алексеевич (1804—1874) был привлечен по делу декабристов и оставлен под секретным надзором. Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, в эти годы защитник православия, самодержавия и народности. 14 января 1857 г. в заседании Совета Московского художественного общества (у вице-президента общества А. Д. Черткова) при обсуждении письма Рамазанова В. А. Бобринский обрушился на некоторые русские порядки. Шевырев увидел в этом стремление опозорить Россию. Спор перешел на личную почву и закончился дракой (см.: Шевырев С. П. Записка о соре с гр. Бобринским на заседании Московского художественного общества при обсуждении вопроса об оценке современной русской действительности. — ЦГИА, ф. 1101, оп. 2, ед. хр. 401; Русский биографический словарь («Шебанов—Шютт»). СПб., 1911, с. 26). В библиографическом словаре «Русские писатели» (М., 1971, с. 701) ошибочно сказано, что Шевырев спорил с гр. А. А. Бобринским. Шевырев был уволен из университета, и ему было предписано ехать в Ярославль; позднее ему было позволено опять жить в Москве.

⁵⁷ С. Г. Волконская находилась тогда в Петербурге. У биографов А. К. Толстого дата смерти его матери указана по-разному. Андрей Лирондель пишет, что А. А. Толстая умерла 1 июня 1857 г.; А. А. Кондратьев — в ночь на 2 июня (см.: Lirondele André. Le poète Alexis Tolstoï. L'homme et l'oeuvre. Paris, 1912, p. 139; Кондратьев А. А. Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества. СПб., 1912, с. 45); последний оспаривает Н. Федорова, написавшего в «Новой иллюстрации» (приложение к «Биржевым ведомостям», 1903, № 20 и 21), что графиня умерла 3 июня. Еще одно упоминание о матери писателя в дневнике Дурново 20 сентября 1852 г.: «Побочная дочь гр. Льва Перовского обедала у нас; она воспитывалась в Париже и только что привезена оттуда своей теткой графиней Толстой. Ей 20 лет и она прелестна».

⁵⁸ Александр Дюма-отец (1802—1870) прибыл в Петербург по приглашению графа Г. А. Кущелева-Безбородко (родственника Дурново по жене), чтобы быть свидетелем на свадьбе его свояченицы Александры Ивановны Кроль со спиритом-медиумом шотландцем Даниилом Юмом; после этого А. Дюма отправился в путешествие по России. Записью Дурново устанавливается точная дата (10 июня) прибытия А. Дюма в Петербург (в работе С. Дурылина «Александр Дюма-отец и Рос-

сия» она не указана, см.: Литературное наследство, т. 31—32. М., 1937, с. 521). В ближайшие дни Дурново несколько раз был на даче Кушелева-Безбородко (на правом берегу Невы), слушал музыку; 15 июня он записал, что там слишком много народу, который привлекло присутствие Дюма.

⁵⁹ Герц, т. е. Герцен Александр Иванович (псевдоним — Искандер), в 1857—1858 гг. напечатал в «Колоколе» много разоблачительных статей и писем из России, полученных им от своих тайных корреспондентов, среди которых был и Юрий Николаевич Голицын (1823—1872), известный музыкант и дирижер. По приказу Александра II за сношения с Герценом он был арестован и 24 ноября 1858 г. сослан в г. Козлов, откуда в начале 1860 г. эмигрировал в Англию. Герцен пишет о нем в «Былом и думах» (см.: Эйфельман Н. Я. Переписка Ю. Н. Голицына с Герценом. — В кн.: Проблемы изучения Герцена. М., 1963, с. 485—495).

⁶⁰ Ростоичина, урожд. Сушкова, Евдокия Петровна (1811—1858), писательница, умерла 3 декабря. Н. Д. Дурново 26 ноября 1825 г. записал в дневнике: «Вечер у графини Лаваль. Маленькая м-ль Сушкова читала пьесу в стихах собственного сочинения. Я не жалею, что должен был слушать ее» (ГБЛ, ф. 95, ед. хр. 9548, л. 9).

⁶¹ П. Д. Дурново с сыном, Марченко, вероятно управляющий именными Дурново, Э. Рейнгольд, знаменитый петербургский врач, провожали до Пскова А. П. Дурново, по совету врачей уезжавшую за границу. 1 июня 1859 г. она скончалась в Швейцарии.

⁶² 30 апреля 1859 г. И. С. Тургенев писал графине Е. Е. Ламберт: «Я сижу в довольно грязной комнате на станции <...> в ожидании почтовой кареты, которая, говорят, придет в 11 ч. вечера, а теперь еще 6 лет, погода скверная, мне скучно». На почтовой станции Кресты возле Пскова Дурново, вероятно, и познакомился с ним. Тургенев об этом знакомстве не упоминает (обычное, дорожное). Он пишет далее: «Я должен кончить это письмо: господин, который взялся его доставить, сейчас едет назад в Петербург». П. П. и П. Д. Дурново из Пскова уехали лишь на следующий день, так что вряд ли упоминаемый Тургеневым господин является П. Д. Дурново. 29 апреля 1859 г. Тургенев писал из Петербурга Д. Я. Колбасину: «Я еду завтра в Париж». В комментариях к письму говорится, что он выехал из Петербурга (вместе с М. А. Маркович и ее сыном) «в дилижансе через Ковно в Берлин в ночь с 29 на 30 апреля» 1859 г., но, может быть, в связи с открытием железнодорожной ветки от Петербурга до Пскова он, так же как и Дурново, до Пскова доехал по железной дороге, а оттуда продолжал путешествие в дилижансе (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма, т. III. М.—Л., 1961, с. 297—299, 606).

⁶³ А. С. Хомяков умер 23 сентября 1860 г. в селе Ивановском Данковского уезда Рязанской губернии.



Б. АУЭРБАХ И ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК 1880 г.

Среди деятелей немецкой культуры XIX в., имевших тесные связи с русской литературой, одно из первых мест принадлежит Бертольду Ауэрбаху (1812—1882), автору романов «Спиноза», «На высоте», «Дача на Рейне», «Шварцвальдских деревенских рассказов» и других произведений. Ауэрбах был лично знаком с Л. Н. Толстым, А. К. Толстым, М. Л. Михайловым, Н. В. Шелгуновым, Л. П. Шелгуновой, К. К. Павловой, И. С. Тургеневым. Их личные контакты и переписка с Ауэрбахом являются существенной вехой русско-немецких литературных связей второй половины XIX столетия. Первые переводы его рассказов появились в 1848 и 1850 гг. в журнале «Сын отечества». Однако более основательное знакомство русского читателя с творчеством Ауэрбаха относится к концу 1850-х и особенно к 1860-м годам, когда произведения немецкого писателя появляются на страницах разных журналов и даже в отдельных изданиях. Особо следует отметить опубликование романа «Дача на Рейне» в журнале «Вестник Европы» (1868—1869) с предисловием, которое было подписано И. С. Тургеневым.¹ В последующие годы количество переводов рассказов и романов Ауэрбаха значительно возрастает. Среди переводов этих лет наибольший интерес представляет перевод его «Шварцвальдских деревенских рассказов» (1871), принадлежащий Л. П. Шелгуновой.

В русских журналах появляются положительные критические отзывы о творчестве Ауэрбаха, которые принадлежали П. Н. Кудрявцеву («Русский вестник», 1857, т. 7), Д. И. Писареву («Рассвет», 1859), М. Л. Михайлову («Современник», 1861, № 4—5). Лев Толстой с большим сочувствием относился к Ауэрбаху и высоко ценил его произведения; об этом свидетельствуют дневниковые записи Л. Н. Толстого, а также воспоминания Евгения Скайлера.² О дружеском внимании к Ауэрбаху говорят и письма А. К. Толстого.³

В этих условиях вполне естественно, что незадолго до открытия памятника Пушкину в Москве Ауэрбаху было послано официальное приглашение присутствовать на этом торжестве. 7 июня 1880 г. в Москве на заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкину, наряду с посланиями В. Гюго и Теннисона было оглашено письмо Ауэрбаха на имя И. С. Тургенева.

¹ В настоящее время считается установленным, что предисловие является произведением, написанным И. С. Тургеневым и Л. Пичем. Об этом см.: Левин Ю. Д. О предисловии к русскому изданию романа Б. Ауэрбаха «Дача на Рейне». — В кн.: Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева, IV. Л., 1968, с. 167—177.

² Русская старина, 1890, № 10, с. 261—262.

³ Zeitschrift für slavische Philologie, 1963, Bd XXXI, N. 1, S. 125.

Mein herzlich verehrter Freund!

Die Einladung zur Enthüllung des Puschkin Denkmals, die Sie mir im Namen des Comité Präsidenten zukommen liessen, hat mich hoch erfreut und geehrt. Ich kann mir bedauern, dass es mir nicht möglich ist, Folge zu leisten. Es ist schön und erhebend, dass eben jetzt aus Russland eine Kunde vom Cultus des Genius in die Welt hinaus dringt, und zuvor eines Genius, der fern von der neumodischen oder vielmehr barbarisch altmodische Exklusivität war und ist, nach welcher im Reiche des Geistes die Völker nicht mehr in der weltverbindenden und weltversichenden Wechselbeziehung des freien Empfangens und Gebens schaffen und wirken sollen. Es ist eine edle Feier, daran alle noch nicht von der Inhumanität corrumpirten Seelen mit warmer Theilnahme sich eins fühlen, indem Puschkin ein Denkmal errichtet wird, dem Dichter, der national selbständig und eigenartig, zugleich auch jener von Goethe verkündeten Weltliteratur angehört.

Sagen Sie dem Comité und allen Festgenossen den innigen Gruss und Dank Ihres Freundes

Berthold Auerbach.

Berlin W. Hohenzollernstr. 10.

1 Mai 1880.⁴

Перевод:

Мой высокочтимый друг!

Приглашение к открытию памятника Пушкину, переданное мне Вами от имени председателя комитета, весьма приятно и лестно для меня. Я могу лишь сожалеть, что у меня нет возможности повиноваться. Прекрасно и возвышенно то, что именно теперь из России распространяется по всему миру весть о культе гения, и притом гения, который был и остается далеким от новомодной или, скорее, варварски старомодной исключительности, следуя которой народы в области духа не должны более творить и действовать, основываясь на связующем и обеспечивающем мир взаимоотношений свободного культурного обмена.

Это благородный праздник, вызывающий во всех живых душах, еще не развращенных жестокостью, сочувствие, радость, что будет воздвигнут памятник Пушкину, поэту, чьи произведения, сохраняя национальную самобытность и своеобразие, должны быть причислены к той мировой литературе, которую возвестил Гете.

Передайте комитету и всем собратям по празднеству искренний привет и благодарность Вашего друга

Бертольда Ауэрбаха.

Берлин. В. Гогенцоллернштрассе 10.

1 мая 1880.

Ауэрбах пишет о благотельном влиянии творчества Пушкина на умы, развращенные «принципом исключительности». Это послание напоминает нам о том, что открытие памятника Пушкину проходило в сложных исторических условиях. Франко-прусская война 1871 г. обострила международные отношения в центре Европы. В начале 1870-х годов Ауэрбах находился под сильным влиянием идеи объединения Германии под эгидой Пруссии; это умонастроение писателя отразилось в его романе «Вальдфрид. Отечественная семейная хроника» (1874). Неустанные размышления о судьбах Германии одно время побуждали Ауэрбаха принять политику Бисмарка как историческую необходимость. Но с течением

⁴ ЦГАЛИ, ф. 509, оп. 1, ед. хр. 107, л. 1—2. Частично опубликовано в сборнике «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880, с. 44—45). В «Каталоге выставки в память И. С. Тургенева в имп. Академии наук» (СПб., 1909, № 485, с. 75), в «Описи документов материалов личного фонда И. С. Тургенева в ЦГАЛИ» (М., 1951, с. 15, № 107), а также в статье К. Дорнахер и Х. Шульда (Dornacher K., Schultze Chr. Turgenews Briefe an Berthold Auerbach. In: J. S. Turgenew und Deutschland, Bd. 1. Berlin, 1965, S. 53, 56) неверная дата письма: 21 мая, на самом деле — 1 мая.

времени он начинает все острее чувствовать угрозу пангерманизма, порождающего распространение националистических настроений в Германии и других европейских государствах. Правительство царской России стремилось использовать справедливые требования национального освобождения славянских народов в своих шовинистических интересах. В условиях националистической реакции особую значимость приобретали приветствия зарубежных деятелей культуры, в которых передовые писатели Европы заявляли о своей приверженности гуманизму. Письма Ауэрбаха, Гюго и Теннисона, зачитанные 7 июня 1880 г. на торжественном обеде в Обществе любителей российской словесности, символизировали признание интеллигенцией Германии, Франции и Англии поэтического гения Пушкина, несовместимого с мыслью о национальной ограниченности.

Ауэрбах причислил Пушкина «к той мировой литературе, которую возвестил Гете». Мысль о всемирном значении Пушкина прозвучала также в речах Тургенева и Достоевского. Тургенев говорил: «Но бывши национальным поэтом, был ли Пушкин всемирным? По совести не могу этого утверждать, хотя и не дерзаю отнять значение всемирного поэта у Пушкина». Тургенев, по-видимому, полагал, что тезис о всемирности гения Пушкина уместнее в речах иностранных писателей, а не соотечественников поэта.

Достоевский высказался более определенно: «...положительно скажу, не было поэта с такой всемирной отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по нашему и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески».⁵

Ауэрбах, по-своему интерпретируя гетевский идеал всемирной литературы, считал, что национальная ограниченность грозит гибелью истинному искусству. В творчестве Пушкина он находил воплощение гетевской «всемирности», «всечеловечности», протеизма. Достоевский же воспринимает всемирную отзывчивость русского поэта как явление пророческое: в пушкинском перевоплощении в дух чужих народов он парадоксально усматривает дальнейший закономерный этап в развитии русской народной, национальной культуры. С разных точек зрения Достоевский и Ауэрбах восприняли Пушкина как гения всего человечества.

⁵ Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 12. Дневник писателя за 1877, 1880 и 1881 гг. Ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.—Л., 1929, с. 388.





Т Р И Б У Н А

И. Г. СКАКОВСКИЙ

ПУШКИН И ЧААДАЕВ

(К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ
И ТРАКТОВКЕ ПОСЛАНИЯ ПУШКИНА «К ЧААДАЕВУ»)

1

Перед литературоведческой наукой стоит задача тщательного и глубокого исследования сложных и многообразных отношений Пушкина с различными идейными и художественными течениями его времени. Тема «Пушкин и Чаадаев» занимает в этом ряду одно из важных мест. С нею связаны вопросы формирования политических взглядов поэта, которые в настоящее время привлекают пристальное внимание исследователей.¹ Особенно острые споры вызывает адресованное П. Я. Чаадаеву послание Пушкина «Любви, надежды, тихой славы...». Заметное место в этих спорах заняли выступления В. В. Пугачева.

«До 1825 года авангардом русского общественного движения были декабристы, а их крупнейшим поэтом — Пушкин. Не будучи членом тайного общества, даже в сущности не зная о существовании нелегальной организации, Пушкин предельно точно отразил в своем творчестве эволюцию политических взглядов декабристов», — пишет В. В. Пугачев, подчеркивая, что «важнейшие политические стихотворения поэта написаны по заданию декабристов». В. В. Пугачев убежден, что «для пафоса создания таких произведений нужна была уверенность, что это нужно для тайного общества <...> Без тайной организации Пушкин не мог пропагандировать декабристские идеи».² Если политическая лирика поэта «предельно точно» отражает эволюцию политических взглядов декабристов, то следы этой эволюции должно содержать и стихотворение «К Чаадаеву»:

«Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман...

Что значит „тихой славы“? „Тихая“ означала мирная. Речь шла о тактике Союза благоденствия в 1818—1819 годах — мирного переустройства общества», — замечает В. В. Пугачев.³ По его мнению, «разочарование» в «тихой славе» означало разочарование «в мирной, легальной поли-

¹ См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 204—205.

² Пугачев В. В. К вопросу о политических взглядах А. С. Пушкина до восстания декабристов. — В кн.: Учен. зап. Саратовского юридического ин-та им. Д. И. Курского, вып. 18, 1969, с. 201, 211.

³ Пугачев В. В. Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина. Горький, 1967, с. 202.

тической деятельности».⁴ В дальнейшем тактика декабристов изменилась, они делают ставку на вооруженный переворот, и стихотворение Пушкина отражает изменение их взглядов. К тому же в новых условиях декабристское общество стремится привлечь в свои ряды все значительные общественные силы, и его внимание привлекает Чаадаев. В. В. Пугачев пишет далее: «Союзу благоденствия Чаадаев был нужен, и Пушкин вступил в борьбу за Чаадаева».⁵ Отказ декабристов от тактики мирного переустройства общества и переход к подготовке вооруженного восстания приходится на 1820 год, значит, считает исследователь, и пушкинское послание надо датировать не 1818 г., как было до сих пор принято, а 1820 г.

Трудно согласиться с подобной точкой зрения на один из шедевров вольнолюбивой лирики Пушкина. Вряд ли совпадает с современными представлениями о творческом процессе стремление видеть в оде «Вольность», «Деревне» и других пушкинских стихах выполненное задание, заказ, полученный от Союза благоденствия. Пугачев считает, что без декабристской организации невозможны декабристские идеи и декабристские по духу стихи Пушкина. Однако не тайные союзы привели к возникновению идей декабризма, а, наоборот, эти организации возникли в результате формирования декабристской идеологии.

Между приверженностью декабристским идеям и членством в таком обществе или сотрудничеством с ним не было обязательной связи. Недаром мы знаем и декабристов «до декабря», и декабристов «без декабря», и даже декабристов «после декабря». И разве, наконец, поэт не мог выражать идеи декабризма, убеждения передовых людей эпохи, которые он разделял, по собственной инициативе, без подталкивания и заказа со стороны членов общества?

Идеи и настроения ранней политической лирики Пушкина вряд ли были достоянием только декабристских организаций. Тот отклик, который получали эти свободолюбивые произведения, говорит о широкой общественной потребности в подобного рода сочинениях, о том, что порождались они не только атмосферой тайного союза, но и более широкой атмосферой общественной жизни всей России.

2

В большом академическом собрании сочинений Пушкина указано тридцать шесть копий пушкинского стихотворения. Восемь из них датированы 1818 г. Никаких других дат на остальных списках послания нет. Следовательно, ни с какой иной датой современники Пушкина и Чаадаева стихотворение не связывали.

Но комментаторы большого академического собрания не знали еще одного списка послания «К Чаадаеву», который при отсутствии автографа может послужить одним из авторитетных текстологических источников.

Свой рукописный архив П. Я. Чаадаев завещал М. И. Жихареву, который должен был позаботиться о сохранности чаадаевских бумаг и о публикации произведений «басманного философа». В 1866 и 1869 гг. Жихарев передал в Румянцевский музей часть доставшихся ему таким образом бумаг. Это были письма, адресованные Чаадаеву, разного рода записи и списки стихотворений. Ныне эти чаадаевские бумаги вместе с перепиской самого М. И. Жихарева составляют единый фонд Рукопис-

⁴ Пугачев В. В. К датировке послания Пушкина «К Чаадаеву». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968, Л., 1970, с. 85.

⁵ Пугачев В. В. Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина, с. 204.

ного отдела Государственной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.⁶ Стихотворения, списки которых хранятся в этом фонде, четко отражают круг интересов их бывшего владельца. Здесь есть стихи, посвященные волновавшей Чаадаева теме взаимоотношений Востока и Запада, историческому прошлому России и т. д. Ревниво относившийся к своей славе, Чаадаев собирал и хранил все, что подтверждало его право на видное место в русской истории и литературе. Поэтому основную часть собранных им стихотворений занимают произведения, прямо обращенные к нему или связанные с его именем. Здесь адресованные Чаадаеву произведения Ф. Глинки, Я. Полонского, Н. Языкова, К. Павловой и др. Среди этих стихотворений находится и список пушкинского послания «К Чаадаеву», до сих пор не привлекавший внимания пушкинистов.⁷ Этот список имеет в конце помету: «1818 года». Надо полагать, она восходит к свидетельству самого адресата послания.

Несколько слов об этом списке пушкинского стихотворения. По-видимому, он был сделан по просьбе Чаадаева уже после смерти Пушкина, когда автор «Философических писем» стал особенно дорожить каждым доказательством своей былой дружбы с великим поэтом. Текст послания написан на отдельном листе бумаги, неизвестной рукой, аккуратно и разборчивым почерком, без всяких помарок и исправлений. Список имеет ряд разночтений с основным текстом. Все эти разночтения были известны ранее и указаны в примечаниях к стихотворению в полном собрании сочинений Пушкина (II, 1044—1045). Но в таком соотношении они встречаются впервые. Опуская незначительные расхождения, необходимо сказать о самом существенном из них. Список послания, хранящийся в Библиотеке им. В. И. Ленина, включает две строки, вовсе отсутствующие в общепризнанном тексте. После слов: «Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!» — следует еще один призыв:

Питай, мой друг, священный жар —
И искра делает пожар!

(II, 1044)

Редакторы Полного собрания сочинений, приведя эти строки, известные им по другим спискам, в числе разночтений, не включили их в раздел «Другие редакции и варианты», сомневаясь в их принадлежности Пушкину. Но наличие этих стихов в данном списке позволяет думать иначе.⁸ Возможно, эти строки находились в одной из ранних редакций стихотворения. И Чаадаев захотел иметь у себя именно этот текст, так как он содержит наиболее полную и высокую оценку адресата послания.

Данный список пушкинского стихотворения, безусловно, нуждается в дополнительном изучении. Но и сейчас он является еще одним аргументом в пользу датировки послания «К Чаадаеву» 1818 г.

3

Присутствует ли в стихотворении Пушкина мысль о необходимости перехода от деятельности мирной и постепенной к ставке на революционное восстание, от планов создания конституционной монархии к республиканским идеалам? Как уже говорилось, В. В. Пугачев считает, что выражение «тихая слава» означает у Пушкина тактику мирного пере-

⁶ Подробнее о судьбе чаадаевских рукописей см. в предисловии Д. Шаховского к «Неопубликованной статье П. Я. Чаадаева»: Звенья, т. 3—4. М.—Л., 1934, с. 365—370.

⁷ Отдел рукописей ГБЛ, ф. 103, п. 1034, № 30.

⁸ Любопытно сравнить эти строчки с известными стихами А. Одоевского из его ответа Пушкину: «Из искры возгорится пламя». Здесь тот же образ, та же поэтическая мысль. Может быть, А. Одоевский был знаком с этим вариантом пушкинского послания «К Чаадаеву» и сознательно использовал известный ему образ в своем стихотворении?

устройства общества, которой придерживался Союз благоденствия в 1818—1819 гг. Он ссылается при этом на фразеологию пушкинской эпохи, когда слово «тихая» могло выступать синонимом к слову «мирная».⁹ Но забывает при этом, что эпитеты «тихая» и «мирная» могли в поэтической фразеологии эпохи выступать и как синонимы к словам «частная», «негражданская», «необщественная». Исследователь упорно не замечает самого первого слова стихотворения, слова «любовь». Это слово — основное в названном Пушкиным ряду — определяет наше понимание этих чувств как частных, личных, которым дальше в стихотворении противопоставляются гражданские варианты этих же чувств.

Любви как индивидуальной страсти противопоставлена любовь к свободе, переживаемая поэтом как чувство общественное, гражданское и в то же время глубоко волнующее:

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

(II, 72)

Так же как и «любовь», слово «надежда» в начале стихотворения означает личную надежду поэта как частного человека. «Употребление слова „надежда“ в значении синонима к „любви“ и „тихой славе“ вряд ли было возможно для Пушкина в 1819 г., в период собраний „Зеленой лампы“, когда слово „надежда“ приобрело определенный политический характер, о котором постоянно напоминала эмблема общества и его девиз „свет и надежда“».¹⁰ Слово «надежда» как обозначение вольнолюбивых стремлений и планов широко употреблялось в пушкинском кругу уже позднее. Примеров такого словоупотребления немало и в более поздних стихах самого Пушкина. Например, в стихотворении 1821 г. кинжал у поэта одновременно «свободы тайной страж» и «свершитель... проклятий и *надежд*». В послании В. Л. Давыдову (тоже 1821 г.) Пушкин пишет:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

И спрашивает в связи с этим:

Ужель надежды луч исчез?
(II, 179)

«Вольнолюбивые надежды» мы найдем и в послании «Чаадаеву» 1821 г. Собственно говоря, такой смысл слова «надежда» зарождается и в строфах анализируемого стихотворения — когда Пушкин «надежде» из первой строки стихотворения противопоставляет в последующих строках «надежду» как высокое гражданское чувство:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья.

(II, 72)

Здесь слово «верь» выступает синонимом слова «надежда». Но этот смысл лишь возникает в стихотворении.

И «тихую славу» пушкинского послания следует искать не в программе Союза благоденствия, а в ранних стихах Пушкина и у любимого им Батюшкова. Речь идет о славе поэта-эпикурейца, известного лишь в узком кругу друзей, творящего «для немногих», человека, противопоставляющего свое частное существование, интимные радости суете общественного поприща.

⁹ Пугачев В. В. К датировке послания Пушкина «К Чаадаеву», с. 84.

¹⁰ Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1 (1813—1814). М.—Л., 1956, с. 190.

«Тихой славе» в узком дружеском кругу знатоков и ценителей прекрасного Пушкин противопоставляет героическую славу борцов за свободу:

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Комментируя эти строки, В. Пугачев замечает: «Споры с Чаадаевым подняты здесь на принципиальную высоту — о роли революционного насилия». ¹¹ Однако эти выводы делаются на основании одного выражения «обломки самовластья». Смысл последних строк послания — утверждение неизбежности падения самодержавия. Каким образом это произойдет: путем ли постепенного преобразования государственного механизма, в результате революционного взрыва или волею самого монарха — об этом в стихотворении не говорится.

В послании «К Чаадаеву» сопоставлены две системы ценностей, два отношения к жизни, две линии поведения. В нем как бы противостоят друг другу два человеческих единства, два значения слова «мы». В первой строфе — это лицейское содружество, люди, которых объединили в стенах Лицея судьба, случай. Их близость возникла из общих условий жизни, сердечной привязанности, из увлечения «юными забавами». Это «мы» объединяет Пушкина и Дельвига, Пушкина и Малиновского, а не Пушкина и Чаадаева. Постепенно такая общность переходит в стихотворении в единство иного рода, единство идейное и гражданское, основанное на преданности свободе и отчизне. Это новое единство охватывает Пушкина, Чаадаева и всех тех, кто, подобно им, ждет «с томленьем упования минуту вольности святой».

Таким образом, и содержание, и структура послания Пушкина «К Чаадаеву» не дают оснований менять традиционную датировку стихотворения, подтвержденную рядом авторитетных списков.

¹¹ Пугачев В. В. К датировке послания Пушкина «К Чаадаеву», с. 85, 87.



*
В. П. ГУРЬЯНОВ

ПИСЬМО ПУШКИНА О «ГАВРИИЛИАДЕ»

1

Летом 1828 г. против Пушкина было начато дело о написании им «нечестивой и богохульной» поэмы «Гавриилиада». Поэта вызывали на допросы во Временную верховную комиссию (высший орган управления по случаю отъезда царя на войну с Турцией), в состав которой входили В. П. Кочубей, П. А. Толстой, А. Н. Голицын. Пушкин решительно отрицал свое авторство, о чем Комиссия известила Николая I.¹

На записке Комиссии царь написал: «Г<рафу> Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».²

Теперь Пушкина вызвал главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте граф Петр Александрович Толстой.

В протоколе заседания Комиссии от 7 октября приведен текст этого «собственноручного повеления его императорского величества» и далее записано: «Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив выше помянутую собственноручную его величества отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объявления истины, и что Пушкин по довольном молчании и размышлении спрашивал, позволено ли будет ему написать прямо государю императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил его графу Толстому.

Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству».³

Текст пушкинского письма оставался неизвестным. Было установлено только, что оно написано 2 октября 1828 г. Об этом говорит запись Пушкина: «2 октября письмо к Ц<арю>». Запись находится на листе с заключительными стихами первой песни «Полтавы» (фрагмент белого автографа), датированной тут же: «3 октября 1828». В другой записи Пушкина — «16 окт. 1828. С. П. Б. Ям. 33. Гр. Т... от Государя» — говорится о сообщенном Пушкину графом П. А. Толстым ответе Николая I на его письмо.⁴ Запись сделана под беловым автографом завершающих стихов первоначальной редакции третьей песни «Полтавы».

¹ См.: Сухонин С. Дела III отделения собственной е. и. в. канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906, с. 313—369.

² Старина и новизна, 1902, кн. 5, с. 5.

³ См.: Сухонин С. Дела III отделения... с. 343.

⁴ См.: Лернер Н. О. Заметки Пушкина о «Гавриилиаде». — Книга и революция, 1921, № 8—9, с. 118.

Письмо Пушкина Николаю I было или доставлено ему в Одессу, где он пробыл три дня (с 5—6 октября по 8-е), или уже вручено в Петербурге, куда он добирался «при теперешних дорогах» шесть суток.

Вернулся царь 13 октября,⁵ а 16-го принял Толстого и передал ему, очевидно на словах, свое решение по письму Пушкина для передачи поэту.⁶

Официально дело о «Гавриилиаде» было завершено лишь 31 декабря 1828 г., когда на докладной записке статс-секретаря Н. Н. Муравьева, сообщавшего, что «по получении показаний Пушкина о дальнейших распоряжениях относительно к открытию сочинителя поэмы Гавриилиада неизвестно», царь написал резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено».⁷

2

В 1951 г. в Государственном историческом архиве Московской области обрабатывался обширный фонд Бахметевых. Разбором его занималось несколько человек, среди них студент Московского архивного института В. И. Савин. В слежавшихся бумагах он обнаружил документ, подписанный Пушкиным.

Вот его текст:

«Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. — Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гавриилиада сочинена мною в 1817 году.

Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь

Вашего Императорского Величества верноподанный
Александр Пушкин.

2 октября 1828. С.Петербург».⁸

В разборе нового фонда принимал участие и автор настоящей статьи, который позднее с согласия В. И. Савина изучил написанное письмо.

Публикуемые строки написаны на второй половине фабричного листа бумаги в лист (in folio) без водяных знаков. Первая половина листа отсутствует. Текст начинается с самого верха, без спуска.

Содержание письма и некоторое сходство почерка с почерком Пушкина первоначально породили надежду, что обнаруженное письмо к Николаю I в связи с делом о «Гавриилиаде» является автографом поэта. Однако вскоре последовало авторитетное возражение одного из крупнейших пушкинистов — Б. В. Томашевского. Проанализировав фотокопию найденной рукописи, он пришел к следующим выводам:

«Судя по фотографии с рукописи, содержащей признание Пушкина в сочинении „Гавриилиады“, найденный документ представляет собой неумелую подделку.

Основания к такому заключению следующие:

1) Почерк явно не принадлежит Пушкину, хотя и налицо попытка воспроизвести характер руки Пушкина. Однако все элементы данного документа находятся в противоречии графическим навыкам Пушкина.

2) Орфография слов „Гавриилиада“ и „верноподанный“⁹ не позволяет признать этот документ принадлежащим руке Пушкина или считать его за точную копию с письма Пушкина.

⁵ См. письмо К. Я. Булгакова к А. Я. Булгакову от 14 октября 1828 г.: Русский архив, 1903, № 9, с. 143.

⁶ Об этом известно только из пушкинской лаконичной записки.

⁷ Старина и новизна, 1911, кн. 15, с. 188, 210.

⁸ Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГАг Москвы), ф. 1845 (Бахметевых), оп. 1, ед. хр. 564.

⁹ Пушкин, разумеется, писал «Гавриилиада» и «верноподанный». (Прим. Б. В. Томашевского).

Вообще ряд обстоятельств заставляет предполагать, что подделка совершена сравнительно недавно и притом лицом, имеющим дело с архивными документами.

Не выдержан стиль. С одной стороны, допущено неправильное применение глагола „вопрошать“ (тогда говорили «спрашивать» или «допрашивать»), с другой — введена в подпись формула со словом „есмь“, вряд ли возможная в письме Пушкина к Николаю I.

Самое наличие только половины листа, по-видимому, объясняется тем, что в архивах легко найти полулист старинной бумаги, но трудно достать целый нетронутый лист. Между тем совершенно непонятно, что же могло быть в начале письма, так как данная запись полностью включает все возможное содержание ответа Пушкина. 20 IV 51. Б. Томашевский.¹⁰

С того времени надолго утвердилось мнение, что «письмо к царю» из бахметевского архива — поддельное. Этот взгляд не смогли поколебать и две работы, обсуждавшие занимающий нас текст. Криминалисты Р. Белкин и Р. Миньковский в популярной статье «Искусство раскрытия тайны» сообщали, что бумага, на которой написано письмо, очень старая, чернила характерны для 20—30-х годов XIX столетия, а «исполнителем документа является Бахметев».¹¹ К сожалению, в этой статье не были установлены ни инициалы Бахметева, ни личность его. Не было объяснено, что же это — подделка или копия пушкинского текста.

Спустя три года А. И. Винберг и В. Иванов напечатали статью «Секрет старого письма», в которой, рассказав о проделанной криминалистами экспертизе, сообщили, что бумага, техника письма гусиным пером и чернила документа позволили утверждать, что «время написания письма соответствует его датировке». «Возможность подделки чернил под старинные также была отвергнута», — отмечали авторы статьи. Далее эксперты пришли к окончательному выводу: интересующий нас текст «пушкинского письма» написан рукой Алексея Николаевича Бахметева. Однако оказалось, что в пушкинское время жили два Алексея Николаевича Бахметева: один — гофмейстер двора, другой — генерал-от-инфантерии, член Государственного совета, кавалер ордена Александра Невского. Которому же из этих Бахметевых принадлежит «поддельное» письмо? Это нужно было «решать совместно ученым многих отраслей науки».¹² Таким образом, авторы второй статьи назвали имя и отчество Бахметева, однако вопрос, который же из Алексеев Николаевичей писал документ, оставили открытым, а письмо сочли поддельным.

Еще через пять лет вопрос был совершенно запутан газетной заметкой С. Феклистова «Письмо писал Пушкин!».¹³ Феклистов неверно понял и изложил содержание доклада, сделанного автором настоящей статьи на заседании Московского клуба любителей книги: в этом докладе отнюдь не доказывалось, будто письмо написано рукою Пушкина, как утверждает С. Феклистов, а разбирался вопрос — можно ли считать текст письма авторитетной копией не дошедшего до нас пушкинского автографа.

Итак, прошло уже более двух десятилетий с момента обнаружения загадочного документа, однако по-прежнему он продолжает считаться среди пушкинистов фальсификацией.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 244, оп. 15, № 35.

¹¹ Техника — молодежи, 1957, № 12, с. 32.

¹² Комсомольская правда, 1961, 4 января.

¹³ Там же, 1966, 12 февраля. Статья изобилует ошибками: даже в коротеньком тексте «письма к царю» допущено шесть ошибок, не говоря о ряде неверных утверждений корреспондента газеты.

Что же представляет собой письмо к царю, обнаруженное в архиве Бахметевых?

Главный, решающий аргумент против «подделки» заключается в том, что текст письма без сомнения записан рукой современника Пушкина — Алексея Николаевича Бахметева. К этому выводу пришла в свое время графическая экспертиза, сравнившая «письмо к царю» и письмо А. Н. Бахметева к некоему Головачеву от 15 июня 1843 г.¹⁴ Недостатком последнего документа было отсутствие на нем подписи А. Н. Бахметева.¹⁵

22 октября 1968 г. Т. Г. Цявловская и Н. Я. Эйдельман сопоставили «письмо к царю» с документом, под которым ясно читается завершающая подпись «Ал. Бахметев» (письмо к некоему «Алексею Андреяновичу» (Адриановичу) с датой «среда, 26-го 1854 г.»).¹⁶

Вывод текстологов-литературоведов тот же, что и у юристов-криминалистов: «письмо к царю», бесспорно, написано рукой А. Н. Бахметева.

Но как только мы признаем этот факт, мысль о подделке письма должна сразу же отпасть. Такой документ мог бы быть сфабрикован лишь в наше время. Только в 1906 г. было полностью опубликовано дело III отделения о «Гавриилиаде», вынудившее Пушкина объясняться с царем;¹⁷ тогда же В. И. Срезневский опубликовал и запись Пушкина: «2 октября письмо к Царю».¹⁸ Но лишь в 1921 г. Н. О. Лернер объяснил, что эта запись подразумевает письмо к царю по поводу «Гавриилиады».¹⁹

Итак, фальсификатор не располагал бы даже данными, чтобы придумать подобную подделку прежде 20-х годов нашего столетия.

Нужно сказать, что А. Н. Бахметев,²⁰ попечитель Московского университета и гофмейстер, был современником Пушкина: он родился в 1798 г., скончался в 1861 г.²¹ Сочинить пушкинское письмо, да еще столь «правильно», Бахметев бы при всем желании не смог, да и желания такого, очевидно, не имел.

К тому же нетрудно предположить, каким образом А. Н. Бахметев мог прочесть и списать пушкинское послание Николаю I: 28 июля 1829 г. он женился на графине Анне Петровне Толстой (1804—1884), дочери П. А. Толстого — того самого сановника, который возглавлял расследование о «Гавриилиаде» и кому Пушкин вручил свое письмо для доставки царю.

Трудно себе представить, чтобы Николай I, прочитав послание поэта,

¹⁴ ЦГАГ Москвы, ф. 1845 (Бахметевых), оп. 1, ед. хр. 564. В этом же деле находятся фотоматериалы к акту графической экспертизы № 876: увеличенный фотоснимок «письма к царю» от 2 октября 1828 г. и несколько увеличенных фотоснимков с образцами почерка А. Н. Бахметева (письмо от 15 июля 1843 г.). Красными чернилами отмечены многочисленные совпадающие признаки почерков, которыми написаны оба этих письма.

¹⁵ Завершающее его неразборчивое слово не может быть прочтено как «Бахметев».

¹⁶ ЦГАГ Москвы, ф. 1845, оп. 1, ед. хр. 52, письмо 2. Корреспонденты А. Н. Бахметева — Головачев и Алексей Адрианович — это одно и то же лицо — общественный деятель и писатель (1819—1903).

¹⁷ См.: Сухохин С. Дела III отделения. . . , с. 343.

¹⁸ Пушкин и его современники, вып. IV. СПб., 1907, с. 10, № 36а.

¹⁹ Лернер Н. О. Заметки Пушкина о «Гавриилиаде», с. 118.

²⁰ Отметим сразу, что речь идет не о том Алексее Николаевиче Бахметеве, которого упомянул Пушкин в стихотворной записке к приятелю: «Мой друг, уже три дня Сижу я под арестом. . .» (1822). Говоря от Инзова, исполнившем обязанности наместника Бессарабской области (1820—1823), Пушкин называет его: «Бахметева наместник». Поэт писал об Алексее Николаевиче Бахметеве (1744—1841), генерале-от-инфантерии, участнике Бородинского боя, генерал-губернаторе нижегородском, казанском, симбирском и пензенском, члене Государственного совета, бывшем в 1816—1820 гг. полномочным наместником Бессарабской области.

²¹ См.: Руммель В., Голубцов В. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887, с. 510 (см. экземпляр М. А. Цявловского с рукописными пометами владельца книги).

уничтожил его; ведь это был документ, завершавший важное, с официальной точки зрения, политическое следственное дело. По всей вероятности, царь допускал, что ему и его помощникам еще придется вернуться к вопросу о «Гавриилиаде» и других противозаконных стихах Пушкина, а если так, то письмо-документ должно быть сохранено, для чего, естественно, и было передано П. А. Толстому.

Какова судьба пушкинского подлинника — сказать невозможно. «Письмо Пушкина и ответ государя неизвестны, несмотря на поиски, произведенные по распоряжению Николая II», — сообщал в печати Б. В. Томашевский.²² Но зато легко себе представить ситуацию, при которой А. Н. Бахметев мог познакомиться с секретными бумагами тестя и сделать копию с пушкинского письма.

В то время, когда поэта терзали допросами по поводу «Гавриилиады», А. Н. Бахметев, как видно из посылавшихся на его имя писем, странствовал по Европе и возвратился оттуда не ранее 1829 г.²³ Из-за границы Бахметев, видимо, просил сообщать ему русские литературные новости, и вот будущий тесть пишет ему 1/13 января 1829 г. из Москвы: «Пушкин здесь — я его не видел».²⁴

Еще раньше, 23 октября 1828 г. (между прочим через три недели после написания письма царю), Алексею Бахметеву писал из Москвы Н. И. Любимов, друг Погодина, редактора «Московского вестника». По-сылая Бахметеву стихи Шевырева и «Недоконченную картину» Пушкина, переписанные из только что вышедшего «Московского вестника» (№ 15), Любимов обещает: «С будущей почтою постараюсь сообщить вам стихи Пушкина, которые прислал он для помещения в „Московском вестнике“».²⁵

Таким образом, Алексей Бахметев вполне мог заинтересоваться и «письмом к царю», о котором мог узнать от П. А. Толстого. Быть может, Бахметев скопировал письмо уже после смерти своего тестя (1844). Но не исключено, что Толстой и сам показал письмо Пушкина зятю, вернувшемуся издалека.

Хотя расследование о «Гавриилиаде» и было делом секретным, тем не менее члены Комиссии не очень-то соблюдали тайну. Так, А. Н. Голицын рассказывал об этом следствии своему сотруднику Ю. Н. Бартеневу, который записал 30 декабря 1837 г.: «Управление князя Кочубея и Толстого во время отсутствия князя».²⁶ Гавриильяда Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя. — Важный отзыв князя, что не надобно осуждать умерших».²⁷

В 1851 г. П. В. Нащокин поведал П. И. Бартеневу об этой же истории, ссылаясь на Н. А. Муханова, «адъютанта у генерал-губернатора»: «Сначала Пушкин отозвался, что не один он писал и чтоб его не беспокоили. Но губернатор послал за ним вторично. Тут Пушкин сказал, что он не может отвечать на этот допрос, но так как государь позволил ему писать к себе (стало быть, у них были разговоры), то он просит, чтобы ему дали объясниться с самим царем. Пушкину дали бумаги, и он у самого губернатора написал письмо к царю. Вследствие этого письма государь прислал приказ прекратить преследование, ибо он сам знает, кто виновник этих стихов».²⁸

²² См.: Пушкин А. С. Гавриилиада. Ред., примеч. и коммент. Б. Томашевского. Пг., 1922, с. 53.

²³ См.: ЦГАГ Москвы, ф. 1845, оп. 1, ед. хр. 50. Изучением переписки Бахметевых занималась Н. Н. Озерова. Выражаем глубокую благодарность за сообщенные ею выписки.

²⁴ ЦГАГ Москвы, ф. 1845, оп. 1, ед. хр. 64, л. 44 (подлинник на французском языке).

²⁵ Там же, ед. хр. 51.

²⁶ Описка, вместо «государя».

²⁷ Русский архив, 1886, № 7, с. 327.

²⁸ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым. Л., 1925, с. 42, 110.

Рассмотрим подробнее положения Б. В. Томашевского, высказанные в подтверждение того, что «письмо к царю» является подделкой.

«Почерк явно не принадлежит Пушкину, хотя и налицо попытка воспроизвести характер руки Пушкина».

Сходство почерка изучаемого нами документа с почерком Пушкина привело ученого к мысли о сознательной фальсификации пушкинского письма. Он не знал почерка современника поэта А. Н. Бахметева, рукой которого, как выяснилось, написано письмо.

«Не выдержан стиль. С одной стороны, допущено неправильное применение глагола „вопрошать“ (тогда говорили «спрашивать» или «допрашивать»), с другой — введена в подпись формула со словом „есмь“, вряд ли возможная в письме к Николаю I».

Когда Б. В. Томашевский писал свой отзыв, еще не существовало «Словаря языка Пушкина». В первом томе, вышедшем в 1956 г., указывается, что глагол «вопрошать», т. е. «спрашивать», употреблен Пушкиным 20 раз, и не только в сказочных или исторических произведениях с архаическим налетом («Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает...») или «Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала...» — «Арап Петра Великого»), но и в стихотворениях, например: «Фонтан любви, фонтан печальный! и я твой мрамор вопрошал...» («Фонтану Бахчисарайского дворца»). Наконец, этот глагол встречается — с ироническим оттенком — в частном письме поэта о цензоре: «Скажите это от меня господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи!» (письмо М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. — XIII, 340).

В интересующем нас письме к Николаю I Пушкин употребил слово «вопрошать» в смысле, характерном для официального языка эпохи. Так, в том же деле 1828 г. о «Гавриилиаде» петербургский военный губернатор Голенцищев-Кутузов докладывал 20 августа графу П. А. Толстому: «Известный стихотворец Пушкин был призван ко мне и вопрошаем: от кого получил известную поэму?».²⁹

Кроме того, в контексте всего оборота в письме («будучи вопрошаем») слово это вяжется со словом «будучи», присущим официальному стилю Пушкина. Вспомним известное письмо начальнику канцелярии графа Воронцова А. И. Казначееву: «Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, в праве ли отозваться на предписание е(го) с(к)иятельства» (XIII, 92—93).

Мнение Б. В. Томашевского, что «формула со словом „есмь“» вряд ли возможна в письме Пушкина к Николаю I, опровергается текстом другого письма Пушкина, тоже официального — к шефу жандармов Бенкендорфу (18 января 1831 г.): «С глубочайшим почтением и совершенной преданностью, есмь милостивый государь Вашего высокопревосходительства покорнейший слуга Александр Пушкин» (XIV, 146).

Таким образом, все выражения письма, вызвавшие сомнения Б. В. Томашевского, находят полную поддержку в текстах Пушкина. Подтверждается аналогией с другим письмом Пушкина к императору и концовка письма. Вот как расписался поэт под своим первым обращением к Николаю I в 1826 г.: «Всемиловивейший государь, Вашего императорского величества верноподданный Александр Пушкин» (XIII, 284).

Одним из мотивов, вызвавших возражение Б. В. Томашевского против подлинности публикуемого документа, было отсутствие в копии начала письма: в ней недоставало одной или двух страниц. Отсутствие этого начала можно объяснить двояко: или оно было скопировано Бахметевым на другом полулисте и не уцелело, или же Бахметев, опустив всю «преамбулу», переписал до конца лишь основную часть документа — признание Пушкина в авторстве «Гавриилиады», вплоть до подписи.

²⁹ Старина и новизна, 1902, кн. 5, с. 4.

«Совершенно непонятно, что же могло быть в начале письма, так как данная запись полностью включает все возможное содержание ответа Пушкина», — писал Б. В. Томашевский.

Прежде всего в начале письма должно было иметь место обращение к императору. Какое именно? В четырех существующих письменных прошениях Пушкина на имя царей мы видим две формы обращения. Три первых прошения к Александру I — об «увольнении» в Псковскую губернию (3 июля 1817 г. и 9 июля 1819 г.) и об отставке (2 июня 1824 г.) — начаты согласно традиционной формуле: «Всепресветлейший, державнейший, великий государь всемилостивейший». В прошении Николаю I о выезде из Михайловского на лечение «или в Москву, или в Петербург, или в чужие края» (6—8 июня 1826 г.) Пушкин обращается проще: «Все-милостивейший государь». Очевидно, одно обращение не могло бы занять всей страницы *in folio*, даже при условии, что Пушкин начинал свои письма и прошения не с верху страницы, а со спуска. На первой странице, бесспорно, должен был находиться какой-то текст по существу письма, на который в сохранившейся части следовал ответ.

В письме к царю Пушкин признает свою поэму «шалостью столь же постыдной, как преступной». Чрезвычайная близость этих слов к пушкинской характеристике «Гавриилиады» — «произведение столь жалкое и постыдное» (когда поэт отказывался от авторства поэмы)³⁰ — является серьезным аргументом среди доказательств в пользу пушкинского авторства «письма к царю» 2 октября 1828 г.

Такие сильные эпитеты употреблены, конечно, «во спасение», но нельзя забывать, что Пушкин не любил говорить об этой поэме, как свидетельствует один из ближайших друзей поэта Павел Воинович Нащокин.³¹ По словам А. С. Норова, Пушкин сказал В. И. Туманскому: «Ты, восхищавшийся такой гадостью, как моя неизданная поэма, настоящий мой враг». С. А. Соболевский свидетельствовал, что «Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости». О том же вспоминали В. П. Горчаков и С. Д. Полторацкий.³² М. В. Юзефович, бывший в 1829 г. вместе с Пушкиным на Кавказе, писал впоследствии: «Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал».³³

Важно отметить, что поэт оправдывается и защищается с большим достоинством. Признаваться правительству он «не почитает себя обязанным» и потому вовсе не думает извиняться за длительное заперательство. Поэт и не скрывает, что ставит себя выше этих вопрошающих людей, облеченных властью, и только тогда, когда его спрашивают «прямо от лица <...> государя», он, полагая свое достоинство не задетым, открывает правду. Прямо, один на один с высшей властью — только так Пушкин готов разговаривать.

Объясняясь с императором, поэт, конечно, не забывает о пределах возможной откровенности и объявляет годом рождения «Гавриилиады» 1817-й, тогда как поэма была написана весной 1821 г. Пушкин желал подчеркнуть, что писал эту поэму еще юношей.

Анализ документа, обнаруженного в 1951 г., дает все основания признать его за копию (1829—1861 гг.), сделанную рукою А. Н. Бахметева со

³⁰ Так писал Пушкин 19 августа 1828 г. в показании петербургскому генерал-губернатору гр. П. В. Голевищеву-Кутузову и в черновике к этому показанию, составившемуся дома (Рукоя Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935, с. 750).

³¹ Рассказы о Пушкине, с. 42.

³² См.: Баргнев П. И. Пушкин в южной России. М., 1914, с. 125.

³³ Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974, с. 103.

второй половины письма Пушкина Николаю I от 2 октября 1828 г. Поскольку подлинное письмо не сохранилось, копия эта является первоисточником неизвестного до сих пор текста письма Пушкина, которое отныне должно быть введено в собрание его писем.

Послесловие

Пока подготавливалась к печати данная работа, вышла статья М. И. Яшина, отстаивающая прямо противоположные выводы, нежели статья В. П. Гурьянова (Яшин и М. И. Поэт и царь (1820—1829). — Нева, 1972, № 8, с. 184—189; впервые, более кратко см.: Яшин и М. И. Ответ царю. — Пушкинский праздник. Специальный выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России», 1972, 31 мая—7 июня, с. 16).

Не имея возможности в кратком послесловии подробно проанализировать всю концепцию М. И. Яшина о «поэте и царе», рассмотрим только вопрос о «письме к царю».

Яшин полагает, что открытый в 1951 г. документ является подлогом, совершенным А. Н. Бахметевым. В подтверждение этого он приводит следующие доводы.

1. Утверждение Ю. Н. Бартенева (со слов А. Н. Голицына) о «признании» Пушкина в авторстве неавторитетно: «Письма Пушкина к Николаю никто из членов Комиссии не читал. У нас нет сведений, чтобы о нем царь где-нибудь обмолвился» (Нева, 1972, № 8, с. 185).

2. В письме «слишком очевидно несоответствие пушкинскому стилю» (с. 186).

3. Согласно замечанию эксперта-криминалиста В. В. Томиллина, «почерк письма не является обычным бахметевским, а написан Бахметевым с явным подражанием пушкинскому. Об этом говорят признаки замедленного письма, остановки, изломы, прерывистость в штрихах, поправки в отдельных буквах и подражание в подписи роччерку Пушкина» (с. 186). Сходство почерков М. И. Яшин объясняет тем, что А. Н. Бахметев не копировал, а фабриковал «пушкинское письмо».

4. Фабрикуя письмо, Бахметев воспользовался для маскировки пушкинской лексикой (например, оборот «произведение столь жалкое и постыдное...»), заимствовав ее из показаний поэта по делу о «Гавриилиаде».

5. «Скорее всего фабрикация письма была вызвана необходимостью кого-то убедить, что Пушкин является автором „Гавриилиады“» (с. 186).

По мнению М. И. Яшина, поэт на самом деле не признавался в своем авторстве, а приписал его (как и собирался раньше) поэту Дмитрию Петровичу Горчакову, умершему еще в 1824 г. Это вызвало гнев Бахметева, родственника генерала М. Д. Горчакова, сына поэта Д. П. Горчакова. Защищая родню от «клеветы», Бахметев «подделал» письмо, где Пушкин будто бы признается царю в авторстве «Гавриилиады»: «А. Н. Бахметев в это время готовился стать зятем П. А. Толстого; вполне возможно, что он был введен (как шурин М. Д. Горчакова) в курс дела» (с. 189).

6. М. И. Яшин предлагает свою расшифровку упоминавшейся записи Пушкина около последних стихов первой песни «Полтавы»:

«2 окт.

Письмо к царю
le cadavre — Dorsiska
вечер у кн. Dolg.»

«Le cadavre» (труп, мертвец), как считает Яшин, — это умерший Д. П. Горчаков, на которого поэт 2 октября 1828 г. свалил вину за «Гавриилиаду» в письме к царю; под впечатлением этой ситуации поэт будто бы пишет (в конце сентября 1828 г.) балладу «Утопленник».

Приведенные доводы М. И. Яшина не кажутся нам убедительными. Основные аргументы, опровергающие рассмотренную концепцию, содержатся, на наш взгляд, уже в работе В. П. Гурьянова. Поэтому, не повторяя сказанного в статье, кратко разберем гипотезу Яшина.

Мысль о том, что царь не показывал членам Комиссии пушкинского письма, противоречит рассуждениям Яшина, высказанным буквально на следующей странице: если царь не показывал, то как же П. А. Толстой не только узнал текст пушкинского письма, но еще и ввел в курс дела А. Н. Бахметева, а ведь на последнем сообщении держится вся гипотеза, опубликованная в «Неве».

Рассуждение о том, будто в письме «очевидное несоответствие пушкинскому стилю», детально опровергнуто в работе В. П. Гурьянова.

Что касается сходства почерков Бахметева и Пушкина, то оно, во-первых, не столь велико, чтобы исчезли сразу бросающиеся в глаза особенности бахметевской «руки», а во-вторых, — и это главное — при тщательном копировании документа довольно естественно стремление копииста (иногда сознательное, иногда бессознательное) «рисовать», воспроизвести, приблизиться к почерку оригинала.

Сходство выражений в «письме к царю» и в письменных показаниях поэта для Комиссии проще всего объясняются устойчивой лексикой Пушкина, может быть со-

знательным повторением одних и тех же выработанных формул. М. И. Яшин предлагает куда более громоздкое объяснение: Бахметев, допущенный к секретнейшим бумагам Комиссии, «монтирует» из пушкинских показаний фиктивное псевдопушкинское письмо!

Чрезвычайно сложной, неправдоподобной представляется и гипотеза о стремлении Бахметева отомстить за отца своего родственника, для чего и создается фальшивка, которая не размножается в списках (что было бы естественным при желании скомпрометировать поэта), но остается «вещью в себе» до ... 1951 г. Единственным лицом, которое, как допускает Яшин, было обмануто подлогом, оказывается один из влиятельнейших сановников империи А. Н. Голицын, который не ведает того, что известно его коллеге П. А. Толстому и зятю коллеги А. Н. Бахметеву.

Что касается трактовки записи «труп — Горчаков», то ее фантастичность, натянутость едва ли не очевидны. В записи Пушкина, как легко заметить, соединены разнообразные сюжеты. Почему «труп» должен быть обязательно трупом Д. П. Горчакова (тем более что об умершем несколько лет назад куда более уместным было бы другое выражение, например *le défunt*); почему это не могло быть записью увиденного в тот день, или какого-то известия с войны, или следом творческого замысла?

Как нам кажется, в статье М. И. Яшина явно нарушена логика научного исследования, против чего неоднократно предостерегали выдающиеся ученые разных специальностей; без разбора более простых, естественных гипотез, схем, решений предлагается сложное, громоздкое, неестественное построение.

При таком изучении путем определенного подбора фактов можно доказать абсолютно все. Между тем научная логика разрешает переходить к более сложным объяснениям только после того, как выявилась ложность или недостаточность простых построений.

На наш взгляд, анализ В. П. Гурьянова, дающий простое, логичное, естественное объяснение всей истории с «письмом к царю», сохраняет полную научную состоятельность.

Т. Г. Цявловская, Н. Я. Эйдельман.



Ю. П. ФЕСЕНКО

ЭПИГРАММА НА КАРАМЗИНА

(ОПЫТ АТРИБУЦИИ)

В данной работе речь пойдет об эпиграмме:

«Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород, про время золотое
И наконец про Грозного царя...»
— И, бабушка, затеяла пустое!
Доковчи нам «Илью-богатыря».¹

Эпиграмма эта, впервые опубликованная П. В. Анненковым в 1857 г.,² традиционно входит в основной корпус сочинений Пушкина. Однако авторство Пушкина было поставлено под сомнение Б. В. Томашевским,³ который аргументированно отвел известные свидетельства современников поэта на этот счет. Это позволяет вновь вернуться к вопросу об авторстве Грибоедова.

Под именем Грибоедова стихотворение было опубликовано в «Русской старине» в 1872 г.,⁴ но уже в следующем томе журнала подтверждалось авторство Пушкина.⁵ Причиной подобного пересмотра явилось анненковское издание, авторитет которого был чрезвычайно велик. Вероятно, под влиянием этого издания Е. П. Ростопчина перечеркнула в своем рукописном сборнике фамилию Грибоедова и сверху написала фамилию Пушкина.⁶ Исправление было сделано перед ее смертью (1858), так как еще в 1857 г. с ростопчинского сборника была снята тщательная копия С. Д. Полторацким, где указанной поправки нет.⁷ Как анонимная, эпиграмма записана в так называемой «тетради Щербакова».⁸ Фамилия Пушкина появляется под данным стихотворением только в многочисленных позднейших списках середины—конца XIX в.,⁹ которые, конечно же, не могут служить весомым аргументом для атрибуции эпиграммы — прежде всего из-за характерной тенденции приписывать Пушкину тексты, автор которых остался неизвестным.

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. I. М., 1956, с. 243.

² Соч. А. С. Пушкина, т. 7. СПб., 1857, с. 99—100.

³ Томашевский Б. В. Эпиграммы на Карамзина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, с. 208—215.

⁴ Русская старина, 1872, т. 5, с. 766.

⁵ Там же, т. 6, с. 296.

⁶ ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 114.

⁷ Там же, № 101. Сборник Ростопчиной состоит из двух тетрадей; копия Полторацкого снята с той, где помещена эпиграмма.

⁸ ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 47. По этому источнику эпиграмма напечатана в большом академическом собрании сочинений Пушкина.

⁹ См., например: ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 4, 8, 34, 60, 63, 92, 100, 104; оп. 4, № 204.

Убедительной представляется только общепринятая дата написания эпиграммы: 1816 год. По справедливому замечанию М. А. Цявловского,¹⁰ поводом для ее создания послужило следующее объявление в «Сыне отечества» о предстоящем выходе «Истории» Карамзина: «Он (Карамзин, — Ю. Ф.) *кончил* и совершенно изготовил к напечатанию 8 томов. В них заключается история России от древнейших времен до *кончины* царицы Анастасии Романовны, супруги Иоанна Васильевича Грозного, т. е. до 1560 года. Ныне занимается он девятым томом и надеется *кончить* до издания в свет первых восьми».¹¹ Именно эта комическая тавтология до издания «кончил—кончины—кончить» нашла отражение в слове «наконец» из четвертой строки эпиграммы и в слове «докончи» из шестой строки. Соответствует тексту эпиграммы и другая особенность объявления: на 10 предложений здесь приходится 8 союзов «и». Вторая и четвертая строки эпиграммы намеренно создают инерцию союза «и». Пятая строка и поддерживает и разрушает созданную инерцию: «и» в пятой строке наполняется эмоциональным содержанием, превращается в междометие, звучит ироническим комментарием к первым четырем строкам.

Перед нами явное использование «чужой цитаты» в виде аналитического вычленения формальных элементов пародируемого текста.

Пушкин-лицеист «чужие цитаты» употребляет чаще всего в дружеских посланиях. Обычно это неизменные строки из других стихотворений. Например, в стихотворении «К сестре» (1814) употреблена цитата из послания Жуковского «К Батюшкову»: «В подарок пук стихов»; в стихотворении «Городок» (1815) — цитата из «Певца в стане русских воинов» Жуковского: «Хвала вам, чады славы»; в стихотворении «К Пушкину» (1815) — цитата из «Моиx пенатов» Батюшкова: «Вот кубок, наливай». Жанр оказывал влияние на использование цитаты. Она не столько расширяла контекст произведения, сколько выполняла функцию подтверждения, сравнения, иногда скрытого; прямого переосмысления «чужой цитаты» здесь не наблюдается.

Однако в разбираемой эпиграмме перед нами не просто переосмысленные объявления, а цепь явно выраженных очагов семантической двойственности, бесконечно углубляющих смысл миниатюры. Полезно проследить эту цепь.

Слова «начну», «наконец» подчеркивают временную последовательность обещаемого рассказа. Слово «докончи» (с двойным значением: «заверши», «добей»), отнесенное к «Илье-богатырю», снимает кавычки с названия произведения,¹² в эпиграмму входит сам фольклорный персонаж, с которым Карамзин, по общему мнению, «не совладал» в своей «богатырской сказке», оборванной на первой «песни». Столь же иронично переосмыслены в эпиграмме намеки на произведения Карамзина.

Первая строка представляет собой переделанную цитату из «Острова Борнгольма»: «Слушайте — я повествую — повествую истину, а не выдумку» (ср. предварительное замечание рассказчика повести: «Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и повести, и всякие были»)¹³.

Следующие три строки говорят о различных этапах деятельности Карамзина. «Про Игоря и про его жену» — намек на работу над «Словом о полку Игореве».¹⁴ «Про Новгород, про время золотое» — намек на «Марфу-посадницу» и выраженные здесь представления об идеальном

¹⁰ Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, с. 733—734.

¹¹ Сын отечества, 1816, № 12, с. 239 (курсив в цитате мой, — Ю. Ф.).

¹² Имеется в виду современная орфография. В начале XIX века названия произведений чрезвычайно редко брались в кавычки.

¹³ Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х т., т. I. М.—Л., 1964, с. 661.

¹⁴ См. об этом: Дмитриев Л. А. Н. М. Карамзин и «Слово о полку Игореве». — Труды Отдела древнерусской литературы, т. XVIII. М.—Л., 1962, с. 37—40.

обществе.¹⁵ «И наконец про Грозного царя» — намек на «итог» исторических трудов Карамзина (как об этом было сказано в «Сыне отечества»). Конечно же, деятельность Ивана Грозного — нечто противоположное новгородской вольнице и времени Игрия Святославовича; да и имя собственное — Грозный, стоящее перед словом «царь», может восприниматься как простое определение. В результате этой семантической двойственности, венчающей ряд «занижений», получается, что автор высказывания не совсем понимает то, о чем говорит. Он будто бы невольно «проговаривается» о том, что монархическое правление в России означало прекращение «времени золотого»; в этом нельзя не увидеть своеобразного спора с концепцией Карамзина-историка.

В каком же отношении к отмеченным особенностям находится творчество Грибоедова? Уже в самом раннем из дошедших до нас грибоедовских стихотворений — «От Аполлона» (1815) — встречается превращение названия комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды» в воду лечебную. То же снятие кавычек с названия произведения наблюдается в «Лубочном театре» (1817), где упоминаются комедия М. Н. Загоскина «Проказник» и поэма В. Л. Пушкина «Опасный сосед»; стихотворение насыщено разнообразными переосмыслениями (например: «Рогатый, перогатый и всякий скот», «махнул рукою — махнул пером» и т. п.).

Стихотворение «Послушайте, я сказку вам начну» имеет и убедительный, на наш взгляд, аналог в творчестве Грибоедова. Речь идет об эпиграмме 1824 г.:

И сочиняют — врут, и переводят — врут!
Зачем же врете вы, о дети? Детям прут!
Шалите рифмами, навизывайте стопы,
Уж так и быть, — но вы ругаться удалцы!
Студенческая кровь, казенные бойцы!
Холопы «Вестника Европы»!¹⁶

Глагол «врут», будучи соединен с глаголами «сочиняют» и «переводят», придает этим словам особый смысл: соответственно «выдумывают» и «портят». Последовательные названия «удальцы», «бойцы», «холопы» напоминают нагнетание повторяющихся грамматических форм в эпиграмме «Послушайте» (2—4-я строки), занижающих объект изображения. В последней строке обеих шестистрочных эпиграмм снимаются кавычки: с названия произведения («Илья Муромец») и с названия журнала («Вестник Европы»).

Обе эпиграммы диалогичны по своему строению. Диалогичность (шире: обилие риторических фигур) вообще характерна для Грибоедова. Обещание, даваемое в первых четырех строках эпиграммы «Послушайте», проясняется в последних двух строках. Оказывается, с нами разговаривает бабушка. Налицо вопрос—ответ. Точно так же ответом на вопрос: «Зачем же врете, вы, о дети?» — являются последующие строки. Вопрос—ответ в обоих случаях выражен композиционными средствами — точнее, за счет соотношения частей произведения, которое выявляет их причинно-следственную связь.

Уместно вспомнить, что в 1817 г. Грибоедов совместно с П. А. Катениным создал комедию «Студент». Здесь есть выпады и против «Ильи Муромца», и против «Острова Борнгольма». Первые четыре строки эпиграммы «Послушайте» похожи на рассуждения главного персонажа, Евлампия Аристарховича Беневольского, речь которого буквально состоит из «чужих цитат». При этом Беневольский цитирует маститых авторов не к месту, что является постоянным источником смысловых двусмысленно-

¹⁵ См. об этом: Митюк Л. В. Проблемы идеального общества и государства в журнале Н. М. Карамзина «Вестник Европы» (1802—1803). — В кн.: Статьи по филологии, вып. III. Душанбе, 1972, с. 4—8.

¹⁶ Грибоедов А. С. Соч. М.—Л., 1959, с. 333.

стей. Вот как, например, герой по ошибке объясняется в любви жене своего предполагаемого благодетеля:

Звездова. Что вы говорите? опомнитесь.

Беневольский. Сердце имеет свою память. Вы заметили тот восторг, который не в силах был я удержать при первой нашей встрече? — в нем слышали вы голос питтической совести.¹⁷

Цитата из Батюшкова: «О память сердца, ты сильнее Рассудка памяти печальной» — предельно занижена ситуацией и предыдущим словом «опомнитесь», имеющим совершенно иной смысл. Получается, что память не позволяет опомниться. Количество приводимых «цитат» можно было бы умножить, однако и так очевиден характер их переосмысления в диалогах пьесы «Студент».

«Чужие цитаты» в комедии представляют собой наиболее распространенные штампы сентиментально-элегического стиля, т. е. речь приходится вести о вычленении формальных элементов целого литературного направления.

Эпиграмма «Послушайте» очень близка пословицам типа: «Начать — не то, что кончить»; «Начать-то так, да кончить-то как».¹⁸ Афористичность придает эпиграмме удивительную цельность. И эта черта чрезвычайно характерна для грибоедовского стиля.

Все вышесказанное позволяет, по нашему мнению, предположить грибоедовское авторство эпиграммы «Послушайте: я сказку вам начну».

¹⁷ Там же, с. 171.

¹⁸ Д а л ь В. Толковый словарь, т. 2. М., 1935, с. 152.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август (Кай Юлий Цезарь Октавиан) 25, 73, 79, 91
 Аврелий Виктор 22, 23, 25, 26, 47
 Адлерберг В. Ф. 250
 Азадовский М. К. (псевд. — М. Константинов) 151, 193, 194
 Азаревичева М. А. 179
 Айвазовский И. К. 267
 Аксаковы 218
 Ал. Пр. см. Приклонский Алексей
 Аладьян Е. В. 166
 Александр I 152, 169, 173, 180, 181, 184, 185, 192, 195, 196, 218, 227, 245, 246, 249, 253, 270, 290
 Александр Николаевич, вел. кн. 221—224, 229—235, 237—246, 253, 266, 273, 275
 Александра Николаевна, вел. княжна 232, 237, 238, 240, 242—244, 253, 271
 Александра Федоровна, императрица 188, 223, 224, 226—228, 230, 232—234, 237, 239, 244, 245, 266—269, 272
 Александров В. Б. 58
 Алексеев М. П. 2, 3, 22, 62, 115, 137—146
 Алибер Ж.-Л. 212
 Альтман М. С. 128
 Алябьев А. Н. 175, 194
 Амфитеатров С. 72
 Анакреонт (Анакреон) 24, 25, 48
 Анастасевич В. Г. 190
 д'Андре 270, 273
 Андро Ф. А. 271
 Анна Павловна, вел. княгиня 245
 Анненков П. В. 44, 48, 97, 98, 102
 Ансильон И.-Ф. 232—234, 239—242, 245
 Антон, слуга П. Д. Дурново 260, 264
 Антоний Марк 22
 Анчапов 186
 Апрель (Apréleff) А. Ф. 255, 260, 265
 Араччев А. А. 152, 159, 161, 162, 176—178, 180, 182, 193, 194
 Ариэль-Залеская Г. Г. 111
 Арно А.-В. 110
 Арсеньев К. И. 230, 232, 234, 244
 Архипова А. В. 4
 Асенкова (Assenkoff) В. Н. 258, 259, 263, 274
 Ауэрбах (Auerbach) Б. 3, 276—278
 Афанасьев А. П. 194
 Ахматова А. А. 26, 27, 116, 132
 Базанов В. Г. 153, 190, 191, 196
 Байрон Д.-Н.-Г. 7, 22, 23, 81, 84, 107, 111, 116, 118
 Балеман 169
 Бальзак О., де 25
 Бантыш-Каменский В. Н. 165, 193
 Барант А.-Г. П. Б., де 53, 252, 257, 258, 262, 270, 272, 273
 Барант (Barante) Э., де 258, 262, 270—273
 Баратынский Е. А. 12, 24, 152, 171, 185, 190
 Барье А.-О. 88
 Барков И. С. 81, 189
 Бартенов П. И. 288, 290
 Бартенов Ю. Н. 246, 288, 291
 Баргинский И. 189, 194
 Барятинский В. И. 237, 247
 Батеньков Г. С. 165
 Баттё Ш. 72
 Батюшков К. Н. 74—76, 84, 85
 Батюшков Ф. Д. 109, 116
 Бах И.-С. 27, 30—32, 41, 49
 Бах И.-Х. 30
 Бахерахт (Baharat) Т., фон 258, 262, 271
 Бахметев А. Н., гофмейстер двора 4, 286—292
 Бахметев А. Н., генерал-от-инфантерии 286, 287
 Бахметевы 285—288
 Бахтин Н. И. 158, 191, 192
 Бек М. И. 274
 Бек Х. А. 242, 247
 Белецкий А. И. 70, 87
 Белинский В. Г. 13, 48, 51, 73, 87—89, 97, 136
 Белкин Р. 286
 Беллини В. 270
 Белосельская-Белозерская А. Г. 266, 268
 Белосельские-Белозерские 267, 273
 Белосельский-Белозерский Э. А. 267
 Белькинд В. С. 127
 Белявский М. Т. 113
 Бенкендорф А. Х. 153, 199, 203, 204, 212, 215, 217, 241, 250, 252, 267, 268, 270, 272, 289
 Бенкендорф Е. А. 269
 Бентам И. 212
 Беранже П.-Ж., де 252
 Берлиоз Г.-Л. 253
 Бестужев-Марлинский (Bestougeff) А. А. 35, 43, 64, 81, 82, 152, 157, 160, 165, 168, 170—172, 176, 178, 181—183, 191, 193, 194, 251, 257, 262, 269, 270
 Бестужев М. А. 153, 193
 Бестужев Н. А. (псевд. — Коростылев) 161, 181—183, 187
 Бестужев П. А. 194
 Бестужевы 151, 153, 158, 193, 194
 Бетховен Л., ван 27—29, 39, 41
 Бехтеев А. А. 266

- Бибииков А. И. 57, 58
 Бибиикова В. П. 274
 Бируков А. С. 155, 157, 158, 160, 165—169, 171, 172, 175, 178—180, 187, 190, 197
 Бисмарк О.-Э.-Л., фон Шёнхаузен 277
 Бистром К. И. 182
 Благовещенский Н. М. 86
 Благой Д. Д. 2
 Блок А. А. 82, 99, 103
 Блок Г. П. 51, 54
 Блудов (Bloudoff) Д. Н. 216, 228, 239, 250, 257, 261, 269
 Блюменфельд В. М. 51, 59
 Бобринская А. В. 250
 Бобринская С. А. 244, 247, 265, 268, 272
 Бобринские 252, 268
 Бобринский (Bobrinski) В. А. 259, 264, 274
 Бове Ж., архиепископ Сенесский 145
 Богданов-Березовский В. М. 270
 Богомолец В. К. 136
 Богуславский А. И. 83
 Болдырев А. В. 267
 Бонди С. М. 25, 26, 45, 107
 Боричевский И. А. 221
 Боровков А. Д. 165
 Борро Д. 141
 Борстель 236, 237, 244
 Бочаров С. Г. 66, 128
 Боцяновский В. Ф. 128
 Брайловский С. Н. 103
 Бродский Н. Л. 18, 107, 111, 114, 120, 121, 126
 Броневский В. Б. 189
 Броневский С. М. 161
 Бросс Ш., де 85
 Бруммер Э. В., см. Брюммер Э. В.
 Брут Марк Юний 78, 79
 Брюллов (Bruloff) 253, 255, 260, 265
 Брюммер (Бруммер) Э. В. 243
 Брюсов В. Я. 46—48, 138
 Буало-Депрео Н. 70, 85, 111
 Будберг 237
 Булгаков А. Я. 249, 285
 Булгаков К. Я. 249, 285
 Булгарин Ф. В. 76, 153, 154, 158, 160—175, 178, 179, 182, 183, 185, 188, 191—194
 Булгарина Е. И. 178
 Булич Н. Н. 136
 Буонаротти М.-А. 41, 49
 Бурбье (Bourgier) В. 256, 258, 261, 263, 267, 273
 Бурсо Э. 192
 Бутакова В. И. 118
 Бутенев А. П. 237, 242, 247
 Буш (Busch) У. 75, 79
 Бычков И. А. 220
 Бюрг У.-Д., де, маркиз де Кларикард 258, 262, 271

 В. Р. (Василий Рубан?) 108
 Вагенродер В.-Г. 27, 41, 49
 Вавслов Вл. 79
 Варранд С. А. 239
 Варнеке Б. В. 79, 128
 Васильчиков И. В. 203, 214
 Ваттемар А. 240, 247
 Вацуро В. Э. 48, 62, 195
 Вашингтон Ирвинг, см. Ирвинг В.
 Вебер Я.-Г. 41
 Вейдемейер Т. С. 222, 239, 247
 Веймарн П. Ф. 272

 Вейс Ф.-Р. 148
 Велizarий 111—114, 134
 Великопольский И. Е. 75
 Венгеро С. А. 9, 62, 98
 Веневитинов А. В. 267
 Веневитинов А. Н. 273
 Веневитинов Д. В. 267
 Веневитинова (Venevitinoff) А. Н. (урожд. Оболенская) 256, 266, 267, 273
 Веневитиновы 255, 266
 Вергилий 107, 118
 Вердек 236, 237
 Верстовский А. Н. 268
 Верстолк ван-Зелен, барон 269
 Веселовский А. Н. 137, 220
 Вессель Е. Х. 240, 241, 243, 247
 Ветринский И. Я. 202, 203
 Взметнев П. А. 159
 Виардо-Гарсиа М.-П. 253
 Виельгорская (Véleorsky) С. М. 258, 263, 273
 Виельгорский И. М. 245
 Виельгорский М. Ю. 222, 231—233, 239, 240, 245, 266, 273
 Виллие Я. В. 165
 Вильгельм, принц Оранский, впоследствии Вильгельм II 233, 245, 247, 269
 Вильгельм, принц Оранский, впоследствии Вильгельм III 237, 247
 Вильмен А.-Ф. 87, 242
 Вильсон Д.-П. 140, 141
 Винберг А. И. 286
 Винкельман И.-И. 148
 Виноградов В. В. 15, 66—68, 107, 118, 135, 142
 Винокур Г. О. 7
 Виргилий, см. Вергилий
 Витт И. О. 265
 Власова М. А. 273
 Воейков А. Ф. 155, 156, 160, 161, 168, 169, 190, 271
 Волков И. Ф. 63
 Волконская А. Н. (урожд. Репнина) 251
 Волконская А. П., см. Дурново А. П.
 Волконская Е. А. (урожд. Мельгунова) 257, 258, 261, 262, 268, 269, 271
 Волконская Е. Г. 251
 Волконская (Volkonsky) Э. А. (урожд. Белосельская) 251, 252, 256, 258, 261—263, 266, 267, 273
 Волконская С. Г. 248, 251, 259, 264, 266, 267, 270, 272—274
 Волконские 266
 Волконский А. Н. 256, 261, 266, 267, 273
 Волконский Г. С. 270
 Волконский Д. П. 266, 268
 Волконский Н. Г. 251, 256, 258, 261, 263, 266, 273
 Волконский П. М. 231, 237, 245, 246, 248, 250—252, 257, 262, 266, 267, 268, 270, 272, 273
 Волконский С. Г. 251, 266
 Волконский С. М. 251
 Вольперт Л. И. 108, 115, 124
 Вольтер Ф.-М. 24, 56, 76, 84, 85, 110, 112, 113, 177, 179, 192, 194, 199, 203
 Воробьев М. Н. 266
 Воронцов 237
 Воронцов М. С. 35, 289
 Воронцов-Дашков И. И. 269
 Воронцовы-Дашковы (Voronzoff) 252, 257, 262
 Востокова Н. Б. 268

- Вронченко (Vronchenko) Ф. П. 258, 262
 Вульф 110
 Вурм, актер 179
 Вюртембергский Александр, герцог 270
 Вяземская В. Ф. 259, 263
 Вяземские 114
 Вяземский (Viasemski) П. А. 17, 74—76, 86, 96, 105, 113, 114, 120, 125, 176, 191, 193, 196, 198, 220, 222, 224—226, 239, 247, 249, 252, 259, 263, 267, 271, 273, 275
- Гагарин Г. Г. 265
 Гаевский П. И. 216
 Галахов А. Д. 271
 Галахова С. П. 274
 Галич А. И. 74
 Ганин Е. Ф. 161
 Гаспаров М. Л. 79
 Геверс, барон 269
 Гегель Г.-Ф.-В. 40, 71
 Геерен А.-Г.-Л. 234, 238, 239, 245
 Геккерн (Heeckeren de Beverward), барон Л.-Б. 255—257, 260—262, 265, 268, 269
 Гельвеций Ж.-К.-А. 199
 Гельдшмит, см. Голдсмит О.
 Георгиевский П. Е. 72, 73
 Гераклит Эфесский 150
 Гердер И.-Г. 148
 Герен, см. Геерен А.-Г.-Л.
 Герцен (Hertz) А. И. (псевд. — Искандер) 62, 260, 264, 275
 Герштейн Э. Г. 265, 268, 270—273
 Гете (Goethe) И.-В. 138, 277
 Гетц П. П. 246
 Гизо Ф.-П.-Г. 52, 272
 Гиллельсон М. И. 4, 223, 224, 244
 Гинзбург Л. Я. 48, 49
 Гиппиус В. В. 127—129, 134, 136
 Глаголев А. Г. 48
 Глинка Г. А. 147—150
 Глинка (Glinka) М. И. 38, 248, 253, 256, 257, 261, 262, 267, 268, 270,
 Глинка М. П. 257, 262
 Глинка С. Н. 112, 170
 Глинка Ф. Н. 152, 157, 158, 190, 281
 Глинка Ю. К. 147
 Глюк И.-Х.-В. 140
 Гнедич Н. И. 96, 147, 156, 161, 178
 Гоголь М. И. 266
 Гоголь Н. В. 26, 32—34, 38, 49, 62, 65, 69, 89, 220, 248, 252, 253, 255, 259, 261, 263, 266, 273, 274
 Голдсмит (Гельдшмит) О. 110
 Голенищев-Кутузов П. В. 289, 290
 Голицын А. М. 260
 Голицын А. Н. 152, 210, 225, 229, 230, 234, 235, 244—246, 284, 288, 291, 292
 Голицын В. П. 269
 Голицын Д. В. 267
 Голицын (Galitzine) Ю. Н. 260, 264, 275
 Голицына (Galitzine) Е. П. 251
 Голицына Н. П. 214
 Голицына С. П. 260
 Головачев А. А. 287
 Головщиков К. Д. 270
 Голубов В. В. 248, 287
 Гольбах П.-А. 199
 Гольдони К. 180
 Гомер 147
 Гонзага Т.-А. 141
 Гончаров С. Н. 222
- Гончарова (Gantcheroff) Е. Н. 256, 257, 261, 262, 268, 269
 Гораций 24, 25, 48, 70—82, 84, 85, 88, 89, 94, 143
 Городецкий Б. П. 195
 Горчаков А. М. 250
 Горчаков В. П. 290
 Горчаков Д. П. 291, 292
 Горчаков М. Д. 291, 292
 Гофман М. Л. 48, 220—223, 229, 230
 Гофман Э.-Т.-А. 28, 29, 62, 63
 Грабегорский (Горский) О.-Ю. В. 181
 Гребен К.-И. 236, 242, 243, 246
 Греч Е. И. 182
 Греч Н. И. 38, 72, 153—156, 159—161, 163—172, 174, 175, 178, 182, 185, 190, 191, 193, 215
 Грибовой 192
 Грибоедов (Griboedoff) А. С. 110, 165—167, 193, 249, 250, 253, 255
 Григорий (Г. П. Постников), митрополит 179
 Григорий Кириллович 163
 Громов, купец 174
 Гроссман Л. П. 98, 99, 102, 103, 107
 Грот Я. К. 148
 Грузинская А. П. 256, 261, 268
 Грушкин А. И. 57
 Гукковский Г. А. 8, 12, 13, 15, 16, 19, 62, 109
 Гумбольдт В., фон 212
 Гурьев Д. А. 159, 191
 Гурьянов В. П. 4
 Гуфеланд Х.-В. 212
 Гюго В. 87, 252, 276, 278
- Давыдов В. Л. 75
 Давыдов Д. А. 224
 Давыдов Д. В. 74, 171, 193
 Давыдов И. И. 72, 73
 Данжо Ф. де Курсильон 224
 Даназо (Danzas) К. К. 257, 262
 Данилевский Р. Ю. 63
 Данилов В. В. 195.
 Данте Алигьери 138, 146
 Дантес (Dantès) Ж.-К. 255—257, 260—262, 265, 268—270
 Даргомыжская Л. С. 177
 Даргомыжская М. Б. 177, 194
 Даргомыжский А. С. 177, 194
 Даргомыжский С. Н. 177, 194
 Даргомыжский Э. С. 177
 Дашков Д. В. 204—207, 212, 215, 216, 239
 Дашкова Е. Н. 229
 Двигубский И. А. 216
 Деборд-Вальмор М. 118
 Дезин, фон 173, 174, 193
 Дезин М. П., фон, адмирал 173
 Дельвиг А. А. 75, 143, 148, 151, 152, 154, 156—158, 166, 167, 170, 174, 178, 190, 191, 193—195, 283
 Дельвиг А. И. 64
 Дельвиг С. М. 178
 Демидов А. А. 270
 Демидов А. Н. (псевд. — Nil-Tag) 248, 273
 Демидов А. П. 270
 Демидов Д. П. 270
 Демидов Н. И. 264
 Демидов Павел Г. 270
 Демидов Павел Н. 248
 Демидов Петр Г. 270
 Демидова Е. А. 270

- Демидова Е. Д. 270
 Демидова (Démidoff) М. Д. (урожд. Мельникова) 257, 262, 270
 Демидова М. Н. 248, 249
 Демидовы 270
 Демчицкий М. М. 203
 Денгоф 236
 Денуайе Ш.-Л. 256, 261, 267
 Державин Г. Р. 57, 58, 76, 82, 84, 143, 157—159, 172, 191, 201, 249
 Дибич И. И. 271
 Дивов П. Г. 246
 Дидро Д. 199, 229
 Дмитриев В. А. 68
 Дмитриев И. И. 57, 74, 86, 161, 176
 Дмитриев М. А. 176
 Дмитриев-Мамонов А. М. 229, 236, 246
 Доброхотов Б. В. 268
 Довр (Довре) Ф. Ф. 249
 Долгорукий (Dolgorouki) А. А. 257, 262, 269
 Долгорукий (Dolgorouki) Н. А. 257, 262, 269
 Долгорукий (Dolgorouki) Н. Н. 257, 262, 269
 Дорнахер (Dornacher) К. 277
 Достоевский Ф. М. 65, 66, 68, 128, 278
 Дубенская В. И. 222, 231, 232, 234, 236, 237, 240, 242—245
 Дурново А. П. (урожд. Волконская) 248—254, 257, 258, 260, 262—264, 266, 268—271, 273—275
 Дурново Д. Н. 248
 Дурново Н. Д. 249, 251, 254, 264, 270, 271
 Дурново П. Д. 248, 249—275
 Дурново П. П. 249, 254, 260, 264, 275
 Дурыйлин С. Н. 275
 Дюма (Dumas) А., отец 25, 252, 259, 264, 275
 Дюпре де Сент-Мор Э. (Dupré de St Maurice) 164, 192

 Евгений (Болховитинов Е. А.), митрополит 170
 Еврипид 93
 Егоркин А. И. 195
 Ежова Е. С. 161, 192
 Екатерина II 56, 57, 112, 157, 189, 222, 229—232, 235, 236, 244, 246—248
 Екатерина Михайловна, вел. княжна 250
 Елагина А. П. 223, 234, 245
 Елена Павловна, вел. княгиня 189, 243, 247, 256, 261, 267, 268
 Елизавета Алексеевна, императрица 167, 247
 Елизавета Баварская 236, 242, 246
 Елизавета Михайловна, вел. княжна 250
 Елизавета Петровна, императрица 246
 Енгальчев П. Н. 194
 Ермолов А. П. 187, 224

 Жаворонков А. З. 70, 87
 Жанен (Janin) Ж. Г. 26, 252, 258, 263, 273
 Жанлис М.-Ф. 110
 Жеран И. 256, 261, 267
 Жерве А. А. 274
 Жерве (Gervais) Н. А. 259, 263, 274
 Жилль Ф. А. 236, 237, 246
 Жирмунский В. М. 7, 62
 Жихарев М. И. 280
 Жуи В.-Ж.-Э. 158, 191

 Жуковский (Joukovski) В. А. 47, 64, 73, 76, 85, 89, 117, 125, 154, 155, 165, 189, 190, 193, 201, 219—247, 252, 259, 264, 274

 Заборов П. Р. 124
 Загоскин М. Н. 64
 Загряжская (Zagriatski) Н. К. (урожд. Разумовская) 250, 252, 257, 262, 268, 269
 Задека Мартын 107, 108, 110
 Заикин И. И. 189
 Заикин М. И. 188, 189
 Закревская А. Ф. 24
 Замков Н. К. 195
 Зарайский 164
 Зарубин И. Н. 54
 Захаржевский Г. А. 272
 Зелинский Ф. Ф. 91
 Зенгер Т. Г., см. Цявловская Т. Г.
 Зильберштейн И. С. 267
 Зильцер И.-Г. 72

 Иванов В. 286
 Иванов В. И. 9
 Иванов-Разумник (наст. фам. — Иванов) Р. В. 215
 Игнатов С. С. 63
 Иезуитова Р. В. 2, 4
 Измайлов А. А. 154
 Измайлов А. Е. 151—194
 Измайлов В. В. 203
 Измайлов М. А. 154, 181, 182
 Измайлов Н. В. 2, 3, 40, 51, 53, 62, 63, 69, 126
 Измайлов П. А. 154
 Измайлова Ал. А. 170, 193
 Измайлова Ан. А. 153, 170, 180, 193
 Измайлова Е. И. 168, 190, 193
 Илличевский А. Д. 157, 159, 187
 Инзов И. Н. 287
 Иоанн VI (Антонович) 231
 Иосиф II, австрийский император 247
 Ирвинг В. 140

 К. П. 223
 Кавелин А. А. 236, 237, 246
 Казанова Д.-Д., де Сейнгалт 229
 Казанович Е. П. 38, 39
 Казанский Б. В. 248
 Казначеев А. И. 289
 Кайданов Я. К. 165, 178
 Кайдановы 179
 Кампенон 118
 Канкрин Е. Ф. 159, 191
 Кант Э. 110
 Кантемир А. Д. 73, 85, 89
 Капнист В. В. 77, 154, 190
 Каразин В. Н. 156, 190
 Карамзин Ал. Н. 252, 265
 Карамзин Ал. Н. 265
 Карамзин Н. М. 52, 74, 75, 109, 110, 112—116, 118, 122, 126—128, 136, 158, 163, 164, 172, 191, 197, 198, 208, 209, 269
 Карамзины 112, 113, 126, 252, 266
 Каратыгин В. А. 253, 273, 274
 Каратыгин П. А. 274
 Каратыгина (Karatine) А. М., см. Колосова А. М.
 Карбоньер Л. Л. 206—208, 212—215
 Кармицкий Д. Н. 59, 60
 Карпов А. А. 3
 Кассий Кай 79

- Катенин П. А. 75, 110, 152, 157, 158, 164, 166, 168, 169, 180, 191
 Катулл Кай Валерий 25
 Каховский П. Г. 182, 194
 Каченовский М. Т. 190
 Кашин Н. П. 62
 Кашкин Н. С. 254
 Кейль Р.-Д. 143
 Керн А. П. 64, 252
 Керн Е. Е. 251
 Керн Е. Ф. 251
 Кеттерлиц 237, 238
 Кикин П. А. 173
 Кирилов Алексей, крестьянин 55
 Киселев П. Д. 222, 224, 233, 242, 245
 Клаурене Г. 157, 191
 Клейнмихель П. А. 250, 272
 Клеопатра, царица египетская 22—27, 47, 48
 Клопшток Ф.-Г. 148
 Княжевич В. М. 162
 Княжевич Д. М. 163, 166
 Княжевич И. М. 162, 163
 Княжевичи 157, 167
 Княжнин Б. Я. 172
 Кобеко Д. Ф. 148
 Кобенцель Л. 244, 247
 Кобылина Надежда 265
 Кожевников М. А. 54
 Козлов (Kozloff) И. И. 175, 180, 222, 239, 247, 252, 257, 262, 271
 Козловский П. Б. 85, 86
 Козодавлев О. П. 112
 Колбасин Д. Я. 275
 Коленкур А.-О.-Л. 270
 Колосова (Каратыгина) (Karatigine) А. М. 159, 179, 191, 253, 258, 263, 273, 274
 Комаровская С. В. 267
 Комаровский Е. Е. 266, 267
 Комовский В. Д. 72
 Комовский В. М. 216, 217
 Кондратьев А. А. 264, 265, 274
 Констан де Ребек Б. 116, 118, 132
 Константин Николаевич 244
 Константин Николаевич, вел. кн. 247
 Константин Павлович, вел. кн. 181, 182, 184, 194, 253
 Константинов Исаак 166, 178
 Константинов М. К. 151
 Корде д'Арман М.-А.-А.-Ш. 176
 Корнилович А. О. 152, 164, 181
 Корф М. А. 271
 Косминский Е. А. 52
 Костелло (Costello) Д. П. 79
 Кочубей В. П. 225, 226, 239, 284, 288
 Кочубей М. В. 225
 Кочубей 268
 Кошанский Н. Ф. 75
 Кошелев А. И. 34
 Красовский А. И. 157, 173, 189, 197, 203, 214
 Крейтон В. П. 231, 243, 245
 Крестова Л. В. 224
 Кривцов Н. И. 222, 225, 239, 247
 Кривцов С. И. 225
 Кроль (Krohl) А. И. 259, 264, 275
 Кругликов Г. П. 160, 165, 190
 Кржановская (Krganovski) М. А. (урожд. Перовская) 255, 260, 264
 Кржановский М. Н. 264
 Крылов А. А. 170
 Крылов (Kriloff) И. А. 57, 154—156, 158, 161, 163, 168, 170, 174, 184, 188, 190, 249, 252, 259, 263
 Крюденер В.-Ю. 108, 118
 Ксенофан Колофонский 80
 Ксенофонт 211
 Кудрявцев П. Н. 276
 Кукольник Н. В. 27, 49
 Куницын А. П. 172
 Купер Д.-Ф. 140
 Курбатов П. П. 112
 Кусовников, домовладелец 267
 Кутузов П. В. 183
 Кушелев-Безбородко (Koucheleff-Besbo-godko) Г. А. 259, 264, 275
 Кювье Ж. 212
 Кюхельбекер В. К. 74, 76, 111, 147—156, 160, 164, 172, 174, 175, 178—184, 190, 192—194
 Кюхельбекер Ю. Я. 149
 Лабзин А. Ф. 171
 Лавали 252, 271, 273
 Лаваль А. Г. 275
 Лаваль И. С. 251
 Лагарп Ж.-Ф. 72, 76, 111
 Лакло Шодерло П., де 108
 Ламберт Е. Е. 275
 Ламздорф А. Н. 274
 Ланге С.-Г. 72
 Лангеншварц М. 38
 Ланжерон 179, 194
 Ланской В. С. 203
 Ларош Г. А. 38
 Лафонтен Ж., де 184
 Левин Ю. Д. 276
 Левкович Я. Л. 4, 53, 80, 195, 221, 227, 228
 Лёвшин В. Я. 110
 Лейбниц Г.-В. 110
 Лежнев А. З. 133
 Лейбниц Г.-В. 110
 Лемке М. К. 195, 267
 Ленц В. Ф. 227
 Лермонтов (Lermantoff) М. Ю. 87, 88, 116, 248, 252, 255, 258, 259, 262, 263, 270—274
 Лернер Н. О. 77, 284, 287
 Лессинг Г.-Э. 72
 Летцельтерны 251
 Либерман А. 269
 Ливен К. А. 216—218
 Ливий Тит 197, 198
 Линь Ш.-Ж., де 244, 247
 Липман Ф. И. 234, 245
 Липранди И. П. 91
 Лирондель (Lirondelle) А. 264, 274
 Литке Ф. П. 237, 247
 Лихачев Д. С. 68
 Лобанов М. Е. 161, 192, 249, 251
 Лобанов-Ростовский А. Я. 237, 247
 Лобаржевская Ю. О. 187
 Лодий П. Д. 216
 Ломоносов М. В. 201, 209
 Лотман Ю. М. 8, 10, 249
 Луве де Кувре Ж.-Б. 108, 115
 Лузянина Л. Н. 52
 Львов А. Ф. 244, 247
 Львов (Lvoff) П. П. 258, 262, 271
 Львов П. Ю. 136
 Львов Ф. П. 157, 158, 191
 Лыкошин Я. М. 154, 190
 Любимов Н. И. 288

- Любович Н. А. 128
 Любомудров С. И. 98, 99
 Людовик XV 145
 Людовик XVI 145
 Людовик (Louis) XVIII 224, 229
 Ляцкий Е. А. 51, 53, 55, 58
- Магницкий М. Л. 152, 169, 173, 175, 177, 181, 182, 193, 196, 197, 200, 202
 Майков А. А. 175, 194
 Майков Л. Н. 98
 Майкова А. А. 98
 Макогоненко Г. П. 52, 71, 81, 119
 Малевин А. И. 86, 128
 Малиновский И. В. 283
 Манн Ю. В. 62, 63, 65, 69
 Мануйлов В. А. 272
 Манюэль Ж.-А. 111
 Маргарита Валуа (Наваррская) (Marguerite de Valois) 224, 229, 239
 Мамонов А. М., см. Дмитриев-Мамонов А. М.
 Мария Николаевна, вел. княжна 232, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 273
 Мария Федоровна, императрица 181, 190
 Маркович М. А. 275
 Мармонтель (Marmontel) Ж.-Ф. 3, 107—136
 Мартынов А. Е. 253
 Мартынов И. И. 164
 Мартынов (Martinoff) Н. С. 259, 263, 274
 Марченко (Marchenko) 260, 264, 275
 Маслов В. И. 236, 237, 240, 246
 Медведева И. Н. 151
 Межаков П. А. 170
 Мейлах Б. С. 20, 148
 Мельгунов А. П. 269
 Мельгунов Н. А. 64
 Мердер М. К. 246
 Мерзляков А. Ф. 72, 73, 110
 Мерсье Л. С. 110
 Местр Ж., де 145
 Меттерних-Виннебург К.-В.-Л. 253
 Мецнат Гай-Цельный 77, 79, 81, 88
 Микельанджело, см. Буонаротти М.-А.
 Миллер П. И. 228
 Милорадович М. А. 159, 163, 165, 181, 182, 194
 Миних Б.-Х. 236, 246
 Минкина Н. Ф. 176, 180, 194
 Мнше Ф.-А. 52
 Мивьковский Р. 286
 Мирабо О.-Г.-В.-Р. 111, 112, 145
 Михаил Павлович, вел. кн. 147, 183, 250, 256, 261, 268, 272, 273
 Михайлов М. Л. 276
 Мицкевич А. 38, 265, 267, 273
 Моден М. Г. 237, 246
 Моден С. Г. 237, 246
 Модзалевский Б. Л. 53, 103, 104, 227
 Модзалевский Л. Б. 111
 Молчанов Д. В. 251
 Молчанова Е. С. (урожд. Волконская) 251
 Мольер Ж.-Б. 111, 114, 179, 194
 Монтескье Ш.-Л. 112, 199, 122
 Моор, лорд, см. Мур
 Мордовченко Н. И. 194, 196
 Морозов П. О. 86, 98
 Моцарт В.-А. 140
 Мочалов П. С. 253
 Мур, лорд 239
 Муравьев А. Н. 234, 245
- Муравьев Н. Н. 207, 285
 Муравьева О. С. 3
 Мусина-Пушкина М. А. (урожд. Урусова) 250
 Муханов А. А. 125
 Муханов Н. А. 288
 Мушина И. Б. 3
 Метьюрин Ч.-Р. 146
 Мюссе А., де 75, 116
 Мясников Тимофей, пугачевец 54
 Мятлев (Miatleff) И. П. 252, 255, 258—260, 262, 263, 266, 271, 274
 Мятлева Мария (Прасковья) П. 260, 273
- Набоков (Nabokov) В. В. 107, 118
 Нагуевский Д. И. 86, 87
 Надеждин Н. И. 76, 77, 267
 Наполеон I Бонапарт 66, 67, 203
 Нарезный В. Т. 164, 192
 Нарышкин А. Л. 156
 Нарышкин (Narichkine) К. А. 257, 262, 270
 Настасья Федоровна, см. Минкина Н. Ф.
 Наталия Алексеевна, вел. княгиня 235
 Нащокин П. В. 225, 288, 290
 Нерон, римский император 24, 25
 Нессельроде Д. К. 272, 273
 Нессельроде (Nesselrode) К. В. 204, 252, 256, 258, 261, 262, 267—269, 272, 273
 Нессельроде М. Д. 272, 273
 Нестерович 163
 Неупокоева И. Г. 82
 Нефф Т. А. 231, 245
 Низар Ж.-М.-Н.-Д. 87
 Никитин А. А. 172
 Николай I 4, 147, 152, 172, 181—183, 185, 187—189, 195—201, 203—207, 214, 215, 217, 218, 223—230, 237, 239, 240, 242, 244, 245, 250, 253, 254, 257, 260, 261, 265—274, 284—291
 Николай II 288
 Нилин 192
 Новиков Н. И. 110, 112
 Новицкий П. И. 48
 Новосильцев В. Д. 176
 Новосильцев Н. Н. 169, 193, 194, 216
 Новосильцева Е. И. 225
 Норов А. С. 161, 290
 Нусинов И. М. 41, 42
- Оболенская М. Ю. 251
 Оболенский Е. П. 182, 251
 Оболенский К. П. 251
 Овидий Назон 9, 81, 84, 91, 92, 99
 Одовский А. И. 181, 281
 Одовский В. Ф. 27—34, 38—41, 49, 63, 64, 164, 169, 192—194, 198, 199, 215
 Озерова Н. Н. 288
 Окунева С. Н. 170
 Оленин (Olénine) А. Н. 185, 194, 216, 256, 261, 267
 Оленина А. А. 271
 Олин В. Н. 170, 193
 Олсуфьева (Olsoufieff) Е. П. 259, 263
 Ольга Николаевна, вел. княжна 232, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 253
 Онегин-Отто А. Ф. 220, 221
 Орлов А. С. 86
 Орлов А. Ф. 244, 247, 250
 Орлов В. 76, 80
 Орлов В. Н. 194
 Орлов М. Ф. 145

- Орлов-Давыдов (Davidoff) В. П. 255, 260, 265
 Орлов-Чесменский А. Г. 171, 235
 Орлова А. А. 268
 Орлова-Чесменская А. А. 152, 171, 174
 Орловы, бр. 246
 Осиповы-Бульф 100
 Остолопов Н. Ф. 73, 83, 169, 170, 175, 179, 194
 Павей В. 251
 Павел I 229—231, 235, 246
 Павлов (Pavloff) Н. М. 255, 260, 265
 Павлова 255, 260
 Павлова К. К. 276, 281
 Пален П. П. 272
 Пальмшиерна (Пальмстиерна) Н. Ф., де 258, 262, 271
 Панаев В. И. 155, 156, 167, 170, 172
 Панин П. И. 59, 61
 Панов Н. А. 182
 Парни Э.-Д. 139
 Паскевич (Paskevitch) И. Ф. 249, 266
 Паста Д. 253, 271
 Пастернак Б. Л. 78—80
 Паткуль А. В. 223, 231, 245
 Пейсар (Peysard), актер 256, 261, 267
 Пеллико (Pellico) С. 230—232, 238, 244, 245
 Перекусихина М. С. 246
 Перовский А. А. 264
 Перовский Л. А. 275
 Персий Флакк 71
 Пестель Б. И. 188
 Пестель В. И. 188
 Пестель И. Б. 188
 Пестель П. И. 188
 Петр I 230, 244, 247
 Петр III 55, 222, 229, 231, 235, 246, 269
 Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) М. В. 254
 Петровский Арбитр 24—26, 79, 83
 Петрунина Н. Н. 3, 195
 Пигарев К. В. 269
 Пиксанов Н. К. 12
 Пиндар 76, 88
 Пиранези (Piranesi) Д. 27, 28, 49
 Писарев Д. И. 88, 276
 Пич Л. 276
 Плаутин Н. Ф. 271, 272
 Плетнев П. А. 12, 36, 78, 167, 170, 171, 189, 230, 232, 244
 Плещеев А. А. 118
 Плутарх 22
 Плюскова Н. Я. 238, 247
 Погодин М. П. 64, 288, 289
 Погорельский (наст. фам. — Перовский) А. А. 63, 64
 Покровский М. М. 76
 Полевой Н. А. 31, 32, 34, 38, 49, 64, 168, 169, 186
 Полонская К. П. 70
 Полонский Я. П. 281
 Полторацкая (Poltoratski) С. Б. 256, 261, 268
 Полторацкий С. Д. 290
 Поль К. К., фон 197
 Полякова Е. 62, 64
 Помпей Вар 77, 78
 Повомарева С. Д. 151, 156, 165, 168, 184, 190, 193
 Потемкин (Potemkine) А. Я. 258, 262, 271
 Потемкин Я. А. 271
 Потемкин-Таврический Г. А. 246
 Потоцкий, граф 179
 Приклонский Алексей 108
 Прокофьев И. В. 165
 Протасова М. А. 220
 Пугачев В. В. 279—283
 Пугачев (Pougatschef) Е. И. 3, 51—61
 Пугачева С. Д. 60
 Пукалов 172
 Пукалова 172
 Путята Н. В. 266
 Пуфендорф С. 212
 Пушкин А. А. 257, 261, 262
 Пушкин В. Л. 17, 75, 83, 85
 Пушкин Г. А. 257, 261, 262
 Пушкин Л. С. 177
 Пушкин С. Л. 259, 263, 274
 Пушкина М. А. 257, 261
 Пушкина Н. А. 257, 261
 Пушкина (Pouchkine) Н. Н. 222, 252, 256, 261, 267, 268
 Пушкина Н. О. 274
 Пущин И. И. 74, 182
 Пьянов Д. Д. 55
 Радищев А. Н. 111, 113
 Раджицкий И. Т. 160, 192
 Разина, казачка 57
 Разумовская М. Г. 252, 269
 Разумовские 250, 253
 Разумовский А. К. 210
 Разумовский Л. К. 269
 Рамазанов Н. А. 274
 Расин Ж.-Б. 107, 118, 169
 Раух Е. И. 231, 245
 Рафаэль Санти 41, 42
 Рашель, актриса 253
 Реде, граф 236, 237
 Рейзов Б. Г. 51, 124
 Рейнгольд (Rheinhold) Э. И. 260, 264, 275
 Рейнсдорп И. А. 58
 Решина В. Н. 273
 Ржига В. Ф. 125
 Рибошьер А. И. 253
 Рив К. 62
 Рихтер А. Ф. 154, 190
 Ричардсон С. 109, 110, 116, 118, 124
 Родзевич С. И. 63, 116
 Россет К. О. 267
 Росси 239, 247
 Ростопчина (Rostopchine) Е. П. (урожд. Сушкова) 252, 260, 264, 270, 275
 Руммель В. В. 248, 287
 Рунич Д. П. 172, 175, 197
 Рупин (Рупини) И. А. 184
 Руссо Ж.-Ж. 109, 112, 118, 120, 124, 145, 199
 Рылеев К. Ф. 74, 82, 151, 152, 154, 158, 170, 173, 174, 176, 178, 181—183, 188, 193, 194, 196, 201
 Рылеева А. К. 188
 Рылеева А. М. 188
 Рылеева Н. М. 182, 188
 Рюрик, князь 36
 Сабуров М. Д. 251
 Савин В. И. 285
 Саводник В. Ф. 226
 Сакулин П. Н. 29, 30, 64, 136
 Салватори С. Я. 185
 Салтыков-Щедрин М. Е. 89
 Салтыковы 268
 Сальери А. 140

- Самарин Ф. В. 251
 Самойлова С. А. 117
 Сандомирская В. Б. 3
 Саргориус 160
 Сауниин С. А. 227
 Свербеев Д. Н. 251
 Свиныин И. П. 249
 Свиныин П. В. 249
 Свиныин П. П. 154, 161, 166, 169, 172, 173, 178, 185, 186, 193
 Севринов М. М. 162
 Сегюр Л.-Ф. 235, 244, 246
 Семевский В. И. 113
 Семенко И. М. 7
 Семенов-Тянь-Шанский А. П. 78—80
 Семенова Е. С. 179
 Сенанкур Э. П. 116
 Сенека Луций Анней 107
 Сен-Жермен, граф 64
 Сенковский О.-Ю. И. 171, 193, 216
 Сен-Пьер Ш.-И. К. аббат, де 145
 Сент-Анж Ф.-А.-Ф. 92
 Сен-Тома 158, 191
 Сенька 158
 Серафим (Глаголевский С. В.), митрополит 176, 178, 194
 Сербинович К. С. 216
 Сержан Л. С. 118
 Сигал Н. А. 62
 Сидяков Л. С. 3, 47, 65, 128
 Симоин П. К. 220
 Сиповский В. В. 109, 110, 112, 118, 120, 124, 136
 Скабичевский А. М.
 Скайлер Е. Е. 276
 Скаковский И. Г. 4
 Скалигер Ю. Ц. 83
 Скапина К. 128
 Скарятин Я. Ф. 229
 Скотт В. 23, 52, 62, 107
 Скриб О.-Э. 85, 179, 194
 Слѣнин И. В. 154, 161—165, 167, 168, 171, 173, 174, 178—180, 187, 188
 Слоимский А. Л. 62, 65
 Смирдин А. Ф. 160, 164, 180, 183, 185—189
 Смирдин В. М. 77
 Смирдина А. А. 185
 Смирнов Н. М. 238, 247, 250
 Смирнова-Россет А. О. 218, 239, 247, 250
 Снегирев И. М. 216
 Святкин И. 190
 Собаньская (Sobensko) К. А. (урожд. Ржевусская) 255, 260, 265
 Соболевский С. А. 290
 Соколов А. Н. 12
 Соллертинский Е. Е. 8
 Соллогуб (Salogoube) В. А. 252, 258, 263, 273
 Соловей Н. Я. 126
 Соловьева О. С. 36
 Сомов О. М. 154—156, 158, 159, 165, 171, 178, 181—183, 191—194
 Софокл 91
 Сперанский М. М. 196, 239, 247
 Срезневский В. И. 98, 287
 Сталь-Гольштейн (Staël) А.-Л.-Ж., де 39, 40, 118, 123—125
 Степанов Л. А. 3
 Степанов Н. Л. 48, 62
 Стерн Л. 110
 Стош 236, 246
 Строганов А. Г. 214
 Строганов А. С. 230, 244, 246, 247
 Строганов Г. А. 269
 Строганова С. В. 214
 Строганова Ю. П. 269
 Струве Г. П. 86
 Суворов-Рымникский А. В. 57, 246
 Суздальский Ю. П. 79, 81
 Сумароков А. П. 209
 Сутгоф А. Н. 182
 Сухарева (Souhareff) А. М. 257, 262
 Сухомлинов М. И. 195
 Сухонин С. 284, 287
 Сухтелен О. П. 234, 243, 245
 Сухтелен П. К. 202
 Сю Э. 252
 Талейран Ш.-М. 203
 Тамарченко Н. Д. 62
 Татаринов А. 122
 Татищев Д. П. 253
 Тахо-Годи А. А. 86
 Тацит Кай Корнелий 24, 197, 198, 211
 Творогов И. А. 60
 Телешова М. А. 179
 Тенирс (Теньер) Д. 158, 164, 174, 191
 Теннисон А. 276, 278
 Теревенина Р. Е. 4
 Тизенгаузен Е. Ф. 237, 246, 272
 Тик Л. 27, 41, 63
 Тимковский И. О. 155, 158, 165, 187, 190
 Тимм В. Ф. 271
 Тимофеева Н. А. 79
 Тойбин И. М. 26, 37
 Толмачев Я. В. 72
 Толстая (Tolstoï) А. А. (урожд. Перовская) 255, 259, 260, 264, 265, 274—276
 Толстая А. П. 287
 Толстая (Tolstoï) В. А. 258, 262, 271
 Толстой (Tolstoï) А. К. 252, 255, 260, 264, 265, 274, 276
 Толстой В. Ю. 248
 Толстой Л. Н. 109, 116, 276
 Толстой П. А. 284, 285, 287—289, 291, 292
 Томашевский Б. В. 7, 9, 10, 14—18, 23—25, 53, 98, 108, 111, 114, 141, 151, 278, 282, 285, 286, 288—290
 Томилиин В. В. 291
 Тон А. А. 266
 Тредиаковский (Тредьяковский) В. К. 24
 Трубецкой Н. И. 251
 Трубецкой С. П. 183, 251
 Туманский В. И. 103—105, 174, 290
 Туманский Ф. О. 237, 247
 Тургенев А. И. 113, 114, 198, 219, 225, 245, 246, 248, 249, 267, 270
 Тургенев (Tourguéniéff, Turgenev) И. С. 138, 141, 146, 252, 260, 264, 275—278
 Тургенев Н. И. 113, 251
 Тургенев П. Н. 251
 Тургенева Ф.-И. Н. 251
 Тургеньевы, бр. 198
 Тьерри Ж.-Н.-О. 52, 53
 Тынянов Ю. Н. 5, 8, 15, 111, 147, 148
 Тютчев (Tutcheff) Ф. И. 252, 257, 259, 262, 263, 269
 Тютчева (Tutcheff) Э. Ф. 257, 259, 262, 263, 269
 Уваров С. С. 204, 209—212, 214, 216, 267
 Унгерн-Штернберг, цензор 217
 Ушаков В. А. 64
 Ушаков П. П. 231, 245

- Февчук Л. П. 274
 Федор, слуга В. А. Жуковского 242
 Федоров Б. М. 64, 154, 158, 160, 161, 164, 166—169, 172, 179, 191, 193
 Федоров Н. Ф. 274
 Федорова В. Н. 166
 Федул Тимофеевич 154, 156
 Фекистов С. 286
 Ферзен (Fersen) П. К. 258, 262, 271
 Фет А. А. 80, 88
 Фикельмон Д. Ф. 229
 Фикельмон К. Л. 229
 Фикельмоны 252
 Филадельфия Г. 212
 Филарет (В. М. Дроздов), митрополит 165, 182, 183, 193
 Филатьев В. И. 216
 Филимонов В. С. 170, 172
 Фитцгерберт А. 230, 244, 247
 Флеровская Н. В. 172
 Флоран Ж.-П.-К., де 109, 110
 Фок М. Я., фон 199, 202, 203, 208, 209, 212, 217
 Фокин Н. Н. 249
 Фомичев С. А. 2
 Фонвизин Д. И. 17, 58
 Фотий (П. Н. Спасский), архимандрит 152, 170, 171, 174, 177, 179, 180, 200, 245
 Франклин В. 178
 Фридендер Г. М. 72
 Фридрих II Великий, король прусский 57, 246
 Фридрих-Вильгельм IV, кронпринц 225, 236, 237, 239, 240, 243—246
 Фукидид 211
 Фукс А. А. 64
- Халабаев К. И. 98, 278
 Харлов Захар 57
 Харлова Л. Ф. 57
 Хвостов Д. И. 158, 165, 166, 169, 171, 177, 180, 185, 187, 193
 Хвостова А. И. 177, 188
 Хвостова А. П. 165
 Хемницер И. И. 161, 188
 Хитрово (Hitroff) А. Э. 257, 261, 269
 Хитрово Е. М. 246
 Хитрово (Hitroff) М. А. (урожд. Му-
 сина-Пушкина) 257, 261, 269
 Хмельницкий (Hmelinski) Н. И. 180, 185, 252, 257, 262, 270
 Хомяков А. С. 260, 264, 275
 Христиани Х. Х. 241—243, 247
 Хрущев Д. М. 274
 Хрущов С. М. 274
- Цветаев Л. А. 216
 Цебриков Н. Р. 182
 Цезарь Гай Юлий 22
 Цейтлин А. Г. 194
 Церетели Г. Ф. 78
 Цертелев Н. А. 154—156, 158, 159, 172, 190, 191
 Цявловская (Зенгер) Т. Г. 4, 195, 265, 287, 292
 Цявловский М. А. 103, 104, 219, 249, 287
- Чаадаев (Théadaeff) П. Я. 245, 252, 256, 261, 267, 279—283
 Чебышев М. К. 167
 Черейский Л. А. 245
 Черкасов А. И. 229, 235, 236, 246
 Черногоборская Е. Л. 259, 263, 274
 Черногоборский (Тенгоборский) (Then-
 goborski) Л. В. 259, 263, 274
 Черневич М. Н. 39
 Чернов К. П. 176, 178, 194
 Чернышев А. И. 250, 252, 272
 Чернышевский Н. Г. 88
 Чертков (Thertkoff) А. Д. 251, 259, 264, 274
 Чертополохов Э. Л. 160, 164, 167, 171, 191
 Чистов К. В. 55
 Чосер Г. 141
 Чулков Г. И. 269
 Чхеидзе А. И. 60
- Шальман Е. С. 195
 Шан-Гирей А. П. 271
 Шарыпкин Д. М. 3
 Шатерников Н. И. 78
 Шатилов 175
 Шатобриан Ф.-Р., де 116
 Шаховской А. А. 161, 165, 179, 180, 185, 192, 194, 249
 Шаховской Д. И. 281
 Шевырев (Schévireff) С. П. (псевд. —
 В. а. d. G.) 40, 63, 111, 259, 264, 266, 273, 274, 288
 Шекспир В. 12, 15, 22, 84, 138, 141, 146, 209, 253
 Шелгунов Н. В. 276
 Шелгунова Л. П. 276
 Шеллинг Ф.-В.-И. 49
 Шенрок В. И. 273
 Шенье (Chénier) А. 3, 90—95, 97—106, 118
 Шервинский С. В. 47, 91
 Шешковский С. И. 183
 Шиллер Ф. 72, 148, 232, 245
 Шиллинг фон Канштадт П. Л. 144, 239, 247, 250
 Ширинский-Шихматов П. А. 175, 185, 194, 197
 Шишков А. А. 183
 Шишков А. С. 155, 160, 170, 172, 173, 175, 181, 183, 185, 187, 194, 197, 198, 202, 203, 207—209, 212, 214—218, 249
 Шлегель Ф. 71, 72
 Шлифен 236, 246
 Шоберлехнер С. Ф. (урожд. Даль-Окка) 179, 270
 Шолохов М. А. 12
 Штильман Л. Н. 9
 Шторх А. К. 216
 Шувалов П. А. 250, 266
 Шувалова Ф. И. 250, 266
 Шульдц (Schultze) X. 277
 Шумигорский Е. С. 251
 Шумский А. А. 176
- Щабельский П. К. 112
 Щеглов Н. П. 216
 Щеголев П. Е. 220, 265, 269
 Щепин-Ростовский Д. А. 182
 Щепкин М. С. 253
- Эверс И.-Ф.-Г. 217
 Эдельштейн Б. Я. 124
 Эйдельман Н. Я. 4, 228, 269, 275, 287, 292
 Эйхенбаум Б. М. 12, 14, 20, 153
 Эльсберг Я. Е. 70
 Энгельгардт (Engelhart) А. Е. 148, 255, 260, 265, 266
 Энгельс Ф. 140

- Эртель В. А. 232, 245
Эшенбург И.-И. 72
- Ювенал 70—74, 82—89
Юзефович М. В. 290
Юдин П. М. 74
Юм (Hume) Д. 259, 264, 275
Юсупов Н. Б. 274
Юсупова (Yousouproff) З. И. (урожд. Нарышкина) 259, 263, 274
- Языков А. М. 216
Языков Д. И. 169, 175
Языков Н. М. 170, 281
Яковлев М. А. 155
Яковлев М. Л. 151, 160—162, 177, 184, 192
Яковлев Н. Л. 156, 157, 161, 190, 191
Яковлев П. Л. 151—194
- Якубович Д. П. 64, 75
Янушкевич А. С. 65
Ярхо В. Н. 70
Ясинский Я. И. 53
Ястребцов И. И. 155, 156, 179, 180, 190, 194
Яцевич А. Г. 270
Яценков Г. М. 165, 193
Яшин М. И. 265, 291, 292
- В. а. d. G. («Bad Gastein»), см. Шевырев С. П.
Brockhaus F.-A. 194
Desaintange F. 92
Gorodetzky N. 273
Hielscher K. 14
Kauchtschischwili N. 245
Lenel S. 109

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

- Александр Радищев** («В конце первого десятилетия царствования Екатерины II...») 111
- «Альманашик» («— Господи боже мой, вот уже четвертый месяц...») 36
- «Арап Петра Великого» 289
- Арион** («Нас было много на челне») 105, 106
- Бахчисарайский фонтан** 7, 23
- «Благочестивая жена» (Гр. Орловой-Чесменской) 152
- «Близ мест, где царствует Венеция златая» 103—106
- Борис Годунов** 12, 35, 141, 145, 195
- Братья разбойники** 7, 15
- «Буквы, составляющие словенскую азбуку...» («Заметки и афоризмы разных годов») 145
- «В степи мирской, печальной и безбрежной» 106
- Вечера на хуторе близ Диканьки** («Читатели наши конечно помнят впечатление...») 34
- Видение короля** («Король ходит большими шагами». Песни западных славян, 1) 24
- «Внемли, о Геллос, серебряным луком зенящий» 90, 94, 97
- «Внимай, что я тебе вещаю» (Разговор Фотия с гр. Орловой) 152
- «Во глубине Сибирских руд» 141
- «Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»» («Статья О направлении...») 76
- «Возражение на статью А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в 1824 и начале 1825 годов» («Бестужев предполагает...») 81
- Вольность. Ода** («Беги, сокройся от очей») 89, 280
- Вольтер** («Недавно издана в Париже переписка Вольтера...») 85
- «Вот Коцит, вот Ахерон» см. «Наброски к замыслу о Фаусте»
- «Вот Хвостовой покровитель» («На кн. А. Н. Голицына») 152, 165, 192
- Второе послание к цензору** («На скользком поприще Тиньковского» наследник!) 180, 194
- Выстрел** (Повести покойного Ивана Петровича Белкина) 134, 135
- Гавриилада** 4, 138, 139, 145, 284—292
- Городок** («Прости мне, милый друг») 74, 76
- «Гости съезжались на дачу...» 24, 25, 36, 46, 48
- Граф Нулин** 3, 5, 10, 12, 19, 21
- В. Л. Давыдову** («Меж тем, как генерал Орлов») 75, 282
- Движение** («Движенья нет, сказал мудрец брадатый») 144
- Дельвиг** («Дельвиг родился в Москве») 75, 148
- Демон** («В те дни, когда мне были новы») 23
- Денница**. Альманах на 1830 год («В сем альманахе встречаем...») 50
- Деревня** («Приветствую тебя, пустынный уголок») 89, 280
- Дионея** («Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз») 99
- «Дневник 1833—1835 гг.» («24 ноября. Обед у К. А. Карамзиной...») 224—226, 229
- Домик в Коломне** 21, 97
- Евгений Онегин** 3, 5—21, 23, 26, 35, 67, 75, 84, 100, 107—109, 111—127, 140, 141, 144, 145, 170, 185, 194, 218, 250
- Египетские ночи** 3, 22—50, 106
- «Езерский» («Над омраченным Петроградом»), поэма 35, 36, 45
- «Заметка «О графе Нулине»» («В конце 1825 года...») 12
- Замечания на Анналу Тацита** («Тибериий был в Иллирии...») 24
- Земля и море** («Когда по синеве моря») 106
- Из Ксенофана Колофонского** («Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают») 80, 141, 142
- История Пугачева** 3, 51—61, 195
- История русского народа, сочинение Николая Полевого** 52, 53
- К Батюшкову** («Философ резвый в пийт») 84, 85
- К Вяземскому** («Так море, древний душегубец») 105
- К другу стихотворцу** («Арист! И ты в толпе служителей Парнаса») 82—84
- К Жуковскому** («Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени») 89
- К морю** («Прощай, свободная стихия») 105, 106
- К Н. Я. Плюсковой** («На лире скромной, благородной») 247

- К Пушкину (4 мая) («Любезный именинник») 74
- К сестре 294
- К Чадаеву («Любви, надежды, тихой славы») 4, 279—283
- Кавказский пленник 7, 8, 158, 191
- Капитанская дочка 51, 53, 58—60
- Книжка («Лемносский бог тебя сковал») 282
- Кирджали («В степях зеленых Буджака») 59
- Клеопатра («Чертог сиял. Гремели хором») 22—27, 44, 47
- «Кто из богов мне возвратил» 75, 77—80
- Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уединенья») 190
- Лицинию («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице») 83, 85, 89
- Маленькие трагедии 111, 114
- «Мальчишка Фебу гимн поднес» (Эпиграмма) 81
- Медный всадник. Петербургская повесть 36, 134, 135, 140, 145
- Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной («Г. Лобанов заблагорасудил...») 136
- «Мой друг, уже три дня» 287
- Моцарт и Сальери 27, 35, 140
- Моя родословная («Смеясь жестоко над собратом») 35, 36, 89
- «Мы проводили вечер на даче...» 25—27, 44, 46—48
- На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому («Ты угасал, богач младой!») 26, 89
- «На Испанию родную» 24
- «На углу маленькой площади...» 25
- «На холмах Грузии лежит ночная мгла» 141, 142
- «Наброски к замыслу о Фаусте» 95
- «Наброски предисловия к «Борису Годуну»» 53, 135
- Надпись на стене больницы («Вот здесь лежит больной студент») 122
- «Недоконченная картина» («Чья мысль восторгом угадала») 288
- «Ночной зефир» 23
- О вечном мире (1. Il est impossible que les hommes...») 145
- О г-же Сталь и о г. А. М—ве («Из всех сочинений г-жи Сталь...») 125
- «О журнальной критике» («В одном из наших журналов...») 110
- «О муза пламенной сатиры» 83, 84
- О народном воспитании 111
- «О народности в литературе» («С некоторых пор вошло у нас в обыкновение...») 125
- О ничтожестве литературы русской («Долго Россия оставалась чуждою Европе...») 35, 43, 110, 224
- «О новейших блюстителях нравственности» («Но не смешно ли им судить...») 12
- О поэзии классической и романтической («Наши критики не согласились...») 84
- «О прозе» («Д'Аламбер сказал однажды...») 118
- «О статьях князя Вяземского» («Некоторые журналы, обвиненные...») 36
- «О Французской революции» («Прежде нежели приступим к описанию...») 58
- «Об Альфреде Мюссе» («Между тем как сладкозвучный...») 75, 82, 94, 128
- Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико («На днях выйдет из печати...») 245
- Опровержение на критики 7, 12, 36, 75, 135
- Ответ анониму («О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье») 32
- «От западных морей до самых врат восточных» 86
- Отрывок («Не смотря на великие преимущества...») 35—38, 50
- Памятник см. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»
- Песни западных славян 24
- Пиковая дама 3, 62—69, 144
- Пир во время чумы 105
- «Письмо к издателю «Литературной Газеты»» («Отдавая полную справедливость...») 36
- «План статьи о правах писателя» («О лит. «сературной» собственности...») 195
- Повести покойного Ивана Петровича Белкина 21, 22, 59, 127, 128, 134—136
- «Повесть из римской жизни» («Цезарь путешествовал...») 24—26, 48, 79
- Подражание Корану 23
- «Подруга милая! Я знаю отчего», в другой редакции: Дионея («Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз») 99
- «Покров, упитанный язвительной кровью» (Из А. Шенье) 90, 92—99, 101
- Полководец («У русского царя в чертогах есть палата») 24, 35
- Полтава 284, 291
- Портрет («С своей пылающей душой») 24
- Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой») 74
- Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать») 74
- Послание В. Л. Пушкину («Скажи, парнасский мой отец») 74, 75
- Послание цензору («Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой») 89, 196
- Похоронная песня Иакинфа Маглановича («С богом, в дальнюю дорогу!»). Песни западных славян, 7) 24
- Поэт («Пока не требует поэта») 35, 36, 48, 50, 106
- Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») 35, 45, 88, 89, 106
- «Поэт идет — открыты вежды» 26
- «Поэт-игрок, о Беверлей-Горадий» («На Великопольского») 75
- Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной») 35, 106
- Пророк («Духовной жаждою томим») 35, 106
- Путешествие В. Л. П. («Эта книжка никогда не была в продаже...») 76, 77, 81, 82, 85
- «Путешествие из Москвы в Петербург» 35, 37, 38, 43

- Разговор книгопродавца с поэтом
 («Стишки для вас одна забава») 35
 «Разговор о критике» («А. Читали вы
 в последнем №...») 36
 Разлука («В последний раз, в сени
 уединенья») 190
 «Роман в письмах» («Ты, конечно, ми-
 лая Сашенька, удивилась...») 120,
 128, 135
 Руслан и Людмила 5, 12, 15, 90, 152,
 155, 192
 «Свободы сеятель пустынный» 106
 Сказка о царе Салтане 289
 Скупой рыцарь 111
 «Славная флейта, Феон, здесь лежит.
 Предводителя хоров» (Из Афенел)
 141, 142
 «Славный анекдот об Указе» (Table-
 Talk. «XXIII») 230
 Стансы Толстому («Философ ранний,
 ты бежишь») 74
 Станционный смотритель (Повести Ивана
 Петровича Белкина) 113, 127—136
 «Сцены из рыцарских времен» («Послу-
 шай, Франц: в последний раз говорю
 тебе...») 144
 Тень Фон-Визина («В раю, за грустным
 Ахероном») 83
 «Только революционная голова...» («За-
 метки и афоризмы разных годов») 111
 Труд («Миг вождельный настал: окон-
 чен мой труд многолетний») 106
 «Ты вянешь и молчишь; печаль тебя
 сдает» 99—103
 «Угрюмых тройка есть певцов» 152, 185,
 194
 Утопленник («Прибежали в избу деги») 291
 Фонтану Бахчисарайского дворца («Фон-
 тан любви, фонтан живой!») 289
 Французская Академия («Скриб в Ака-
 демии...») 85, 110
 «Царей потомок Меценат» 75, 77
 «Ценитель умственных творений испо-
 линских» («Кн. Козловскому») 85, 86
 Цыганы 3, 5—10, 16, 17, 21, 23
 Чдаеву («В стране, где я забыл тревоги
 прежних лет») 104, 282, 283
 Чдаеву («К чему холодные сомненья?») 23
 Черная шаль («Гляжу, как безумный,
 на черную шаль») 175
 Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом») 106
 «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
 ный» 76, 86, 141—143
 «Я посетил твою могилу» (Prologue) 143
 Table-Talk 225, 229, 230

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
-----------------------	---

СТАТЬИ

Л. С. Сидяков. «Евгений Онегин», «Цыганы» и «Граф Нулин» (К эволюции пушкинского стихотворного повествования)	5
Н. Н. Петрунина. «Египетские ночи» и русская повесть 1830-х годов	22
А. А. Карпов. Пушкин-художник в «Истории Пугачева»	51
О. С. Муравьева. Фантастика в повести Пушкина «Пиковая дама»	62
Л. А. Степанов. Пушкин, Гораций, Ювенал	70
В. Б. Сандомирская. Переводы и переложения Пушкина из А. Шенье	90
Д. М. Шарыпкин. Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля	107

ОБЗОРЫ

Н. В. Измайлов. Пушкин в сравнительно-историческом изучении	137
---	-----

СООБЩЕНИЯ

А. В. Архипова. Отзвуки литературной полемики 1810-х годов в письмах Г. А. Глинки к В. К. Кюхельбекеру	147
Я. Л. Левкович. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву	151
М. И. Гиллельсон. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г.	195
Р. В. Иезуитова. Пушкин и «Дневник» В. А. Жуковского 1834 г.	219
Р. Е. Терехина. Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дурново	248
И. Б. Мушина. Б. Ауэрбах и Пушкинский праздник 1880 г.	276

Т Р И Б У Н А

И. Г. Скаковский. Пушкин и Чаадаев (К вопросу о датировке и трактовке послания Пушкина «К Чаадаеву»)	279
В. П. Гурьянов. Письмо Пушкина о «Гавриилпаде»	284
Ю. П. Фесенко. Эпиграмма на Карамзина (Опыт атрибуции)	293
Указатель имен	297
Указатель произведений Пушкина	307

Пушкин. Исследования и материалы

Том VIII

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом)
АН СССР*

Редактор издательства *Н. А. Храмова*
Художник *М. И. Разулевич*
Технический редактор *Н. Ф. Виноградова*
Корректоры *Р. Г. Гершинская, С. И. Семиглазова*
и *Г. И. Суворова*

ИБ № 8041

Сдано в набор 03.08.77. Подписано к печати 27.03.78.
М-18569. Формат 70×108^{1/16}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л.
19^{1/2} = 27.30 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 29.09. Тираж 13300.
Изд. № 6508. Тип. зак. № 610. Цена 2 р. 40 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 лин., д. 12

*Книги издательства «Наука»
можно предварительно заказать
в магазинах конторы «Академкнига»*

АДРЕСА И ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ МАГАЗИНОВ:

480391 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13
320005 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95
375009 Ереван, ул. Туманяна, 31
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 303
252030 Киев, ул. Ленина, 42
277001 Кишинев, ул. Пирогова, 28
343900 Краматорск, ул. Марата, 1
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2
192104 Ленинград, Литейный пр., 57
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2
199004 Ленинград, 9 линия, 16
220072 Минск, Ленинский пр., 72
103009 Москва, ул. Горького, 8
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7
630076 Новосибирск, Красный пр., 51
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18
450075 Уфа, Коммунистическая ул., 49
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10
720001 Фрунзе, бульв. Дзержинского, 42
310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6

*Для получения книг почтой заказы просим направлять
по адресу:*

117464 Москва, В-464, Мичуринский пр., 12
Магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»
197110 Ленинград, П-110, Петрозаводская ул., 7
Магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»